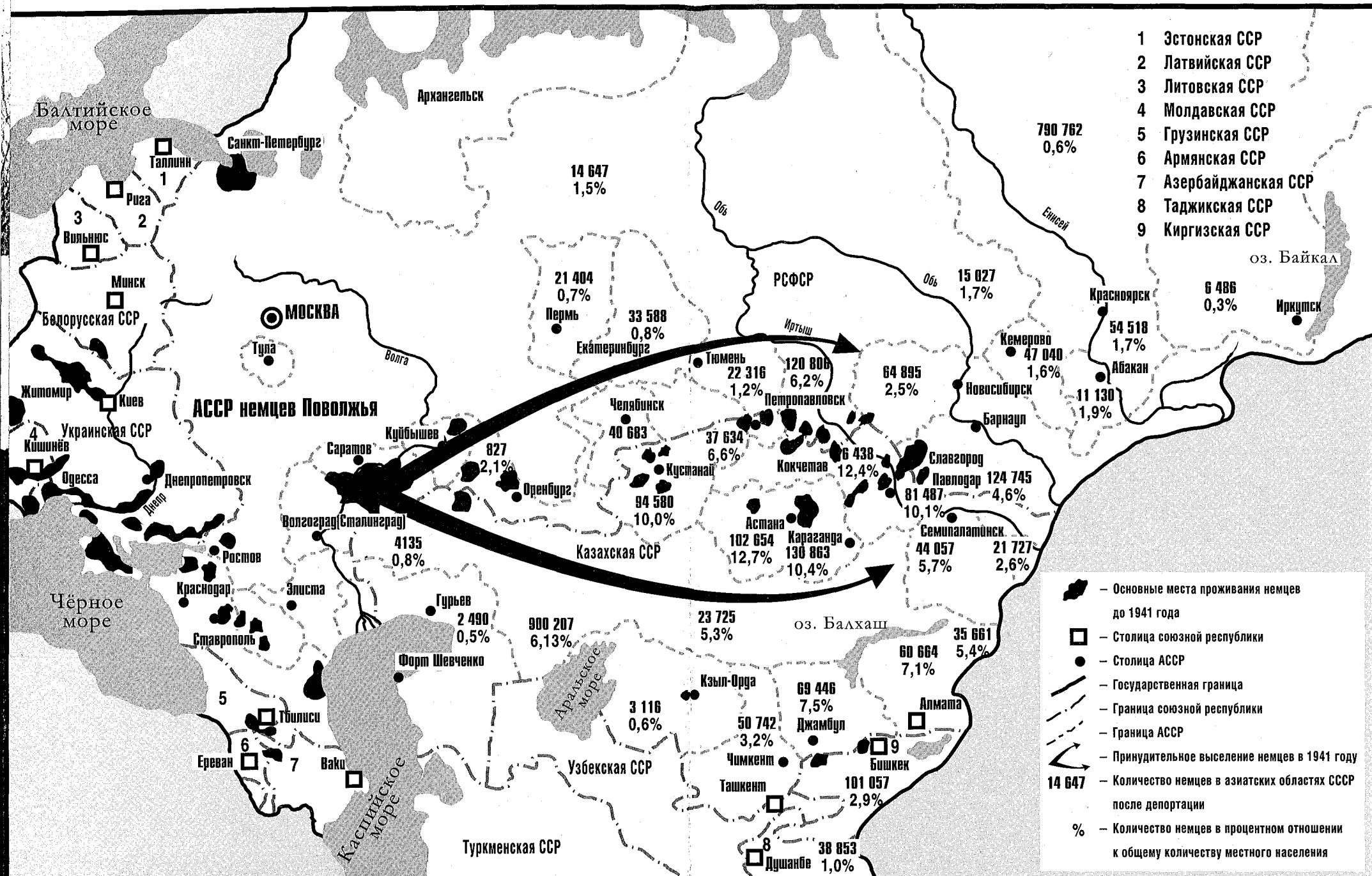


Места проживания немцев в России и СССР



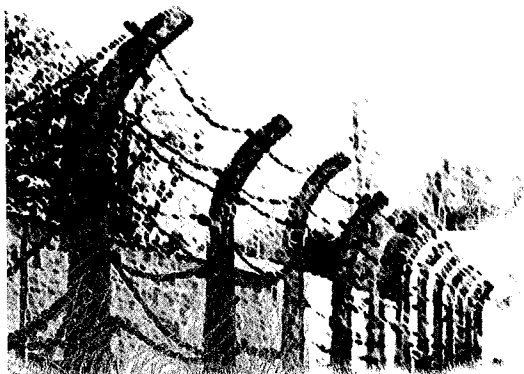
она
память
от семьи
Д. Рихтер
Германия 20.1.06

Г. А. Вольтер

Зона полного покоя

Российские немцы в годы войны и после нее
Свидетельства очевидцев

Waldemar Weber Verlag
Augsburg



Г. А. Вольтер. Зона полного покоя.

Российские немцы в годы войны и после нее.
Свидетельства очевидцев. Издание третье.

В оформлении книги использованы мотивы
работ художника Михаила Дистергефта

Gerhard Wolter. Die Zone der totalen Ruhe.

Die Rußlanddeutschen in den Kriegs – und
Nachkriegsjahren. Berichte von Augenzeugen.

ISBN 3-9808647-2-3

© W.Weber Verlag Augsburg 2004
Nordendorfer Weg 20
D – 86154 Augsburg
Tel., Fax: 0821-4190431; Tel. 0821-4190433
e-mail: waldemar.tatjana@t-online.de
Lektorat: Viktor Diesendorf und Tatjana Weber
Gestaltung: Sergej Zacharow (e-mail: sergej_z@web.de)
Druck und Bindung: MaroDruck, Augsburg



Автор книги Герхард Вольтер родился в 1923 г. в немецком селе Крупешин Житомирской области в семье потомственного кузнеца. Окончил среднюю школу в городе Красноармейске Сталинской (Донецкой) области в самый канун войны. Осенью 1941 года его как немца вместе с родителями, братьями и другими соплеменниками насильственно переселили с Украины в Акмолинскую область Казахстана. С января 1942 г. начались его «трудоармейские» испытания в лагерях ГУЛАГа, продолжавшиеся вплоть до августа 1946 г. После освобождения он преподавал в школе, учился в Челябинском учительском и Чимкентском педагогическом институтах на историческом факультете. Первая его газетная публикация появилась в 1959 г. С тех пор он сочетал литературное и журналистское творчество с педагогической работой. До выхода на пенсию в 1989 г. работал доцентом кафедры философии в Институте искусств во Фрунзе (Бишкеке). В 1996 г. переехал в Германию. В 1998 году во время поездки на Украину Г. Вольтер скоропостижно скончался.

Г. Вольтер – автор нескольких книг, ряда журнальных и газетных статей и очерков, активный участник движения российских немцев за национальное возрождение.

БЕСПОКОЙНЫЙ ГОЛОС «ЗОНЫ ПОЛНОГО ПОКОЯ»

Мальчик лет двенадцати с тяжким усилием открывает рот. Он — немой. Жестами, голосом, всем своим существом ему помогает женщина-врач, которая, наверное, не один год положила на его лечение. И вдруг, запинаясь, медленно, тяжело, как в мучительном сне, мальчик произносит: «Я-а-а могу го-во-рить...». Этот эпизод из фильма Андрея Тарковского «Зеркало» вспомнился мне невольно, когда в моих руках оказалась первый выпуск книги Герхарда Вольтера «Зона полного покоя»*. Создатель фильма имел в виду самого себя, уже взрослым обретшего «голос» — умение донести до других впечатления и мысли о смысле бытия, что одолевало его и не находили выхода. Мне в тот момент подумалось о совсем других муках «обретения голоса».

Это было в 1989 году, когда еще были закрыты архивы КГБ, когда впервые с большим трудом начали просачиваться к людям первые крупинки правды о растоптанной судьбе нашего народа. Небольшая скромная книжка. Один из первых голосов истины. После ее выхода автор стал получать сотни писем, в которых была задокументирована мученическая участь многих сотен тысяч российских немцев. Материал этих писем и лег в основу нового дополненного издания «Зоны полного покоя», которое вышло в Москве в 1998 году незадолго до скоропостижной смерти автора.

«У нас отобрали родину, дом, имущество, доброе имя...», — писал Г. Вольтер. Но не только этого лишили нас. У нас отобрали даже то, что отличает человека от животного — дар речи, право говорить. Нас просто не было на свете. То есть мы были. Были в лагерях и ссылках, были на тяжких стройках и лесоповалах, были в тайных списках НКВД и КГБ. Но для остального мира мы как бы не существовали. Никто не знал о нас, о нашей немыслимой сегодня судьбе. Да и, скажем честно, не хотел знать. Предельно точно назвал Г. Вольтер свою книгу «Зоной полного покоя» — зоной удобного для властей умолчания о творящемся беззаконии.

Грустная книга, страшные в своей простоте факты. Страшный цинизм режима, прикрывавшего различными словесными уловками геноцид целого народа. Трудармейцев, «новых рабов Советского государства», не сажали. Их по всем правилам «призывали» через военкоматы. Голодная смерть — вот что ждало призванных «товарищей». Так с изуверским лицемерием обращались к заключенным специаль-

ных трудовых колон. В книге Г. Вольтера нашли отражение и судьбы тех, кто с началом войны был вырван из родных мест и отправлен в дальние края на мучительную смерть. Как те немецкие селяне из Поволжья, что в 42-х градусный мороз в легкой одежде были выброшены прямо в казахстанскую степь, и все замерзли. Кроме одной женщины, благодаря которой о них и стало известно читателю. И тех, кто попал в зону оккупации, а потом стал «дичью» для охотников из спецчастей, что вылавливали их по всей Германии с тем, чтобы «вернуть на Родину»... Их ждала ссылка, мучения, непосильный труд и гибель.

Страшные цифры. Статистику смерти приводит Г. Вольтер. Не вмещающиеся в сознание факты физического и нравственного издеательства над трудармейцами, чьей «виной» была национальность, а наградой за нечеловеческий труд в невозможных условиях был кусок хлеба, да кружка баланды... Скупые строки свидетельств очевидцев говорят лучше любых патетических пассажей. Еще вечером трудармеец из главы «Отверженные» разговаривал со своими соседями по бараку, а проснулся в окружении четырех трупов. Умерли от голода и холода. По его же свидетельству, в трудлагере «Кушмангтор» в живых осталась одна треть заключенных немцев. Подобное же происходило и в других лагерях.

Есть читатели и писатели, которым для пробуждения воображения нужно что-то сверхъестественное — в этой книге они ничего для себя не найдут. Но есть обыденность, которая звучит острее и ранит душу сильнее, чем любой художественный вымысел. Герхард Вольтер — человек, который сам прошел все круги ада, и оттого на его повествовании та печать подлинности, которую невозможно подделывать... И никого не оставят равнодушными убийственные в своей простоте сообщения авторов писем, на основе которых Г. Вольтер написал свою книгу.

«Цветы за колючей проволокой» — судьбы немецких женщин в ГУЛАГе. Голоса лишь некоторых из 300.000 (задумайтесь над этими цифрами) этих женщин донес до нас автор книги. Страшнее же всего — строки, посвященные детям, погибшим во время депортации. По свидетельству Якова Лихтенфельда, пережившего «переселение» из Ставрополя эшелонам в Казахстан, в этом эшелоне от эпидемий, голода и холода «...дети умирали один за другим...». А вот письмо А.В., которую вместе с семьей в 1941 году выселили с Кавказа и на судне перевозили по Каспию в Красноводск: «В течение двух месяцев нас зачем-то таскали взад-вперед по Каспийскому морю, и все больше людей, особенно детей, умирало с голоду. Их всех просто выкидывали за борт.

Бросили туда и моего четырехлетнего сына. Это увидел другой сын, семи лет. Он вцепился руками в мою юбку и со слезами умолял: «Мамочка, не дай бросить в воду и меня! Прошу тебя, оставь меня в живых, я навсегда останусь с тобой и буду заботиться о тебе, когда вырасту». Любой комментарий здесь – излишен и бессилён.

Для моего поколения, родившегося в самом конце комендатурского срока, эта книга – бесценная память о тех сотнях тысяч людей, что были безвинно наказаны только за то, что они родились немцами, были замучены, убиты, тех, чьи голоса мы никогда уже не услышим... Ведь мой отец, например, никогда не рассказывал и теперь никогда уже не расскажет о том, что ему пришлось вынести в часто упоминаемых автором книги лагерях «Челябметаллстроя». Наверное, он не хотел отравлять наши детские души. Осталась лишь не известно кем и как сделанная фотография (фотографировать было строжайше запрещено!), где мой отец, с котелком на коленях, тридцатилетний, выглядит не моложе, а может быть и старше, чем перед смертью в свои пятьдесят четыре года... Признаюсь, и тогда в 1989, и сегодня я наивно искал в книге имя своего дяди, расстрелянного в 1938-ом году, имя отца или двух родственников. Не нашел. Нельзя, конечно, написать о всех – потребовались бы сотни томов...

Народ обретает голос. Сегодня мы можем вслух говорить о том, что вынесли наши отцы и деды. «Грустная получилась у меня книга», – пишет автор. Грустная, но нужная людям. Бередящая память и душу. Без сомнения, это пока лучшее из всех произведений о судьбе нашего народа.

Александр Гейзер
Берлин

...Когда во сне я в детство возвращаюсь,
всегда бываю там - в кругу семьи.

Так и сегодня ночью...

Отец, зарытый неизвестно где, сидел за фортепьяно...

Мать, умершая с голоду в далеком 43-ем
и похороненная на казахский лад, вела
мелодию знакомой песни...

Всё, как тогда, в Крыму.

Когда у нас еще был дом...

А Фрида, умершая в Туле, вторила негромко...

Похороненная вблизи Арык-Балыка Берта
и Эльза, спящая близ Тюлькубаса,

сливаясь голосами, пели тихо,

как и единственный наш брат, наш Эрих,

трагически погибший у Талды-Кургана...

Лишь младшая и я, еще живущая на свете,
молчали, слушая печально...

Нелли Ваккер



ПО МОБИЛИЗАЦИИ — В КОНЦЛАГЕРЬ

Лагерь тяжело, медленно отходил ко сну. В слабом свете редких электроламп, будто в туманном мареве, неторопливо возились с тощими подстилками «трудмобилизованные». Своими заторможенными движениями они напоминали полусонных мух, готовых к зимней спячке. Вяло, еле передвигаясь и пошатываясь от слабости, безмолвно совершали вечерний ритуал. Не снимая одежды и теснее натянув на уши шапки, одни ныряли в холодную темноту нижних нар, другие, помоложе, из последних сил подтягиваясь на худющих руках, взбирались на верхние нары, надеясь согреться под изодранными пальто и бушлатами, заменявшими одновременно матрацы и одеяла.

1

Но долго ещё мелкая лихорадочная дрожь сотрясала их истощённые и бескровные тела. Насквозь промёрзшие за 12 часов работы на студёном ветру люди едва успевали прийти в себя в скудном тепле барakov после вечернего пойла, именуемого супом, как их вновь выгоняли в ночную темноту — на поверку. Тем, кто забылся беспокойным сном, было особенно морозно. Брала обида за бессмысленную растрату драгоценного тепла: ведь стоять-то надо только для того, чтобы пересчитали твою голову.

Потом, забравшись на верхние нары и свернувшись, как в детстве, калачиком, я поглубже засовываю меж колен руки, прячу в отвороты бушлата нос и пытаюсь поскорее изгнать из себя проникший в самую душу холод. Важно, вспоминаю слова отца, чтобы нос был в тепле. Так согревается собственным теплом поросёнок, зарываясь в солому. Неважно, что всё остальное у него наверху. Тепло барака, разбавленное вкатившимся вместе с толпой холодом, мало греет, ибо не две печки, топившиеся сырыми опилками, а человеческое дыхание было его основным источником.

— Отбой, — раздаётся голос дневального, но никого унимать не надо. Наступает, наконец, момент долгожданного покоя. Надо только постараться скорее уснуть, чтобы хоть на 8 часов избавиться от отвратительного, ни с чем не сравнимого чувства голода. Понять это противное всякому живому существу состояние может, наверное, лишь тот, кому хоть раз пришлось голодным отправиться на ночлег. Ну, а если с тобой это происходит еженощно, месяцы, год подряд? Если криком кричит нутро человеческое: «Хочу есть! Хоть что-то поесть!»? И если нет надежды, что когда-нибудь этой попытке придёт конец?

Лучший способ избавиться от навязчивой мысли о еде — это уснуть или заставить себя думать о чём-либо ином. О чём угодно, только не о еде... И я в который уже раз перебираю в мыслях этот злополучный год, что нахожусь за колючей проволокой лагерей Бакалстроя НКВД СССР. Вернее сказать, в одном из его многочисленных подразделений — строительном отряде № 4, который размещён неподалёку от Челябинска, на железнодорожной станции Потанино, где находится завод, призванный снабжать огромную стройку кирпичём.

Наш лагерь — это примерно полтора десятка больших, человек на 300, приземистых барakov с двухэтажными сплошными нарами. Между бараками — неизменно ухоженные дорожки, благо дармовой людской силы всегда хватает. Вдоль центральной дороги расположены кухня, кипятильня и так называемый штаб. Немного на отшибе — санчасть, баня и карцер, обязательная принадлежность лагерей НКВД. А

невдалеке от него – домик оперуполномоченного, который всему голова, всем начальникам начальник.

Лагерь охвачен тремя рядами колючей проволоки с вышками по углам, мощными прожекторами и частым строем осветительных столбов. Под ними на ярком свете, отнятом у барачных электроламп, будто под солнцем, искорками сверкает белоснежная, девственно-чистая следовая полоса. Это зимой. А летом четырёхметровое пространство между рядами «колючки» напоминает старательно обработанный чёрный пар: на нём, согласно строгим лагерным правилам, не должно быть ни былинки. Ночами по натянутой вдоль заграждения проволоке с лаем носятся овчарки, лениво перезваниваются в колокола часовые, отгоняя непрошенный сон. Неусыпно стерегут они загнанных в «зону» безобидных, до крайности истощённых людей.

Это – принудительно-дармовая рабочая сила, которая пришла на смену уголовникам, оставившим после себя лагерное хозяйство и зачуханный кирпичный завод. Его надо было отремонтировать и достроить с таким расчётом, чтобы он мог выпускать 180 тысяч штук кирпича в сутки. Кто, кроме подневольных людей, стал бы работать в этом крошечном аду?

В образцовый тюремный лагерь со всеми требованиями, оговорёнными Уставом караульно-конвойной службы, заперли 4 тысячи таких же, как я, рядовых граждан, у которых «родная» власть безо всякого суда и следствия и без малейшей вины отобрала не только свободу, доброе имя и честь, но у многих, очень многих – и саму жизнь. Повод – война, а причина одна-единственная: национальность – немец.

Таких отрядов, как наш, на Бакалстрое в апреле 1942 г. было 16, в каждом от четырёх до восьми тысяч человек, а всего, вместе с так называемыми отдельными колоннами, число «трудмобилизованных», прошедших через эти лагеря, составляло до 100 тысяч человек. Этой находившейся в ведении Берии необозримой армаде предписывалось «любой ценой» и в «кратчайшие сроки» построить металлургический комбинат с полным производственным циклом, начиная от добычи и обогащения руды и заканчивая выплавкой высокопрочной стали, идущей на изготовление танковой брони и вооружения.

Создание такого комбината с рудной базой в посёлке (ныне городе) Бакал, что находится в западной части Челябинской области, планировалось ещё задолго до войны. Для этого на окраине Челябинска, севернее села Першино, была выделена огромная, примерно в 50 квадратных километров, площадка и даже построено несколько лагерей для будущей подневольной рабочей силы. Но в 1935 г. стройку законсер-

вировали. Война ускорила обороты гигантской индустриальной машины – стране нужен был металл. Позарез. Сегодня. И во всё больших количествах. Поэтому специальным постановлением Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) о развитии чёрной металлургии на Урале и в Сибири в 1942 г. предусматривалось строительство Бакальского и Новотажинского металлургических заводов с горнорудным хозяйством и коксохимическими заводами, которое поручалось НКВД СССР на подрядных началах с Наркомчерметом. К строительству Бакальского завода предписывалось приступить не позднее конца декабря 1941 года.

Поручая эти стройки бериевскому ведомству, в Москве несомненно исходили из использования принудительной рабсилы, которая всегда имелаась в распоряжении НКВД. Правда, её «запасы» несколько побавились с выходом указов Президиума ВС СССР от 12 августа и 24 ноября 1941 года о досрочном освобождении некоторых категорий заключённых. В соответствии с ними 420 тысяч узников ГУЛАГа были «переданы» в сильно поредевшие ряды Красной Армии, в результате чего опустели многие лагеря. Их заполнили «трудоармейцами» – новыми рабами Советского государства.

Эта участь нам была уготована «сов. секретным» Постановлением Государственного Комитета Обороны № 1123 от 10 января 1942 года. «В целях рационального использования» немцев-переселенцев оно предписывало мобилизовать немецких мужчин от 17 до 50 лет, годных к физическому труду, в количестве до 120 тысяч в «рабочие колонны» на всё время войны, передав из этого числа: НКВД СССР на лесозаготовки – 45000 человек; НКВД СССР на строительство Бакальского и Богословского заводов – 35000; НКПС СССР на строительство железных дорог Сталинск-Абакан, Сталинск-Барнаул, Акмолинск-Карталы, Акмолинск-Павлодар, Сосьва-Алапаевск, Орск-Кандагач, Магнитогорск-Сара – 40000. Мобилизованные были обязаны явиться в местные военкоматы в исправной зимней одежде, с запасом белья, постельными принадлежностями, кружкой, ложкой и 10-дневным запасом продовольствия.

Дела в отношении немцев, подлежащих мобилизации и находящихся в «рабочих колоннах», за нарушение дисциплины и отказ от работы, неявку по мобилизации, «дезертирство» из рабочих колонн поручалось рассматривать на Особом Советании НКВД СССР с применением к «наиболее злостным» высшей меры.

Этот основополагающий документ был подписан Председателем ГКО Сталиным и несомненно готовился в недрах НКВД под началом Берии. В нём устанавливались общие рамки отношения к российским

немцам после депортации последних в 1941 г. Их дальнейшая участь определялась испытанными большевистскими методами массовых репрессий и административного принуждения – с той лишь разницей, что вместо ареста или раскулачивания немцы на сей раз подлежали «мобилизации» через военкоматы. Итог один: их, как и другие жертвы сталинского террора, передали в полное распоряжение карательных органов, предрешив нещадную эксплуатацию на лесоразработках и стройках.

То, о чём умалчивалось в указанном Постановлении ГКО, было предельно ясно выражено в Приказе № 0083 наркома НКВД Л. Берии, изданном два дня спустя – 12 января 1942 года. На 4-х страницах машинописного текста выносился приговор первой группе «мобилизованных», предопределивший дальнейшую судьбу всех российских немцев, которым было суждено пройти через так называемую трудармию.

Во-первых, «трудмобилизованных» немцев предписывалось разместить в особых лагпунктах, создаваемых для них при лагерях НКВД.

Во-вторых, питание и промтоварное обслуживание «мобилизованных» устанавливалось по нормам ГУЛАГа.

В-третьих, сверх Постановления ГКО было велено обеспечить не только высокую производительность труда и выполнение норм, но и «перевыполнение производственных норм и планов».

В-четвёртых, оперативно-чекистский отдел ГУЛАГа и его подразделения в лагерях обязывались «организовать агентурно-оперативное обслуживание мобилизованных немцев, заблаговременно пресекая всякие попытки разложения дисциплины, саботажа и дезертирства».

Из приведённых, а также других документов, начиная с известного Указа от 28 августа 1941 года, видно, что все основные вопросы, связанные с положением немецкого народа СССР, были вверены карательным органам. Соответствующие решения принимались в структурах власти – ЦК ВКП(б), СНК, ГКО – с подачи НКВД и санкционировались высшими руководителями страны, прежде всего Сталиным и Берией. На них и лежит главная вина за государственное преступление – организованный физический и моральный геноцид по отношению к российским немцам в военные и послевоенные годы.

...Я прибыл на Бакалстрой в первом, февральском, потоке и знаю, что здесь наши немцы всё начинали с нуля, с первых кольщиков, первых просек для дорог на огромном, поросшем березняком белоснежном просторе. Среди сугробов не всегда удавалось найти даже вешки, которыми проектировщики поместили места расположения будущих цехов, домен и коксовых печей. Кругом – ничего, кроме

снега, берёз и всепроникающего уральского мороза.

Об этом написал тогда бакалстроевский поэт Павел Брандт:

На рассвете и небо от холода стынет,
Леденеет мерцанье застуженных звёзд.
И стоят, занесённые в снежной пустыне,
Неживые тела посиневших берёз.

Начинали с первых выемок для барачных и с ям под столбы для проволочных ограждений. Вокруг самих себя. Невдалеке от каждого из будущих ключевых объектов – Доменстроя, Стальпрокатстроя, Коксохимстроя, Жилстроя и других, не менее важных пунктов огромной стройки – были заложены лагпункты, дабы не конвоировать слишком далеко строго охраняемый немецкий «спецконтингент». В свою очередь, вся эта махина имела внешнее ограждение длиной около 30 километров и вооружённую охрану, чтобы ни один «трудмобилизованный» не мог вырваться из гигантского лагеря.

Немало за полгода воды утекло. А вместе с нею унесло и бесчисленное множество людей. В бараках с каждым месяцем становилось всё просторней. Одни умирали тихо, незаметно, на нарах – в «собственной», так сказать, постели. Днём их, окоченевших, а то и не совсем ещё отошедших в мир иной, привычно стаскивали с нар, грузили на тракторную тележку и вывозили на людскую свалку в северной части «зон». Другие той же дорогой уходили через ОПП – оздоровительно-профилактический пункт, получив небрежно-снисходительное название «доходяга».

Как вспоминал Иван Битнер, трупы старались скрывать до последней возможности, чтобы получить за умерших хлебный паёк и суп-«баланду». Обычно добыча делилась по жребью между членами бригады.

Я не хотел умирать. Заглушая голодные муки, мыслями был обращён в прошлое, которое казалось теперь таким светлым и радужным. Правду говорят: голодный не думает о завтрашнем дне. Ему надо поесть сегодня. Можно, конечно, мысленно обратиться вспять, вновь прочувствовать пережитое. Хотя от воспоминаний о еде сыт, увя, не будешь.

Но мысль не остановить. Она бежит и бежит... Вспоминается, как долгими зимними вечерами наша семья – трое детей и родители – зашивалась у керосиновой лампы, занимаясь каждый своим делом. Кому-то приходила мысль о еде, и мать приносила с холода белое с

розовым отливом, толстое, в пять наших детских пальцев, искусно, по-немецки, засоленное сало. Под взглядом четырёх пар блестящих глаз она резала его и подавала каждому с ломтем чёрного хлеба и кусочком сладковатого, щекочущего в носу, сочного лука. Не вспомнить ничего лучше этой полуночной аппетитной еды за семейным столом!

Было это, правда, ещё до голодного 33-го года, когда на Украине опустели целые сёла: кто-то подался с семьёй или в одиночку куда глаза глядят, а большинство умерло от голода. Раздувшиеся трупы лежали на дорогах, в домах. Лето обещало быть урожайным, но как дотянуть до него изголодавшимся семьям колхозников? Всё живое, что можно найти в селе и поле, включая домашний скот, было съедено. Трава – тоже. Рассказывали, что дело доходило до людоедства, жертвами которого порой становились собственные или соседские дети.

Как теперь известно, причина того массового голода состояла не только в неурожаях, который постиг этот хлебородный сельский край в 1932 г. И даже не в том, что своего, крестьянского хозяйства не стало, а колхозное зерно было дочиста вывезено на государственные заготпункты. Просто государству показалось мало сданного зерна, и оно потребовало от колхозников дополнительных поставок. По сёлам поползла тревожная молва: забирают последний хлеб! Местные партийцы и комсомольские активисты ревностно шныряли по домам, чтобы выполнить спущенный сверху новый план.

Начинали они обычно с того, что разъясняли «текущий момент» и предлагали хозяевам «добровольно» сдать имеющееся зерно. После вполне естественного отказа начинался самостоятельный дотошный обыск. Всё найденное до последнего зёрнышка направлялось в сельсовет, а семья обрекалась на голодную смерть. В колхозе, где все обязаны были работать, кроме «палочек», т.е. учтённых трудодней, никто ничего не получал.

Помнится, приходили за «излишками» зерна и к нам, хотя отец работал на железной дороге кузнецом, а наша семья в местном колхозе с сакраментальным названием «Воля» не состояла и приусадебного участка не имела. Но я знал, что в нижнем ящике комода мать спрятала с полцентнера зерна белой кукурузы: все боялись, что Украину захватит голод. К тому же 12-ти килограммов ржаной муки, которые нам выдавали на месяц в качестве хлебного пайка, явно не доставало для семьи из пяти человек.

Так вот, появился однажды знакомый родителям односельчанин из местной партиячейки. Поздоровался по-казённому и начал заученно говорить матери, которая всего два года назад слышала первые украин-

ские слова, что-то про мировую революцию и необходимость помочь зерном или золотом родному пролетарскому государству. Не дождавшись желаемого ответа, он приступил к обыску. После проверки сарая, погреба, кладовки, квартирных закоулков, даже постелей очередь дошла и до комода.

Затаив дыхание, мы ждали, что будет дальше: и кукурузы жалко, если её найдут, и стыдно за сказанную неправду. Он выдвинул верхнюю большую «шुфляду», покопался в небогатом запасе одежды и белья. Заглянул во второй ящик: там – детские вещички и что похуже. «Неужели откроет и третий?» – со страхом подумал я, и сердце забилось часто-часто... Но – о, счастье! Нижнюю «шуфляду» он выдвигать не стал – то ли поленился нагнуться, то ли уже не надеялся что-нибудь найти.

Нашей радости не было конца. И не без основания: мать варила спасительную кукурузу до предельной мягкости, пропускала через мясорубку и подмешивала эту массу к тесту для выпечки хлеба. Мы оценили все достоинства кукурузы, когда её запасы иссякли и пришлось вместо этого довольствоваться подсолнечным жмыхом, который тоже водился у нас благодаря добычливости отца. Такой сырой, малоаппетитный хлеб я есть не мог, хотя голоден был постоянно. Теперь бы он, конечно, пошёл за милую душу!

Мы не могли знать, что тогдашний голод был организован сверху. Ведь, несмотря на недород, в 1932-33 гг. было продано за границу втрое больше зерна, чем в урожайном 1927 году. А поголовье скота упало за это время в СССР в 28 раз (!). В результате голода власти погубили около 10 млн. человек, не менее трети которых – дети. Это была настоящая война Сталина против крестьянства, проявившего, по мнению вождя, недостаточно «патриотизма» в ходе коллективизации 1929-31 годов.

Потом, правда, продовольственное снабжение начало понемногу выправляться. В 1935 г. с большой помпой отменили карточки. Появилась возможность (конечно, не без боя и очередей, в которые записывались с вечера) купить настоящий хлеб – белый, чёрный и пшеничный «серый», выпеченный из муки грубого помола. Белый по полтора рубля за кило – это, конечно, далеко не всем по карману. Чёрный стоил 75 копеек, а серый – 90. Какой вкусноты он был! Вспомнить – голова кружится. Да что там хлеб! В 1939 г. у нас, на небольшой станции Роя, даже копчёную колбасу можно было купить. Больше ста граммов мать не брала, но это был не столь уж малый кусок. А вкус, а запах! С самого 1928 года, когда своим хо-

зийством в Таврии жили, такой колбасы не видел.

Чёрт возьми, я, кажется, снова думаю о еде! А о ней думать нельзя: начинается резь в животе и слюни переполняют рот. Лучше буду вспоминать о прошлом. Хотя какое оно, это прошлое, если человеку всего-то 19. Немного, конечно, но сражаются же на фронте одноклассники, не сидят, как я, за колючей проволокой, не голодают. И всё из-за одного-единственного слова в паспорте — «немец». Зловещей тенью следует оно за мной. И бежит-то, кажется, сзади, а то и дело становится поперёк дороги.

А ведь как хотелось попасть в Красную Армию, любовь к которой у нас была поистине безграничной! Вместе с парнями из нашего класса, подгоняемый ленью, торопился я расстаться со школой, чтобы надеть хрустящую новенькими ремнями курсантскую форму — предмет всеобщей гордости и зависти. Все мечтали стать неотразимыми лейтенантами с двумя «кубарями» в петлицах. Об опасности никто не думал: в кинофильмах, на которые мы нередко убегали с уроков, наша славная армия легко и бескровно крушила врага.

Песни из тогдашних кинобоевиков с участием известных артистов были созвучны нашим по-юношески горячим и безрассудным чувствам. Подобно невидимому лучу пронзали они доверчивые сердца, вселяя веру в силу и мощь Красной Армии, родной страны, в твоё надёжное будущее.

Больше всего нам нравились бравурные припевы песен, звучавших в популярных фильмах «Если завтра война» и «Трактористы»:

На земле, в небесах и на море
Наш призыв и могуч, и суров:
если завтра война, если завтра в поход,
Будь сегодня к походу готов!..

Гремя огнем, сверкая блеском стали,
Пойдут машины в яростный поход,
Когда нас в бой пошлёт товарищ Сталин
И Первый маршал в бой нас поведет!..

Эти песни звучали по радио, с эстрадных подмостков и в обыденном молодёжном кругу. Они были отражением того ура-патриотического психоза, который умело инспирировался советской пропагандистской машиной в преддверии войны.

Отрезвление наступило в первый же месяц, когда оказалось, что события на фронте развиваются «с точностью до наоборот» по сравне-

нию с тем, о чём пели мы и так много говорилось с высоких трибун. Один за другим оставляла «несокрушимая и легендарная» крупнейшие города на западе страны. Фактически беспрепятственно прошли германские войска сквозь секретные укрепления на старой (до 1939 года) государственной границе СССР. В панике, с огромными потерями отступала Красная Армия вглубь страны. Как издевательство над здравым смыслом воспринимались пассажи, подобные напечатанному в «Известиях» 15 июля 1941 года: «Итоги трёх недель войны свидетельствуют о несомненном провале гитлеровского плана на молниеносную войну. Лучшие немецкие дивизии истреблены советскими войсками...» Таким сообщениям уже никто не верил. На смену эйфории пришла другая крайность — разочарование и пессимизм. У всех на устах был один и тот же мучительный вопрос: ПОЧЕМУ?

«Сталин успех вермахта объяснял внезапностью нападения и вероломством. Это для народа начало войны было внезапным, но даже он интуитивно чувствовал её приближение. Но Сталина ведь каждый день извещали о замыслах Гитлера, значит, для него война не могла быть внезапной. Не было и вероломства, ибо глупо было требовать от Гитлера, чтобы он заранее предупредил Сталина о своих намерениях», — напишет полвека спустя В. Пикуль в книге «Барбаросса». И завершит свои размышления по данному поводу примечательными словами: «Гитлер обманул Сталина, а Сталин обманул ... самого Сталина, — именно так было заявлено потом на Нюрнбергском процессе».

Конечно, и мы пытались рассуждать — главным образом про себя — на эту неимоверно трудную тему, приходя к сходным мыслям и догадкам. Но это было потом, когда разразилась война. А тогда, в 40-м, пустели парты моих одноклассников, я же, к своему удивлению, дальше медицинских комиссий так и не продвинулся. Прямо о причине моей задержки мне никто не говорил, очевидно, не желая горькой истиной отравить молодую душу. А я, сомневаясь, продолжал верить в несуществующую справедливость, упрямо бил в одну точку: во что бы то ни стало поступить в военное училище. И вот однажды, в конце 9-го класса, не улыбочивый «сухарь» Абб, тщетно пытавшийся научить нас немецкому языку, сказал мне наедине:

— Не теряйте зря времени, молодой человек. Заканчивайте среднюю школу. Это единственное, что Вам действительно может пригодиться.

Тут я впервые по-настоящему осознал, что значит быть немцем в стране, «где так вольно дышит человек». Раньше это клеймо преследовало меня и братьев дразнилками типа «немец — перец, колбаса» или неспровоцированными затрецинами наших сельских забияк. Теперь

же я столкнулся с несправедливостью на «взрослом уровне», когда обида воспринимается с особой болью. Оказаться выброшенным из ряда вон — что может быть более оскорбительно для человека в 17 лет!

И всё-таки мне пришлось смириться с участью «верблюда», осознать, что с немецкой национальностью в военное училище не попасть. Это было первое, но далеко не последнее крушение моих надежд. В данном случае — иллюзорных, присущих детству, когда мир видится в красочных тонах.

Пришло «серое» отрезвление, но инфарктным рубцом осталась на сердце обида. Тоже отнюдь не последняя. Она резала сильнее голода и холода: ведь и я мог бы воевать, а не преступником лежать на лагерных нарах. С винтовкой наперевес идти в атаку, отбиваться от нападающих «мессершмиттов» из кабины стрелка-радиста ТБ, мчаться в танковом строю навстречу врагу, командовать дивизионом дальнбойных пушек. Именно в училища этих родов войск тщетно пытался я пробиться в 40-м году. Но не доверили немцу, не меньше других любящему свою Родину, оружия. Не доверили...

Эту свою участь я впервые зримо постиг в августе 1941 года, когда, получив повестку из райвоенкомата с требованием явиться с кружкой, ложкой и т.д., неожиданно обнаружил там только своих соплеменников разного возраста. Стало яснее ясного, что судьба нам уготовлена совсем иная, чем мобилизация на фронт. Какая именно, никто не знал, но все чувствовали, что не к добру это. Оттого ходили, понутив головы, мужи с вопросами на устах: «Куда нас отправляют? Что будет с семьями, ведь фашисты с каждым днём всё ближе к нашим сёлам?»

О себе не думали, будто знали, что их судьба предрешена: почти все «мобилизованные» тогда мужчины погибли в лагерях Ивделя, Краснотурьинска, Тавды и других северных уральских городов, не дожив даже до следующей весны. Уже в начале 1942 года там не осталось трудоспособных вообще — одни скончались, других «сактировали» и отправили к семьям на их новые после депортации места жительства в Сибирь и Казахстан. Тех, кто не умер по дороге и немного подкормился дома, вскоре снова забрали «по мобилизации».

Типичной в этом смысле оказалась судьба Павла Фигера, приславшего свои воспоминания из Таджикистана. До войны он жил в селе Кандель, Зельцского (Фридрих-Энгельсовского) немецкого национального района, что под Одессой. В 1941 г., сразу же после окончания семилетки, его направили в Одесскую школу ФЗО. А через месяц началась война. В августе, пишет он, всех немцев из их группы вызвали по

повестке в военкомат и сказали, что призывают в армию, а куда — это дело секретное. «Тайна» стала раскрываться тотчас, как только их посадили в проходящий эшелон, где оказались одни немецкие мужчины и юноши. В Свердловске «мобилизованных» распределили по стройкам и поселили в лагерях для заключённых. Павел попал на лесозаготовки для строительства Богословского алюминиевого завода (Базстрой НКВД СССР). Их полностью изолировали от внешнего мира. Кроме леса, они ничего не видели и ни о чём не знали. По слухам, их лагерь находился неподалёку от Турьинских Рудников (впоследствии — Краснотурьинск).

Бригаду из юношей 16-17 лет, как и остальных, водили на лесоповал под конвоем, хотя убежать никто не пытался, да и физически не мог. Привезли их в сентябре, когда уже начались холод и снег. А люди были одеты по-августовски легко — о зимней одежде в повестке ничего не говорилось. И выдавать её начальство не собиралось. У Павла тоже не было ничего, кроме летней формы. Шинелька, тонкие хлопчатобумажные брюки, ботинки и казённая фуражка совершенно не годились для уральских морозов, которые с каждым днём становились всё сильнее.

Работа в лесу длилась от темна до темна, а остальное время 12-часового рабочего дня уходило на пешие переходы до делянки и обратно. Каждый день, без выходных. Основная еда — 700 граммов хлеба в день при условии выполнения нормы. Приварок — трёхразовый «суп» — можно было в расчёт не брать: он состоял из одной воды. Нормы были практически невыполнимы, и лесорубы «сидели» на шестистах граммах хлеба, что означало неизбежную голодную смерть.

Через два месяца из бригады в 18 человек осталась в живых половина, и их перевели на отсыпку земляного полотна для лесной железной дороги. Но долбить мёрзлую болотистую землю было ещё тяжелее, чем работать на лесоповале. Подняться до желаемых 700 граммов вконец ослабевшие люди уже не могли. В результате к февралю 1942 года в бригаде осталось только 5 человек. Но и они, подобно многим другим, из-за полного истощения больше не выходили на работу. Поскольку весь лагерь оказался нетрудоспособным, сверху решили списать оставшихся по инвалидности («отбраковать за непригодностью») и отправить «по домам», т.е. на места ссылки в Сибири и Казахстане.

Павел Фигер — только один из многих украинских немцев, «мобилизованных» в конце августа 1941 года и посланных на верную гибель на восток страны. Встретить выживших с такой судьбой удаётся так же редко, как и «списанных», которые сумели добраться живыми

до места назначения. К подобным людям принадлежит Яков Келлер, который жил до войны в немецком селе под Бердянском (Запорожская область). В ночь с 3 на 4 сентября 1941 года всем здешним мужчинам от 16 до 60 лет вручили повестки. Они шагали пешком 13 дней и пришли в Харьков, к тюрьме «Холодная гора», где всех распахали по камерам. Потом их, вместе с другими немцами, отправили со станции Валуйки (ныне Белгородской области) в переполненных вагонах на восток.

Один раз в сутки открывалась дверь, и конвоиры просовывали в щель булку хлеба на 6-7 человек, а также по кусочку селёдки и кружке воды на каждого. Ехали месяц без свежего воздуха, неумытые, обросшие, завшивленные. Когда на распределительном пункте Ивдельлага вагоны открыли, люди падали от слабости, многие не могли самостоятельно двигаться.

Жили в лагере за колючей проволокой, под конвоем ходили на работу и заготавливали в лесу древесину. Тяжелее всего было в 41-м и 42-м, когда очень многие умерли от голода. Яков остался жив только благодаря хорошим людям, которые жалели малолеток. Одна из них — Нина Николаевна Мотина, начальница лагерной санчасти. Благодаря ей его «сактировали», и ему удалось добраться до сибирского города Ленинска-Кузнецкого, куда были выселены мать и сестра. А отец умер от голода в их смертном лагере.

Одним из известных документов, на основании которых проводилась поголовная «мобилизация» немецких мужчин на ещё не оккупированной территории Украины, был Указ Президиума ВС СССР от 22 июля 1941 года. Он давал право выселять из районов, где было объявлено военное положение, граждан, относимых к «социально опасным элементам». Нет сомнения, что власти, в первую очередь карательные органы, прилагали максимум усилий, чтобы успеть «вырвать» из рук наступающего противника хотя бы мужчин немецкой национальности.

В принципе такие меры можно было бы считать целесообразными и в известной степени оправданными. Если бы не одно «но» — отправленные на Урал «мобилизованные» немцы были размещены не где-нибудь, а в охраняемых лагпунктах ГУЛАГа СССР. При этом первые нормативные акты, закреплявшие «лагерный» статус таких людей, появились только 3 месяца спустя. Так, 7 октября 1941 года вышло Постановление СНК СССР № 2130-972 «О выделении рабочих колонн из военнообязанных», регламентировавшее использование необученных военнообязанных старших возрастов, включая «мобилизованных» нем-

цев, в «рабочих колоннах». А 26 ноября 1941 года Приказом наркома НКВД СССР было предписано сформировать из «мобилизованных» немцев строительные батальоны, которые впоследствии также получили название «рабочих колонн», но местами, например в Ивдельлаге, сохранились в первоначальном виде вплоть до 1946 года. Именно немцы, выселенные в соответствии с Указом от 22 июля 1941 года, попали в наиболее бесправное и тяжёлое положение. Оно привело к почти полной гибели 30-40 тыс. человек немецкой национальности, «мобилизованных» на территории Украины.

Так органы НКВД наработывали репрессивный опыт для предстоящих массовых операций по заключению в концлагеря практически всех трудоспособных российских немцев и граждан других национальностей, родственные страны которых воевали с СССР.

А мне в августе 41-го повезло: после долгой, в несколько сотен фамилий переключки в военкомате вышел перед строем командир и объявил: «Члены партии и комсомольцы — с вещами выйти из строя! Остальные — нале-ву, шаг-ом марш!»

И ушли мои беспартийные и несоюзные соплеменники в неизвестность, а большинство — в небытие, образовав «контингент» первых концлагерей, бывших немецкими по составу и советскими по принадлежности, а затем и первые могильники вокруг них.

Окончательно рухнула моя надежда попасть в армию в Новочеркасском военкомате, что в Акмолинской области, куда нас выселили снежной осенью 1941 года и откуда в конце января 42-го отправляли, — уже не скрывая, что не на фронт, а по «трудмобилизации». Догнала-таки меня моя судьбинушка, не миновала общая для российских немцев горькая чаша изгоя! Пропала последняя надежда защитить свою честь и доброе имя, попасть на фронт — пусть в самое жаркое пекло, но всё-таки на фронт!

Да, мечтал в Красную Армию, а попал в концлагерь, как враг Советской власти или уголовный преступник! И не только я. Сотни тысяч моих соплеменников оказались за колючей проволокой лагерей с караульными выпсками, вооружённой охраной и оскорбительными выкриками конвоиров. Да и «посадили»-то как! Через военкомат, по форменной повестке: «с кружкой, ложкой, десятидневным запасом продовольствия», будто и впрямь на фронт призывают. В действительности же в военкомате нас вовсе не «мобилизовали в рабочие колонны», а арестовали, чтобы в качестве «спецконтингента» бросить в лагерь и заставить работать под страхом оружия и голодной смерти, как отпетых негодяев и тунеядцев.

Эта была продуманная, очень далеко идущая ханжеская двусмысленность. Выходило, что «трудмобилизованных» немцев никто не арестовывал, не предъявлял им обвинений, не судил и будто бы вовсе не репрессировал. А между тем они на долгие годы оказались за высокими заборами ГУЛАГа НКВД СССР. Пройдёт много лет, и известный белорусский писатель Алесь Адамович скажет об этом времени, полном лжи и лицемерия: «Мы как-то забываем, что любая российская власть, как её ни назови, по сути всегда оставалась 'кремлёвской'. Беспардонная ложь в глазах, предательская жестокость, лицемерие, хамство. Притом без страха быть уличёнными. Кремлёвский горец Сталин всё это возвёл в степень высшего искусства...»

Ещё категоричней высказался по поводу лживого образа жизни в сталинском государстве американский историк Роберт Конквест. В книге «Большой террор» он отмечает такие характерные черты сталинизма, как тотальная фальсификация общественной жизни, всеобъемлющая ложь, пропитанная ложью жизнь. Ложь долгая, настойчивая особенно эффективна. Ложь была, по мнению Р. Конквеста, основным «козырем» Сталина. Масштабы её невероятны...

50 лет спустя, в период «перестройки», юристам долго пришлось ломать голову над правовым парадоксом: как реабилитировать, т.е. снять неправомерные обвинения с тех, кого в действительности не обвиняли, не судили, а просто «мобилизовали» через военкомат и поместили за колючую проволоку?

Поразмыслив над этим вопросом, приходишь к выводу, что метод «неформальных» репрессий против «неблагонадёжных» народов не умалил, — как, возможно, считали кремлёвские лицемеры — а, напротив, усиливал вину государства перед своими жертвами и в ещё большей мере означал нарушение прав человека, чем, скажем, при предъявлении ложных обвинений. Хотя в конечном итоге участь жертв была одинаковой — отправка в лагерь того же НКВД.

Так далеко я в своих тогдашних размышлениях, конечно, не заходил, и думы у меня были совсем иные. Но обида ни на миг не переставала беречь душу...

Мысли мыслям рознь. О вещах неприятных мне в то время вспоминать не очень-то хотелось. В нашей лагерной жизни их и без того было предостаточно. Лучше ещё раз вспомнить о последних днях свободы, об отце, матери, а потом уж спать.

В дальнюю дорогу меня снабдили самым ценным, что было в нашем ссыльном казахстанском жилье, — ватным одеялом и почти полным мешком свежеспечённого «серого» хлеба. Как кузнецу и

нужному для колхоза новому кадру отцу в порядке исключения выписывали иногда десяток-другой килограммов пшеницы. После ручного размола она становилась грубой, с отрубями, но ценной, как золото, мукой, из которой и готовились блюда ежедневного нашего меню, включая, конечно, хлеб. Ноша была тяжёлой, верёвочные лямки больно резали худые плечи, но это не вызывало злости, хотя волочить ноги по снежной, рыхлой дороге от Новочеркасска до Атбасара пришлось километров 30.

Отец всю дорогу шёл рядом, и я был благодарен ему за эти провода. Он пытался помочь мне, то взваливая мешок себе на спину, то подерживая его снизу, чтобы уменьшить нагрузку на мои костлявые плечи. Шли главным образом молча. Да и о чём было говорить, если всех ожидала полная неизвестность? Запомнился только совет отца: держаться тех людей, у которых имеется что-нибудь съестное. Он и представить не мог, что наступает время тотального голода, когда у всех не будет ровным счётом ничего. Отец тоже был «мобилизационного» возраста, но его «временно» оставили работать в колхозе. Впереди была весна, а старая посевная техника нуждалась в серьёзном ремонте. Забери кузнеца — останется колхоз без хлеба, да и государство окажется в убытке. Такими доводами председателю колхоза удавалось отстаивать отца перед районной верхушкой НКВД не только в эту, но и во все последующие немецкие «мобилизации».

Истинную цену своей ноши я узнал уже в первые дни после «призыва»: никто нас кормить и не собирался. Ни в Атбасаре, ни в Акмолинске, где мы неделю дожидались то ли направления, то ли вагонов для отправки. Каждый день приносил всё новые вести: то нас посылают на прокладку железной дороги, то на лесозаготовки, то на уральскую стройку. А когда эшелон был подан, мы с Яковом Нейфельдом, которого по причине полного отсутствия съестного я взял на довольствие, забрались на нижние нары, укутались в моё ватное одеяло и всю дорогу грызли замёрзший, слегка отогретый нашими телами хлеб. Видимо, новый знакомый примкнул к моему обществу безо всяких советов, исходя лишь из логики голодного человека.

Выручил нас тогда отцовский хлеб! Не будь его — не знаю, что стало бы с нами за полмесяца, пока нас доставили из Атбасара до станции Потанино, в этот самый бакалстроевский лагерь. Теперь бы хоть горбушку из того мешка, чтобы ещё раз наесться!

Но я, кажется, опять поворачиваю на проторённую дорожку. От этих мыслей о еде один вред — ещё больше есть хочется...

Надо вспомнить что-нибудь из долагерной, свободной жизни. Толь-

ко не связанное с едой, иначе не уснуть и мучиться до самого утра. Да, вот в Акмолинске любовались мы самыми настоящими кавалеристами. Ладные длиннополые шинели с бапшыками, чубы из-под красно-верхих папах красуются, сабли свисают на боку. Под наездниками кони стройные, снег брызгами из-под копыт. Всё интересно и необычно, будто ожившие картинки с сюжетами времён гражданской войны. Кавалерия готовилась к фронтовым боям. Я смотрел на них с завистью, тем более безнадежной, что не способен был усидеть даже на самой смирной лошадке.

Первый и последний раз я пытался это сделать, когда в спешном порядке должен был возвратиться домой «из окопов» для объявленной на 28 сентября 1941 года отправки в Казахстан. Километрах в 30-ти от нашей станции и одноимённого села Роя мы, десятки тысяч человек, вручную копали многокилометровый противотанковый ров полного профиля, который должен был преградить путь германским войскам, продвигавшимся к индустриальному Донбассу.

На ночном, по-южному чёрном небе не затухало зарево. Это вдали, на западе, полыхали пожары и угадывались вспышки ещё слышимых взрывов. Днём и ночью высоко над нами, как-то по-особому взывая, безнаказанно носились немецкие самолёты. По пыльным дорогам двигались отступающие тыловые части, вперемешку со стадами коров и овец бесконечной чередой ехали и шли смертельно уставшие мирные люди. Всё говорило о приближении недалёкого уже фронта, и оттого на душе было особенно мутно. До оккупации нашего края оставались три недели.

В один из таких дней верхом и со второй лошадкой на поводу за мной прибыл посыльный от нашего сельсовета. Поскольку мы являлись единственными немцами в селе, нетрудно было догадаться, что «эвакуация», как и августовский «призыв», коснётся одних наших соплеменников. Это известие, конечно, тревожило, но одновременно и успокаивало: оно могло внести хоть какую-то ясность в вопросы, над которыми бились у нас дома в преддверии надвигающегося фронта.

Не было, наверное, тогда ни одной семьи, которая бы не испытывала страха перед неотвратимым будущим. Мы же чувствовали себя особенно уязвимыми. Отец слыл рабочим-активистом, был награждён, избирался делегатом Всесоюзного съезда кузнецов-стахановцев. Старший брат являлся курсантом Ташкентского пехотного училища, я – комсомольцем. Коль скоро фашисты не уничтожат нас в качестве большевистских активистов, считали мы, то попытаются как немцев в первую очередь заставить себе прислуживать.

Откажемся – расстрел. А изменим своим убеждениям, продадимся врагу – расстреляют наши, когда возвратятся (в том, что Красная Армия вернётся, у нас сомнений не было). Как нам тогда казалось, лучшим выходом из этого критического положения была бы наша эвакуация в далёкий восточный тыл. Правда, это только сказать легко, а сделать без гроша в кармане ох как трудно!

Так мы и жили в тревожном ожидании. И вот – «эвакуация»... Она намечена на послезавтра. Но как проехать 30 километров верхом, если тебе ещё никогда не доводилось по-настоящему сидеть на лошади?

День склонялся к вечеру, когда мы с мальчишкой-посыльным тронулись в путь. С его помощью я еле-еле забрался на довольно смирную лошадедку, однако с первых же шагов мы поняли, что на голом крупе костлявой скотины мне, такому же худосочному, далеко не уехать. Я подложил под себя всё, что имел из вещей. Сидеть, конечно, стало мягче, но – вот беда! – подстилка то и дело сползала на бок, а вместе с ней валился с лошади и я.

Мой провожатый в конце концов не выдержал такой «езды» и, кое-как объяснив дорогу, ускакал. Пришлось мне в одиночку воевать с неумелым всадником, то есть с самим собой. Домой я прибыл далеко за полночь, разбитый физически и морально. Половину дороги пришлось прошагать пешком, предпочтя привычный способ передвижения экстравагантному конному.

...Проснулся, когда барак уже сдержанно гудел перед наступлением нового нелёгкого дня. Силой, поднявшей людей в эту зимнюю темень, была не железная необходимость идти на работу, – это подразумевалось самой сутью лагерного существования – а предвкушение радости от получения столь желанной утренней пайки – куска тяжёлого, глинообразного хлеба и пустого «супа», т.е. черпака мутной водички. Вес хлеба и количество супа целиком зависели от «вольного» прораба, который закрывал наряды. Это должен был делать добрый по натуре и смелый человек: выполнить норму никто из нас, конечно, не мог. Вольнонаёмные организаторы работ понимали: многого с голодных, обессиленных людей не возьмёшь. Стало быть, не писать «туфту» нельзя – все перемерут, стройка остановится. Да и люди ведь, хотя и немкура...

Наиболее волнующий момент наступающего дня – это получение хлеба. Первое движение, первые шаги после подъёма – к ящику с пайками. Его уже успел принести бригадир со своими подручными, в задачу которых входила охрана хлеба от посягательств. Первый оценивающий взгляд, устремлённый на ящик: велики ли куски, хороша ли выпечка, где именно лежат горбушки – самая пропечённая, а значит и

наиболее лёгкая часть булки, отчего и пайка выходит больше? Много ли паек без довесков? Такие куски вызывают недоверие: или в хлебо-резке опять жульничали, или по дороге помощники бригадира успели поживиться. Вряд ли так точно можно разрезать булки, чтобы до-веска не было!

Теперь предстоит занять место в очереди, да такое, чтобы достался желаемый кусок. Если уж не горбушка, то хотя бы с довеском. Конечно, сделать это надо без нахальства, всем ведь горбушки хочется! Последним достаются пайки без довесков. Нередко со скандалом – вот, дескать, след от палочки, которой довесок был припилен.

Однако самое тяжёлое впереди: надо так разделить драгоценный кусок, чтобы на три раза хватило. Хорошо бы! Но тогда дольки будут такие маленькие, что не почувствуешь даже признаков еды. Как же быть? На завтрак, конечно, кусочек нужен, иначе сил работать совсем не будет. Вечером тоже надо – врагу не пожелаешь голодного сна. Значит, придётся делить на две части. Обед, считай, всё равно нет. Баланда, которую из лагеря привозят на завод, – одна вода, даже ложку с собой носить не нужно. Если и попадутся крупинки три-четыре или один-два кусочка турнепса, так их можно достать и пальцами. На этом проблемы с хлебом не кончаются, ещё остаётся решить почти нерешаемое. Если оставить половину пайки в бараке, то могут утащить. Пропадёт хлеб, как уже не раз бывало. А взять с собой на работу – не удержишься от соблазна, съешь, не дотянув до обеда. Но как же тогда быть вечером? Опять голодным ложиться спать? Ведь и на ужин тоже одна вода... После долгих колебаний вопрос решается, как правило, в пользу собственного слабоволия: сумочку с хлебом вместе с котелком покрепче привязываешь к ремню и отправляешься на работу.

Большинство заводит котелок побольше, литров эдак на 4-5, только бы в раздаточное окно влез. Это своеобразный способ психологического давления на повара: нет-нет, да и стыдно ему станет наливать в такую большую ёмкость поллитра супа, зачерпнёт чуток добавки. Особенно, если попросить жалобно и подальше голову в окошко просунуть, чтобы в лицо ему взглянуть.

Увы, такое счастье выпадает нечасто. Чтобы сбить огорчение, многие из кухни движутся прямо к кубовой и доливают в свою посудину кипяток. Всё едино, конечно, вода, но зато объёмом побольше. Над такими, да и над самим собой, подтрунивали без улыбки на лице: «Ешь вот, пей вот – ср... не путешь никто!»

Были и другие способы самообмана, не спасавшие, однако, от мучительного голода. Считалось предпочтительней, например, не съе-

дать отведённую дольку хлеба «в натуре», а варить её в разбавленном кипятком «супе» до тех пор, пока она полностью не разойдётся и не получится нечто вроде поилы для свиней. Им тоже можно доверху наполнить брюхо, но сытости всё равно не почувствуешь. Даже крохотное «премблюд» исчезало в бездонном желудке, не оставив желаемого следа.

В отчаянных попытках сохранить угасающую жизнь каждый, как мог, комбинировал с единственной реальной ценностью ГУЛАГовских лагерей – тощей пайкой хлеба – в суеверной надежде, что дважды два дадут-таки пять. Я тоже ломал голову над этой неразрешимой задачей, но до такой степени отчаяния всё-таки дойти не успел. У меня ещё доставало здравого смысла понять, что вода, как ни крути, останется водой. Главное, считал я, что при таком способе потребления «исчезает» сам хлеб как таковой. А он был единственным в нашем рационе продуктом, который, хоть на мгновение, но позволял опутить в желудке нечто «материальное», вещественное, напоминавшее, что ты что-то жуёшь, а не только пьёшь пустую воду.

...В 7 утра по баракам раздаётся привычная команда:

– Развод! Выходи строиться!

И уставшие уже с утра от бессилия люди медленно тянутся к выходу. Анемичный бледный рассвет смешивается с поблекшими лучами прожекторов. Из-за проволочной ограды доносится лай овчарок, непримиримых наших врагов. Бригадир уточняет последние данные, чтобы на главной аллее доложить нарядчику колонны из своих немцев: всего в бригаде столько-то людей, выбыло, прибыло, больных, на построении столько! Строимся по пять в ряд. Побригадно. Поколонно. Это важно, чтобы не было заминки при прохождении ворот.

Ответственный из лагерного начальства за развод кричит в разбавленную морозную темень:

– Стройотряд, равняйся!

Но равнение не получается, и помощники по быту («помпомбыты»), заменяющие своих ленивых начальников колонн из вольнонаёмного состава, суетливо бегают вдоль нестройных рядов кое-как, не по-зимнему одетых и обутих людей. Их домашняя одежда и обувь давно прохудились, а новые выдают только «в порядке исключения», когда человеку уже совершенно не в чем выйти на работу.

– Куда вылез, старый осёл?! Совсем ослеп, что ли? Ну-ка, сдай назад! – кричат бригадиры и помпомбыт, стараясь выровнять хотя бы первые шеренги «доходят».

– В затылок, в затылок равняйтесь! Как у ворот вас считать прика-

жете? Опять стоять на морозе будем?!

Наконец, начальство делает вид, что построением довольно:

— Смирна-а-а! Нале-ву! Ша-гом марш! — и в морозную предутреннюю тишину врываются звуки духового оркестра. Ритмичная мелодия праздничного с грустинкой марша «Прощание славянки» никак не вяжется с видом серых, в изодранной одежде, обессиленных, исхудавших людей. С трудом передвигая ноги, послушно подчиняясь заданному ритму, спотыкаясь и переступая через упавших, идут безостановочно бригады — ничто не должно задерживать торжественно-траурную процедуру развода. Идут к воротам, на которых красуется патристический лозунг: «Всё для фронта, всё для победы!» Всё, всё без остатка и — любой ценой! В том числе и ценой моральных мук, тяжких в неменьшей мере, чем физические. Их красноречивым символом являются лагерные ворота. Там начинается неограниченная власть вооружённого конвоя.

— Вторая колонна, 15-я бригада, 18 человек! — тем временем на ходу выкрикивает бригадир. Начальник конвоя вносит цифры на лист фанеры, с успехом заменяющий дефицитную бумагу. К этому моменту его заместитель уже успел сосчитать людей. А в воротах появляются всё новые и новые бригады. Одна за другой, одна за другой. Поистине, развод — это результат виртуозной работы всей лагерной службы!

За воротами нашу бригаду вмиг окружают конвоиры с винтовками наперевес, будто изготовившиеся к атаке на врага. Тут же проводники с овчарками, рвущимися с поводков. Раздаётся уставное требование, звучащее из уст старшего конвоира:

— Из колонны не выходить! Шаг влево, шаг вправо — стреляю без предупреждения!

К выкрикам конвоира за год уже попривыкли, но они не перестают шокировать своей безрассудностью. К чему весь этот абсурдный спектакль? Не с отпетыми же уголовниками дело имеют, а с нормальными, безобидными людьми, неизвестно зачем посаженными за проволоку...

— Прекратить разговоры! — то и дело раздаётся со стороны конвоя, хотя все давно уже привыкли молчать.

Дымящаяся от дыхания нескольких тысяч людей, окружённая с обеих сторон цепью конвоиров, извилистая лента колонны протянулась почти до самых заводских ворот — а ведь между двумя воротами более полукилометра. Там снова идёт поштучный, как у баранов на бойне, пересчёт. Это нас «принимает» охрана заводской зоны. Бригады рабочих карьера, прессов и сушилки, садчиков и выгрузчиков обжигных печей вливаются в заводские ворота на очередную 12-часовую смену. По-

зади остался конвой, яростный лай служебных собак, надрессированных в охоте на людей.

В 8 вечера эта унижительная процедура повторяется заново. Обстоятельно, не торопясь, с соблюдением многочисленных параграфов и пунктов устава, рассчитанных не только на сохранение численности, но и на моральное третирование бессловесного немецкого «контингента», делают своё дело караульные. А отставшие бригады стоят и ждут, пока все не соберутся. Выйти из зоны должно ровно столько, сколько туда зашло. Живых или мёртвых — неважно, главное — чтобы количество с фанерным сошлось.

Люди ждут на морозе, в дождь, в пургу. Недостающих — такое нередко бывало — ищут по всему заводу и находят вконец ослабевшими, при последнем издыхании. Иногда — уже мёртвыми. Доставляют, к великой радости очоленевшей, заждавшейся бригады и к вящему удовольствию охраны, которая, наконец, может смениться с караула. К удовольствию конвоиров, которые доставят в зону «полную численность». К удовлетворению руководства, которое будет избавлено от волнений общей тревоги по случаю побега.

Больше всего довольны сами «трудмобилизованные». Шустро, насколько позволяют силы, не заходя в бараки, спешат они к кухне, чтобы получить свои 500 граммов «супа». Не сумев побороть в себе желание немедленно утолить голод, многие тут же, не сделав и двух шагов, выпивают содержимое котелка, влезают в него с рукавами, шарят по дну скрюченными от холода грязными пальцами в поисках чего-нибудь «существенного», которое должно же там быть! Но, к привычному огорчению, ничего не находят. А оставленный на ужин хлеб, конечно, уже съеден.

Потом в бараке они горько, до слёз пожалеют о минутной своей слабости, видя, что соседи ложками, как приучили их матери, а то ещё и с хлебом смакуют этот «суп». Но потерянному не вернёшь. Остаётся лишь попытать счастья у кухонного окошка. Может быть, откроется оно и кому-нибудь из сонма страждущих перепадёт полчерпака. А если ничего не достанется, то всё равно стоит помёрзнуть несколько часов, пока начнётся мытьё котлов — возможно, позовут несколько человек на подмогу обленившимся поварам. И тогда все остатки в котле твои: проваренные до мягкости рыбы кости, зёрна перловки или овса, а то и комки грубой мучной затирухи.

Совсем плохо, если не перепадает ничего: тогда впереди мучительная и голодная ночь. А утром — на работу.

И так — каждый день. В шесть утра — подъём, в семь — развод, в во-

семь – начало работы. Безостановочно функционирующие механизмы – бронсберг для подъёма вагонеток из чрева крытого карьера, мельница и пресс, из-под которого нескончаемым потоком выходят аккуратно отсечённые бруски кирпича, – диктуют режим работы всего завода.

– Давай! Давай! – слышится в карьере.

– Давай! Давай! – торопятся на завалке, подгоняемые бесконечным потоком вагонеток.

– Давай! Давай! – наступают друг другу на пятки загрузчики сушилок.

– Давай! Давай! – стоят над душой у садчиков обжигных печей бригадиры.

А выпрузчиков готового кирпича, безвинно попавших в ад земной, – иначе не назовёшь работу у обжигных печей – и подгонять особо не нужно. Кирпич ещё настолько горяч, что дымятся брезентовые рукавицы, жаром полыхает от раскалённых стен и потолка. Тут всё приходится делать быстро, чтобы до волдырей не обгорели руки. Спасение только в скорости, которая, однако, отнимает последние силы.

Обжигным печам не дают остыть положенное время. Это потому, что «кирпич давай!» кричит набирающая темпы стройплощадка за Першино. Всюду одно и то же: «Давай! Давай!» Требовательный клич раздаётся сверху, из Москвы, и по иерархической лестнице Главпромстроя НКВД докатывается до вконец измочаленных исполнителей. Этот рождённый «социалистической индустриализацией» способ принуждения уже перестал действовать на немцев, совсем ещё недавно таких работающих, и даже тот, кто никогда по-русски сочно не сквернословил, ворчит себе под нос со злостью:

– Был тафай, та х... потавился! – и чуть полегче у него становится на душе.

В 2 часа перерыв на «обед», хотя и пяти минут достаточно, чтобы выпить через край котелка поллитра водички. Другое дело – отдых. Можно расслабиться, даже уснуть в местечке потеплее. Главное – снова подняться на непослушные ноги и почувствовать немало сил в руках.

– Давай! – и опять запущены машины, вновь забило сердце завода – пресс, а за ним в вынужденном ритме заработала и вся цепочка заводского конвейера. До конца смены остаётся ещё 5 долгих мучительных часов...

В 8 вечера заступает вторая смена, которую конвой к этому времени уже доставил на завод. В 9 – ужин, в 10 – проверка. На умывание нет

ни желания, ни сил, ни мыла, ни тёплой воды. А холодная отпугивает даже бывших аккуратистов, и большинство ложится спать не умываясь, не раздеваясь, не согревшись, не успокоив страдающую от голода и унижения душу.

Прожит ещё один мучительный день невыносимо медленно тянущегося лагерного времени.

А ночью, примерно в полмесяца раз, бригаду неожиданно поднимают в баню. Получив ложку жидкого мыла, похожего на колёсную мазь, и тазик тёплой воды, оттираем с себя слой грязи, прожариваем в дезкамере и без того расплзающуюся одежду, меняем казённое бельё. Парикмахер по-немецки старательно стрижёт «под ноль» светлые, рыжие, чёрные головы, бреет той же масти бороды и другие волосные места, дабы не заводились насекомые, но главное, чтобы «трудмобилизованный» лагерник не лишился «особых примет», а блюстители режима – испытанного «парикмахерского» способа унижения человеческой личности. Благо, доступ к «этим местам» предельно прост: у большинства вместо некогда мускулистых рук и ног остались только костлявые палки.

Украдкой, не веря глазам своим, всматривались мы друг в друга тревожно и пристрастно, как в зеркало. «Неужели я выгляжу таким же 'доходягой'?» – невольно возникал немой вопрос. Другого способа увидеть себя не было: бритвы иметь запрещалось из соображений лагерной безопасности, а без них зеркало ни к чему. Но витавшая вокруг мысль о голодной смерти в голове всё-таки не застревала. Ведь шло время нашей молодости, каким бы тяжким оно ни было. К лагерному бытию мы относились легковесней, чем зрелые мужчины. Нам приходилось думать только о самих себе, о желудке, о проволоке, о недозволенном фронте, об ущемлённом самолюбии. Наппи мысли и чувства были устремлены вперёд, в будущее, которое, как мы надеялись, будет у каждого. В этом, на мой взгляд, и состояла одна из причин, по которым нам, молодым, удалось тогда выжить в том непридуманном аду.

Обо всём этом спустя годы вспоминали мы, уже поседевшие мужи, в невесёлых беседах с Яковом Ваккером, председателем некогда известного в Киргизии немецкого колхоза «Труд», и пенсионером Эммануилом Герценом, бывшим работником республиканского статуправления. Они тоже были в 4-м стройотряде в том злополучном 1942 году. Даже работали мы где-то рядом, в одной, так сказать, технологической связке кирпичного завода.

Яков Ваккер копал и грузил в карьере синевато-сизую гончарную

глину, я подстраивал рельсовые пути к забою, а в промежутках открывал вагонетки к «канатке» и подавал в забой порожняк. Поднятые бронсбергом наверх по наклонной эстакаде вагонетки попадали к Эммануилу Герцену в завалку, а глина – к мельницам, глиномешалке, прессам. Чтобы опрокинуть кузов полуторатонной вагонетки, надо было навалиться всем телом на один её край. Кроме собственного веса, для этого требовалась ещё и недюжинная сила. Ни того ни другого ни у кого уже не было. Не хватало веса даже двух мужчин. Мучились страшенно, вплоть до беспомощных слёз, ведь вагонетки всё шли и шли. Не успеть выгрузить одну из них означало остановить весь конвейер, который начинался в утробе карьера. А работать надо было на дощатой эстакаде, на холоде, без зимней одежды и обуви.

Выдержал Эммануил только месяц. Подобно многим своим предшественникам, попал в «райские ворота», как между собой называли ОПП. Выкарабкался оттуда чудом.

Посидели мы, поговорили, помолчали, каждый думая о своём. Ничего не вспомнилось радостного, не говоря уже о чём-нибудь весёлом или смешном. Всё-таки по 19 тогда нам было, веселье через край должно бы литься, кровь и мускулы играть. Но вспоминалась только холодная уральская зима. А ведь и весна, и лето, и осень не раз приходили за 4 года «трудармии». Они напрочь забылись. Наверное потому, что именно зимой все беды людские обостряются предельно. Мороз лишь тогда веселит душу и тело, если человек сыт, одет соответственно и живётся ему привольно. Ну, а если вместо полушубка – тощее пальтишко и пара летних штанов, на ногах прохудившиеся ботинки с обмотками, а на дворе мороз под 40? И кровь молодая не греет, потому как с голодом в обнимку живёшь. Тогда не до веселья! 4-й стройотряд, станция Потанино, кирпичный завод – это хотя и важный, но только один из многих лагпунктов Бакалстроя НКВД СССР. Сердцем и душой огромного строительства была промплощадка. Питающим его телом – 16 лагерей, 11 из которых располагались в большой центральной «зоне», в непосредственной близости к стройке. Здесь без торжественных митингов и пышных речей закладывались первые фундаменты под будущие домны, мартены, прокатные станы, электроплавильные печи и коксовые батареи. Как ни парадоксально это звучит, но именно от патриотизма, самопожертвования тех, кого именем Родины загнали в лагерь, третировали и морили голодом, зависело, как скоро комбинат начнёт выдавать остро необходимую фронту продукцию. Именно самопожертвования. Не в советско-пропагандистском или в романтическом, а в самом что ни на есть буквальном смысле этого слова.

Немало примечательного в середине 80-х годов рассказал мне о Бакалстрое и 7-м стройотряде, в котором он трудился, Вернер Штирц, недавний преподаватель Киргизского политехнического института, а теперь житель Германии. Его недюжинная память сохранила не только детали лагерной жизни, но и точные даты, фамилии, имена людей, названия и характеристики строящихся объектов, столь необходимые для нашего повествования.

Он прибыл в 7-й, крупнейший стройотряд, с самой большой партией «мобилизованных» в апреле, когда уже были построены типовые, крытые дёрном полуземлянки-бараки и сооружены прочные, по-немецки аккуратные проволочные заграждения, вахта и выпшки. Эта вторая, наиболее массовая «мобилизация» немцев была санкционирована Постановлением ГКО от 14 февраля 1942 года № 1281сс (совершенно секретно) «О мобилизации немцев-мужчин призывного возраста от 17 до 50 лет, постоянно проживающих в областях, краях, автономных и союзных республиках», подписанным Сталиным. Теперь в лагеря Главпромстроя НКВД и других ведомств, занимавшихся строительством народнохозяйственных объектов, направлялись как депортированные, не попавшие под прошлую мобилизацию (хотя постановление об этом умалчивало), так и невыселявшиеся немцы-мужчины из Оренбуржья, Сибири, Казахстана, Средней Азии, Приуралья и некоторых других мест – всего около 400 000 человек.

Большая партия «трудмобилизованных» (приблизительно 60.000) была доставлена на Бакалстрой, в результате чего удалось с лихвой восполнить «естественную убыль» предыдущих двух месяцев (около 7-8 тысяч человек).

Бараки и проволочные заграждения вокруг них в неимоверно трудных условиях построили те, кто прибыл на Бакалстрой в начале февраля 42-го. К апрелю часть этих людей была ещё жива, но они уже превратились в ходячие мощи. Первое потрясение от их вида Штирц



Вернер Штирц

пережил у главных ворот стройки.

Сюда подходила единственная к тому времени железнодорожная ветка, по которой доставлялись все поступающие на стройку грузы. Туда же направили и эшелон с прибывшим живым «грузом» — пополнением лагерей. Здесь они впервые по-настоящему поняли, куда занесла их принадлежность к немецкой нации, и воочию увидели тех, на кого станут похожими через несколько месяцев.

— Откуда вы, люди? — с трудом размыкая губы, спросил их один из грузчиков, больше похожий на призрак, чем на человека во плоти и крови. — Мы все здесь умрём, для этого нас и бросили за колючую проволоку... — И крупная слеза выкатилась из его глубоко запавших глаз. Его слушали молча, потупив взоры. Поняли: впереди их ждёт могила.

От временного посёлка, построенного вокруг здания Управления строительства, уже начиналось сооружение 6-километровой главной трассы (будущего «проспекта Металлургов»), которая упиралась в места расположения доменных печей, прокатного и мартеновского цехов, разделяя на две половины огромную, в 1200 гектаров, строительную площадку. Жизненно важную артерию надо было построить в первую очередь. Быстро и, конечно, «любой ценой». Как написал в книжке «Записки строителя» начальник Бакалстроя А. Комаровский, «от Управления на площадку весной пробраться можно было лишь на лошадях, да и то с большим трудом».

Всю длину дороги разбили на участки, расставили десятки тысяч вновь прибывших подневольных людей и завели на полный ход механизм «народной стройки». Новички, полные свежих сил, работали с неподдельным энтузиазмом. Одни прорубали просеку в березняке, другие корчевали пни, третьи выбрасывали из кюветов начинавшую оттаивать скользкую землю, поднимая профиль будущей дороги, четвёртые разгружали с телег и автомашин песок и камень, чтобы начать укладывать мостовую.

В ход были пущены испытанные на прежних «стройках социализма» методы стимулирования труда голодных заключённых. Лучшей бригаде вручалась «ценная» премия: каждому из её членов перепало по 50 граммов хлеба и небольшой дольке копчёной колбасы! Нередко на трассе верхом на белом коне появлялся сам Комаровский. После пары казённо-одобрительных фраз его адъютант, восседавший на чёрной лошади, бросал в гущу людей горсть-другую папирос «Беломор», на которые одновременно набрасывалась чуть ли не сотня людей.

— Не ахти какое важное дело было, — комментировал спустя годы это событие Вернер, — но запомнилось своей уникальностью: не было

за все годы «трудармии» больше случаев, когда бы проявлялась такая, пусть незначительная, забота по отношению к немцам.

С прибытием апрельской партии «трудмобилизованных» начался второй, после сооружения лагерей, этап строительства комбината: на всём пространстве промплощадки — а это 7 километров поперёк главной трассы — развернулись массовые земляные работы. По словам Вернера, не менее 30-ти тысяч трудяг взяли в руки лопаты, чтобы кротами врыться в землю, соорудить котлованы под фундаменты для первой доменной печи, первого прокатного стана, электросталеплавильного завода, коксовых батарей и многочисленных подземных коммуникаций.

8-тысячная армия узников 7-го стройотряда все эти годы была закреплена за тремя вытянутыми в одну линию объектами: доменными печами, прокатными цехами, а потом и теплоэлектроцентралью. Всё здесь, как и в других местах гигантской стройки, делалось вручную. Не было никакой землеройной техники, за исключением одного экскаватора. Не имелось и подъёмных механизмов. «Стакан» под фундамент первой доменной печи глубиной 40 метров выкапывали так: каждая лопата земли — мягкой, твёрдой, сухой или слякотной — перекидывалась с одной полки на следующую, пока не достигала, наконец, поверхности. Сотни тачек отвозили её по узким дощатым дорожкам как можно дальше, чтобы оставить место для той земли, которая ещё выйдет на-гора.

11-метровые и помельче выемки под прокатные станы и другие объекты выбирали методом пандусов — достаточно наклонённых стен котлована, по которым — опять-таки тачками, но с буксиром — вывозились десятки тысяч кубометров земли, часть которой после бетонирования фундамента нужно было возратить на место.

Работали день и ночь по 12 часов. При всякой погоде, любым числом людей. Сколько кубов земли реально было вынуто и перемещено на земляных работах летом 1942 года, вряд ли знает даже кто-то из специалистов. Но по нарядам на котловку её получилось столько, что, как говорили на одном из собраний, весь город Челябинск можно было бы засыпать слоем толщиной в метр.

Приписанная в нарядах несуществующая земля позволяла кормить землекопов по третьему котлу. Иначе бы все умерли с голоду.

— Лето 42-го выдалось холодным, дождливым, — вспоминал Вернер. — Тёплую одежду, считай, не снимали. Именно тогда я впервые услышал поговорку: «На Урале 12 месяцев зима, остальные — лето». И зима взяла своё: морозы в декабре доходили до 53-55° и редко

были ниже 30–35°...

Он же рассказал, как после окончания земляных работ десятки тысяч довоенных крестьян стали опалубщиками, бетонщиками, арматурщиками, монтажниками, электросварщиками, проявляя недюжинную сметку и изобретательность. Но по мере того, как всё дальше поднимались они по растущим ввысь металлоконструкциям, всё уверенней вступала в свои права суровая зима.

Прикипали к студёному металлу не защищённые протёртыми рукавицами пальцы, не оберегали от свирепого ветра подбитые жидким слоем пакли «стёганные» брюки, на верхотуре предательски сползали с бесчувственных ног такие же пакляные, подшитые резиной из автомобильного корда чуни.

— Такую «тёплую» одежду выдали нам, наконец, после полутора лет ожидания. Это был поистине «царский» подарок НКВД! Она совершенно не грела! Будто раздетым стоишь на ветру, — поёживается спустя десятилетия Вернер. — Единственное, что привлекало в этой одежде, — её защитный цвет. В ней мы чувствовали себя хоть немного ближе к людям военным...

Бакалстрой в 1942 году — это не только стройплощадка, не одни земляные, бетонные и монтажные работы. На главных объектах трудились и многочисленные подсобники: бетонные заводы, деревообрабатывающий комбинат, ремонтный завод, заготовительные и комплектующие предприятия, автобазы, железная дорога со своей станцией и другие вспомогательные подразделения. Их строительство началось в числе самых первых ещё в феврале 42-го и продолжалось одновременно с массовыми земляными работами. Число строителей здесь тоже исчислялось десятками тысяч.

Однако и этим не исчерпывалась производственная система Бакалстроя. Помимо Потанинского кирпичного завода, здесь были каменные и песчаные карьеры. Три отдельных стройотряда занимались заготовкой леса. Имелось у Бакалстроя и два подсобных хозяйства, обеспечивавших вольнонаёмный персонал овощами и молоком, конные парки — овсом, а лагерный «контингент» — турнепсом и квашеными верхними листьями капусты. Кроме того, узники 14-го стройотряда в неимоверно тяжёлых условиях возводили на Рудбакалстрое комплекс по добыче и переработке железной руды — шахту и аглофабрику.

Труд всюду являлся одинаково каторжным. Не потому, что он был тяжёл физически, продолжался 12 часов и при этом не имелось никаких механизмов — ничего, кроме рабочих рук. Не эта беда была главной — немцы всегда работали тяжело, много и с удовольствием. При-

чиной трагедии служили крайне низкие нормы питания, которые даже теоретически не восполняли затрат физических сил. К этому добавлялись зимние холода при скудной одежде, барачная неустроенность, моральный гнёт, унижительность положения, горькая обида...

Самым гиблым местом считался каменный карьер, о котором я был наслышан ещё в 4-м стройотряде. Со страхом и по праву его называли перевалкой на тот свет. Долго я искал человека, воочию знакомого с каменным карьером, и это мне отчасти удалось.

В селе Люксембург, что в Киргизии, встретился мне Степан Баст, который протянул в карьере целых две недели. На просьбу описать, что представлял собой карьер, я услышал:

— Вы, конечно, видели кинофильмы, в которых показывают, как в фашистском концлагере работают советские военнопленные? Так вот, схожая картина наблюдалась и у нас. Только карьер был уральский и наверху, над обрывистыми склонами цепью стояли не немецкие, а советские конвоиры с автоматами и винтовками. В остальном — всё так же. Такие же измученные, исхудалые или опухшие лица людей. В нашем случае — немцев. Представьте себе — весь карьер, как огромный муравейник. Не менее двух тысяч человек копошатся в глубокой его чаше. Абсолютно никакой техники! Кирки, молотки, кувалды, ломы — орудия для обессиленных рук неимоверно тяжёлые. Ими приходилось после взрыва разбивать глыбы известняка в щебёнку и гравий, которые десятками тысяч тонн требовались на стройке для бетонных работ.

Готовый гравий надо было носилками по довольно крутым мосткам с поворотами выносить наверх, прямо на железнодорожные платформы. Только тогда твоему звену ставилась палочка за сделанную работу. Палочек требовалось получить не меньше десяти на каждого. Лишь в этом случае можно было рассчитывать на третий котёл.

И здесь царило вездесущее слово «Давай!» Состав за составом гравий увозили на стройплощадку мотовозы. Шли бетонные работы, и завод с каждым днём поглощал всё больше гравия и щебня. Люди работали на износ. Сменялись они в карьере не только через каждые 12 часов, но и посписочно. Больше двух недель никто не выдерживал. Со смены обычно возвращались, поддерживая друг друга: мало кто самостоятельно держался на ногах.

Это было фантастическое зрелище, напоминавшее школьную картинку из истории Древнего Востока: тысячи невольников за отупляющей работой в каменоломнях.

Того, кто, окончательно обессилев, опускался на камень, чтобы не

упасть, поднимали окриком, нередко пинком сапога или тычком приклада. Сидеть во время работы строго запрещалось:

– Вставай, чего расселся, лодырь несчастный! Давай, работай!

Как правило, обиду сносили молча, чаще со слезами на глазах, сцепив от бессилия зубы. Но бывало и иначе.

Абрам Герцен из села Орловка (Киргизия) был свидетелем, как после пинка один «трудоармейец», не выдержав, медленно поднялся во весь свой внушительный, некогда могучий рост, развернулся и, собрав последние силы, ударил надсмотрщика. Тот от неожиданности полетел вниз по каменной круче. Все оторопели, остановили работу. Удивлённый шум прокатился по массе людей. Забегали наверху охранники, защёлкивали затворами.

Больше этого «трудоармейца» никто не видел. Одни говорили, будто его судил военный трибунал, другие судачили, что получил он 15 суток карцера. Впрочем, это одно и то же, потому что две недели в карцере были равносильны смертному приговору. Даже из-под обычного ареста совершенно истощённый человек уходил прямо в команду «доходяг», откуда, как правило, был один путь – на тот свет.

Поскольку карьер требовал постоянного обновления труда, то лагерная административная мелюзга, вроде нарядчиков, была всегда озабочена вопросом: откуда взять людей?

Многим немцам довелось сюда попасть. В частности, безнадёжным «доходягой» вышел из карьера знаменитый впоследствии в Челябинске хирург Александр Руш, бывший заведующий кафедрой хирургии Ташкентского медицинского института. Только после попадания в ОПП обнаружилось, что он талантливый врач, и со временем ему доверили возглавить санитарно-медицинскую службу Челябинского металлургстроя, как потом стал называться Бакалстрой. Но карьер всё-таки не прошёл для него бесследно: полученная там травма ноги со временем привела его к гангрене, от которой он скончался во цвете лет. А сколько других талантов бесследно исчезло в чаще каменного карьера? Эта сторона вопроса никого тогда (да и после – тоже) не волновала. Потому что властвовали два главных принципа – «давай! давай!» и «любой ценой!»

Вот что представлял собой наш печально знаменитый каменный карьер в 42-м и первой половине 43-го годов. Исключением он не являлся, нет. Скорее это был один из тех характерных штрихов, которые составляли в своей совокупности трагичную картину бытия «трудоармейцев» в Бакалстрое. Подобных «штрихов» насчитывалось столько, сколько имелось здесь производственных участков, под-

разделений, объектов. Всюду было тяжело. Но, конечно, не везде от человека требовались столь губительные затраты физических сил, как в каменном карьере.

Для полноты картины мне хотелось выяснить ещё один интересовавший меня вопрос, на который я не смог найти ответа в беседах с бывшими бакалстроевцами: почему из множества моих собеседников не нашлось никого, кто прибыл в Челябинск с первой, февральской партией? Свой вопрос я поставил и перед «ходячей энциклопедией» Бакалстроя Вернером Штирцем.

– Скажите, не приходилось ли Вам беседовать с теми, кто начинал 7-й стройотряд с самого нуля? Ведь на территории будущей стройки не было поначалу буквально ничего, – спросил я.

– Да, говорить пришлось. Если только можно назвать это разговором. Никто не хотел вспоминать о тех днях, да и сил на это тоже не было. Но из их обрывочных реплик всё-таки можно составить общую картину начала февраля 1942 года.

Вот как она выглядела по рассказу Штирца. Примерно 30 тысяч человек по мере поступления на товарную станцию Челябинск проводили колоннами через половину города, а затем 15 километров до Управления строительства, которое находилось за мостом через реку Миасс. Отсюда их направляли в те пункты громадной территории стройки, где намечалось расположить лагеря для «трудооблизованной» рабочей силы.

Тысячи полторы, если не больше, вновь прибывших провели по заснеженному березняку ещё километров пять и остановили на большой лесной поляне. Какой-то военный поднялся на бугор и обратился к разношерстной мужской толпе:

– Здесь, товарищи, будем строить жилпосёлок для себя и тех, кто ещё прибудет на стройку. Одновременно начнём сооружение большого металлургического комбината, который будет снабжать металлом танковые и другие военные заводы. Палаток пока нет, будем располагаться по-фронтовому. Со временем всё наладится...

Послушали, собрались группами земляки, односельчане и знакомые по вагону, посоветовались, расчистили снег, нарубили тонких берёзок, уложили на земляное дно выемки, забросали мягкими берёзовыми ветками, заготовили дров для костра посередине – и временное «жилище» готово.

Условия уральской зимы суровы, но силы были свежие, задача – ясная. На следующий же день начали копать в мёрзлой земле котлованы под бараки-полуземлянки, рубить подходящие берёзки для стен и

крыш, добывать из-под снега замёрзший дёрн с зелёными листочками земляники и жухлой травой, который шёл на кровлю. Работа шла споро и аккуратно, как и подобает трудолюбивым немцам. «Конечно, — думалось многим, — здесь тоже вкалывать нужно, коли уж на фронт не пустили. Говорят ведь: чтобы красноармеец мог выстрелить, на него в тылу должны работать 7 человек. Не в колхозе же отсиживаться, когда все мужчины на фронте!»

Подгоняли друг друга, торопились поскорее уйти под крышу, в тепло, примеряли построенное к самим себе. Всё делалось с предельной экономией подручного материала, как и предусмотрено было типовым проектом, который Комаровский считал своей особой заслугой.

Однако очень скоро настроение начало меняться. В особенности, когда стало очевидно, что строится здесь не что иное, как лагерь для заключённых, а заключённые эти — они сами. Такого никто не предполагал! Это было кощунственно, унижительно, обидно! Всякий подвох могли ожидать для себя немцы, но только не тюрьму.

Поубавился энтузиазм и потому, что питание из котлов, расположенных в одной из палаток, с каждым днём становилось всё хуже, да и домашние запасы быстро иссякали при самой жёсткой их экономии. А затянущаяся «фронтовая жизнь» стала просто невыносимой. Спали урывками, боялись замёрзнуть, будили друг друга — жив ли ещё сосед? Согревались лишь работой да у костра, но он мало помогал: с одной стороны дымилась одежда, а другая коченела от холода. После пурги и обильного снегопада, которые были не редкостью за месяц такого существования, откапывали друг друга, растирали обмороженные лица, руки, ноги. С самого начала появились насмерть замёрзшие — ведь не у каждого были валенки, полушубки, ватная одежда, как у немцев-сибиряков.

В апреле, когда начало пригревать весеннее солнце, лагерь был в основном готов. Свои места на вышках заняли вооружённые часовые, крепко и надолго закрылись для немцев лагерные ворота. В полное своё право вступил режим. И лагерные нормы питания. Всем, кто был занят лагерным строительством, полагался второй котёл, т.е. 600 граммов хлеба и дважды «суп». Третий котёл — 750 граммов хлеба и три раза «суп» — мог получить только перевыполняющий норму на стройке, которая разворачивалась одновременно с возведением лагеря.

Вот тогда-то и начался настоящий мор. Земляки, знакомые и даже родственники перестали узнавать друг друга. Отчасти оттого, что превратились в одинаковые ходячие скелеты. А ещё больше потому, что избегали попадаться друг другу на глаза, выслушивать предсмертные

жалобы и наказания. Не хотели выглядеть беспомощными, быть униженными жалостью.

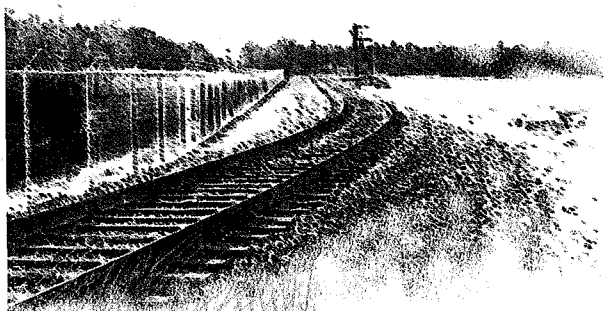
Голодная смерть, ускоренная психологической травлей, начала собирать обильную жатву...

— Вот такими они — самые первые и несчастные — и встретились нам тогда, в апреле 1942 г. Поэтому не удивительно, что Вы не видели никого из февральской партии. Их просто не осталось в живых! Тот, кто дожил до апреля, всё равно скончался позднее. Мало кто тогда выкабался, — закончил свой невесёлый рассказ Вернер Штирц.

Примечательный документ, относящийся к той злополучной поре, мне удалось добыть в Челябинском областном архиве. Он является красноречивым подтверждением невыдуманных рассказов оставшихся в живых потерпевших и свидетелей.

Речь идёт о секретном, напечатанном в двух экземплярах Приказе по Управлению Бакалстроя НКВД СССР № 14с от 1 апреля 1942 года «О мероприятиях по оборудованию зон ограждения лагерных участков».

О положении, в котором оказались «мобилизованные» немцы, трудно сказать больше, чем это сделал данным своим приказом бригаинженер А. Комаровский. Очутившись за колючей проволокой лагерей ГУЛАГа, в так называемой «зоне», наши немцы неожиданно узнали, что для них начался отсчёт особого, застывшего в своём течении времени, в котором функционировала специальная система подавления личности. По отношению к российским немцам она была особенно губительна, поскольку принуждала совершенно невинных людей испытывать чувство коллективной вины за деяния, которых они не совершали и не могли совершить.



ПЕРВЫЙ КРУГ АДА-ДЕПОРТАЦИЯ

Специальные лагеря НКВД для «труднобиблизованных», макиавеллиевские методы физического и морального угнетения людей были не началом, а продолжением политики террора, который учинил большевистский режим против российских немцев. Лагерям смерти ГУЛАГа предшествовали тотальное изгнание из родных мест и конфискация всего имущества.

Именно с немцев начали коммунистические вожди очередной виток «большого террора» 30-х годов. На этот раз жертвами стали многие неудобные нации и народности СССР. Методы, накопленные большевистскими властями в ходе «экспроприации экспроприаторов», ликвидации «кулачества» и многочислен-

ных «врагов народа», были перенесены на национальную почву с целью форсированного достижения пресловутого «морально-политического единства» советского общества.

Инициатором и вдохновителем этой «чистки», а точнее, геноцида по национальному признаку, был, как и на предыдущих этапах массового террора, «Великий Друг Народов» Сталин с его универсальным принципом: «Нет человека – нет проблемы». Перефразированный применительно к данному случаю этот лозунг мог бы звучать так: «Нет народа – нет проблемы».

Начатый с российских немцев ужасающий эксперимент по наказанию целого народа за несуществующую «коллективную вину» был перенесён впоследствии на 14 других народов и 40 национальных групп СССР общей численностью более 3,5 млн. человек. Более того, это советское по происхождению и большевистское по сути преступление было воспроизведено и в ходе «решения» германского вопроса. Тогда за «коллективную национальную вину», а фактически для удовлетворения территориальных притязаний СССР и его союзников, подверглись изгнанию 15 млн. немцев из Восточной Пруссии, Силезии, Судетской области, Югославии и других европейских территорий. Как и всей практике огульного обвинения и «наказания» целых народов, этому преступлению нет и не может быть оправдания.

Всё это мы осознали многие годы спустя. А в 41-м и позднее происходящие большие и малые события были для нас всего лишь злое-щим фоном, в соответствии с которым менялась жизнь, а с ней и личная судьба миллионов людей. К таким событиям несомненно относится кровавая 4-летняя война, начавшаяся 22 июня 1941 года. С первого залпа расколола она людей на противостоящие друг другу страны, народы, вооружённые армады, молнией расщепила и мирное течение времени, и человеческие судьбы. События, о которых заходила речь, стали делиться с этого момента на прошлое, казавшееся светлым и безмятежным, и полное тревожных неожиданностей «теперь». Такова была сила водораздела между войной и миром.

По-разному вошёл в жизнь и сознание людей тот миг узнавания о начавшейся войне, но в каждом он оставил ничем не изгладимый след. В моей памяти он связан с другим немаловажным событием – торжественным актом в 12-й школе города Красноармейска Сталинской (ныне Донецкой) области, где мы, два выпускных класса, отмечали за-стольем завершение школьной жизни. Был летний вечер 21 июня, который не предвещал ничего, кроме предстоящего воскресенья. Из-всего торжества мне почему-то запомнились не по-особому одетые и

2

причёсанные, малоузнаваемые наши девчонки (нас, одноклассников, они игнорировали, а мы их за это недолюбливали), не напутственные учительские пожелания (они рассыпались в прах полсуток спустя), а бочка запретного пива. Она должна была убедить всех, что мы, наконец, перестали быть школярами и вышли на «широкую дорогу жизни».

Когда развеселившиеся девушки вместе со «стахановцами» и «ударниками» учёбы (в т.ч. Владимиром Семичастным, будущим секретарём ЦК ВЛКСМ, а затем председателем КГБ СССР) отправились на городской «Бродвей», чтобы заявить о себе как о потенциальных невестах и женихах, мы с небольшой группой парней пошли купаться на пруд, прихватив с собой чайник пива.

Посветлевшее на востоке небо обещало скорый рассвет. На душе было необыкновенно легко и радостно. Казалось, после долгого пути сброшена, наконец, тяжёлая ноша, перед тобой, как на ладони, весь мир, и сил хватит с избытком на все задуманные свершения. При утренней свежести вода казалась особенно тёплой, тело – невесомым, а жизнь – счастливой и нескончаемой.

Никто и представить не мог, что в это самое время на недалёкой от Донбасса границе уже взорвалась не только тишина, но и всё наше будущее. Что с этого момента начался трагический отсчёт времени для юношей 1923-го года рождения, включая и нас, десятерых одноклассников, из которых пережили войну только двое.

Моя голова, несмотря на лёгкий, непривычный хмель, напомнила о 5-часовом утреннем поезде, который должен был доставить меня на станцию Роя. Двух часов сна под привычный стук колёс и ещё столько же дома хватило, чтобы со свежими силами отправиться побродить по станционному посёлку. Здесь я и встретил знакомую девчонку, дочь дежурного по станции, которая сообщила мне о начавшейся рано утром войне. Ей об этом по секрету сказал отец. Страна ещё ничего не знала, и, как всегда, одними из первых по ведомственной телефонной связи о важном событии слышали железнодорожники.

Новость оказалась настолько неожиданной, что в неё невозможно было сразу поверить. Конечно, заключённому в 1939 году пакту о ненападении между СССР и Германией никто по-настоящему не доверял, а страх перед новой войной, что называется, витал в воздухе. И всё же, всё же...

Первой моей мыслью по дороге домой было, что война продлится недолго. Нашим войскам, думал я, потребуется от силы 2-3 месяца, чтобы разбить фашистов на их территории. Вбитые нам в головы «интернационалистские» догмы не позволяли представить, что немецкие трудящиеся станут воевать с рабоче-крестьянской Красной Армией. И

порабощённые народы Европы тоже, казалось, должны восстать против гитлеровских оккупантов. Направление моих мыслей изменила мама, когда я, также по секрету, рассказал ей о начале войны. «Ну, теперь начнётся! – горестно воскликнула она. – Опять мы будем во всём виноваты, как в ту войну, когда немцев из Волыни поголовно выселили на восток...»

Не знал, не ведал я тогда, насколько вещими окажутся её слова. В противоположность мне, мать исходила не из идеологических догматов, а из жизненных реалий. Потому ей не составило труда осознать, какая грозная лавина надвигается на людей, в особенности на нас, немцев.

Отношение власть имущих и патологически подозрительного Сталина к российским немцам резко ухудшилось сразу же после установления гитлеровского режима в Германии. Уже с середины 30-х годов были предприняты дискриминационные меры в отношении немцев, а также ряда других народов Советского Союза. Так, в 1936 г. появились два постановления Совнаркома СССР о переселении представителей неугодных национальностей из Украины в Казахстан. Согласно одному из них, 15000 немецких и польских хозяйств выселялись из приграничных районов в Карагандинскую область с последующим «хозяйственным устройством» на правах «трудпоселенцев НКВД».

В 1937 г. в Казахстан и Узбекистан было переселено с Дальнего Востока более 173 тыс. корейцев и 8 тыс. китайцев. Их судьбу разделили «ненадёжные элементы» из 40 районов, граничащих с Турцией, Ираном и Афганистаном. Начиная набирать обороты «национальная чистка», среди жертв которой неизменно оказывались российские немцы. В 1938-39 годах были закрыты все немецкие школы за пределами АССР НП. Тем самым расчищался путь для ускоренной денационализации немецкого населения СССР. В это же время ликвидируются все 15 немецких национальных районов и 550 сельсоветов. В ходе репрессий 1937-38 годов были арестованы и уничтожены многие тысячи российских немцев, включая творческую и техническую интеллигенцию, учёных, военачальников, составлявших цвет своей нации.

Назревавшая война между СССР и Германией усилила и без того жестокие меры против вымышленных врагов Советской власти. Без сомнения, карательное по своей сути, погрязшее в подозрительности и шпиономании Советское государство, прежде всего органы НКВД-НКГБ и военное ведомство, наметили в своих оперативных планах радикальные меры по «обеспечению надёжности тыла». Почти с полной уверенностью можно утверждать, что в числе этих мер было запланировано и превентивное выселение немцев из европейской части СССР

— потенциального театра военных действий.

В пользу этих предположений говорит уже тот факт, что выселение более 50 тыс. немцев Крыма в августе 1941 года, «мобилизация» около 40 тыс. немецких мужчин на Украине в конце августа 41-го, депортация в течение сентября-ноября 1941 года почти 900 тыс. человек из европейской части СССР проводились с совершенно необычными для условий военной неразберихи организованностью и оперативностью. Вряд ли эти крупномасштабные операции были бы возможны без предварительной тщательной проработки, без скоординированной подготовки всех задействованных ведомств и служб.

Запланированное выселение российских немцев подкреплялось и амбициозными устремлениями самого Сталина. Ликвидация немецкой государственности на Волге, других мест компактного проживания немцев, их распыление среди иноязычного населения и полное имущественное разорение как нельзя лучше вписывались в стратегию сталинского эксперимента по «национальной чистке» и пространственному перемещению народов СССР.

Кроме того, немцы Поволжья, объявленные пособниками врага, должны были, как и всё немецкое население СССР, предстать в глазах советских граждан виновниками провала Красной Армии. Наконец, наказание, вынесенное «своим» немцам, могло послужить суровым предостережением для других народов, если они попытаются нарушить «монолитное единство советского тыла».

Для осуществления и словесного прикрытия своих репрессивных планов, невиданных даже в условиях советского режима, фарисеям от большевистской партии и органов советской власти требовались факты, с помощью которых можно было бы придать видимость законности мерам, предпринимаемым против целых народов. Иначе говоря, нужно было поймать в тёмной комнате чёрную кошку, которой там никогда не было. Эта задача была поручена, конечно же, набившим руку на фальсификациях и лжи «компетентным органам» — НКВД и НКГБ.

Некоторое представление о том, как это делалось, а заодно и о направлениях деятельности карательных органов по выявлению «немецких шпионов и диверсантов» дают архивные материалы КГБ СССР, ставшие известными в последние годы. В директивах, направляемых с Лубянки на места, настойчиво указывалось на «необходимость вскрытия националистических, повстанческих формирований, готовящих кадры для действий в тылу Красной Армии». Предписывалось вести следствие «в направлении вскрытия шпионской деятельности подозреваемых лиц», давались прямые указания «выявлять немецкую аген-

туру», «производить изъятие шпионского элемента».

Стремясь во что бы то ни стало добыть обвинительные материалы, руководство НКГБ требовало «форсировать реализацию» конкретных дел на находившихся под следствием немцев. Так, в указаниях, поступивших из Москвы в НКГБ Республики немцев Поволжья по делу жены местного священнослужителя, предлагалось тщательно допросить подследственных «о шпионской деятельности в пользу немцев», «решить вопрос (...) осуждения за шпионскую и антисоветскую деятельность». По делу здешних промышленных рабочих предписывалось «вести работу в направлении вскрытия диверсионно-вредительской деятельности группы и связи её с фашистской разведкой».

Директивы такого характера давались и по другим подобным «делам». По утверждению бывшего ответственного сотрудника КГБ СССР А. Кичихина, «в рекомендациях центра просматривалась тенденциозность в требованиях к конечным целям мероприятий — вскрывать связь немецкого населения республики с германской разведкой».

По его же сведениям, в июле 1941 года в столицу АССР НП Энгельс специально выезжали Молотов и Берия. На заседании местного партаппарата и представителей Красной Армии они «обратили внимание присутствующих на опасность, которую, по их мнению, представляли в тот период немцы Поволжья, а также на необходимость принятия репрессивных мер, оправданных с точки зрения внутреннего положения страны».

Прибытие в Немреспублику первых руководителей страны, да ещё в условиях катастрофического положения на фронте, придавало заседанию исключительное значение. Такие выезды на места обычно предшествовали проведению мероприятий крупного партийно-государственного масштаба. Данное заседание также не явилось исключением. Как вытекает из процитированного источника, здесь были даны установки, сориентировавшие местные органы власти, прежде всего НКВД-НКГБ, перед предстоящими действиями. Поскольку сталинские лицемеры не имели обыкновения напрямую сообщать о своих преступных планах, можно предположить, что на заседании вряд ли говорилось «открытым текстом» о депортации немцев Поволжья. Но её предрешённость явно угадывалась за прозвучавшими в их адрес обвинениями и угрозами массовых репрессий. Одновременно была апробирована и принципиальная схема осуществления депортационной акции, которая легла в основу пресловутого Указа от 28 августа 1941 года, — сначала выдвинуть лживые обвинения, а затем «наказать» за них.

В действительности в АССР немцев Поволжья, а также в соседних

Саратовской и Сталинградской областях не происходило ровным счётом ничего, что могло бы послужить основанием для категоричных оргвыводов. Несмотря на постоянный нажим со стороны НКВД и НКГБ, в Немреспублике никак не удавалось организовать массовое избличение «немецких шпионов и диверсантов», не говоря уже о раскрытии «повстанческих формирований».

По сведениям А. Кичихина, основанным на оперативных данных спецслужб, «общее политическое настроение республики немцев Поволжья оставалось здоровым»: «Фактов открытых контрреволюционных проявлений зафиксировано не было. С 22 июня по 10 августа 1941 года по республике было арестовано 145 человек, в том числе по обвинениям в немецком шпионаже – 2 чел., в террористических намерениях – 3 чел., в диверсионных намерениях – 4 чел., участия в антисоветских группировках и контрреволюционных организациях – 36, за пораженческие и повстанческие высказывания – 97 чел.»

Если учесть опыт карательной практики и следственные «способности» сотрудников «органов», понукаемых к тому же из центра, то «вскрытие» нескольких десятков «антисоветских элементов» среди почти 400-тысячного немецкого населения республики ни в коей мере не мотивировало вывода о якобы существующей угрозе для безопасности государства со стороны немцев Поволжья, прозвучавшего на закрытом заседании в Энгельсе.

В то время, когда сталинско-бериевская идея депортации поволжских немцев переводилась в практическое русло, их реальная жизнь протекала в обычном советском стиле. В большинстве своём хлеборобы, они трудились на полях и фермах, в домашнем хозяйстве, с головой погружившись в повседневные заботы о хлебе насущном для своих семей. Радовались обильному урожаю, успешной уборке хлебов и предстоящей возможности пополнить домашние запасы зерна.

Люди продолжали руководствоваться своими многолетними жизненными традициями, не помышляя ни о какой антигосударственной деятельности. Важное место в этих неписаных законах занимало невмешательство в «большую политику». Лояльность к государству, в том числе советскому, российские немцы выражали законопослушанием и дисциплинированностью. Нравственным стержнем большинства из них по-прежнему оставалась богобоязненность, которая, как и обязательная домашняя Библия, сохранилась даже после полного варварского разрушения немецких кирх. Главную ценность – уважение людей других национальностей – сельские и городские немцы завоевывали трудолюбием, разумным практицизмом и порядочностью.

Роль этих «трёх китов», на которых зиждилось благополучие народа, требовалось теперь, во вновь наступившую лихую годину, ещё более повысить. О том, что может ждать российских немцев, даже безвинных, напоминали ещё свежие в памяти страшные времена раскулачивания, а затем массовых арестов немецких мужчин в 1937–38 гг.

«Когда началась война с фашистами, – делится своими воспоминаниями Иоганн Эйсер, бывший житель села Ней-Варенбург Зельманского кантона АССР НП, тогдашний студент Энгельсского педагогического техникума, – у нас в Немреспублике внешне ничего не изменилось. Как и прежде, выходили немецкие газеты, по-немецки вещало республиканское радио. Те же люди занимали ответственные посты в столице и кантонных центрах. С фронта начали приходить треугольные письма красноармейцев, а также первые извещения о погибших и пропавших без вести.

Ещё усердней, чем раньше, работали колхозники на полях, где вырос на редкость хороший урожай. Четыре года подряд, начиная с 37-го, в Поволжье были урожайными. С гектара собирали по 12–15 центнеров зерна, что могло считаться рекордом для того времени. Работы было много, и в поле выходили все, кто мог хоть чем-то помочь при уборке. Было радостно видеть, как трактора тянут прицепные комбайны и от них одна за другой отъезжают автомашины и фуры, нагруженные зерном.

В родном селе, куда мы, уставшие и запыхлённые, возвращались переночевать, пахло свежеспечённым хлебом, по утрам слышалось мычание коров, хрюканье свиней, возня кур, гусей и уток. Всё говорило о том, что в немецкие дворы вернулся достаток. Местные жители уже прикидывали, сколько полученного зерна, которое начали выдавать на трудодни, можно будет продать, чтобы купить детям новую одежду и обувь. Ведь так непросто было изжить бедность, которая одолевала каждую семью после коллективизации, голода и беспросветного безденежья!

Радость была бы ещё полнее, если бы не вести с фронта. Для нас, немцев, они были тревожными вдвойне. Каждая новость о сданных городах – теперь уже на территории СССР в границах до 1939 года – всё сильнее окутывала нас пеленой неизвестности. Сообщения о том, что немцев не берут добровольцами на фронт, а резервистов мобилизационных возрастов не призывают в армию, даже тот факт, что вокруг нас ничего не менялось, – всё это не успокаивало, а, напротив, тревожило ещё больше. Складывалось такое ощущение, которое бывает перед бурей: кожей чувствовали мы приближение большой беды.»

В Указе Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня 1941 года военным властям давалось право высылать лиц, признанных социально опасными, с территорий, которые были объявлены на военном положении. Явная нехватка конкретных материалов, которые могли бы стать основанием для обвинения немецкого населения в диверсионно-вредительской и шпионско-подрывной деятельности, заставили московских партийно-правительственных бонз пойти по пути явочного массового изъятия «социально ненадёжных элементов», в первом ряду которых числились немцы не только из Поволжья, но и со всей европейской части страны. Но, как и положено в фарисейском государстве, в тексте Указа не говорилось, кто должен устанавливать неблагонадёжность людей. Надо полагать, что сделано это было умышленно. 24 июля органы НКВД-НКГБ издали директиву «О мероприятиях по выселению социально опасных элементов с территорий, объявленных на военном положении». В ней, в частности, говорилось: «Выселение этой категории лиц должно быть возложено на органы НКГБ-НКВД. В связи с этим предлагаем провести соответствующую подготовительную работу, взяв на учёт всех лиц с их семьями, пребывание которых на территориях, объявленных на военном положении, будет признано нежелательным.»

Помимо заложенной в этом документе возможности ничем не ограниченного произвола спецслужб, он примечателен ещё и тем, что высвечивает, кому принадлежала реальная власть в СССР. Кто ещё, кроме Берии, ближайшего соратника Сталина, мог позволить себе самочинно присваивать функции, принадлежащие в условиях военного положения оборонному ведомству?

Содобрения Сталина именно карательные органы, а не военные инициировали и одновременно исполняли решения о депортации «социально опасных элементов» — немцев Крыма, немецких мужчин с Украины, а затем и остальных немцев европейской части страны — прикрываясь, если нужно, военными властями или Верховным Советом СССР.

Первым весомым продуктом Указа и опытом массового выселения национально ненадёжных элементов явилась так называемая эвакуация немцев Крыма в августе 1941 г. в Орджоникидзевский (ныне Ставропольский) край, Ростовскую область и некоторые другие районы Северного Кавказа.

Вспоминает Берта Веннинг, которой было в то время 14 лет: «В начале августа по татарскому селу Сабанчи, где жили мы и ещё несколько немецких семей, прошли какие-то военные, переписали всех немцев и предупредили, чтобы никто из села надолго не уезжал. Дескать, фронт всё ближе, могут задержать по дороге. То же самое происходи-

ло и в соседних с нашим селом немецких колониях Большое и Малое Карлсруэ, где жили наши родственники. Все мы сразу и, как оказалось, правильно решили: Это неспроста, что-то недоброе затевается против немцев!» Не раз уже так было, рассуждали меж собой женщины: пройдут, запишут, а потом жди какой-нибудь напасти — то коллективизации, то раскулачивания, то новых налогов. Но чтобы одних немцев переписывать, — такого ещё не бывало... Вскоре прошёл слух: немецкие семьи начали вывозить из Крыма. Куда — никто не знал. Говорили, что это — эвакуация на полтора-два месяца, пока Красная Армия не начнёт большого наступления и не погонит фашистов назад. Поэтому людям советовали оставлять всё на месте, сдавать скот в колхоз, а с собой брать по 12 килограммов вещей на человека.

13 августа очередь дошла до Сабанчи и немецких Карлсруэ. Поскольку наша мама была украинкой, то она могла остаться, но отцу с тремя детьми велено было обязательно уезжать. Конечно, мы решили эвакуироваться всем вместе. Замечу, что в то время многие пытались спастись самостоятельно и уезжали подальше от фронта. На сборы дали два дня. Уже в первый из них забрали ни за что ни про что всю скотину. В Карлсруэ запретили резать свиней, заставили сдать в колхоз запасы зерна и другого продовольствия. Лучшее из домашней обстановки свезли для сохранности на колхозные склады до возвращения из эвакуации. Того, кто в чём-то сомневался, одёргивали: Ты что, не веришь в мощь Красной Армии? Военные с оружием ходили по домам, справлялись, все ли на месте, следили за сборами. Говорили: Много с собой не берите, всё равно скоро вернётесь. Ваши дома будут охраняться, ничего не пропадёт.

Наш председатель колхоза Воронкин говорил совсем другое: Никого не слушайте! Вас везут в Сибирь, берите с собой тёплую одежду, режьте свиней, жарьте мясо в дорогу. Вещи продайте или подарите соседям — всё равно всё прахом пойдёт. Домой вы вернётесь не скоро! В Сабанчи все так и сделали и не пожалели. А многие немцы из других сёл уехали налегке и ходили потом по сибирскому морозу в летних туфельках.

Ненемецкие соседи помогали собраться, успокаивали, хотя сами боялись неизвестности, ведь фронт приближался с каждым днём. Кто-то даже принёс мешок муки, которая нам очень пригодилась.

Утром в день отъезда пришла с пастбища наша корова, положила голову матери на плечо и заплакала настоящими слезами. Если бы сама не видела, то не поверила. Вместе с ними плакали все, кто был в это время рядом. Отец не выдержал, отвернулся и ушёл со двора.»

Жертвами НКВД стали тогда не только немцы, проживавшие в Крымской АССР. Прикрываясь, как фиговым листком, Указом от 22 июля, который был частью запланированных мер по «укреплению тыла», «органы» развернули настоящую охоту за немцами, главным образом в западной части СССР. И не в силу их мнимой «социальной ненадёжности» — такую «вину» вообще невозможно объективно установить, а тем более неопровержимо доказать. В действительности, уже начиная с августа 1941 года, был запущен государственный механизм антинемецкой «национальной чистки». Но всё это были только «цветочки», хотя и ядовитые. «Ягодки», уготованные российским немцам, ещё ждали их впереди. В конце августа 1941 года одно за другим принимаются решения высших властных структур страны, призванные реализовать установку, которая была дана месяцем раньше в Энгельсе, на репрессии в отношении немецкого населения. Его участь была предопределена Постановлением Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) о переселении 479841 немца из Республики немцев Поволжья, Саратовской и Сталинградской областей в 10 краёв и областей Сибири и Казахстана, принятым на заседании Политбюро ЦК ВКП(б) 26 августа 1941 года.

Этот документ, по существу предрешивший судьбу российско-немецкого этноса, заслуживает подробного рассмотрения. Отметим основные, на наш взгляд, его особенности.

Во-первых, в Постановлении отсутствует общепринятая вводная часть, где обычно обосновывается необходимость и излагаются мотивы принятия того или иного решения. Ясно, что сделано это было не случайно — любое обвинение, тем более огульное, не могло явиться достаточным основанием для беспрецедентного «наказания» сотен тысяч граждан своей страны. Решение о депортации («переселении») немцев Поволжья и последовавшем за этим изгнании немцев практически со всей европейской части СССР было безосновательным, незаконным и преступным.

Во-вторых, Постановление насквозь пропитано ханжеством и лицемерием. В нём была предпринята попытка выдать депортацию за некое организованное плановое переселение «целыми колхозами» с предоставлением в местах расселения новых домов или материалов на их постройку, «восстановлением» оставляемого имущества и т.д. Однако эти положения тут же фактически перечёркивались тем, что имущество подлежало компенсации только частично, а о колхозной собственности упоминалось лишь в самой общей форме. Истинные намерения верхов приоткрывает установленная Постановлением норма вывозимого имущества — до 1 тонны на семью. Всё остальное должно

было оставаться на месте и сдаваться властям взамен за ничего не значащие квитанции, по большинству из которых до сих пор не выплачена даже символическая компенсация. Решение о так называемом переселении являлось не чем иным, как санкционированным сверху имущественным ограблением российских немцев.

В-третьих, подлинный смысл и назначение Постановления раскрывается в том его пункте, где руководство «переселением» возложено на главный карательный орган страны — НКВД СССР. Ему же поручалось разработать «план переселения и предложения о материально-техническом обеспечении жилищного и хозяйственного строительства для переселяемых колхозов». НКВД давались полномочия привлекать к реализации мероприятий по «переселению» соответствующие наркоматы и ведомства, а также выделялись необходимые средства, в т.ч. на расходы по этапированию и «оперативные расходы». Уже последних фраз достаточно, чтобы понять, что «переселение» с самого начала замышлялось как массовая карательная акция против немецкого народа СССР.

Наконец, в-четвёртых, из Постановления вытекает, что «переселение» немцев Поволжья не было ни превентивной, ни какой-либо иной мерой военно-оборонительного характера. Тем более оно не означало спасительной эвакуации немцев, как иногда утверждают апологеты сталинизма. В действительности эта акция преследовала совсем иные цели. Иначе невозможно объяснить намеченные в том же Постановлении меры по расселению в «освобождающихся» районах Поволжья «колхозников, эвакуируемых из прифронтовой полосы». Ведь приближение фронта являлось смертельной угрозой для людей любой национальности.

Из изложенного вытекает, что за Постановлением, принятым на московском Олимпе, стояли далеко идущие политические цели. В конечном счёте они восходили к бредовым сталинским идеям «этнической чистки» страны. Война с Германией не только не помешала их воплощению, но и стала удобным поводом для расправы над российскими немцами. Их вырвали из родной почвы, лишили средств к существованию, расселили мелкими группами среди иноэтничного населения и передали в полное распоряжение главного жандарма страны — НКВД.

Не дожидаясь появления соответствующего законодательного акта, нарком НКВД уже на следующий день, 27 августа 1941 года, издал Приказ № 001158 «О мероприятиях по проведению операции по переселению немцев из Республики немцев Поволжья, Саратовской и Сталинградской областей». Оперативность, с которой принимались докумен-

ты, связанные с депортацией российских немцев в 1941 г., является дополнительным подтверждением того, что эта карательная акция была тщательно спланирована и подготовлена заранее.

В отличие от фарисейского Постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б), в Приказе Берии всё было поставлено на свои места. Казённый стиль и военно-тюремная терминология раскрывали подлинное значение и характер предстоящей «операции по переселению».

Для её подготовки и проведения создавались специальные «оперативные тройки» на местах. Общее руководство «операцией» возлагалось на заместителя наркома НКВД И. Серова. Координация «работы по переселению, перевозке и расселению» поручалась другому замнаркома НКВД В. Чернышову. В Республике немцев Поволжья руководителем «тройки» был назначен начальник ГУЛАГа НКВД СССР В. Наседкин. Именно в его «трудоармейские» лагерные сети попали несколько месяцев спустя практически все немецкие мужчины, а затем и женщины.

Следуя практике превентивного нагнетания страха, Приказ НКВД предписывал «на основании агентурно-оперативных материалов» арестовать «антисоветский элемент», разъяснить ..., предупредить ... и т.д. «В случае возникновения волынок, антисоветских выступлений или вооружённых столкновений» предлагалось принимать «решительные меры», под которыми, очевидно, подразумевалось использование оружия.

Чтобы подкрепить эти угрозы, обеспечить поголовное «переселение» и этапирование изгнанников, только в Республику немцев Поволжья направлялось 1200 сотрудников НКВД, 2000 работников милиции, 7350 красноармейцев – всего более 10 тыс. человек, т.е. приблизительно по одному вооружённому лицу на 40 депортируемых немцев.

В числе документов, заранее разработанных в недрах НКВД, значится также «Инструкция по проведению переселения немцев, проживающих в АССР немцев Поволжья, Саратовской и Сталинградской областях». В ней детально расписаны действия «органов» по переселению «всех жителей, по национальности немцев», в т.ч. членов ВКП(б) и ВЛКСМ, а также семей военнотружеников рядового и начальствующего состава Красной Армии. Не подлежали выселению лишь семьи, в которых жена была немкой, а глава семьи (муж) не являлся немцем по национальности.

В секретной инструкции, предназначенной для «внутреннего пользования», не скрывались репрессивные цели и характер предпринимаемых мер. В ней особо указывалось на недопустимость каких-либо собраний и коллективных обсуждений вопросов, связанных с «пере-

селением». В дни проведения «операции» органы НКВД должны были выставлять «милиейские заслоны на перекрёстках дорог для задержания лиц, укрывающихся от переселения». На каждый эпелон выделялся начальник из начсостава войск НКВД и 21 человек караула.

Инструкцией формально подтверждался общий вес вещей, одежды и мелкого хозинвентаря, разрешённых к вывозу, – не более 1 тонны на семью, включая запас продовольствия, как минимум, на месяц. В этом документе детально регламентированы мероприятия по составлению списков, извещению переселяемых «о необходимости отправки», передвижению к станциям погрузки, перевозке людей и их имущества и т.п.

Справедливости ради следует отметить, что общая тональность Инструкции далеко не соответствовала обвинительной части вышедшего в те же дни Указа Президиума Верховного Совета СССР. Если следовать букве Указа, то среди «переселяемого» немецкого населения должны были скрываться те самые «тысячи и десятки тысяч диверсантов и шпионов», о которых в нём шла речь. Вместо того, чтобы выявить, задержать и осудить по законам военного времени этот огромный «преступный контингент», НКВД «гуманно» предписывал отправить его в глубокий тыл вместе с остальными «врагами», повинными в не доношении. Странно и то, что, согласно архивным данным, за время «переселения» органы НКВД-НКГБ арестовали по Республике немцев Поволжья и Саратовской области всего лишь 302 человека. Остальные «десятки тысяч» вражеских пособников непостижимым образом остались ненаказанными.

О скрытых истоках этих «странностей» речь пойдёт ниже. А пока что отметим очевидное: причиной кажущейся нестыковки государственных и ведомственных документов, связанных с «переселением» немцев Поволжья, является изначально заложенная в них вопиющая ложь. Не сумев свести концы с концами, в ней запуталась сама советская бюрократическая «квадрига»: ЦК ВКП(б), Совнарком, Президиум Верховного Совета СССР и послушный исполнитель их репрессивных решений – НКВД. Ни один из этих органов не пытался обратиться к советскому законодательству. Все они исходили из заранее заданной, заведомо противоправной схемы, созревшей в партийной верхушке уже к июлю 1941 года.

Грязная возня вокруг предстоящего «переселения» российских немцев происходила в глубокой тайне и особенно тщательно скрывалась от тех, против кого были направлены готовящиеся репрессии. Как ни в чём не бывало, пресса АССР НП и центральная печать продолжали трубить о «пролетарском интернационализме» и «нерушимой дружбе

народов СССР» применительно к условиям военного времени. Так, «Известия» писали 15 июля 1941 года: «Полные гнева к фашистским извергам, немецкие рабочие, крестьяне и интеллигенция республики Немповолжья самоотверженно отдают все силы на разгром врага. Несколько тысяч трудящихся республики НП подали заявления о желании добровольно вступить в ряды Красной Армии.» Явно не без указки сверху в тот же день аналогичную информацию поместил и партийный официоз, газета «Правда»: «В дни Отечественной войны трудящиеся АССР НП живут едиными чувствами со всем советским народом. Рабочие, колхозники и интеллигенция мобилизуют все свои силы для победы над гитлеровской сворой, которая поработила многие народы Европы. Тысячи трудящихся республики с оружием в руках сражаются против озверевшего германского фашизма.»

Если отбросить пропагандистскую трескотню, столь характерную для советской печати, то можно сказать, что суть дела в этих материалах схвачена верно. Действительно, в начале войны в Красной Армии находились десятки тысяч российских немцев. По самооценке бывших фронтовиков немецкой национальности, они сражались ничуть не менее самоотверженно и упорно, чем их боевые товарищи. Помимо воинского долга, к этому их побуждали традиционная немецкая дисциплинированность и исполнительность, а также незримо висевшая над ними обязанность постоянно доказывать свою верность Родине, боязнь быть обвинёнными в трусости, а тем более в пособничестве врагу.

За непродолжительное время участия в военных действиях (мее 3-х месяцев) бойцы Красной Армии из рядов российских немцев успели проявить себя с самой лучшей стороны, и немалое их число было вписано в героическую военную летопись. Как известно, в многомесячной обороне Брестской крепости в числе прочих немцев участвовали командир 125-го стрелкового полка майор Александр Дулькайт, подполковники Эрих Кроль и Георг Шмидт, военврач Владимир Вебер, рядовой Николай Кюнг. Советскими боевыми орденами были награждены в августе 1941 г. командир 153-й стрелковой дивизии полковник Николай Гаген, командир танкового батальона Альфред Шварц и другие немцы.

В «Комсомольской правде» от 24 августа 1941 года рассказывалось о подвиге поволжского немца Генриха Гофмана. Тяжело раненый, он попал в плен к гитлеровцам, но, несмотря на пытки, не выдал военной тайны. Когда красноармейцы отбили оставленные было позиции, они обнаружили тело Гофмана, из обрубков которого враги сложили пятиконечную звезду, приколов штыком к сердцу комсомольский билет.

По иронии судьбы, именно 28 августа 1941 года, в день подписания Указа, обвинявшего немцев Поволжья в массовом пособничестве врагу, в той же газете был напечатан фронтовой очерк «Разговор с красноармейцем Генрихом Нойманом», снабжённый портретом воина. Здесь рассказывалось о героических буднях и верности Родине бойцов одной из многонациональных частей Красной Армии, в числе которых был и немец Г. Нойман.

Ни в Немреспублике, ни в других регионах расселения «советских» немцев, ни среди красноармейцев-фронтовиков немецкой национальности не наблюдалось документально подтверждённых проявлений враждебной деятельности, которые могли бы послужить основанием для принятия к ним массовых репрессивных мер. Тем не менее, на августовском летнем небе Поволжья сгущались грозные облака. Надвигаясь с запада, они всё больше закрывали небосвод. Нависшая над людьми рукотворная темень каждое мгновение могла разразиться шквалом молний и стеной всепоглощающего холодного града. И вот грянул гром – таким было ощущение людей от опубликованного 30 августа 1941 года Указа Президиума Верховного Совета СССР. «Нас выселяют из родного Поволжья» и «мы объявлены пособниками врага» – эти два уничтожающих положения Указа врезались в их память на всю жизнь.

Текст Указа «О переселении немцев, проживающих в районах Поволжья» является обязательным атрибутом публицистических и научных публикаций по новейшей истории российских немцев. Соплеменники моего поколения знают его почти наизусть, но говорят о нём, как правило, неохотно и даже брезгливо. И не только потому, что он сыграл роковую роль в их прошлой и настоящей судьбе. Вызывают отвращение неслыханная ложь и клевета по адресу российских немцев, которыми Указ пропитан насквозь.

Не проявляют желания анализировать этот злополучный «документ» и правоведы. По их мнению, его правовые «достоинства» лежат на поверхности и не требуют глубокого осмысления. Для юристов, с которыми мне приходилось беседовать на эту тему, текст Указа является примером вопиющего правового нигилизма и невежества, типичным образчиком тех опусов, которые в нужном количестве и с требуемым содержанием десятилетиями фабриковались в недрах советской идеологической машины.

Тем не менее, мне хотелось бы, не претендуя на глубину и полноту, проследить за содержащимися в Указе логическими парадоксами и лживыми уловками, к которым умышленно прибегли авторы, скован-

ные палаческой сталинско-бериевской схемой «наказания» целых народов за их несуществующую «коллективную вину». Приглашаю читателя к совместной работе над головоломками этого «правового шедевра» сталинской эпохи. В процессе анализа нам не обойтись без воспроизведения текста и его расчленения на составные элементы.

Внимательно перечитав текст, без труда обнаруживаешь, что он распадается на три относительно самостоятельные смысловые части – обвинительную, промежуточную и постановляющую. Первая из них, в свою очередь, состоит из двух фрагментов: в одном «разоблачается» невообразимое множество «диверсантов и шпионов», якобы присутствующих среди немцев Поволжья, а в другом выдвинутое обвинение огульно распространяется на всё немецкое население.

Итак, первая часть. **Текст:**

а) «По **достоверным** данным, полученным **военными** властями, среди немецкого населения, проживающего в районах Поволжья, имеются **тысячи и десятки тысяч** диверсантов и шпионов, которые **по сигналу, данному из Германии**, должны производить **взрывы** в районах, заселённых немцами Поволжья»;

б) «О наличии такого **большого количества диверсантов и шпионов** среди немцев Поволжья **никто из немцев**, проживающих в районах Поволжья, советским властям **не сообщал**, – **следовательно, немецкое население** районов Поволжья **скрывает в своей среде врагов** Советского Народа и Советской Власти».

(Курсив всюду мой – Г.В.)

Вопросы и комментарии к тексту:

– На чём основано утверждение, что данные, «полученные военными властями», действительно достоверны, как сказано в Указе? На этот главный вопрос нет и не может быть правдивого ответа.

– От кого получены эти «достоверные данные»? Если от органов НКВД-НКГБ, в компетенцию которых входила защита безопасности государства, то, как теперь известно, они не располагали сведениями о массовой враждебной деятельности немецкого населения в Поволжье.

– Сколько всё-таки «диверсантов и шпионов» насчитывалось среди немецкого населения Поволжья – тысячи или же десятки тысяч? Эти расплывчатые указания ещё раз подтверждают подозрение о вымышленности первичного, главного обвинения, предъявленного немцам Поволжья.

– О каких «сигналах из Германии» идёт речь в первой части Указа? Если о письменных, то в Поволжье должна была функционировать

разветвлённая вражеская сеть, через которую эти таинственные «сигналы» могли передаваться исполнителям. Если же имеются в виду радиосигналы, то для их приёма у немецкого населения Поволжья должна была быть в наличии мощная радиоаппаратура. То и другое могли без особого труда обнаружить вездесущие органы НКВД и НКГБ, но этого почему-то не произошло.

– О каких «взрывах в районах, заселённых немцами Поволжья», шла речь? Если о взрывах военно-стратегических объектов, то откуда им взяться в сельской местности, где практически не было даже воинских частей?

Вывод. Исходный пункт Указа о наличии в районах немецкого Поволжья огромного числа вражеских агентов, послуживший основой для последующих обвинений поволжских немцев, является логически несостоятельным и совершенно бездоказательным. Это не случайная ошибка (паралогизм), а умышленный софизм, т.е. подделанная под правдоподобие ложь. О «необоснованности распространения на немецкое население республики утверждений о том, что оно представляло сплошную сеть диверсантов и шпионов» пишет и подполковник КГБ в отставке А. Кичихин.

Невзирая на изложенное, сочинители Указа сочли его исходный тезис полностью доказанным и перешли на этой основе к решению второй главной задачи – «обосновать» коллективную вину всех немцев, проживающих в районах Поволжья. Для этой цели ими был использован испытанный софистский приём получения правдоподобного, но лживого по своей сути тезиса, выведенного из якобы доказанных, а в действительности тоже ложных аргументов.

«Логику» такого способа «доказательства» легко проследить, если ещё раз обратиться ко второй половине «обвинительной» части Указа.

– **Аргумент I:** Среди немецкого населения Поволжья имеются тысячи и десятки тысяч диверсантов и шпионов.

– **Аргумент II:** Немецкое население знало о наличии такого большого количества диверсантов и шпионов, но советским властям об этом не сообщило.

– **Вывод:** Следовательно, немецкое население этих районов скрывает в своей среде врагов, т.е. само является врагом советского народа и Советской власти.

В том, что эти большевистские приёмы фабрикация лживых выводов далеко не новы, легко убедиться, обратившись к известной формуле древнегреческих софистов: «То, чего ты не терял, у тебя есть. Ты не терял рогов. Следовательно, у тебя имеются рога.» Похоже, не правда ли?

Как мы увидели, усилиями авторов Указа, вооружённых многовековым опытом получения требуемых «истин», изначальная ложь породила другую, ещё более явную. Взятые вместе, они легли в основу новых лже-конструкций, на которых построена «логика» всего Указа, в т.ч. той его части, которую мы условно назвали промежуточной.

Её текст: «В случае, если произойдут диверсионные акты, затеянные по указке из Германии немецкими диверсантами и шпионами в республике немцев Поволжья или в прилегающих районах и случится кровопролитие, Советское Правительство по законам военного времени будет вынуждено принять карательные меры против всего немецкого населения Поволжья.»

Комментарий к тексту. Назначение этой части Указа – с помощью той же извращённой логики перейти от якобы доказанной коллективной вины немецкого населения (оно-де «скрывает в своих рядах врагов Советского Народа») к заключению о «вынужденности» наказания всех немцев Поволжья.

Однако прийти к такому глобальному выводу оказалось логически сложно без указания на массовое «преступное» действие. Поскольку такового не имелось в природе, то пришлось обратиться к спасительному «в случае, если». Но введённое в текст, это единственное вразумительное словосочетание привело запутавшихся во лжи «законодателей» к самоубийственным разоблачительным «опискам», которые свели на нет не только логическую, но и правовую ценность этого, с позволения сказать, государственного акта.

Во-первых, в данной части Указа прямо высказана угроза наказания «всего немецкого населения Поволжья». Это означало, что кару должны были понести не конкретные «тысячи и десятки тысяч» врагов советского народа, о которых будто бы знали и в то же время не знали анонимные «военные власти», а все 500 тысяч немцев Поволжья от мала до велика.

Во-вторых, из этого текста вытекает, что «вынужденное» массовое наказание последует «в случае, если произойдут диверсионные акты», затеянные «немецкими(!) диверсантами и шпионами» и т.д. Как известно, никаких взрывов и «кровопролития» в Немреспублике и прилегающих районах Поволжья летом 1941 года не только не было, но и не «затевалось». Тем не менее, на основании данного Указа, где содержится это сакраментальное «если», были репрессированы «по законам военного времени» не только немцы Поволжья, но и, в конечном счёте, всё немецкое население СССР.

Тем самым нарушались основополагающие принципы уголовно-

го права (нет сомнения, что Указ относится именно к этой сфере нормотворчества), восходящие ещё к классическому римскому праву. Согласно им: а) за конкретное преступление должен наказываться конкретный человек; б) человек несёт наказание только за доказанное преступление («презумпция невиновности»).

Эти принципы давно вошли в правовые кодексы цивилизованных стран. На них зиждится не только уголовное, но и все прочие формы права. Ни одна из них не допускает огульного обвинения и коллективного наказания людей, не говоря уже о репрессиях по национальному признаку.

Антинемецкие репрессии явились также грубейшим нарушением самих советских законов, в т.ч. Сталинской Конституции, в которой нашли отражение общепринятые принципы права. Тем самым в СССР было положено начало геноциду по этническому признаку. Обратимся в этой связи к заключительной («постановляющей») части Указа.

Текст: «Во избежание таких нежелательных явлений и для предупреждения серьёзных кровопролитий Президиум Верховного Совета СССР признал необходимым переселить всё немецкое население, проживающее в районах Поволжья, в другие районы с тем, чтобы переселяемые были наделены землёй и чтобы им была оказана государственная помощь по устройству в новых районах.»

Комментарий к тексту. Как видно из этой части Указа, «законодатели», следуя изначально избранному методу последовательной фабрикации лже-истин, пытаются достроить с трудом возведённую «опрокинутую пирамиду», в вершине которой – ложь о «тысячах и десятках тысяч диверсантов и шпионов». В завершение прогрессирующей трёхступенчатой лжи требовалось получить заранее заданный результат, для чего, собственно, и сочинялся весь Указ. Желаемый итог гласил: «переселить всё немецкое население (...) в другие районы ...»

«Основанием» для этого приговора послужил уже, якобы, доказанный предыдущими посылками вывод о «вынужденном» наказании немцев Поволжья за их предполагаемую вину по недонесению властям. Словесный камуфляж типа «если», «во избежание», «для предупреждения», имеющийся в тексте, не способен прикрыть главную цель, к которой ступень за ступенью поднимались сочинители, пытаясь выстроить правдоподобную версию причин депортации немцев Поволжья. Эти словечки ещё сильнее высветили узловую вопрос: «Правомерно ли наказывать целый народ за преступление, которое не только не состоялось, но и не замыслилось?»

Попытка камуфляжа, конечно же, не удалась: на лжи можно воз-

вести только ещё большую ложь. «Законодатели» не придумали ничего лучшего, как облечь гадкую пиллолю в сладковатую, по их мнению, облатку. Если верить Президиуму Верховного Совета СССР, издавшему Указ от 28 августа, то немцев Поволжья было решено переселить в другие районы единственно «с тем, чтобы переселяемые были наделены землёй и чтобы им была оказана государственная помощь по устройству в новых районах». И это — «тысячам и десяткам тысяч диверсантов и шпионов» и скрывающему их «в своей среде» вражескому немецкому населению?! Такова, с позволения сказать, «логика» государственного акта, под которым стоит подпись старейшего большевика М. Калинина.

В таких случаях говорят: «Всё это было бы смешно, когда бы не было так грустно...» О том, где и как наделяли землёй «переселенцев», какую оказывали им «помощь», каким образом «восстанавливали» их имущество и продовольственные запасы, а также о многих других последствиях преступного сталинского Указа мы поведаем устами самих жертв «переселения».

Ольга Леонгард, по мужу Рябова, родилась в 1928 г. и выросла в Поволжье. Вот как она вспоминает тот злополучный день и час, когда на людей обрушилась весть об изгнании с родины:

«Собирали мы, школьники и взрослые, помидоры в поле. В низине, близ нашей речки Медведицы, их выросло в тот год целое море: большие, сладкие, мясистые, красивые, как игрушки. Погода стояла солнечная и, несмотря на конец лета, даже жаркая. Время подходило к обеду. Женщины разбрелись по полю — только косынки белые виднеются.

Вдруг видим: председатель колхоза Вильгельм Киндер скачет к нам на лошади галопом. Все насторожились — никогда он так лошадей не гонял. Подъехал, а на нём лица нет. Перевёл дух, с трудом выдавил из себя: Плохая весть... Всех немцев из Поволжья выселяют, в газете напечатано. Кончайте работу, идите домой, начинайте готовиться... Председатель к другим бригадам ускакал, а мы никак не можем прийти в себя. Шли домой — всю дорогу плакали, пришли в село — там тоже рёв стоит. От волнения все мечутся, не знают, что делать, ищут, с кем переговорить, посоветоваться.

В тот же день в селе появились военные. Они ходили по домам, сверяли списки. Отъезд назначили на 3-е сентября. Сказали о том, сколько чего можно взять с собой: одно одеяло и две подушки на троих, одежду, посуду, 1-2 пуда муки и другой еды на месяц. Словом, столько, чтобы две семьи могли разместить свои вещи на одной подводе.

1-го сентября, когда я должна была пойти в 6-й класс, школа уже не

работала. Учителя тоже собирались в дорогу. Дети поменьше этому только обрадовались. Не волновал их и предстоящий отъезд. Они не могли знать, что ждёт их в недалёком будущем.

3-го сентября половину нашего села большим обозом под надзором вооружённых людей переправили к железной дороге. Оставалось всё: дома, мебель, сады, полные созревших яблок и груш, засаженные огороды, зерно, которое совсем недавно выдали за выработанные в колхозе трудодни.

Всю живность, за исключением той, что забили в дальнюю дорогу, сдали под расписку на колхозную ферму. Но и колхозных коров некому стало доить. Вместе с домашними приходили они к людям с раздувшимся выменем, и те выдаивали их прямо на землю. Ворота оставались открытыми, по улицам бродили выпущенные на волю собаки.

Другая половина жителей села с собранными вещами ждала своей горькой участи ещё 7 мучительных дней. Ночью страшно были собаки — плакали по хозяевам. И мы тоже плакали, убитые горем и полной неизвестностью впереди. В одночасье все стали бездомными и нищими — ни кола, ни двора...

На станции Медведица, куда привезли нашу, вторую половину села, уже находилось множество немцев. (Отсюда вывезли более 26 тыс. жителей Франкского кантона, находившегося на западе АССР НП, в её правобережной части — Г.В.) Через 3 дня подали большой состав из «телячьих» вагонов. Кроме кучек соломы в них ничего не было. Тем не менее, в каждый затолкали не менее 40 человек — даже сидеть не хватало места. Но деваться некуда — с гвалтом и препирательствами кое-как разместились. Путники были из разных сёл. Ясно, что это сделали умышленно, чтобы разорвать связи между людьми. Перед отправлением военные закрыли вагоны на засовы, и мы поехали со страхом и горем в душе. Куда — никто в точности не знал, но сказали, что в Сибирь...

Дни и ночи депортации немцев из поволжских сёл описывает в своём рассказе Эмилия Прегер, проживающая теперь в Германии. Село, в котором она жила, было выселено во вторую очередь, и его жители оказались свидетелями предсмертной агонии других обезлюдевших немецких сёл, человеческого горя их обитателей.

Через село бесконечной чередой гнали людей, пишет она. Все, за исключением малых детей и немощных стариков, вынуждены были идти пешком вслед за повозками со своим нищенским скарбом. За день надо было пройти 30-35 километров от так называемых верховых сёл — Шафгаузена, Унтервальдена, Цюриха и других, находившихся на севере Немреспублики, в её левобережной части. Длинные колонны ох-

ранялись вооружёнными военными.

В одну из ночей Эмилия с подругой вызвались пойти на поиски дяди, который тайком отправился в соседнее село Швед (Красноярский кантон АССР НП), чтобы смолоть в дорогу муки. Подобно ночным вора́м, пробирались они по родному селу. Из Шведа немцы уже были вывезены, и по мере приближения к нему девушки слышали крики животных – мычание коров, блеяние овец, вой собак. Почуя людей, они зашумели ещё громче. Вдобавок ко всему раздавались звуки, напоминавшие удары гигантского молота о стены домов. Девушкам стало жутко. Когда они, прячась под деревьями, вошли в село, шум и удары усилились настолько, что, казалось, лопнут барабанные перепонки. Здесь они поняли, откуда раздавались страшные звуки. В некоторых домах не были заперты двери, ставни, ворота. Под порывами ветра они открывались и закрывались с силой пушечного выстрела.

«И сегодня, полвека спустя, вижу и слышу я всё это так же ясно, как тогда», – пишет Эмилия.

Бесценны и детали, которые привела Эрна Валлерт, проживавшая в Латвии вплоть до своей кончины в 1994 г.

«Погрузились и мы нашей семьёй в автомашину, – по-прежнему звучит её голос с магнитофонной плёнки. – Все плачут, женщины воют навзрыд, с домом, с родным селом прощаются. Плач становится громче по мере того, как, переезжая от двора ко двору, машина наполняется всё больше.

Моя сестра хорошо играла на гитаре и взяла её с собой в дорогу. Карл, её муж, говорит:

– Перестань плакать, Тереза! Возьми гитару, играй! Замолчите, женщины, не показывайте этим чертям наши слёзы, не унижайтесь! Играй, Тереза, а вы, женщины, пойте! Пусть никто не видит нашего горя! – произносит он, а у самого комок в горле стоит.

Тереза заиграла, и женщины сквозь слёзы запели, чтобы боль заглушить. Отъехали километра два, а наша собака всё ещё бежала за машиной. Но постепенно она стала отставать и, окончательно обессилев, легла на дорогу и завывала. Было так тяжело на душе, будто частичку самой себя оставляешь на дороге. Видя всё это, женщины заплакали ещё сильнее, а вместе со слезами лилась и песня.

Что пели? Кажется, это была песня 'Wer lebt wohl im deutschen Vaterland?' ('Кому живётся хорошо в немецком Отечестве?') В ней говорится о том, как 18-летний юноша отправился в путешествие. Корабль, на котором он плыл, потерпел крушение, и семерых членов команды похитили пираты. Они продали их в рабство, из которого юношу выку-

пил один соотечественник. Благодаря этому доброму человеку тот через много лет вернулся на немецкую родину...

Эта песня была созвучна горестным мыслям людей. Сердцем чувствовали они, что ждёт их жизнь, сравнимая только с рабством. 'Может быть, и нам ещё доведётся вернуться на свою Родину?' – вот что хотели выразить они этой грустной песней.»

Таков кусочек записи, надиктованной умелой рассказчицей Эрной Валлерт. После её скоропостижной кончины плёнку переписала дочь и в память о матери увезла с собой в Германию.

Слёзы и песни – это единственные средства, с помощью которых российские немцы могли излить душу, выразить свой протест властям, растоптавшим их незапятнанную честь и достоинство.

Подобный случай описывает и уже упоминавшийся нами Иоганн Эйснер. Буквально через день после обнародования Указа о выселении его и других парней из их села заставили запрячь шесть пароконных подвод, и под руководством военного они направились в какое-то дальнее немецкое село. Оно было окружено вооружёнными красноармейцами, которые никого не выпускали и не выпускали. Из села доносились возбуждённые голоса, было видно, как суетятся и снуют от дома к дому люди. На околице скопились сотни подвод. По происходящему Иоганн заключил, что село уже попало под выселение. Его жители не успели собраться в дорогу, и их выгоняли силой.

Всем заправляли военные, они же распределили подводы по домам. Иоганн со своей подводой попал к молодой семье – муж, жена, бабушка и ребёнок. «Начали грузить вещи, – вспоминает он, – а военный стоит над душой, поторапливает: Давайте скорее! И не берите так много, всё равно на станции оставите! Не успели погрузиться, как раздалась команда: Кончай погрузку! Выходите на улицу! Бабушка попросила военного подождать минут десять: хлеб в печке доходит, не смогли вовремя испечь в дорогу. Но начальник не разрешил, приказал трогаться. Тогда бабушка вынула из печи три обжигающих, ещё бледных буханки и старательно закрыла заслонку.

А хозяин тем временем поставил на подоконник граммофон, завёл до отказа пружину, и по округе полилась популярная в то время песня Самара-городок. Так под музыку, со слезами на глазах и двинулись в путь. У каждого двора женские рыдания – и безапелляционные команды людей в униформе. Вместе с матерями залились слезами дети, вокруг телег мечутся собаки. Поехали, а издалека всё ещё слышатся затухающие слова песни: ...беспокойная я-а-а, успокой ты меня-а-а!»

«Вскоре и нам пришлось пережить мучительные часы расставания с

родным селом и домом, — рассказывает Иоганн. — Но те полусырые булки хлеба, граммофонная музыка, слова прощальной песни и сегодня, как наяву, стоят передо мной... Это — боль напей немецкой памяти.»

Недопечённый хлеб, прерванный обед, наполовину подметённая комната, безмолвный граммофон на подоконнике — вот символичная картина лихорадочного изгнания людей из родных домов. Рассказывают и о более трагичных случаях, когда не давали времени даже для того, чтобы похоронить покойника. Приходилось просить об исполнении печальной миссии немцев соседей. По этому поводу в доме появлялся энкаведешник, чтобы лично убедиться в смерти несостоявшегося «переселенца».

Таковы факты поспешного «переселения», на которое Постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) отводился очень жёсткий срок — с 3-го по 20-е сентября 1941 года. Ретивые служаки, привыкшие «выполнять и перевыполнять» планы на советский манер, торопились отрапортовать о завершении «операции». Подчас депортируемым немцам давался на сборы всего один день. Оттого, по словам израильского историка Б. Пинкуса, еврейские беженцы из западных областей СССР, попавшие в немецкие поселения Поволжья, находили в опустевших домах накрытые столы, наполненные тарелки, распахнутые в спешке шкафы и сундуки.

Второпях изгнанные из своих домов немцы вынуждены были затем до 5-7 дней находиться под открытым небом на станциях и пристанях, ожидая отправки. Руководителей «операции» не трогали бедствия и лишения людей. Для них было важно иметь «запас» в несколько тысяч человек на случай подачи вагонов или судов. Погрузка «переселенцев» производилась намеренно хаотично, чтобы как можно надёжней разорвать родственные и соседские связи между людьми. Так выглядела на практике реализация Постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б), в котором по-фарисейски говорилось о «вселении целых колхозов в существующие колхозы и совхозы». На деле с самого начала был запущен (и до сих пор ещё действует) мохот этноцида, запрограммированного на распыление, моральное и физическое уничтожение российских немцев как народа.

Как и следовало ожидать, военно-энкаведистские власти действовали привычными ханжескими методами, пытаясь выдать чинимые злодеяния чуть ли не за добро по отношению к «переселяемым». В доброту коммунистических властей наши немцы, конечно, верили слабо, но о том, что рядовые красноармейцы действительно относились к ним без злобы, вспоминают многие.

Своими наблюдениями на этот счёт делится Яков Кох, выселенный из села Беттингер Унтервальденского кантона АССР НП: «Красноармейцы, которые ещё до выхода депортационного Указа прибыли в близлежащие сёла, ни во что активно не вмешивались. Они стояли в сторонке, курили, наблюдали, будто приехали вовсе не за тем, чтобы нас выселять. Да и мы не обращали на них внимания — не до того было. Но теперь ясно, что инструкции давались им такие: не концентрировать на себе внимание, не вызывать подозрения. Иначе могла последовать совсем иная реакция, чем требовалось, и кто-то из немцев попытался бы скрыться, особенно в пути. А так всё шло как по маслу. Кое-кто из военных даже пытался убедить нас в том, что они охраняют немцев от нападения грабителей.»

О том, что эта хитромудрая ставка себя оправдала, свидетельствуют архивные данные, в частности сводка НКВД № 9 о ходе выселения немцев Поволжья от 12 сентября 1941 года. В ней подтверждается, что депортация практически проходила без эксцессов: «В пути следования эшелонов с немцами-переселенцами в Южно-Казахстанскую, Джамбульскую, Павлодарскую, Актюбинскую, Алма-Атинскую, Восточно-Казахстанскую, Семипалатинскую области Казахской ССР и в Новосибирскую область (около 100 тыс. чел.) отстало от эшелонов 557 чел., бежало 8 чел.»

Однако имеются и свидетельства о том, что при выселении не обходилось без неспровоцированной грубости, жестокости, вандализма организаторов «операции», а также мародёрства со стороны местного населения. Вот что пишет, например, в книге «Прощальный взлёт» Виктор Дизендорф, основываясь на рассказах своих близких: «Красная Армия наконец-то овладела первыми немецкими населёнными пунктами с начала войны. Самым крупным из них и был Марксштадт. Военные по-хозяйски расположились в жилых домах и принялись для поддержания боевого духа упражняться в артиллерийских стрельбах по отдельно расположенному вражескому объекту — немецкому кладбищу. Вслед за войсками, гебистами и милицией в город потянулись жители окрестных русских сёл, которые не мешкая занимали роскошные, по их понятиям, немецкие дома, а заодно прихватывали в качестве трофеев всё, что плохо лежало.»

В другом месте книги приводится не менее показательный эпизод, свидетельствующий о подлинном отношении военно-энкаведистских властей к «переселяемым» немцам: «Когда родственников с их жалким скарбом сажали на грузовики, чтобы довести до марксштадтской пристани, к матери, державшей на руках годовалую дочь, подскочил ух-

мыляющийся энкаведешник. Он помахал перед носом ребёнка пистолетом и с чувством исполненного долга изрёк: 'Ну что, допрыгалась, маленькая фашистка?' Это и было последнее напутствие большевистского режима моим близким перед тем, как отправить их в вечное изгнание.»

С просьбой поделиться воспоминаниями об осени 1941 года я обратился к старым своим собеседникам Вернеру Штирцу и Иоганну Герберу. Они были тогда подростками, многого не понимали, но остро, по-юношески должны были чувствовать и навсегда запомнить происходящее.

— Знаете, — начал свой рассказ Иоганн Гербер, — всё это напоминало библейский апокалипсис: по деревне плач стоял, суета неимоверная. Из дворов доносился визг забиваемых свиней, несло запахом смолёной щетины, перемешанным с ароматом жареного мяса, которое заливали жиром, чтобы взять с собой в путь. Хозяйки, заливаясь слезами и потом, замешивали тесто, чтобы успеть испечь хлеб: вряд ли по дороге удастся достать что-то съестное. В другое время такая кутерьма вызвала бы у детей неслыханное веселье, но теперь они притихли, детским умом понимая, что всё это неспроста, что впрямь нагрянула какая-то неотвратимая, большая беда.

Между делом собирались группами мужчины и в дыму махорочных самокруток в который раз пытались разобраться в содержании путаного и непонятного Указа. Осторожно, без лишних слов строили предположения на будущее. В содержавшиеся в Указе обещания никто, конечно, не верил. Настраивались на худшее, но какая-то надежда всё-таки теплилась в душе. Так было легче пережить свалившееся горе. Особое недоумение и еле сдерживаемый гнев вызывали две сакраментальные фразы Указа — о «диверсантах и шпионах» и о переселении всех немцев «в другие районы». Обе были настолько неожиданными, чудовищными и оскорбительными, что не выходили из головы, вновь и вновь вызывая недоумённый вопрос: «Где же они, эти десятки тысяч немецких шпионов?!»

Я прерву рассказ собеседника, чтобы процитировать отрывок из поэмы Вольдемара Гердта «Wolga, Wiege unserer Hoffnung» («Волга, колыбель нашей надежды»):

«Spione!» sagte Vetter Sander,
«ihr Leit, wer hot denn die gesehn?
Un aber Tausend Diversante,
des kann ich alles net vrstehn.
Wu soll der Unrot sich verstecke?

Ein jedes dorf saa Leit doch kennt.
Die Teiwelsbrut müsst doch vrrecke,
die Kreizgewittersackerment».
Man sprach, bekrittelt mit Galle
das ungerecht gedruckte Wort.
Dann hieß es: «Auf die Barken alle!»
Die Wolgadeutschen mußten fort.

В дословном переводе с поволжско-немецкого диалекта, на котором написан отрывок, он гласит:

/ «Шпионы! — сказал кум Сандер. / — Люди, кто же их видел? / И тысячи диверсантов — всего этого я не могу понять. / Где могла спрятаться эта нечисть? / Ведь каждое село знает своих людей. / Дьявольское отродье должно было издохнуть, / чёрт бы его побрал!» / (...) Говорили, желчно критиковали / несправедливо напечатанные слова. / А затем было сказано: «Все по баржам!» / Немцам Поволжья пришлось уезжать.

Иоганн Гербер продолжал: «Наш бесконечный обоз из сотен подвод в сопровождении военных двигался в сторону города Энгельса. В русских деревнях жители выходили на улицу, молча смотрели на запыхлённых усталых людей, которые брели за подводами с сидящими поверх жалкого скарба детьми и стариками. Горестно кивали, совали нам в руки яблоки и помидоры, пытаясь хоть этим выразить своё сочувствие. А навстречу на таких же повозках ехали беженцы с ещё меньшим количеством вещей. Они радовались спасённым жизням и близкому приюту. Им, наспех вывезенным из Ленинграда и других прифронтовых городов, суждено было поселиться в наших домах, воспользоваться хозяйством, теплом оставленных очагов. Перед концом войны многие из них вернулись в родные края. Вместо них привезли завербованных на постоянное жительство, и всё окончательно прахом пошло.

Грузились мы в Энгельсе 7 сентября. Туда добрались только под утро. Извозчики стали кормить лошадей, домой не уезжали. То ли дожидались, пока нас погрузят в вагоны, то ли им велено было везти в оставленные сёла эвакуированных. Через 11 дней, протащив через весь юг Казахстана, наш эшелон № 867 прибыл в Рубцовск. Там, как на невольничьем рынке, шла 2 продажа 2 работников и специалистов в окрестные колхозы, чтобы на подводах развезти нас в дальние сёла, по 5-6 семей в одну деревню.»

— Часть жителей правобережной части Немреспублики и прилегающих районов Саратовской и Сталинградской областей вывозили по

железной дороге, которая упирается в волжский город Камышин, — сообщил в свой черёд Вернер Штирц. (По этой дороге немцы вывозились со станций Медведица, Неткачёво, Лапшинская, Авилово, Камышин — Г.В.) — На телегах мы доехали до остановки Красный Яр, отсюда в битком набитых товарных вагонах нас привезли в Камышин. В первой половине сентября там находилось одновременно по несколько тысяч ссыльных немцев, которые ожидали баржи, чтобы по Волге добраться до Астрахани. Прождали и мы двое суток. Сидели под открытым небом невдалеке от пристани, благо погода была хорошая. Женщины готовили на кострах еду, баюкали маленьких детей. Особенно врезалась мне в память первая ночь: море людей, костры освещают кучки прижавшихся друг к другу мужчин, женщин, детей. Рядом бесшумно несёт свои воды величественная Волга. Не спится взрослым, тревога теснит грудь, тяжёлые предчувствия давят на сердце. И звучат песни. Немецкие, народные. Песни грустные, мелодичные, созвучные настроениям и чувствам людей. Никогда не забуду, как пел этот тысячный хор популярную тогда грузинскую песню «Сулико»...

— Пели на немецком языке? — спросил я.

— Конечно. На русском немцы Поволжья в своих сёлах не говорили, а многие его вообще не знали, — ответил Вернер и продолжал. — Знаете, это было что-то потрясающее, оставившее память на всю жизнь. Ничего подобного мне никогда видеть и слышать не приходилось.

— И что же было дальше?

— Двое суток спустя мы опять, как сельди в бочке, но теперь уже на барже, потащились вниз по течению до Астрахани. Там снова перетаскивали свои узлы, на этот раз в танкер для перевозки нефти. В глубоких вонючих трюмах с кое-как отмытыми от масляной массы стенками были сколочены трёхэтажные нары. Вот туда нас и загнали, чтобы доставить в Красноводск.

— Это, наверное, было что-то совсем ужасное?

— Да, в двух словах не передашь. Никогда не видевшие моря женщины шептали молитвы, католики суеверно осеняли себя крестом. На их лицах был написан откровенный страх. Но все безропотно, как и подобает послушным, вечно гонимым российским немцам, спустились в эту зловонную могилу.

За трое суток невероятной вони, духоты и скученности, пока шли морем до Красноводска, половина путников, особенно женщины и дети, заболели. Многие не выносили морской качки. Чтобы вдохнуть свежего воздуха, пытались выбраться наверх, но и палуба тоже была полна людей и вещей. В Красноводске зарыли первые жертвы депор-

тации. И не только из нашего этапа. Весь путь от Камышина через Астрахань, Красноводск, а затем по бесконечному Казахстану отмечен многочисленными могильными холмиками, которые оставляли после себя этапы «переселенцев».

— А в Красноводске?..

— Там мы сызнова перетаскивали наш скарб в «телячьи» вагоны и опять, набившись по 50-60 человек в каждый, тащились на восток. Прошёл месяц, пока мы, наконец, приехали в Семипалатинскую область, в небольшую деревню Песчаное.

На этой невесёлой ноте завершился наш диалог с Вернером Штирцем. На долгу его земляков выпала особенно тяжкая участь — они попали в число 24-х тысяч поволжских немцев, которых, согласно Постановлению СНК СССР и ЦК ВКП(б), предписывалось перевозить водным путём, через Каспийское море.

К этой трагической теме мы ещё вернёмся, а пока подведём итоги депортации немцев из АССР НП и Саратовской области, как они выглядят по архивным данным. В одной из сводок НКВД СССР говорится:

«Мероприятия по выселению (!) немцев из бывшей (!) республики немцев Поволжья продолжались с 3 по 20 сентября 1941 года.

Всего было выселено 376717 человек, в том числе семей — 81771, мужчин 81106, женщин 116917, детей 178694.

Переселенцы отправлены на 158 эшелонах.

На 21 сентября 1941 года в пределах бывшей республики осталось 1488 немцев: по болезни 371 чел., в командировке — 23 чел. и 1094 человека, главы семей которых являлись русскими.

По Саратовской области было переселено всего немцев 46393 (семей 11385). Из общего числа переселенцев: мужчин 10751, женщин 14719, детей до 16 лет — 20650.

Всего отправлено эшелонов 20, из них: в Новосибирск 5 эшелонов, в Омск 6, в Акмолинск 1, в Павлодар 7, в Кустанай 1 эшелон.

За время проведения мероприятий по переселению немцев отделами УНКВД и райотделениями Саратовской обл. арестовано 110 человек. Открытых антисоветских проявлений, отказов от выезда по г. Саратову и области не отмечалось.»

В приведённом документе имеется немало примечательного. Так, из него вытекает, во-первых, что численность мужчин среди поволжских немцев была уже тогда в 1,4 раза ниже, чем количество женщин (следствие более высокой смертности мужского населения в ходе го-

лода и многолетних политических репрессий). Во-вторых, показательна наполняемость вагонов, в которых «переселяли» немцев Поволжья. Из приведённых данных вытекает, что в каждом из 178 эшелонов перевозилось в среднем по 2,4 тыс. человек, т.е. около 40 человек в одном «телящем» вагоне. Если учесть, что у людей были вещи, а также то, что эшелоны находились в пути по несколько недель, то станет ясно: это было не переселение, а крошечный ад, в который загнала поволжских немцев «родная» советская власть.

Опустела ухоженная, политая потом многих поколений немцев поволжская земля. На основании Инструкции СНК СССР от 30 августа 1941 года скот колхозов и совхозов Немреспублики передавался вновь прибывающим переселенцам на условиях продажи в кредит по балансовой стоимости (т.е. за бесценок) со сроком погашения в 7 лет. Для временного ухода за скотом облизполкомы Саратовской и Сталинградской областей, в состав которых «передавалась» территория АССР НП, должны были выделить по 15 тыс. колхозников. Для обслуживания скота в порядке трудовой повинности привлекалось местное русское население.

О том, что вышло из этого «планового» мероприятия, на примере большого немецкого села Норка (Бальцерский кантон АССР НП) рассказала Альма Дайнес, проживавшая в 1992 г. в Павлодаре. Её сестра Клара была замужем за русским и в военные годы жила в этом селе, которое вскоре после выселения немцев было переименовано в Некрасово. По её словам, в опустевших немецких сёлах днём и ночью ревели коровы, стада нескормленного скота бродили в степи, по посевам и огородам. Одиравшие собаки сбивались в небезопасные стаи. Выше заборов заросли бурьяном огороды, с фруктовых деревьев осыпались никому не нужные плоды. На полях лежали бурты необмолоченной пшеницы, стеной стояли перезревшие подсолнечник и кукуруза. Много зерна осталось на чердаках и в закромах опустевших крестьянских домов. Всё живое и неживое было брошено на произвол судьбы, каждый из жителей соседних сёл мог брать что и сколько душе угодно.

Эвакуированные из Украины и Белоруссии люди, многие еврейской национальности, выбирали себе дома побогаче и вместо работы на полях и фермах мололи зерно, продавали в Саратове и Энгельсе муку. Они доили десятки коров, производили масло на продажу. На первых порах у них было всё – дома, мебель, хлеб, молоко, мясо, а у многих и освобождение от мобилизации в армию.

Спасаясь от суровых зимних холодов, временщики из числа эвакуированных сожгли всё, что только могло гореть, – от заборов до фруктовых деревьев. В итоге утопавшая в зелени Норка стала поч-

ти «лысой» степной деревней. Ко времени возвращения эвакуированных в родные края всё было сожжено, съедобное – съедено, а ничего нового не создано.

– Вот что писал нам зять, Кларин муж, в 1947 г., после возвращения с фронта, – рассказывала Альма: «Было у нас в Норке до войны 1876 домов и 14 тыс. жителей, теперь осталось 300 домов, а жителей 2500 человек. Было 4 больших колхоза по 5 бригад в каждом. В бригаде насчитывалось по 25–30 лошадей и 20–30 пар быков. Да ещё по 5 тракторных бригад в каждом колхозе в последние годы появилось. Теперь у нас только 2 колхоза по 3 бригады, а в бригаде 1–2 пары лошадей и столько же быков. Телег и саней вообще не осталось, сбруя – одни верёвки. Исправных тракторов тоже нет. Тогда каждый колхоз сеял по 10–12 тыс. гектаров зерновых, а теперь в 4 раза меньше. Мы почти голодаем. И не война всему этому виной, а то, что немцев выселили, землю опустошили...»

К этим словам русского человека, фронтовика, трудно что-либо добавить. Стоит, может быть, напомнить лишь о неуклюжих увёртках высших партийных и государственных деятелей СССР, которые уходили от решения вопроса о восстановлении немецкой автономии на Волге под лживым предлогом, что её территория, якобы, полностью заселена.

Головоутишная, мягко говоря, политика властей, которая наложилась на кровную обиду за отнятую Родину, ещё долго будет питать ностальгию по поволжскому прошлому. Проникновенно сказал об этом чувстве российско-немецкий поэт Рейнгольд Кайль:

Ich bin ein Kind der Wolga,
Geboren am Wolgastrand;
Für mich gibt's in allen Welten
Nur dies eines Heimatland.

Ich bin an der Wolga geboren
Und wünsch mir kein anderes Glück;
Dich allein habe ich erkoren,
Zu die kehr ich immer zurück.

(Я – дитя Волги, / родившееся на волжском берегу; / для меня во всём мире существует / лишь эта единственная родная земля. / Я родился на Волге / и не желаю себе другого счастья; / я избрал тебя одну, / к тебе я возвращаюсь всегда.)

Сколько бы ни прошло времени, Волга навсегда останется в сознании российских немцев символом их исторического прошлого. Придёт пора, и немецкое изгнание 1941 года предстанет перед людьми в

литературных произведениях и научных изысканиях, на музейных стендах, в горьких воспоминаниях очевидцев и жертв неслыханного произвола. Написанное здесь – бледный набросок этой трагедии, запечатлённой в памяти очевидцев.

Как уже отмечалось, принимая решение о выселении немцев Поволжья, сталинская верхушка предопределила и участь практически всего немецкого населения европейской части страны. Поэтапность в осуществлении этой глобальной депортационной акции вызывалась, видимо, двумя основными причинами.

Во-первых, даже такой беспощадный партийно-государственный аппарат, как сталинский, не мог в силу идеологических догматов решиться на «наказание» сразу всего полуторамиллионного «равноправного» и «свободного» немецкого народа СССР. Поэтому Указ от 28 августа формально касался только немцев Поволжья.

Во-вторых, в условиях военного времени было технически невозможно перевезти одним махом почти миллион человек из-за перегруженности железных дорог и острой нехватки подвижного состава.

Из этих соображений, думается, и было решено завуалировать масштабы и назначение проводимой акции, расчленив её на два основных этапа и спрятав выселение остального немецкого населения за целой серией документов с грифом «совершенно секретно». Не успело завершиться изгнание немцев из Поволжья, как началась массовая депортация немецкого населения западных районов СССР, ещё не оккупированных гитлеровскими войсками.

Если при выселении немцев Поволжья сохранялась хотя бы видимость законности, то для поголовных репрессий в отношении немцев Крыма, Кавказа, Украины, многих республик, краёв и областей РСФСР хватило постановлений ГКО, приказов Военных Советов соответствующих фронтов, а то и доносов НКВД. Обнаруженная в архивах записка наркома НКВД Л. Берии показывает, например, как «обосновывалось» выселение немцев из Воронежской области. Из этого документа видно и то, кому принадлежало последнее слово при определении судеб многих тысяч ни в чём не повинных людей:

«В Государственный Комитет Обороны И.В. Сталину

8 октября 1941 г.

В Воронежской области проживает 5125 чел. немецкого населения, в том числе членов и кандидатов ВКП(б) – 45 чел., членов ВЛКСМ – 43 чел.

На оперативном учёте как антисоветский и сомнительный элемент состоит 112 чел.

В целях предотвращения антисоветской работы со стороны проживающих в Воронежской области немцев НКВД СССР считает целесообразным состоящих на оперативном учёте как антисоветский и сомнительный элемент арестовать, а остальную часть немецкого населения в числе 5013 чел. переселить в Новосибирскую область.

Партийно-советские организации Новосибирской области ходатайствуют о вселении в область немцев.

Представляя при этом проект постановления ГКО, прошу Вашего решения.

Народный комиссар внутренних дел СССР
Л. Берия»

«Отец народов» отреагировал молниеносно: в тот же день, 8 октября 1941 года, вышло Постановление ГКО № 743сс за подписью Сталина «О переселении немцев из Воронежской области».

Как теперь известно, подобные решения и документы НКВД находились в «особой папке» Сталина, которая хранилась в секретариате МВД СССР. В ней содержалась переписка НКВД-МВД со Сталиным, документы, направлявшиеся «органами» в ЦК ВКП(б), ГКО, СНК-СМ СССР с грифом «совершенно секретно». В их числе – докладные записки, спецсообщения, проекты постановлений ГКО и правительства, указов Президиума ВС СССР. Здесь была сосредоточена вся основная информация о подготовке и проведении сталинского «переселения народов», включая российских немцев, об участии в этих «операциях» войск НКВД, милиции, армейских подразделений.

Факт наличия «особой папки» свидетельствует о том, что «этнические чистки», а точнее говоря, геноцид в отношении российских немцев и других народов СССР входили в число важнейших государственных дел и в сферу личных интересов Сталина. Это означает также, что он несёт персональную ответственность за подобные чудовищные злодеяния.

С содержанием этой папки связана и участь российских немцев, проживавших к западу от Волги. В их числе – более 170 тысяч «кавказских» (включая Северный Кавказ) и около 80 тыс. «украинских» немцев, среди которых был и автор этой книги. Свообразие их выселения состояло в том, что почти 300 тыс. немцев Украины уже находились под фашистской оккупацией, а остальных (из общего числа 392458 согласно переписи 1939 года) приходилось вывозить чуть ли не под обстрелом наступавших гитлеровских войск.

Граница, которая разделила немцев Украины на «советских», подлежащих экстренному выселению, и тех, кто попал в «фашистскую

неволю» (так называемых «фольксдойче»), прошла почти в точности по Днепру. Но, как мы узнаем из дальнейшего повествования, большинство «фольксдойче» в конечном итоге разделили судьбу остальных российских немцев, оказавшись в сибирской, казахстанской и среднеазиатской ссылке.

Представление о том, как отразились на судьбах отдельных людей и немецкого населения в целом политические «игры» коммунистических и нацистских бонз, дают свидетельства жертв советской депортации 1941 года и германской «эвакуации» 1943-44 годов, приведённые в данной главе.

О судьбе своей матери Эльзы Бриен, которая в начале войны проживала в немецком селе Грюнталь Сталинской (ныне Донецкой) области, рассказывает поэтесса, участница немецкого движения в Оренбуржье Валентина Вильмс. В октябре 1941 года мать вместе с сёстрами и бабушкой (деда безвозвратно «забрали» ещё в 1937 г.) погрузили в полувагоны для перевозки угля и буквально под открытым небом повезли в Сибирь. По мере того, как их эшелон продвигался на восток, становилось всё холодней. Из вещей и еды не удалось взять с собой почти ничего, т.к. им дали на сборы всего 3 часа. Враг был близко, всё кругом горело. Сёстры матери – их было пятеро – умерли в пути от голода, холода и болезней. Хоронили их у железной дороги в первых попавшихся углублениях, которые можно было засыпать землёй.

Чтобы добраться под бомбёжками до Волги, потребовалось полмесяца. Дальше ехать в полувагонах было невозможно, и их решили отправить водным путём через Астрахань до Красноводска. В Саратове посадили на баржу и на буксире потянули вниз по реке. И тут произошло страшное. Внезапно разыгралась буря с дождём и снегом. Трос не выдержал, лопнул, и баржу понесло по волнам. Буксирный катер уплыл, оставив их посреди бурлящей реки. К несчастью, баржа начала наполняться водой. Откачивать её было нечем и некому, и судно стало погружаться в пучину. Создавалось впечатление, что их попросту решили утопить. На барже поднялся переполох: одни громко рыдали, другие кричали от страха, третьи молились Богу. Вода уже доходила людям по грудь, они схватили детей, стараясь поднять их повыше. Смерть была совсем рядом.

«Мольбы, плач и крики людей слышали Господь и команда встречного парохода 'Ермак', – рассказывает Валентина Вильмс. – На пароходе не стали разбираться, какой национальности терпящие бедствие. Их приняли на борт, накормили, людям дали высушиться и обогреться.»

Во второй раз их отправили из Саратова поездом, затолкав в один из проходящих «немецких» эшелонов. По дороге мать тяжело заболела, и в Чкалове (Оренбурге) её поместили в больницу. Там она узнала, что неподалёку находятся немецкие сёла. Немного поправившись и накопив хлеба, мать тайком отправилась в путь. Уже выпал снег, и она шла, не надеясь остаться в живых: не ней были только платье, платок и брезентовые туфли. Иногда ей встречались деревни, но она боялась в них заходить, поскольку не хотела, чтобы в ней опознали немку. Ночевала, зарывшись в сено или солому, и только вконец измученная приступами малярии, просила людей о ночлеге.

Таким образом она прошла не менее 200 километров, пока на её пути не встретилось меннонитское село Плеханово. Там её снова положили в больницу и поставили на ноги. Ей было в ту пору 17 лет.

В рассказе Валентины – жестокая житейская проза юных лет её матери Эльзы Бриен. Дочери до слёз жаль мать за перенесённые муки, но в то же время она и гордится ею за решимость сбежать из-под опеки НКВД, за стойкость, с которой та преодолела тяготы долгого зимнего пути. Как бы в награду за это она встретила в Плеханово свою судьбу. «В 43-м в своё село вернулся искалеченный на 'трудармейской' каторге в Коркинском угольном разрезе юный Герхард Вильмс, и с ним моя мама нашла своё семейное счастье», – пишет в заключение Валентина.

Всю свою жизнь мать вспоминала о милой украинской родине, где всё казалось таким прекрасным. Чувство это, как родник чистое и вечное, переданное в наследство, продолжает жить в стихотворении «Земля моя», написанном Валентиной:

/Земля моя!/ Кто по тебе так безутешно/ Тосковал? / Кто детство босоное так / Часто вспоминал? / Кто так любил, согретую / Теплом / Весенних солнечных лучей / Омытую дождём? / Лишь тот, кто годы напролёт / Был от тебя вдали, / Кто в сердце бережно сберёт / Черты твои. / Кто помнил отчий дом на берегу / Реки / И кто безжалостно в войну / Был с Родины гоним... /

Своеобразным продолжением рассказа Валентины Вильмс являются воспоминания Елизаветы Каспар, тоже связанной своим прошлым с Украиной.

Мы встретились с ней в 1993 г., в подмосковном лагере Валуево, организованном для немцев-беженцев из объётого пламенем гражданской войны Таджикистана.

Элизабет, как она себя называла, была старше всех тех, кто выжи-

дал здесь разрешения на выезд в Германию. Она еле передвигалась на больных ногах, но её глаза светились живым остроумием и неуёмной былой энергией.

Родилась она в 1917 г. на левобережной Запорожчине, где в гражданскую войну чуть ли не каждый день менялась власть и зверствовали банды «батьки» Махно. Вырезали полосы на живом теле, отрезали груди, выкалывали глаза. От рук махновцев погибли отец и мать, когда Элизабет не было и трёх лет. Жили они со старшей сестрой у тётки. Элизабет, сколько себя помнит, работала у людей: нянчила детишек, была прислугой, ходила в подпасах. В 13 лет возила на быках снопы. Окончила 4 класса сельской школы и в 18 вышла замуж за такого же бедняка, как она. Со временем Каспары купили землянку, корову, стали строить дом. Год и три месяца простоял он к тому времени, когда началась война. И всё снова пошло наперекосяк.

Вскоре Каспара забрали – будто бы на фронт – и отправили в актюбинские лагеря, на стройку. В начале августа 1941 года Элизабет послали рыть окопы, а их 6-летнюю дочурку взял на попечение сельсовет.

Прошёл месяц. Немецкие войска форсировали Днепр, в одночасье сведя на нет усилия десятков тысяч людей, которые ринулись на восток, по домам. Вместе с отступающими советскими частями и бесконечной чередой беженцев спешила в своё село и Элизабет.

«Время склонялось к вечеру, шёл небольшой дождь, когда я, наконец, достигла своего села, – рассказывает она. – До нашего дома было ещё далеко, и я сначала зашла в сельсовет, чтобы забрать мою маленькую Катрин. Но с ужасом обнаружила, что село совсем пустое. Нигде ни одного человека! Меня охватило смутение: где же теперь искать ребёнка? Ещё страшнее стало, когда на окраине села начали взрываться снаряды, а по улицам и дворам заметались испуганные собаки, коровы, куры и прочая беспризорная живность.

Зашла в первый попавшийся двор, спряталась под деревьями, пережидая нагрянувшую беду. Молилась о спасении себя и своего ребёнка, спрашивала у Бога совета: как поступить, куда деваться? Враг совсем близко, а в селе ни души...

Дождик всё шёл, капли падали на листья подсолнухов: кап, кап, кап... Я не знала, что делать. Страх не покидал меня: приближалась ночь, надо было пробираться к дому, но прежде всего найти Катрин. С молитвой на устах вышла на улицу и обрадовалась, увидев двух вооружённых красноармейцев.

Спрашивают:

– Кого Вы ищете? Здесь уже никого нет.

– Я вернулась с рытья окопов, хочу забрать своего ребёнка, он оставался в яслях при сельсовете...

– Пойдёмте, мы покажем, где Ваш ребёнок, – сказал один из них, и они повели меня на станцию, где стояли вагоны, набитые немцами из окрестных сёл.

Меня посадили в эшелон в чём в окопах была – в единственном грязном платье, босиком и с совершенно пустыми руками. Дочь свою я не нашла, даже до дома не сумела добраться.

Через месяц, изголодавших и промёрзших, нас привезли в Новосибирск, в лагерь при военном заводе...

Как оказалось, немцев левобережной Украины – кого успели – вывезли в Сибирь ещё в сентябре. Оставшихся по каким-либо причинам энкаведешники вылавливали поодиночке, «в чём Бог дал» сажали в вагоны и везли прямо в заправочные лагеря, как и Элизабет.

А теперь приведу ужасающее свидетельство о том, как депортировались закавказские немцы, которых вывозили в Казахстан и Сибирь по Каспийскому морю. То, что описано в рассказе А.В., 1916 года рождения (так указано в письме), едва ли можно считать типичным даже для такого жестокого режима, как сталинско-бериевский. Но у нас нет оснований не верить матери, потерявшей во время плавания двух своих сыновей.

Вот что она пишет: «Наша семья была выселена из грузинского села в 1941 г. С собой можно было брать только то, что унесёшь в руках. 45 километров нас везли до ближайшей станции, а оттуда доставили поездом к морю. На берегу собралось множество людей, которые неделями ожидали отправки. Наконец, погрузили на суда, которые должны были переправить нас в Красноводск. На них перевозили свиней и прочий домашний скот. Для транспортировки людей они были совершенно не приспособлены. Невозможно представить, как там всё выглядело и какая вонь царил! А вшей за время ожидания и плавания у нас развелось столько, что они ползали, казалось, даже под кожей.

Сначала нам выдавали немного еды – черпачок супа и кусочек хлеба на день. В другие дни мы не получали ничего. Страшнее всего было смотреть, как мучаются от голода дети. Мужчины пытались ловить рыбу, но охранники прикладами отгоняли их от бортов. А когда люди начали возмущаться, пригрозили всех утопить. Мужчины заявили, что в таком случае вместе с нами пойдут на дно и энкаведешники. Но когда на наших глазах утонули 4 судна и все перевозимые в них немцы погибли, больше никто не решался вести такие разговоры.

В течение двух месяцев нас зачем-то таскали взад-вперёд по Кас-

пийскому морю, и всё больше людей, особенно детей, умирало с голоду. Их всех просто выкидывали за борт. Бросили туда и моего 4-летнего сына. Это увидел другой сын, семи лет. Он вцепился руками в мою юбку и со слезами умолял: 'Мамочка, не дай бросить в воду и меня! Прощу тебя, оставь меня в живых, я навсегда останусь с тобой и буду заботиться о тебе, когда вырасту'. Он был такой маленький, худой и так жалобно плакал: 'Мне ужасно хочется есть, мама!' Иногда я закрывалась, чтобы не видели люди, и просто прикладывала его к груди – у меня ведь был ещё и грудной ребёнок. Боже мой, я всегда плачу, когда вспоминаю, что старший сын тоже умер от голода и попал в воду, чего так боялся.

На девятой неделе мы, наконец, причалили к Красноводску, но нам не дали даже перевести дух и подкормиться, чем Бог пошлёт. Нас погрузили в скотские вагоны и повезли в Кокчетавскую область. Муж, ребёнок и я доехали туда чудом. Езда поездом была немногим легче, чем по воде. Здесь нас, кроме голода, донимали ещё и сильные морозы.»

Одно обстоятельство, связанное с «техникой» депортации немцев в 1941 году, остаётся для меня не вполне ясным. В альманахе «Хайматбух» за 1995-1996 гг., изданном Землячеством немцев из России (ФРГ), приведена выдержка из «Порядка исполнения Указа от 28.8.1941 г.» со ссылкой на рижскую газету «Tevija» за 20 сентября 1941 г. В этом документе, якобы находившемся в «особой папке» Сталина, говорится буквально следующее: «После домашнего обыска объявить лицам, назначенным к выселению, что, согласно решению Правительства, они высылаются в другие районы СССР. До станции погрузки вся семья доставляется на одной автомашине, но на станции главы семей должны быть погружены в отдельные, подготовленные для них вагоны, находящиеся в распоряжении назначенного для этого сотрудника ... Их семьи направляются на спецпоселение в отдалённые районы Союза. О предстоящем разлучении с главой семьи им сообщаться не должно.» (Обратный перевод с немецкого мой – Г.В.)

Остаётся только догадываться, почему этот способ депортации, изначально обрекавший людей на «раздельную» гибель, не был реализован на практике. Видимо, в кабинетах бериевского ведомства уже тогда вызревали планы создания спецлагерей для изоляции и постепенного уничтожения немецких мужчин. Конечно, с далеко идущими демографическими и геополитическими последствиями...

Но в тот момент ГУЛАГ, очевидно, был ещё не в состоянии принять такую огромную массу новых зеков. Это стало возможным лишь несколько месяцев спустя, когда сотни тысяч затворников это-

го учреждения отправились в фронтовые штрафбаты, и в лагерных клоповниках освободилось место для первого, 120-тысячного отряда новых рабов Советского государства.

И всё-таки меня не оставляет мысль: каково же было предназначение этой рафинированной гебистской инструкции, если она действительно существовала? Ведь известно: у НКВД для всех репрессивных акций были заготовлены уже обкатанные на людях директивы.

Ответ на этот вопрос следует, по-видимому, искать в Латвии, где в период немецкой оккупации издавалась газета «Tevija», напечатанная этот секретный материал. Именно по такой изуверской методе 14 июня 1941 года, за неделю до войны, были насильственно разорваны и сосланы «в отдалённые районы Союза» тысячи обезглавленных латышских семей, навеки исчезнувших в Сибири заодно с мужьями и старшими братьями. Особенно кощунственно было то, что произошло это всего через год после «добровольного» вхождения Латвии в «Союз свободных советских республик».

Немногим раньше подобный метод был применён к семьям военнослужащих и «буржуазно-помещичьих» элементов в «освобождённых» Красной Армией и присоединённых к СССР Западной Белоруссии и Западной Украине. Как известно, десятки тысяч польских офицеров были расстреляны НКВД в Катыни и других местах уничтожения, а их семьи сосланы в полупустынные степи Казахстана.

В отличие от акций против поляков и латышей, кремлёвские вожди отвели для расправы с российскими немцами несколько больше времени. С одной единственной целью – убить медленной, мучительной смертью сразу весь народ. Поэтому немецким женщинам и детям было «великодушно» дозволено отправиться в ссылку вместе с главами семей – если те, конечно, уцелели после «большого террора» 30-х годов. Что касается обезглавленных семей, то в местах выселения им приходилось особенно тяжело.

О долгом и трудном пути на восток осенью 1941 года рассказано и написано не так уж много. Наверное, потому, что слишком уж невыразительными и однообразно-серыми были сами дорожные будни в одинаковых вагонах и похожих, как близнецы, длинных «немецких» эшелонах. Условия, в которые власти загнали сотни тысяч обречённых на скотское существование людей, были по сути дела идентичны. Если различия и имелись, то они объяснялись чаще всего особенностями той команды энкаведешников, которая сопровождала эшелон.

Словом, в этом крестном пути было весьма немного такого, за что могла бы зацепиться и на чём могла на полвека задержаться челове-

ская память. Особенно если сравнить его с теми трагическими событиями, которые последовали тотчас за выселением. Это были хотя и ядовитые, но всё же только цветочки...

Такого же мнения оказались и Петер Фриз с супругой, с которыми мы случайно попали вместе в одну из комнаток приёмного лагеря для переселенцев в Гамме, Земля Северный Рейн-Вестфалия. Правду говорят: гора с горой не сходится, а человек с человеком сойдётся. К обоюдному удивлению и даже какой-то радости обнаружилось, что Петера отправляли в изгнание с родной мне станции Роя и ехали мы с ним в одном и том же эшелоне. Высадили нас в гиблом месте – на станции Джалтыр Акмолинской области. Невдалеке отсюда, в совхозе Джар-тукский, он все эти годы проработал трактористом. Ему запомнились примерно те же подробности нашего странствия, что и мне, включая бомбовый налёт немецких самолётов на железнодорожный мост через Дон в Ростове.

Едва ли поэтому мне удастся существенно дополнить картину миллионного изгнания российских немцев описанием жизни нашего рядового вагона в обычном переселенческом эшелоне. Он следовал, как уже отмечалось, со станции Роя, вобрав в себя около 3-х тыс. обитателей немецких колоний, находившихся в западной части Сталинской (Донецкой) области Украины.

Запомнилась неимоверная скученность: в вагоне не было ни единого свободного пятка. Люди изо дня в день сидели, ели и спали на собственных вещах, которые составляли теперь всё их состояние (больше им взять не позволили, а нашей семье и брать-то особо нечего было). Их было не обойти, не переступить, шагать приходилось прямо по узлам, задевая на ходу и хозяев. Типичное вокзальное бытие военных лет, растянутое, однако, на недели.

Наши места – на вторых сплошных нарах, у самого вагонного люка. Мне сверху видны только головы – взрослые и детские, мужские и женские, главным образом белокурые. Окутанные махорочным дымом, они склоняются из стороны в сторону в такт скрипучим покачиваниям вагона. Ночами детский плач – иногда нескончаемо долгий – сменяется старческим кашлем, стонами больных, глухими разговорами или сдержанными женскими рыданиями.

В вагоне 50 человек вместо положенных 25-ти. Спёртый воздух от немых тел сгущается нестерпимой вонью «поганных» вёдер. А вагонную дверь удаётся откатывать нечасто: по мере продвижения на восток становится всё холоднее. О печке нет и речи, люди согреваются собственным дыханием и теплом скученных тел. В этих скотских ус-

ловиях вагон, как пожаром, охватила завшивленность. От одного пассажира к другому поползла чесотка. Ещё большее бедствие наступило, когда от беспорядочной еды и питья не только детей, но и взрослых поразило расстройство желудка, граничившее с дизентерией. От этой напасти страдали и больные, и здоровые. Говорили, будто в поезде есть врач, но в нашем вагоне он не показывался. Лечились подручными средствами – в эшелоне собрался опытный и выносливый рабоче-крестьянский люд.

В других вагонах были и умершие. Охранники выдавали их близким лопаты, и те зарывали покойников в каком-нибудь углублении возле железнодорожной насыпи, а то и между колеями, если совсем уж прижимало время.

О том, что пришлось пережить немецким изгнанникам в «переселенческом» эшелоне, рассказывает в своих воспоминаниях и Яков Лихтенвальд.

Эпидемия кори у маленьких детей началась ещё до погрузки в эшелон, – говорится в его тетрадных записях, – но никаких медицинских мер принято не было, и планов НКВД это обстоятельство ничуть не изменило. Все немцы во что бы то ни стало должны были отправиться в «новые районы».

Несколько тысяч человек из ставропольских сёл Андрианополь и Либенталь находились под открытым небом в ожидании погрузки целую неделю. 3 октября выпал и растаял снег. Было холодно, ветрено и сыро. Многие, особенно дети, простудились, и болезнь быстро прогрессировала. Двоих малюток уже пришлось похоронить в придорожной лесной посадке. Но это было только начало.

Грузили людей «под завязку», как в мешок. Больных и здоровых вперемишку, будто нарочно, чтобы загубить побольше детей. Печек в вагонах не было, а осень в тот год выдалась ранней и холодной. Горячей пищи по дороге не кормили, если не считать Уфу, где их вагону перепало два ведра ухи. Не было возможности добыть на станциях даже кипятка.

На стоянках разжигали костры, чтобы приготовить кое-какую еду или вскипятить чай. Но и это не всегда удавалось, поскольку трудно было найти дрова. Их уже не раз собирали люди из эшелонов, которые проследовали раньше. Нередко варить не разрешали сопровождающие военные, и тогда многие оставались голодными.

У части немцев продукты оказались на исходе ещё до погрузки в эшелон. Ведь им было велено взять с собой еды всего на 4-5 дней пути. Скот, включая свиней, резать не разрешили. Удалось забить только домашнюю птицу, а всю остальную живность велено было сдать госу-

дарству. Дабы восполнить нехватку продуктов, люди старались испечь побольше хлеба и насушить сухарей. Но много ли можно было сделать за два дня, отпущенных на сборы?

Рискуя отстать от поезда, отцы семейств отправлялись на поиски съестного, и благо, если удавалось купить хотя бы немного картошки. Бывало, что они отставали от эшелона и по 5-6 дней не могли нагнать его. Старший по вагону обязан был докладывать о таких случаях представителю «охраннику». Так называли себя кон-воиры, чтобы ввести в заблуждение ссыльных: дескать, охраняют их от нападения воров и грабителей, для того и винтовками вооружены. А чтобы не быть заподозренными в других функциях, они своей службой никому особо не досаждали.

Как следует из дальнейшего рассказа Якова Лихтенвальда, эшелон быстро охватила эпидемия кори. Тогда на больших станциях в вагоны стали наведываться люди в белых халатах, надетых поверх военного обмундирования. Они сняли с поезда несколько особенно тяжело больных детей старшего возраста, которых можно было одних поместить в больницу. И только. На взгляд этих медиков, матерей, чьи дети нуждались в лечении, было слишком много. Их отправка в больницу означала бы недопустимое уменьшение списочного состава «переселенцев», на что, конечно, НКВД пойти не мог.

И эшелон со смертельно больными малышами шёл дальше, чтобы можно было отпартировать по инстанциям, вплоть до самых высших, об успешном выполнении особого задания партии и правительства. А тем временем дети умирали в вагонах один за другим.

Чем дальше продвигался эшелон, тем становилось холоднее и голоднее. И всё чаще несчастным отцам приходилось копать под могилки уже схваченную морозами землю. Только в вагоне, где ехал Яков, умерло за дорогу шестеро детей, а во всём эшелоне – не менее ста.

«Через полмесяца после приезда в Северо-Казахстанскую область, – пишет он, – мы похоронили племянницу, которую удалось уберечь в дороге. Она была последним грудным ребёнком из нашего вагона.»

Такова была трагичная повседневность эшелонного существования немецких «переселенцев» 1941 года.

...А наш эшелон медленно полз на восток. Скоро месяц, как мы находимся в дороге. Позади остались Сталино (Донецк), Ростов, Свобода (Лиски), Саратов, Чкалов (Оренбург), Челябинск, Курган, Петропавловск. Тысячи километров пути, и неизвестно, сколько ещё впереди.

Питание, на которое начальник нашего эшелона будто бы даже получил деньги, так и осталось пустым обещанием. Кажется, только два-

жды нам выдали по булке хлеба на семью. И это было всё. Не знаю, что стало бы с людьми, если бы не известная запасливость немецкого селянина. Обитатели нашего вагона кормились почти исключительно взятыми впрок продуктами.

Всякая остановка поезда использовалась для того, чтобы приготовить на скорую руку нехитрую еду. Как правило, это были галушки. Тесто для них готовилось уже с утра. Поэтому на стоянке первой проблемой людей становилось добывание воды. В это времени женщины и дети постарше разводили костёр. Благо, уже прошло множество эшелонов с изгнанниками, и примитивные кострища доставались, как бесценное наследство, новым путникам. Иногда даже с не успевшими погаснуть угольками.

Сотни костров зажигаются одновременно, окружённые нетерпеливыми детьми. Ждут: вот-вот закипит вода в казане. Их матери с опаской поглядывают на паровоз: лишь бы сварить, хоть бы успеть!

Но вдруг, как назло, раздаётся гудок, и вдоль эшелона прокатывается привычное «По ваго-о-о-нам!» Все хватают обжигающие посудины с варевом и бегут к своим вагонам, которые уже трогаются с места. Крик, шум, гвалт! Десятки рук тянутся навстречу бегущим, чтобы помочь им забраться в вагон, а поезд уже набирает скорость. Кто-то из мужчин запоздал и бежит изо всех сил. Ему помогает залезть на площадку последнего вагона охранник, хотя это настрого запрещено...

Поехали!.. А обитатели вагона уже стучат ложками в полной уверенности, что недоваренная на огне еда дойдёт до кондиции в желудке. Не останется голодной и едущая рядом семья. По-немецки экономно, но гарантированно будет она наделена съестным. Выручает в долгом пути зажаренное и залитое свиным жиром мясо, которое заготовили едва ли не все. У нас на четверых тоже была молочная фляга с мясом и мешок муки, которыегодились в дороге не только нам.

Всё это – правда, какой она запомнилась мне, 18-летнему, склонному к романтике юноше. Но правда, конечно, далеко не полная. Ведь помимо явного, зримого, в повседневной жизни есть ещё и интимное, потаённое, которое тоже ни объехать, ни обойти. Даже если ты находишься в вагоне, в толпе, где рядом стар и млад. Если всё у всех на виду и слуху.

«...Ехали в сопровождении НКВД. Охранники закрывали снаружи двери на засов, – звучит с магнитофонной ленты голос уже знакомой нам Эрны Валлерт. – На больших станциях и при остановках на перегонах дверь снова отпиралась, чтобы люди могли сбегать за водой и справить нужду. Но так было не всегда, и каждый приспосабливался как мог. Люди стыдились друг друга, особенно молодые. С нетерпением

ем ожидали, когда откроют дверь или наступит темнота, чтобы сходить на ведро. Всё происходило рядом, на глазах. Энкаведешная каторга порушила все нормы приличия, поправа стыдливость, стёрла границы между интимным и публичным, поставила людей в скотское, в полном смысле слова, положение...»

К этим мудрым словам не очень-то грамотной, но глубоко чувствующей и много пережившей женщины трудно что-нибудь добавить. Но нелегко и удержаться, чтобы не процитировать то место в записи, где Э. Валлерт рассказывает о прибытии их эшелона на станцию Каргат Новосибирской области:

«Привезли нас, стали распределять. Везли в скотских вагонах и, как животных, держали взаперти. А теперь мы попали на настоящий скотский базар! Приехали из разных сёл подводы, чтобы развезти немцев по всей округе. Все хотят взять молодых мужчин, специалистов, а одиноких стариков никто не берёт. Видя это, молодые стали выдавать их за своих родителей и забирать с собой.

Погрузили на подводу и нас, а ехать до села Довольного, центра соседнего района, 110 километров. Вскоре пошёл снег, все замёрзли, простудились за четверо суток пути. На ночь размещались в клубе или школе. По-цыгански расстилали на полу свои постели и кое-как спали. Никто нас не кормил, доедали свои последние дорожные припасы и делились с теми, у кого они иссякли.

Приехали в Довольное вечером. Несмотря на позднее время, в сельсовете собралось немало людей, главным образом женщин. Кто такие немцы, они представляли себе очень смутно. Прошёл слух, что это дикари из жарких стран – голые, с набедренными повязками, чтобы срам прикрыть. Поэтому многие пришли из любопытства. И когда увидели прилично, по-городскому одетых людей, особенно детей, то ахнули от удивления. Сами 'чалдоны' ходили в лаптях и самотканых холстинах.

Нашу семью никто на постой брать не хотел – дети у нас малые были. Но председатель сельсовета уговорил старуху Боборыкину, и она отвела нам место в сених. Благо, туда выходила русская печь, она нас и спасла. А многие в сараях, конюшнях и баньках всю зиму прожили, их никто к себе не взял.»

Слушаю бесхитростный рассказ Эрны Валлерт, а из головы не выходит прочитанная ещё в 1991 г. публикация из «Нойес Лебен». В газету написал Григорий Шамота, который в 1955 г. работал главным инженером Бурлинской МТС в Кустанайской области, занимался освоением целины:

– Через некоторое время после начала вспашки я увидел в поле мно-

го человеческих костей. Видны были черепа, кости рук, ног, грудных клеток. Много детских костей. Я сразу обратился к трактористам с просьбой объяснить, откуда здесь человеческие останки. Тракторист Иван Фёдорович Рак мне рассказал страшную историю. В январе 1942 г. на четырёх тракторах вывезли в поле немцев, выселенных из Поволжья. В тот день был сильный ветер, 42 градуса мороза. «Вы выселены по указанию тов. Сталина. Это ваше новое местожительство, благоустраивайтесь!» Голодные, не по-зимнему одетые люди замёрзли прямо в поле. Осталась в живых только одна женщина – Мария Готлибовна Готфрид. Она мне потом подтвердила всё, о чём рассказали трактористы.

М.Г. Готфрид мне сказала, что ей чудом удалось спастись. «Я зарылась в сугроб, подождала, когда хоть немного стихнет буря, и пошла полем, напрямик. С большим трудом, измученная и обессиленная, я добралась до небольшого села. Здесь меня добрые люди подобрали, накормили, и я выжила.»

Как не вернуться после этого рассказа к «знаменитым» августовским документам родной партии и государства, которые определили роковую судьбу миллиона изгнанных российских немцев! И к содержавшимся в них лживым словам о переселении «целыми колхозами», с наделением землёй и угодьями и оказанием государственной помощи «по устройству в новых районах». Рассказ о том, каким блефом с самого начала оказались эти фразы, дополнили и многие другие уцелевшие свидетели сталинского эксперимента по новому «великому переселению народов».

– По-разному встретили наших немцев в местах выселения, – вспоминает Фрида Вольтер, урождённая Комник. – К прибытию нашего эшелона на станцию Алейск съехались из разных колхозов председатели с санным обозом. Будто на невольничьем рынке выкрикивали: «Кузнецы есть? Кто кузнецы – подходи! Плотники, плотники нужны! Трактористы, механизаторы – давай сюда! Бухгалтер или счетовод нужен! А агронома или зоотехника нет?»

Одинокие женщины, да ещё с детьми, как и интеллигенты, шли «третьим сортом». Им суждено было попасть в самые отдалённые, бедные колхозы, где многие и пропали с голоду. Погрузили они на сани свои нищенские пожитки, а сами вслед за ними пешком пошли. В таком колхозе оказалась с матерью и Фрида.

– Нас с Украины везли целый месяц, – рассказывает она. – Как раз под ноябрьские праздники на место прибыли. А там уже снег лежит глубокий. Мы все легко одеты, многие в парусиновых туфельках и осенних пальто. Всего 2 часа на сборы дали, фронт совсем рядом был. Из

одежды прихватили, что под руку попало, нам ведь сказали: на две недели от передовой глубже в тыл эвакуируют. Теперь вот в туфельках по снегу шли. А холод и ветер нешуточные, многие сразу же обморозились. Жуть, что было! Рассказать – никто не поверит!

Спасибо, местные пожалели: баньку истопили, согрели нас, накормили с дороги. Не было ещё тогда, в начале войны, такого зверского отношения к немцам. Это потом, когда похоронки косяком пошли, они на нас зло и обиду вымещали. Будто мы в чём-то виноваты были.

О прибытии на место выселения поведал в своём письме и художник из Москвы (теперь житель Германии) Роберт Вайлерт:

«Разгрузили нас на станции Чёрная Речка Алтайского края. Окружили со всех сторон энкаведешниками из местных 'органов'. Мы случайно оказались рядом с кучей гниющих тюков кожи и пушнины. Отец, занимавшийся кожаным делом, покачал головой, увидев это безобразие. Конвоир, присматривавший за нами, спросил:

– Что, не нравится запах?

– Дело не в запахе. Гниёт пушнина. А ведь за граница золотом за неё платит.

– Если ты специалист, то мы со временем вернём тебя сюда. А теперь вы поедете в колхоз убирать хлеб, чтобы у нашей Красной Армии хватило сил добить вас, фашистских гадов.

При этих словах отец сильно сжал мою руку, и я понял, что творилось у него на душе.»

В сибирских и казахстанских сёлах немецкие рабочие руки оказались куда как кстати. Тем более – осенью 1941 года, когда ранний снег толстым слоем накрыл необмолоченные валки хлеба, и некому стало выводить в поле комбайны из-за мобилизации мужчин на фронт. К тому же зерно надо было доставить, иногда за сотню километров, на железнодорожную станцию, чтобы выполнить план хлебопоставок.

Морозы в ту зиму стояли сильнейшие, редко когда было меньше сорока градусов. На уборку выходили с лопатами и вилами. Нужно было сначала счистить с валков снег, затем забросить их на повозки и на «бычачей» скорости отвезти к стоящему в поле комбайну. И всё это – на пронизывающем ледяном ветру.

Это был труд за «палочки», как колхозники называли меж собой учётные единицы выполненной работы – трудодни. Поскольку «палочки», как правило, ни деньгами, ни хлебом не оплачивались, «переселенцу» приходилось выпрашивать каждый килограмм зерна у председателя. Или – если не было другого выхода – незаметно уносить с тока, а затем перемалывать в крупу и муку. Пшеница была для ссыль-

ных немцев, как и для подавляющего большинства местных жителей, единственным, хотя и труднодоступным источником существования. Не считая разве что картофеля, который в первое время удавалось выменивать на остатки вещей или каким-то образом зарабатывать.

Положение катастрофически ухудшилось, когда отцы и старшие братья, а затем и большинство матерей подверглись так называемой «трудообликации». Дети и престарелые родители оказались целиком предоставлены сами себе. Поскольку в колхозе могли работать из них немногие, то почти все оставшиеся «переселенцы» оказались безо всяких средств к существованию. Пособия, какие получали семьи мобилизованных в армию кормильцев, немцам не полагались. Их уделом были нищета, попрошайничество, голодная смерть.

Это означало, что начал реализовываться следующий после депортации этап негласной партийно-государственной программы морального и физического геноцида в отношении российских немцев. Сначала у них отобрали родину, дом, имущество, доброе имя и, как пыль на ветру, рассеяли по огромным азиатским просторам. Потом насильственно расчленили семьи, отделив мужчин и женщин от детей со стариками, чтобы порознь обречь их на духовную и физическую гибель.

Обо всём этом пойдёт речь в следующих главах нашего повествования. Здесь же мы затронем ещё одну тему из истории российских немцев, которая, на наш взгляд, вполне вписывается в содержание данной главы. Речь пойдёт о той части немецкого населения СССР, которая попала под гитлеровскую оккупацию, а в 1943-44 годах была под натиском наступающей Красной Армии вывезена в Польшу и частично в Германию.

По данным КГБ СССР, с середины 1943 г. по май 1944 г. в район Познани (нынешняя Польша) было переселено из Южной Украины, Бессарабии, Молдавии и Волыни 326 тыс. немцев. Им присваивали германское гражданство, а мужчин военнообязанных возрастов мобилизовали в вермахт и отправляли на Итальянский или Западный фронт.

В 1945 г., после разгрома Третьего рейха, бывших «фольксдойче» при ревностном содействии властей английской, французской и (в несколько меньшей мере) американской оккупационных зон выдворили назад в СССР. С ярлыком «немецких пособников» их сослали в «отдалённые районы» страны под надзор органов внутренних дел и госбезопасности. По тем же данным, из числа «перемещённых лиц» было возвращено в СССР и поставлено на спецучёт 208.388 немцев.

Так волею судьбы или, если угодно, истории они повторили тот путь, который пришлось пройти большинству их соплеменников осе-

нию 1941 года. По сути дела это была та же депортация, лицемерно названная советским властями «репатриацией».

К сказанному добавим, что военнотружущие германской армии из числа «репатриантов» были приговорены по возвращении в СССР к предельным срокам – 25 лет лагерей – и амнистированы только в 1955 г.

Таким образом, почти треть миллиона российских немцев оказалась жертвой военного противоборства двух идентичных по своей сути тоталитарных режимов – гитлеровского в нацистской Германии и сталинского в коммунистической России. Эта эпопея ещё не стала в должной мере на территории бывшего СССР предметом научного, а тем более литературно-публицистического исследования.

Между тем она во многих отношениях поучительна и помогает вскрыть полную беспочвенность обвинений, которые должны были послужить «основанием» для массовых репрессий против российских немцев. Сотни тысяч немцев Украины и других западных территорий СССР своим отношением к германской армии и оккупационным властям выбили почву из-под ног тех апологетов сталинизма, которые и поныне пытаются оправдать депортацию наших соплеменников в 1941 г. необходимостью принятия превентивных мер в условиях продвижения гитлеровских войск вглубь страны.

Как пишет уже упоминавшийся нами бывший ответственный работник КГБ СССР А. Кичихин, в предвоенный период германская разведка пыталась проводить вербовочную работу среди российских немцев с целью формирования в СССР пресловутой «пятой колонны». Однако на практике из этой затеи ничего не получилось. Германские власти не дождались и запланированной ими помощи немецкого меньшинства на оккупированной советской территории, отмечает А. Кичихин.

Как явствует из книги Л. де Йонга «Немецкая 'пятая колонна' во второй мировой войне», в 1941 г. в Берлин был послан специальный доклад, авторы которого заявили, что «местные немцы, даже если они не являются коммунистами», имеют глубоко неверное представление о Германии и национал-социалистских лидерах. Совершенно индифферентно, как отмечалось в докладе, немецкая интеллигенция относится к евреям. «Более того, они считают евреев безобидными людьми, не внушающими никаких опасений.» Германская исследовательница Ингеборг Фляйшхауэр, проанализировав многие архивные документы, пришла к выводу, что «коллорабационизм» немецкого меньшинства наблюдался в СССР в очень ограниченных масштабах. Она отмечает, что немецкое население встретило германские войска весьма сдержанно, без ожидаемого воодушевления и благодарности.

За три года оккупации нацистским карательным органам так и не удалось широко вовлечь немецкое меньшинство в истребительные акции против евреев, партизан и коммунистов. Российские немцы предпочитали, как и прежде, дистанцироваться от чуждых им военно-политических кампаний. Не случайно германские власти именовали этих своих соплеменников «фольксдойче», что могло означать, между прочим, «гражданские немцы», т.е. противопоставление людям в мундирах.

«Среди обнародованных германских архивных документов, – заключает А. Кичихин, – нет ни одного, который бы позволил сделать вывод, что между Третьим рейхом и немцами, проживавшими на Днестре, у Чёрного моря, на Дону или в Поволжье, существовали какие-либо заговорщические связи.»

Таким образом, сама история подтвердила право по-новому поставить вопросы, касающиеся мотивов репрессий против российских немцев, и адресовать их сталинским наследникам в Москве:

– Где же на проверку находились те «тысячи и десятки тысяч» пособников врага, о наличии которых «достоверно» сообщалось в Указе от 28 августа 1941 года? Почему они не проявили себя ни в тылу, ни даже на оккупированной территории?

– Нужно ли было депортировать и истязать миллион своих же граждан, включая женщин и детей, исходя лишь из ничем не мотивированного предположения о возможности их пособничества агрессору? Тем более, что в реальной действительности немецкое население СССР не оказало оккупантам никакой существенной поддержки!

– К чему в таком случае было лишать доверия, снимать с фронта десятки тысяч дисциплинированных и умелых военнотружущих немецкой национальности, ничем не запятнавших себя?

Наконец, поставим ещё один немаловажный вопрос, на который до сих пор никто из официальных властей даже не пытался ответить:

– За что были репрессированы те 208 тыс. российских немцев, которых переселили из родных мест в Польшу и Германию, а после завершения войны вывезли в СССР?

Ведь, как выяснилось, в подавляющем большинстве своём они ничем перед страной не провинились: не были пособниками врага, не участвовали в его преступных акциях, переселились на Запад по принуждению. Более того – парадоксальность ситуации и одновременно корень поставленного вопроса в том и состоит, что формально эти люди вернулись в СССР по собственному добровольному решению и тем самым – быть может, не сознавая того, – убедительно доказали

свою лояльность Родине. Своё село или город они фактически предпочли хвалёной Германии.

Приведу для примера рассказ Адама Крекера, который в 1990 г., когда мы с ним беседовали, был слесарем контрольно-измерительных приборов в тресте Чуйпромстрой, Киргизия.

«Знаете, немцы под властью немецких оккупантов — это немало-важный вопрос, которым тоже надо бы кому-то всерьёз заняться, — говорил он. — Ошибаются те, кто полагает, будто наши немцы бросились им в объятия или встречали их с цветами на сельских улицах. Не ходили мы у них в услужении, не выполняли любую прихоть, а тем более злую волю. Напротив, встретили их с настороженностью и, я бы сказал, отчуждённостью. Не по душе пришлись нашим крестьянам их безапелляционность, высокомерие, пренебрежение к «фольксдойче», как они нас называли. Удивляла жестокость в обращении с людьми, в том числе и с нашими немцами, если те допускали любую, подчас самую мелкую провинность.

Да и жизнь при них в немецких сёлах в материальном отношении мало чем изменилась. Колхозы и обязательные хлебопоставки как были, так и остались. С той лишь разницей, что обирали людей теперь не Советы, а немецкая власть.»

Летом и осенью 1943 года, когда, по выражению Адама, «оккупантам крепко дали под зад», нацистские власти без долгих уговоров вывезли немцев из Запорожской области, где он жил, в Германию. Объясняли эту акцию примерно так: «Вы отправляетесь на землю предков, на свою Родину. Не бойтесь, ничего с вами не случится. А если останетесь, то попадёте в Сибирь, где оказались другие немцы.»

Конечно, все уже слышали об изгнании немцев из восточных областей Украины и других районов европейской части СССР. Но не верилось, что это — навсегда. Думали: закончится война, и переселенцев вернут из Сибири в родные места. Поэтому многие уезжали на Запад вопреки своему желанию и с тяжестью в сердце. Некоторых гнал неосознанный страх перед Красной Армией, хотя никакой вины они за собой не знали. И все вместе опасались кары со стороны немецких властей.

О том, что сопротивление гитлеровцам было не только бесполезно, но и смертельно опасно, я слышал и раньше. Коллега по давнейшей работе в школе Василий Финько, воевавший на юге Украины, рассказывал, что видел немецкую колонию под Одессой, которую оккупанты танками сравнивали с землёй вместе с жителями за то, что те отказались «эвакуироваться» на Запад.

О расправе оккупантов над одним из «фольксдойче», который не

смирился с фашистским насилием над украинскими патриотами, рассказала вышеупомянутая Валентина Вильмс. Её дед по матери Карл Бриен был среди жертв 1937 года, освобождённых немецкими войсками из мариупольской тюрьмы НКВД в Сталинской (Донецкой) области. Но как человек, не терпевший несправедливости, он под маской немецкого пособника стал тайно помогать людям, попадавшим в руки гестапо. Многим из них удалось с его помощью избежать расправы.

Однако Карла выдали, и в 1943 г. в донецком селе Тельманово (Остгейм) его вместе с 30-ю соратниками расстреляли эсэсовцы за сопротивление властям, предварительно заставив выкопать себе могилы. На место казни согнали жителей села, включая трёх сестёр Карла — Анну, Альбину и Вильгельмину.

Вскоре их тоже «эвакуировали» в тыл германской армии, а после окончания войны они разделили каторжную судьбу других «репатриированных» российских немцев, попав на лесозаготовки в сибирскую тайгу.

Однако обо всём по порядку. В конце сентября 1941 года германские войска прорвали фронт на юге Украины, захватив ту часть левобережной Запорожчины, где находилось подавляющее большинство местных немецких колоний.

Через Георгсталь, Михаэльсбург, Ольгафельд, Александерталь фронт прокатился тихо и почти незаметно. Совсем иная участь выпала на долю тех запорожских немцев, которые жили дальше на восток от Днепра. Многие из них попали во фронтовую «мясорубку», и энкаведешники буквально вырывали «своих» немцев из рук противника. Действовали по принципу: «Пусть лучше наши фашисты загнутся, чем достанутся врагу.»

Но были среди немцев и такие, кому в последний момент удалось спастись от сибирской ссылки. Об одном подобном случае рассказывается в автобиографическом повествовании известной в Германии писательницы из российских немцев Нелли Дэс «Как это было тогда в Германии». Небольшой эпизод из этого произведения, напечатанного в альманахе «Хайматбукх» за 1995-1996 гг., я попытаюсь передать в своём переводе и в сокращённом изложении.

...Немцев из села Андребург в Запорожской области доставили для погрузки в эшелон на местную станцию Токмак. Однако здесь не было ни вагонов, ни тех, от кого можно получить какую-то информацию. Нелли показалось, что руководство уже сбежало. Наконец, появились два человека в униформе и принялись за вагоны.

А бои тем временем приближались. После обеда стало совсем жутко: два советских самолёта пролетели прямо над их головами, стреляя



Нелли Дэс

из пулемётов. У противоположного конца поезда было много убитых и раненых.

Женщины и дети оставались на погрузочной площадке станции ещё день. Войска уже покинули город. Нелли с братом Иоганном рискнули выйти на дорогу и вдруг услышали шум мотора. Два мотоциклиста ехали прямо на них. Убегать было поздно, и они остались на месте.

— Ну, русские, что вы ищете тут на дороге?

Это были немецкие солдаты. Дети онемели. Военные, жестякулируя, пытались выяснить, есть ли поблизости русские сол-

даты. Ответное молчание выводило их из терпения.

— Ответьте же, наконец, глупые русские озорники!

— Мы не русские, — решила сказать Нелли.

Солдат посмотрел на неё удивлённо:

— А кто? Быть может, немцы?

— Да.

— Так почему вы заставляете нас так долго спрашивать? Где ваши родители?

— Мать и бабушка там, в саду.

— Есть ли здесь ещё немцы?

— Да, они не успели отправить всех в Сибирь.

— Тогда бегите к вашей матери. А нам надо прогнать ещё нескольких русских. Вам мы плохого не сделаем, через час вернёмся.

Мать больше ничего не хотела слышать, кроме того, что через час сюда придут немцы.

Так они попали в руки к немцам и избежали ссылки в Сибирь...

Казалось бы, по-разному складывались судьбы российских немцев в годы войны: одних сразу отправили далеко на восток и обрекли на мучения голодным непосильным трудом, другие ещё два года оставались в родных украинских, молдавских или волынских краях. Но потом и их закружило в бешеном вихре войны, и в итоге всех перенесён-

ных страданий они пришли к одному со всеми российскими немцами финишу — депортации в «места не столь отдалённые» (как издавна говорят в России), под надзор неусыпных органов НКВД-МВД.

Но прежде им пришлось пройти сквозь пекло «добровольного» переселения в Польшу и Германию, чтобы затем оказаться свидетелями и жертвами самоуправной власти Победителей. Об этой жизненной эпопее 300 тысяч «фольксдойче» рассказано пока незаслуженно мало. Возможно, на фоне всеобщего военного бедствия пережитое беженцами на многомесячном кочевом пути, который пришёлся на осень 1943-го и весну 1944-го годов, покажется не столь уж значительным. Но без освещения этой трагической темы история российских немцев не может быть достаточно полной.

Я попытался собрать воедино воспоминания некоторых участников этих тысячекilометровых обозных переходов. В 43-м они пролегли с юга на северо-запад Украины, а затем по Белоруссии в Польшу. В 44-м этот путь был уже перекрыт Красной Армией, и одесским, молдавским, приднестровским немцам пришлось пробираться в Польшу горными дорогами через Югославию, Венгрию и Чехословакию.

О начале этой «эвакуации», больше походившей на бегство, вспоминают Альма Фихтнер, которой было в ту пору 12 лет, и тогдашний юноша Георг Браун.

Когда необходимость покинуть село стала неотвратимой, пишет Альма, началась настоящая лихорадка. Женщины с детьми паковали вещи, пекли, варили, жарили, заливали топлёным салом мясо в дальнюю дорогу, а мужчины были заняты лошадьми и повозками. Утром 23 октября 1943 года большие немецкие фуры, телеги и арбы, накрытые брезентом и запряжённые двумя-тремя лошадьми, положили начало переселенческому обозу.

По улицам метались домашние животные, жалобно скулили собаки. Женщины и дети плакали. Немногочисленные мужчины отводили глаза, делая вид, будто понукают лошадей. Улица была заполнена шумом, стуком колёс, щёлканьем бичей, скрипом сбруи, звоном вёдер. Ревели привязанные к телегам коровы. Их погоняли прутьями женщины и подростки, которым не хватило места в доверху нагруженных повозках, где среди вещей разместились дети и немощные старики. Почти километровой обоз тронулся в путь...

Примерно такую же картину, но применительно к весне 1944 года описывает в своих воспоминаниях Георг Браун, проживавший в то время на украинском правобережье Днепра. В ранний утренний час 16 марта к горе за околицей села Ландау Одесской области съехались гру-

жёные подводы, выстроившись в большой обоз. Фуры накрыты досками, кусками жести, фанеры – всем, что нашлось на сельском дворе. Всюду хмурые лица, напряжённые взгляды. Тронулись. Один из мужчин долго и пристально всматривается в оставляемое село, охватывает взглядом степь. На вопрос, что он там разглядывает, следует ответ: «Свою Родину. Быть может, в последний раз.» И надолго замолкает.

С рёвом плетутся за повозками коровы, вспоминает дальше Георг. Между колёсами пробегают собаки. Одна из собак, для которой распрощаться со двором было ещё тяжелее, чем с хозяевами, стоит на пригорке и громко воем вслед проезжающим подводам с плачущими людьми. Даже животные прониклись всеобщим прощальным горем.

«Когда по раскисшей дороге мы поднялись на соседнюю горку, я ещё раз посмотрел окрест. В селе горели дома, а вдалеке было видно и слышно, как палат пущки. Это значило, что русские уже вышли к Бугу», – заключил Георг Браун.

Был в устных и письменных повествованиях собеседников об обозных буднях и ещё один неизменный мотив. О нём упоминали все встретившиеся мне участники широкомасштабной «эвакуационной» акции германских властей. К несчастью, приплась она на самую трудную для путников пору – осеннюю и весеннюю распутицу. Поэтому каждый раз, когда речь заходила о тяготах дорожной жизни, они упоминали о муках, которые перепали вконец обессиленным и отошавшим животным, прежде всего лошадям. За нехваткой места сошлось на свидетельства только двух очевидцев, с которыми я встретился в Гессене уже после переезда в Германию, – Карла Байера (Фульда) и Артура Шефера (Шоттен). Даже по прошествии стольких лет они не могли рассказывать об этом без волнения.

В начале ноября 1943 года, через неделю после отправки из Молочанска (Пришиба) Запорожской области, рассказывает Карл, начались дожди. С середины месяца – вперемешку со снегом. Дорога, разбитая тысячами колёс, превратилась в непролазное месиво. Сочувствовавшим людям было невыносимо тяжело видеть мучения лошадей, которые из последних сил тянули по глубоким рывтинам тяжёлые фуры. С собственными лишениями путники ещё могли как-то смириться, но почему должны страдать бедные лошади, им было совершенно непонятно. Мучаясь угрызениями совести, сердобольная семья слезала с повозки и по колени в грязи помогала лошадям вытягивать телегу из очередной колдобины.

Но бывало и так, замечает Карл, что измождённая до крайности лошадь просто падала в холодную дорожную жижу, и ни кнут, ни пал-

ка не могли её поднять. В таких случаях помогали только ласковые слова хозяина: «Ну, милая, вставай же! Ещё совсем немного! Надо ехать, все мы чертовски устали! Вставай!» И она, немного отдохнув, поднималась. С помощью всех, кто ещё держался на ногах, повозка метр за метром продвигалась вперёд. Более 10-ти километров в сутки обоз в такую непогоду преодолеть не мог.

Шли дни, недели, месяцы, продолжает К. Байер. Теперь впереди обоза ехали те, у кого были лучшие лошади и крепкие телеги. Другие мучились в грязи со сломанными колёсами, изорванной сбруей, изнурёнными вконец лошадьми. Это было уделом главным образом тех семей, которые остались без отцов. На обочинах часто можно было видеть сломанные телеги или арбы, не выдержавшие тягот ужасной дороги. Беспомощные члены семьи стояли возле покосившейся повозки, на которой находились жалкие остатки их имущества. Это были душераздирающие картины!

Много непредвиденных тягот встретилось «эвакуированным» на их долгом обозном пути. Но была среди них и общая проблема, переросшая в беду по мере того, как они всё больше удалялись от родных мест. Дело в том, что германские власти, вынудившие отправиться в конный путь сотни тысяч людей, сняли с себя заботу о снабжении обозов продовольствием и фуражом. Запасы того и другого за долгие месяцы пути давно иссякли, и нужны были невероятные усилия, чтобы добыть их по дороге, где уже прошли сотни таких же обозов.

Об этом сообщила мне Мария Губер, которой было тогда всего 5 лет. Её смутные детские воспоминания дополнили позднее родные и близкие, проделавшие в 1944 г. обозный путь из Одесской области в Польшу и далее в Германию. За всю дорогу их кормили всего три раза, пишет она. Заботиться о пропитании приходилось самим. Это удавалось всё реже, т.к. к весне всё припасённое прошлым летом подходит к концу. Особенно трудно было добывать корм для лошадей и коров. За него приходилось отдавать последние деньги или вещи. С одеждой у большинства семей дело обстояло не лучше. Когда стало нечем расплачиваться за продовольствие и фураж, пришлось отдавать коров. По этой причине, а также из-за того, что коровы на дальнем пути сбивали себе копыта, этих семейных кормилиц становилось всё меньше, а больных и умерших детей – всё больше.

Обозную тему продолжает Артур Шефер. Из его рассказа становится ясно, как и чем закончился конно-обозный способ транспортировки российских немцев с территорий, оккупированных германской армией. Сам Артур с семьёй «эвакуировался» из приднепровского села

Малая Лепатиха в Запорожской области, когда Красная Армия отбила назад Донбасс, а советские танки уже продвигались к Гуляйполю. Их обоз двигался параллельно с отступающими тыловыми частями вермахта. С трудом преодолевали каждый километр раскисшей под дождями и разбитой всеми видами транспорта дороги.

Чем дальше продолжался путь, тем становилось труднее, рассказывал Артур. В середине ноября 43-го начались ночные заморозки. Они могли бы облегчить путь, будь лошади как следует подкованы. Но это было редкостью, и, когда морозы усилились, путники поняли, что копыта, размокшие от постоянных дождей и слякоти, не выдержат твёрдой дороги, а лошади поранятся.

Вскоре выпал снег. Всё новые и новые снегопады ещё более усилили мучения людей и лошадей. Теперь нужны были бы сани, а не тяжёлые фуры, которые едва можно было сдвинуть с места из-за налипшего на колёса снега. Стало очевидно, что большинство повозок дальше ехать не сможет и надо искать другие способы передвижения. Позади остались Кривой Рог, Первомайск, Каменец-Подольский, Проскуров (ныне Хмельницкий). За месяц был проделан путь почти в 500 километров. И столько же, если не больше, ещё предстояло пройти. Для приведения в порядок лошадей нужно было не меньше месяца. «Не обгонят ли нас за это время советские танки?» — резонно спрашивали себя «эвакуируемые».

Решили сдать лошадей вермахту и просить пересадить людей на поезд. Военные власти пошли гораздо дальше: помимо лошадей были вскоре мобилизованы в вермахт и все мужчины военнообязанных возрастов. В результате в семьях обозников остались только глубокие старики, женщины и дети.

Основная масса немецких мужчин исчезла в недрах НКВД ещё в 1937-38 годах. Потом был август 41-го, когда органы «мобилизовали» мужчин до 50-ти лет включительно. И вот теперь вермахт «подчистил» оставшихся в возрасте от 17-ти до 60-ти лет. На сей раз — для защиты Фатерланда, которого почти никто из «фольксдойче» ещё и в глаза не видел.

На полпути завершилась обозная эпопея не только у мало-лепатихинских немцев. Из-за огромных трудностей полностью преодолеть путь до мест временного поселения в районах Познани и Лодзи («Вартегау»), как это было намечено, удалось лишь немногим обозам. Остальных германским властям пришлось «подобрать» в Западной Украине, Венгрии, Чехословакии и других местах, через которые пролегал путь «эвакуированных». Таким бесславленным финалом увенчалась

попытка германской администрации с минимальными затратами, на основе самообеспечения осуществить сверхдальнюю переброску 300-тысячной массы людей гужевым транспортом.

Однако, несмотря на тяжелейшие условия отступления, «фольксдойче» не были брошены на произвол судьбы. Усилиями германских властей их всё-таки доставили в Польшу и Германию. А после краха Третьего рейха участь этих людей стала определяться совсем иными властными структурами. К настоящему времени практически все оставшиеся «фольксдойче» проживают в ФРГ, где они были приняты по упрощённой процедуре как бывшие граждане Германии.

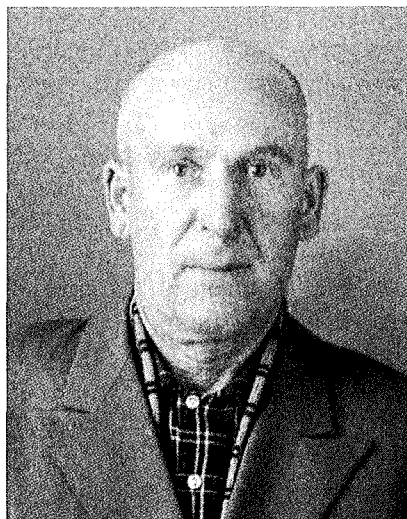
О мобилизации мужчин из числа «фольксдойче» упоминается во всех воспоминаниях тогдашних «обозников». По словам Артура Шефера, его попутчиков-юношей призывали в вермахт в июне 1944 г., когда они находились в Венгрии, вблизи дунайских «Железных ворот». После доставки в Лодзь «репатриированным» было предоставлено германское гражданство. В декабре 1944 г. мобилизовали почти всех оставшихся от бывшего обоза мужчин. Большинство односельчан А. Шефера попало в Данию, а тех, кто оказался в Голландии, почти всех убили.

Имеются данные о том, что в вермахте погибло 80 тыс. «фольксдойче». Выжившие оказались в плену у союзников, были возвращены в СССР и осуждены — как правило, к 25-ти годам за «измену Родине».

Эти люди угодили в такой переплёт, что очень трудно определить, в чём, собственно, могла состоять их вина. В самом деле, советский трибунал углядел измену Родине в том, что они находились во вражеской германской армии. Но ведь «фольксдойче», как правило, вступали в вермахт не добровольно, а призывались туда после того, как им автоматически предоставляли гражданство Германии. Последняя акция, собственно, для того и затевалась, чтобы основательно поредевший вермахт получил дополнительно несколько десятков тысяч солдат. Отказаться от гражданства, а тем более от мобилизации было практически невозможно. Это во-первых.

Во-вторых, согласно германскому законодательству (и не только ему), после получения гражданства эти люди — опять-таки автоматически — перестали быть подданными СССР. Получается, что советский трибунал приговаривал едва ли не к пожизненному заключению за измену Родине, т.е. СССР, граждан иностранного государства(!).

Кстати говоря, для возвращения бывших «фольксдойче» в СССР советские представители клятвенно обещали избавить их от какого-либо наказания. Как рассказывал Адам Дон, пленённый французскими войсками, им раздавали красочно оформленные советские удосто-



Адам Дон

верения, которые гарантировали, что их обладатели могут свободно возвратиться на Родину, «даже если вынуждены были сражаться против своей страны». Разумеется, А. Дон, как и прочие его товарищи по несчастью, получил на той Родине положенные 25 лет.

В начале 1945 года Красная Армия достигла мест поселения «фольксдойче» в Польше, а затем и в Германии. А в сентябре «эвакуированным» пришлось оставить свои новые жилища и с вещами собраться в лагерях. Советские власти требовали возвращения «своих» граждан.

Сначала это делалось путём уговоров и увещеваний. По всей территории оккупированной Германии разъезжали специальные советские команды в сопровождении офицеров, обещая вернуть переселенцев на их прежние места проживания.

Но при этом «репатриантов» обманули самым бесовестным и коварным образом. Называя вещи своими именами, — попросту предали. Вместо того, чтобы оценить их гражданскую стойкость, проявленную в столь тяжёлых условиях, советские власти, «твёрдо» пообещав этим людям возвращение в родные места, отправили их за Урал. В который раз большевистский режим прикрыл своё волчье обличье коварной маской «доброжелательного» лицемерия, рассчитывая на доверчивость простых и честных людей. Об этом чудовищном обмане, как и о трудной судьбе сотен тысяч «репатриантов», которым тоже пришлось хлебнуть общенемецкого горя в результате прошлой войны, мы попытаемся рассказать словами участников и одновременно жертв этой малоизвестной эпопеи.

Более или менее подробно я услышал о ней лишь в конце 50-х годов, когда вдруг обнаружилось, что мой дядя по отцу Константин Вольтер, который жил в начале войны в Запорожской области, находится с семьёй в Таджикистане, на Исфаринских угольных шахтах. В начале сентября 1941 года немецкие войска внезапно форсировали Днепр, и часть левобережных немецких колоний

оказалась под оккупацией.

С тех пор эта ветвь Вольтеров как в воду канула. Почти 17 лет не было от них никаких вестей. Стало быть, думали мы, осели наши родичи где-то в Германии, избежали депортации, «трудоустроились» и спецпоселения. Повезло же людям... И вдруг получаем весточку от моей любимой кузины Альмы с юга Средней Азии, не так уж далеко отстоящего от Джамбула, где я с семьёй поселился после снятия ненавистного режима спецпоселения. Увиделись после многолетней разлуки.

Боже мой! Как дядя ругал всех и вся, и в первую очередь себя, за то, что поддался обману, поверил «этим советским», будто их вернут домой, на прежнее место жительства, в Верхне-Рогачикский район, село Георгсталь, колхоз «Роте Фане». Как не дрогнуть было сердцу при мысли о возможности ступить на родную землю, вернуться к небогатой, но размеренной деревенской жизни, к колхозной кузнице, где колдовал он у жаркого горна!

А что сделали? Без долгих слов заперли снаружи вагоны, провезли мимо Украины, через всю Россию, доставили в Таджикистан и на 10 лет посадили на спелучёт, определив на тяжелейшую работу в угольные шахты.

— Нет, пусть мне хоть золотого тельца пообещают, больше ни одному советскому не поверю! Никогда себе не прощу такой доверчивости! Как ребёнка, обвели вокруг пальца! Ладно уж я — четырёх дочерей и Артура в неволю привёз! Хорошо, хоть Бертольд там остался!

Дяди Константина давно нет в живых: не выдержало его натруженное сердце кузнеца горечи чудовищного обмана. Немногим он тогда поделился. Да и кто знал, что когда-нибудь это можно будет не только открыто высказать, но и напечатать!

Более подробно об этих событиях сообщила мне позднее другая дочь дяди Константина, Гада Пфафф, проживающая теперь в Германии. Летом 1943 года, когда фронт вновь приблизился к украинскому Приднепровью (на сей раз с востока), «фольксдойче» по приказу немецкого командования «эвакуировали» конными обозами в район Познани. А год спустя им опять пришлось тронуться с места



Константин Вольтер



Геда Пфафф

и вкупе с отступающей германской армией передислоцироваться дальше, в район Берлина. Там их и настигли советские войска.

Когда летним днём 1945 года «фольксдойче» собрали по объявлению советской комендатуры для доверительной беседы с представителями службы репатриации, многие потеряли голову. И было отчего. Площадь, на которой проходило собрание, красочно оформили. Под лёгким ветерком трепетали кумачовые флаги. Из репродуктора

гремели знакомые с детства песни из первых советских звуковых фильмов. Широко разносился знаменитый шлягер, впервые прозвучавший в кинофильме «Цирк»: «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек!» И надо всем этим торжеством возвышался транспарант с аршинными буквами: «Родина-Мать зовёт и ожидает вас!»

Выступал майор, долго и проникновенно рассказывал, что на родине их ждут дома, имущество, спокойная и счастливая жизнь, которая наступит теперь, после долгожданной Победы. Он, дескать, знает, что «советские» немцы не по своей воле, а по приказу фашистского командования покинули Родину. Что они перед нею ничем не провинились и могут со спокойной совестью вернуться домой. Говорил с большим чувством, видимо, искренне веря в правдивость своих слов. И тем покориł многих из «фольксдойче», включая дядю Константина.

Вернувшись с собрания и находясь под впечатлением речи майора, он, будучи сам человеком слова, принялся убеждать жену и пятерых детей:

– Подумайте, Германия разбита, что с ней будет – никто не знает... Города разрушены, даже местным немцам негде жить. Куда нам деваться? Дома нас ожидают дома, наше село, кузница. Там мы всегда имели кусок хлеба. А здесь? Где будем работать, что станем есть?

Альме и Геде, старшим из дочерей, он внушал:

– А вы что себе думаете? В Союзе остались ваши мужья, у вас

маленькие дети... Что с вами будет в Германии?

– Мы теперь германские подданные и не обязаны возвращаться в СССР. Останемся здесь и будем жить, как все немцы, – возражала мачеха детей Лидия.

– Нам тоже ни к чему возвращаться, – в один голос твердили Альма и Геда. – Мы ещё молодые, найдём себе мужей и здесь. А Эвальд и Рудольф – кто знает, где они теперь? Одного вместе с другими мужчинами ещё в августе 41-го забрали, другой вообще без вести пропал...

Долго мы спорили, но отец настоял на своём, – рассказывала Геда. Оно и понятно: он желал семье добра и считал, что правильно всё взвесил. Исходил из главного, на его взгляд, довода, подсказанного советским майором: там, дома, – испытанная многолетним опытом жизнь, а в Германии – полная неизвестность.

К рассказу о том, чем обернулась для дяди Константина и его семьи наивная вера в обещания майора, мы ещё вернёмся в конце этой главы. А пока что обратимся к проблеме в целом.

В советской оккупационной зоне возвращение «репатриантов» происходило, как правило, без сучка и задоринки. Старикам и женщинам было крайне нелегко устоять против принуждения, а также изопрённой массированной пропаганды. Для этого нужны были решимость, недюжинная смелость и ясное осознание той сложной ситуации, в которой они очутились.

С одной стороны, всех обуревал страх. Теперь уже не перед Красной Армией, как накануне «эвакуации» из родных мест, – её части давно настигли беглецов. Боялись органов НКВД. По мнению многих, ужасы 1937–38 годов могли повториться, хотя ни тогда, ни теперь никто не знал за собой вины.

С другой стороны, многомесячная бытовая и материальная неустроенность, совершенно неопределённое будущее в поверженной и разрушенной Германии заставляли идти на риск возвращения в СССР. К данным мотивам примешивалась не ослабевшая с годами привязанность к покинутым родным местам. А наряду с этим – не менее сильное чувство: неуёмная женская боль о сыновьях и мужьях, находившихся в СССР. Остаться в Германии, рассуждали женщины, значит потерять близких навсегда.

Было и ещё одно обстоятельство, перевешивавшее чашу весов в пользу возвращения. Яков Шмаль написал о нём так: «Мы и раньше были наслышаны о Германии. Тем не менее, вступая здесь в контакты с учреждениями и людьми, зачастую испытывали разочаро-

вание. Страну своих устремлений и её жителей мы явно идеализировали.»

Если к этим противоречивым чувствам добавить клятвенные заверения советских офицеров из спецподразделений по репатриации, то станет ясно, почему основная часть бывших немецких «переселенцев» с Украины написала заявления о желании добровольно вернуться в СССР. Они имели в виду, конечно же, возвращение в свой край, родное село и отчий дом.

Бывало, однако, и иначе. Благодаря умению укрыться в западных оккупационных зонах, прежде всего в американской, а также открытому сопротивлению советским военным властям примерно ста тысячам бывших «фольксдойче» удалось избежать депортации в СССР. Об одном из «бабьих бунтов» в американской зоне против советских агитаторов пишет уже знакомая нам Нелли Дэс.

Однажды вечером в лагерь «Иозефле» неподалёку от города Швебиш Гмюнд, к востоку от Штутгарта, прибыли два советских офицера в сопровождении двух американских военных. В лагере находились только беженцы из числа российских немцев.

— Все вы снова вернётесь в родные сёла, будете жить там как люди. А здесь вы заперты в лагере, фашисты обращаются с вами, как с дерьмом. У нас, в Советском Союзе, вы будете в безопасности! — говорил советский офицер.

Американцы, естественно, не понимали подробностей. Но для наших земляков всё было ясно. Перед ними маячило только одно: Сибирь!

Офицера неожиданно перебила своим криком пожилая женщина:

— Вы лжёте! Вы хотите отправить нас в безопасное место?! «Безопасность» означает для вас Сибирь! Вы забрали моего мужа в 37-м году и сослали его в Сибирь. Он что, тоже в безопасности? От кого? От своей семьи, которая живёт с тех пор в горе и нищете. «Безопасность», вашу мать! Тьфу! Вы и нас хотите загнать в Сибирь!

— Если Ваш муж арестован, значит он был виновен. Советская власть не причиняет зла невинным.

Советский офицер пытался защищаться, но лучше бы он не говорил этих слов.

— Несите кипяток, — снова закричала женщина, — мы ошпарим этих собак!

Возмущение становилось всё громче, люди были глубоко задеты за живое. Женщины схватили палки и посудины с горячей водой.

Американские офицеры поняли, что происходит что-то не то. Руководство говорило им: Советы возвращают на Родину своих граждан, угнанных Гитлером в Германию. Но к данным людям это, очевидно, не относилось. Американцы предусмотрительно отгёрли обоих русских к воротам. Перед тем, как покинуть лагерь, советский офицер со злобой бросил в толпу:

— Мы всех вас доставим домой. Можете в этом не сомневаться!

К сожалению, сообщает далее Н. Дэс, советским спецорганам всё же удалось с помощью американцев отправить на восток из Швебиш Гмюнда большой эшелон с российскими немцами. Но сама она осталась в Германии благодаря несокрушимо упорству своей матери.

Не без волнения прочитав эти строки, я подумал: какими всё-таки мстительными и кровожадными были сталинские палачи в лице советских вождей во главе с самим «отцом народов»! Надо же было так скрупулёзно и настойчиво выискивать по всему миру мнимых преступников из числа своих бывших граждан с одной-единственной целью — наказать, посадить, сослать, расстрелять! И отвести тем самым садистскую душу.

Более 200 тысяч «репатриированных» из Германии российских немцев оказались среди жертв этой маниакальной мести. За ними не было вины, но её, недолго думая, сфабриковали. По шаблону 1941г. этих людей огульно обвинили в сотрудничестве с оккупантами, приклеили им ярлык «немецких пособников» и отправили в отдалённые районы страны, пополнив тем самым поредевшие ряды спецпереселенцев — крепостных Советского государства. Для этого было достаточно власти всемогущего Берии, его Распоряжения от 7 января и Приказа от 28 августа 1944 г., о которых не могли не знать «агитаторы» из спецкоманд по репатриации.

Семью Адама Крекера, рассказом которого мы начали эту тему, конец войны застал в советской зоне оккупации Германии. Им тоже сказали: «Кто хочет вернуться на Родину, пишите заявление. Всем обещаем спокойную жизнь в родных местах!»

Подвоха никто не ожидал, хотя насторожило, что в эшелон посадили и тех, кто заявлений не писал. Однако особых причин для тревоги не было: «чисто» работали в армейских оперотделах, которым поручили эту «операцию».

Но как только пересекли границу, продолжает Адам, всё сразу изменилось «с точностью до наоборот». Там выдавали тушёнку, хлеб, другие продукты. Теперь неделями не давали ровно ничего.

Любезное обращение со стороны военных сменилось ледяным молчанием. Вагонные двери, на которых до границы красовался даже какой-то патриотический лозунг, закрыли на запор. К вагонам пригнали вооружённых солдат. И тогда все, наконец, поняли, что угодили в ловушку, что их бессовестно обманули, и дело пахнет Сибирью. Почти так оно и вышло – не попали они на родную Украину.

Два месяца тащился поезд, пока, наконец, их вагон не отцепили на станции Николо-Колома, в трёхстах километрах севернее Костромы. Местных жителей заранее уведомили, что из Германии везут «настоящих» немцев. Посмотреть на них собралось немало людей. Мальчишки пришли с палками, чтобы «фашистов бить». Но увиденное всех разочаровало.

– Да это самые обыкновенные люди! Такие же бедные, как и мы, – сделали они вывод и разошлись.

– Наш вагон, шесть семей, – рассказывал Адам, – отвезли за 25 километров в колхоз, где было 19 домов, а всё хозяйство состояло из 12 коров и 25 овец. И совершенно пустых закомов. Голодали страшно! Единственным доступным продуктом была липовая кора, из которой складывалось всё меню «возвращенцев».

С весны 8-летний Адам начал пасти скотину в счёт сельхозналога. А он был немалый. Каждая семья, в том числе и спецпереселенцев, должна была сдавать ежегодно по 100 яиц, 40 килограммов мяса и 10 килограммов шерсти. Но откуда всё это могли взять нищие бездомные немцы? Подобный вопрос никого не касался.

– Сдавай или посадим! – короткий был разговор.

Только через 14 лет, 22-летним мужчиной, он снова увидел поезд: у спецкоменданта Ерофопова – до сих пор помнит фамилию «благодетеля» – можно было куда-то отпроситься только с помощью поллитра. Из-за этого вся учёба Адама, как и большинства спецпоселенцев, ограничилась сельской четырёхлетней.

Другой мой собеседник Отто Барч – известный в СССР спортсмен, неоднократный призёр олимпийских игр по спортивной ходьбе, ныне живущий в Германии – из того, военного времени мало что помнит: было ему тогда всего 5 лет. Но знает, что до 1944 года жили они в Одессе. Потом их, как и прочих немцев, «эвакуировали» в Германию. После победы они согласились вернуться домой, в Одессу. Но их привезли в Удмуртию, выбросили прямо на снег в ста километрах от Ижевска и заставили работать на лесоповале под надзором спецкомендатуры.

– В 1957 году впервые выехали из леса, увидели городских лю-

дей. До этого находились на короткой привязи у коменданта. Поэтому сразу же, как только было снято ярмо спецучёта, мы подались куда глаза глядят. Сначала это был Актюбинск, а потом Средняя Азия, город Фрунзе...

В завершение темы вернёмся к судьбе моего дяди Константина Вольтера, слепо вверившего участь своей семьи советским властям. Твёрдо убеждённый в правильности решения о возвращении на Украину, он разместился в вагоне со всем своим сомневающимся семейством. Не он один, многие с радостью грузились в эшелон в надежде на долгожданную – почти через два года – встречу со своей Родиной. Казалось, ничто не предвещало беды.

Но всё это – митинг, широковещательные речи, клятвенные обещания офицеров – оказалось хорошо срежиссированным и по-советски лживым спектаклем. Не доезжая Равы-Русской, что в Львовской области, эшелон остановили, собрали людей в большой круг, и когда вышедшие из леса вооружённые солдаты замкнули вокруг них оцепление, зазвучали новые речи:

– Вас там, в Германии, неправильно информировали. Вы поедете не на Украину, а в места, где в настоящее время находится всё немецкое население. Немцы из западных районов СССР переселены в Сибирь и Казахстан, они оказались пособниками врага. Вы были под гитлеровской оккупацией, многие сотрудничали с немцами. Покинули нашу страну, приняли гражданство фашистского государства. Тем самым вы предали советскую Родину. Поэтому вы не вправе требовать назад дома, имущество, возвращения в свои сёла. Мы будем сопровождать вас в Среднюю Азию. Считайте, что вам повезло: это не Сибирь и не Крайний Север. Вы должны беспрекословно подчиняться требованиям конвоя...

Как следует из рассказа дядиной дочери, Геды Пфафф, через месяц голодного и неустроенного пути их доставили в Таджикистан. Разгрузили на какой-то станции и повезли на грузовиках по угрюмым горным дорогам, где громады скал нависали над самыми головами, а колёса касались кромки бездонной пропасти. Исфара, конец пути, тупик. Угольные шахты. Каторга, спецкомендатура. Полная неизвестности затворническая жизнь. Для жилья – вырытая в откосе землянка без подобия окон и дверей. Скорпионы, фаланги, от которых надо беречься самому и ночи напролёт уберечь спящих малышей.

Это был конец света. Но ни в пути, ни на месте безвинной ссылки никто отца не попрекнул. Видели: ничто не может принести ему

больших душевных мук, чем собственное достоинство, униженное неслыханным коварством.

Он бичевал себя за тяжкую долю дочерей, которых принудили к неженскому подземному труду навалотбойщика. По 50 тонн мокрого угля на двоих за смену грузили они вручную на вагонетки, которые должны были сами откатывать почти за полкилометра. И пригонять оттуда порожняк. Всё вручную, нередко – по колени в холодной воде. Вдвоём поднимали вагонетки, сошедшие с рельсов. Их плечи и спины были вечно в ссадинах и кровоподтёках от нечеловеческих усилий, которые требовались, чтобы поставить на рельсы полутоннотонную чугунную махину. Когда они, чёрные от угольной пыли, возвращались домой после мучительной смены, отец со слезами на глазах молил их о прощении за то, что по его вине любимые дочери вынуждены принимать на себя такие страдания.

Мучила отца и судьба Бертгольда, старшего из двух сыновей. Его, как и других «фольксдойче», в 1944 г. мобилизовали в вермахт. Последние письма от него пришли с Западного фронта, где он воевал против англичан. С тех пор о Бертгольде не было – а в Советском Таджикистане и быть не могло – никаких вестей. Только годы спустя, в пору хрущёвской «оттепели», стало известно, что благодаря английскому плену, где он выдал себя за коренного немца, ему удалось избежать депортации в СССР.

Его неустанными усилиями в последние годы переселились в Германию сёстры и брат вкупе со своими разросшимися семьями. Только старшая из всех, моя самая любимая кузина Альма осталась доживать свой век в живописных приволжских Жигулях.

Горестная ссыльная жизнь, принуждение к непосильному труду в «медвежьих углах», куда не затащить свободного человека, стали уделом многих тысяч «немецких пособников», добровольно «репатрированных» на Родину. Вместе с ранее сосланными российскими немцами они составили «резервную армию» подневольной рабсилы НКВД. Её можно было в любой момент направить в административном порядке на самые тяжёлые и губительные для здоровья производства. В том числе – в урановые рудники Читинской области, Таджикистана, Узбекистана и Киргизии.

В этой связи уместно вернуться к вопросам, которые были поставлены в начале темы «репатриации» российских немцев из Германии. Как уже отмечалось, ни по одному из этих вопросов за полвека, в т.ч. в десятилетний период так называемой «демократизации», не было высказано никакого конкретного обвинения (как не

прозвучало и извинения за содеянное, а тем более покаяния).

В то же время, благодаря приоткрывшимся партийным и государственным архивам, включая архив КГБ СССР, доказана полная лживость обвинений в пособничестве врагу, которые были огульно предъявлены российским немцам в 1941 г. Необоснованность их вины убедительно продемонстрировало и 4-летнее проживание более чем 300 тыс. «фольксдойче» в немецком тылу.

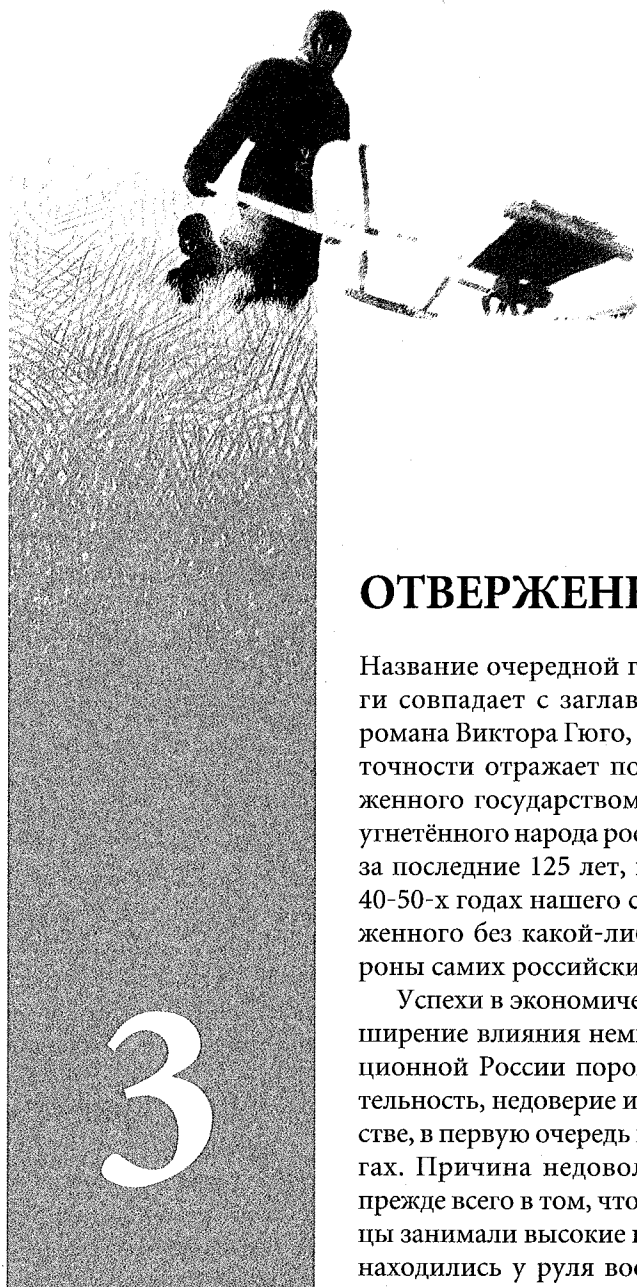
Рассказанное выше об этих событиях позволяет дополнить поставленные нами 4 вопроса ещё одним, обобщающим:

– Если само развитие событий (перелом в ходе войны и её победное окончание) полностью устранило повод допущенных антинемецких репрессий, то чем объяснить последующее, ещё более изверское физическое и моральное угнетение российских немцев (депортация «фольксдойче», поголовный спецучёт и надзор со стороны органов НКВД-МВД, Указ 1948 года о вечной ссылке)?

Я смог найти на данный вопрос только один ответ: всё дело в том, что они были немцами. Вина их состояла вовсе не в мифической подрывной деятельности или в мнимом пособничестве врагу, как указывалось в лживых официальных документах. То был только предлог. В действительности же российский немецкий народ был избран в качестве одной из первых жертв Величайшего специалиста по делам национальностей при реализации его безумной затеи с насильственным превращением России в мононациональное советское государство.

Эта живучая большевистская идея, как известно, не давала покоя и наследникам Вождя и Учителя. Но если их курс в этом вопросе состоял в постепенном формировании «новой исторической общности» – советского народа (читай: «советской» нации) – путём «взаимовлияния и взаимообогащения» национальных культур, то в период сталинской деспотии имелось в виду достичь эту беспрецедентную цель с помощью самого радикального средства – физического и духовного геноцида по национальному признаку.

Российские немцы прошли через все этапы этого бредового социального эксперимента. Запущенный на полные обороты в сталинскую пору процесс их ассимиляции неудержимо набирал скорость...



ОТВЕРЖЕННЫЕ

Название очередной главы моей книги совпадает с заглавием известного романа Виктора Гюго, поскольку оно в точности отражает положение отверженного государством, бесправного и угнетённого народа российских немцев за последние 125 лет, в особенности в 40-50-х годах нашего столетия. Отверженного без какой-либо вины со стороны самих российских немцев.

Успехи в экономической сфере, расширение влияния немцев в дореволюционной России порождали подозрительность, недоверие и зависть в обществе, в первую очередь в правящих кругах. Причина недовольства состояла прежде всего в том, что некоторые немцы занимали высокие посты в столице, находились у руля вооружённых сил.

Как водится в этой стране, негативное отношение к отдельным лицам было огульно перенесено на весь представляемый ими народ.

Однако решающую роль в судьбах российских немцев сыграла «большая политика». Объединение немецких земель и образование в 1871 г. Германской империи привело к противостоянию двух европейских гигантов – России и Германии. По этим причинам в российской правящей верхушке стали стремительно нарастать анти-немецкие настроения, особенно усилившиеся в царствование Александра III, женатого на датской принцессе Дагмаре, ярой противнице Германии и всего немецкого. Закономерным результатом этих веяний явилось полное поправление положений царских манифестов, определявших статус немецких колонистов и их потомков в России. Они по воле рока оказались между двумя гигантскими жерновками, которые – то медленней, то быстрее – стали перемалывать целые поколения российских немцев.

Первая мировая война превратила немцев в изгоев российского общества и государства. После крупных поражений на фронте в 1915 г. на солдат и офицеров из числа российских немцев стали навешивать ярлык изменников. Они были сняты с Западного фронта и перемещены на Кавказ, где многие тысячи из них погибли при штурме неприступной турецкой крепости Эрзерум. Немцы голодали на тыловых работах в прифронтовом кавказском высокогорье. Большое количество жизней унёс повальный тиф.

В тылу немцев объявили «внутренними врагами» Российского государства. Были закрыты немецкие газеты и школы, в общественных местах, включая церкви, запрещалось говорить на немецком языке. В 1915-16 гг. из приграничной полосы, в особенности из Волыни, было выселено на восток около 200 тыс. российских немцев. На весну 1917 г. была намечена экспроприация и, как следствие, депортация немцев во всех основных регионах их проживания в России. По Москве под влиянием шовинистического психоза прокатились антинемецкие погромы.

Утвердившаяся в 1917 г. в результате Октябрьского переворота советская тоталитарная система подняла «немецкий вопрос», унаследованный от царской России, на уровень мировой политики. Особенностью этого периода был «классовый» террор, выродившийся со временем в физический и духовный геноцид по национальному признаку.

После образования в 1918 г. (в интересах «Мировой пролетарской революции») немецкой автономии в Поволжье жертвами кам-

паний по ликвидации «эксплуататорских классов» и массового «раскулачивания» стали десятки тысяч немцев, принадлежавшие к наиболее деятельной и зажиточной части населения. Попад под единоличное руководство Сталина, Советское государство и коммунистическая партия ещё более усилили нажим на немцев, руководствуясь установлением гитлеровского режима в Германии и новым осложнением отношений с этой страной.

В годы «большой чистки» 30-х годов многие тысячи немцев, прежде всего представители интеллигенции, стали объектом огульных репрессий по лживому обвинению в шпионаже в пользу Германии. Большинство их было расстреляно или погублено в лагерях и ссылках. По данным, приведённым историком А. Айсфельдом, накануне войны в тюрьмах и лагерях СССР находилось 55 тыс. заключённых-немцев. И это, не считая тех арестованных, которые уже были расстреляны.

«Большая чистка» с самого начала имела национальную окраску. Наряду с немцами, политическому террору подверглись в первую очередь национальности, родственные народы которых имели государственность за рубежом. Со временем эта акция переросла в «большую этническую чистку». Подкреплённая коммунистической идеологией и пропагандой, препарированной соответствующим образом, она была нацелена на денационализацию и русификацию народов СССР.

Как уже отмечалось, война не только не остановила «национальную чистку», но и послужила удобным поводом к её дальнейшему усилению. Для Сталина и его окружения настало время, когда чрезвычайные меры по искоренению многочисленных «врагов народа» можно было мотивировать необходимостью укрепления советского тыла (на языке Кремля это именовалось усилением «морально-политического единства советского общества» и «нерушимой дружбы народов СССР»). Не случайно поэтому, большинство репрессий по национальному признаку пришлось именно на годы войны или же оправдывалось ею.

Для российских немцев жернова истребления вновь закрутились со всей силой с момента издания упомянутого Указа Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1941 г. В нём не перечислялись конкретные категории лиц, которых НКВД относил к «социально опасным элементам». Но под «операции по изъятию и выдворению спецконтингента» — если выразиться языком «органов» — попало прежде всего немецкое население западных районов СССР (выселение из Крыма, «мобилизация» мужчин на Украине с отправкой в уральские лагеря ГУЛАГа).

С каждым новым шагом, который предпринимало большевистское государство в отношении российских немцев, усиливались их несвобода, несправедливость, гнёт. Акт чёрной сталинской мести — Указ от 28 августа 1941 года — фактически поставил вне закона, лишил и без того фарисейских конституционных прав целый народ. За этим, с позволения сказать, документом стояла мрачная тень карательных органов, которым государство выдало на расправу российских немцев. Руками НКВД-НКГБ почти миллион человек был изгнан из родных мест, около 800 тыс. немецких мужчин и женщин заключено в специальные концлагеря «на всё время войны». Все немцы СССР были объявлены вечными ссыльными. И всё это — за несуществующую «коллективную вину» (понятие, появившееся ещё при Ленине).

Вершиной садистской изощрённости «органов» и московского «Олимпа» стали так называемые рабочие колонны. Под этим безобидным названием были закамouflированы концлагеря ГУЛАГа, прозванные позднее «трудовой армией». Их главное негласное назначение — изоляция от общества, принуждение к каторжному труду и, в конечном счёте, умерщвление «социально опасного» немецкого «контингента». Нет сомнения, что идея и планы их создания исходили из палаческого ведомства Берии, а прообразом послужили покрывшие всю страну «исправительно-трудовые» лагеря НКВД.

Теперь известно, что первыми жертвами «трудоармейской» трагедии стали мужчины, которых органы НКВД-НКГБ с помощью военкоматов «изъяли» в августе 1941 г. из западных прифронтовых районов СССР. Я слышал раньше, и это подтвердилось в беседе с Александром Мунтаниолом, тогдашним жителем Михайловского района Днепропетровской области, ныне проживающим в Берлине, что «мобилизация» мужчин на Украине производилась в три этапа.

Первую группу немцев, как мы уже знаем со слов Якова Келлера, доставили под стражей в Харьковскую пересыльную тюрьму «Холодная гора», а затем этапировали в североуральские лагеря Ивдельлага. Там каждому из них определили по 10 лет лишения свободы по универсальной 58-й статье как лицам, на которых, якобы, имелись материалы в местных органах НКГБ.

Вторая, самая крупная партия «мобилизованных», в которую попал и учитель А. Мунтаниол, была отправлена в Соликамск на строительство порохового завода. Их содержали в бывшем лагере для зеков, но числились они за военным ведомством в качестве «строительного батальона».

Третья «мобилизация» немцев происходила при непосредствен-

ной близости фронта и коснулась всех мужчин до 60-ти лет, включая даже явных инвалидов. Как сообщил Александр, в эту «волну» попал и его отец Яков Мунтаниол, у которого не было кисти правой руки. Колонну три месяца гнали строем до Актюбинска и разместили в лагерях НКВД со всеми их драконовскими порядками.

В Соликамске, рассказывает Александр, жизнь на первых порах протекала по-военному, включая армейские порядки и начальство в лице офицеров-военнослужащих. Это в какой-то степени устраивало людей. Тем более, если учесть, что уже через месяц всё вдруг катастрофически изменилось к худшему. Ни слова не говоря, заменив прежнее командование энкаведешниками, с «мобилизованными» стали обращаться как со скотом. На вышках замаячили вооружённые «попки». На работу начали выводить по строгому счёту, в сопровождении конвоя и собачьего лая. Красноармейский паёк уступил место лагерной котловке и неизменной зековской баланде.

Превращение стройбатовцев в рабочий скот не было случайностью. В ту пору вступило в силу упомянутое Постановление Совнаркома СССР от 7 октября 1941 г. с туманным названием «О выделении рабочих колонн из военнообязанных». Этот завуалированный документ положил конец «игре» властей с десятками тысяч немецких мужчин, вчерашних вольных людей и снятых с фронта военнослужащих, загнанных на моральную и физическую гибель в лагерные «зоны». По имеющимся сведениям, из 15 тыс. «мобилизованных», содержащихся тогда в Ивдельлаге, к февралю 1942 г. осталось в живых 3 тысячи.

Несколькими месяцами позже этой дорогой прошли уже сотни тысяч отверженных париев из числа российских немцев. Они до отъезда, с расчётом на «естественную убыль», заполнили сталинско-бериевскую казуистскую систему спецлагерей, созданную для «трудмобилизованного контингента».

Все «трудоармейские» лагеря были сходны своей принадлежностью к одному и тому же царству Змея Горыныча – ГУЛАГу НКВД – с его палаческими порядками. Вместе с тем они отличались определённой спецификой в зависимости от того, какие министерства и ведомства им приходилось обслуживать.

Наиболее жестокий режим царил в лагерях, которые были приданы стройкам и производствам собственного ведомства – НКВД СССР. Архивы, относящиеся к этим лагерям, охраняются в тайных государственных усыпальницах особенно бдительно. Поэтому достоверно известно лишь о четырёх лагерных «мегаполисах», нахо-

дившихся в распоряжении бериевского монстра – Главпромстроя НКВД. Это – известные всем «трудоармейцам» Челябинский металлургский (Бакалстрой), Базстрой (Богословстрой), Тагилстрой и Ивдельлаг. Через эти «жизнедробилки» прошла почти половина «трудмобилизованных» российских немцев, и не менее половины из них остались там навечно.

Столь же губительны были условия и во всех прочих лагерях, отнесённых к Архипелагу ГУЛАГ: Севураллаге, Усольлаге, Устьвымлаге, Вятлаге, Краслаге и многих других.

Несколько отличались от них так называемые контрагентские лагеря. Они создавались НКВД на договорных началах с промышленными министерствами и ведомствами для содержания и использования «немецкого контингента» на производствах и стройках с особыми тяжёлыми условиями труда – как правило, в отдалённых районах страны. Договорная (контрагентская) система позволяла НКВД получать дополнительные средства для успешного выполнения роли сторожевого пса сталинского государства.

После тотальных мобилизаций немецких мужчин и женщин в 1942–43 гг. число таких лагерей доходило до двухсот. Наиболее крупными «покупателями» дешёвой рабсилы были строительные и эксплуатационные ведомства угольной, лесобумажной, нефтяной промышленности, чёрной и цветной металлургии, железнодорожного транспорта и др. (По данным КГБ СССР в 1950 г. спецпоселенцы немецкой национальности были заняты в 56 министерствах и ведомствах СССР.) Только на шахтах Кузбасса в апреле 1944 г. трудилось 14,5 тыс. немецких мужчин и женщин.

Согласно Постановлению Совнаркома СССР от 27 июля 1944 г., руководство «трудмобилизованными» немцами возлагалось на органы спецпоселений НКВД, «созданные для управления мобилизованными для работы в угольной, нефтяной и оборонной промышленности, а также на органы НКГБ, работающие в сфере управления лагерями и стройками НКВД СССР, на оперчекистские отделы НКВД СССР».

В зависимости от специфики производственного процесса режим содержания «трудмобилизованного контингента» в лагерях при разных ведомствах имел некоторые отличия. Так, на шахтах Кузбасса, Караганды, Копейска, Коркино, Кизела, Тулы и Воркуты немцы размещались в зонах, окружённых четырёхметровыми деревянными или проволочными ограждениями с вооружённой охраной у ворот. Выходить из «зоны» разрешалось только на работу. Для контроля за выходящими на вахте имелся график работы каждого ла-

герника. Очередную шахтную смену по строгому счёту и под личную роспись принимал, а после работы сдавал ответственный представитель администрации.

«Труدمобилизованных» опекали надзиратели из НКВД и лагерный комендант, чинивший суд и расправу – вплоть до ареста с помещением в лагерный карцер. Никаких документов у немцев не было. За побег с места работы или из «зоны» их ожидала ещё более суровая кара, чем та, что причиталась остальной рабсиле по драконовскому Указу Президиума Верховного Совета СССР от 26 декабря 1942 года «Об ответственности рабочих и служащих предприятий военной промышленности за самовольный уход с предприятий».

Питались «труدمобилизованные» в шахтных столовых по одинаковому с «вольняшками» продовольственным карточкам, которые, конечно же, не могли компенсировать непомерные затраты сил на тяжёлых физических работах. К тому же за невыполнение нормы немцам могли вырезать из карточек дневной, недельный и даже месячный хлебный талон. (Вольнонаёмные расплачивались в аналогичных случаях только уменьшением зарплаты.) Страдали от этой жестокой дискриминации в первую очередь подростки и старики, которых тоже забирали в «трудоармию».

Примерно такой же режим царил и в лагерях для немецких женщин, «мобилизованных» в нефтяную промышленность Башкирии, на медные рудники Джезказгана и на лесоразработки Наркомлеса. В подобных «зонах» не было вышек для охранников, на людей не кидались остервенелые овчарки. Да и нормы питания, как отмечалось, были общими с вольнонаёмными. Тем не менее, там было не меньше голодных смертей и уродливого беспредела, чем в лагерях ГУЛАГа, особенно если эти «зоны» находились в разного рода «медвежьих углах».

Представление о порядках в контрагентских лагерях можно составить по рассказу упомянутого Иоганна Гербера, бывшего преподавателя Киргизского госуниверситета, ныне пенсионера, живущего в Германии. Его, 14-летнего подростка, «мобилизовали» в декабре 1942 г. и отправили в лагерь при Анжеро-Судженской шахте № 9/15. А его одноклассников других национальностей определили тем временем на учёбу в ФЗО, что считалось, очевидно, вполне справедливым.

12-часовая работа навалотбойщика или лесогона была не под силу даже взрослым мужчинам, не то что слабому подростку. Конечно, норму он хронически не выполнял. Тогда его со всеми «провинившимися» оставляли ещё на полсмены. Если это не помогало,



Иоганн Гербер

вырезали из карточки талоны на хлеб, пока не оставалось 200-300 граммов. В столовой он, как и многие другие юные шахтёры, всю дневную норму съедал сразу и потому был всегда голодным.

Так прошло более года. В Анжерском мехлеспункте, куда его перевели как «слабосильного» и не выполняющего нормы добычи угля, было ещё хуже. В шахте за выполненную норму полагался килограмм хлеба, а если её удавалось перевыполнить, то дополнительно можно было получить ещё 300 граммов хлеба, 10 граммов масла, ложечку сахара и горячее блюдо. Но, по правде говоря, редко кому из трудармейцев такое выпадало.

На лесоповале – здесь заготавливали для шахт рудничную стойку – больше 800 граммов хлеба никто не получал. Чаще всего сидели на шестистах граммах хлеба и «супе из ничего». Многие слабели, умирали от недоедания и болезней.

– Обращались с нами в «зоне» как со скотом и даже хуже, – вспоминал Иоганн. – Такой вот случай произошёл со мной в начале 1945 года. В середине ночи, раздетый, всунув ноги в валенки, выбежал я на улицу по малой нужде. До туалета не добрался, очень холодно было. Как водилось, остановился за бараком. К несчастью, попал я на глаза коменданту. Он за ухо отвёл меня в карцер и приказал дежурному: «До семи утра!» Карцер не отапливался, сквозь забитые досками оконные проёмы свободно проникал холод, который достигал в ту ясную ночь не менее 40°. Я начал замерзать. Мороз обжигал голову, уши, лицо. Стали белеть пальцы рук. Попытка согреть их дыханием не помогала. Перестали гнуться суставы. Я окончательно заковался, чувствую – замерзаю насмерть. Испугался, как никогда. Плакал, звал дежурного, просил выпустить. Всё тщетно. Тогда я начал кричать что было мочи, чтобы донеслось до барака, звал ребят и мужиков. Наконец, меня услышали. В карцер стали сбегаться люди, оттирать меня снегом. У кого-то нашёлся одеколон. Меня одели, посадили в тёплой вахтёрке. Ругали дежурного на чём свет стоит. А тот лишь твердил растерянно: «Ох и влетит нам

всем от коменданта! Ох влетит!» Было 3 часа ночи... – Неизвестно, чем поплатился дежурный за то, что выпустил его досрочно, но, как следовало из рассказа И. Гербера, мужикам ничего не было. А он две недели пролежал с сильнейшим воспалением лёгких. Еле выжил.

Но коменданту этот случай даром не прошёл. Парторг колонны, бывший кадровый командир Красной Армии Боос, которого в 1941 г. загребли в «трудармию» прямо с поезда, во время перемещения наших войск с Дальнего Востока под Москву, написал от имени Иоганна жалобу областному прокурору.

– Коменданта с должности в конце концов пришлось снять: шёл 1945-й год, и наше положение немного изменилось к лучшему, – вспоминает Иоганн. – Но ещё будучи при должности, вызвал он как-то меня в кабинет, запер дверь на крючок. Ну, думаю, сейчас бить будет! А тот неожиданно спрашивает: «В город хочешь? Тогда скажи: жалобу сам писал, или это Бооса работа? Так вот, учти и ему передай: таких, как вы, я бомбил и бомбить буду!»

Иногда можно услышать мнение, что в угольном, нефтяном и других министерствах, в распоряжение которых были направлены в 1942–43 гг. «мобилизованные» немецкие мужчины и женщины, была «совсем другая трудармия», чем та, где находилась основная масса немцев. Это утверждение верно лишь отчасти. В качестве примера приведу выдержку из письма Альберта Майснера, проживающего в настоящее время в Германии:

«Нас привезли в Акмолинск и погрузили в полувагоны, предназначенные для перевозки угля. Через 8 часов езды на ноябрьском холоде мы, чёрные от угольной пыли и вконец замёрзшие, прибыли в Караганду. Нас поместили в недостроенную 'зону' для заключённых. В полуземлянках не были застеклены окна, в крыше зияли дыры для труб ещё не сложенных печей. На весь барак имелась одна плита в коридоре. Спать ложились в зимней одежде, валенках (у кого они были) и завязанных шапках. В пургу спящих у окон заносило снегом. Чтобы после смены помыть руки и лицо, приходилось растапливать в котелке снег. Другой воды в лагере не было.

Кормили нас два раза в день. До работы давали жидкий суп, немного каши, а после – только суп. Я работал забойщиком и получал 1 кило (позднее 1,2 килограмма) хлеба, похожего на кусок хозяйственного мыла. Как правило, его размешивали в воде в какую-то киселеобразную массу. На работу и с работы нас водили строем начальники смен. Не выполнявших норму – независимо от причины – заставляли работать вторую смену. По этому случаю нас, 16-17

летних подростков, выстраивали и читали мораль: 'Вы, фашисты, специально не выполняете норму! Каждая тонна угля – это лишний снаряд по врагу. Зная об этом и не выполняя норму, вы протягиваете руку Гитлеру' и т.п. Деваться было некуда, и мы, голодные, из последних сил снова спускались в забой.

Под землёй всё делалось в спешке, под неизменным девизом 'Давай, давай! Фронту, стране нужен уголь!' О технике безопасности никто и не заикался. Крепление забоев часто не выдерживало, кровля рушилась, в завалах гибли люди. После работы нас поднимали по ночам разгружать лес, который прибывал, как правило, в полувагонах. Уставали ужасно. Берёмся за очередную лесину из нижних рядов, кто-то командует 'Раз, два – взяли!', она ни с места, и мы падаем. Утром, не заходя в барак, съедали свою порцию и снова шли на работу. Очень скоро все страшно исхудали и ослабли.

Зимой, в 30–40° мороза, мы ходили в рваных телогрейках и ватных штанах, без нижнего белья. Местами просвечивало голое тело. Обуты были в ботинки на деревянном ходу, на ноги наматывали побольше тряпок, т.к. через дыры в ботинки набивался снег. Мёрзли ужасно. Помнится, вскоре после прибытия на шахту нас ночью подняли на разгрузку леса. Наш парень по фамилии Баум говорит начальнику лагеря Жукову: 'У меня пропала обувь, я не могу пойти.' Жуков достаёт пистолет: 'Вставай в строй, пойдёшь босиком, иначе пристрелю как собаку!' Так он и шёл до шахты голыми ногами по снегу. Правда, лес не разгружал, отсиживался в нарядной. Такая нам была цена!

Когда нас днём вели на шахту или с работы, некоторые местные жители отворачивались и плевались. Однажды мне пришлось письмо из Баку от девушки, с которой я учился в школе. Табелыцица отдала мне его уже вскрытым, брезгливо держа двумя пальцами, со словами: 'И вам ещё кто-то письма пишет?!'

Вдобавок к каторжному труду и моральному унижению нас заедали вши. Одежду приходилось прожаривать до того, что она просто расплывалась. Но к следующей прожарке их опять было полно. Как-то, помню, зашёл я в соседний барак. Там лежал больной парень моего возраста. Его глаза были закрыты – видимо, он спал. Брови и даже ресницы были усеяны вшами размером с пшеничное зерно, а байковое одеяло буквально шевелилось от них.

Смерть 'трудармейцев' не была случайностью и не воспринималась как ЧП. Погибали в забоях, умирали от болезней и истощения. Особенно много наших умерло зимой 1943/44 годов. Хо-

ронить не успевали, трупы складывали прямо в бараке, рядом с живыми. Хоронили в больших ямах за 'зоной', которые нас заставляли копать после работы.

В этой связи мне вспомнилось, что в годы 'перестройки' много писали о том, как бесчеловечно хоронили в своё время умерших зеков. Мертвецов укладывали в грубо сколоченные ящики, зарывали на кладбище и ставили на могилах столбики с номерами. 'Трудармейцы' и в этом печальном деле могли только позавидовать заключённым. От нас не должно было остаться никаких следов!

Среди авторов были и такие, которые возмущались: 'Какая трудармия? Какие зоны? Нечего немцам лить крокодиловы слёзы! Во время войны в тылу работали не только они.' Жалкие писаки! Они не хотят, а, возможно, и не могут представить, что такое была та называемая 'трудармия'.

Трагический след оставили в памяти «трудармейцев» лесозаготовительные лагеря Усольяга НКВД СССР «Тимшер», «Чепец», «Ильинка», «Пильва», «Москали», «Мазуня», «Чельва», расположенные по берегам небольших рек на севере Молотовской (Пермской) области. О каторжной жизни, моральном и физическом угнетении людей в лагерях этой зоны написал бывший «трудмобилизованный» Фридрих Лореш из города Копейска Челябинской области, ныне живущий в Ренгсдорфе (Земля Рейнланд-Пфальц).

В пересыльном лагере Соликамска, куда прибыл в середине февраля 1942 года «немецкий» эшелон с Алтая, им выдали молотки и гвозди. Они соорудили из досок примитивные саночки, погрузили на них свои вещи и прошли пешком 180 километров на северо-запад. Из уст в уста в колонне передавались вещие слова одного деда, который встретился им в пути: «Туда идут тысячи, а оттуда — единицы...»

Ко времени их прибытия лагпункт «Тимшер» пустовал. Немцы из Украины, которых там держали как заключённых, почти все умерли. Остались лишь лагерные начальники и обслуга. А вместе с ними — прежняя стройбатовская иерархия: рабочий батальон, производственная рота, взвод, отделение. Вокруг — сплошной четырёхметровый дощатый забор и колючая проволока. На десятки километров — ни единой вольной души.

Работа — заготовка леса для военной промышленности. Рабочий день длился 12 часов. Выходных практически не было, а праздники объявлялись днями ударной заготовки и вывозки леса или отводились для различных лагерных работ. Денег на руках иметь не полагалось, всю зарплату до конца войны лагерники «добро-

вольно» сдавали в Фонд обороны.

О том, что происходило на фронте и в стране, они в первый год почти ничего не знали. Газет и радио не было, книг — тем более. Иногда перед строем выступал комиссар «трудбатальона», который каждый раз напоминал, что немцы только упорным трудом могут искупить свою вину. Какую вину — не уточнял.

Опыт заготовки леса они приобрели довольно скоро, но их силы таяли катастрофически. Окончательно обессиленные замерзали прямо в лесу. Всё яростней набрасывались на людей голодные болезни, всё больше жизней уносил авитаминозный понос. «Трудмобилизованные» умирали десятками каждый день. По ночам трупы вывозили из лагеря и штабелевали в лесу.

За малейшую провинность людей сажали в карцер, из которого они выходили, в лучшем случае, полуживыми. Ф. Лорешу тоже пришлось там побывать. Вся его «вина» состояла в том, что, переправляясь через реку Тимшер при следовании на работу, члены их отделения (звена) выгребли из затопленной баржи по стакану овса, а во время вынужденного перерыва в работе (они жгли сучья, и им помешал дождь) стали жарить его в своих котелках. Комбат Булгаков, командир роты и десятник в это время следили за ними, укрывшись в кустах.

В итоге «командир отделения» получил 10 суток ареста и под конвоем был отправлен в карцер. Но ему повезло: он просидел на четырёхстах граммах хлеба лишь 4 дня.

Наступила труднейшая зима 1942/43 г. Нужна была тёплая обувь. С фронта стали поступать ватные брюки и фуфайки со следами пуль и крови, но валенок не было. Из слабосильных «трудяг» была организована бригада по плетению лаптей, которые надевались поверх ватных чулок или намотанных на ноги онучей.

В январе 1943 г. часть «трудмобилизованных» отправили по этапу в другой лагерь, находившийся в 30-ти километрах. Среди них оказался и автор рассказа. Шли пешком полтора дня. По пути замёрзло несколько человек.

Начальником этого лагеря был ярый немцененавистник Лимонов. В первую же ночь вновь прибывшие были ограблены расконвоированными зеками. Многие «трудмобилизованные», включая Ф. Лореша, остались без тёплых вещей и обуви. На работу они выйти не могли. Во время развода начальник решил проучить «новичков», выгнав их из барака в оставшейся лёгкой одежде и обуви. Некоторым пришлось надеть на ноги рукавицы. Фридрих был в тонких носках и калошах.

Начальник выстроил их, человек 18-20, перед проходной по четверо в ряд, скомандовал «Смирно!», приказал охраннику никого не отпускать, а сам ушёл. Мороз, как обычно, доходил до 30-ти градусов и более. Сначала люди стояли терпеливо. Промёрзнув до бесчувствия, начали плакать. Но и слёзы замерзали на застывших щеках. А Лимонов всё не шёл. Даже карауливший их охранник с винтовкой не выдержал и прослезился. Наконец, начальник объявился и отпустил полуживых людей.

Такими варварскими способами он проявлял свою неограниченную власть лагерного тирана и одновременно доказывал, как ничтожна жизнь «трудмобилизованного» немца. Многие в тот день обморозились, некоторые очень серьёзно. Дамзену, другу Ф. Лореша, пришлось ампутировать почерневшие пальцы ноги.

О подобных фактах палачества, которые имели место в лагунке «Кушмангорт» того же злополучного Усольлага, написал уже знакомый читателю Яков Лихтенвальд.

«В мае 1942 г. наш взвод (бригаду) перевели на заготовку леса в квартал, находившийся в 11-ти километрах от лагеря. За три месяца 'трудоармии' люди ослабели до такой степени, что многие были уже не в силах самостоятельно возвращаться по вечерам в 'зону'. Их приходилось нести на себе или тащить на волокушах.

Тогда было решено построить в лесу большой шалаш и жить там. Однако сил у людей не прибавлялось, вдобавок многие заболели цингой и работать почти не могли. Им срезали паёк до 400 граммов хлеба в день, но от этого они ослабли ещё больше и стали умирать с голоду.

В августе пошли дожди, начались заморозки. Сушиться было нигде. Костры пришлось разводить прямо в шалаше. Там грелись и больные, и вконец ослабевшие 'доходяги'. Однажды это увидел разъярённый начальник лагеря Наседкин. Вне себя от злости, он выстроил немощных людей, прочитал им длинный 'молебен' с оскорблениями в адрес 'предателей, саботажников, вредителей' и матерщиной. Потом приказал всем раздеться до нательных рубаш, погнал на лесную делянку и повелел 'работать так, чтобы яйца мокрые были'. А сам уехал.

И тут случилось страшное. От оставленного костра запылал шалаш, а вместе с ним сгорела и вся одежда. Пришлось опять – теперь уже за 15 километров – ходить на работу пешком.

Зима, мороз, – пишет далее Я. Лихтенвальд. – А мы голые и босые, сидим на минимальном пайке и окончательно 'доходим'. Просим выдать одежду – нам отвечают: 'Для фашистов у нас одежды

нет. Наши на фронте ещё хуже одеты!' Нашли 'выход': стали снимать одежду с тех, кто совсем работать не может, или же с покойников. Поскольку почти все превратились в 'доходяги', цинготников или подагриков, то на работу выгоняли с помощью овчарок.

В конце декабря 1942 г. нас пятеро суток держали в лесу, т.к. до лагеря дойти уже никто не мог. А мороз был в ту зиму сильнейший – говорили, что до 50-ти градусов доходил. Конвоиры в тулупах и валенках менялись утром и вечером. А мы в худой одежке не спали ночами, корчились у костров, которые греют только с одной какой-нибудь стороны.

В итоге этого запланированного зверства и психологической травли к маю 1943 г. в лагунке 'Кушмангорт' осталось 400 из 1200 человек (а в соседнем 'Пронкино' – столько же из 1600). И всего 140 из них были на ногах. Ежедневно умирало по 30-35 человек. Помню, однажды зимой говорил я с соседями перед сном, а утром проснулся среди четырёх мертвецов. Вспомнишь зиму 1942/43 годов – волосы дыбом встают на голове!» – завершил свой страшный рассказ Я. Лихтенвальд, у которого в тех лагерях остались отец и дядя. Из троих выжил один!

О подлинном положении немцев в лагерях Усольлага, о муках, выпавших на их долю, близкие почти ничего не знали. Письма разрешалось писать только на русском языке, и «чтобы ничего плохого» – иначе цензура их просто уничтожала. Приходилось изъясняться осторожными намёками, писать «между строк».

В этом я ещё раз убедился, прочитав подобное письмо, которое хранится у Виктора Дизендорфа. Оно написано его дядей Густавом Глеймом 5 мая 1942 г. из того же самого «Тимшера», куда дядя был этапирован со станции Топчиха Алтайского края в одной партии с Ф. Лорешом, и адресовано сестре Элле (по мужу Нихельман).

Пройдёмся по этому письму и попытаемся по отдельным фразам, рассчитанным на догадливость адресата, составить представление о реалиях лагерной жизни в «Тимшере».

«... За всё время пребывания на этом месте я не получил ни одного письма... Всё, что было здесь за это время, в одной книге не опишешь... Пока это всё пройдёт, постареем на 10 лет, да ты меня и так сейчас не узнала бы... Мы работаем за плату, но деньги получим в конце срока нашей службы... Здесь главное – лишь бы голову не потерять... Если я вернусь, то ты можешь на меня рассчитывать... Вопрос с питанием будет ещё острее, чем сейчас... Я получил назначение заведующим электростанцией. Работа известно какая, но лег-

че, чем в лесу... Думаю ловить рыбу и улучшить в будущем питание... У меня одна мечта, лишь бы скорее выбраться отсюда – а потом всё бы пошло... Не забудь меня, вспоминай своего брата...»

Обратный адрес, указанный Г. Глеймом, гласит: Молотовская область, Чердынский район, п/отд. Бондюг, командировка Тимшер.

Ровно через 10 месяцев отправитель этого письма был арестован здесь вездесущими «органами», а ещё 9 месяцев спустя, день в день, умер в штрафном лагере в двух десятках километрах от «Тимшера» голодной смертью.

Только в 1995 году В. Дизендорфу удалось кое-что разузнать о последних месяцах жизни своего единственного дяди по матери. В справке, выданной «Учреждением АМ-244» (нынешнее название Усольлага), говорится по этому поводу:

«Сообщаем, что Глейм Густав Карлович, 1916 года рождения, уроженец г. Маркштадт Саратовской обл., в учреждение АМ-244 прибыл 15.02.1942 г. из Барнаула как трудармеец.

Осуждён 1.09.1943 г. Судколлегией Пермского облсуда г. Соликамск при Усольлаге НКВД по ст. 58-10 ч. 2 (т.е. за 'антисоветскую' и 'контрреволюционную' пропаганду или агитацию в военной обстановке – Г.В.) к 10 годам лишения свободы, п/п (поражению в правах – Г.В.) 3 года. Начало срока с 5.03.1943 г.

Умер 5.12.1943 г. в местах лишения свободы. Причина смерти – пеллагра. (Руководствуясь инструкцией Сануправления ГУЛАГа, в лагерях обычно квалифицировали голодающих как пеллагриков – Г.В.) Похоронен на кладбище п. Омут (находился на реке Южная Кельтма вблизи её впадения в Каму – Г.В.) Чердынского района Пермской обл. Точное место захоронения установить невозможно за давностью лет.»

19 февраля 1996 г. Прокуратура Пермской области выдала справку о реабилитации Г. Глейма.

Не имевший разумного объяснения беспредел, царивший далеко не только в Усольлаге, не давал покоя оскорблённому сознанию «трудмобилизованных» затворников. Рейнгольд Дайнес, проживающий ныне в Германии, вспоминает о том, как встретили новичков на строительстве Богословского алюминиевого завода (Базстрой НКВД СССР):

«Наутро после прибытия нас подняли в несусветную рань и выстроили побригадно в колонну по 6 человек. Перед нами выступил важный полковник по фамилии Паппертан. Он восседал на стройном, гарцующем жеребце. Полковник был явно счастлив сообщить

нам, что теперь и мы имеем возможность содействовать борьбе с фашизмом. Он заявил буквально следующее:

– Вы все предатели, шпионы и диверсанты. Вас надо было до единого расстрелять из автомата. Но Советская власть гуманна. Вы можете добросовестным трудом искупить свою вину.

Он надеется, сказал полковник, что все подчинится лагерному режиму и не усугубят свою вину. Дезертиры, заявил он, будут расстреляны по законам военного времени.»

Аналогичный случай описывает Бруно Шульмейстер, который попал по «мобилизации» в Краслаг НКВД на лесозаготовительные работы:

«22 января 1942 г. в первом отряде Нижнепойменского отделения Краслага состоялось собрание, на котором главный инженер Шейнман так приветствовал вновь прибывших:

– Дорогие товарищи трудмобилизованные! Вы приехали сюда зарабатывать большие деньги, помогать своим семьям, заготавливать для фронта лес, пилить шпалы и доски на лесозаводах... Но на следующий день, разъярённый недостаточно чётким построением при утреннем разводе, он заговорил своим подлинным языком:

– А-а-а, фашисты, Гитлера ждёте! Не хотите работать?! Мы вас научим – быстро Гитлера забудете!

С тех пор оскорбительное слово «фашист» стало нашим вторым именем. Нам сплошь и рядом приходилось слышать его от начальства и от конвоя.»

О том же самом написал из города Котово Волгоградской области Вальдемар Фрицлер. С июня по сентябрь 1942 г. он находился на строительстве железной дороги Ульяновск-Казань. После окончания работ «трудармейцев» переправили в Ивдельлаг строить железнодорожную ветку Ивдель-Полуночное. Когда их доставили в тайгу, начальник 16-го лагпункта встал на пенёк и произнёс такую «приветственную» речь:

– Вас привезли сюда смыть свой позор. Кто вы такие, вам уже говорили. Так что только труд может спасти вас от заслуженного наказания. И запомните: отсюда ещё ни один не ушёл – все лежат на бугре!..

«Пожилые люди плакали, а нам, молодым, всё было 'до лампочки'. Могу только сказать, что из тех 800 человек, которые прибыли с нами, я ещё ни одного не встречал», – пишет В. Фрицлер.

Эту информацию косвенно подтвердил мне В. Дизендорф. По имеющимся у него сведениям, в данной партии находился и 30-летний маркштадтец Петер Нихельман, муж Эллы, упомянутой сест-

ры Г. Глейма. В отношении него предвещание лагерного начальника сбылось незамедлительно: он бесследно сгинул в Полуночном уже в октябре 42-го.

Ивдельлаг, расположенный на севере Свердловской области, занимал в системе ГУЛАГа особое место. Он уже задолго до войны считался лагерем усиленного режима. Поэтому там находились заключённые с большими сроками – как уголовники, так и «политические». Побег были практически исключены. Кругом непроходимая тайга, на сотни километров – ни одного населённого пункта. Зимой – глубокий снег, полное отсутствие дорог, мороз до 50°. Летом – вездесущий гнус. Не встретишь даже охотника.

Мы уже отмечали, что осенью 1941 года, в самый тяжёлый период войны, заключённых начали отправлять под конвоем на фронт в специально сформированные подразделения от батальонов до дивизий. Ивдельлаг был очищен для принятия немцев, мобилизованных на Украине и Кавказе. Часть из них, как помнит читатель, была тут же осуждена по надуманной статье. Начиная с февраля 1942 года, многочисленные здешние лагеря были целиком заполнены «трудмобилизованными» немцами. На них-то и обрушился всей мощью особый лагерный режим.



Леопольд Кинцель

Леопольд Кинцель, о котором пойдёт речь, прибыл в лагпункт Талица в середине февраля. Люди из их эшелона работали на лесоповале, вывозке древесины на лошадях к реке Талица и штабелёвке на берегу с тем, чтобы в весенний паводок сплавить её по течению «молот». Кормили хуже некуда: 600-700 граммов хлеба в день, жиденькая баланда. Картошку заменяли турнепсом, мясо – протухшими остатками рыбы.

«Смерть наступала на нас всей силой, – пишет Л. Кинцель. – По зоне брели, ползали чуть живые трупы, донельзя изнурённые, исхудалые, с опухшими ногами и выпученными глазами. К концу рабочего дня начальник лагеря посылал навстречу шедшим из леса подводу. Полностью обессиленных клали на неё и везли в 'зону'. Каждый день умирало по 10-12 человек. Начальник их не жалел, но был недоволен, что с учётом умер-

ших ему не снижают план по заготовке леса. В соседнем лагпункте было такое же положение, и начальник Степанов прямо говорил перед строем: 'Пока я здесь начальник, никто из вас живым отсюда не выйдет.' Действительно, к июлю 42-го из 840 человек в лагере осталась только половина.»

Приведённые примеры далеко не единичны. Они свидетельствуют, что подобные проявления вопиющего цинизма имели не случайный характер, а были заданы сверху в качестве установки на немцененавистнический режим содержания «трудмобилизованных». Психологическая травля и моральное мучительство не укладывались в незапятнанное сознание людей. Чувство отверженности, выброшенности из жизни, духовной пустоты камнем давило на сердце. «За что?!» – возгласом библейского Иова кричала израненная душа. «Какую и перед кем искупать нам вину, если её не было и нет?» – спрашивали у самих себя оклеветанные узники.

К этим мучительным вопросам добавлялся ещё один, усиливший и без того тяжкие моральные муки «мобилизованных». Он был связан с отношением к лагерным немцам вольных людей из-за «зоны». Вопреки здравому смыслу российские немцы для многих из них тоже были врагами. Этот трагический факт вносил последний штрих в систему морального и физического гнёта, созданную для немецких граждан «родным» Советским государством. Тому найдётся немало примеров даже в недавнем прошлом, не говоря уже о тяжком военном времени, полном противоречий и людского горя. Не могу не привести в связи с этим повествование Теодора Герцена. В Орловке, одном из четырёх немецких сёл Киргизии, он был человеком известным. Его знали как талантливого самодеятельного художника, летописца старинного, столетней давности села, создателя местного краеведческого и художественного музея. Вот краткое изложение одного из его рассказов, касающихся тех лет.

В 1942 г. немало его односельчан и немцев из соседнего Ленинполя находились в лагере и работали в Свердловской области на лесозаготовках при Карпинском шахтоуправлении.

Продуктовые карточки у них были со всеми одинаковые – 800 граммов хлеба и столовая скудная еда, которая далеко не восполняла силы, затрачиваемые на тяжелейших лесозаготовительных работах. Для вольнонаёмных жителей карточный рацион был лишь дополнением к домашней животноводческой и огородной продукции. А «трудмобилизованным» было настрого заказано ходить по

домам с целью заработка. Денег после лагерных вычетов практически не оставалось. Поэтому они в первую очередь погибали от недоедания, непосильного труда и болезней.

– Но нас давил к земле не только голод, – говорил Теодор Герцен. – Больше всего угнетала сама проволочная жизнь. Именно она ставила точку над «i» в мучившем нас вопросе: кто мы, «трудмобилизованные», – заключённые или нет?

Местное население решало этот вопрос просто и однозначно: раз немцы, да ещё в лагере сидят – значит преступники. Поди докажи, что ты не верблюд, если тебя держат за колючей проволокой, как уголовника! И доказывали, вплоть до рукопашной.

– Это с кем же? – спросил я Теодора.

– Да с местными стариками и бабами, – ответил он и рассказал, как им пришлось завоёвывать право ездить на работу поездом.

Лесосека, где они заготавливали рудничную стойку для карпинских шахт, находилась в 12-ти километрах от лагеря. Возил рабочих туда и на дальние лесосеки небольшой узкоколейный поезд. Вначале местные жители, сами из раскулаченных на Украине «трудпоселенцев», не хотели пускать на него лагерников. Толкали ногами, кричали:

– Фашистов не визьмемо, хай идуть пишком! – говорили они на родном языке.

– Та какие мы фашисты? Мы такие же советские люти, как вы! – возражали лагерники на ломаном русском.

– Як же, советськи! Я ж нимцив за версту бачу!

И пришлось им некоторое время ходить пешком. Ни о какой работе не могло быть и речи – достаточно отмахать 24 километра, чтобы и день прошёл, и утомиться вдосталь. А начальству было всё равно: «Как хотите, но норму выдайте, а не то карточку иждивенческую получать будете!»

Тогда решили дать бой за место в вагоне. Захватили с работы топоры, пилы и пошли на приступ:

– Только попропуй толкни, кулацкая твоя морта, я са себя не ручаюсь!

– Ну-ка, сдай насад! Витишь там места сколько! – И всё встало на свои места.

Вроде и смешной у Т. Герцена получился рассказ, но как тяжело было осознавать, а ещё больше – на себе чувствовать ту ненависть и вражду, которую посеяла между народами сталинская политика в предвоенные, а в особенности в военные годы. Будто не

гитлеровцы, а мы были виновниками проигранных битв, бесчисленных жертв и чинимых оккупантами зверств на захваченной территории. И будто мы сами не явились первыми безвинными жертвами той войны.

Трудно было тогда этим исстрадавшимся людям увидеть за своими «похоронками» и собственным горем чужое, да ещё «немецкое» горе!

– Так вы все 5 лет с топорами и проездили? – спросил я.

– Да нет, что Вы! Сначала, правда, ездили молчком, сбившись в отдельные кучки, а потом чуть ли не друзьями стали. Они даже картошкой с нами делились иногда. У всех ведь общее лихо было, – закончил свой невесёлый в общем-то рассказ Теодор Герцен.

Мы в лагерях, конечно, знали, что среди вольнонаёмных и местного населения проводится «определённая работа», которая ставила своей целью пресечение всякого общения с нами. Официально оно называлось «связью с трудмобилизованными» (читай: заключёнными). Особое внимание обращалось на недопустимость обмена вещами и продуктами питания, оказания нам какой-либо помощи. Людям пытались внушить, что мы являемся «немецкими пособниками» и любые контакты с нами означают разглашение государственной тайны.

Ясно, что такая «разъяснительная работа» была направлена прежде всего на полную изоляцию нас от внешнего мира, культивирование негативного, а ещё лучше – прямо враждебного отношения к «трудмобилизованным» немцам. Она ставила нас в трагическое положение отверженных всеми и вся. Недаром на первых порах нас, как правило, обходили стороной. Иные шарахались, будто от прокажённых.

Знали мы и о том, что служители адского ГУЛАГа ориентировали население на проявление бдительности в отношении немцев, совершивших побег из «мест содержания». Не могу в точности сказать, насколько эффективной была эта работа, однако за время пребывания в «трудармии» я не слышал ни об одном случае их задержания. Те, кто помышлял о побеге, опасались не гражданского населения, а людей в униформе.

Но в Челябинском областном архиве обнаружился примечательный документ, свидетельствующий о том, что такие случаи имели место. Видимо, они были не частыми, коль скоро по одному из них А. Комаровский счёл нужным издать специальный приказ. Этот документ стоит того, чтобы привести его полностью.

Секретно

Приказ по Управлению Челябинметаллургстроя НКВД СССР
г. Челябинск 28 ноября 1942 г.

Содержание: о ликвидации дезертировавшего трудмобилизованного немца из 7 стройотряда и премировании члена группы содействия тов. Гордеева Ф.И.

27.10.42 г. около 10.00 часов трудмобилизованный немец Шмидт Фёдор Фёдорович совершил дезертирство из 7 стройотряда через зону центрального оцепления заставы №4 3 отдельного дивизиона в/охраны.

Принятыми мерами ближнего розыска 28.10.42 г. в 1.00 часов трудмобилизованный немец задержан на ст. Баландино путевым обходчиком тов. Гордеевым Ф.И.

При задержании и сопровождении трудмобилизованный немец Шмидт всячески старался упротить конвоира, чтобы он его отпустил, но тов. Гордеев, зная социальную опасность задержанного, трудмобилизованного немца из-под конвоя не отпустил, доставил его на оперпост в/охраны и сдал оперстрелку тов. Сидорину.

Приказываю:

За оказание содействия в задержании дезертировавшего трудмобилизованного немца Шмидт члена группы содействия, путевого обходчика Гордеева премировать 100 руб. с частичным отовариванием через магазин торгпита ЧМС.

Начальник Управления ЧМС НКВД СССР
Бригинженер А. Комаровский

Глубже вникнув в смысл каждой строки этого чудовищного Приказа, я вдруг почувствовал, как вернулось ощущение глубочайшего унижения и обиды, которое овладевало мною каждый раз, когда зачитывался очередной приказ Комаровского о расстреле новой партии наших безвинных соплеменников.

Сколько в этом документе желчного цинизма! С какой злобой смакуется уничижительное выражение «трудмобилизованный немец» в отношении «социально опасного» Шмидта Ф.Ф.!

Воображение рисует поистине душеспирательную картину. Ночь, зима, снег. Пожилой путеобходчик, всё «вооружение» которого состоит из костыльного молотка, ведёт «сдавать» коварного беглого немца. Попавшись с поличным, тот униженно просит отпустить его. Но обходчик непреклонен, ибо знает, как опасны немцы для советской страны.

И он выполнил свой патриотический долг. «Трудмобилизованного немца Шмидт» изловили и, очевидно, расстреляли. Тов. Гордеев Ф.И. получил свои 30 серебряников – 100 руб. (цена половины булки хлеба) «с частичным отовариванием».

Столько по ГУЛАГовским меркам стоил не только «подвиг» тов. Гордеева, но и жизнь немца Шмидта.

Настороженно-враждебное отношение к российским немцам усиленно формировала и официальная пропаганда. Дело в том, что, несмотря на все её усилия, в сознании советских граждан и прежде всего русского народа даже на втором году Отечественной войны ещё окончательно не сложилось чувство злобы и ненависти к врагу – эта психологическая «пружина» военного сопротивления. Поэтому все средства воздействия на умы людей – наглядная и устная агитация, публицистика, кино, радио, газеты и журналы – были брошены на то, чтобы сформировать «образ врага» – немецкого фашиста, насильника, изверга, недочеловека, безнаказанно топчущего советскую землю.

Когда летом 1942 г. германские войска начали стремительно продвигаться к Сталинграду, то почти одновременно со знаменитым Приказом № 227 («Ни шагу назад!») появилась пресловутая статья И. Эренбурга «Убей немца!» Как и сталинский приказ, она была порождена суровой правдой трагического этапа Отечественной войны.

Правда – дело святое. Но не о ней в данном случае речь, а о содержании эренбургской статейки, в которой маниакальным рефреном звучит призыв к убийству. 22 раза уместились на одной странице текста сакраментальные слова: «Не считай дней, не считай вёрст. Считай одно: убитых тобой немцев. Убей немца – это просит старуха-мать. Убей немца – это молит тебя дитя. Убей немца – это кричит родная земля. За детские гробы, за горе женщин, за горе Ленинграда – убей немца! Не промахнись. Не пропусти. Убей!» Убей не потому, что это вооружённый противник, враг. Убей как немца, по одному лишь национальному признаку. До такого человеконенавистнического вывода не додумались даже люди в окопах.

Вот что писал об этом известный актёр Юрий Никулин, бывший на фронте старшим сержантом: «Война страшна не только тем, что на ней убивают. Ужасней всего то, что она убивает человеческое в людях, превращает их порою в подобие зверя. Не может же нормальный человек, даже в бою, убивать без лютости ненависти к врагу. Я, как и все на этой войне, ненавидел немцев. Мы ненавидели их гортанную речь, даже звуки губной гармошки. И шли в бой, на

смерть с этим чувством, которое было сильнее страха за свою жизнь.

Это была жестокая атмосфера войны. Но прошли годы, мне несколько раз пришлось побывать в Германии, встретиться с немцами – ветеранами Второй мировой войны. И не было никакой ненависти.» («Динабург», Латвия, 30.03.1995 г.)

Привожу этот рассказ с единственной целью – показать, что для советских фронтовиков ненавистными были, как правило, не немцы вообще, не «абстрактный» немец, а засевший в окопах напротив вооружённый враг, которого надо победить в смертельном бою. Вне войны убийство не только аморально, но и преступно.

С помощью садистского (иначе не скажешь) пера Эренбурга сталинская пропаганда стремилась распространить «образ врага» на весь германский народ и всё немецкое безо всякого разбора. Не удивительно поэтому, что клеймо врага, фашиста, презренного «фрица» пало и на головы репрессированных российских немцев, не имевших ни малейшего отношения к «коричневой чуме».

Совершенно невообразимую историю рассказал в этой связи Рейнгольд Дайнес. В обычное утро самого тяжкого 1942 года на арке ворот 14-го стройотряда Базстроя НКВД появился ошеломляющий лозунг «Убей немца!» Колонны тощих оборванных трудяг побригадно двигались к воротам. Маленький худой мужичок еле слышно играл на гармошке марш «Москва майская». Люди шли через ворота и не хотели верить глазам своим. Пройдя под «убийственным» транспарантом, ещё раз оглядывались. Но и с фасадной стороны ворот на ткани цвета запекшейся крови красовались те же уничтожающие слова.

На работе только и разговоров было, что об этом лозунге. К вечеру о нём узнала вся стройка. Недоумевали, возмущались, строили различные предположения и догадки. Никто и понятия не имел о статье Эренбурга. Большинство «трудообеспеченных» пришло к выводу, что неспроста вывесили такой транспарант, видно, скоро всем конец придёт...

Но вечером, когда лагерники возвращались с работы, на воротах уже висел привычный лозунг «Всё для фронта, всё для победы!» Видно, смекнуло лагерное начальство, что явно «перегнуло палку», слишком далеко зашло в своей «воспитательной» работе с «немецким контингентом». Ведь в лагере всё должно быть по-советски «шито-крыто».

Появиться на воротах кликушеский призыв Эренбурга мог только потому, что пришёлся по душе какому-то ретивому политработнику из энкаведешной своры. Конечно, не только из платоническо-

го почтения к звонкому писательскому слову. Действовал он в полном соответствии с духом садистской психологии большевизма, знал, чем можно доставить максимум моральных мук поднадзорным немецким лагерникам.

Об аналогичном случае упоминает в своих записках и Александр Мунтаниол: «Когда в 'Известиях' была напечатана статья, где известный литератор призывал убить не фашиста, а немца, в нашей столовой появилось огромное красное полотнище с лозунгом: 'Хочешь жить – убей немца!' Это была последняя капля, отнявшая у нас всякую надежду на выживание.»

Представление о том, во что ставили энкаведешники нашего брата-«трудармейца», в каком бесправном положении мы пребывали в лагерных «зонах», даёт эпизод, который привёл в своём письме Виктор Ридель. Он родился в 1924 г. на Северном Кавказе, в 41-м был депортирован в Сибирь. С 18 лет – в «трудармии», на строительстве Богословского алюминиевого завода.

«К началу 1943 г. я уже год находился в 5-м стройотряде, – пишет Виктор. – Наша бригада работала в каменном карьере: вручную – ломом, клиньями, кувалдой – мы крушили камень. В феврале-марте я окончательно ослаб. Однажды вечером возвращались в лагерь. Я отстал, шёл последним. В стороне от дороги прохаживался охранник-проводник, рядом бегала овчарка.

Было очень холодно. Я втянул голову в ворот бушлата и плёлся вслед за бригадой. Вдруг кто-то сильно потянул меня сзади за бушлат, я упал на снег. Показалось, будто охранник ударил прикладом по спине. Оглянулся – увидел огромную собаку. Хотел убежать, но она снова ухватила за мою одежду, и я опять упал.

Так повторялось раза четыре-пять: я вновь и вновь пытался подняться, но собака была сильнее (её, конечно, кормили лучше нас) и опрокидывала меня на землю. Это её раззадорило, она пуще прежнего вцепилась мне в бушлат. Таскала до тех пор, пока я совсем не обессилел. Начал кричать и плакать, но никто не пришёл на помощь.

Когда охранник увидел, что я уже не пытаюсь встать и даже не шевелюсь, то, натешившись вдоволь, унял собаку. А я ещё немного полежал, отдышался и, оглядываясь на собаку, медленно стал подниматься. Вижу: охранник стоит со своей собакой, поглаживает её, улыбается и к тому же грозит мне пальцем – дескать, не отставай от бригады!

Я посмотрел на себя и ужаснулся: бушлат ключьями висит, стёганные брюки изорваны – целого места не найти. Обидно стало: за что он натравил на меня собаку? Ведь я ничего не нарушил, поти-

хоньку, насколько позволяли силы, брёл по дороге. Не иначе, как поиздеваться захотел собаковод, лишний раз проверить свою собаку, разнообразия ради – не на специально одетом 'маниле', а на настоящем 'лагерном материале'.

С его стороны это было явным проступком, но никакого разбирательства, конечно, не последовало. Самым сложным оказалось получить новую зимнюю одежду взамен той, что пришла в негодность, видите ли, по моей вине.

Это чудовищное оскорбление я не забуду до конца своих дней.»

Такова была лагерная система палачества и травли, созданная для российских немцев по злой воле властей.

Что касается отношения к «трудмобилизованным» со стороны местного населения, то ставка на конформистское сознание, низкую общую и политическую культуру не подвела организаторов психологического нажима на волю и поведение людей. В стране мало кто проводил различие между немецким народом и фашистами, носителями нацистской идеологии. В одну кучу с ними валили, конечно, и российских немцев.

В то суровое время вся людская злоба, естественная и насаждаемая, обрушивалась на наши незащитные головы, где бы мы ни находились – на спецпоселении или в лагерных «зонах». На долгие годы в российском общественном сознании стало правилом отождествлять немецких граждан с фашистами, оккупантами, врагами. Будто мы находились не дома, а в плену у своих. Особенно тяжело приходилось на первых порах, прежде всего в 1942 году.

Какой мерой можно оценить унижение и позор, пережитые нашими немцами, на которых, как на диковинных животных, сбегались смотреть люди в уральских селениях!

Как без стыда и гнева пережить, например, такую картину: ведут нас под конвоем с собаками через посёлок, и со всех сторон взглянуть на невидаль высыпает стар и млад. Стоят, молча разглядывают издали и вблизи. «Немцев ведут! Немцев ведут!» – летит впереди нас ребячий крик, острой болью и стыдом пронзая сердце. Идём, опустив головы, изредка, как затравленные звери, бросая по сторонам взгляд в поисках сочувственного, снисходительного взора. Но видим только злобу и любопытство. Не обходилось на первых порах и без подлинных курьёзов: кое-кого из нас на полном серьёзе просили снять шапку, дабы убедиться, что у него нет рогов, какие изображались на головах гитлеровцев в газетах и на плакатах того времени. Большинство любопытных составляли, конечно, жен-

щины. Не обнаружив на стриженных головах ожидаемых бугорков, многие приходили к выводу, что мы, кажется, не настоящие фашисты. Но, как говорили, было высказано и другое, не лишённое остроумия мнение: «Это фашисты, но без рогов. Другая порода...»

«Трудармейцев» и впрямь принимали за гитлеровцев, за тех самых немцев, которые жгли русские города и сёла, убивали отцов, мужей, братьев и сыновей этих несчастных в своей забитости и своём невежестве людей. Вряд ли кто-то из них слышал, что на территории СССР издавна живут «свои», российские немцы.

Каково было в действительности тогдашнее состояние наших немцев, знают только они сами. Передать его словами невозможно. Поэтому так мучительно, волнуясь, подбирал в беседе со мной слова Яков Менгель, который, как и я, находился в лагерях Бакалстроя, что называется, от звонка до звонка:

– У немцев чувство собственного достоинства и личной чести, дом и внешний облик всегда почитались очень высоко. И вот нас ведут через селение как преступников, да ещё грязных, оборванных, истощённых. Стыд-то какой! Как сквозь строй проводят, со всех сторон взгляды: тут и презрение, и злорадство, и жалость в глазах. Самое тяжёлое – это жалость. От унижения плакать хотелось!

Кстати, одной из причин, побудивших 17-летнего Эммануила Зайделя, одного из персонажей нашей книги, сбежать из лагеря на фронт, был позор заповолочного животного содержания и неизменные детские возгласы «Немцев ведут!», которыми оглашались улицы посёлка (впоследствии города) Александровск Молотовской (ныне Пермской) области, когда «трудмобилизованных» препровождали на работу и с работы. Этих слов боялись больше, чем оскорблений лагерного или заводского начальства. Отвечать на них каким-то образом было и стыдно, и небезопасно: окрик часового только усиливал злорадство мальчишек.

Конечно, между тем, как относились к нам, «трудмобилизованным» немцам, сотрудники «органов» и местные жители, была большая разница. Энкаведешники – включая и тех, кто влился в их ряды для того, чтобы спрятаться от фронта, – должны были обладать особыми палаческими качествами, позволявшими чинить беспощадную расправу над опальными российскими немцами. Они изо всех сил старались преуспеть в этом чёрном деле, ибо знали: попустительство «социально опасному элементу» может повлечь за собой снятие вожделенной тыловой брони. Поэтому на службе в данном карательном ведомстве, как правило, находились наиболее рьяные

немцененавистники, полные властолюбия и садизма нелюди.

Немаловажное значение имело и то обстоятельство, что среди начальствующего состава «трудармейских» лагерей и спецкомендатур имелось значительное число евреев, которые по понятным причинам должны были питать к немцам особую ненависть. Правда, встречались среди них и люди другого рода. Известно, например, что начальник 5-го стройотряда Бакалстрой майор Чиркин в 1942 г. добровольно ушёл со своего поста, заявив, что не может держать взаперти безвинных немцев. Были и другие подобные случаи, о которых речь ниже.

В иной психологической ситуации находились вольнонаёмные рабочие, трудившиеся рядом с нашими немцами. То же самое можно сказать и о местном населении на Урале, где было особенно много «немецких» лагерей. При всей «заряженности» антифашистской и антинемецкой пропагандой многие люди, ближе столкнувшись с «трудмобилизованными» немцами, постепенно меняли своё мнение о них. Даже в самом трудном 1942 году, когда в семье приходило больше всего извещений о гибели и безвестном исчезновении близких, а «органы» с особым рвением настраивали население против «трудармейцев», многие вольнонаёмные (в большинстве своём женщины) испытывали к гибнущим в лагерях немцам скорее жалость, нежели презрение.

Своими наблюдениями на этот счёт делится упомянутый Александр Мунтаниол:

«В конце лета нашу штрафную бригаду послали поддерживать в надлежащем состоянии лежнёвую дорогу, по которой вывозили овощи из ГУЛАГовского подсобного хозяйства. Мы жили в селе, в домике, где размещалась школа. Сперва местные избегали нас, и мы понимали причину: в селе находился человек в форме внутренних войск. Это он обрабатывал жителей, чтобы они не общались с нами.

Но жизнь шла по своим законам, и, как ни старались чекисты держать людей в шорах, это удавалось далеко не всегда. Вскоре селяне узнали нас поближе, и, услышав, что мы говорим по-русски, перестали чуждаться. По вечерам у школы бывало весело. От местных девушек не было отбоя. Приходили и женщины — ‘мужского духу понюхать’, как они говорили.

Прожив в селе около двух месяцев, мы по-настоящему сдружились с его жителями. Наши ребята помогали навести порядок во дворе, наколоть на зиму дров, подремонтировать забор и т.д. Когда уезжали, всё село вышло нас провожать, люди искренне желали нам добра.»

О коллизиях, возникавших при общении немцев с местными жи-

телями, рассказывается и в записках уже знакомого читателям Иоганна Эйснера. Вот один из таких эпизодов.

Летом 1943 года ему, как говорится, дико повезло. В числе двадцати ещё передвигавшихся на собственных ногах молодых людей его направили работать путейцем на железнодорожную ветку. 900 граммов хлеба, третий котёл и свобода от конвойного сопровождения, которая открывала доступ к съедобным лесным сокровищам, быстро вернули им прежние силы. Участок старшего мастера Терещука стал одним из лучших на железной дороге Вятлага.



Иоганн Эйснер

Всё было бы хорошо, не случилось с Иоганном неожиданное происшествие. Как-то осенью их бригада расставляла щиты, предохраняющие дорогу от снежных заносов. Летом эти лёгкие деревянные приспособления складываются в штабеля, запрещённые к разборке и использованию. Но вблизи жилья люди растаскивали щиты, чтобы загоразживать свои участки от потравы.

Так было и у бараков вольнонаёмного и обслуживающего персонала лагпункта № 1, неподалёку от которого бригада расставляла щиты в этот день. Иоганн и два других путейца направились к огородам. Их встретили женщины с детьми с просьбой оставить щиты, пока огороды не убраны. Путейцы объяснили им, что по всей железной дороге идёт плановая подготовка к зиме и что они получили распоряжение, которое обязаны выполнить. Женщины ушли, а путейцы со щитами отправились к железнодорожному кювету.

Когда Иоганн с товарищами явились во второй раз, к ним подошёл инвалид с костылём в сопровождении нескольких мальчишек. Он начал обзывать путейцев последними словами: и «фрицы» они, и фашисты, и изверги; мало он их перебил на фронте, всех надо уничтожить и т.п. Двое товарищей Иоганна не стали выслушивать оскорбления и ушли с пустыми руками. Но он взял очередной щит, а затем

ещё несколько раз возвращался за новыми. Фронтовик ругался всё пуще, а поодаль стояли женщины и наблюдали за происходящим.

Наконец, инвалид отправился к лагерному оперуполномоченному НКВД с жалобой на Иоганна, заявив, что тот его не только ослушался, но и ударил по голове. Тем же вечером «опер» вызвал Иоганна, спросил, что и как, и давай кричать:

– Врёшь, паразит! Ты ударил фронтовика так, что он упал. Скажи правду, иначе посажу! Твои немцы на фронте человека инвалидом сделали, а ты над ним здесь измываться вздумал?!

Потом, помолчав, добавил:

– Ладно, иди. Завтра после работы придёшь ко мне. Я тебя за этого фронтовика всё равно посажу, так и знай!

Когда на следующий день он пришёл к «оперу», в коридоре стояла женщина с мальчиком. Иоганн поздоровался, постучал в дверь. А душа в пятки ушла – понял, что эта женщина из барачных жильцов.

– Ага, пришёл, «герой»? Сейчас я тебе фашистские руки укорочу, фриц недорезанный!

Зовёт в кабинет женщину, говорит:

– Расскажите при этом паразите, как он ударил фронтовика-инвалида.

Испугался Иоганн: всё пропало! Подтвердит – 10 лет обеспечены. Но женщина честно передала всё, как было. «Оперу» это явно не понравилось:

– Инвалид обманывать не станет! Вы почему защищаете немца, а не нашего человека?

Она ещё раз, потвёрже, повторила сказанное. «Опер» выпроводил женщину и принялся за мальчишку:

– Ну, малыш, скажи мне правду, ведь этот дядька ударил вашего фронтовика?

Парнишка потупился и отрицательно покачал головой. «Опер» вскочил, подошёл к мальчонке вплотную, сердито прошипел:

– Что ты сказал?

– Не ударил он его...

– Ты что же меня обманываешь?! Ваш инвалид мне ясно сказал, что этот немец ударил его по голове. Говори, как было!

Иоганн смотрел на мальчика, а сам дрожал, будто от малярии. А ну, испугается парнишка, скажет неправду – не миновать тюрьмы! Но мальчик покачал головой и повторил:

– Нет, не ударил...

Оперуполномоченный вытолкнул мальчишку за дверь, опять

обозвал Иоганна последними словами и сказал:

– Иди и знай – ещё раз попадёшься, я тебе всё припомню. Не отвертишься, фриц поганый!

«Это был третий случай, когда я мог получить 10 лет», – такой фразой завершается очередной отрывок из записок Иоганна Эйснера.

Так, меж двух «огней», – армадой вооружённых энкаведешников и снисходительно-осуждающими простыми людьми – российские немцы жили всю войну и ещё десять послевоенных лет.

И в то же время каждый спасшийся от смерти «трудармеец» назовёт несколько имён людей из вольнонаёмного персонала, которые, несмотря на «разъяснительную работу» НКВД, на данные в спецотделах расписки, а главное – вопреки открытой травле, с риском для себя и своей семьи, единственно из сострадания и по природной доброте стремились делать и делали нашим немцам добро. Они поддерживали их надеждой, человеческим сочувствием, но больше всего тем, что давали возможность десяткам и сотням людей не умереть голодной смертью.

Уже знакомый читателю Теодор Герцен помянул добрым словом старого лесника Ивана Васильевича Фёдорова, который заботливо следил за сохранностью молодой поросли на лесной вырубке.

– Оно, конечно, так, – говаривал он. – Шахтам, знамо, крепёжка нужна. И вас сюда пригнали не задаром. Только вот что я вам посоветую, робята: вы норму шибко перевыполнять не старайтесь, берегите силы, пока они ишо есть. Обязательно набавят норму, уж я-то знаю! Почитай, всю жизнь лес рубил, мне уже 83 стукнуло. А теперь вот берегу молодняк от вас, лесорубов. Вы уедете, я уйду, а лесу-то расти вечно!

Особенно приглянулся ему Теодор. Всё вокруг него ходил, подсказывал, опытом делился, как ловчее в лесу работать. А однажды сказал задумчиво:

– Тебя по-русски как зовут-то? Фёдором, говоришь? Так вместо внука Вани у меня будешь. Он такого же росточка был, нап Ванятка. Убило на фронте его. Убило... Не стало мальчика-то. Чай, согласен, аль нет?

Выслушал я взволнованные слова Т. Герцена и подумал: а ведь смог же простой и не очень, наверное, образованный человек сохранить в себе естественное стремление к простому человеческому взаимопониманию, оставив в стороне национальные и иные предрассудки! Сумел подняться выше тех облечённых властью прохвостов и их придворных писак, которые сознательно науськивали народы друг на друга.

А мог бы и дед Иван назвать юного Герцена убийцей или фашистом – немец ведь! И внука немцы убили! Обозлиться мог, как многие. Так ведь нет! Умное, по-настоящему доброе сердце ему этого не позволило. Мудрый был старик.

Удивительную историю своей жизни поведала в письме Вера Ивановна Гончарова, проживавшая в 1993 г. в Уфе. Оно тоже заслуживает того, чтобы ознакомить с ним читателей.

В 1943 г. её, хрупкую 15-летнюю девчонку, направили по мобилизации в город Бугуруслан Чкаловской (ныне Оренбургской) области, в трест Нефтегазстрой. От лома, лопаты и кирки – этих чисто мужских орудий землекопа – руки сначала покрылись кровавыми волдырями, а потом задубели грубым мозолистым наростом. Но настоящее несчастье состояло в другом: еда, которую им давали, не могла восполнить физических затрат, и женщины вскоре превратились в ходячие скелеты.

Наступила зима, строительные работы требовали теперь куда больше сил, а их становилось всё меньше и меньше. К тому же новую одежду женщинам не выдавали, а старая напрочь износилась. Матерчатый верх ботинок отрывался от деревянной подошвы, и через кое-как заделанные дыры к ногам пробивались холод и снег. Появились первые замёрзшие и умершие от голода.

В один из выжженных дней Берта Зеель (так её звали тогда) отпросилась у бригадира, чтобы пойти в ближайшую деревню в надежде выпросить у добрых людей пару картофелин или тарелку супа. Всё одно она не работник, сил не осталось даже на слёзы.

Заснеженная дорога, обжигающий ветер. Золотые и лиловые круги перед глазами. Из последних сил добрела она до деревни и у первого же забора потеряла сознание.

Очнулась в какой-то избе. На столе у кровати – стакан молока. Рядом с ней – пожилая женщина. Спрашивает, кто она, откуда? Берта рассказала о себе, порывалась уйти, но Демидовна – так назвала себя женщина – ей в ответ:

– Никуда ты сегодня не пойдёшь! Лежи, набирайся сил, а там что-нибудь придумаем...

Через неделю хозяйка вернулась вечером с работы не одна. С ней пришёл мужчина в военной форме, но без ноги и с пустым левым рукавом. Он попросил БERTU ещё раз рассказать о себе и своих родителях. Посоветовал ей в лагерь не возвращаться и предложил, если она согласна, послать её учиться в ФЗО.

А ещё через неделю мужчина принёс Берте новое свидетельство

о рождении и сказал:

– Твоя жизнь только начинается, а сколько ещё мучиться вашим женщинам в лагерях – кто знает... Езжай, учись!

Так Берта Зеель, уроженка Красного Кута, кантонного центра АССР немцев Поволжья, стала Верой Кондаковой, живущей на территории Воскресенского сельсовета, где она теперь находилась.

Демидовна собрала кое-какую одежду, и Вера вместе с другими сельскими девчонками отправилась в Уфу. Прощаясь с «племянницей», хозяйка перекрестила её и сказала:

– С Богом, доченька. Только смотри, нигде не проговоришься о нас!

Через год Вера закончила ФЗО № 17, получила паспорт и стала работать формовщицей в литейном цехе Уфимского вагоноремонтного завода.

«Так и прожила я всю жизнь русской. Но вместе с немцами 'болела' за восстановление нашей Республики на Волге. А теперь бываю в немецком культурном центре, пою песни моей матери, которая вместе с сестричками умерла от голода в 1944 г.», – этими словами заканчивается письмо Зеель-Гончаровой, женщины с необычной немецкой судьбой.

Мне известен ещё один подобный случай самоотверженной человеческой доброты, когда облечённые властью люди с риском для себя и исключительно из чувства сострадания помогли способному немецкому юноше избежать тягот спецпоселения, а в будущем добиться значительных высот в военно-инженерной науке. Речь идёт о Владимире Дурове, профессоре, докторе наук, который до 1991 г. заведовал кафедрой Даугавпилсского военного авиатехнического училища в Латвийской ССР.

В 1943 г. его, 13-летнего беспризорного паренька, отец и мать которого находились в «трудармии», колхоз направил по разнарядке учиться рабочей профессии в ФЗО. Способный мальчишка Володя Визенмюллер пришёлся по душе мастеру – назовём его Любимов. Они были так дружны, что Володю называли не иначе, как «любимая тень».

Когда В. Визенмюллеру исполнилось 14 лет, что означало для немца явку к коменданту НКВД для примерки каторжного «спецхому», Любимов сказал: «Не ходи, мы всё уладим!»

Что делал мастер, с кем договаривался, неизвестно, но в один прекрасный день он сказал Володе: «Мы тебе такую фамилию сварганили, что ни одна милиция не подкопается. Согласен на Дурова? Значит будешь Владимиром Романовичем Дуровым!»

С этой фамилией он вышел из училища, учился в школе, полу-

чил паспорт, работал, снова учился. Благодаря незаурядным способностям и «незапятнанной» пятой графе быстро продвигался по службе в области военно-технических исследований.

...Письма и воспоминания «трудармейцев» – документы большой нравственной силы. Нет свидетельств беспристрастных: в каждом из них – картина потрясающего горя и самоотверженной доброты, которая помогала кому-то избежать беды. По прошествии времени эти повествования становятся документами истории нашего народа.

Рассказывает упоминавшийся нами затворник Бакалстроа Вернер Штирц, в настоящее время – житель Германии.

– В годы войны – на фронте и в тылу – люди просвечивались насквозь: сразу было видно, кто чего стоит, – издавек начал свою историю Вернер. – И, знаете, не было более верного критерия для оценки человека, чем его отношение к слабому, больному, гонимому. В том числе и к нам, узникам «трудармейских» лагерей, соединявшим в себе всё перечисленное и многое сверх того.

Он рассказал о бывшем начальнике Теплостроя – крупной организации, занимавшейся монтажом основных тепловых сетей на промышленных объектах Бакалстроа, – Иване Древалю, который сознательно шёл на приписки в нарядах для окотловки только затем, чтобы отдалить неминуемую гибель «трудармейцев». Он видел, что люди стараются изо всех сил, но не могут выполнить нормы по причине слабости и истощения. В ответ «мобилизованные» трудились с полной отдачей, и дело у Древалю спорилось.

Но малый «отсев» в бригадах, занятых в Теплострое, и сплошной третий котёл у «трудмобилизованных» привлекли внимание лагерного оперуполномоченного, которое вылилось в следствие и судебное разбирательство «дела» Древалю в военном трибунале, постоянно функционировавшем при Бакалстроа. За систематические приписки в нарядах, приведшие к «перерасходу продуктов питания», И. Древалю был приговорён весной 1943 года к 12-ти годам лишения свободы, а два бригадира получили по 10 лет. Пострадал при этом и Вернер – он был отправлен в штрафной отряд в Верхний Уфалей, о чём ещё будет идти речь.

Подобный случай описан и Александром Мунтаниолом, к воспоминаниям которого мы уже обращались.

«Мне дали 24 хлопца (все с Украины), которые прошли через ад каменного карьера на станции Всеволодо-Вильва, и отправили на насыпку железнодорожного полотна, – пишет Александр. – Члены нашей бригады пытались катить тачки и падали вместе с непосиль-

ной тяжестью. Десятник оказался учителем из поволжских немцев. 'Их жизнь в наших руках, – сказал я ему, – если мы не поможем, они все погибнут.' Посидели мы с ним, поразмыслили и нашли общий язык. Десятник велел мне отвести ребят в лес – пусть, мол, отомятся – и стеречь их от начальства. Так продолжалось месяц-полтора. А паёк мы получали полный, за 125% выполнения нормы. За это время хлопцы окрепли и с лихвой наверстали упущенное.

Однако 'туфта' и на сей раз не прошла безнаказанно. Однажды перед строем поредевших 'трудармейцев' был зачитан приказ начальника Соликамстроа Байкова. За приписки, повлекшие за собой пресловутый перерасход продуктов, ряд товарищей, включая десятника и меня, были переведены в штрафную бригаду под зловещим номером 58 и направлены на самые тяжёлые работы.»

По вывернутой наизнанку большевистской логике продовольствие, которое должно служить сохранению жизни человека, оказывалось дороже и важнее самого человека, своим тяжким трудом зарабатывавшего эти жалкие средства к существованию! Или, быть может, продукты предназначались для совсем других людей и руководителей судили за то, что они спасали жизни немцев, которым была предначертана голодная смерть?

«Преступники» из Соликамстроа и Бакальского Теплостроя – не единственные самоотверженные люди, которые в самые трудные годы рисковали собственным благополучием и, как могли, защищали погибающих немцев. Конечно, они были не в силах остановить ГУЛАГовский молох, перемалывавший узников в лагерную пыль. Но оставшиеся в живых «трудармейцы» до сих пор помнят своих спасителей и заступников.

Известный читателю Иоганн Эйсер, например, упоминает в своих записках о враче 12-го лагпункта Вятлага Нине Наумовне Тацц, жене начальника лагеря и бывшей политзаключённой. Именно к ней, а не к доктору из «своих» стремились попасть «доходяги», чтобы получить освобождение от работы. Все ведь знали, что врачи не имеют на это права, даже если налицо последняя степень дистрофии, цинга, пеллагра и другие болезни голодающих. Особенно жалостлива она была к юным дистрофикам, многим из которых не исполнилось и 18-ти лет.

За либерализм в отношении «спецконтингента» ей частенько доставалось от мужа, капитана Тацц, поскольку освобождениями от работы, переводом в ОПП и стационар она срывала график поставки рабсилы подрядному лесозаготовительному предприятию. А это,

в свою очередь, уменьшало поступления в кассу НКВД.

Яков Лихтенвальд (его мы тоже уже цитировали) просил упомянуть о тех вольнонаёмных служащих лагерей, которые в меру своих возможностей вторгались в систему уничтожения «трудмобилизованных» и спасли немало человеческих жизней. Там, где таких людей не было, смертность немцев при тех же условиях содержания приближалась к стопроцентной.

В первую очередь Я. Лихтенвальд называет лагерного доктора Фриду Самуиловну, которая даже в условиях санкционированного сверху геноцида следовала первой заповеди врача – спасению жизни людей. Она не только «сверх меры» освобождала «трудмобилизованных» от работы, давая одним дистрофикам возможность пару дней отдыхать, другим – умереть не в лесу и не по пути в «зону», а в ОПП, стационаре или бараке. С поразительной смелостью и редкостным упорством настаивала она на строгом соблюдении правил для исправительно-трудовых лагерей, согласно которым при морозе в 40° и ниже людям не полагалось работать на открытом воздухе.

Бывало, у ворот разыгрывались настоящие баталии между Фридой Самуиловной и лагерным начальником. Она становилась перед колонной «трудмобилизованных» и властью врача запрещала выводить их из лагеря. Разъярённый капитан размахивал пистолетом, а докторша распахивала ворот полушубка и кричала: «Стреляйте, но в такой мороз я людей в лес не пущу!»

Однако не эти – к сожалению, нечастые – примеры человеческой доброты и мужества определяли жизненные перипетии «трудмобилизованных» немцев. То недоброй памяти время запечатлелось в их сознании прежде всего лагерно-тюремным режимом, рассчитанным на содержание уголовных преступников.

Были у «наших» концлагерей и свои особенности, которые ещё более усиливали физические и моральные муки их затворников. С одной стороны, нас со всех сторон окружали реалии лагеря строгого режима: четырёхметровое проволочное ограждение, вышки с «попками» по углам, конвой, сторожевые собаки, надоедливые вечерние поверки, ночные «шмоны» и прочие атрибуты ГУЛАГовской «жизни». А с другой – в официальном обращении к нам звучало слово «товарищ» с добавлением «трудмобилизованный». Политрук стройотряда («комиссар трудового батальона») – была такая начальственная должность в лагерях – мог перед строем во время развода апеллировать к «патриотическому долгу советских людей», призывать не покладая рук трудиться во имя победы над врагом.

С запланированным ханжеством мы встретились в первые же дни по прибытии в 4-й стройотряд Бакалстроя. Нас, молодых, по правде говоря, не очень смутили проволочные ограждения, пустые вышки по углам и вахта у ворот, через которые можно было на первых порах свободно выходить и заходить. Никому даже в голову не пришло, что нас могут запереть, как заключённых.

Весёлую улыбку и шутки вызывали заполняемые формуляры с многочисленными вопросами, описанием особых примет типа: «оттопыренные уши», «тяжёлый подбородок», «скрюченный нос». Снятие отпечатков пальцев рук кто-то, понаслышке знакомый с воровским жаргоном, ко всеобщему веселью назвал «игрой на рояле». Такая реакция понятна – никто не мог ждать коварного подвоха от своих же властей.

Не пугала и предстоящая трудная работа на кирпичном заводе. В конце концов защищать Родину, выполнять свой долг можно и нужно и в тылу, если уж на фронт не пустили. Ведь и тут дела немало. Сами видели по пути в Казахстан, как один за другим шли поезда с оборудованием на восток, обгоняя наш переселенческий эшелон. Хороши бы мы, немцы, были, бездейтельно отсиживаясь в тылу, в то время как почти все военнообязанные мобилизованы на фронт, а Красная Армия с тяжёлыми потерями отходит всё дальше и дальше.

Удовлетворение вызывала уже мысль, что наконец-то определилось и наше место в общей борьбе против фашистских оккупантов. Ощущение чистой совести успокаивало, настраивало на напряжённую работу, придавало сил для преодоления будущих трудностей. Было весело, шутники сыпали остротами, непривычно для многих звучащими на немецком языке. Слышались собранные воедино разномастные немецкие диалекты, будто на большом многоязычном рынке. Настоящий Вавилон!

– Главное – сносная еда, тогда и работа, и жизнь будут соответствующие. За немцами дело не станет! – заключили те, кто постарше и кое-что повидал на своём веку. Но так продолжалось недолго. Через неделю из окошка кухни вместо приличного супа стали выдавать какую-то мутную водичку с отдалёнными признаками варившейся рыбы. О втором – обычной каше – больше никто и не помышлял.

Добровольный сознательный труд обычных добропорядочных и сытых людей был заменён принудительной работой для зеков – лагерной котловкой. 750 граммов хлеба и три раза «суп» – вот что мог получить тот, кто выполнял норму выработки на 100% (третий котёл).

За 25% перевыполнения полагалось 800 граммов хлеба и так называемое «премблюд» – пирожок «ни с чем» весом примерно 50 граммов. Невыполнение нормы каралось вторым котлом – при этом «виновнику» доставались всего 600 граммов хлеба и дважды суп-вода. Первый, гибельный котёл получали штрафники. Он состоял из 400 граммов хлеба и одноразового пустого супа.

В тот же день на выпшках и на вахте появились охранники, а за лагерными воротами нас встретил вооружённый конвой с неизменным оскорбительным окриком: «Шаг влево, шаг вправо – стреляя без предупреждения!»

По рассказам моих собеседников, так происходило и в других местах: поиграла кошка с мышкой и – съела...

Враз всё прояснилось, будто пелена упала с глаз: произошло что-то очень серьёзное. Видимо, вступило в силу какое-то новое руководящее решение. Нас лишили свободы, а попросту говоря, – посадили в тюрьму. Не продолжение ли это того Указа, в котором немцы Поволжья были объявлены диверсантами и шпионами? Сначала нас всех выселили в Сибирь и Казахстан, а теперь, выходит, заточили в лагерь?

Но вопиющим диссонансом к происходящему и верхом советского ханжества были ... лагерные партийные и комсомольские организации. Неслыханное сочетание колючей проволоки и членских билетов с ленинским профилем – это загадка не для нормального человеческого рассудка. Не поймёшь, то ли лагерный режим поднимали до партийно-комсомольского уровня, то ли «авангард рабочего класса» и «передовую советскую молодёжь» низводили до уголовных преступников?

О сомнениях, имевших место по поводу этих организаций даже в партийно-энкаведистских кругах, свидетельствует служебная записка, обнаруженная мной в Челябинском областном архиве. Начальник Бакалстроя писал своему заместителю по лагерям, руководителю оперчекистского отдела и начальнику ВОХР:

Секретно

Тт. Честных, Курпасу, Шипилову

В частичное изменение приказа № 29 от 18.06.42 г. дайте указание партийные документы и комсомольские билеты у трудмобилизованных не изымать.

А. Комаровский
19 июня 1942 года.

Итак, «Бог» сказал: да будут лагерные коммунисты и комсомольцы! И появился в ВКП(б) и ВЛКСМ невиданный организационный феномен – запроволочные партийные и комсомольские ячейки. Их членов вместе с «парторгами» и «комсоргами» вели на работу и назад под усиленным овчарками вооружённым конвоем, обзывая фашистами и стреляя при неосторожном движении в строю.

Порой доходило до смешного (а по сути – до очень грустного). Об одном таком случае написал из Казахстана Н. Беккер. Собрания партийцев в лагере, где он содержался, проводились в помещении, которое находилось за пределами «зоны». Доставляли их туда, как и положено, под конвоем. Для охранников, пишет он, это был удобный повод развлечься, а заодно и поиздеваться над безропотными немцами.

При приближении к очередной вышке раздавался сверху громкий клич:

– Стой, кто идёт?!

Старший по конвою называл положенный пароль и добавлял:

– Ведём коммунистов на партийное собрание!

В ответ раздавался оскорбительный хохот.

Свою точку зрения на эту проблему высказал уже знакомый нам Александр Мунтаниол. Он пишет мне с упрёком:

«Вы пытаетесь каким-то образом возвысить роль партии и комсомола в лагерях. Скажу откровенно: мы, 'трудармейцы', смотрели на наших партийцев, как на пигмеев. Над ними насмехались и, если хотите знать, их ненавидели. Уж очень противно было смотреть, как этих жалких прихвостней вели под конвоем на партсобрания. Вы не сказали в книге, что эти организации и собрания были отдельными от вольнонаёмных. Немцев просто не допускали на собрания, где были русские и представители других национальностей. Мы задавали себе вопрос: 'Почему у немцев не забрали партбилеты?' Ведь сама логика подсказывала, что никакие красные книжечки в лагере не нужны, разве что использовать их как дополнительный рычаг давления на основную массу рабов.»

Мой взгляд на эту противоестественную ситуацию несколько отличается от приведённого. К тому же в 1988 г., когда готовилось первое издание моей книги, в этом отношении ещё имелись, как говорится, «некоторые нюансы». Лишь позднее мы «оценили» зловещую роль КПСС в жизни советского общества. То, что наши мучители могли использовать партийцев и комсомольцев в своих шкурных интересах, не подлежит сомнению. Однако наличие, а тем более активность партийных организаций заключённых противоречили

нормам ГУЛАГа и (по крайней мере, в 1942–43 гг.) служили определённой помехой при осуществлении специфических задач по моральному и физическому уничтожению людей. Поэтому лагерное руководство стремилось не допустить, чтобы деятельность этих организаций выходила за чисто формальные рамки.

Что касается комсомольских собраний, то за два первых года «трудармии» я о них даже не слышал. Сомневаюсь, что в тех двух крупных стройотрядах, где я за это время побывал, они вообще проводились.

Там, где партийные и комсомольские организации имелись, они существовали столь же подневольно, бесправно и бессловесно, как и их члены. Режимное лагерное клеймо требовало их полной изоляции от организаций вольнонаёмного персонала. Эта «берлинская стена» стала разрушаться только с расформированием «трудармии» в 1946 г.

Почему же коммунисты не протестовали хотя бы против этого организационно-партийного уродства, а молчаливо оставались членами партии, бережно хранили партбилеты и платили символические членские взносы?

По-моему, ответ на этот вопрос кроется там же, где и объяснение непротivления лагерному злу со стороны остальной массы «трудмобилизованных» немцев. Практически все мы держались беспомощно, молчаливо-обречённо и, в конечном счёте, малодушно. Срабатывали вековые традиции проживания «не в своём» государстве, отсутствие чувства хозяина в собственном доме и, как следствие, воли к борьбе. А люди, не готовые противостоятъ насилию, всегда слабее насильников.

Но было и ещё одно обстоятельство, позволяющее ответить на поставленный вопрос. Это – страх 1937 года, неусыпная деятельность оперчекистских цепных псов, которые не шли по следам происходящих событий, а опережали их даже там, где таковые вообще не могли иметь места.

О том, как расправлялась лагерная карательная система с коммунистами, посмеявшимися хотя бы вполголоса заявить о себе, рассказал в газете «Красноярский рабочий» за 10 февраля 1990 г. «трудармеец» Александр Гаус. Вот сокращённое изложение его статьи.

...Среди «трудмобилизованных» Краслага НКВД было немало коммунистов и комсомольцев. Почти все они происходили из Энгельса, столицы АССР НП, или кантонных центров Немреспублики. После неоднократных ходатайств в отрядах были созданы партийные и комсомольские организации. Но и они оставались пленниками ГУЛАГа.

Коммунистов приводило в ужас отсутствие самых элементарных прав и свобод. Они не могли оставаться безучастными и письменно обратились в ГУЛАГ НКВД СССР с требованием прекратить противозаконные действия и издевательства над «трудмобилизованными» немцами.

Из Москвы в Краслаг прибыл некий генерал Генкин. Он потребовал от коммунистов 1-го отряда немедленно сдать партбилеты. Партком отряда решительно воспротивился. Вскоре многие коммунисты данного отряда были этапированы в другие места – Вятлаг, Усольлаг, Каругольлаг. Вслед за этапом полетели депешки о том, что эти коммунисты будто бы организовали в Краслаге контрреволюционно-повстанческую организацию, а потому должны быть арестованы и преданы суду.

Очередные «московские гости» и работники оперчекистского отдела развернули настоящий террор против коммунистов во всех отрядах Краслага. Более того, партийные организации «трудмобилизованных» были объявлены вне закона. Наконец-то НКВД удалось раскрыть тех диверсантов и шпионов, о которых твердил приснопамятный сталинский Указ!

Особое совещание (тройка) безжалостно покарало безвинных «трудармейцев»-коммунистов. Многие из них были осуждены на 10, 15 и даже 25 лет режимных лагерей Крайнего Севера. Вместе с автором статьи эти репрессии коснулись сотен немцев, включая бывших ответственных работников АССР НП.

Только в 1954 г., когда через надёжные каналы удалось передать жалобы в Москву, «дело немцев-коммунистов» было закрыто, приговоры отменены, жертвы реабилитированы, многие – посмертно...

Статья А. Гауса, приоткрывшая неизвестную страницу истории «трудармии», может послужить одновременно и ответом на вопросы, поставленные А. Мунтаниолом.

Лагерная система угнетения и уничтожения людей, созданная государством и охраняемая оперчекистскими ищейками, причиняла не только физическую и моральную боль. Она была не просто способом «наказания» российских немцев за их национальную принадлежность. В её задачи входило также унижить человека, нагнать на него страх, подавить всякую волю к сопротивлению, изолировать «социально опасные элементы» от общества.

Одним из таких методов глумления над безвинными узниками «немецких» спецлагерей были до слёз обидные и унижительные обыски личных вещей «на предмет выявления и изъятия» потенциаль-

ных орудий насилия против лагерного персонала и охраны. По-лагерному именуемые «шмонами», они организовывались в 1942-43 годах, как правило, накануне революционных праздников, а подчас и по другим датам – в меру служебного рвения лагерного начальства.

Эти обыски были важной плановой акцией, предусмотренной палаческим лагерным режимом. Их проводили с превеликой тщательностью и старанием. Персонал проявлял незаурядное усердие и «бдительность». Как же – с настоящими немцами дело имеют! Не с теми, конечно, что на передовой, но всё-таки... Словом, это был один из самых изощрённых способов издевательств над лагерниками, когда представлялась желанная возможность выслужиться перед начальством. Иначе – на фронт, а там, знать, погибают...

Для немцев, вчерашних сельских жителей, воспитанных в строгих правилах христианской морали, не знавших блатного жаргона и не изведавших тюремных застенков (те, кто в 1937 г. попал в лапы НКВД, домой не вернулись, а единицам, которым всё же удалось вырваться, заткнули рот до конца жизни), всё это было непривычно, дико и чудовищно. Они никак не могли понять, что хотят найти эти люди в их пустых чемоданах и тощих узлах. Может, «политику» какую ищут, так откуда ей здесь взяться, когда кругом заборы, а «вольные» шарахаются от тебя, как от прокажённого?

Делалось это из казённого опасения, что именно в «красные дни календаря» может подняться кровавый бунт – «трудмобилизованные» немцы с бритвами и ножницами в руках нападут на вооружённых охранников, перережут им горло и... Конечно, в эту фантазмагорию никто всерьёз не верил, но лагерный режим есть режим!

...В полночь, когда все уже спят, в лагерных бараках неожиданно раздавалась команда:

– Подъём! С вещами выходить строиться! Всем до единого, больным – тоже! Быстро!

Первый раз, под майский праздник 1942 года, эта команда вызвала тревожный переполох:

– Сачем? Что слышлось? Кута отпрафляют?

Накануне Октябрьских праздников и позднее все уже знали, что надобно делать: выстроились перед бараком, разложили на снегу свой нехитрый скарб и стали ждать, когда, наконец, до них дойдёт очередь. Охранников было немного, а людей – несколько тысяч. Ожидать приходилось часами. На холоде, на ветру. Топали, скрипя по снегу, чтобы если не согреть, то хотя бы почувствовать собственные ноги: не отмёрзли ли уже? Сходились в кружок, чтобы заго-

родиться от колючей снежной позёмки, хлопали себя по бокам. С каждым часом становилось холоднее. А охранники всё не идут...

Лагерный «шмон» – картина зловещая. Её не передать обычными словами. По-настоящему о шмоне знают только те, кто сам был его объектом или свидетелем: установленные на караульных вышках прожектора шарят в темноте своими лучами, то здесь, то там высвечивая дымящиеся табачным дымом и паром кучки сгорбившихся от холода и унижения людей. Никто не может устоять на месте – мёрзнут ноги. Сотни человек, сопровождаемые длинными, распростёртыми на освещённом снегу тенями, переступают с ноги на ногу, напоминая о каком-то таинственном ритуальном танце у огромного ночного костра.

Наконец, далеко за полночь подходили к нам одетые в белые фронтовые полушубки «служивые», осматривали вещи, откладывали в сторону «подозрительные» предметы – ножички, включая перочинные, ножницы, бритвы и даже крупные иголки. Говорили: забираем «допослепраздников». Тщательно пролистывали книжки, в т.ч. записные, дабы выявить крамолу, разглядывали фотографии – нет ли лагерных снимков. После этого они заходили в бараки, обыскивали закоулки нар, обшаривали углы и, наконец, разрешали вернуться в помещение, казавшееся после холода таким тёплым, уютным и родным.

Основная масса вещей действительно возвращалась к хозяевам. Но лучшие из них, конечно, исчезали без следа. Это относилось и к верхней домашней одежде – добротным пальто, полушубкам, шерстяным костюмам. Официально их «временная реквизиция» мотивировалась предотвращением побегов. Дескать, гражданская одежда может помочь бежавшему затеряться в толпе.

В большинстве лагерей Бакалстроля такие обыски в 1942-43 гг. производились по 2-3 раза в год. А в 9-м стройотряде, как рассказывал Абрам Герцен, ночные акции были излюбленным «хобби» начальника лагеря, а потому предпринимались особенно часто, доводя людей до полного морального и физического изнеможения. Ведь на следующее утро надо было, как всегда, идти на работу.

Ночные обыски являлись предписанными сверху «мероприятиями» общеулаговского масштаба. Проводимые по чёрным датам «красного календаря», они запомнились всем узникам «трудармейских» лагерей. Упоминает об этих акциях и Александр Мунтаниол: «Когда нас впервые поднимали ночью с нар и начали вершить повальный обыск, когда отобрали бритвы, ножи и всё, что режет и колет,

стало окончательно ясно: теперь мы не люди, а рабочий скот в руках жестокого и беспощадного хозяина. С первого дня 'мобилизации' я вёл дневник, хотелось зафиксировать всё пережитое, но после 'шмона' понял, что за это можно без труда перекочевать в лагерь для уголовников. Записи пришлось немедленно сжечь...

К этому зловещему времени относится и архивный документ – совершенно секретный Приказ по Управлению строительства БМК (Бакальского металлургического комбината) и Бакаллага НКВД СССР от 21 апреля 1942 г. «О мероприятиях по изъятию из зон стройотрядов запрещённых к хранению предметов». Из текста Приказа, который относится к первому периоду существования «трудармии», следует, что на «мобилизованных» немцев с самого начала распространялись жестокие нормы режимных лагерей ГУЛАГа, предназначенных для особо опасных преступников. Кроме того, из п. 5 этого документа вытекает, что относительно проведения у «трудмобилизованных» периодических обысков были получены «специальные указания» – конечно же, из НКВД СССР.

Как и следовало ожидать от руководства, директива была дана непосредственно перед Первомайскими праздниками. С ними изголодавшиеся невольники связывали надежды на более густой суп и хотя бы один выходной. Но энкаведешники не были бы советскими карателями, оправдайся эти ожидания даже на йоту. Всё было как всегда...

Демонической силой, которая приводила в движение всеокрушающий гулаговский молох, являлся Великий Страх. Страх перед голодной смертью, невиданно лютыми холодами, общими работами, бесконечными этапами, карцером, ругательный кличкой «фашист». Ничто, однако, не шло в сравнение с карающей десницей лагерного «опера». Донос ему чаще всего означал возвращение в 37-й год – расстрел или бесследное исчезновение в дебрях таёжных лагерей. Тот, кто сам испытал болезненное напряжение всех своих нервов, этот «комплекс утки», настигаемой охотником, знает, что значит постоянно жить под занесённым над тобой топором. Тайнственный «опер» по начальственным кабинетам лагеря не ходил и вершил свои дела в отдельной комнате или здании с зарешёченными окнами и двойной мощной дверью. В его главные задачи входило упреждать «антисоветскую деятельность», выявлять и обезвреживать «врагов народа», затаившихся среди «немецкого контингента», пресекать в зародыше «контрреволюционный саботаж» и ликвидировать лиц, «уклоняющихся» от труда. Все эти «элементы» надо было «вскрыть», добиться от них «признания» вины,

предать их суду «тройки» или военного трибунала, а затем огласить в стройотрядах («трудбатальонах») жестокие приговоры. Такова была технология нагнетания Великого Страх, который держал в полном повиновении законопослушных немцев.

Эти фактически неограниченные полномочия творить суд и расправу давались «органам» упомянутым сов. секретным Постановлением Государственного Комитета Обороны от 10 января 1942 г. «О порядке использования немцев-переселенцев призывного возраста от 17 до 50 лет», подписанным И. Сталиным.

Положения данного акта были распространены последующими сов. секретными Постановлениями ГКО на всех немцев, мобилизованных в «рабочие колонны», включая женщин.

«Опер» был один на весь лагерь, но всемогущ как Бог Саваоф. Даже вольнонаёмные служители обходили его стороной. Как от паука, расходились от него во все стороны нити, каждая из которых приносила информацию: кто, где, когда, что сказал или не сказал? Жертвы запутывались в них, как в настоящей паутине, и из них не образно, а натурально цедили кровь, заводя уголовные дела.

Главной целью служителя щита и меча было создание сети осведомителей или, по-лагерному, «стукачей». Он следовал известному паучьему принципу: чем чаще сеть, тем больше и стабильней улов. Но неверно было бы думать, что наши немцы сами торопились служить «пауку». Хотя такие тоже были. Чаще всего их к этому принуждали – хитростью, угрозами, шантажом. Коммунистам давили на партийную совесть. Шкурникам обещали тёплые местечки в лагерной службе.

Вот что рассказал в этой связи упомянутый Яков Менгель:

– Однажды – это было холодным летом 1942 года – стояли мы после работы перед воротами 15-го стройотряда, ожидая, когда подтянутся остальные: иначе, чем в полном составе, в лагерь бригады не запускали. Ждать надоело смертельно – каждому есть, отдохнуть хочется. Все, естественно, возмущались и теми, кого дожидаться пришлось, и лагерными порядками. Кто-то в сердцах сказал: «Скоро ли в конце концов нас впустят?» На это я ответил: «Придёт и наше время», не вкладывая в эту фразу никакого двойного смысла. Но мои слова услышал конвоир и, как положено, доложил оперуполномоченному. Тот вызвал меня этой же ночью, усадил напротив, начал «беседовать». Я ему объяснил, что ничего особенного в виду не имел, хотя теперь понимаю: истолковать мои слова можно по-разному. Я оказался в полной зависимости от этого человека с нашивкой меча и щита на рукаве. От того, какой стороной он повер-

нёт сказанную фразу, зависела моя судьба, а может быть и жизнь. Сжавшись в комок, я ждал своей участи. И когда он долго, старательно, с ледком в глазах и голосе начал объяснять, какой политический вред способны принести мои слова Советскому государству, как во враждебных целях ими могут воспользоваться «определённые элементы» в лагере, и что, прежде чем говорить, надо думать, я интуитивно почувствовал: отпустит! Так оно и получилось. Отпустил! Как пуля выскочил я от «опера», мысленно благодарил его – он спас меня от неминуемой смерти! Даже Бога помянул добрым словом за помощь.

Но через несколько дней «опер» вызвал меня снова. Теперь его свинцовые глаза смотрели поверх искусственной улыбки. Он говорил со мной, 18-летним, как с равным и давно знакомым собеседником. Хотел он как будто бы немногого: узнать, не говорил ли ещё кто-нибудь двусмысленные слова. «Этому человеку, – сказал он, – тоже надо помочь.» Своим тоном он подкупал, хотелось верить в его искренность и доброту. Но сработала устойчивая мальчишеская привычка – не фискалить, своих не выдавать. «Нет, – ответил я, – больше таких слов не слышал.»

До истинной сути этого разговора я дошёл чуть позже, когда через неделю меня опять позвали в кабинет и «опер» начал настаивать, что я не только слышал подобные слова, но и знаю, кто в бригаде «ждёт поражения Красной Армии и прихода фашистов». Назначил время следующего визита – через неделю. В третий, четвёртый, пятый раз он ставил вопрос ребром: или я скажу, кто агитирует против Советской власти и Красной Армии, или сам сяду за свою «болтовню». «Срок – одна неделя. Придёшь сам!» – сказал он, как отрезал.

Тут было над чем подумать. Мягкотелый, впечатлительный, добрый по натуре, как обо мне говорили, я мог сдаться, не выстоять против его нажима, но именно в силу этих качеств мне невозможно было причинить кому-нибудь зло. Не мог я ценой чужой жизни выкупить свою! Не мог! После недели переживаний, когда опять настал назначенный срок, я пришёл к оперу и сказал со слезами в голосе:

– Сделать это не могу, потому что никто о поражении Красной Армии ничего не говорил.

– А что говорили? – тут же спросил он, чтобы сбить меня с панталыку.

– Ничего такого не говорили, не буду же я выдумывать...

– Ну ладно, иди!

Прошли неделя, месяц, год. Больше он меня не вызывал. Пронесло! Но своей цели «опер» всё же достиг: я замолчал надолго, не только на годы «трудармии»...

Говоря о деятельности лагерных оперуполномоченных, хотелось бы привести ещё одно свидетельство, подтверждающее, что те без дела в тылу не отсиживались и даром свой хлеб не ели. Они работали. Главным образом ночью. Их «продукцией» были выявленные «враги народа». Чем больше «врагов», – тем лучше работа.

Российские немцы в этом смысле представляли собой особо благодатный материал. Их и прежде, а тем более в 1942 г. можно было превентивно обвинить в симпатиях к фашистам и желании, чтобы «они дошли до Урала». Однако, в духе излюбленной тяги советских «органов» к имитации правопорядка, требовались «фактики». Ну хотя бы одна «бумажка»! Будет донос – за жертвой дело не станет.

Вернера Штирца пытался завербовать в осведомители «опер» 7-го стройотряда Бакалстроя. Действовал безо всяких церемоний, грубо, напролом:

– Приходи каждый вторник после отбоя. И чтобы материал был! – приказывал он, стуча кулаком по столу. – Понятно?

– Понятно. Можно идти?

– Иди!

Узник уходил, а навстречу ему уже пробирался в темноте коридора другой.

«Что же делать?» – думал Вернер. Решил посоветоваться со своим дальним родственником Артуром Пассом, ушлым мужиком, успевшим пристроиться к лагерной кухне.

– Что, попался в лапы волку и не знаешь, как выбраться? – спросил тот и посоветовал исправно приходить к оперу, докладывать, что пока сведений нет, но они вот-вот будут. – И так поступай каждый вторник, пока ему не надоест. Он сам отстанет от тебя.

– Так я и сделал. Спас меня тогда Артур от неизбежных напастей. Спасибо ему! – сказал в заключение Вернер.

А вот о чём поведал Иван Шиц, колхозник из села Люксембург в Киргизии. Осенью 1943 года его вместе с пятьюстами других бывших фронтовиков-немцев привезли из Магнитогорска, где они служили в стройбате, в Челябинск. Говорили: на фронт едем, а заперли в лагеря Бакалстроя, отдали во власть НКВД.

Что это означает на деле, они увидели уже в лагере 5-го стройотряда, а по-настоящему – в каменном карьере, где истощённые до полусмерти «доходяги» пытались кувалдами разбивать огромные

камни. Возмущённые бессовестным обманом и уготованной им участью Жанов Вальжанов недавние фронтовики отказались работать и потребовали отправки в армию, на передовую. Тогда их бригаду растасовали по разным лагпунктам огромной стройки. Ивана направили в штрафной 13-й стройотряд, который располагался в Верхнем Уфалее. Там он попал прямо в руки оперуполномоченного НКВД. Как обвиняемый, которого, подобно другим бывшим фронтовикам, во что бы то ни стало надо было «посадить».

— Что сделал? Что натворил? Признавайся! Будет лучше, если сам всё расскажешь!

Эти вопросы то вежливо, то грубо, то тихо, то переходя на крик, почти 3 месяца подряд задавали ему в КПЗ. Но не станет же он наговаривать на себя! В чём ему признаваться? Что не верблюд, что ли? Но как это доказать, если для «опера» ты всё одно сродни верблуду?

— Хоть скажите, в чём признаваться-то! — отвечал он следователям.

— Мы хотим, чтобы ты доказал, что действительно являешься честным советским человеком, и всё выложил сам, — требовали от него.

Срок содержания под стражей подходил к концу, а в протоколах допросов по-прежнему не было ничего, кроме пустопорожних диалогов. На допросах кричали, угрожали наганом, довели Ивана до белого каления. Пытались бить, но в ответ он замахнулся табуретом и рванул за лежавшим на столе револьвером. Его скрутили, посадили в одиночку, а потом отправили в Златоуст, в режимную тюрьму, где узников одиночек доводили до сумасшествия мёртвой тишиной — пол в коридорах был устлан кошмами, чтобы не слышать даже шагов надзирателей.

Здесь на Ивана завели уже настоящее, реальное дело. Ему вменялось в вину «покушение на жизнь работников следствия с попыткой применения огнестрельного оружия». И безо всякого суда вручили вскоре бумажку: приговором военного трибунала осуждён на 10 лет лишения свободы.

Наказание отбывал в Ивдельлаге, рубил лес по соседству с «трудмобилизованными» немцами. Особой разницы между их жизнью и своей не обнаружил, хотя считался теперь преступником, а они — нет. Но в смысле питания заключённые жили лучше. В этом Иван убедился на собственном опыте.

— Так за что же вас всё-таки арестовали тогда? — спросил я у него в конце разговора.

— Да ни за что! Бригадиром был, кому-то место моё понравилось, вот и «настучали» оперу. Тогда всё просто делалось, — ответил он и продолжил свою мысль. — Хорошо, что трибунал судил! Если бы «тройка» — расстрел обеспечен. А так отсидел 5 лет и одновременно с «трудармейцами» вышел из лагеря. Выжил, как видишь. А в 13-м стройотряде запросто концы бы отдал. Хуже, чем «трудмобилизованных» немцев, никого не кормили. Точно говорю!

Снятых с фронта красноармейцев и командиров было на Бакалстрое несколько тысяч, рассказывает Александр Кесслер. После расформирования «немецких» стройбатов фронтовиками заполнили поредевшие ряды «трудармейцев». На вахте у лагерных ворот они проходили унижительную процедуру «посвящения» в «трудмобилизованные». Дежурные вахтёры самочинно лишали их званий и орденов, которые фронтовики заслужили в тяжёлых сражениях первых месяцев войны.

Особенно свирепствовал командир взвода ВОХР Шевченко. Он злобно срывал знаки отличия, ордена и медали, срезал петлицы и нарукавные нашивки, «с мясом» выдирал пуговицы из пинелей и мундиров. Не нюхавшие пороха энкаведешники творили это злодейство с садистским рвением, будто расправлялись с лично захваченными в плен фашистскими извергами.

Полковнику Николаю Александровичу Дипольту, фронтовому командиру полка, прибывшему в 7-й стройотряд, Шевченко «великодушно» позволил самому избавиться от командирских регалий, а после этого лично отконвоировал его к ответственному дежурному по отряду. Не удалось устранить только следы от красной звёздочки на полковничьей папаше. Ни один немец не должен был переступить границу лагерной «зоны» даже со следами армейских знаков отличия.

В 7-м стройотряде «содержался» и полковник Александр Кондратович Леонгард, бывший начальник Саратовского военного училища, также снятый с фронта.

Согласно лагерным правилам, все вновь прибывшие начинали с общих работ и голодухи, и только со временем часть из них была выдвинута на второстепенные руководящие должности в строительных организациях Челябинметаллургстроя.

Для надёжности «оперативно-чекистского обслуживания» бывших фронтовиков разбрасывали по разным стройотрядам и брали под индивидуальное наблюдение «стукачей».

Следует подчеркнуть, что именно благодаря «разоблачительной»

активности своих оперработников НКВД удавалось поддерживать в московских верхах нужную Сталину версию, будто российские немцы — это скопище вредителей, шпионов и диверсантов, и тем самым не только «доказывать» правильность принятого решения о выселении их в Сибирь и Казахстан, но и оправдывать изоляцию всей деятельной части немецкого населения в особых лагерях ГУЛАГа. Этот миф, позволивший отсиживаться и кормиться в безопасном тылу десяткам тысяч энкаведешников, был выгоден НКВД снизу доверху, на всех ступенях его иерархической лестницы.

Любопытный документ на этот счёт сохранился в Челябинском областном архиве. Приведу его полностью.

Секретно экз. № 7
2 июля 1942 г. Только лично

Начальнику управления Бакалстроа НКВД

г. Бакал, Челябинск. обл.

В связи с поступающими за последнее время материалами о плохом снабжении продуктами питания оперативного состава оперчекистских отделов, учитывая специфичность их работы и загрузку, начальникам Управления лагерей УИТЛик и СИТК НКВД/УНКВД надлежит взять под особый контроль снабжение работников оперчекистских отделов. Необходимо улучшить их питание за счёт продуктов подсобных хозяйств, прикрепить их к бюро заказов и улучшить питание через столовые и буфеты.

Начальник ГУЛАГа НКВД СССР
Старший майор госбезопасности
Наседкин

Несмотря на ясность этого документа, его смысл будет неполным, если не привести параллельно распоряжение, вышедшее из-под пера Комаровского и адресованное его заместителю по лагерям.

Секретно
П.П. Честных

В изоляторе дают 300 гр. хлеба и суп-вода (так в тексте — Г.В.). Люди слабеют до такой степени, что не поддаются нормальному ведению допросов. Следует пересмотреть и установить норму питания очень жёсткую, но всё же не влекущую болезненного ослабления.

Прошу это сделать теперь же.

15.V.1942 г.
А. Комаровский

На первый взгляд сдаётся, будто в этих документах просматриваются признаки гуманизма. В самом деле: оперработникам, загруженным сверх меры специфической «работой» по поставке «вредителей» и «саботажников», не хватало пайка, который они получали по особым литерным карточкам. Естественно, им хотелось большего. По-своему нуждались и подследственные в камерах предварительного заключения. Они настолько ослабли, что не реагировали даже на пытки следователей НКВД, но им нельзя было дать умереть до окончания допросов и предания «суду».

Правда, «человеколюбие», проявленное высокопоставленными начальниками, оказалось далеко не равнозначным. Опер-чекистам было велено улучшить питание не только через столовые и буфеты, но ещё и путём прикрепления к бюро заказов. А жертвам подобных тружеников Комаровский попросил установить «очень жёсткую» норму питания, позволяющую, однако, подвергать их допросам.

Не будем приписывать этим обер-палачам таких качеств, которыми они вряд ли когда-нибудь обладали. Ибо ясно, как день, что единственной целью, побудившей их проявить «заботу» о мучителях или их жертвах, было дальнейшее усиление репрессий по отношению к «трудмобилизованным» немцам Бакалстроа НКВД.

Понятие «гуманизм» может быть приложено к Комаровскому и иже с ним разве что с добавлением эпитетов «пролетарский» или «революционный». Ведь согласно «классовому» подходу марксизма-ленинизма, нравственным является лишь то, что служит скорейшей победе социализма и коммунизма. С позиций такого «гуманизма» массовое уничтожение «социально опасного немецкого контингента» безусловно было морально оправданным.

В тот же день, которым датирована приведённая записка, Комаровский «с чистой совестью» подписал по меньшей мере 3 приказа об осуждении «трудмобилизованных» за «саботаж на производстве».

Мне неизвестно, сколько всего карательных приказов было издано по Бакалстрою в наиболее свирепые 1942 и 1943 годы. Некоторое представление об этом можно получить по данным, которые удалось найти в Челябинском облархиве бывшему «трудмобилизованному» БМК, журналисту, моему соратнику по национальному движению российских немцев Ричарду Блянку. Привожу эти сведения с его любезного согласия.

Приказы по Бакалстрою НКВД СССР об арестах и приговорах (конец 1942 г.)

№ 650	от	30.09.42	расстрел	14,	тюрьма	43
№ 792	«	11.11.42	«	25,	«	—
№ 793	«	12.11.42	«	25,	«	16
№ 825	«	16.11.42	«	25,	«	—
№ 826	«	20.11.42	«	25,	«	—
№ 848	«	28.11.42	«	18,	«	17
№ 855	«	01.12.42	«	20,	«	—
№ 878	«	06.12.42	«	25,	«	—
№ 905	«	16.12.42	«	9,	«	33

Содержанием этих приказов было предание суду «трудмобилизованных» за «проявление саботажа путём уклонения от выполнения работ», «невыходы под разными предлогами на производство» и т.п. За этими обвинениями стояла полная физическая неспособность людей к труду: последняя стадия дистрофии, изъеденные трофическими язвами ноги, авитаминозный понос. Поражённые голодными болезнями не только не могли трудиться, но и, как правило, не были в состоянии дойти до места работы. Многие из этих «отказников» не доживали до вечера, а некоторые, всё-таки отправившись в путь из страха быть обвинёнными в «саботаже», умирали прямо на работе или по дороге.

Где это видано, чтобы немец увиливал от работы, был лентяем и саботажником, как объявляли по вечерам на переключках?! А конвоиры или вольнонаёмные начальники оскорбляли людей:

— У, немчура проклятая! Не хотите работать на победу? Фашистов ждёте? Не дождётесь! Давайте вкалывайте, пока не сдохнете!..

До слёз обидно было слышать такие слова! Разве немецкие колхозы и дома в немецких поселениях не были лучшими во всей округе? И не немцы ли собирали самые высокие урожаи? А тут — «саботажники»!

По свидетельству Якова Коха, в тех стройотрядах Бакалстроля, где ему пришлось побывать за первые два года «трудармии», приказы Комаровского регулярно зачитывались на вечерней поверке. Чаще всего они носили карательный характер. В числе осуждённых по 58-й статье оказались и его земляки Яков Гергерт и Яков Беннер, а также двоюродный брат Александр Кох. Они получили соответственно 10 лет, расстрел и 8 лет. Такой была наша жизнь в лагерях для «трудмобилизованных» — каждый день кого-нибудь забирали или убивали...

Вот как сложилась, к примеру, судьба Александра Бамбергера, одного из родственников упомянутого Ричарда Блянка. В ответ на запрос последнего прокуратура Челябинской области сообщила в 1992 г.:

«Бамбергер Александр Андреевич, 1913 г.р., уроженец г. Сталинграда, по профессии лётчик, работавший по трудмобилизации на Челябинском металлургском НКВД СССР, по постановлению Особого Совещания НКВД СССР от 30 декабря 1942 г. за контрреволюционную деятельность по ст.ст. 58-2, 58-10 ч. 2, 58-11 УК РСФСР (подготовка вооружённого восстания, антисоветская агитация) заключён в ИТЛ сроком на 10 лет.

Освобождён Бамбергер А.А. из Песчаного карьера Карагандинской области 11.06.1952 г. Сведений о его дальнейшей судьбе не имеется.

Уголовное дело в отношении Бамбергера А.А. пересмотрено, и он реабилитирован в 1955 году».

О «разоблачительной» деятельности ночных стражей ГУЛАГовской системы рассказал в газете «Нойес Лебен» в 1989 г. сам Ричард Блянк.

Имя полковника Курпаса, который был на Бакалстрое начальником оперативно-чекистского отдела, произносилось шёпотом, с оглядкой и страхом, сообщил он. Доносительство было здесь отлажено до совершенства, выдаваемые за «врагов народа» немцы обрекались на истребление. Чтобы придать этим акциям видимость законности, в ходе следствия применялись пытки, которые обеспечивали «признание» даже в том, чего никогда не было и быть не могло, окончательно лишая арестованных физических и моральных сил. Полковник Курпас и его подручные исправно поставляли «врагов», используя любые средства — от спекуляции на высоких чувствах до подкупа и запугивания. Так, майор Зырянов лихо орудовал садистским «козырем»: «Пойдёшь на удобрение почвы!» И на вечерних поверках то и дело оглашались приказы о массовых арестах и расстрелах, подписанные всё тем же Комаровским.

Кто знает, на какой цифре остановился счёт в этих смертных приказах? Известно, однако, что палаческую службу Комаровского по достоинству оценили в Москве. После Челябинского металлургического он стал в 1944 г. зам. начальника Главного управления оборонного строительства. Чуть позже возглавил Главпромстрой НКВД, которым руководил почти 20 лет. В конце 60-х годов был зам. министра обороны СССР. Удостоен наград и званий: Героя Социалистического Труда, доктора технических наук, лауреата Ленинской и Государственной премий. Таковы заслуги этого человека перед Системой. Чего

стоят на этом фоне какие-то обвинения в бесчеловечности?

Написал я эти слова и подумал: великое изобретение – теория «меньшего зла»! С её помощью поддаются «оправданию» любые злодеяния. Что такое несколько десятков тысяч человек, лёгших костью в фундаменты металлургического комбината, построенного в рекордный срок? Сушная мелочь по сравнению с броневой сталью для танков, самоходок, пушек и другого оружия, которое помогло Красной Армии переломить ход войны. «Лес рубят – щепки летят!»

И потом: кто они были, эти 40 тысяч погибших?.. То-то и оно! Спасибо надо сказать руководству Бакалстроа и НКВД – ведь их заботами в Челябинске уцелело целых 60 тысяч. В других лагерях порой выживала треть, а то и меньше...

Конечно, с таким откровенным цинизмом о тех страшных событиях никто из официальных лиц публично не высказывается. Но не о подобном ли отношении свидетельствует тот факт, что в Металлургическом районе Челябинска, где работали и гибли от голода и расстрелов 100 тысяч «трудмобилизованных», имеется улица, названная в честь Комаровского? И при этом на территории района нет ни единого мемориального знака, который бы увековечил «трудоармейский» подвиг российских немцев.

Будто в издёвку (над кем?) именем Комаровского названа улица, на которой размещалось сразу три смертных лагеря НКВД. Именем бригаженера, который отправлял людей на тот свет, в тюрьмы и лагеря «согласно данным опер-чекистского отдела». Того самого генерал-майора, под началом которого от голода и непосильного труда погибли десятки тысяч «трудмобилизованных» немцев и не меньше стали полуинвалидами.

Есть на Челябинском металлургическом заводе небольшой музей. В нём на многочисленных фотографиях запечатлена парадная сторона рождения гигантского предприятия. Однако тщетно было бы искать там немецкие фамилии его создателей. Вся история форсированного строительства преподносится как результат умелого руководства, смелости инженерной мысли и правильного «политического воспитания» трудового коллектива.

Имеется в музее и книжонка под названием «Записки строителя». Её автор – сам А. Комаровский. О подлинных строителях и их реальной жизни в ней рассказывается только самыми общими словами. О том, какой «контингент» возводил завод, – вообще ничего. Всё обезличено и по-энкаведешному закамуфлировано. Будто предприятие возникло из миража.

Воистину достоверные и высокоучёные «Записки» доктора наук...

Нужна ли Челябинску улица Комаровского? Можно ли воздавать почести человеку, организаторский талант которого зиждился на свирепом геноциде, безжалостном унижении, горе и гибели людей? Не оскорбляет ли это название память о десятках тысяч загубленных жизней?

Неординарную мысль по этому поводу (как и по некоторым другим вопросам) высказал в 1992 г. Генрих Лютц, проживающий в Ялте. Он считает, что название улицы можно было бы сохранить как память об убийце и злодее. Ведь есть же, пишет он, в парижском метро станция Суркуфф, названная в честь знаменитого разбойника. Правда, Г. Лютц советует установить в начале улицы Комаровского щит с соответствующей надписью для непосвящённых. На мой взгляд, эта идея небезынтересна. Однако не будем забывать, что Челябинск – не Париж, а Россия – не Франция, и улицы здесь называют, исходя из весьма разных принципов...

Деятельность вездесущего опер-чекистского отдела Бакалстроа не была исключением. Напротив, она являлась правилом для всей системы ГУЛАГа, в частности для «немецких» спецлагерей. По свидетельствам «трудмобилизованных», приказы о массовых расстрелах и тюремном заключении немцев зачитывались в 1942–43 гг. повсюду, где им пришлось тогда находиться. Поэтому имеются все основания утверждать, что эти акции были составной частью всеобъемлющей системы запрограммированных мер по физическому уничтожению «социально опасного» немецкого «контингента». Лагерный террор осуществлялся в рамках глобального анти-немецкого геноцида.

В подтверждение сказанного приведу выдержки из документа, который переносит нас в «трудоармейские» лагеря далёкой Сибири. В ответ на запрос Вильгельма Либерта, моего коллеги по штатной работе в Межгосударственном Совете российских немцев, жителя Мариуполя Донецкой области, Красноярское краевое Управление КГБ сообщило:

«Ваш отец – Либерт Фридрих Давыдович, 1906 года рождения, уроженец г. Маркштадта немцев Поволжья АССР, немец, беспартийный, образование 3 класса начальной школы, трудармеец Иланского ОЛП Краслага НКВД, проживал – трудколonna В. Тугуша Иланского ОЛП Краслага НКВД.

Арестован оперативно-чекистским отделом Краслага НКВД 11 февраля 1943 года по необоснованному обвинению в том, что «яв-

лялся участником контрреволюционной повстанческой организации, готовился принимать участие в подготовке вооружённого восстания против Советской власти, среди трудармейцев проводил пораженческую агитацию».

Постановлением Особого Совещания при НКВД СССР от 30 октября 1943 года Либерту Ф.Д. назначена мера наказания в виде 10 лет лишения свободы. К сожалению, к моменту вынесения данного постановления Ваш отец, находясь на излечении, умер 1 июня 1943 года в больнице Канской тюрьмы № 2 от туберкулёза лёгких.

... Либерт Ф.Д. реабилитирован постановлением Президиума Красноярского краевого суда от 12 октября 1957 года.

... Примите наше искреннее сочувствие по поводу трагической судьбы Вашего отца.»

Редакцию и топорно-ханжеский тон письма оставим на совести подписавшего его зам. начальника краевого Управления КГБ Н.М. Новосёлова. Однако невозможно пройти мимо изложенных в письме фактов, которые иначе как бредовыми не назовёшь. Человеку с трёхклассным образованием инкриминируется, что он готовился(!) принять участие в подготовке(!) вооружённого восстания(!) против Советской власти (и это в лагере НКВД, под боком у «опера»?!). Чтобы сочинять подобные пассажи, следователь должен был воистину обладать интеллектом не выше пещерного. Но ещё дальше пошло Особое Совещание НКВД. Оно «назначило меру наказания» подсудимому, который ... умер за 5 месяцев до вынесения приговора!

Вот так повсеместно – от Краслага на востоке до Вятлага на западе – стряпались схожие «дела» по «немецкому» шпионажу и контрреволюционной деятельности.

Вспоминает неоднократно цитировавшийся нами Александр Мунтаниол:

«Морально мы были настолько подавлены, что не хотелось ничего слышать и говорить. Боялись друг с другом общаться, т.к. люди стали пропадать. Их 'переселяли' в соседний лагерь, к зекам, и даже на тот свет за любое неосторожное слово. Как, например, одного моего знакомого, который сказал: 'Сталин – гений, хотя и не имеет высшего образования'. Эта неуместная мысль обошлась ему в 10 лет заключения. Конечно, он восхитился вождём, но при этом за чем-то упрекнул его в недостатке образования!

Чего греха таить, среди наших немцев было немало сексотов. Некоторые получали в награду более тёплые местечки, т.е. превращались в 'лагерных придурков', как говорили у нас.

Моральный пресс лагерного режима и чекистского террора был настолько тяжёлым, что люди окончательно пали духом. Вдобавок политруки проводили с нами регулярные 'беседы'. В их речах звучало, что мы отсиживаемся в тылу, что над нашими головами не свистят пули, не рвутся бомбы. Тяжело было выслушивать эти незаслуженные попреки. Мы были молоды, и каждый из нас охотно променял бы лагерное заточение на штрафной армейский батальон.»

О многочисленных фактах лагерного террора рассказывают люди, сумевшие вырваться из душных «объятий» оперуполномоченных НКВД или же их не коснувшиеся. Откровений тех, кто, в силу слабости душевной или физической, поддавшись давлению, обещаниям спасти от голодной смерти, пристроить на «блатную» работу или по другим причинам, всё-таки ходил в «стукачах», «закладывал» невинных, разумеется, не услышишь. Но такие факты, к сожалению, были.



Рейнгольд Дайнес

Об опасных неожиданностях, которые подстерегали честных и доверчивых людей в тех условиях, говорится в воспоминаниях Рейнгольда Дайнеса, которого мы тоже уже цитировали.

Бригада, где он трудился, была занята на погрузке и транспортировке металлоконструкций для строящегося Богословского алюминиевого завода (Базстрой). Благодаря умелому бригадиру люди получали «третий котёл» и справлялись с работой.

В июне 1942 г., вспоминает Р. Дайнес, бригадир как-то сказал во время перекура: «Дорогие мои друзья! Наше положение, видимо, ещё более ухудшится. Немецкие фашисты вышли к Волге, бои идут уже в Сталинграде. Нам это не сулит ничего хорошего.» Наступила мёртвая тишина, ведь их лагерь и без того был далеко не курортом.

Через два дня бригадир исчез, больше его никто не видел. Он был арестован и объявлен «врагом народа». О том, кто его выдал, Рейнгольд узнал позднее. Этот совсем ещё молодой человек доносил и на него. Как ему удалось избежать беды, Рейнгольд не знает до сих пор. Имени «стукача» он называть не хочет...

О коварстве лагерных доносчиков рассказывает в своей манере и Иоганн Эйснер, который, как уже отмечалось, отбывал «трудармию» в лагерях Вятлага. Вот его слегка отредактированное повествование.

«Не помню, где мы брали местную газету, но читать её обычно просили меня. Иногда я из баловства, безо всякого умысла картавил при чтении, как Ленин в довоенных фильмах или как это бывает у евреев. Однажды Володя Брем и Карл Лоос говорят мне:

– Больше так газету не читай! Понял?

– Почему?

– Если не хочешь отправиться вслед за Конради, то лучше остерегись!

Я их понял. Догадался.

Был в нашей бригаде немец из ‘горячих’ – Иосиф Конради. Вечерами после работы мы вспоминали о нашей родине на Волге. Конради доказывал, что и там было много неправды: надоев одних доярок приписывали другим, чтобы те попали на Сельхозвыставку в Москву, во время уборки давали неправильные сводки, стремясь выйти в передовики, и т.д.

Через некоторое время пришёл в барак военный и спрашивает:

– Кто Конради? Собирайся с вещами!

– А что случилось?

– Потом узнаешь. Собирайся!

Больше мы Иосифа не видели. Потом из приказа узнали, что он получил 10 лет лагерей за ‘клевету на советский строй’.

Это был мой первый случай спасения от тюрьмы по политическому обвинению. Но последовал и второй.

Мне сообщили, что в 4-м лагпункте, куда собирали больных и ‘доходяг’, умер мой отец. Начальник лагеря дал мне письменное разрешение на посещение могилы и получение оставшихся от отца личных вещей. С тем я и добрался до места. Начальник 4-го лагпункта распорядился выдать вещи, но ходить на могилу запретил. Со склада мне вынесли отцовские кальсоны и немецкий двухсторонний бушлат. Увидев разрезанные штанины, я понял, что отца похоронили голым. Даже кальсонов он у Советской власти не заработал!

У проходной лагеря я спросил дежурного вахтёра, как попасть на кладбище. Он послал меня матюком: ‘Уматывай отсюда на ... , а то и тебе будет кладбище!’ Потом-то я узнал, что никаких могил при наших лагпунктах не было, всех немцев зарывали в большие общие ямы и обязательно голыми.

Зимой я носил тот бушлат с капюшоном. Он был лёгким, тёп-

лым и удобным при работе. Но говорили, что в нём я похож на фашиста, и однажды Володя Брем сказал мне по секрету, что из-за бушлата у меня могут быть неприятности. Той же ночью я скрутил его и всунул между брёвен в гружёный вагон с лесом. Стало быть, ‘стукач’ ещё находился в бригаде. Спустя некоторое время из Управления дороги поступил вызов на Отта Андрея для работы водителем железнодорожной дрезины. После его отъезда Карл Лоос сказал, что он-то и был ‘стукачом’, который посадил Конради на 10 лет, а мне дважды пытался ‘пришить политику’.

Чтобы завершить тему об опер-чекистских организаторах лагерного террора, воспользуемся ещё свидетельствами «трудмобилизованного» Иоганна Лисселя. С его помощью мы заглянем в застенки Тавдинской следственной тюрьмы, куда он попал в июле 1943 г. за «саботаж и диверсионно-вредительскую деятельность».

«Трудбатальон», в котором он состоял, находился неподалёку от селения Зыково, на востоке Свердловской области. Там, в таёжной глубинке, по берегам реки Тавда «мобилизованные» немцы занимались заготовкой лыжного кряжа и оружейной болванки.

Вначале Иоганн был поваром. Дело нехитрое: дневной рацион «трудмобилизованных» состоял из хлеба – 800, 600 или 400 граммов в зависимости от выполнения нормы – и мутной водички, именуемой супом. Готовился он из неочищенного картофеля, мучной болтушки и трески. Один раз в три месяца в суп попадало по 10 граммов жира на человека.

К концу 1942 года, вспоминает Иоганн, нормы питания резко уменьшились. И в это же время с ним случилось несчастье: он уронил в котёл керосиновую лампу. Такой случай не мог пройти незамеченным. Утренний развод был сорван, и Иоганна бросили на общие работы. На лесоповале его научили валить мёрзлую берёзу узкой лучковой пилой, предназначенной для разделки крупных сучьев. Этот способ позволял выполнять ежедневно по полторы нормы и получать особый хлебный паёк – полтора килограмма. Но и он без соответствующего приварка не мог обеспечить нормальную жизнедеятельность организма при тяжёлой физической работе. Вскоре Иоганн скатился на 800 граммов хлеба, и норма в 3,5 кубометра стала ему не под силу. А 600 граммов – это губительный паёк, неизбежно сводящий человека до положения «доходяги». Работать он больше не мог, и его обвинили в «контрреволюционном саботаже». Как же: недавно выдавал по полторы нормы, а теперь топор ленится поднять! Иоганна арестовали, поместили в следственную

тюрьму и завели на него «саботажное дело». Припомнили и случай с керосиновой лампой, обвинив в диверсии, нацеленной на срыв поставок спецдеса для оборонной промышленности. Допрашивали с пристрастием, любыми способами пытались заставить его подписать сфабрикованные протоколы допросов. Иоганн категорически отказывался. Его начали избивать. Он упорствовал. А когда ему перебили ключицу, не выдержал и запустил в следователя табуретом. На него надели наручники и бросили в карцер, где было по колено ледяной воды. Часа через два или три его выволокли оттуда и отправили в голодную одиночку. Но и после этих пыток он отказался признавать ложные обвинения, ибо знал, что тем самым подпишет себе смертный приговор. Тогда его поместили в штрафную камеру к уголовникам, рассчитывая, что они расправятся с «фашистом». Но когда перед ними предстал искалеченный Иоганн, превращённый в чуть живой скелет, то даже у видавших виды преступников вырвались крики возмущения. «Фраер, иди сюда!» – позвал его вор в законе Виктор Калинин. И вместо положенного новичку места у параша уложил рядом с собой.

Сокамерникам понравилась упрямая настойчивость молодого немца. Они стали учить Иоганнеса премудростям поведения на допросах и помогли выбраться из паутины, которой обволокли его следователи. В итоге, по постановлению ОСО, Лиссель получил «всего» 5 лет лишения свободы. Но разве эта несвобода, спрашивал он сам себя, так уж отличалась от прежней?

Тщательно подобранные, преданные режиму энкаведешники каждодневно, месяцы и годы подряд фанатично выполняли указания сверху. Их не обременяли муки совести, когда они тысячами «перекачивали» затворников из лагерей для «трудмобилизованных» в ИТЛ для уголовников. По имеющимся данным, в 1948 г. немцы насчитывали в Воркутлаге 6557 человек или 83% общего числа заключённых, в Печорлаге – 56%, в Норильсклаге – 55%. Так что sacramентальный вопрос Иоганна Лисселя возник не на пустом месте.

Подобные вопросы тысячи раз задавали себе «трудмобилизованные» немцы, пытались разобраться в сути своего двуликого заповоленного существования.

Ещё и теперь, полвека спустя, приходится изумляться изобретательности «мыслителей» от НКВД, которые нашли этот способ «содержания» российских немцев. С одной стороны, мы, как и заключённые «исправительно-трудовых» лагерей, были изолированы от общества и подчинены требованиям бесчеловечного сталинско-бе-

риевского режима. С другой – нас никто формально не привлекал к суду, не лишал того минимума прав и свобод, который был дарован гражданам Советского государства. И именovali нас не оскорбительной кличкой «заключённый», а – как мы уже отмечали – «товарищ трудмобилизованный». Стало быть, нашими «товарищами» могли считаться все мучители и палачи – от начальника лагеря до конвоира с собакой на поводке.

Не были мы и интернированными, за которых нас иногда пытаются выдать. Согласно нормам международного права, интернирование означает принудительное задержание одним государством граждан другого, воюющего с ним государства, либо нейтральным государством – военнoслужаших воюющих сторон. Собственные граждане интернированы быть не могут.

Мы нередко попадали в ситуации, вызывавшие не иначе, как смех сквозь слёзы. Помню, проходили в конце 1942 г. выборы в какой-то Совет. Поскольку мы числились «полноправными гражданами СССР, имеющими право избирать и быть избранными(!)», то оказалось, что нам предстоит «выполнить свой гражданский долг». Для этого лагерь подняли в 3 часа ночи, построили как обычно и под усиленным конвоем повели на ближайший избирательный участок. Нам надо было до начала голосования, тайком от местного населения отдать голоса за «кандидатов нерушимого блока коммунистов и беспартийных», о которых никто в лагере не имел понятия.

Как и следовало ожидать, голосование прошло без сучка и задоринки, немцы «единодушно одобрили политику родной Партии и Советского правительства». Голосовали побригадно. В зале стояла мёртвая тишина. В кабины никто не заходил: сзади напирали, то и дело раздавалось сдержанное «давай, давай!» Невдалеке от урны, под портретом Великого Вождя, вместо положенных юных пионеров расположилось начальство во главе с «опером».

На выходе бригаду «принял» конвой, и колонна направилась к знакомым лагерным воротам, за которыми, после поголовного пересчёта, «избирателей» ждали вожделенные пайки хлеба, баланда и развод на работу...

Наше двойственное положение, как правило, оборачивалось для нас своей наихудшей стороной. Судите сами.

Во-первых, заключённый оказывался в лагере, предварительно пройдя через серию процессуальных процедур: задержание, арест, дознание, следствие, суд. Его вину обосновывал прокурор. В судебном процессе участвовал адвокат. Подсудимому вменялось в вину

конкретное преступление. Обычно он полностью или частично признавал свою вину и раскаивался в содеянном, после чего направлялся в «исправительно-трудовой» лагерь НКВД.

Немцы же попадали в лагеря усиленного режима по фальшивой «мобилизации» и всё время мучились над безответным вопросом: «За что?»

Во-вторых, в отношении обычного заключённого формально сохранялись гарантии соблюдения законности. Его личные права и интересы, включая право на жизнь, находились под контролем прокуратуры, которая должна была осуществлять общий надзор за действиями тюремно-лагерной администрации. Смерть заключённого даже в годы войны считалась экстраординарным событием, требующим соответствующего оформления и обоснования.

Между тем я никогда не слышал, чтобы «трудмобилизованным» в любых разновидностях лагерей объявлялись их законные права и юридический статус. Режимные нормы лагерного «содержания» вводились для нас явочным порядком, чаще всего в сопровождении словесных оскорблений. Лагерная администрация не несла никакой ответственности за жизнь «трудмобилизованных». Следы от мест их захоронения тщательно уничтожались. Словом, они были поставлены вне закона.

В-третьих, заключённые, поступая в ИТЛ, получали вещевое и продуктовое довольствие, установленное для лагерей ГУЛАГа. Их лагерная одежда была тёмной, неряшливой, сразу же выдававшей зека, но тёплой, позволявшей работать в уральские и сибирские морозы.

В отличие от них, «трудмобилизованные» почти до конца 1942 года продолжали ходить и работать в износившейся домашней одежде, мало пригодной для холодов. Во многих лагерях отсутствовали бани и дезинфекционные камеры. Людей буквально заедали знаменитые лагерные клопы и вши.

Питание в большинстве «трудоармейских» лагерей выдавалось по общим гулаговским нормам. Однако здесь калорийные продукты (жиры, животные белки) обычно заменялись рыбой, мало съедобными овощными отходами и т.п. Отсюда единодушное мнение «трудмобилизованных», в т.ч. женщин, что заключённых кормили лучше, чем немцев. Объективным подтверждением тому является несравненно меньшее число голодных смертей у зеков. Этот факт засвидетельствовали и «счастливчики», которые по постановлению ОСО или Военного трибунала перекочевали из «трудоармейского» лагеря в ИТЛ для уголовников.

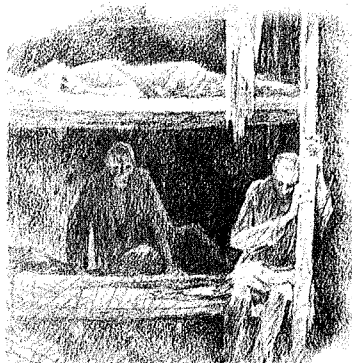
Наконец, в-четвёртых, «официальные» лагерные затворники в точности знали свой срок заключения и пребывали в уверенности, что настанет день и час, когда они выйдут на свободу и вернутся на родину, к своим семьям. К тому же при известной настойчивости уголовник мог добиться отправки на фронт, в штрафбат, где «или грудь в кустах, или голова в кустах» (правда, этой возможностью, насколько мне известно, воспользовались немногие).

Для «трудмобилизованного» немца всё это было твёрдо и бесповоротно заказано. Никто из нас не знал, что его ожидает завтра, не говоря уже о более отдалённом будущем. Каждый без конца терзался вопросом: долго ли ещё придётся пробыть взаперти, удастся ли вернуться в родные места – в Поволжье, на Украину, на Кавказ? Моральные муки, вызванные полной неизвестностью и угрозой голодной смерти, – вот главное, что отличало «трудмобилизованного» затворника от «законного» зека.

Нельзя, однако, не упомянуть ещё об одной детали, в которой, несмотря на её кажущуюся незначительность, была, как в фокусе, сконцентрирована умышленно-преступная несправедливость по отношению к «трудоармейцам».

Согласно действовавшим нормам, осуждённые по уголовным делам имели право получать продуктовые посылки. Для этого требовалось предъявить в почтовом отделении по месту отправки соответствующую справку из ИТЛ. Такой возможности были лишены «трудмобилизованные» немцы, финны, венгры и представители некоторых других национальностей. Они официально не числились заключёнными и по соображениям секретности, которой были окутаны «трудоармейские» лагеря, такую справку получить не могли. Продовольственная помощь помогла многим уголовникам выжить в условиях ГУЛАГа. А фактический запрет на получение продовольственных посылок «трудоармейцами» обернулся не чем иным, как дополнительным способом планового умерщвления российских немцев, практиковавшегося в 1942–43 гг.

Как видно из сказанного, положение немцев в «трудоармейских» лагерях было гораздо тяжелее, чем у заключённых, и в физическом, и особенно в моральном отношении. Нас не вешали, не травили в газовых камерах. Нас убивали мучительной голодной смертью. Посадистски медленно, изощрённо. Но прежде превратили в отверженных изгоев общества, в бесправных, поставленных вне закона, презренных париев.



4

МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И СМЕРТЬЮ

Если вы спросите, какой период в 5-летней эпопее узников «трудовых» лагерей ГУЛАГа был самым тяжким, то несомненно услышите: 1942-й и первая половина 1943-го. На эти бесконечно долгие полтора года выпало наибольшее число жертв, загубленных с помощью голода, лагерного террора и моральных мук. Так было не только в лагерях Бакалстроя, где легло костями более трети немецкого «контингента». Не менее трагичная участь постигла немецких каторжников и в других местах заповоленного содержания «трудмобилизованных». Из свидетельств «трудармейцев», находившихся в лагерях разного типа, вырисовывается поразительно сходная картина. Нет сомнения, что да-

леко не стихийный процесс умерщвления этих людей направлялся преступным тандемом – ЦК ВКП(б) и НКВД СССР. От них зависело, жить или не жить российским немцам в спецлагерях и местах сибирской и казахстанской ссылки.

Началось скитание по второму кругу Дантова ада. Самому изломанному и драматичному. В это нелегко поверить, но по воле «родной» партии и Советского правительства была отправлена в «рабочие колонны» и подвергнута репрессиям практически вся работоспособная часть целого народа – мужчины, женщины, подростки. Эта акция осуществлялась с дьявольской настойчивостью и железной методичностью.

В самом деле. 10 января 1942 г. Государственный Комитет Обороны издаёт знакомое читателю постановление, согласно которому были «мобилизованы» и переданы НКВД «для рационального использования» все депортированные немецкие мужчины призывного возраста, т.е. от 17 до 50 лет. Месяц спустя, 14 февраля 1942 г., издаётся новое сов. секретное Постановление ГКО № 1281 о «мобилизации» всех немецких мужчин призывного возраста, живших на территориях, откуда немцы не депортировались. На них распространялся порядок содержания, предусмотренный предыдущим постановлением (размещение в лагерях ГУЛАГа). 7 октября 1942 г. выходит ещё одно сов. секретное постановление ГКО № 2383, согласно которому в гулаговские «рабочие колонны» направлялись мужчины с 15 до 55 лет включительно. Поскольку большинство мужчин этого возраста уже было «мобилизовано» по завышенным разрядам предыдущих наборов, новая «мобилизация» фактически коснулась даже 14-летних подростков. Вместе с пожилыми мужчинами они были отправлены на шахты и нефтепромыслы, чтобы добывать «чёрный хлеб для промышленности». Часть подростков (среди них оказался и мой младший брат) попала на медные рудники Казахстана и Урала. Мало того, согласно п. 2 этого постановления «мобилизации» подверглись и немецкие женщины от 16 до 45 лет включительно, что повлекло за собой настоящую катастрофу.

Особенность данного постановления состояла в отсутствии одиозного указания о передаче «мобилизованных» в распоряжение НКВД. Правда, на практике это означало всего лишь, что в силу специфики труда в угольной и нефтяной промышленности немцев не караулил на рабочем месте вооружённый конвой. Но вне работы они должны были безотлучно находиться в ограждённых «зонах», под бдительным надзором НКВД. В некоторых других ве-

домствах, например военном, даже женщин водили на работу и с работы под конвоем.

Но и это было не всё. 19 августа 1943 г. издаётся сов. секретное Постановление ГКО № 3960. Оно обязывало НКВД и лично тов. Берия направить в угольную промышленность ещё 25 тыс. человек из числа их «подопечных», включая 7 тыс. немцев и немок.

Сов. секретные постановления преследовали и другую, не менее (а скорее более) важную цель: максимально сконцентрировать под надзором НКВД немецкий «спецконтингент», чтобы можно было в любое время использовать его в качестве разменной монеты в битве политически родственных сверхдержав – коммунистического СССР и нацистской Германии.

Эту свою роль мы чувствовали, так сказать, всеми фибрами души и тела. Всё хуже и хуже становилось питание, жёстче режим, свирепее отношение конвойных и лагерного персонала. Даже работавшие рядом вольнонаёмные косились при встрече с нами холодными острыми взглядами. Над нашими головами нависла почти зримая, тягостная и тревожная тьма.

Вспоминаю бесконечно долгие дни, недели и месяцы проклятого 1942-го года. В памяти всплывают как собственные физические и моральные муки, так и боль нечеловеческих тягот, которые постепенно, но неуклонно пригибали людей к земле, превращая их в подобие полуживотных.

Люди таяли, сторали, как зажжённые свечи. Очень скоро от недавно ещё весёлых, здоровых мужчин и парней оставались только тени. Дольше держались те, у кого кое-что имелось в сидорах, кто был потеплее одет и обут, кому досталась работа полегче. Это были, главным образом, коренные сибирские и казахстанские немцы, которые прибыли на стройку в апреле 1942 г. У них, ко всеобщей зависти, ещё водились изрядные куски толстого, в четыре пальца домашнего сала. От холода их спасали плотно скатанные валенки и дублёные полушубки.

Но голод, холод и 12 часов изнурительной работы под неизменное и вездесущее «давай-давай!» неумолимо вели всех к одному концу. Первыми умирали самые рослые и сильные. Они привыкли и работать, и есть за двоих. Мизерные нормы питания не могли обеспечить жизнедеятельность их некогда могучего организма. За ними в первые же месяцы лагерной жизни ушли в небытие представители интеллектуального труда – учителя, музыканты, инженеры, учёные. Их участь особенно трагична. Они ничего не умели делать из того,

что от них теперь требовалось. Их без разбора ставили на тяжёлую физическую работу, нередко умышленно, чтобы вдобавок ко всему ещё и поиздеваться над «фрицевскими белоручками» (всем известна патологическая ненависть энкаведешников к интеллигенции). В элегантных пальто, шляпах и городской обуви стояли они с лопатами в руках, окружив тачку или носилки, переминаясь с ноги на ногу, не зная, с какого конца начать, ожидая, кто первым возьмётся за ледяной лом, чтобы неумело тюкнуть им в мёрзлую землю.

Непривычка к физическому труду, неспособность быстро приноровиться к новой работе, к лагерному образу жизни вели к тому, что большинство из них при всём желании не могло выполнить производственные нормы, рассчитанные на здорового и умелого работника. Они сразу же сели на смертный котёл. В итоге уже в начальный период «трудармии» была фактически предумышленно вырублена почти вся наша национальная интеллигенция – та, которая выросла на народной почве немецких колоний, и та, что происходила от дворянских и разночинских жителей двух российских столиц и крупных городов.

Заведённый сверху лагерный конвейер работал безостановочно. На моих глазах угасал бывший, как говорили, главный инженер Сталинского металлургического завода – высокий, стройный, лет 50-ти мужчина с аристократическим профилем и массивной роговой оправой на носу. Я заметил его ещё в вагоне по дороге из Акмолинска. Он держался в стороне от всех, страшно мёрз и, видимо, ужасно голодал. Сосланный в Акмолинскую область, он не смог запастись в дорогу продуктами и смущался, когда его приглашали к бытовавшим тогда ещё групповым «столам». Но голод, хотя и с трудом, брал верх над гордостью. Впрочем, вполне возможно, что это была не гордость, а воспитанная деликатность.

Так же молча, не ожидая подмоги, грузил он в глиняном карьере вагонетки, которые мы с напарником откатывали к подъёмнику. Силы заметно покидали его, всё чаще останавливался он, опираясь о сырую холодную стену забоя. Через некоторое время он исчез из карьера. Последний раз я видел его в лагере поникшим, жалким, страшно худым, тяжело передвигавшим толстые, опухшие ноги. От его прежнего облика остался только хрящеватый аристократический нос и на нём очки. Не дожил он, видимо, даже до весны того злоеющего 1942 года.

Сходная картина физического и морального уничтожения была изображена российско-немецким литератором Яковом Шмалем в

«Нойес Лебен» в 1993 г. Он находился в одном из лагерей Краслага вместе со своим знакомым и земляком Яковом Фельде. До войны тот преподавал в военном училище и Энгельсском кооперативном техникуме физику и математику. Это был первоклассный педагог.

При выселении из Поволжья они ехали в одном эшелоне и лежали на нарах одного «телячьего» вагона. Вместе со своим сыном Эрнстом, старым товарищем Я. Шмаля, Фельде прибыл в тот же лагерь. Отец и сын грузили лес в железнодорожные вагоны. Рослые и физически сильные, они до конца отдавались работе. Но вскоре их силы иссякли.

Суровой зимой 1942/43 гг. Я. Шмаль однажды увидел отца и сына на помойке у лагерной кухни. В длинных измочаленных пальто, подвязанных верёвками, в затянутых под подбородком шапках и больших истоптанных валенках они походили скорее на двух огромных грачей, чем на людей.

Весной бригада работала на шпалозаводе. Невдалеке от станка стоял математик Яков Фельде и считал готовые железнодорожные шпалы. По мнению бригадира, он ещё годился для этой работы. Но в действительности она была высокообразованному интеллигентному человеку уже не под силу. Вскоре он и его сын умерли от голода.

В поисках спасения ещё недавно здоровые и сильные мужчины пытались обращаться в лагерную медсанчасть. Но там ничем не могли помочь. По законам «немецких» лагерей для освобождения от работы существовал только один симптом – высокая температура. Дистрофия, отёчность лица и ног, признаки голодных болезней – цинги и пеллагры – во внимание не принимались. А градусник показывал, естественно, не выше, а ниже нормы: полный упадок сил... В 4-м стройотряде таких было три четверти – слишком много, чтобы освобождать по болезни. Завод должен был давать кирпич. Конечно же – любой ценой! И «доходяги», волоча ноги, с мучительным трудом отправлялись на работу. Нередко – безвозвратно. Но бывали и исключения из правил. Они зависели прежде всего от статуса (вернее, от национальности) врача. На сопротивление лагерному беспределу решался далеко не каждый медик, даже из вольнонаёмных. От докторов из «наших» требовалось двойное мужество, чтобы защищать людей, т.к. над ними постоянно висел дамоклов меч общих работ, на которые они могли попасть за малейшее неповиновение начальству.

Листаю страницы уже знакомых читателю воспоминаний Рейнгольда Дайнеса и нахожу здесь записи на эту важную тему лагерной жизни.

«Уже за полмесяца пребывания на Базстрое я так изголодался и исхудал, что от меня остались только кости да кожа, – пишет он. – Я почти не мог ходить, а тем более работать. Смерть, что называется, смотрела мне в глаза. Однажды силы окончательно оставили меня. Товарищи помогли мне добраться до работы, но я не был в состоянии даже поднять лопату.

Бригадир позвал мастера, немца с Украины. Тот сказал:

– Хорошо, мы направим его в санчасть.

И написал записку такого содержания: 'На вахту лагеря. Дайнес Рейнгольд Георгиевич направляется к врачу, чтобы установить, больной он или саботажник.'

Меня конвоировал в лагерь молодой охранник. Он был молчалив, но одну фразу всё же вымолвил: 'Парень, парень, ты пропал!' Я горько плакал. На спасение у меня не было никаких надежд. Все знали, что в санчасти по слабости от работы не освобождают. В амбулатории меня принял врач, тоже немец с Украины. К моему счастью, он был один. Посмотрел на меня, спросил по-немецки:

– На что жалуетесь, молодой человек?

Слабым голосом, со слезами на глазах я ответил:

– Я не больной, мне нужен кусочек хлеба...

– Хлеба у меня нет, но я хочу Вам помочь, чем могу. Вы ещё так молоды, – ответил доктор. Он смерил мне температуру, она оказалась ниже 35 градусов.

– Хорошо, – сказал он. – Я выпишу Вам больничное питание: 600 граммов хлеба и три раза суп, вечером немного каши. С завтрашнего утра Вас будут кормить из больничной кухни. На работу надо ходить, но в течение месяца у Вас будет лёгкий труд. А теперь идите к начальнику колонны. На сегодня Вы освобождены от работы.

Я упал перед этим добрым человеком на колени и хотел поцеловать его руку.

– Нет, нет! – воскликнул он. – Я сделал только то, что было в моих силах... Не будьте как маленький... До свидания!

Ещё и сегодня я благодарен этому сердечному человеку: он совершил больше, чем мог, – спас меня от тюрьмы за саботаж. Его имени я, к сожалению, не знаю...»

Это место из воспоминаний Р. Дайнеса удивительным образом перекликается с фотографией, которую я вместе с другими видами Бакалстроя выкупил в Челябинском областном архиве. Не могу представить, как в условиях строжайшего запрета на фотографи-

рование лагерных «объектов», включая людей, мог появиться такой уникальный снимок.

На нём угадывается помещение медпункта: пожилой врач с фонендоскопом поверх белого халата. Перед ним раздетый до пояса юноша, скорее даже подросток. Последний заснят со спины. Видны костлявые плечи, выступающие лопатки, обтянутые кожей рёбра. На тонкой шее еле держится маленькая, наголо стриженная голова, из которой торчат непропорционально большие уши. Тонкая талия туго затянута ремнём. Ниже – пустота вытряхнутого мешка. Дистрофия, последняя стадия истощения. Типичный «доходяга» на приёме у лагерного врача в зыбкой надежде на спасение. Это мог быть каждый из нас, тогдашних 18-летних живых трупов, чудом удержавшихся на краю пропасти.

О себе могу сказать точно: тяжкую голодную и холодную пору марта-апреля 1942 года мне помогло пережить врачебное освобождение от работы. Дело в том, что из-за хронического недоедания, переохлаждения и антисанитарных условий на моей истончённой шее образовались какие-то необычные трёхглавые фурункулы, которые удивили даже опытного доктора. Он усердно покрывал их ихтиоловой мазью и заталкивал в образовавшиеся дыры марлевые тампоны. Похвалялся успехами лечения, а у меня всё больше портилось настроение от предстоящего возвращения под конвоем на непосильную работу в карьер. Но месяц каторги, каждый день которой мог стоить мне жизни, остался между тем позади...

И теперь ещё, много лет спустя, я спрашиваю себя: что спасло меня и моих сверстников от голодной смерти в роковые 42-й и 43-й годы? Ставил подобный вопрос и в конце 80-х годов, в тогдашних беседах с 70-летними «трудармейцами». Говорили по-разному. Жизнестойкость молодого организма, – отвечали многие. Умерли не только высокорослые и интеллигенты – через ОПП, или минувя его, ушли почти все, кому было за 40, вспоминали они.

Я соглашался с ними, но думал и думаю, что главным спасителем была случайность, и не одна, а целая их цепь, именуемая в просторечии везением.

Мне, например, повезло, что в феврале 42-го я попал не на центральную стройку, где ещё не было ни кола, ни двора, а на кирпичный завод. От уголовников нам достались там не только проволочная ограда и вышки, но и готовые бараки – надёжная крыша над головой. Да и завод – это всё-таки не земляные, бетонные и монтажные работы, а тем более не каменный карьер.

Везло мне и на хороших людей. Не знаю уж, как оно получилось, но мы сошлись в бригаде, а потом и на нарах с железнодорожным инженером-строителем из Закавказья Бюделем, человеком раза в два старше меня. Немецкой была у него только фамилия, унаследованная от отца, который сам лишь наполовину являлся немцем. Но этого оказалось достаточно, чтобы «мобилизовать» его сына в концлагерь. Тот говорил с сильнейшим грузинским акцентом и внешне был неотличим от грузина – нос крючком, тёмные выпуклые глаза, мясистые губы. Даже став «полудоходягой», он продолжал в разговоре живо жестикулировать:

– Служай, скажи пожалуйста, зачем я сдэс?! Развэ я выноват, что мой дэд был нэмэс? Нэт, это нэправылно! Я ещё раз напышу товарищу Сталину. Он мой зэмляк и должэн понят грузина!

Мне нравились его эмоциональные тирады, выразительные, чисто грузинские жесты. Склонный к заимствованию, я незаметно для себя стал подражать ему в разговоре. На этой почве мы, видимо, и подружились. Относился он ко мне по-отцовски, частенько покрывал на меня, читал длинные нотации – «воспитывал».

Это был человек сильнейшей воли и внутренней дисциплины. Так называемый суп он ел обязательно ложкой, тогда как окружающие его просто пили. Ел размеренно, не спеша, смакуя каждую ложку и кладя в рот по маленькому ломтику хлеба. У него хватало силы воли разделить пайку на три части и не съесть её раньше времени. Котелок солидного размера и кусочек хлеба он располагал во время еды на носовом платке, который специально носил с собой. Словом, до странности аккуратный и воспитанный был человек, чем, надо сказать, нередко вызывал ироническую улыбку у наших деревенских соплеменников.

Мы вместе работали в карьере по добыче глины. Видимо, нужны были знания не ниже инженерных, чтобы наращивать рельсы на подкатных путях к забоям. Правда, путейцами мы только числились. Стоило нам присесть после завершения очередного ремонта, как нас тут же отправляли на какой-нибудь новый «прорыв» – погрузку глины или откатку вагонеток, что нам, конечно, было не по душе.

Время шло, и я видел, как постепенно стали блекнуть и отекают его щёки, как потух огонёк в глазах. В подобие вешалки превратилось костлявое тело, а голова в неизменной будёновке еле держалась на совсем отощавшей шее. Всё больше и больше становился он похожим на классического лагерного «доходягу»: стриженный

череп, огромные оттопыренные уши, сплющенное от худобы тело. На лице – ничего, кроме запавших глаз и большого хрящеватого носа. И бледная до синевы, болезненно прозрачная кожа.

Но ему дико и неожиданно повезло. Как-то в конце марта 42-го его вызвали в лагерный «штаб», а оттуда в сопровождении персонального конвоира отвели в заводоуправление. Там после долгих расспросов и изучения его личного дела ему поручили срочно спроектировать подъездные пути к строившемуся рядом со старым второму кирпичному заводу, а затем и возглавить их возведение.

Я с нетерпением ждал его возвращения: нечасто «нашего брата»-немца куда-нибудь вызывали. А если это и случалось, то, как правило, – к «оперу», от которого ничего хорошего ждать не приходилось. Наконец, он появился и с радостью рассказал о происшедшем. Его глаза засветились огоньком надежды, а я терпеливо ждал, найдётся ли в его радужных планах местечко и для меня. Он знал из моих рассказов и видел наяву, что я кое-что смыслю в путевых делах, которым обучился, работая ремонтником во время школьных каникул.

Вскоре Бюделя перевели в особый барак, где размещалась главным образом лагерная прислуга. На несколько месяцев он исчез из поля зрения, но я помнил его обещание забрать меня к себе, как только пути будут построены. Слово своё он сдержал. Железнодорожная ветка строилась испытанными методами «давай-давай» и «любой ценой». Она стоила жизни не одному десятку «доходяг». Бюдель вытребовал меня, когда работы в основном завершились.

Инженера Бюделя произвели теперь в бригадиры над восемью путевцами. В нашу задачу входило довести дорогу «до ума» и содержать её в надлежащем порядке. Правда, своего бригадира мы видели нечасто. У него был пропуск для свободного выхода из «зоны», и он охотно этим пользовался.

Трагичные события того времени побуждают меня к размышлениям о роли так называемой случайности. В обыденной жизни случайностью называют, к примеру, смерть человека (скорее – риторически, не особенно вдумываясь в смысл сказанного). Но в тех варварских условиях, когда НКВД планомерно выкашивал целые «немецкие» лагеря, всё обстояло как раз наоборот: остаться в живых было делом случая, а умереть – запрограммированным правилом.

Мы с Бюделем выжили. Благодаря случайностям. Для меня решающую роль в их цепи сыграло знакомство с этим человеком и наше общее «железнодорожное» прошлое. Но всё это было потом,

летом 42-го. А до этого я промышлял еду, как только мог. Например, менял на пайку хлеба месячную норму махорки, которую нам исправно выдавали по «гуманному» лагерному уставу. Я не успел к тому времени стать курящим, но видел, как мучились без курева мужчины. Уж если дома они не смогли бросить курить, то в лагере – и подавно. Говорили, будто курево помогает от тоски и даже голода, и ценилось оно очень дорого. На подпольном лагерном рынке спичечная коробка табака стоила 15 рублей. Порой, помнится, одна цигарка доходила до десяти рублей. За «бычками» заранее занимали очередь, надеясь хотя бы на одну вожделенную затяжку.

Я видел, с какой болью расставался человек с заветным кусочком хлеба, как дрожали у него руки и какая глубокая тоска стояла при этом в глазах. Поэтому брал положенное в рассрочку, хотя терял тем самым желанную возможность почувствовать сытость в желудке. Но что такое сытость, даже собственная, по сравнению с этим голодным отрешённым взглядом?

Ночью, после поверки и отбоя, вместе с десятками таких же «доходяг» стоял я у кухни, надеясь попасть туда для мытья котлов, в которых можно было найти остатки еды. Всё внимание было устремлено на входную дверь, и как только она открывалась, мы скопом бросались к ней в надежде очутиться в пахнущем едой кухонном нутре. Иногда из толпы выбирали меня. Думаю, потому, что я выделялся высоким ростом и особой худобой. Возможно, жалость вызывал и мой совсем ещё юный возраст: мне только-только минуло 18.

А несколько раз таким же способом я попадал даже в святая святых голодного лагеря – хлебозрезку. Угодить туда – всё равно, что верблюду через игольное ушко пролезть. Если на кухню привлекали людей по количеству котлов, то в хлебозрезке больше одного не требовалось. И то не каждый день. До сих пор не понимаю – то ли от лени это делали повара и хлебозрезы, то ли из жалости к погибающим изголодавшимся людям. Тогда об этом не думали: для нас, везунчиков, это было великим благодеянием.

С хлебозрезкой первый раз мне просто повезло, а потом там сказали:

– Приходи и завтра, будешь помогать.

Видимо, заметили, что боязно и стыдно мне было съесть лишний кусочек хлеба. Да и не резал я его – только прищипливал деревянными палочками довески. А за кусочком для еды надо было тянуться до другого стола. Я боялся: вдруг пристыдят, да ещё и выгонят вдобавок. А так, если есть понемногу, то, глядишь, подольше

можно будет продержаться в этом лагерном раю.

Однако мой расчёт оказался верным лишь отчасти.

– Хороший ты парень, но не один такой голодный, – через несколько дней сказали мне, дав с собой на прощание небольшой кусок хлеба.

А ещё был у меня довольно приличный вельветовый чёрный пиджак. Его, как самое большое богатство, вместе со светло-синим ватным одеялом дала мне в неведомую дорогу мать. Не ошиблась она – то и другое сослужило мне верную, спасительную службу. Предложил я пиджачок одному из завсегдатаев кухни. Тот клоннул, согласился взять. Дал мне полный котелок крупных голов рыбы – кеты. Мало, конечно, мог бы дать и побольше. Но и за то спасибо! «Главное – продержаться, пока генацвале Бюдель к себе заберёт. А с пиджачка сейчас какой толк?» – думал я про себя. Важно было с наибольшей пользой употребить добычу, чтобы ничего не пропало, всё до капельки пошло впрок голодному чреву. Я видел, как это делают другие, да и сам догадался бы – надо варить головы до тех пор, пока полностью не размячатся кости. Побольше налить воды, пусть выкипит, зато навар и мясо будут отменными! И действительно, вышло целых три великолепных праздничных обеда! Ничего не осталось от голов, за исключением белых, твёрдых как камень, рыбьих глаз, которые оказались совершенно несъедобными. Ещё раз хотелось сказать: спасибо за пиджачок! И не только матери, но и той женщине, которой он вместе с одеялом принадлежал.

Дело было, помнится, в 1938 г. Спасалась у нас от повальных арестов, которые проводились в немецких сёлах Украины, одна женщина. Вполголоса рассказала она матери, что в их селе Эбенфельд (Ровнополь), на западе нашей Сталинской области, энкаведешники одного за другим увели всех учителей 7-летней немецкой школы (и детей стали учить по-украински). А потом за ночь забрали мужчин немецкой национальности – сразу более ста человек. С двух сторон начали облаву, с постелей подняли и увели. Тихо, организованно. Будто кур по-воровски в мешок покидали.

Кто из нас мог достоверно знать тогда, что страна покрылась густой сетью человекобоян НКВД по прямому повелению правящей партии? Ни одному нормальному человеку и в голову не могло прийти, что партия и «органы», состязаясь друг с другом, скрупулёзно планируют уничтожение «антисоветских элементов». Невозможно читать без содрогания соответствующие партийные документы, один из которых я приведу полностью:

«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Строго секретно (из о.п.)

Всесоюзная Коммунистическая партия (большевиков).

Центральный Комитет

№ 1158/67

17 февраля 1938 г.

Тов. Фриновскому

Выписка из протокола № 58 заседания Политбюро ЦК ВКП(б)

Решение от 31.01.1938 г.

67: – Вопрос НКВД.

Дополнительно разрешить НКВД Украины провести аресты кулацкого и антисоветского элемента и рассмотреть дела их на тройках, увеличив лимит для НКВД УССР на тридцать тысяч.

Секретарь ЦК.»

Не по этому ли решению были окончательно обезглавлены Эбенфельд и другие немецкие сёла, когда казалось, что волна Большого террора уже схлынула?

Проснувшись утром соседи-украинцы, а в домах рядом только плачущие испуганные дети да овдовевшие за ночь женщины. Лишь директор школы скрылся заранее, видимо, узнав о предстоящих арестах. Его жена и пережидала у нас лихую годину. Потом она исчезла. Мы ждали, когда она появится вновь, но тщетно. А вещи её так и остались и теперь сослужили добрую службу: смерть миновала меня.

Тем временем мы, лагерные затворники, с нетерпением ожидали весну и лето, связывая с ними надежду отогреться после бесконечной морозной зимы. С детской наивностью надеялись, что можно будет пожить чем-то подножным, растительным. Всё ж таки лето, не зима! Сотни глаз постоянно шарили под ногами и по сторонам в поисках чего-нибудь съедобного. Всё напрасно! К тому же весна затягивалась, прошли апрель и май, но даже трава ещё не проросла. Да и что среди неё можно было найти? Даже наша маленькая бригада путейцев, работавшая вне «зоны» под охраной всего двух конвоиров, не сумела этим воспользоваться. Съестного нигде не было, а к вольным нельзя отойти, да и не с чем. Для обмена ни у кого ничего не осталось. И денег тоже не было. Но ещё не дождавшись лета, мы уже боялись предстоящей зимы, которая для многих могла стать последней. Было ясно: вторую такую зиму нам не пережить. А впереди – ничего обнадеживающего. Никакого просвета.

Десятки тысяч немецких узников Бакалстрога были буквально за-

гнаны в угол — колючая проволока и солдатские штыки наглухо отгородили нас от остального мира. Нам не полагалась зарплата, не дозволялось получать переводы и иметь деньги, дабы никто из нас не мог вступить в «преступные связи с вольнонаёмными», т.е. купить что-нибудь из еды. Письма домой приходили наполовину затушёванными цензурой: никто не должен был знать, что творил НКВД в особо секретных лагерях ГУЛАГа.

Всё здесь делалось «чисто», с потрясающим цинизмом. Никаких видимых следов от морального насилия и массовых смертей не оставалось. Словом — зона полного покоя.

Иного трудно было и ожидать. К несчастью, напряжение на фронте нарастало с каждым днём. Не успела Красная Армия оправиться от разгромных поражений лета 1941 года, как развернулись судьбоносные для страны события на юге.

Летом 42-го вермахт предпринял новое крупное наступление на Восточном фронте, стремясь добиться полного разгрома советских вооружённых сил и завершить до конца года войну против СССР. «В общих рамках Второй мировой войны летнее наступление 1942 года означает ещё одну попытку добиться того, чего не удалось достичь осенью 1941 года, а именно: победоносного окончания кампании на Востоке, чтобы тем самым решить исход всей войны», — говорилось в директиве Верховного командования вермахта № 41 от 5 апреля 1942 г.

Очередная наступательная лавина гитлеровцев вызвала в нашем лагере откровенный, едва скрываемый страх. Было боязно за себя, за всех российских немцев, за страну. Мозг сверлила страшная, вслух не произносимая мысль: «А что, если...?»

Чудовищно, но факт: нас снова, как и в Первую мировую войну, поставили на одну доску с теми, кто находился по ту сторону линии фронта. С врагами, которые должны быть унижены, оскорблены и, согласно известному изречению «великого пролетарского писателя» Горького, уничтожены. Даже если они не сопротивляются, как показал уже опыт Большого террора 30-х годов.

Кровно необходимую информацию о положении на фронте мы получали не из официальных источников. (Газет и радио в 1942 г. не было, видимо, ни в одном «немецком» лагере, не только в Потанинском.) Её, более или менее верную, передавали друг другу вполголоса, доверительно, наедине. За это можно было поплатиться расстрельной 58-й статьёй. И такие случаи действительно бывали: попробуй убедить «опера», что вести о военных катастрофах тебя глубоко огорчают, а не радуют, как ему требовалось доказать.

В достоверности тревожных слухов о положении на фронте мы убеждались прежде всего по содержанию наших котелков. Пайка хлеба, которая была фактически единственным средством поддержания нашей жизни, в немалой мере зависела от человечности прорабов, подписывавших наряды на котловку. А их загоняли во всё более жёсткие рамки, и хлеба нам перепало всё меньше.

С осени 1942 года наше питание стало ухудшаться день ото дня. В так называемом супе не было больше ничего, кроме нескольких крошек брюквы или кормового турнепса. Иногда попадалась пара горошин или овсяных зёрен. О жирах не могло быть и речи. Всё происходило по немецкой пословице: «В суп смотрят два глаза, а оттуда — ни один.» Рыба присутствовала лишь запахом, иногда давая знать о себе парой косточек, которые, конечно, тоже съедались. На немецком акценте, с которым говорило большинство «трудоармейцев», это трёх- или двухразовое мутное пойло называли ёмким словом «палянта» (баланда).

Да простит меня читатель, но я опять говорю о еде. Дело не только в том, что она — краеугольный камень нашего бытия. Словами свидетелей мне хочется рассказать о той «еде», посредством которой нас поставили на тонкую грань между жизнью и смертью.

Если взглянуть в корень, то заключённых в нашей стране никогда не содержали по-людски. По самобытной российской «традиции» лишение свободы само по себе ещё не считается достаточным наказанием за преступление. Тюремное заключение должно быть непременно связано с аскетичным образом существования, физическими и моральными лишениями. Чтобы другим неповадно было...

Созданная тоталитарным режимом лагерная система довела вековые порядки до изуверского совершенства. Она должна была подавлять волю людей, причинять физическую боль, наказывать недоеданием и голодом. Новые порядки вытекали не только из идеологии и морали большевистского «социализма», но и из его неизменного спутника — продовольственного дефицита. У каждой машины, как говорят, свой заглот, больше которого она не может переработать. Во времена «Большой чистки» 30-х годов численность заключённых выросла до таких астрономических размеров, что ГУЛАГу было просто не под силу содержать и кормить всю массу «врагов народа», уголовников и разной преступной «мелкоты». К разряду едоков надо причислить, конечно, и гигантский собственный персонал НКВД.

Выход из чрезвычайного положения был найден силами самих «органов». Они устраняли «лишние рты» путём массовых расстре-

лов по знаменитой 58-й статье. Но поскольку она не применялась к уголовным элементам, то подлинныя преступники фактически попадали в лагеря под защиту Закона. Партия всегда рассматривала их как родственную пролетариату социальную силу.

За палачами дело не стало. Нас «содержали» и «опекали», как было сказано в упомянутом Приказе наркома НКВД от 12.01.1942 г., «лучшие чекисты-лагерники». Те, кто вершил суд и расправу в годы Большого террора, расстреливал польских офицеров, уничтожал заключённых в тюрьмах прифронтовых городов.

Пока же эту задачу решал изначально запущенный конвейер постепенного и планомерного умерщвления голодом. Как ни цеплялись за жизнь «трудмобилизованные» немцы, он уносил всё новые и новые жертвы. Их численность ещё больше возросла с осени 1942 года, когда истощение и голодные болезни усугубились уральско-сибирскими морозами.

Уверен, сказанное без колебаний подтвердят редкие теперь уже очевидцы, которым удалось удержаться тогда на краю пропасти и перешагнуть роковой рубеж 1942-43 гг. О физических и моральных муках того времени рассказывает узник Бакалстроа Яков Кох, проживавший в 1992 г. в Челябинске, на том самом месте, где он отбывал «трудармию».

После окончания строительства бетонного завода, пишет он, их бригаду перевели в 3-й стройотряд и направили работать на погрузочно-разгрузочный комбинат (ПРК). От прежних грузчиков почти никого не осталось: одни сошли в могилу, других направили туда же через ОПП («райские ворота» или «пересадочный пункт»), третьих приставили к «лёгкой» работе за 600 граммов хлеба.

Работа на ПРК была сущим адом. Вручную, без каких-либо механизмов приходилось выгружать вагоны с металлом и лесом. Кто хоть раз видел, как это делается, знает, что значит верёвками поднимать со дна полувагонов тяжёлые металлические балки и толстые брёвна с тем, чтобы перебросить их через высокие борта на землю.

А сил было – в обрез. Люди «дошли» и оборвались до предела. Морозы в декабре были не менее 40-50°. Мест для обогрева не имелось, конвоиры запрещали отходить от вагонов и разжигать костры. Кох отморозил обе пятки и большие пальцы ног. Один палец начал гнить, но на работу всё равно выгоняли. Всюду слышалось только одно: «Давай-давай!»

На строительстве бетонного завода тоже приходилось вкалывать будь здоров, пишет далее Я. Кох. Но там прораб Мартынов всегда

выводил котловку по третьему котлу. На ПРК те же 800 граммов хлеба и «премблюд» можно было получить только в случае работы после смены до тех пор, пока не разгружены все вагоны.

Но и на высшем, третьем котле долго никто протянуть не мог, поскольку кроме хлеба и супа-водички ничего больше не выдавалось. Якову запомнился случай, когда на обед привезли «гороховый суп». Бочка была большая, раздатчик старался помешивать содержимое черпаком, но до дна достать не мог. Поэтому первым в очереди – самым голодным и нетерпеливым – досталась одна жижа.

Среди них был и Яков. Жадно припав к котелку, он с нетерпением ждал, когда из мутной водички покажутся долгожданные горошины и можно будет хоть что-то отправить в голодный желудок. Увы, на доннышке не оказалось ничего, кроме половинки горошины! Вмиг справившись с «обедом», Яков с алчным любопытством стал наблюдать за теми, кто получил баланду из нижней части бочки. И от обиды заплакал. В их котелках было не менее, чем по 10 горошин! Значит, с горечью подумал он, там находился и тот горох, который должен был достаться ему. А до вечерней баланды оставалось ещё 5 часов работы.

В следующий раз Я. Кох был умнее, и ему стало попадаться на несколько горошин больше. Но это, конечно, ничего не могло изменить. После двух месяцев работы на ПРК он окончательно ослаб, а его бригада стала распадаться. Первым от голода умер бригадир, за ним ушли на тот свет ещё пять товарищей по несчастью.

К концу проклятого 42-го года «похудел» и третий котёл. Хлеб превратился в какое-то глиняное месиво. В «супе» теперь охотились уже не за горошинами или крупинками овсянки, а за клочками капустных листьев и кусочками турнепса. Всё напоминало приближение библейского Страшного суда: их почти перестали кормить и не выдавали одежду взамен окончательно измочаленной.

Боль памяти тех страшных лет и сегодня не покидает «трудармейцев». После десятилетий вынужденного молчания они пытаются восполнить пробелы в истории особо засекреченных «рабочих колонн» НКВД, чтобы не ушла она вместе с ними в небытие. О степени замалчивания этих событий свидетельствует уже тот факт, что даже А. Солженицын, скрупулёзно описавший основные преступные акции НКВД, вообще не упомянул о таких «островках» Архипелага ГУЛАГ, как «трудармейские» лагеря.

К числу умелых летописцев «трудармии» принадлежит и Иоганн Эйсер. Мы уже цитировали его подробные записки. Обратимся к

ним ещё раз, чтобы глазами очевидца и чувствами свидетеля воспринять страшные реалии лагерей Вятлага в наиболее критический период – 1942-43 годах:

«На следующий день после прибытия в Муриз нас после короткого инструктажа отправили на лесоповал. Большинство из нас, поволжских немцев, такого моря деревьев никогда не видело и навыков работы в лесу не имело. Тем страшнее был для нас этот неведомый каторжный труд.

Полуголодные, плохо одетые, мы несколько километров брели гуськом по глубокому снегу и добирались до места уже обессиленные. А впереди был целый день работы.

Сначала приходилось очищать снег вокруг дерева, чтобы было видно, какой высоты оставить пень. Да и для себя место освободить нужно. Пилить дерево надо умеючи, чтобы оно в намеченное место упало, никого из соседнего звена не убило, волчком на комле не завертелось и самих вальщиков не задело. Бригада ведь должна была работать на небольшом пятчке, который конвоиры лыжнёй очерчивали. По ошибке выйдешь за неё – получишь пулю за 'попытку к бегству'.

Сваленное дерево утопает в снегу, и его надо откопать на всю длину. После этого начинается обрубка сучьев и разжигается костёр, у которого можно согреться и немного отдохнуть. Работы много, а толку чуть. Даже с хорошего дерева (толщина 30-40 сантиметров, ровный ствол, мало веток) больше кубометра делового леса не возьмёшь. А чтобы полный паёк, 750 граммов хлеба получить, нужно выдать на каждого лесоруба по 6 кубов. Для этого все 11 часов в поте лица ищачить надо. Но где сил набраться, если еда с каждым днём становится всё хуже?

Первый выходной дали только через полтора месяца. И то – для того, чтобы мы починили привезённую с собой одежду и обувь. Почти год в своём проходили, окончательно оборвались, а казённое выдать нам не спешили. Мёрзли – страшно сказать как! Видимо, свеху ждали, когда мы все перемрём.

Кроме того, в тот день надо было наши полуземлянки от снега откопать. Их сугробами почти до крыши занесло. И это называлось – выходной!

В бараке те, кто помоложе, располагались на верхних нарах, а пожилые – внизу. В свободное время мы говорили о фронте, вспоминали о Поволжье, о семьях. Все рассуждения обычно сводились к еде:

– Эх, мужики, дали бы мне сегодня то, чем мы дома собаку кормили! Я бы ей свою баланду отдал, только не знаю, стала бы она её есть или нет...

А те, что постарше:

– Нас весной по домам распустят. Все мужчины на фронте, кто хлеб сеять и убирать будет? На одних женщинах далеко не уедешь...

Когда наступало время еды, мы усаживались по своим местам, как цыгане на базаре: ноги согнуты, локти на коленях, руки подпирают голову. И все взоры устремлены к входной двери. Сначала раздают хлеб, который тут же съедается. Потом выпивается баланда и пальцами начисто вытираются глиняные чашки, из которых мы 'ели'. И опять продолжаются разговоры о еде. Но уже лёжа...

К концу 1942 года мы окончательно обессили. Норму никто уже выполнить не мог. А после того, как хлебный паёк урезали до 600 граммов, и до леса едва добирались. Все превратились в скелеты, многие умерли от голода.

Умер и мой дядя Филипп. Его, как дистрофика, поместили в стационар, из которого чаще уходили на тот свет, чем возвращались к работе. Он всё ждал, что его 'сактируют' и отпустят к шестерым детям, высланным в Казахстан. Мы с отцом часто навещали больного, но помочь ничем не могли.

Помню, в последний вечер сидели на его койке. Он тоже сел, и я увидел, что от него остались только кости, обтянутые тонкой кожей, через которую было видно, как пульсирует кровь по синим венам. Говорил очень тихо, почти шёпотом. Отец успокаивал брата, просил набраться терпения. Мы простились, пообещав прийти через день.

– Знаю, вы очень устаете и рады отдохнуть после работы. Я не обижаюсь, – еле слышным голосом сказал дядя.

Когда мы пришли снова, нам сказали:

– Его вчера утром вывезли...

Значит, он угас уже ночью после нашего посещения, и его вместе с другими умершими отправили за 'зону', на общий могильник.

Я ещё держался кое-как, но ноги передвигал с трудом. По пути на работу мы метров сто шли по проезжей дороге, прежде чем повернуть в сторону леса. Несколько раз мне везло: на дороге попадался лошадиный навоз. Я собирал его в сумочку, которая всегда была при мне. Думал, у костра подсушу, провею, а зёрна овса поджарю. Но не мог выдержать, продувал его на ходу и съедал зёрна сырыми. Очень вкусно было!

Иногда у лагерной помойки мне удавалось найти кое-какие кости. Я обжигал их дочерна в топке сушилки, а затем обгрызал. И так повторял до тех пор, пока не съедал кости до конца. Вряд ли в них были питательные вещества, но в желудок что-то попадало, и не

так сильно мучил голод.

Я выжил, но в Вятлаге остались дядя Филипп и мой 45-летний отец. Из нас троих погибло двое – таково было соотношение между жизнью и смертью в 1942 году.»

Фридрих Лореш в статье «Тимшер и другие», на которую мы уже ссылались, пишет, до чего может дойти изголодавшийся человек. «Свою порцию хлеба мы получали в бараке, – вспоминает он. – Обычно пополам – утром и вечером. Зимой при его раздаче дневальный зажигал лучины – другого света у нас не было. Суп был без жиров и, конечно, без мяса, а чай с сахарином. Немного каши полагалось только при перевыполнении нормы. При таком скудном питании в туалет, извините, ходили по-большому раз-два в неделю. Голод довёл одного моего знакомого до такого состояния, что он однажды спросил меня:

– Я тут видел – наш повар оправлялся... Как думаешь... А нельзя ли это попробовать съесть?..

– Не смей даже думать об этом!!! – ответил я ему.

Павшие лошади у нас даром тоже не пропадали. А кошек и собак здесь давно уже не было. Выброшенные кухонные отходы подбирались начисто...»

Сходную ситуацию описывает и Бруно Шультмейстер, с воспоминаниями которого читатели также знакомы: «Зимой 1942/43 гг. был случай, когда на лесоразработках в Краслаге люди 10 дней не получали хлеба, т.к. в пекарнях не было муки. Вместо него выдавали картошку. К тому же овсяный 'водяной суп' готовили почти без соли, а 'премиальную' кашу варили из целых зёрен пшеницы, которые желудок не переваривал. И были случаи, когда голодные дистрофики копались в собственных и чужих испражнениях, выскивая зёрна, чтобы употребить их в пищу. Эти нередкие перебои с питанием ещё больше подрывали силы людей, увеличивая и без того высокую



Фридрих Лореш

смертность. Хотя считалось, что в Краслаге положение немцев было несколько лучше, чем в других 'рабочих колоннах' НКВД.»

Наблюдались ли в эти страшные годы в среде «трудармейцев» факты каннибализма? О них идёт речь только в двух из множества известных мне воспоминаний.

Об одном из таких случаев рассказал в вышеупомянутом письме Вальдемар Фрицлер. В 1942-43 гг. в «немецких» лагерях Ивдельлага, где он находился, свирепствовал сильнейший голод. Смерть косила людей десятками и сотнями каждый день. Изолированные от внешнего мира колючей проволокой и винтовочными стволами, затворники отчаянно искали средства к спасению. И в этих условиях на работе был убит солагерник с целью людоедства. В. Фрицлер обещал подробно написать об этом факте, но, видимо, у него так и не поднялась рука.

Второй случай несколькими фразами описал в своём письме Андрей Бель. Он отбывал «трудармейский» срок в свирепом своими арестантскими порядками Усольлаге НКВД (север Молотовской, ныне Пермской области). В одной из бригад, работавших в лесу, умер от истощения человек. Зимой 1942/43 гг., когда смерть «трудармейца» на работе являлась далеко не редкостью, было заведено, что труп должны доставить на вахту сами члены бригады. В противном случае последняя в неполном составе не допускалась в «зону». Энкавешникам важно было установить, что никто из немецкого «социально опасного контингента» не совершил побега, чтобы ослабить советский тыл или подорвать мощь Красной Армии. Что же касается трупов этих недругов, то они, вдобавок ко всему, могли считаться дополнительным свидетельством верности чекистов присяге и Родине. Вместе с табельным оружием Советское государство одарило их бандитским принципом: «Хороший враг – это мёртвый враг.» Тащить на себе тяжёлую ношу никому из обессиленных людей не хотелось. Тем более, что до лагеря надо было брести по снегу не менее восьми километров. На этой почве в изуродованных голодом умах родилась чудовищная мысль – поживиться внутренностями трупа. С «благовидными» целями: облегчить себе ношу и в то же время набраться сил, чтобы доставить тело на вахту. В письме не указывается, каковы были последствия этого вопиющего замысла. Но говорится, что «спасительная» идея была реализована.

Конечно, ничто, включая неминуемую голодную смерть, не может служить оправданием каннибализма. Так, собственно, и относится к этому явлению подавляющее большинство субъектов, на-

зываются себя людьми. По-людски умирали за редчайшими исключениями и узники «трудармии». Что же касается тяжкого греха тех из них, кто на пороге гибели растоптал в себе человека, то о таких фактах нельзя судить, если абстрагироваться от вины палачей, обрѣкших на голод и мучительную смерть десятки тысяч немецких затворников. Точно так же, как были обречены миллионы людей в голодные 20-е и 30-е годы и во время блокады Ленинграда.

Случаи каннибализма – и ставшие достоянием известности, и навсегда покрытые мраком – были не чем иным, как самыми ужасными явлениями насквозь ужасающей лагерной «жизни».

Порой казалось, что дело идёт к окончательной трагической развязке. По мере того, как гитлеровские войска приближались к Волге, на душе росла тревога, а в желудке становилось всё муторней. Вокруг была чернота – и никакого просвета. На подконвойную работу шли и возвращались в «зону» не люди, а их тёмно-серые тени. Шагали в изорванной разношёрстной одежде и обуви, молча, опустив головы, тяжело переставляя ноги. У всех синие лица, обмороженные носы, щёки, пальцы. И потухшие от безнадёжности глаза. Как столбы валялись на нары, даже идти за баландой не оставалось сил.

Все настолько изменились, что перестали узнавать друг друга. У многих произошёл какой-то сдвиг в психике. Они вели себя странно: часами сидели, уставившись в одну точку, методично раскачиваясь. Или молча перебирали в «домашнем» чемодане какие-то вещи, видимо, напоминая им о близких. Нередко в ночной тишине барака раздавались тяжкие мужские рыдания, стоны, сонные испуганные выкрики. С чем сравнить это отвратительное состояние души?

Освежите, для примера, в памяти свои утренние ощущения, когда у вас в доме или на работе неприятности. О таком самочувствии обычно говорят: «Противно, будто кошка в рот нагадила.» Ещё не совсем отойдя от сна, вы силитесь вспомнить: что же произошло? Почему так мерзко на душе? Вспомнили, подумали, как выйти из создавшегося положения, отчасти успокоились и принялись за повседневные дела.

А теперь представьте себе, что это депрессивное состояние не оставляет вас ни на один день, гнетёт из месяца в месяц, два года подряд, и впереди одна безысходность. «Лучше бы умереть!» – приходит в голову непрощенная мысль. И дело не только в хроническом голоде, мёртвой хваткой вцепившемся в горло...

Приходит конец терпению, следует нервный срыв, и человек теряет контроль над собой. Об одном таком ужасном случае рассказал мне мой давний знакомый по Киргизии Готлиб Айрих:



Готлиб Айрих

«Развод. Дует ледяной ветер с мокрым снегом, до костей пробирающий 'трудармейцев', одетых в дырявые фуфайки. Получая инструменты перед отправкой на лесоповал, мы вдруг вздрагиваем от истеричного крика: 'Всё, всё – к чёрту! Пропала жизнь!' И прежде, чем успеваем что-либо сообразить, с ужасом видим, как какой-то человек кладёт на пенёк руку и одним ударом топора отрубает себе все пальцы. Они, как живые, подпрыгивают несколько раз, шевелятся и замирают. Подбегаю

и – о ужас! – узнаю в 'саморубе' (был в лагерях такой термин) своего бывшего одноклассника, любимца девчат, красавчика Фёдора Фукса. Подскакивает бригадир. Фёдор, в ярости размахивая окровавленным топором, кричит: 'Не подходи – убью! Вам что, моих пальцев мало?! Натё всю руку!' И, заново положив на пенёк руку, отрубает себе кисть. Истекающего кровью, его отводят в санчасть.»

Не все «трудармейцы» имели одинаково устойчивую психику. Многие сходили с ума. Другие кончали жизнь самоубийством. Сделать это было не так просто, ибо всё, что могло для этого пригодиться, отбиралось при обыске. Ложились на рельсы (я сам видел эту ужасную картину), вешались на работе и в лагерьном туалете – на петлях, предназначенных для того, чтобы ослабший человек мог удержаться на корточках. Словом, жизнь у нас не только отнимали – многие отдавали её сами, предупреждая ожидаемый исход. Возможно, это было и формой протеста, ведь других способов ответить на попрание человеческого достоинства у людей просто не было.

... А утром оставшихся в живых выводили под конвоем на работу, главной целью которой было физическое уничтожение вконец измождённых людей.

К такому выводу подвёл меня рассказ Якова Вельмса, замечательного музыканта, ставшего инвалидом в 50 лет вследствие мук, перенесённых на «трудармейской» каторге.

В тресте Молотовнефтестрой – ведомстве, где он вместе с сотня-

ми других «трудмобилизованных» пребывал в лагерях и работал на лесозаготовках, ежедневный путь до лесосеки составлял от пяти до семи километров. Идти надо было по проторённой в глубоком снегу узкой тропинке. В ранней предутренней или поздней вечерней темени, след в след за местным старожилом-десятником. Нередко тропинка пролежала по болоту, и неосторожный шаг в сторону заканчивался трагически – для тех, кто не смог одолеть дорогу, обессилел в пути, покачнулся от слабости, хотел присесть в стороне и свалился с ног рядом с тропой. Их медленно, но неминуемо поглощала не замерзающая под снегом трясина. Ещё чаще, лишившись сил, оставались замерзать. Их поднимали, пытались тащить под руки, сами с трудом переставляя ноги, рискуя в любой момент провалиться в болотную бездну.

– Оставьте меня здесь, я немного отдохну и догоню вас, – просил своих товарищей несчастный затухающим голосом и опускался прямо в снег. – Не могу, идите, я догоню...

Возиться было некогда, сопровождающий торопил, и каждый спешил тоже, чтобы к рассвету добраться до делянки, успеть осилить дневную норму – 8 фетметров на человека – и до полуночи вернуться назад. «Без выполненной нормы – из леса ни на шаг!» – таким было железное правило лагерного и производственного начальства.

«Норму дай – или умри», – так звучала та формула для лагерников. И это были не пустые слова. Среди немцев ходила молва, будто в одном из пермских лагерей начальство придумало для острастки «саботажников» и «симулянтов» наказание гнусом. Провинившегося «доходягу» связывали по рукам и ногам и раздетого оставляли в лесу на расправу беспощадным насекомым. До утра обречённый, как правило, не доживал. Его окровавленное тело, распухшее от мириадом укусов, находили в траве, будто примятой катком...

Возможно, это были только слухи. Но в них верили, поскольку в условиях царившего в «трудармии» беспредела творились такие чудовищные злодеяния, перед которыми бледнеют даже ужасы средневековья.

– Санями к нашей лесосеке не добраться, – продолжал свой печальный рассказ Я. Вельмс, – а в лагерь надо было вернуться «в полном составе». Живыми или мёртвыми – неважно. Главное, чтобы все были налицо. Часами, бывало, стояли мы перед воротами в ночной тьме. Голодные, до костей промёрзшие с дороги. Просили, умоляли. Нет, нельзя – ищите недостающих! Вот и тащили на себе полумёртвых и покойников.

В этой связи мне вспомнилось повествование упомянутого Степана Баста. Он передал рассказ своего односельчанина, ныне покойного Андрея Манна, как на лесоповале где-то в Свердловской области пытались они спасти умирающего товарища, чтобы не тащить на горбу покойника. Видя, что коченеет человек, и не имея возможности иначе помочь ему, попытались согреть его прямо над костром, да так, что одежда на нём дымиться начала. Но ничто не помогло – умер бедняга. Пришлось нести его на себе для учёта.

Никакого удивления или переполоха такие случаи не вызывали. Смерть стала обыденным явлением. Умирали десятками, сотнями, тысячами. Зимой покойников обычно свозили к берегу реки, а весной вместе с заготовленными для сплава брёвнами сбрасывали в речной поток, который уносил трупы далеко вниз по течению.

Бывало, что из нескольких тысяч «трудмобилизованных» в живых остались единицы. Об одном подобном лагере рассказал Иван Нагель, житель Фрунзе, нынешнего Бишкека.

Глубокой осенью 1942 года, после окончания строительства железной дороги Ульяновск–Казань, их под конвоем доставили в Молотовскую (ныне Пермскую) область. Как им сказали, – в окрестности города Губаха. Их задачей было проложить через лесные топи лежнёвую (из дерева) дорогу до створа намеченной к строительству Широковской ГЭС.

Об устройстве хотя бы относительно сносного жилья ни ГУЛАГ, ни потребители его принудительной рабсилы никогда не заботились. Особенно при передвижных работах. Так было, в частности, на строительстве тех железных дорог, где трудились наши немцы. Не изменило себе железнодорожно-гулаговское начальство и при сооружении 200-километрового пути вдоль Волги, откуда они прибыли после того, как к ноябрьским праздникам по проложенным ими рельсам пошли первые поезда.

Там они ютились, кто как мог: в палатках, палатках, земляных норах, продвигаясь вслед за готовыми участками пути. Неизменным был только конвойно-охранный режим да прицельная стрельба по живым мишеням при каждой попытке выйти за охраняемые «зоны» – рабочую и бытовую.

Но то было летом и осенью. На новом месте строители всю зиму жили в больших парусиновых палатках, где, несмотря на три железные печки, стоял адский холод, едва уступавший наружному. Лежали на голых нарах, сделанных из зелёных, свежесрубленных жердей, сосульки от которых свисали до самого пола. Спать было совершен-

но невозможно, даже если на ноги поверх чуней натянуть рукава фуфайки и накрепко завязать на подбородке уши от шапки. Ночи напролёт сидели у печек, спали кое-как – если, конечно, удавалось занять греющее местечко. Но там не давали покоя вши. Верхнюю одежду не снимали из-за холода, в бане не мылись за отсутствием таковой. Жирные белые насекомые ползали прямо поверх одежды, не давая себе труда прятаться по швам. Их было так много, что рубахи и подптанники будто разбухли. На холоде эти твари беспокоили меньше, а у печки невозможно было усидеть от нестерпимого зуда. Кто давил их ногтями, кто молотком, но толку от этого было мало.

В таких условиях работа, которая могла быть в охотку сытому и тепло одетому человеку, превращалась в адскую муку. А если добавить ко всему прочему ещё и нормы питания, катастрофически урезанные из-за низкой выработки, то станет ясно, почему люди, как выразился Иван, умирали «пачками».

К весне 1943 года из 2-х тысяч немцев осталось 600, к работе совершенно не пригодных. Одни были истощены до предела, других свалили цинга и пеллагра. С каждым днём количество умерших увеличивалось: людей косил авитаминозный понос. Подняться на ноги и пойти на работу почти никто уже не мог, а неработающим больше 600 граммов хлеба не полагалось. Круг замкнулся.

Прокладка лежнёвой дороги на этом участке остановилась, задерживалась доставка материалов, людей и оборудования для строительства ГЭС. Тогда из управления – а говорили даже, будто из самой Москвы – прибыла комиссия, чтобы разобраться во всём на месте.

– Что вы нас мучаете? Лучше расстреляйте сразу, если вам нужно от нас избавиться! – загудели узники этого лесного лагеря смерти, дневной рацион которых состоял, помимо хлеба, из «супа», на приготовление порции которого полагалось всего лишь 17 граммов овощей.

Чтобы не кормить понапрасну непригодных к работе, истощённых, больных людей, их «сактировали», как водилось в некоторых «трудоармейских» лагерях. Отпустили в Сибирь и Казахстан к семьям или родственникам, выдав на дорогу «сухой паёк» из расчёта 450 граммов хлеба в сутки, а также несколько небольших рыбёшек. В лагере осталось лишь 4 тракториста, которые должны были, как только тронется лёд, столкнуть в речку незахороненные трупы. Более полутора тысяч свезли их за зиму к берегу реки. Её название Иван за полгода так и не смог узнать, поскольку это считалось «военной тайной».

Подтверждение и дополнение этого трагичного рассказа я нашёл в сов. секретном документе, ставшем теперь достоянием гласности. Он вышел из стен бериевского логова и касался «списания контингента за непригодностью» с тем, чтобы избавить лагеря от отработанного человеческого материала. Письмо от 24 декабря 1942 г., подписанное начальником ГУЛАГа НКВД СССР Наседкиным и утверждённое зам. наркома Кругловым, устанавливало порядок «демобилизации» инвалидов и нетрудоспособных немцев, находившихся в «рабочих колоннах» при стройках и лагерях НКВД.

Помимо ханжеской терминологии, с помощью которой власть имущие камуфлировали геноцид против российских немцев, привлекает внимание и указание на то, что «демобилизуются» далеко не все инвалиды и нетрудоспособные. Инвалидность в результате «умышленного членовредительства», «истощения, связанного с систематическим недоеданием на почве отказов от работы» и «умышленного доведения себя до такого состояния иными способами» подлежала срочному расследованию опер-чекистскими отделами лагерей с преданием виновных суду. Эта формулировка допускала настолько широкое толкование, что большинство инвалидов должно было, по логике ГУЛАГа, оставаться (и умирать) в лагерях, как оно в действительности и происходило.

Не меньший интерес вызывает п. 8 этого документа. В нём предписывается, в частности, отправлять «демобилизированных» к месту жительства «с выдачей продовольствия на все дни пребывания в пути следования, но не более как на 10 дней по следующей норме на одного человека в день»:

- | | |
|--------------------|------------|
| 1. Хлеб ржаной | -450 грамм |
| 2. Сельди | -100 « |
| 3. Сахар | -15 « |
| 4. Чай суррогатный | -3 « |

Указанные нормы настолько мизерны, что изголодавшиеся люди зачастую съедали все полученные продукты за день, а то и в один присест. После этого человек тотчас погибал или обрекал себя на голодную смерть в долгом пути. Ещё более цинична вторая часть п. 8: «В случае пребывания в пути свыше 10 дней, за оставшее время выплачивается стоимость продпайка наличными деньгами, по единым розничным расценкам данного пояса.» Авторы не могли не знать, что продукты по установленным розничным ценам можно было купить в то время только при наличии карто-

чек, которые «демобилизованным» не выдавались. Рыночные же цены превышали официальные на несколько порядков. Так что выданные деньги, разумеется, никому не помогли.

Судьбу одного из «демобилизованных» (далеко не самую худшую) приоткрывает дальнейший рассказ И. Нагеля:

«Говорили, что один парнишка, откуда-то из немецких сёл под Омском, добрался до своей станции, встретил там опарашенного его видом деда-односельчанина и попросил подвезти до родного села. Дед уложил его на бричку, остановился перед домом, крикнул матери:

– Иди, возьми своего сына!

Удивлённая, испуганная, не чаявшая увидеть парня и потому обрадовавшаяся мать взяла его, невесомого, на руки и унесла в дом, будто ребёнка.»

Среди счастливиц, которым чудом удалось выжить на этом невероятно трудном пути, был и сам Иван Нагель. Но в кругу семьи он не задержался: через 2 месяца его снова отправили в «трудармию».

О том, как добирались от Краснотурьинска до Барнаула «сактированные» узники Базстроя, написал в 1993 г. из Алтайского края Яков Зелингер.

Когда он и его земляки узнали, что их отпускают к семьям, радости не было предела. Им вернули паспорта и выдали справки о том, кто они и куда едут. Каждого снабдили продуктами по нормам, установленным руководством НКВД: две булки хлеба, три селедки и немного жёлто-коричневого сахара на 10 дней пути. Привезли на станцию Серов – многие не могли ходить от слабости – и сдали сопровождающему. В товарном вагоне стояла печка, но не было топлива, а нары заменяла копна соломы. «В тесноте, да не в обиде» – на тридцать тощих мужиков места хватило.

В дороге от зимнего холода спасали теснота и печка, которую топили тем, что перевозила железная дорога. Куда хуже было с едой. Одни съели все продукты в первый же день, другие – за два. Самые терпеливые растянули паёк на пять дней. Потом начался голод.

В лагере им сказали, что после 10-ти дней пути их будет кормить сопровождающий из расчёта 10 рублей в день на человека. Это соответствовало цене небольшой картофельной котлетки или ломтика хлеба весом 75 граммов. Но и такой еды ждали с нетерпением. Не дождались. Сопровождающий куда-то ушёл и больше не вернулся. А вагон то и дело перегоняли с одного пути на другой или ставили в тупик. Якова избрали старшим по вагону и «толчком», но хождение по станционному начальству помогало мало.

За 10 дней они добрались только до Тюмени, и впереди было ещё впятеро больше пути.

Число людей в вагоне стало быстро убывать. Умерших зарывали по ночам в придорожные сугробы. С документами, чтобы весной можно было опознать оттаявших «подснежников». Ещё державшиеся на ногах отправлялись добывать еду и зачастую не успевали к отходу поезда. Те, что покрепче, оставались в пристанционных посёлках в надежде заработать денег. Были и такие, которые пытались уехать «зайцами» в пассажирских поездах. Каждый спасался как мог, чтобы не оказаться погребённым в снегу. Когда 20 дней спустя в вагоне осталось пять человек, Яков тоже решил рискнуть и забрался в Омске на подножку уходящего поезда. Через пять дней он был в Барнауле, а оттуда до Романовки – рукой подать.

Из 30-ти человек, пишет Я. Зелингер, они похоронили 13. Что стало с оставшимися в вагоне, он не знал. Удалось ли добраться до родных остальным – тоже неизвестно. В любом случае – счёт чрезвычайно трагичный. Он наглядно показывает, что значила для гулаговских палачей жизнь человека, да к тому же ещё и немца.

Впрочем, след одного из пяти оставшихся, похоже, вскоре проявился. Бывают же такие случайности! В моей почте оказалось знакомое читателю письмо украинского немца Павла Фигера, которого тоже «сактировали» в Богословлаге и, за отсутствием родственников в ссыльных местах, произвольно отправили в Алтайский край. Он изложил очень сходную историю поездки по железной дороге, включая исчезновение сопровождающего. Поскольку совпадало и время, то можно с большой долей уверенности утверждать, что Я. Зелингер и П. Фигер бедствовали в одном и том же товарном вагоне.

Павел Фигер написал и о своей дальнейшей участи:

«В Барнауле надо было определяться, куда идти, что есть. На дворе зима, холод, снег. А одежда летняя, ещё из школы ФЗО. И денег – ни копейки. Два дня жили на станции, пока не задержала милиция. Повели в райисполком, распределили по сёлам. Меня направили в Алейский зерносовхоз. В тот день оттуда как раз трактор за мукой приехал. Мне дали большой тулуп, посадили на сани. Ехать было далеко. Иногда мы останавливались, и тракторист проверял, жив ли я ещё, заставлял немного пробежаться за санями, чтобы согреться. Но я был очень слаб и часто падал. А тракторист – хороший человек попался – всю дорогу возился со мной, как с больным. В совхоз приехали среди ночи. По распоряжению директора вызвали столовского повара, немного покормили и оставили ночевать в конторе. Утром

директор расспросил, кто я и откуда. Велел в столовую ходить подкрепляться и только потом – на работу. Какое счастье, что такие добрые люди встретились! Через неделю я пошёл к директору, и он направил меня в кузницу молотобойцем. Но кувалда оказалась мне ещё не под силу. Тогда меня определили в мехмастерские, где ремонтировали, а также осваивали комбайны и трактора.

В конце мая 1943 г. я закончил курсы, а 1 июня по повестке военкомата меня снова отправили в 'трудоармию'. На этот раз – в угольную промышленность, в кузбасский город Осинники. Там мы построили вокруг своих барачных заборов с 'кукушками', и опять получилась 'зона'. На работу без конвоя ходили, но в город – ни шагу! А до шахты было всего метров триста, туда могли вызвать в любой момент...

Увы, далеко не у всех «сактированных», даже преодолевших трудный путь к семьям, столь благополучно складывалась судьба.

В уже знакомых нам воспоминаниях Иоганна Эйснера рассказывается о его поволжском земляке Иване Ангеле, которому удалось пережить аналогичный полуторамесячный путь из Вятлага в Хакасию Красноярского края.

На станции Кошьево – в 8-ми километрах от села Ново-Марьясово, куда выселили его семью, – И. Ангеля сняли с поезда и занесли в зал ожидания. Вызвали жену, которая увезла его к себе. Стали приходить женщины, чьи мужья и сыновья находились в лагерях Кировской области, чтобы расспросить о них. Увидев полупокойника, они уходили со слезами на глазах, представив своих близких такими же немощными и несчастными. Председатель колхоза разрешил жене Ивана три дня оставаться дома, а затем вновь отправил её на работу. Но мужа надо было кормить с ложечки как ребёнка – понемногу и почаще. Она попросила об этом старушку-соседку. Та его покормила и ушла. А голодный Иван поднялся, добрался до шкафа с продуктами и съел всё, что там имелось. Когда хозяйка пришла в обед с работы, он был уже мёртв.

Такие случаи были тогда нередкими. Но и выжившие «сактированные» протянули недолго. Большинство из них умерло 5-7 лет спустя, некоторые – после того, как ещё раз оказались в «трудоармии».

По моей просьбе Иоганн Эйсер привёл небольшую статистику. Она позволяет судить о том, сколько немецких мужчин погубили органы НКВД в своих человекобойнях.

Согласно данным Иоганна, из его родного села Ней-Варенбург (Зельманский кантон АССР НП) было выселено в Ширинский район Хакасии, а затем отправлено в «рабочие колонны» 24 мужчины. Назад

вернулось 13 «мобилизованных», погибло 11. Почти половина!

Не могу не рассказать и о судьбе упомянутого Герхарда Вильмса, который в 1943 г. вернулся искалеченным домой, в Чкаловскую (Оренбургскую) область. В Коркинском угольном разрезе Челябинской области ему разможило ногу, и 18-летний парень на всю жизнь остался инвалидом. Ему дали пенсию в пять раз меньше, чем тем, кто стал инвалидом на войне.

Это была одна из вопиющих несправедливостей по отношению к немцам, мобилизованным теми же военкоматами, которые отправляли на фронт мужчин других национальностей. Немецкие семьи не получали никаких пособий в случае потери кормильца. Более того, их даже не считали нужным оповещать о смерти близких. Как правило, эта трагическая весть становилась известной из писем товарищей по несчастью. А зачастую бывало так, что человек исчезал, не оставив следов...

Г. Вильмсу с огромным трудом удалось получить протез, который в конце концов его и погубил: в один из зимних дней он роковым образом поскользнулся и погиб. Ему было всего 58 лет.

Недавно мне в очередной раз попались на глаза известные ленинские слова о том, что «диктатура пролетариата по своей сути не связана никакими законами». И я подумал: не отсюда ли берёт начало эстафета большевистского беспредела и террора? Ведь известно, что в одном из секретных циркуляров Ленин предлагал выдавать по сто тысяч рублей за каждого повешенного кулака, попа или помещика.

«Мы имеем право на Красный террор», – вслед за Лениным написали на своём знамени деятели Коминтерна.

Сталин, продолжая большевистские традиции, «теоретически» обосновал необходимость пыток при допросах «врагов народа» и ввёл знаменитые своим произволом Особые Совещания – «тройки». Терроризм как практика был «юридически» закреплён Уголовным Кодексом РСФСР 1926 года в его печально известной 58-й статье. В то же время этот кодекс далеко не случайно не предусматривал наказания за геноцид.

Этот краткий экскурс в прошлое я предпринял для того, чтобы ещё раз показать, во власти какой бесчеловечной системы находились советские граждане, включая и немцев, насколько хрупкой была грань между жизнью и смертью у людей, которых заживо гноили в преисподней тайных лагерей НКВД.

Вновь предоставим слово Александру Мунтаниолу, который, как помнит читатель, бедствовал в лагерях Усолья:

«Большую партию 'трудмобилизованных', около трёх бригад, направили на строительство временного железнодорожного моста через реку Усолку. Так как место новой работы было удалено от лагеря не менее чем на 13-15 километров, то людей возил туда и обратно небольшой маневровый паровозик с прицепленной открытой платформой. Каждый день поутру нас приводили к месту стоянки, мы влезали на площадку и – 'наш паровоз, вперед лети!' Пыхтя и грохоча бежал он по холодным рельсам. А мы, повернувшись спинами против ветра, поплотней прижимались друг к другу, чтобы сохранить хоть частицу тепла в наших лагерных бушлатах. Прибыв, мы тут же приступали к работе: сооружали земляную насыпь, подносили и затаскивали огромные столбы вверх на мост, где их укрепляли мостовики из наших же немцев. Тяжёлая была работа. Целый день открыты всем ветрам, обогреться негде. У костров грудь в тепле, спина на холоде. Ослабевшие тела, едва прикрытые лагерной одеждой, не могли согреть кровь. Многие падали под тяжестью груза, большинство с трудом передвигало ноги. На беду наш паровозик всё чаще запаздывал, приезжал за нами уже совсем затемно. Мы нервничали, приходили в отчаяние, не зная, куда деваться от холода. Дрова кончались, костры затухали. До тошноты хотелось есть.

Однажды паровоз не пришёл совсем. О нас забыли или просто решили бросить на произвол судьбы. Разыгралась пурга, нас стало заносить снегом, и мы поняли, что до утра все замёрзнем. Мы с Францем – фамилия одного нашего острослова – предложили разделиться на две группы, т.к. с нами было два конвоира. Более сильные пойдут к лагерю, и тот, кто доберётся первым, потребует у начальства послать паровоз за оставшимися. Вохровцы запротестовали, настаивая, чтобы все покорно ждали паровоза. Но самые отчаянные из нас поднялись и скомандовали: 'Вперёд!' Стрелки угрожали оружием, а мы были непреклонны, и 20 человек двинулись по железнодорожному полотну в сторону лагеря. Наша колонна постепенно растянулась на несколько километров. Мы – человек шесть – шли, поддерживая друг друга. Силы окончательно иссякали, но у нас не было иного выхода, как двигаться вперёд. И вот первые потери – упали сразу двое из шестерых. К счастью, рядом была будка стрелочника. Оставив товарищей в тепле, двинулись дальше.

Наконец, увидели огни нашего лагеря. Какими родными они нам вдруг показались! Но когда добрались до вахты, нас не пропустили – от большой бригады остались единицы.

Несмотря на просьбы и требования, вахтёры были непреклон-

ны: соберите всех, тогда пустим! Наши доводы о том, что привести всех просто невозможно, т.к. многие замёрзли в пути или остались на месте, не помогли. Тогда я стал упрашивать позвонить начальнику лагеря Носкову, чтобы тот дал указание послать паровоз за людьми. Но вахтёр и это отказался сделать. Я зашёл в мастерскую, где был телефон, и попросил дежурную сообщить Носкову о случившемся. Она долго не могла осмелиться разбудить самого начальника, но моя просьба о помощи погибающим тронула её женское сердце. Их величество Носков дал указание пустить нас в лагерь.

Позднее мы узнали, что паровоз пришёл на Усолку, как всегда, на рассвете. Всю ночь находившиеся там провели без сна. Те, кто нашёл в себе силы, искали топливо, двигались, чтобы не отдаться во власть коварного сна. А для совсем слабых эта ночь оказалась последней: сутки без еды на морозе их организм выдержать просто не мог.

Оставшихся в живых на этот объект больше не посылали. Нашу бригаду за малочисленностью расформировали. Рабочие позже рассказали, что по железнодорожному полотну в сторону Усолки собирали трупы замёрзших. Часть нашли только весной, когда стали подтаивать сугробы.

За одну ночь погибла треть состава бригад. Вряд ли кого-то наказали за преступную безответственность. Всё было тихо, будто ничего не произошло. О нас попросту забыли – вот и всё! Такое бывало в то время очень часто. Ведь нас всё одно готовились пустить в распыл. Уничтожали 'пачками' безжалостно и беспощадно – 'во имя победы над ненавистным врагом!'

Приведу ещё один пример, подтверждающий вывод А. Мунтаниола о трагических перспективах нашего лагерного существования.

Упомянувшийся мной Эммануил Герцен, дошедший, как говорится, «до ручки» на кирпичном заводе в Потанино, был осенью 1942 года, после расформирования нашего 4-го стройотряда, переведён на центральную стройку, пополнив собой огромную армию «доходяг» 1-го стройотряда. А место немцев в Потанинском лагере заняли пленные румыны. Это были «первые ласточки» подобного специфического «контингента» на Бакалстрое. Позднее, с весны 43-го, к ним добавились немецкие военнопленные. Ещё позже – репатриированные советские солдаты и офицеры, побывавшие в немецком плену. Сообща они заполнили ряды бакалстроевцев, катастрофически поредевшие в результате массовой гибели «трудмобилизованных» российских немцев.

В 1-м стройотряде Эммануилу с самого начала не повезло. Как-

то удалось ему раздобыть настоящие картофельные очистки. Чтобы они стали более съедобными, он положил их в бараке на плиту. Но раздалась команда строиться, и все отправились на вечернюю поверку. А когда вернулись, в бараке стояла ужасная гарь. Очистки сгорели дотла. В наказание Эммануила отправили на 20 суток в штрафную бригаду, под начало Кирша, известного в лагере деспота-бригадира из бывших уголовников.

Штрафной барак охранялся отдельно, и ночью в туалет никого не выпускали. Поэтому у выхода стояла бочка, которую утром, до тех пор, пока не появится очередной новичок, должен был выносить спавший с нею рядом последний из прибывших. Это было унижительно и в то же время тяжело, так как сил становилось с каждым днём всё меньше. Их бригада считалась «слабосильной», работала по лагерному хозяйству, и больше, чем 600 граммов хлеба, никто получить не мог.

Выдержал Эммануил только 13 дней. Чувствуя, что приходит конец, он самовольно не вышел на работу и отправился с утра в санчасть – последнюю надежду на спасение. Но опухшие ноги, будто налитые свинцом, ни в какую не шли. Слабость не позволяла оторвать их от земли и сделать хотя бы шаг вперёд. Ничего не оставалось, как, нагнувшись, передвигать ноги руками. Шаг одной ногой, потом – другой. Ещё шаг... Ещё... Почти целый день понадобился ему, чтобы пересечь территорию стройотряда и добраться, наконец, до медпункта. Его, конечно, видели многие, но картина была настолько типичной, что на этот странный способ передвижения никто не обратил внимания.

– Полная дистрофия, цинга, трофические язвы, – констатировал доктор Вольф.

Такой набор лагерных болезней позволял ему направить Эммануила в стационар, на временное содержание и «лечение».

– Там находились не люди, а тени – плоские, почти не выделявшиеся на нарах. Мало кто ещё ходил, у многих не было сил даже есть, – заметил он. – «Лечение» состояло в том, что, кроме 600 граммов хлеба, выдавалась крошечная порция гороха с квашеной капустой. Такой рацион, конечно, не мог действительно поставить человека на ноги. Но этого от стационара никто и не требовал. Пребывание в нём сводилось к естественно-искусственному отбору: более сильные выживали, а те, что были постарше, послабее духом и телом, уходили на вечный покой.

Все разговоры между «доходягами» в стационаре вращались вокруг еды, рассказывал Эммануил. Вспоминали, что и как готовилось в их семьях, какие и в каком количестве продукты использова-

лись. Иные даже шутили, горько посмеиваясь и переходя на своеобразный русский язык:

– Турак я пыль, тома просиль фарить суп пошйже. Теперь, кохта приету, скапу пабе: «Фари суп, штоп лошка стоял.»

– Я котелок с сопой перу, путу тома черес окошка суп полючать.

– Не сапутъ конфоир с сопой фсять...

Но даже эти редкие шутки разбивались о суровую жизненную реальность:

– Турак, кута ты поетешь? У нас теперь нету тома.

– Почему нету? Лагерь – наш ротной том...

– А «са Химстрой» не хочешь? Там тля фсех места хватит.

Десять дней «лечился» Эммануил в стационаре. Тех, кто за это время не умер, – а таких была примерно половина – выписали в бригаду «лёгкого труда». Бывший спортсмен, физически здоровый, хотя и изголодавшийся человек, он выжил. Ещё 4 месяца «кантовался» на шестистах граммах хлеба в бригаде, которая работала на уборке лагеря и очистке близлежащей территории. И всё это время находился где-то посередине между жизнью и смертью. А сколько их, молодых и сорокалетних, ушло на тот свет, приняв мученическую голодную смерть?!

Она ходила вокруг нас, мы чувствовали её холодное дыхание. Каждый раз, ложась спать, надо было благодарить судьбу за то, что ты ещё жив. Завтра могут отправить в такое место и на такую работу, что либо не вынесет организм, либо тебя уничтожит случайность, либо не выдержат нервы, и ты сам сорвёшься в бездну.

Свидетельство тому – ещё один рассказ. Принадлежит он Егору Штумпфу, находившемуся в лагерях 32-го лесозаготовительного района, который поставлял лес Рудбакалстрою, где создавалась сырьевая база для будущего металлургического завода в Челябинске.

Я беседовал с ним в 1988 г. в Орловке – одном из старинных немецких сёл Киргизии. Егор не из здешних, он перебрался в Орловку с Майли-Сайских урановых рудников, куда его в 1948 г. вместе с юной супругой и другими строителями доставили под усиленным конвоем из-под Кыштыма, с химкомбината «Маяк», более известного как Челябинск-40. Здесь «трудмобилизованные» участвовали в возведении завода для обогащения урана.

В конце 1942 г. на Урале стояли необычайно суровые морозы, рассказывал он. В декабре, когда термометр упал ниже 50°, к лесобирже – главному лесоскладу – подали состав из 80-ти полувагонов (кому другому они нужны в такую погоду, да ещё на ночь глядя!).

Вагоны требовалось загрузить кругляком, причём срочно: железная дорога, как известно, требует за их простой немалые деньги.

Брёвна были толстые и для вконец ослабленных людей очень тяжёлые. Их руки являлись единственными «механизмами», с помощью которых предстояло выполнить эту поистине каторжную работу. Каждое бревно с помощью веревок и десятков рук по наклонным лагам с превеликим трудом вкатывали всё выше и выше, пока, наконец, достигнув верха и перевалив за борт, оно с грохотом не падало на днище, сильно раскачивая вагон.

— Вильст ниht геен, да бляйб дох штеен (не хочешь идти, так стой же) — да гоп! — бесконечно, до хрипоты повторял человек, который стоял на узкой доске, переброшенной через верхний угол полувагона. В едином ритме должен был он соединять усилия тех десятков рук, которые толкали бревно снизу, и тех, кто по другую сторону вагона тянул за перехлёстнутые через брёвна верёвки.

Прошла ночь, наступил новый день, с утра особенно морозный, а работа всё продолжалась. Смены не было и быть не могло: на погрузке трудился весь работоспособный «контингент» лагеря — 630 человек. Под крышей остались только работники пищеблока да полуживые «доходяги». Людей выгнали на погрузку после вечерней баланды, ещё не успевших прийти в себя после 12-часовой работы в лесу.

Их оставляли последние силы. Мороз свободно пробирался сквозь подбитые паклей «тёплые» брюки и бушлаты, огненный ветер до белизны обжигал лицо. Ноги намертво примерзали к пакляным чуням на подошве из грубых автомобильных скатов. Немилосердно стыли почти голые руки. Люди начали замерзать: голодное тело работа не согревает, отнимая, напротив, последние силы.

Безнадёжные оптимисты заверяли вконец изголодавшихся товарищей, что всем им вместе с хлебом выдадут за ночную работу двойную порцию баланды, а может быть даже по премиальному пирожку. Они были, как всегда, посрамлены. Никому и в голову не пришло поддержать людей после изнурительного труда на лютom морозе. Для лагерной верхушки это был просто рабочий скот. Завтрак оказался привычной мутной водичкой, благо она хоть немножко согрела насквозь промёрзшие тела.

Не успели они насладиться теплом наскоро разожжённых костров, как перерыв закончился. Начальство исходило криком, сменившиеся с утра конвоиры прикладами и пинками поднимали тех, кто ещё мог встать. Одетые во фронтовые полушубки и солдатские серые валенки, не расставаясь с оружием, ходили они вокруг костров,

со всех сторон оцепив грузовую площадку. Подойти к огню никто не смел — ещё издали людей встречал ствол оцетинившейся винтовки и окрик:

— Назад, стрелять буду!

Почти сутки продолжалась адова работа. За 23 часа было погружено 5 тысяч тонн леса. Состав ушёл в положенный срок, а на лесобирже осталось 28 трупов. Обморозились практически все. На следующий день на развод вышли всего 380 человек, многие с помощью палок. В некоторых бригадах осталось по 5-8 трудоспособных. Несколько трупов увезли с собой вагоны. Это были останки тех, кто стоял сверху на досках и не смог в момент падения бревна удержаться на вконец замёрзших и негнущихся ногах. Их придавило брёвнами, сдвинуть которые ни у кого уже не было сил.

Да и зачем? Всё одно где умирать...

С палкой пришёл на развод и Егор. Он обморозил ноги, но не знал, что уже началась гангрена. Санчасти в лагере не было, и он сам отрезал себе почерневший, бесчувственный палец ноги. Однако чернота поднималась всё выше. От полной ампутации ног или неминуемой смерти его спас хирург из своих, «трудмобилизованных», занятый на общих работах. Он оперировал Егора прямо в бараке при помощи бритвы, огня и одеколона. Я видел эти ноги: до колен на них нет живого места.

Егор Штумпф выжил. Глядя на него, 70-летнего, не верилось, что за его ещё крепкими плечами остались годы сталинских смертных лагерей.

Под одной с ним крышей жили два сына, оба прекрасные механизаторы. Всё в доме и на дворе было обустроено «по последнему слову техники». Где нужно — зацементировано и заасфальтировано.

Провожая меня до калитки, Егор сказал, устремив задумчивый взгляд вдаль:

— Забор в этом году красить уже не будем. Поедем в Поволжье, на Родину...

— Нам бы только земли кусочек. Всё остальное сделаем сами, — продолжила его мысль жена.

Это был, что называется, момент истины — выплеснулось самое сокровенное, давно лелеемое и выстраданное. Никто тогда и предположить не мог, чем обернётся для российских немцев мечта о Поволжье через год-два...

Увы, все перенесённые муки, казалось бы, дававшие народу полное право надеяться на возвращение доброго имени и своей Малой

Родины, были совершенно напрасными. У него отняли всё, вплоть до множества лучших сынов и дочерей, не вернув ничего. Так уж водится на нашей родине-мачехе!

Недавно мне встретила фраза, принадлежащая известному французскому писателю А. де Сент-Экзюпери. Она как нельзя лучше характеризует участь затворников «немецких» гулаговских лагерей: «То, что я выдержал, клянусь, не вынесло бы ни одно животное.» Конвейер смерти, запущенный на кремлёвском холме, работал на полную мощь, чтобы успеть перемолоть как можно больше немецкого «спецконтингента».

Рассказывает уже знакомый читателю Рейнгольд Дайнес:

«Смертность в лагерях Базстроя была очень высокой, особенно в 1942-43 гг. В большинстве своём умерли те, кто строил плотину на реке Турья. 'Трудармейцы' называли это гиблое место Беломорканалом. Ещё и сегодня здесь говорят, что в дамбе водохранилища больше человеческих костей, чем камня.

Трупы навалом закапывали в общих могильниках. Кладбище, если его можно так назвать, находилось в 42-м квартале. После войны его разровняли бульдозерами и построили на этом месте жилой район. Дом, в котором живёт моя сестра Фрида, стоит на том самом кладбище.»

Новые чудовищные факты всплывают, когда читаешь воспоминания упомянутого Виктора Риделя, проживающего теперь в Германии. Ему удалось пережить ужасы лагерей того же Богословлага.

В октябре 1942 г. его перебросили из города Тавда Свердловской области на строительство алюминиевого завода в будущем Краснотурьинске. Он попал в лагерь № 5, а рядом находился лагерь № 6, где размещалась «центральная больница». Фактически это была душегубка. В неё со всех окрестных лагерей свозили дошедших до смертной грани немцев, из которых мало кто выживал. Организация питания в больнице, как и в лагерях, была просто бесчеловечной, обрекавшей людей на неминуемую гибель. В бригаде, с которой В. Ридель прибыл на Базстрой, было 27 человек. К апрелю 1943 г. их осталось 8, да и то все — «доходяги». Остальные умерли или ожидали смерти в так называемой больнице.

Как-то в январе 1943 г. Виктор опоздал на развод. Бригаду уже принял конвой, и за зону его не выпустили. Всех пттрафников вывели из лагеря в то место в лесу, где зарывали «трудмобилизованных» немцев. Здесь были начаты две ямы длиной 3-3,5 метра, 2 метра шириной и 70 сантиметров глубиной, и их предстояло углубить. Возле свежесыпанных и уже занесённых снегом могильников была

вырыта землянка, в которой постоянно находились два «трудармейца». В их задачу входило заполнение ям покойниками, а также охрана «кладбища» от лесных хищников. Голые трупы укладывали как селёдку, в несколько рядов, «валетом», чтобы побольше вместились. Оставшиеся до верху полметра засыпали землёй.

Сколько немцев уже было захоронено в этих ямах, могильщики не знали. Сказали коротко: очень много...

Эти печальные воспоминания дополнил Андрей Рейзвиг, с которым В. Ридель работал в 1944 г. на Базстроевском «Беломорканале». Он рассказал Виктору, как зимой 1942/43 гг. возил из лагерей умерших от голода немцев на то самое лесное кладбище. На санях был укреплен большой, двухметровой длины ящик с крышечкой. В него грузили обнаженные тела, зачастую настолько смёрзшиеся друг с другом, что их приходилось разъединять при помощи лома. Каждый день Андрей вывозил тогда по 30-40 покойников. А ведь такие похоронные колываги имелись в любом большом лагере.

Знаю, читатель, трудно воспринимать такие рассказы. Однако без них нам не обойтись, ибо только показания очевидцев и документальные данные могут послужить достаточным основанием для выводов, которые мы попытаемся сделать. Но прежде — ещё несколько дополнений к уже рассказанному. Одно из них принадлежит Александру Мунтаниолу, который, как уже отмечалось, был «мобилизован» на Украине и с сентября 1941 г. находился в Усольлаге:

«К весне 1942 г. смертность в лагере настолько возросла, что это было заметно, как говорится, невооружённым глазом. На нарах стало просторней, и часто, просыпаясь по утрам, мы обнаруживали возле себя холодные трупы. Их уносили в так называемый морг, а оттуда вывозили на 'кладбище'. Похоронная бригада, которая этим занималась, была теперь, пожалуй, единственной, которая выполняла план: за ночь вывозилось по 50-60 умерших от голода людей.

В бригаде могильщиков работал и мой односельчанин Яков Петерс, который рассказывал, как происходило погребение. В один большой ящик складывали пять трупов. Если торчали руки и ноги, их обрубали топором. Подъезжая к вахте, крышку открывали, и вахтёр проверял, не прячутся ли среди трупов беглецы. Для этого он бил по их головам большой деревянной кувалдой.

Затем обоз из 5-10 саней следовал к месту, отведённому для захоронения 'трудармейцев'. Здесь, сколько хватало сил, долбили твёрдую, как гранит, мёрзлую землю, чтобы зарыть трупы. А ящик отправлялся назад, за новыми мертвецами.

Весной снег таял, и ветер разносил тонкий слой почвы, оголяя останки, становившиеся добычей собак и диких зверей.

Писарь, который вёл учёт, говорил мне, что с 25 сентября 1941 г. до начала марта 1942 г. он зарегистрировал 3700 умерших 'трудармейцев'. И это при том, что в лагере – с учётом пополнения, прибывшего в феврале 1942 г., – находилось 6 тыс. человек».

Есть среди моих материалов о Бакалстрое «секретный» снимок, невесть как попавший в Челябинский областной архив. На нём запечатлён момент рытья котлована для захоронения очередной партии погибших немцев. Большая куча земли, за ней – заснеженное поле посреди леса. Рядом с берёзой – тощие остовы людей с лопатами в руках. Печальная фотография. Она относится, видимо, к первым месяцам 1942 года. О поле, находившемся за 15-м стройотрядом, рассказывали многие. А в 1945 году, когда мы проезжали по этим местам в сторону станции Баландино, мне показывали берёзовый лес, в котором зимой 1942/43 годов громоздились огромные штабеля трупов. Их свозили со всех окрестных лагерей, чтобы по весне зарыть в большие ямы. (До той поры в них в изобилии водились лисы.) Стоило отойти на несколько метров от дороги, как земля начинала «дышать» под ногами, будто на болоте.

Уже тогда, в 45-м, кругом зеленела трава, и не было видно никаких признаков захоронений. Мало кто подозревал, что через чистенький берёзовый лес ушли в небытие десятки тысяч человек.

В 1993 г. на этом скорбном месте наконец-то был открыт обелиск в память о погубленных «трудармейцах» Челябинского металлургического завода НКВД СССР.

Как рассказывала Герта Факанкина, жительница Металлургического района Челябинска, одна из инициаторов увековечения памяти мучеников ГУЛАГа, площадь массовых захоронений – настоящих людских могильников – в этом месте занимает целых 8 гектаров. Ещё не так давно там был пустырь. Однако несколько лет назад захоронения нарушили, а городское подсобное хозяйство распахало и использует эту землю под посевы. До сих пор лемехи плугов выносят наружу человеческие кости.

Но хоронили умерших лагерников Бакалстрое не только на поле у берёзовой рощи. В первую зиму, в 42-м, их окоченевшие тела свозили за Доменстрой. Невдалеке находился 9-й стройотряд, состоявший главным образом из «доходяг», тоже свезённых из других лагерей. Им был предписан «лёгкий труд», которым ходячая часть из них и занималась. Основной работой этих истощённых донельзя

людей было рытьё ям для захоронения собственных и привозных покойников. Складировать в роще их стали только следующей зимой. Сегодня зарывали одних, завтра других, а через несколько дней – самих могильщиков. Иногда в те же ямы, которые они успели выдолбить в мёрзлой земле. Это был садистски изощрённый конвейер, назначение которого состояло в том, чтобы мёртвые хоронили своих мертвецов. Об этом в 1989 г., оглядываясь по сторонам, вспоминал пенсионер из Фрунзе (Бишкека) Яков Раль.

Он был в 7-м стройотряде художником, а в 9-й его нередко посылали для написания патриотических лозунгов во хвалу Партии, Правительства и Великого Сталина. Подобные транспаранты освещали последний путь невинных жертв изуверской системы большевизма. Это ли не кошунство?!

Летом 1943 года, когда была задута первая домна, через эти места пролегла насыпь эстакады, с которой на человеческий могильник огненным потоком полились тысячи тонн шлака. Теперь-то гулаговские палачи надёжно укрыли свидетельства массового уничтожения российских немцев.

В отзыве на одну из телепередач киргизской студии на немецком языке Траугот Кунце из села Сокулук, бывший узник Бакалстроля, написал: «О какой 'трудармией' вы говорите? Зачем обманывают людей? Это был такой же, как и у фашистов, концлагерь. Без крематория, но зато с ОПП...» И я не могу с ним не согласиться. Разница лишь в том, что у нас людей губили тайно, исподтишка, будто подло стреляя в затылок.

Упомяну ещё об одном устрашающем гулаговском объекте – строительстве железной дороги Котлас-Воркута и моста через Северную Двину.

С началом войны потребовалось срочно достроить Северо-Печорскую магистраль. Страна, отрезанная от Донбасса и Баку, остро нуждалась в воркутинском угле и ухтинской нефти. Здешний мост знаменит тем, что за нехваткой металла он сооружался из особой стали «ДС», взятой со строившегося в Москве 417-метрового «памятника» большевизму – Дворца Советов. Но не менее важно и то, что мост стоил жизни нескольким тысячам «трудмобилизованных» немцев.

Об этом рассказывается в повести знакомого мне по Бишкеку Антона Кноля «Котласская история». У него навсегда остались под Котласом отец и два его брата. Вернулся только муж сестры Егор Пауль, по рассказам которого и было написано произведение. Вот несколько фрагментов из него:

«...Как только Егор попал в 'зону', он сразу же попытался найти тестя. И вскоре ему это удалось. Тот находился в 'слабосильной команде' ОПП.

– Здравствуй, отец!

– Что тебе нужно? – кое-как выдавил из себя тесть.

– Вы что, не узнаете меня? Егор я.

– Какой Егор? Егор...

– Да как же, зять я Ваш, Егор Пауль!

– А, Егорка... Плохо мне, сынок. Очень плохо...

– Я принёс немного хлеба и сала.

– Егорка, это надо разделить на всех. Видишь: люди есть хотят. Отдай им всё...

– Ладно, отец, поднимитесь маленько. Сейчас я Вам помогу...

– Не надо, сынок. Всё, я уже не жалею. Пришла моя кончина, – с трудом выдавил из себя Антон Большой. (Он был двухметрового роста. – Г.В.)

– Нет, я спасу Вас! Вот, – Егор откусил по кусочку от хлеба и сала, положил тестю в рот. – Ешьте!

Отец закаплялся, и драгоценные крошки разлетелись по сторонам. В ту же секунду десяток наблюдавших за ними людей, сбивая друг друга с ног, что-то мыча, кинулись за этими крохами.

– Что вы делаете?

Егор достал перочинный нож, разрезал хлеб и сало на мелкие кусочки. Протягивая костлявые руки и чавкая беззубыми цинготными ртами, люди навалились на Егора:

– Мне! Мне!

Егор стряхнул с себя десяток скелетов, взял кусочки хлеба и сала, положил их каждому в рот. Они с жадностью жевали, причмокивая, как грудные младенцы.

Егор подошёл к тестю, чтобы ещё раз попытаться покормить его. Но было уже поздно. Антон, совсем небольшой, лежал на спине с широко открытыми глазами. В ямке его запавшей щеки застыла крупная слеза...

'Слабосильная команда' редела с каждым днём. Утром к бывшим английским полуподвальным складам, где она размещалась, подъезжал трактор 'ЧТЗ' с длинными саями, изготовленными самими 'доходягами'. Спецкоманда из их рядов, получившая дополнительный паёк за счёт того хлеба, который так и не достался умершим, спускалась вниз. Там в нечеловеческих условиях жили и умирали люди, строившие очень нужный стране мост.

– Ну, есть у вас 'наши', застывшие? – спрашивали похоронщики. Люди показывали на нары, где вперемишку лежали до предела ослабшие и уже мёртвые тела. Последних брали за руки и за ноги, а порой и просто волоком тащили по ступенькам вверх. Иногда прихватывали ещё тёплых, живых, но уже находящихся 'на грани'. Стаскивали с них одежду, которую бросали в общую кучу у входа в подвал, а тела грузили на сани, будто брёвна, навалом.

– Больше нет у вас дохлых?

– Нет, завтра приезжайте. Ещё будут.

Нагруженные сани с могильщиками наверху доезжали до ворот. Там вахтёр на всякий случай тыкал заострённым шупом в костлявые тела. От лагеря трактор поворачивал по накатанной дороге к лесу, где умерших зарывали в большие общие могилы, как скотину.»

Рассказанное в повести А. Кноля получило неожиданное подтверждение в письме, которое направил в «Нойес Лебен» в 1990 г. Пауль Штабель. «Я – один из тех, кто строил железнодорожный мост через Северную Двину в 1942 г., – писал он из посёлка Тульский Краснодарского края. – Прошу откликнуться тех, кто находился в вонючих подвалах Котласа, откуда на 'ЧТЗ' вывозили скелеты неизвестно куда.

Меня 'сактировали' из 73-го лазарета. В 'телящем' вагоне мы проследовали зимой до Новосибирска, и половина моих попутчиков по дороге умерла. Могилы тех, кого мы оставляли вдоль железнодорожного полотна и кого увозил 'ЧТЗ', навсегда останутся безымянными, а погибшие люди – без вести пропавшими. Потому что главный палач Берия ничего о них семьям не сообщал...»

Наконец, затронем ещё одну немаловажную тему. Она вписывается в содержание и хронологию данной главы, но имеет свои особенности. Речь пойдёт о судьбе группы молодых московских немцев, которых подвергли жестокой административной ссылке в Молотовскую (ныне Пермскую) область. Их родители были немецкими коммунистами, бежавшими в СССР после установления в Германии гитлеровской диктатуры. Этих людей арестовали в 1937-38 гг., обвинили в шпионаже, а затем расстреляли или приговорили к предельным срокам заключения.

Среди детей «врагов народа» был и Андрей Эйзенберг, способный литератор, проживавший в 1994 г. в Киеве. Рукопись его объёмистой повести «Не выскажусь – задохнусь» была направлена в московскую штаб-квартиру Общества «Видергебурт» и оставила у нас сильное впечатление. Но помочь с публикацией мы, к сожалению, не могли.

Я потерял связь с автором и до недавних пор не знал ни о его

личной судьбе, ни об участии произведения. Тем временем книга была издана на немецком языке в Германии. У меня сохранились записи, сделанные во время прочтения. Думаю, что они – как, разумеется, и вся повесть – представят интерес и для наших читателей.

Вот краткое изложение начальной части повести.

...Каждого из членов группы с неподдельным лицемерием обязали повесткой военкомата явиться с полной экипировкой в комендатуру Казанского вокзала Москвы. Разрешили пригласить для проводов родных. Поезд оказался пассажирским, и уже это всех насторожило.

На станции Москва-Сортировочная состав остановился. Сопровождающий объявил:

– Выходить запрещено. Всем собраться в середине вагона!

Появился ещё один военный и с ним два автоматчика.

– Граждане, по административному предписанию Правительства все вы с этого момента арестованы и передаётесь под надзор конвоя органов НКВД, поскольку являетесь детьми врагов народа. Вас доставят к месту назначения, – самодовольно, смакуя каждое слово, объявил палач в униформе. – Всякая самовольная отлучка считается попыткой к бегству и будет пресекаться расстрелом на месте.

Это было 18 ноября 1941 года, а через две недели поезд остановился посреди ночи на перегоне. Тайга, снег. Зелёная ракета для машиниста, и состав продолжил путь. А они, одетые по-летнему, отшагали 70 километров по санному следу до Мутнянского леспромхоза, который относился к Гремячинской углеразведке. Многие обморозились.

33 человека были выброшены, как хлам, в глухую тайгу. 3 коммуниста, 30 комсомольцев.

– Все они фашисты. Их не для работы, а на уничтожение доставили сюда. Чем быстрее подохнут, тем лучше, – объявил старший по конвою начальнику леспромхоза Хайдукову при передаче людей.

Норма выработки – 18 кубов дровяной массы на человека. Температура от 25 до 50° мороза. Одежда – та, что привезена с собой. Никакой переписки и информации о внешнем мире. Старший группы Андрей Рейс – боевой командир Красной Армии, снятый с фронта. Еда – хуже быть не может.

В Новый Год приехал заведующий подсобным хозяйством углеразведки Хабибулла Зиганшин. Привёз еду – пшено, две бараньи тушки, медвежий жир, а также лапти, десяток телогреек и солдатских шапок. О своём визите просил молчать.

Лёня Эйферт, бывший студент МГУ, всю ночь что-то писал, а потом исчез. Обнаружили его в помещении бани. Он повесился, оставив

письмо Сталину и своим товарищам. «Лично» – подчеркнул трижды.

«Дорогой Иосиф Виссарионович! Пишет сын немецкого патриота, большевика, учёного Г.Э. Эйферта, безвинно затравленного и расстрелянного органами НКВД в 1938 году... Моя смерть должна быть расценена не как проявление трусости... Я требую и настаиваю рассматривать её как акт гражданского протеста против произвола, чинимого над нами органами НКВД и Правительства. Я ухожу из жизни сознательно, с высоко поднятой головой!»

За четыре месяца в таёжный домик никто, кроме Хабибуллы, не приезжал. Начальство было уверено, что никого из них давно уже нет в живых. Заготовленные дрова никому не были нужны. Существует ли вообще леспромхоз Мутнянский? Что происходит в мире? Полная неясность. Все похожи на первобытных людей.

Через полгода их перевели в Гремячинск, где были почта и радио. Двухместная палатка с деревянным тамбуром для охранников. Здесь размещались не осуждённые, но полностью отданные во власть конвоя люди.

– Паразиты, не понимаете слов?! Вам нужно пулю в лоб?! Получите, если не постройтесь за пять минут! – таковы были самые вежливые слова охранников.

Старший по конвою был более категоричен:

– Через 30 минут всем быть готовыми к маршу. Кто опоздает – расстреляем. Нам на то даны полномочия, так что с нами шутки плохи!

Спустился полчасика:

– Не разговаривать! Вперёд – марш, пшли, гады!

В комендатуре с них взяли расписки примерно такого содержания: мы не имеем права вступать в связь с местными девушками, а если кто-то из них забеременеет, то виновного будет судить трибунал как за диверсию и посягательство на жизнь советского человека.

На работу они ходили без конвоира, но дали подписку, что будут избегать разговоров о политике. За нарушение – 10 суток карцера.

Прораб буровых и горных работ Соколов, ярый немцененавистник, кричал на них с утра, по пути на работу (идти надо было пять километров):

– Вы чего плетётесь, фрицы? Сбежать хотите? Презираю вас, фашистов! Всех изведу! Гнить в этих шурфах вашим вонючим костям!

Андрей Рейс одним ударом сбил Соколова с коня. А великан Гариф из местных говорит:

– Мы ничего не видели, Соколова тоже.

– И мы ничего не видели, – подтвердил Илюша Брюкер.

На следующее утро Соколов отбыл «в командировку».

В сентябре 1943 г. неожиданно приехало высокое начальство из НКВД, и их снова начали сопровождать конвоиры. Ещё более ухудшились условия содержания. Кормили в последнюю очередь, из немытой посуды форменными помоями и объедками хлеба.

Однажды во время обеда один шахтёр крикнул официантке: «Сволочь! Для фашистских выродков сало есть, а для нас, патриотов Родины, нет?» И ударил её по лицу. Потом подошёл к одному из немцев и выхватил у него из тарелки кусочек сала. Немец дал ему по физиономии. Тот рухнул на пол, началась драка. Порядок удалось восстановить только с появлением конвоиров, после нескольких выстрелов.

В итоге разборки шахтёру назначили штраф, а немцу – 15 суток карцера.

Был в Гремячинске и лагерь для депортированных поволжских немцев, сообщает далее А. Эйзенберг. Их держали в большой строгости, мужчин и женщин водили под конвоем с собаками. К началу 1943 года почти вся первая партия этих людей уже лежала на погосте, отведённом в одном из дальних уголков леса...

Как, очевидно, заметил читатель, главной темой большинства приведённых воспоминаний о «трудармии» образца 1941–43 гг. являются физические и моральные муки, голод, смерть. Специально эти рассказы я, конечно, не подбирал. Они таковы, поскольку условия, в которых находились «трудармейцы», были воистину изуверскими.

Живые свидетельства, повторяющиеся в них сюжеты дают основания для выводов, которые помогут нам лучше понять террористскую суть «оригинального» советского способа угнетения и уничтожения людей – «рабочих колонн» ГУЛАГа НКВД СССР.

Поскольку большинство этих формирований находилось в ведении НКВД и в них были установлены единые режимные и материально-бытовые условия, предписанные для ГУЛАГа, то мы будем опираться в своих рассуждениях на сравнительный анализ.

Из приведённых свидетельств следует, что общим для всех «немецких» концлагерей признаком был, во-первых, массовый, целенаправленно организованный, усиливавшийся в течение 1942 года голод. Некоторое исключение составляли так называемые контр-агентские лагеря ряда промышленных министерств, где «трудмобилизованные» питались по обычным продовольственным карточкам (что, как мы видели, тоже означало хроническое недоедание).

Во-вторых, нормы питания, установленные в «немецких» лагерях, фактически служили орудием планомерного физического унич-

тожения «трудмобилизованных». В сочетании с моральным гнѐтом, непосильным трудом, отсутствием спецодежды систематический голод был не чем иным, как слегка завуалированной формой государственного геноцида.

В-третьих, в отличие от заключённых ИТЛ, которых хоронили на общих кладбищах, умерших немцев закапывали в специально отведённых, удалённых от населённых пунктов местах. Нередко в этих целях отводились площади, предназначенные для последующей застройки или производственного использования. Официально данные территории кладбищами не считались и законодательству о местах захоронения не подлежали. Видимые следы подобных захоронений тщательно устранялись.

Отсутствие строгой отчётности по случаям смерти «трудмобилизованных» (как, скажем, в ИТЛ) в сочетании с засекреченностью их захоронений позволяли руководству лагерей ликвидировать трупы любыми доступными способами. Поэтому в ряде мест их, к примеру, массами сбрасывали в весенние речные потоки.

В-четвёртых, по соображениям секретности был унифицирован порядок захоронения умерших «трудмобилизованных». Близ населённых пунктов трупы вывозились из лагеря только ночью, в специальных (тоже стандартных) закрытых ящиках. С целью предотвращения побегов, а в ещё большей мере – чтобы исключить возможность опознания останков в будущем, тела умерших закапывались в котлованы в обнажённом виде.

В-пятых, в официальных извещениях о кончине, которые в редких случаях направлялись родственникам «трудмобилизованных» (как правило, не на гулаговских бланках), подлинные причины смерти – дистрофия, голодный отѐк, упадок сердечной деятельности на почве истощения и т.п. – и места захоронения не указывались (в отличие от заключённых ИТЛ).

Таким образом, находит подтверждение высказанная ранее мысль о том, что, несмотря на подвластность одному и тому же хозяину – вездесущему ГУЛАГу, – «рабочие колонны» не были лагерями для заключённых или интернированных в строгом смысле слова. Чрезвычайное положение, созданное для затворников этих лагерей в 1941–43 гг., даёт полное основание утверждать, что их относили к особой категории политических преступников.

По всей видимости, организация «рабочих колонн» рассматривалась на «красном Олимпе» как способ внесудебного наказания «тысяч и десятков тысяч диверсантов и шпионов», о которых гово-

рилось в Указе от 28 августа 1941 года.

Из свидетельств очевидцев и жертв «трудармии» вытекает также следующее: на протяжении первых двух лет войны главные условия выживания немецких лагерников — питание, одежда и работа — были усугублены настолько, что можно с полным правом говорить уже не о наказании, а о варварской расправе с «грешными» российскими немцами.

Наконец, нельзя не упомянуть о традиционном большевистско-сталинском методе тотального засекречивания кровавых деяний, совершённых советским лагерным государством в отношении своих граждан. В том числе — почти полумиллиона российских немцев, которые были обречены на мучительную смерть с расчётом на то, что это преступление никогда не станет достоянием гласности.

К сожалению, этой цели в немалой мере удалось достичь. Несмотря на все изменения, которые произошли в последние годы на территории бывшего СССР, большинство документов, касающихся «рабочих колонн», до сих пор не рассекречено. В России факты антинемецкого геноцида умышленно замалчиваются. Официальная Германия не торопится взять на себя ещё один грех (пусть даже косвенный) и «охраняет» от страшной правды своё население.

В то же время актуальность вскрытия этой правды всё более нарастает, т.к. стремительно уходят из жизни последние свидетели «немецкого холокоста».

Эти выводы, как и идущие от души повествования «трудармейцев», наводят на грустные размышления, и не только о зловещих событиях полувековой давности. Не менее тяжкие раздумья вызывают сами нравы общества, в котором столь долго, изощённо, с садистским остервенением манипулировали сознанием и жизнью миллионов людей.

Октябрьская революция была овеяна идеалами справедливости и прочими высокими словесами, которые нашли широкий отклик среди народов огромной Российской империи.

Друг за другом последовали «великие» социальные эксперименты — индустриализация, коллективизация, сталинские пятилетки. Неуклонно нарастало «обострение классовой борьбы». В ходе многочисленных террористических кампаний, прозванных «ежовщиной», «бериевщиной» и т.п., люди в массовом порядке уничтожались во имя «высших интересов государства». Развернулась смертельная борьба с фашизмом под знаменем «великого» Сталина, стоившая стране многих миллионов человеческих жертв.

«Любой ценой» советский воин должен был взять к празднику высоту, село, город, даже если половина «личного состава» (не лю-

дей!) оставалась на поле боя. «Любой ценой», в кратчайшие сроки предписывалось построить железную дорогу или завод — ценой человеческих жизней, но не затрат на питание: подневольные люди стоили дешевле брюквы.

В стране по-прежнему насчитывается огромное количество «пропавших без вести» — никто не знает, где и как они окончили свой земной путь. Тысячи останков незахороненных воинов и по сей день находят на местах бывших сражений — в брянских лесах, Карелии, Ленинградской области. Мы в своей истории настолько привыкли к гигантским жертвам, что давно разучились ценить каждого человека в отдельности.

С ранних лет вокруг нас постоянно звучали глубоко антигуманные по своей сути афоризмы «жизнь — копейка», «пуля дура — штык молодец» и т.д., которые низводят человека с высокого пьедестала до роли простого винтика, а то и пушечного мяса.

Жертвами инквизиторов XX века стали и российские немцы. Для кровопийц от партии и НКВД они были не просто поголовными «врагами народа», которые подлежали тотальной изоляции от общества. Им отводилась роль объекта сталинской мести, «козлов отпущения» за катастрофическое начало войны с Германией. Кроме того, они послужили подопытным народом в «великом эксперименте» по деэтнизации многонациональной России. Наконец, кремлёвским боссам требовались каторжники, которые бы не только расплачивались за неудачный ход войны, но и создавали материальную базу для достижения перелома в ней.

Думаю, не ошибусь, если скажу, что в Бакалстрое ставка с самого начала делалась на массовую гибель людей. Потому они и были завезены сюда с избытком. Там, где мог справиться один физически крепкий человек, ставили двух голодных, которые через некоторое время умирали от истощения. Не беда: в запасе был ещё и третий. Пока умирали трое, стройка продвигалась вперёд. Какой ценой? Неважно! Энкаведешники действовали по принципу: подохнут «доходяги» — подбросят свежую рабсилу; на наш век этого дерьма хватит! Радовались каждому мертвецу. Говорили с ухмылкой: «Ещё одним фрицем меньше...» Будто на передовой автоматом орудовали, а не травили людей в глубоком тылу.

С такими фактами мне приходилось иметь дело не раз. О них рассказывали не только бывшие «трудмобилизованные», но и дети, внуки тех, кого уже нет в живых. Слушал я их и думал: нет, не о случайностях здесь идёт речь. Сотни тысяч российских немцев умерли голодной смертью в лагерях НКВД, но ни одной их могилы, ни

одного официального кладбища вы нигде не найдёте. В большинстве случаев вам даже не укажут, где было место «братского», сотнями в одной яме, захоронения.

В сталинско-бериевских лагерях ГУЛАГа более, чем где-либо, проявилась истинность известного утверждения: отношение к мёртвым – это важнейший показатель отношения к живым.

Сравните ухоженные кладбища на Западе с неприглядными, заросшими бурьяном российскими погостами. То и другое – продолжение реальной жизни, наглядное проявление общественной морали. Да, по тому, как заботятся о памяти мёртвых, можно безошибочно судить о живых.

В высокой значимости этих слов я убедился, прочитав взволнованную статью бывшего актёра Немецкого театра в Алма-Ате Виктора Претцера, опубликованную в «Нойес Лебен» в 1996 г. Незадолго до этого он посетил Поволжье, чтобы отдать дань памяти родине своих предков.

Вот небольшой отрывок из этой статьи:

«...Увиденное на старинном кладбище в Маркштадте меня потрясло. Я долго бродил в надежде найти целый надгробный камень или склеп. В Маркштадте жило немало состоятельных людей, которых хоронили в фамильных склепах. Почуввав запах дыма, я отправился туда. Передо мной лежала окутанная дымом поляна. Я подошёл ближе и застыл, как вкопанный. Горели собранные в кучу останки погребённых до 1941 г. немцев. Это было ужасно. Всюду опустошённые могилы, разрушенные надгробья и множество – будто они дождём выпали с неба – людских останков. На месте сгоревших костей лежали кучи пепла. Мне не хотелось верить своим глазам. Но это была явь: один склеп был доверху заполнен костями...

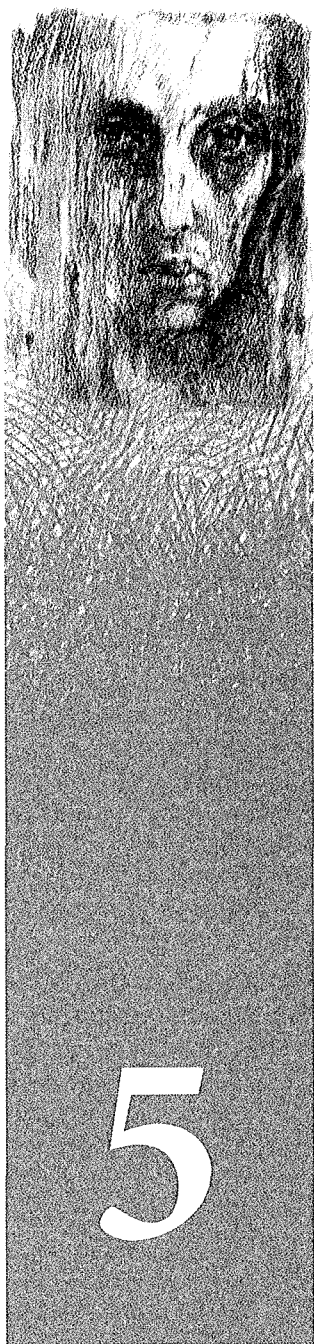
И это происходит в середине 90-х годов?!»

* * *

Таким он был, проклятый 1942-й год. Время беспощадного военно-лагерного режима и героического сопротивления наступающей смерти, которая унесла многие тысячи наших товарищей по несчастью. Никто из выживших тогда не знал, что принесёт год 43-й, каким грузом он ляжет на плечи тех, кому удастся выжить в тяжелейшей неравной борьбе за существование.

Храня в памяти эту тяжесть, не могу не привести стихотворение, давно обратившее на себя моё внимание. Его автор – Роберт Лейнонен, с которым я недавно познакомился в Тюрингии. Эти во многом символические стихи, написанные, между прочим, задолго до «перестройки» и «демократизации», носят название «Рюкзак»:

Идёт старик. Несёт рюкзак.
Дугой согнуло. Вот чудак!
Скажи, папаша, в чём нужда
Таскаться с ним туда-сюда?
Сынок! И я когда-то шёл
По жизни налегке.
И жить мне было хорошо,
И пусто в рюкзаке.
Но год от года за спиной
Всё рос мой кузовок.
Набили финской войной
Армейский вещмешок.
Войны второй взвалилися груз,
Блокада и мороз.
Фашист кричал: «Сдавайся, русс!..»
А я мешок свой нёс.
Тащил рюкзак пятнадцать лет
По ссылке, всё продув.
И лишь за то, что бабкин дед –
Немецкий стеклодув.
В лицо плевков: «Ты немец гад!
Забудь качать права!...»
Там в рюкзаке они лежат,
Те тяжкие слова.
Вот так всю жизнь рюкзак и нёс
На каждый перевал.
Как свой нелегкий крест Христос,
И падал, и вставал...
Не думай, сын, что я один!
Нас много стариков,
Не разогнуть которым спин
Под грузом рюкзаков.
А если сила есть в руках,
И духом ты герой,
Поройся в наших рюкзаках
И тайны их раскрой.
Пусть люди знают, что и как,
Не зря же я тащил рюкзак
И сотни тех, чей скорбный путь
Вдруг оборвался где-нибудь...



ЦВЕТЫ ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ

Теперь мне предстоит самое трудное: рассказать о пребывании в «трудармии» немецких женщин. Поведаť о недавних сельских и городских красавицах, ласковых жёнах и нежных подругах. Ни за что ни про что их загнали в лагерь, за высокие заборы, отдав под власть безжалостных органов НКВД. Примерно 300 тысяч любящих матерей, жён, сестёр, дочерей одним росчерком сталинского пера превратились в рабынь Советского государства.

Как и каторжан-мужчин, их приставили к самым тяжёлым физическим работам. Руками, привыкшими нянчить детей, украшать и лелеять домашний

очаг, они должны были рыть котлованы, валить лес в уральской и сибирской тайге, строить железные дороги, добывать уголь в шахтных забоях, возводить заводские корпуса.

Подумать только – ведь ни одно общество, каким бы бесчеловечным оно ни было, не выводит на поле брани и не подвергает смертельной опасности женщин! Это – великая гуманная традиция всех без исключения народов. Лишь большевистская власть, отрекшаяся от общечеловеческих ценностей, дерзнула поставить наших женщин, а заодно и будущее немецкого народа СССР, на грань полного небытия.

Подняв руку на немецких женщин, вырвав их из без того неустроенной ссыльной жизни, советская верхушка нанесла жестокий удар по этносу в главнейшей сфере его жизнедеятельности – семье. Обездолив сотни тысяч оставшихся детей и стариков, лишённых нормального жилья, имущества и каких-либо средств к существованию, правители вместе с будущим украли у немецкого народа СССР и его прошлое – преемственность национальных обычаев и традиций.

К тому же женщины, как правило, водворялись в такие места, где практически не было «немецких» мужских лагерей. И поскольку наши девушки видели через колючую проволоку только мужчин других национальностей, то именно с ними чаще всего складывались у них семьи в послевоенные годы. Дети таких родителей чаще всего вырастали русскими не только по фамилиям и именам, но и по своему менталитету.

Эта губительная для этноса разновидность геноцида была закреплена государственной политикой «вечного поселения» и строгими запретами на свободу передвижения. Спецкомендатуры, допускавшие восстановление прежних брачных союзов, в то же время напрочь пресекали «безосновательный», на взгляд властей, выезд в другие районы для образования новых немецких семей.

В точно таком же положении оказались после войны и немецкие мужчины. В итоге широко распространились межнациональные браки, ставшие основным, организованным сверху средством ускоренной денационализации (главным образом – русификации) российских немцев. У этой части нашего народа изменилась не только социально-культурная среда. Необратимым переменам подвергся и естественный фундамент любой нации – её генофонд.

Из сказанного следует, что «мобилизация» немецких женщин в «рабочие колонны» была неотъемлемой составной частью сталинского «эксперимента» по ликвидации российских немцев как народа.

Эта сверхзадача советских властей зримо ощущается за казёнными

ми фразами сов. секретного Постановления ГКО от 7 октября 1942 г. «О дополнительной мобилизации немцев для народного хозяйства СССР». Согласно данному акту, как уже отмечалось, подлежали отправке в «рабочие колонны» не только мужчины новых лет рождения, но и женщины-немки в возрасте от 16 до 45 лет. Исключение составляли лишь беременные и женщины, имевшие детей до 3-х лет.

Даже поверхностный анализ этого постановления показывает, что оно, вопреки своему наименованию, выходило далеко за рамки решения народнохозяйственных задач. Такой вывод напрашивается сам собой, если поставить естественные вопросы, навеваемые его содержанием. Во-первых, почему изо всех женщин многонационального государства эта акция коснулась только представительниц немецкой национальности? Во-вторых, столь ли безысходным было экономическое положение СССР, если власти сочли возможным ограничиться «мобилизацией» лишь немецких женщин? Наконец, в-третьих, могли ли эти женщины поддержать на плаву экономику огромной страны, тем более, что их было всего несколько сот тысяч?

Тщетно было бы искать разъяснений по этим вопросам в документах того времени. Не содержал ответов, естественно, и сам текст Постановления ГКО (хотя для «внутреннего пользования» соответствующее обоснование, возможно, и разрабатывалось). Напротив, авторы из НКВД (их почерк просматривается совершенно явственно) стремились поглубже запрячь подлинный смысл и предназначение своего творения.

В этом смысле данное Постановление весьма напоминало Указ от 28 августа 1941 года и по-своему дополняло его. Но по вопиющей бесчеловечности и поставленным целям оно далеко превосходило всё, что было предпринято в отношении российских немцев с начала войны.

В первую очередь это относится к той части Постановления, которая затрагивала святая святых каждого народа – семью и детей. Ясно, что «мобилизация» обоих родителей могла принести им лишь полное разорение, сиротство, смерть.

В п. 3 Постановления говорилось: «Имеющиеся дети старше 3-летнего возраста(!) передаются(!) на воспитание(!) остальным(?) членам данной семьи. При отсутствии других членов семьи, кроме мобилизуемых, дети передаются на воспитание ближайшим родственникам(!) или немецким колхозам(!!!).

Обязать местные Советы депутатов трудящихся принять меры к устройству(!) остающихся без родителей(!) детей мобилизуемых немцев.»

В том, что означала на деле каждая фраза этого документа, мы

убедимся, ознакомившись с воспоминаниями тех, кого он обжёг тяжким сиротским детством.

А пока подведём короткий итог. Постановление ГКО от 7 октября было далеко не рядовым репрессивным актом. Оно свидетельствует о том, что сталинское руководство и его подручные из НКВД-НКГБ выпли на новый «виток» антинемецкого геноцида.

Как и всё, что касалось государственного террора, национальная «чистка» проводилась последовательно, планомерно и ревностно. Для уничтожения народа надо было сначала изолировать мужчин, затем отнять матерей у детей, бросив последних на произвол судьбы, и погубить стариков. Тогда не могли не пересохнуть источники национальной жизни: мужчины погибнут в лагерях голодной смерти, женщины выйдут замуж за других, дети забудут родной язык и культуру. А чтобы они выросли рабами, им фактически закрыли путь к образованию.

Этот изуверский план, реализация которого была начата Указом 1941 года и продолжена постановлениями ГКО 1942 года, осуществлялся со ссылкой на чрезвычайное положение страны и всеоправдывающие условия военного времени.

Не будем забывать, что указанное Постановление готовилось и принималось осенью 1942 года, в один из самых напряжённых периодов войны. После тяжелейших оборонительных боёв части Красной Армии были вынуждены отойти на восток вплоть до самой Волги. Завязалось ожесточённое сражение за Сталинград, от исхода которого зависела судьба Советского государства.

Логично предположить, что в этих чрезвычайных условиях кремлёвская верхушка разрабатывала превентивные меры на случай, если развитие событий на театре военных действий будет чревато развалом СССР. Вполне вероятно, что в число этих мер входила и ставка на сконцентрированных в лагерях российских немцев, которые рассматривались как принудительная дармовая рабсила и одновременно как политические заложники.

Удвоение их числа за счёт «мобилизованных» женщин было важно как в количественном, так и в качественном отношении. По замыслу советских «стратегов», бедственное положение и массовая гибель немецких мужчин, женщин, детей и стариков должны были оказать психологическое воздействие на противоборствующую сторону, побудив её ослабить натиск на советские войска и пересмотреть конечные цели восточной кампании Гитлера. В случае полного поражения Красной Армии и разгрома коммунистической им-

перии можно было бы попытаться выторговать собственную жизнь и благополучие, используя в качестве разменной монеты оставшихся в живых немецких заложников.

Написанное здесь по поводу Постановления ГКО от 7 октября 1942 года является результатом наших логических умозаключений. Конечно, они не голословны и опираются на текст самого акта (но в ещё большей мере – на противоречия, недосказанность, фальшь, которыми он пропитан насковзь). Такой метод анализа вполне допустим при публицистическом разборе событий и документов. Его преимущество в том, что он, основываясь на реальных фактах и текстах, позволяет их интерпретировать, читать «между строк», увидеть то, что авторы пытались спрятать за частоколом казённых фраз.

Сказанное относится и к нашему выводу о том, что немецкие «трудармейцы» были не только жертвами, но и политическими заложниками сталинского руководства и НКВД. Этот тезис подтверждается свидетельствами очевидцев, на себе испытавших, в какие нечеловеческие условия были поставлены в «рабочих колоннах» десятки и сотни тысяч немецких женщин.

Писать о женской «трудармии» ещё труднее, чем о мужской. Когда речь заходит о несчастьях «прекрасного пола», на душе становится особенно тяжело и больно. На долю женщин выпало столько испытаний и горя, что невольно спрашиваешь себя: как же сумели они всё это вынести – потерю имущества и Родины в 41-м, расставание (нередко навсегда) с детьми в 42-м, возвращение в бездомную семейную жизнь в 46-м? И ещё: как им удалось выйти из этого ада, сохранив живую душу, любящее сердце, веру в жизнь? Да к тому же дожить до преклонного возраста, что посчастливилось соавторам этой книги, моим добровольным помощникам?

Писать об этом трудно ещё и потому, что нам, мужчинам, почти невозможно вжиться в женскую психику, проникнуться неразгаданной «женской логикой», прочитать никем ещё не раскрытую «женскую книгу». О женщинах, как и о любви, повествовали все писатели и поэты. Но говорить от имени женщин вправе только они сами.

Мне же предстоит описать «трудармейскую» женскую долю такой, как её видели, чувствовали и переживали немецкие женщины. Своими, как говорится, фибрами души. И какой она осталась в их цепкой женской памяти. Я дерзну это сделать потому, что по прочтении первого издания «Зоны полного покоя» в начале 90-х годов наши женщины откликнулись сотнями писем, целыми тетрадами воспоминаний о «своей» трудармии и о трудной послевоенной жизни.

В отличие от мужских рассказов, их повествования более эмоциональны, страстны, насыщены деталями, которые, конечно, облегчают работу над этой сложнейшей темой. Женская память схватывает то, что обычно ускользает от мужского внимания. Женщины сильнее ощущают окружающее, потому что оно захватывает сферу их эмоций и душевных переживаний.

Из многих судеб, достойных отдельного рассказа, я хочу особенно внимательно проследить за одной, весьма и весьма характерной. Она, на мой взгляд, может позволить высветить собирательный образ терпеливой, работающей и домовитой российско-немецкой женщины. Это, конечно, не означает, что речь в главе пойдёт только об одной героине. Напротив, типичность представленного образа позволит поведать о многих женских судьбах.

...Начиная с 1941 года, когда ей было 15 лет, её жизнью повластно распоряжались по сталинскому повелению органы НКВД-НКГБ. Тоталитарный режим корёжил и гнул её судьбу именем партии и Советской власти. Лишив основного атрибута человеческой свободы, её, как послушного зверька, содержали в загоне, оставляя единственный дозволенный выход. И она вынуждена была идти этой предначертанной сверху дорогой. В итоге ей пришлось прожить свою и одновременно чужую, принудительную жизнь.

Родилась Вера Геннинг – назовём её так – крымской золотой осенью 1927 года. Её отец Фридрих разъезжал со своей походной кузницей по степям Южной Украины и однажды в Херсонщине набрёл на кучерявую украинку Анну. Она и стала матерью троих немецких детей, с ними вместе научилась немецкому языку. Иначе было нельзя: они жили в селе Большое Карлсруэ на севере Крыма, где все говорили только по-немецки.

Два класса немецкой школы успела пройти Вера до того дня, как в 1937 г. арестовали их любимого учителя. Создалось впечатление, что для того и забрали, чтобы найти повод учить детей по-русски. С этих времён и началась для большинства российских немцев двойная языковая жизнь: дома и на улице говорили по-немецки, в школе и общественных местах – по-русски. Но пройдёт десяток лет, и от двуязычия останется только немецкий островок – семьи, в которых есть дедушки и бабушки. А ещё через 20 лет почти бесследно исчезнет и он. Увы, немецкая семья перестанет быть колыбелью родного языка, национального духа и традиций.

К тому времени, когда запылала война, за плечами у Веры было 6 классов. И не менее десятка вызовов родителей в школу за её маль-

чишески дерзкое поведение. Ещё раз забегая вперёд, отметим: ох, как пригодились ей в жизни эти «недевчачьи» черты характера!

А тогда, спустя два месяца после начала войны, крымским немцам было велено срочно подготовиться к эвакуации, и притихли даже самые неутомимые подростки. Ни шума, ни уличных игр, ни смеха. Да и взрослые говорили друг с другом вполголоса, будто заговорщики.

18 августа – эту дату Вера запомнила навсегда – длинный состав из товарных вагонов отправился со станции Джанкой, «столицы» крымских немцев. Уезжали с тревогой в душе, но и с надеждой, что всё, даст Бог, образуется и им удастся вернуться в Крым, на Родину. Не знали они, что Москва уже подняла топор войны против «своих» немцев. Одновременно с «эвакуацией» крымчан шла повальная охота на немецких мужчин по всей Восточной Украине.

После двух недель езды в вагонной душгубке их доставили в Наурский район Северной Осетии. Здесь было достаточно воды и свежего воздуха, без которых они так страдали в пути. Но даже дети, к которым практически ещё принадлежала и Вера, ощущали неопределённость своего положения. Не было постоянного жилья, средств к существованию, не считая разве что жалких колхозных авансов. Но главное – у «эвакуированных» напрочь отсутствовала уверенность в завтрашнем дне. К этому времени уже вышел Указ о «переселении» немцев Поволжья, и все понимали: он не может не коснуться и их, крымских немцев.

В школе, куда Вера пошла в 7-й класс, всё тоже казалось временным – тетради, учебники, ученики. В сарае, где семья Веры жила вместе с другими «эвакуированными», частенько собирались в кружок мужчины. Покуривая, рассуждали, что немцы вот-вот отрежут Крым, а вместе с тем и дорогу домой.

Так оно вскоре и случилось. А им пришлось снова собираться в путь. Только на сей раз везли их не две недели, а почти месяц. И мучили не летним зноем, а холодом зауральской осени и почти полным отсутствием продовольствия. Домашние припасы давно кончились, а того, что выдали на дорогу в осетинском колхозе, хватило всего на неделю. Вдобавок они немилосердно мёрзли в своей крымской «зимней» одежде – если вообще захватили её с собой, послушавшись энкаведешников. Каждый день на остановках хоронили умерших от болезней и голода. Редкие «подкормки» в пути держали ещё живых на грани голодной смерти.

В середине ноября их эшелон достиг станции Булаево Северо-Казахстанской области. Поскольку Булаевский район уже принял несколько тысяч депортированных немцев, то крымчане стали для

него дополнительной обузой. Геннинги попали в украинское село Полтавку, но никто не хотел брать их к себе на постой. Помогла украинская национальность матери – сжалилась над нею баба Приська, пустила в свою землянку. Соседей да друзей из Большого Карлсруэ набралась в селе целая артель – 19 человек.

О посещении школы речи больше не было. Учебный год давно начался, а Вере надо было зарабатывать на жизнь в колхозе. Зима в тот год выдалась в этих местах ранняя. Хлеба на полях успели скосить, но они попали под снег. На долю прибывших немцев выпала адская работа – откапывать валки из-под снега, свозить их в скирды и обмолачивать. Утопая в снегу, пробирались они по полям в поисках смёрзшейся пшеницы. Возвращались затемно, сопровождаемые рыжими степными волками. Вчетвером получали ведро пшеницы в день, что считалось очень хорошим заработком.

Но недолгой была и эта каторжная «идиллия», при которой ещё можно было бедствовать сообща всей семьёй. Немцы чувствовали: всё это временно, призрачно и вскоре разойдётся, как утренний туман. День разлуки настал в январе, когда Геннинги расстались с главным кормильцем и опорой – отцом. В землянке враз наступила тишина. Знали, что не бывать вместе с семьями в военное время мужчинам, но забрали их на «трудфронт» – и заболела душа у домочадцев. В одночасье женщинам пришлось, помимо всего прочего, взвалить на себя обязанности глав семей.

А зиме, трескучему холоду и казахстанским снежным буранам, казалось, не будет конца. Никак не могли крымские немцы привыкнуть к новому времяисчислению, всё мерили на свой прежний аршин: мол, там, «у нас», давно весна, а тут всё ещё лютуют морозы.

В ватных брюках – у кого они, конечно, были, – укутав в несколько платков головы, в немудрёной обуви, которую с трудом удалось достать, задолго до зимнего рассвета отправлялись женщины и подростки на колхозную работу. Их уделом стал теперь тяжёлый мужской труд. Они заготавливали в дальних лесах и доставляли в Полтавку дрова, подвозили сено к базам, где зимовали лохматые местные коровёнки, грузили и отправляли обозами к железной дороге тяжёлые мешки с зерном.

Научились они и управляться с основным колхозным транспортом – неторопливыми, своенравными быками, не желавшими поддаваться женской власти. Хоть убей – не ускорят они шага даже у порога своего стойла, когда нестерпимо мёрзнут ноги, давно стемнело и смертельно хочется есть.

Чтобы заработать хотя бы на хлеб, Геннингам приходилось «крутиться» всей оставшейся семьёй с утра до ночи. Да ещё и прираба- тывать на стороне. Весной все четверо копали людям огороды за обед или ведро картошки. Летом в редкое свободное время собира- ли ягоды и меняли их на молоко. Посадили картошку в надежде на собственный урожай. «Голодать не голодали, но есть хотелось все- гда», — говорит об этом времени Вера.

Будущее теперь определяли по положению на фронте. И по тому, как Красная Армия всё дальше отходила вглубь страны, было ясно: эта война — всерьёз и надолго. Скрепя сердце полтавчане-украинки и приезжие немки готовились к новым невзгодам, которые прино- сило военное лихолетье. Всё чаще тишину села взрывали горькие женские рыдания по убитому на фронте или погибшему в «трудо- рмии» мужу, отцу, сыну.

Хотя беды эти были общими, в селе росла ненависть к немцам, буд- то гибель от вражеской пули так уж отличалась от смерти на лагерных на- рах. Поражало и другое: большинство наших немцев безропотно приняло на себя несуществующую «национальную» вину. Но Вера, рослая и сильная, могла не раздумывая дать обидчику «по зубам».

Для школы, которую она снова начала посещать, это качество являлось незаменимым. Можно было постоять за себя и других не- мецких детей, которых дразнили всевозможными прозвищами. Из- вестно: то, о чём говорится дома, в семье, первым делом попадает на язык детям. Как правило, такие «невинные» клички обидчиками всерьёз не воспринимаются, но те, кого обзывали «фрицами» и «фа- шистами», не забыли об этом и по сей день.

А со школой Вере в общем-то повезло. Поскольку в Полтавке говорили главным образом по-украински, её мать быстро нашла об- щий язык не только с соседями, но и с администрацией школы. С нового учебного года мать и Веру приняли здесь на работу убор- щиками. До обеда Вера училась в 7-м классе, а затем всей семьёй они допоздна выводили школьную грязь. Кроме того, Вера с сест- рой ходили в поле собирать для семьи колоски пшеницы. Обмоло- ченные зёрна перемалывали на ручной мельнице в муку или кру- пу. Но этот «промысел», увы, строго запрещался. Взрослым за «хи- щение колхозной собственности» давали по 5 лет заключения, и поэтому в поле посылали детей. Их безжалостно хлестали кнута- ми колхозные сторожа-объездчики, которые к тому же зачастую отни- мали собранное. А стерню затем поджигали под будущий урожай. Непонятно и обидно было: кто и зачем пожалел для голодных де-

тей эту малость, которая потом всё равно пропадала?

Между тем тучи сгущались над мужской половиной Полтавки всё сильнее. Мобилизации следовали одна за другой. Вскоре, не счи- тая калек и хронически больных, никого из мужчин от 17 до 50 лет в селе не осталось. Украинцев отправляли в армию, на фронт, нем- цев — в лагеря, на каторгу. Ещё весной 42-го подчистую «загребли» мужчин из числа коренных местных немцев. Летом — 17-летнюю поросль. Ушёл тогда и Верин брат Володя.

Узнать что-либо о жизни в лагерях было очень нелегко. Замаран- ные цензурой письма приходилось читать между строк. Только име- на умерших оставались почему-то нетронутыми. С каждым месяцем их становилось всё больше и больше. Намёками писали о тяжёлых условиях на свердловском лесоповале отец, а потом и брат Веры.

Тем не менее, сведения о смертных лагерях НКВД постепенно перестали быть тайной для немецких семей. Особенно после того, как из уральской «зоны», будто с того света, вернулся полумёрт- вый, истощённый до неузнаваемости человек, слух о котором разо- шёлся по всей округе.

Пока мужчин призывного возраста «забирали» независимо от на- циональной принадлежности, у немцев не было оснований для недо- вольства (кроме одного: почему не на фронт?!). Всё изменилось, когда, как гром во время снежной бури, осенью 42-го разнеслась тревожная весть, что в страшные лагеря будут отправлять и немецких женщин. По этому случаю в сельсоветах уже начали составлять списки детей, прикидывать, как разбросать их среди остающихся родственников.

Подтвердившись, это известие вызвало у женщин настоящий шок. С ужасом в сердце представляли они, как оставят своих детей на произвол судьбы. Не на день, не на месяц, а на годы. Может быть, навсегда. Насильственный разрыв кровных связей между сотнями тысяч матерей и детей — наиболее трагичная сторона этой изувер- ской акции НКВД. Ничего подобного в европейской истории ещё не бывало. Это был очередной «великий почин» большевиков.

Первейший законный вопрос, с которым матери обращались к представителям власти: «Как быть с детьми?», решался по-варвар- ски просто: «Это не наше дело! Девай куда хочешь!» Если кто-то из женщин говорил в сердцах: «Так что же, убить мне их, что ли?!», — мог последовать ответ: «Убивай, никто плакать не будет!» На реше- тельное заявление женщины о том, что она не тронется с места, пока не будут пристроены дети, раздавалась столь же категоричная от- поведь: «Сама не поедешь — под конвоем отправим!»

Детей оставляли престарелым родителям – если они, конечно, были. Пристраивали к родственникам, навязывали женщинам, имевших детей до 3-х лет и не подлежавших «мобилизации». Некоторых детей забирали к себе сердобольные русские, казахские и украинские соседки, благо их никуда не забирали. Многие оставались на попечении старших братьев и сестёр, которым и было-то всего по 10-12 лет. Тех, кто оставался совсем без присмотра, определяли в так называемые колхозные детдома, вернее сказать – в «трудармейские» лагеря в миниатюре, предназначенные для немецких детей.

Худо пришлось и тем детям, кто оказался лишним ртом у голодавших родственников. Ещё хуже было внучатам, чьи бабушки и дедушки вскоре поумирали от болезней и голода. Им, как и питомцам «детдомов», приходилось вместо учёбы в школе идти побирать, чтобы спасти жизнь себе и меньшим братьям и сёстрам. Сколько их, лишённых материнской заботы, умерло, пока родители находились в «трудармии»!

Точкой наивысшего напряжения, оголённым нервом этого преступного деяния было разлучение самых близких по своей природе существ – матерей и детей. О драматичных сценах расставания, полных горя и утраты, расскажут они сами. Одно лишь упоминание о той горькой разлуке вызывает у них слёзы. Спасительные женские слёзы...

Прощаясь, матери предчувствовали: не всем им суждено будет свидеться с близкими. Либо погибнут они сами, либо не выживут дети. Поэтому прощались навсегда, едва надеясь на встречу. Но даже тогда никто подумать не мог, что возвращения придётся ждать столько лет.

Некоторые из них ещё живы – мученики сталинско-бериевского режима, который дошёл до такой степени нравственного падения, что объявил войну беспомощным женщинам и детям. Матери и чудом выжившие дети, которым теперь за 60, свидетельствуют за себя и за тех, кто пал жертвой этой постыдной «войны».

О случае, который произошёл на её глазах, рассказывает Ольга Леонгард-Рябова из Таджикистана, с которой я встретился в подмосковном лагере для беженцев, организованном германской фирмой «Гуманитас» и Обществом «Возрождение» в конце 1992 г.

Она знала женщину, которую называла тётей Лизой Лауфер. Их одновременно выселили из села Франк – центра одноимённого кантона в правобережной части Немреспублики. Обе их семьи попали в глубинку Омской области – село Краснояр. У тёти Лизы было трое детей – дочери 11-ти и 9-ти лет и 4-летний сын.

Как и в других немецких семьях, их отца забрали в «трудармию», а они перебивались тем немногим, что выдавали за работу в колхо-

зе и можно было выменять на вещи, оставшиеся от небогатой прошлой жизни. Единственное, что удалось построить на новом месте, – это небольшая землянка, в которой они и жили.

В морозном ноябре 1942 года начали отправлять в «трудармию» немецких женщин. Повестку в военкомат получила и тётя Лиза. «Куда девать детей?» – был первый и главный вопрос. В Краснояр у неё не было родных, и она металась по селу, чтобы найти людей, которые бы сжалились над её детьми. Но каждого одолевало своё горе и своя нужда. Отмахнулись от неё и в сельсовете – дескать, и без того забот полно рот. Ничего не оставалось, как положиться на 11-летнюю Эрну. Присмотреть за детьми пообещали соседи. Председатель колхоза – неплохой был человек – выписал немного муки и зерноотходов на первое время, посулив поддерживать детей и в дальнейшем. Неумолимо приближался день отъезда. Тяжким камнем давила на душу предстоящая разлука.

«До сих пор не могу без слёз вспоминать трагичную картину прощания матерей с детьми, – рассказывала Ольга. – После неоднократных настойчивых напоминаний председателя сельсовета, что пора отправляться в путь, женщин с трудом удалось вырвать из судорожных детских объятий. Рёв стоял неимоверный, будто на грандиозных похоронах. Вместе с припавшими друг к другу детьми и матерями плакали все, кто пришёл на эти тяжкие проводы.

Когда женщин, наконец, усадили на сани и те тронулись с места, малыши с плачем и криками ринулись вослед: 'Мама! Мамочка! Не уезжай!! Вернись, мамочка!!!' Лизины дочки тоже бежали за санями, протягивали ручонки и заливались слезами. Возчик отталкивал их в снег, они поднимались и снова бежали. Тогда он стал хлестать кнутом по лошадям и по малышам, чтобы избавиться от невыносимого детского крика.

Тётя Лиза с трудом сдерживала рыдания, пытаясь хотя бы этим успокоить своих девочек. Но не выдержала, забилась в истерику и потеряла сознание. Ей натирали снегом лицо, она приходила в себя, однако, увидев бегущих за санями дочерей, снова падала в обморок. Наконец, сани вырвались за сельскую околицу, лошади побежали быстрее, и дети постепенно отстали. Вскоре от них остались только маленькие тёмные силуэты на заснеженной дороге. Этот печальный миг и впечатался навсегда в её беспокойную память.

Не дай Бог ещё раз пережить такое!» – подытожила Ольга, вытирая непрошенные слёзы.

Из её дальнейшего повествования следует, что «мобилизованных» немецких женщин привезли в Куйбышевскую (теперь Самар-

скую) область, в посёлок Волчья Яма, неподалёку от райцентра Похвистнево. Суровую зиму 1942/43 гг. они прожили в палатках. В семи километрах от лагеря вручную – ломом и киркой – копали траншею под газопровод Куйбышев-Уфа. В 2-3 часа ночи вставали, чтобы к рассвету добрести до работы, а в полночь, после обязательного выполнения нормы, возвращались в лагерь. Так жить и трудиться могли только обречённые на смерть каторжники, провинившиеся перед Богом и людьми. За что же страдали эти безвинные женщины?

Примерно через полгода, продолжала Ольга, тётя Лиза получила письмо из Краснояра. В нём соседи сообщили, что её старшая дочка захворала и, недолго проболев, скончалась. «Если бы мама была здесь, я бы ещё пожила», – говорила она перед смертью. Не смогла Эрна вынести разлуку с матерью, домашние тяготы и недетскую работу, которую она не в меру своих слабых сил должна была выполнять на колхозной ферме.

После её смерти младшая сестрёнка и малыш остались совсем одни. И тётя Лиза решила бежать. На свой страх и риск. Сказала себе: «Будь что будет! Тюрьма – так тюрьма, смерть – так смерть!» Знала, сердцем чуяла: погибнут без неё дети. Не выходили из головы, обжигали душу предсмертные слова её Эрны.

Бригада тайком собрала её на дорогу хлеба, а также денег, чтобы – раз уж документов нет никаких – был, по крайней мере, билет и к ней не так прикапывались в пути. С тем и уехала тётя Лиза – и как в воду канула, ни слуху, ни духу. Подружки думали: видно, схватили её где-нибудь по дороге, посадили лет на десять по указу за дезертирство с предприятий военной промышленности (женщин специально об этом предупреждали). Не увидела, значит, бедняжка своих уцелевших детей...

Но через несколько месяцев пришло от неё (будто бы от соседки!) письмо. Тётя Лиза сообщила, что доехала благополучно, детей застала живыми. Председатель колхоза предупредил её, чтобы она нигде особо не показывалась. Работу дал ей в дальней бригаде, где она и жила теперь, приютив у себя своих детей.

Так с помощью председателя и других добрых людей, которых могли отдать под суд за «недоносительство», прожила тётя Лиза с детьми до конца войны. Правду говорят: мир не без добрых людей, на том свет стоит и стоять будет.

Материнская боль не знает национальных различий. Она одинакова для всех – немка ты или киргизка. Эта боль зиждится на непреодолимом инстинкте материнской любви, источнике всего живого. Именно по этому, самому чувствительному месту ударила немецких жен-

щин циничная большевистская власть: за каждой «мобилизацией» стояли тысячи и десятки тысяч семейных и личных трагедий.

О том, в какие драматичные сцены всё это выливалось, рассказала Гильда Браймаер из Фрунзе (Бишкека). Её семья была переселена из Крыма в Карасуйский район Джамбулской области. В начале 1942 г. у них, как и повсюду, забрали в «трудармию» мужчин, а через несколько месяцев очередь дошла и до женщин. В числе других в район вызвали повесткой и её, имевшую двухмесячного ребёнка. Как ни доказывала она в сельсовете, что это ошибка, председатель был неумолим: раз требуют – надо идти! А это 60 километров пешком по пыльной степной дороге. Ребёнка несли поочерёдно с другими «мобилизованными». Прошло 2 дня, пока они добрались до райисполкома. Её отпустили, но обратный путь занял трое суток, полных изнеможения и страха.

Детей старше 3-х лет, у которых забрали матерей, пришлось расковать к кому и как попало. Гильде оставили шестерых. От трёх до одиннадцати лет. Без еды, раздетых и разутых.

– Дорога до самого Карасу, – вспоминала она, – была мокрая от слёз. Минуты расставания с детьми невозможно передать. Сердце разрывалось при виде детских ручонков, вцепившихся в матерей. Последние объятия и поцелуи на окраине аула, истерический плач и причитания, долгие прощальные взмахи рук... Расставались навсегда, ведь уходили женщины в полную неизвестность. Куда? На сколько забирают? Никто не знал. Нет, такое забыть нельзя! До сих пор, как живые, стоят эти сцены перед моими глазами!

Прошёл почти год, и картина повторилась, – продолжала Гильда. – Теперь забрали всех оставшихся женщин – даже тех, у кого были дети младше 3-х лет. Гильде – поскольку она всё равно оставалась как «многодетная» мать – добавили ещё троих. Всего их стало 10. Как жить будут, в тот момент никто не думал: горе расставания поглотило все другие мысли и чувства.

Но случилось чудо. Через несколько дней женщины из этой партии «мобилизованных» вернулись назад. Они и рассказали о том, что произошло.

Всю дорогу от райцентра не просыхали женские глаза. Из памяти не выходили минуты прощания. Не давала покоя мысль, что их милые крохи остались у чужих людей, которым и самим-то нечего есть. Воображение рисовало картины одна страшнее другой. Будто наяву видели и слышали они, как заливаются слезами малютки. Зовут маму, а она не идёт: её увозят далеко-далеко за колючую про-

волоку. Бедняжки, они остались сиротами в этом страшном мире!

Дети будут просить есть, громко плакать. Но у них нет теперь ни папы, ни мамы, и некому принести им кусочек хлеба. Они будут голодать и, как многие другие, могут умереть голодной смертью. Им никогда больше не увидаться. Никогда-никогда!..

Слёзы жалости воспаляли огонёк надежды, побуждали к действиям. Матери прекрасно понимали: нельзя ждать сложа руки, надо что-то делать. Хотя бы потребовать, чтобы разрешили взять малюток с собой. Ведь ясно как день, что здесь они все погибнут от голода и болезней. Неужто совсем нет сердца у этих злых людей! И вообще — не велено было забирать женщин, детям которых меньше трёх лет!

В райвоенкомате выслушали их смешанные со слезами мольбы, но, не дрогнув, продолжали своё чёрное дело. Слушать в Джамбуле было вообще некому: начальников много, и всем недосуг. Чувство жалости к осиротевшим детям, обида на вопиющую несправедливость слились в один нервный ком, требовавший выхода.

С приближением роковой минуты отъезда пружина душевного напряжения сжалась до предела. И когда раздался гудок паровоза, а вагоны тронулись с места, эшелон в один голос взвыл истеричным приступом женских рыданий. Картина была столь неожиданной и ужасной, что на погрузочной площадке и на подводах, доставивших женщин из районов, все оцепенели, не сразу поняв, что произошло.

Поезд резко затормозил и остановился. Через минуту раздался ещё один, более долгий сигнал, но и он потонул во всеобщем женском крике. Матери с плачем начали покидать вагоны, отчаянно прыгая с высоты на насыпь и отбегая прочь. Некоторые тут же становились на колени, воздев руки к небу для молитвы. Это был порыв безумного отчаяния и праведного гнева.

Состав стоял неподвижно. У паровоза громко, с густым матом переругивались мужчины.

Через некоторое время последовала команда: женщины, дети которых не достигли 3-летнего возраста, могут вернуться домой. Не выдержало мужское сердце женских рыданий. Не смогла рука машиниста отжать реверс, чтобы второй раз сдвинуть с места плачущий эшелон. Об ответственности, которую взяли на себя он и сотрудник «органов», фактически сорвавшие выполнение развёрстки НКВД по «дополнительной мобилизации женщин-немок для угольной промышленности», никто в этой обстановке, конечно, не задумался.

С той же станции, из Джамбула, отправляли в «трудармию» мужчин, а затем и женщин из немецких сёл Таласской долины Кирги-

зии — Ленинполя и Орловки.

— Мы в апреле 42-го до Джамбула 80 километров пешком отшагали, — вспоминал Теодор Герцен, летописец и примечательная личность Орловки. — А «мобилизованных» женщин осенью на подводах отвозили. Потом нам рассказывали, что творилось на улице перед сельсоветом в момент прощания. Навзрыд плакали и матери, и дети, и провожающие. Такого Орловка не видела за все годы своего существования. Было страшнее, чем на похоронах. Эмма, жена Якова Дика, так и умерла на подводе, не смогла пережить расставания с тремя своими детьми. Яков тоже не вернулся, погиб на Челябинском металлургстрое. Их дети выросли сиротами.

Случались и другие, не менее драматичные эпизоды. Об одном из них сообщила мне в 1993 г. Елена Рудер, инженер-программист из бывшего управления «Киргизэнерго».

«Мама рассказывала, какие ужасные сцены разыгрывались во время отправки немецких женщин в 'трудармию' на станции Абакан в Хакасии, где мы жили после выселения из Энгельса, — писала она. — Вой стоял страшнейший. До самого момента отправления поезда матери не могли оторваться от детей, а дети — от матерей. Какой-то психоз овладел окружающими. Никакие команды садиться по вагонам не помогали. Сопровождавшие эшелон сотрудники 'органов' начали силой вырывать малышей из материнских рук. Но и это мало что дало.

Поезд уже тронулся, и плачущих женщин стали силой загонять в вагоны. Одна из них, обезумев от слёз и горя, побежала с ребёнком на руках вдоль состава. Ей протягивали руки, пытаясь помочь забраться в вагон. Но она продолжала бежать и в какой-то миг, прижав к себе ребёнка, рванулась под вагон, к колёсам... Расставание с малюткой было для неё страшнее смерти.

Говорили, что это был её первенец. Муж, тоже поволжский немец, пропал без вести в самом начале войны. Трёхлетнего сына пришлось бы оставить на верную погибель. Такой судьбе она предпочла смерть для них обоих.»

Нередко бывало и так, что матери предпочитали забирать детей с собой в неизвестность, лишь бы не оставлять их на произвол судьбы. Энкаведешники, наблюдавшие за отправкой, строго следили за тем, чтобы в вагоны не проникли дети. Властям ни к чему была лишняя морoka с лагерными «детскими садами». Но на нарушения шли и женщины с детьми 14-15-летнего возраста, которые могли затеряться в общей массе при посадочной суматохе.

Как рассказал Андрей Триппель, который слышал об этом от своей

матери, одна женщина прибыла на Джидастрой (Бурят-Монголия, нынешняя Бурятия) с 14-летним сыном. Она провела его в вагон, переодев в женскую одежду. К её неутешному горю, сын погиб на лесоповале, где ему пришлось работать, чтобы получать жалкую еду.

Случай далеко не единичный. Вот ещё один отрывок из письма уже известной читателю Ольги Леонгард-Рябовой. «В морозном ноябре 1942 г. повестки о 'мобилизации' получили мама и старшая сестра, которой было 16 лет.

Председатель колхоза Мелехов посоветовал маме взять с собой и меня:

– Скажите им там потвёрже: пусть хоть стреляют, но 14-летнюю девочку вы одну не оставите. И никуда они не денутся.

Так мы и сделали – собрались ехать втроём.

Врачи на медкомиссии встретили меня шутками:

– Смотрите, какая красавица! Куда ты поедешь? Оставайся, мы тебя замуж выдадим.

– Не хочу замуж. Я с мамой поеду!

– Так её же заставят землю рыть...

– И я тоже буду копать, но одна здесь не останусь!

Врачи написали 'здоровя', но радоваться было рано. Оказалось, что не одна мама решила увезти с собой 'малолетку'. В отличие от медиков, люди в военном ни за что не хотели включать таких в списки: у них приказ – и никаких разговоров!

Но мама была не робкого десятка. Обняв нас с сестрой, она решительно заявила на ломаном русском языке:

– Не сойдем с места, пока не сапишите всех. Поетем все фместе – или упейте нас!

Сидевшая рядом с военными переводчица обратилась к оторопевшим мужчинам:

– Может, всё-таки пропустим?

– Ладно, идите, – неопределённо сказал один из них.

С тем и ушли. Но когда дело дошло до посадки в вагоны и мы увидели, что энкаведешники грубо отрывают подростков от матерей, нам стало страшно: а вдруг меня не включили в список?

Тогда мама освободила мешок побольше, надела его на меня, натолкала туда вещей и вместе с сестрой втащила ношу в вагон. Там меня зарыли в солому, на которой должны были спать женщины. Отъехав изрядное расстояние, мама смеялась, вспоминая, как один из проверяющих даже помог им поднять в вагон тяжёлый мешок, – говорилось в письме.

Не ошиблись тогда врачи: Ольге действительно пришлось ко-

пать землю. Сначала рыть траншею под газопровод, потом добывать глину для формовки кирпича-сырца. При этом ей, как несовершеннолетней, полагалась только иждивенческая карточка, а нормы выработки были одинаковыми со взрослыми.

Есть, вспоминает она, хотелось постоянно. А мать якобы «не хотела», от себя отрывала, подкармливала дочерей, пока однажды не потеряла сознание.

В 16 лет Ольга с сестрой и матерью уже работала на лесоповале. Зимой снег выше головы – в снежной яме, согнувшись, они пилили деревья. Одно мучение: пилу зажимает, дерево крутит – не сразу поймёшь, куда оно упадёт. А если с пенька соскочит, то держись! Не знаешь, останешься ли живой.

В лесу и Победу встретили. Радовались женщины: к детям отпустят, домой, на Волгу отправят! Как же – отпустили... Ещё крепче к Главнеф-тестрою привязали, коменданта-зверюгу Щербакова на шею посадили.

В 19 лет Ольга работала в женской бригаде, загружала трубы в вагоны. Вручную, безо всякой техники управлялись. Накатать на платформу три ряда 900-миллиметровых труб – это ещё куда ни шло. Но четвёртый – дело всегда рисковое. В любой момент могут распозлзтись, такое не раз бывало. Тогда как при взрыве – беги подальше от вагона, если успеешь.

Там, на железной дороге, и нашла Ольга своего Рябова, тогда как немцы Кайзеры, Шустеры, Веберы безвыездно сидели под комендантами в уральской и сибирской тайге и женились на местных девчатах...

Веру Геннинг той осенью 1942 года, когда ей исполнилось 15 лет, в «трудоармию» не взяли. Спасительную роль сыграло, возможно, то обстоятельство, что она была ученицей и у властей не поднялась рука «мобилизовать» её прямо со школьной скамьи. Но скорее всего, считает сама Вера, её обошли потому, что требуемое количество немецких «голов» по сельсовету уже было набрано.

Однако горькая чаша не миновала и Веру. Её черёд пришёл на весну 1943 года, когда поступила развёрстка на новые «немпоставки» государству. Резервы были давно исчерпаны, и выполнять её стали за счёт произвольного сокращения «призывного» возраста для юношей до 14-ти лет и для девушек – до 15-ти.

Поэтому «органы» принялись особенно пристально отслеживать как подобных подростков, так и малюток, едва выползших из колыбели. Вплоть до 1944 года немецкие мальчики и девочки «критических» возрастов, а также матери младенцев оставались единственным резервом для пополнения сильно поредевших «трудоармейских»

рядов. Как только несчастному дитяти исполнялось три года, оно тут же лишалось своей мамы-кормилицы. Ни один из многочисленных советских народов не удостоился в годы войны такого «мобилизационного» внимания, как российские немцы.

В середине апреля 1943 года, всего за месяц до окончания неполной средней школы, Веру Геннинг «призвали Родине служить» в качестве юной рабыни-невольницы. Как ни упрашивала мать сельского голову, чтобы тот дал дочери доучиться, всё было тщетно. А сверстники остались за партами — они не были немцами.

Обидно было и потому, что её фамилия, как оказалось, вообще не значилась в списках «мобилизуемых». Об этом она, однако, не знала и стала для военкомата сущей находкой. «Мы записываем тебя добровольцем!» — с видимым удовольствием заявил чиновник в военном.

Но ещё большую досаду вызвало то, что до отправки они целый месяц валялись в холодном грязном сарае, где на каждую из них приходилось не менее десятка мышей. За это время одноклассники успели закончить школу, а её и других «мобилизованных» ждала полная неизвестность.

Потому что они были немками.

Через полмесяца голодного пути их доставили на Бакалстрой, за многокилометровое оцепление из вооружённых энкаведешников и колючей проволоки. За тройным забором 6-го стройотряда и в колоннах под вооружённой охраной они впервые увидели — нет, не живых, а полумёртвых — «трудармейцев». И в них — своё страшное будущее.

Видимо, число лагерных немцев действительно сократилось до угрожающих размеров, если Бакалстрою понадобились на тяжёлых работах хрупкие женские создания. А может быть, поступила команда: «Всех немцев — навсегда за колючку»? Как тут не вспомнить о подростках и малых детях?!

Поспешная врачебная комиссия назначила Вере лёгкий труд, и её послали на работу в подсобное хозяйство стройки. (Видимо, за полтора месяца полуголодного скитания она со своим высоким ростом стала походить на жердь.) Их отправляли в Фёдоровку на попутных платформах, под гудок паровоза и звуки духового оркестра. Непонятно было: за здоровье эта музыка или за упокой? Что готовит им грядущее, прозванное позднее «трудармией»?

Первое, что отметили для себя вновь прибывшие, — их разместили в неограждённых бараках, невдалеке от мужской «зоны», где под охраной проживал «контингент» сельхозрабочих. Сюда доставляли на сезон из лагерей Бакалстроля «доходяг»-счастливчиков для

работы и поправки на «подножном корму», чтобы осенью они могли заменить своих погибших солагерников. А теперь вот привезли и женщин. Нелегко им было привыкнуть к тому, как водят под конвоем истощённых мужчин. Каждая видела в них униженного и голодающего отца или брата.

Женщины тоже шагали на работу строем, но, слава Богу, без конвоя. Работали на достройке птичника.

Через неделю вызывает Веру начальница женской колонны, говорит:

— Принимай бригаду, в которой работаешь. Мы Иду Кляйн на другое место переводим.

— Что Вы, Полина Сергеевна! Какой же из меня бригадир, когда наши женщины мне в матери годятся?

— Ничего, справишься! Ты дивчина боевая, да и грамотней других. Если что — поможем.

Так в неполные 16 Вера стала бригадиром. Птичье хозяйство, крышу которого они крыли финской стружкой, видимо, заводили специально для тех начальников стройки и «органов», которые не могли жить без курятинки и диетических яиц на завтрак. Война — войной, голодные муки людей — тоже дело естественное, но о себе руководство никогда не забывало. Для него в местном озере специальная бригада круглый год ловила рыбу. Делили её «по ранжиру» — чем выше начальство, тем крупнее рыба. Не дай Бог, одна мелочь попадётся!

Но кончилось короткое уральское лето, а вместе с ним и работа на птичнике. С первым снегом бригаду Геннинг перебросили на заготовку дров в хозяйство недоброй памяти Зонненберга, который отличался особым цинизмом в обращении с «трудармейками». А ещё больше — тем, что от прихоти похотливого хозяина зависела котловка подчинённых ему женщин.

Пилили главным образом берёзу. Разрезав дерево на 4-метровые брёвна, девчонки с трудом взваливали на плечи сырую тяжеленную махину и тащились по глубокому снегу к дороге. А откормленный боров стоял, смотрел, как они корячатся под этой ношей, и измывался: «Девочки, не поднимайте тяжести, а то рожать не будете!»

Вольности в обращении с женщинами закончились для него печально: он зашёл так далеко, что впоследствии ему пришлось покончить с собой. И не нашлось ни одной, которая бы высказала слова сожаления о нём.

А потом наступил один из тех чёрных дней, когда в хозяйство приходил большой американский фургон для перевозки скота. В

его безразмерное чрево загружали отобранный к этапу живой немецкий «товар», призванный влиться в ряды трудяг центральной стройки. Слегка окрепших женщин наравне с мужчинами использовали на самых тяжёлых участках. Не было исключением даже зловещий каменный карьер, в который из-за всеобщего «ослабления контингента» стало некого посылать на работу.

В один из таких этапов попала в декабре 43-го и Вера Геннинг. Поселили женщин в барачном посёлке, где находились узбеки, таджики и мужчины других среднеазиатских национальностей. Они тоже числились мобилизованными, но, в отличие от немцев, жили свободно. В морозные дни на работу не ходили, из одежды признавали только лёгкие стёганные халаты и подобие восточных калош – ичиги. Основную часть времени проводили на рынке, торгуя своими пайками хлеба. В итоге за зиму 1943/44 гг. все они исчезли – большинство погибло от простудных заболеваний и голода, а оставшихся в живых отпустили по домам «за ненадобностью».

Женщин, прибывших с декабрьским этапом, направили на строительство железной дороги. К тому времени на Бакалстрое уже действовало около 100 километров железнодорожных путей. Но для огромной стройки и будущего металлургического комбината этого было слишком мало. Строительство велось круглый год. Зимой, на открытом всем ветрам просторе, здесь был сущий ад. Особенно для вконец ослабевших и плохо одетых людей.

Их предшественников из числа немецких мужчин уже довели до состояния «доходят» или отправили на человеческий могильник «за Химстрой». Теперь очередь дошла и до женщин. Молодые девчата, которым бы ещё в куклы играть, и пожилые женщины тащили на себе или тянули волоком тяжёлые шпалы. Надо было уместить их рядом на очищенной от снега насыпи, разгрузить с платформ полуторатонные рельсы, которые под команду «раз, два – взяли!» требовалось разложить поверх шпал в две параллельные нити.

Но это было только полдела. Рельсы по длине скрепляли накладками и болтами, затем их приподнимали ломами, чтобы подвести подкладки, и после этого «пришивали» костылями к шпалам. Даже работу костыльщика, требующую профессионализма и соответствующих навыков, выполняли необученные слабые женщины. К неимоверным тяжестям, отнимающим последние силы, добавлялся всепроникающий холод. Остывший до морозного инея металл обжигал даже через рукавицы. Ветер свободно проникал сквозь «стёганные» на пакле (вместо ваты) бушлаты и брюки. В таких же пакляных чунях, обшитых снизу

резиной с автомобильных покрышек, нестерпимо мёрзли ноги.

Жертвой этого ГУЛАГовского изобретения стала и Вера Геннинг. Она отморозила большой палец на ноге, он почернел и начал гнить. Пришлось удалить ноготь и позабыть на время об обувке, даже если это были просторные лапти. Грех сказать – «к счастью», но для той ситуации это было правдой. Хотя в качестве откупного от каждодневного занудного холода пришлось довольствоваться «больничными» шестьюстами граммами хлеба и двухразовым «пустым» супом.

Для её почти 180-сантиметрового роста этого было явно недостаточно, и Вера начала «доходить» всё больше и больше. Когда в конце февраля медкомиссия отобрала «легкотрудики» для отправки в подсобное хозяйство, она, как и почти все женщины-строители, оказалась в спасительном списке. «Гори она синим пламенем, эта проклятая ‘железка’!» – напутствовала себя каждая из них.

Пополнение принимал, как обычно, старший лейтенант госбезопасности Сиухин, сопровождаемый своей помощницей по женской колонне Новотной и старшим нарядчиком Шиллером. Участливые глаза Сиухина угадывали во вновь прибывших знакомые, но донельзя исхудавшие лица, однако у него хватало такта, чтобы не обидеть женщин, к которым он, по правде сказать, был равнодушен.

– А как Геннинг попала в декабрьский этап? – обратился он к Фриде Новотной, увидев Веру.

Та что-то стала невнятно объяснять, но Сиухин перебил её и сказал: – Геннинг снова назначить бригадиром!

Вере вспомнилось, как после отъезда Полины Лысенко и назначения на её место Новотной чёрная кошка пробежала между новой начальницей и ею, бригадиром. Фрида Васильевна происходила, вероятно, из тех учительниц, у которых всегда имеются любимчики и постылые. Эти отношения она перенесла и на женскую часть 1-й отдельной колонны, за что её недолюбливали многие.

Ох уж, эти женщины! Соперничество, видимо, присуще изначальной их природе!

По велению Сиухина была сформирована отдельная бригада «малолеток», которую возглавила 16-летняя Вера. С улыбкой вспоминает она первый день работы на переборке овощей у рачительного до жадности хозяина хранилища Антона Брайта. Хруст от съедаемой брюквы и турнепса стоял, как в большом крольчатнике. Все торопились наполнить изголодавшуюся утробу. Брайт, конечно, знал об этом. Он появлялся из темноты, как привидение, и наступала мёртвая тишина. Его боялись.

Когда в апреле начало пригревать солнце, «малолеток» перевели на парники. Репы они наелись вдоволь, к официальным нормам питания им добавляли немного овощей, и девочки заметно окрепли. Весеннее солнце освежило их округлившиеся щёки, а в глазах снова зажглись огоньки жизни.

В один из таких дней на парниках появился новый комсорг. Говорили, что его прислали из Челябинска вести работу среди молодёжи колонны. Он зачастил к девочкам, и они пришли к единому мнению: больше, чем сама молодёжная бригада, его интересует бригадирша. К шуточному прозвищу Веры «мама» добавился «папа», которому было всего-то 20 лет...

Всякий раз, когда я вспоминаю о «малолетках» Челябинского металлургостроя, перед моими глазами возникает грустная до слёз фотография, напечатанная в ФРГ в одном из номеров упомянутого альманаха «Хайматбух».

Высокий густой берёзовый лес. Узкоколейная железная дорога, предназначенная для вывоза древесины. Шестеро девочек на ремонте пути. Самой старшей, быть может, 18, остальным ещё меньше. Крайняя справа с большой лопатой-«штоккой» в руках – совсем ещё девочка.

Сибирское лето. Поверх платьев и юбок надеты тёмные куртки. До самых пят – широкие чёрные шаровары, на головах – белые косынки. Девушки выстроились в ряд, держа ремонтные принадлежности. Одна уселась на толстую вагу – незаменимый инструмент при ремонте узкоколейного пути.

Всё важно в этом уникальном снимке, но главное в нём – девичьи лица. Красивые своей юностью, они не по возрасту серьёзны. В глазах застыл немой вопрос: зачем они в этом глухом лесу? Почему не могут, как все, учиться, радоваться жизни и надеяться на счастливое будущее? Неужели таков их удел?

У каждой «мобилизованной» была своя «трудоармия» и своя судьба. Это зависело от многого – от места, куда человека этапировал НКВД, от работы, которую приходилось выполнять годами, даже от личности руководителей, как правило – мужчин. «Судьба извыше нам дана», – сказал поэт. Перефразировав эти слова применительно к немецким женщинам, можно сказать, что вершителем их судеб был всемогущий и вездесущий НКВД. Выполняя верховную сталинскую волю, он устанавливал общие для всех «трудооблизованных» мизерные «права», в рамках которых только и могла существовать эта категория «социально опасных элементов».

– Знаете, кто вы такие, откуда и для чего вас сюда привезли? Вот и работайте! – в этих безапелляционных словах состоял весь «свод законов и прав» для немецких женщин.

Лет 10 назад беседовал я в Бишкеке (тогдашнем Фрунзе) с «трудоармейкой» Розой Киян. Она рассказала об участии девочек, не по своей воле ставших подконвойными строителями.

Начиная с января 1942 года, Роза работала в тресте Севуралтяжстрой. Вместе с сотнями других немецких женщин строила она в городе Березники Молотовской (ныне Пермской) области магнитный завод и теплоэлектроцентраль. Все строительные профессии перепробовала. И не только она – помимо женщин, других рабочих на стройке фактически не было. Они работали и бетонщиками, и арматурщиками, и каменщиками, не говоря уже о штукатурах. Остановилась Роза на специальности плотника-опалубщика. Топор, ножовка, молоток были её постоянными спутниками вплоть до 1948 года, пока не закончилось строительство.

– А как было с питанием? – спросил я.

– Кормили нас по карточкам в столовой. Летом суп с крапивой, на «второе» неизменная затирка из тёмной муки с отрубями. В горле застревала, есть невозможно! Вольнонаёмным было немного лучше. Они могли отоварить карточки яичным порошком, крупами, иногда тушёнкой, добавляя к этому своё, домашнее. И они, и мы с голоду не умирали, но есть нам хотелось постоянно. Всё фактически держалось на семистах граммах хлеба.

– Как насчёт проволоки, лагерного режима?

– Ни того, ни другого у нас, слава Богу, не было. Пробовали ставить деревянный забор, но мы его тотчас сжигали в барачных печах, благо топорами работать умели исправно. Проволока с вышками и охраной в мужском лагере в Соликамске была. Но они там почти все вымерли от голода. Оставшихся в живых перевели в 1945 г. к нам, в Березники. Тоже в лагерь, но посвободней им стало. Тогда и нам уже давали по карточкам больше продуктов. Мы их немного подкармливали. Тайком, конечно.

В землянках, где они жили, было, по рассказу Розы Киян, сыро и холодно даже летом. Хозяйничали здесь крысы, от которых не было покоя ни днём, ни ночью. То и дело в темноте раздавались испуганные крики женщин, разбуженных пробегающими по ним омерзительными зверьками. Когда в их бараке умерла женщина, крысы отгрызли ей нос. Это было так ужасно! Женщину «мобилизовали» вместе с двумя её несовершеннолетними дочерьми, которым она

отдавала почти всю свою еду, в результате чего в конце концов и умерла от истощения.

– Извините, Роза, за не совсем деликатный вопрос: несмотря на лишения и мужскую работу, вы, надеюсь, не забывали, что всё-таки являетесь женщинами?

– По правде говоря, в первые 2 года об этом мало кто думал, хотя большинство из нас составляли незамужние молодые девушки. И не до того было, и не для кого. А выглядели мы просто ужасно! Даже в зеркало глядеть не хотелось: тощие, бледные, с огрубевшими от постоянного холода и ветра лицами. Руки жилистые и тяжёлые, как кувалды. Одеты в мужскую спецовку – бушлат или фуфайку, стёганные или парусиновые брюки. На ногах – какие-то безобразные парусиновые башмаки на деревянной негнувшейся подошве. И каждый день – по 12 часов работы. «Вот и всё кино!» – так у нас говорили.

– Но были среди вас, наверное, и женщины постарше?

– Да, ведь в «трудармию» забирали женщин до 50 лет. Были и такие, у которых дома остались дети. Тётя Лиза из нашей бригады – раньше она жила в Крыму – оставила в Сибири на руках у матери пятеро детей, младшему – 4 года. Она ждала писем и боялась их. И вот ей сообщили, что бабушка умерла, а дети остались совсем одни, пошли по людям собирать куски. Сколько горьких слёз пролила бедная женщина, даже заговариваться стала! Просилась домой, но до самого 1948 года её так и не отпустили. Собрала ли она кого-нибудь из своих детей? Не знаю... Но видеть и слышать материнское горе просто не было сил!

Вместе с Розой в разговоре участвовала её соседка по дому Мария Функлер. Она тоже была в «трудармии», работала невдалеке от города Сызрани Куйбышевской (ныне Самарской) области, на кирпичном заводе. Так было зимой, а летом, как только по Волге пойдут плоты, они в затоне вылавливали лес. Всё делалось, конечно, вручную. Дедовским способом. Только не деды, а женщины выполняли работу, которая и мужику не каждому под силу. Особенно вытаскивать баграми, канатами, а нередко и просто руками брёвна из воды и вкатывать их на штабеля.

Брёвна одно другого тяжелее, водой напитавшиеся, скользкие. А потом на машину их надо было грузить. Всё время у воды или в воде, а сушиться как? Одна печка на весь барак. Обвесят её со всех сторон, вонючие испарения вокруг расходятся. Поэтому в бараке было до невозможности сыро.

– Да и на кирпичном заводе – не дай Бог, как тяжело было! Вспомнить страшно: и в карьере, и на посадке, и даже на выгрузке из горячих

печей – всюду наши женщины работали, – вспоминала Мария. – Вот Вы спрашивали Розу о питании. Мы тоже должны были как будто питаться по карточкам, но их никто не видел. Обворовывали нас безбожно. Не суп, а водичку какую-то давали. Да ещё без соли. Сколько нам хлеба полагалось – я даже сегодня не знаю. И все, конечно, молчали. Молодые тоже боялись слово сказать, да и по-русски говорили плохо. У нас даже постелей не было. Валялись на нарах, как скотина. Только в 1948 г. оттуда вырвались.

Панорама женской доли будет полнее, если воспроизвести то, что поведал о тяжёлой участи своей матери в письме, а потом и при личной встрече упомянутый учитель из Латвии Андрей Триппель. Весной 1943 г. его мать Анна по «мобилизации» была направлена в уже знакомый читателю Джидастрой, под самую монгольскую границу, на строительство вольфрамового рудника. Вся власть в этих гиблых таёжных местах на реке Джиде принадлежала вездесущему НКВД. Кроме лагерей для политзаключённых и уголовников, ничего ближе, чем за сто километров, там не было.

Отличие «трудмобилизованных» немецких женщин от заключённых состояло лишь в том, что вокруг их барачных отрядов отсутствовал проволочный забор. Всё же остальное – одежда, еда, жильё, работа, обращение со стороны начальства и вольнонаёмного персонала – было одинаковым. 12 часов тяжелейшего каторжного труда за баланду – вот их жестокая повседневность. Занятие тоже было у всех одно – общие работы с лопатой, киркой, ломом и тачкой.

Весной 1945 г. с сердцем у Анны стало настолько плохо, что пришлось ей, 40-летней, установить первую группу инвалидности и отпустить к сыну в Красноярский край, глубинный Тасеевский район, в 180 километрах к северу от краевого центра.

Мир, говорят, тесен: гора с горой не сходится, а человек с человеком сойдётся. Так получилось и с авторами писем о «трудармейской» каторге в Бурмундии (как женщины называли меж собой Бурят-Монголию). С письмом Андрея Триппеля удивительным образом перекликаются воспоминания, которые прислала из Чимкента Амалия Фольц.

Вот что она пишет (привожу письмо почти дословно): «После 22-х дней пути из Красноярского края мы прибыли на станцию Джиды. Встретил нас сам начальник Джидинского комбината цветных металлов Гольман. Он сказал примерно следующее: 'Вы сами знаете, какое на вас лежит пятно, и должны будете неустанным трудом искупать свою вину. Модных туфель у вас не будет, вам выдадут 'ЧТЗ' – чуни, сшитые из автомобильных покрышек. Одежда –

ватные брюки, нижнее бельё и башмаки, снятые с раненых и убитых красноармейцев.

После этой унижительной встречи нас 270 километров везли на автомашинах вглубь лесов и гор. Приехали в 'Джидгород'. Отсюда женщин направили работать на рудники, а также на обогательную фабрику по переработке молибдена и вольфрама. Часть попала на золотые прииски, многих отправили на шахты Боянугля. Я попала в лесной отдел 'Хамсур', на дальний лесной участок № 3 'Тужино'.

Приехали, а там – ни кола, ни двора. Зимой и летом жили в палатках. Было очень холодно и сыро. Спали в одежде и всё равно мёрзли.

Работа – лесоповал. Норма – 3,6 кубометра деловой древесины на каждого. Женщины к такой работе непривычны, плачут, норму выполнить не могут, а им за это хлебную пайку 'срезают'. Придут домой – там погреться и умыться негде. Да ещё эти 'ЧТЗ' – подошва не сгибается, ноги до голого мяса натирают. Хотя ползи по снегу, но на работу идти надо, иначе не только пайки лишишься, но и в карцер попадёшь.»

«Вокруг нас, – продолжает своё повествование Амалия, – были лагеря для заключённых. Их на работу при 30° мороза не выводили, а нас всё стращали: 'Вам, фашистам, пощады нет! Работайте – скорее подохнете!'

К весне 1944 г. у нас из 700 женщин около ста тронулись умом от голода. Их в подсобном хозяйстве полгода отхаживали, пока они смогли пойти на работу. Многие умерли голодной смертью. Помню, одна женщина кричала: 'Я хочу ещё раз наесться досыта, а потом умереть!' К утру она была мертва.

Молоденькие девчата лежали в стационаре с дизентерией, плакали, не хотели умирать. Но лекарств не было, им ничем помочь не могли. Так и померли бедняжки. А через некоторое время началась цинга. Ноги опухали, становились фиолетовыми, покрывались глубокими язвами, из которых сочилась вода. Выпадали зубы, и женщины окончательно переставали быть похожими на самих себя.

Сейчас даже не верится, что всё это с нами было!..

А издевались над нами как! Начальник лесного отдела Иоффе придет, бывало, на своём жеребце, видит: женщины в рабочее время сидят у костра. Так он на лошади прямо на них наезжает, бьёт камчой, орёт: 'Расселись! Работать надо, фашистские сволочи! С голоду всех уморю!'

А то бывало и так. Женщины идут с работы, неожиданно из леса выскакивают верхом на лошадях ребяташки-буряты, хлещут их камчами по чему попало. Кричат: 'Ура! Фашистов бьём! Смерть нем-

цам!' Женщины приходят к себе, плачут кровавыми слезами. Так до самого 1947 года нас там и мучили...»

Это полное горя и трагических подробностей письмо имеет примечательное окончание. «Думала: вовек не забуду подруг, вместе с которыми муки принимала в 'Хамсуре', – пишет Амалия Фольц. – И всё-таки многие фамилии запамятовала. Да простят они меня за это. А была я с Марией Фендель, Эллой Магер, Марией Маурер, Марией Штро...» (Далее следует ещё 28 имён и фамилий, на перечисление которых здесь, к сожалению, недостаёт места. Пусть они простят и меня.)

Ко всем им обращён вопрос Амалии Фольц: «Где вы, дорогие мои «трудоармейки» из далёкой Бурмундии? Отзовитесь!»

Я тоже хотел бы присоединиться к призыву Амалии. Но боюсь, что наши голоса прозвучат подобно свету от потухших звёзд. Когда моя книга выйдет в свет, многих подруг Амалии, скорее всего, уже не будет на свете. Ведь 1943-й год, когда им было по 15 лет, уходит от нас всё дальше. Всего-то по 15 лет...

Посему эти строчки обращены главным образом к повзрослевшим детям мучениц сталинско-бериевского режима, который дошёл до такой низости, что втянул в гнусный политический водоворот вокруг российских немцев даже несовершеннолетних девчонок.

Данная глава была уже подготовлена к печати, когда пришло письмо от Людмилы Динер из Дортмунда (Земля Северный Рейн-Вестфалия). В нём два обещанных эпизода из жизни её бабушки Ольги Эльгерт. А также – неожиданный рассказ о том самом проклятом Джидастрое, который – создаётся впечатление – держался на одних немецких женщинах. Ведь о четвёртой подобной судьбе, одна другой страшнее, сообщать приходится.

«Когда бабушка похоронила двоих младших детей, её отправили в 'трудоармию' вместе с односельчанками Амалией Дамер и Элизабет Шейнмайер, – говорится в письме. – Они попали в Бурят-Монголию, на строительство вольфрамового комбината. Точнее – на лесоповал в посёлок Тужино. Условия обитания и обращение с ними были просто ужасными. Поэтому здесь вполне могли происходить случаи, о которых вспоминала бабушка, рассказывая об этом страшном времени.

В их лагере было огромное количество крыс. Бывшую учительницу из Ленинграда, которая из-за тяжёлых месячных не смогла выйти на работу, в наказание заперли в подвале, где хранились овощи. На следующий день её кости собирали по всем углам – крысы сожрали даже сухожилия, которые их связывают.»

«Однажды, – продолжает Людмила, – бабушка с Амалией Дамер

пилили очередное дерево. Оно стало медленно крениться и падать на то место, где находилась подруга. А у неё не осталось ни сил, ни желания отойти в сторону. К тому же снег был глубоким и рыхлым. Она стояла, смотрела на верхушку дерева, на небо, что-то бормотала посиневшими губами. И – ни с места! Ольга закричала, заплакала, умоляла собраться с силами, но Амалия ожидала приближающуюся гибель с затаённой радостью в глазах. Лучше смерть, чем такая унижительная, мученическая жизнь!»

Эти слова, как мне представляется, лучше всего подытоживают сказанное – ни дать, ни взять!

А вот передо мной хорошо сохранившаяся фотография, датированная апрелем 1942 года. На ней 4 женщины. Троице из них на вид лет по 40, четвёртой – не менее 50-ти. Одеты во всё самое тёплое, что только можно натянуть на себя при лесном труде. На ногах – какая-то несуразная обувь. У троих в руках топоры, у одной – лопата. Старшая по возрасту – видимо, звеньевая – держит в обхват непомерно длинную, выше женского роста пилу. Типичное звено для работы на лесоповале.

Фотографию прислал один из наших авторов Бруно Шульмейстер. На обороте он сделал надпись: «Туруханский район (Красноярского края – Г.В.), станок Искуп. Женщины-немки на лесозаготовках. С пилой стоит моя мама Шульмейстер Берта. Ей 35(!) лет.»

Этот грустный снимок – одно из зримых свидетельств неслыханного издевательства сталинского режима над немецкими женщинами.

Каждая такая фотография, любое письмо или рассказ о том времени – это напоминание детям и внукам: не забывайте о нас и наших муках, помните – это над нашим народом чинила насилие тираническая большевистская власть.

Листаю считанный с магнитофона рассказ Эрны Валлерт. С частью её повествования читатели уже знакомы. Продолжим его с того момента, когда вместе с сотнями тысяч немецких женщин Эрна была отправлена в «трудармию». Но сначала о другом: пока писалась книга, Эрна Валлерт скоростно ушла из жизни. Сердце, натруженное непосильным физическим трудом и перенесёнными горестями, остановилось, не дотянув и до 70-ти. Не верится, что нет больше этой невысокого роста, энергичной, обаятельной женщины и умелой рассказчицы.

Пишу и слышу её голос, повествующий о «трудармейской» жизни: «Со второй партией женщин, которую забирали в конце февраля 1943 года, я попала в Новосибирск, на комбинат № 179. В восьмой, горячий цех, где катали заготовки для артиллерийских снарядов. Мы крючья-

ми оттаскивали от печей раскалённые добела болванки. Было так горячо, что кожа в икрах лопалась, из них текла кровь. Пот с нас лился не градом – ручьём. Он разъедал ноги, а одежда от соли стояла колом.

В конце мая я заболела, мне дали на 3 дня освобождение от работы, и я решила съездить к сестре. От Кривощёково, пригорода Новосибирска, до станции Картат было 4 часа езды. Думала: может, хоть продуктами немного разживусь. Приехала к вечеру, подошла к кузнице, где жила сестра с четырьмя детьми, смотрю: её сынишка траву рвёт. Весь оборванный, бледный.

– Что ты делаешь? – спрашиваю.

– Мама скоро придёт, будем суп варить, – отвечает вялым голосом. Вот, думаю про себя, и захватила продуктов!

Весть о моём прибытии быстро облетела село Довольное. Появился верхом на лошади председатель колхоза Цыбуля, предложил:

– Завтра выходи в тракторную бригаду, будешь еду варить, а там так готовят – есть невозможно.

– Не могу я, – говорю, – во-первых, больная, а главное – мне завтра назад возвращаться надо.

– Это моя забота. Выходи, – сказал он и уехал.

Действительно, поработала я поварихой месяца полтора-два. Понравилось, конечно, – не горячий цех! И сестру с детьми поддерживала немного. Но выяснилось, что в Новосибирске меня спецкомендатура разыскивает. А с ней шутки плохи – судить могли за побег и дезертирство с военного завода. Поэтому Цыбуля устроил так, будто меня отправили в Новосибирск как вновь мобилизованную.

Теперь я попала на станочную обработку авиабомб, и мне стало немного легче, чем в горячем цехе. Но за время, пока меня не было, наших женщин перевели в лагерь для заключённых. На работу и с работы водили под конвоем, с собаками, как преступников. Работали по 12 часов в сутки, выходных не было до самой Победы.

В горячем цехе «трудармеек» вскоре заменили заключёнными мужчинами. Так их по три раза в день первым и вторым кормили. Чтобы не мыть котелки, они оставляли в них немного супа или каши и давали нам доест. Но мы и этому рады были. А одевали их хотя и по-тюремному, но по сравнению с нами опять-таки намного лучше. Выходит, мы хуже преступников были...

Кормили нас по два раза в день. В обед – в заводской столовой, но не с той стороны, где обедали вольнонаёмные. Они по карточкам получали совсем другие продукты. Нам давали 300 граммов хлеба, суп и что-то вроде второго – варёную капусту, репу или турнепс. Второй

раз мы ели в 'зоне' после работы: 400 граммов хлеба и суп – зимой из мёрзлой капусты, летом из крапивы. Хлеб напоминал кусок кирпича-сырца. Он прилипал к зубам, и его было удобней не есть, а сосать. Мы вечно мучились от голода и, конечно, всё съедали.

Одежду нам выдали только следующей зимой. Это были ватные брюки и фуфайки, которые мы надевали на голое тело. Головы закутывали чем попало, на ноги надевали ботинки – верх брезентовый, подошва деревянная или резиновая, от автопокрышек. Брезент на пятках отрывался, и чем только дыры не затыкали – ничего не помогало. Поэтому ноги у многих были обморожены. Но на работу их всё равно выгоняли.

В бараках почти не топили. В чём работали, в том и спали. Хорошо, если было что на нары постелить. Случалось, что от холода, сонной усталости и полного безразличия по ночам мочились прямо в 'постель'. Утром на морозе одежда вставала колом. На нас страшно было смотреть: худые, согбенные, закутанные во что попало. В 22 года я выглядела форменной старухой. Живой скелет, на лице волосы выросли, голова стриженная, чтобы от вшей спастись.

Зимой умыться негде, в бане водичка еле тёплая. Это при адском холоде. Да и мыла тоже не было. Мы приспособились на заводе мыться эмульсией. При такой жизни вши нас заживо съедали. Словом, жили мы хуже скотины. Ни одного светлого дня...»

И всё-таки был на небе ангел, который оберегал её от тирании безбожных правителей. Помощь пришла в самое трудное время, когда казалось, что терпение иссякло, а впереди – бездонная пропасть.

Чтобы рассказать об одном из таких редких случаев в неустроенной жизни немецких женщин, я снова обращаюсь к магнитофонной записи беседы с Эрной Валлерт. Ей эта тема не казалась запретной. Напротив, её обнародованием она хотела ещё раз выразить признательность человеку, который встретился ей на тернистом «трудармейском» пути.

«Как-то лежу я в обеденный перерыв на стружках в цеху. Сил нет даже в столовую пойти. Есть не хочется, жить – тоже. Подходит мастер Иван Григорьевич Гурьев, спрашивает:

- Что, Вера, лежишь (меня там так звали)? Почему на обед не идёшь?
- Не хочу, сил нет, – отвечаю.
- Пойдём, я тебя в нашей столовой покормлю.

Пошли мы, и впервые за последние годы я поела нормальный суп и кашу. Мастер и потом нередко давал мне талоны на дополнительное питание. Не знаю, кому они полагались, но только не на-

шим женщинам. Для меня талоны были большой поддержкой.

Чем это объяснить? Кто его знает, наверное, пожалел меня... Он и к другим женщинам на нашем участке подходил – сердечный был человек. Но чаще задерживался у моих станков. В свободную минуту я рассказывала о своей жизни, а он – о своей. Его семья погибла под бомбёжкой, один он остался. Лет сорок ему примерно было, ещё не старей.

Спрашиваете, не влюбился ли он в меня? Может быть... Но таких слов тогда не говорили, каждый думал, как выжить.

Было это осенью 1944 года, а к Рождеству он мне валенки принёс. И ещё чулки.

– Прямо здесь и надевай, – говорит. – Сбрасывай свои тряпки!

– Как же я их одену – ноги все в ранах, – отвечаю. Он как увидел, что с моими ногами творится, тут же велел: 'Немедленно в медпункт!'

Пошли мы вдвоём. Нас, немок, туда одних не пускали. Мне обрабатывали гнойные раны, перевязали, но ещё долго пришлось мучиться, пока они не зажили. А я была спасена добротой этого человека. Всю жизнь ему благодарна.

Тогда же, в конце 1944 г., – спасибо дяде Ване – я получила разрешение на свободный выход из 'зоны' и с завода. После конвоя это было такое счастье – почувствовать себя человеком! Будто крылья выросли – не ходила, а летала, как птица! Потом он добился, чтобы мне заработок на руки выдавали, говорил:

– Ну как ты в своём тряпье будешь по улицам ходить? Надо же человеческий вид иметь!

Мне он сказал: 'Давай оформим брак, чтобы я мог о тебе заботиться, а там – как знаешь'. И поставил вопрос перед начальством лагеря:

– Могу я жениться и забрать из 'зоны' Веру Валлерт? Сколько ещё человеку мучиться?!

– Не положено! – ответили ему. – Она мобилизованная немка и должна находиться в лагере.

Потом эти отношения как-то сами собой иссякли. Вскоре после войны нас отправили в колхоз, оттуда – на тарный, а в 1946 г. на лесопильный завод. Хотя там по-мужски тяжело работать приходилось, но впервые за многие годы нас за людей считать начали. Нормально одеваться стали, женщинами себя почувствовали.

Между нами говоря, – понизила голос Эрна, – до этого почти ни у кого из нас не было даже месячных. Мы были 'никто' – ни мужики, ни бабы... Такую вот жизнь уготовила нам Советская власть...»

К сказанным Эрной Валлерт словам добавим: специально для немцев уготовила. Московским партийно-энкаведешным боссам и в го-

лову не могло прийти поставить в такие нечеловеческие условия, например, всех русских, украинок или женщин других национальностей. К этому у властей не было ни оснований, ни далеко идущих целей.

Тем самым ещё раз подтверждается справедливость нашего утверждения о том, что «мобилизация» немецких мужчин и женщин преследовала не только и не столько труд «во имя Победы» или для искупления несуществующей вины. Это была адская работа и жизнь, рассчитанные на верную и скорую гибель.

Женщин ставили на самые тяжёлые участки – лесоповал, земляные работы, железнодорожное строительство, загоняли в шахты и рудники. Это было их уделом и судьбой. А ветер, дождь, мороз, снег, пурга, таёжный гнус – повседневными спутниками.



Эльза Лоренц

Об этом свидетельствует и письмо, которое прислала мне в 1992 г. из северо-осетинского города Беслана Эльза Лоренц. Ей было 16 лет, когда осенью 1942 года их вместе с матерью «мобилизовали» и направили в Караганду, на строительство подъездных путей к 4-му угольному разрезу.

Мать была крупной и сильной женщиной. Она привыкла много и напряжённо работать, но ей требовалось и больше еды. А питание в лагере было очень плохим. Кроме мутной водички, именуемой супом, и 700-граммовой пай-

ки хлеба ничего больше не давали. Эльза отдавала матери свой ужин, довольствуясь кусочком хлеба и кипятком.

Долго продержаться они не могли, стали слабеть и вскоре дошли до того, что перестали даже выходить на работу. Их никто и не гнал, но теперь они получали минимальную норму питания – 500 граммов хлеба и два раза суп-водичку. Мать и дочь просто оставили умирать голодной смертью. Как и многие другие узники лагеря № 35, они стали опухать и превратились в «доходяг». Особенно страшно было смотреть на совсем ещё недавно высокую и статную мать Эльзы.

«И вот, – пишет Эльза, – возвращаюсь я как-то вечером из кот-

лоблока, прохожу мимо кухонной помойки и вижу: стоит на коленях моя мама, а перед ней – такая же худющая собака. Обе вцепились в выброшенную на свалку бедренную кость. Собака упёрлась передними лапами, рычит, не отпуская свой конец кости. Мама кричит на собаку и тоже тянет кость в свою сторону. Так продолжалось несколько минут.

В результате этого единоборства собака осталась без добычи. Мама была счастлива. Улыбаясь, она сказала: 'Собака имеет возможность выйти за проволоку и найти там что-нибудь другое.' Её странная улыбка ножом резала меня по сердцу, а голодный блеск глаз вызывал настоящий страх. Она казалась помешанной. Голод превратил человека в животное. С тех пор прошло полвека, но и сегодня её глаза стоят передо мной...»

Железную дорогу достроили без них, пишет Эльза Лоренц. А они выжили чудом. Осенью 1944 года их «сактировали» и направили в совхоз Вольнянский под Караганду. Приехали за ними оттуда на телегах, осторожно, как тяжелобольных, вывели под руки из барака, уложили на солому и медленно повезли, чтобы по дороге они не умерли от тряски. В совхозном медпункте их две недели отпаивали, понемножечку кормили, и они кое-как встали на ноги.

А их женский лагерь направили на Дальний Восток, строить новую железную дорогу. Там тоже многие немецкие женщины в землю полегли. Трагедия была – похлеще карагандинской. Эльзе об этом рассказала знакомая женщина, которой удалось оттуда вернуться. Случайно встретились с ней на улице в Караганде...

Добавим к сказанному, что в 1945 г. в Севвостлаге (Дальстрой НКВД) находилось 21898 спецпоселенцев.

Башкирия, Бурят-Монголия, Кировская, Горьковская, Куйбышевская, Свердловская, Гурьевская области, Новосибирск, Караганда, Челябинск, Орск – вот перечень тех женских каторжных мест, которые называли в своих воспоминаниях мои корреспондентки, соавторы этой книги.

Фактически таких лагерей было намного больше, по моим подсчётам – около ста. Среди них нельзя не упомянуть ещё одно гибельное место – строительство нефтепровода Гурьев-Кандагач-Орск. Об этом женско-мужском аде рассказывает один из немногих его уцелевших узников Давид Геринг.

В одном из передвижных лагерей НКВД, поставлявших рабсилу Главнефтестрою, он вместе с другими немецкими мужчинами находился с февраля 1942 г. Осенью привезли и женщин. Основной

работой немецких каторжников было рытьё траншеи под трубопровод. Три погонных метра для мужчин, два для женщин – такую им установили «железную» норму, которая почему-то не менялась и зимой. Лопата, лом, кирка являлись единственными механизмами, а мускульная сила – незаменимой энергией на этой стройке.

Давид был шофёром, возил трубы, которые укладывались вслед за перемещавшимся на восток человеческим муравейником. Он видел этот ад в натуре, и его до сих пор преследуют ночные кошмары.

Открытая всем ветрам безводная выжженная степь. Ни деревьев, ни кустика. Только высохшая от жары трава – полынь и осока. Летом нестерпимый солнцепёк, от которого нет спасенья. Зимой столь же непереносимый холод и сбивающий с ног ветер, который гонит по степи массы перемешанного с песком снега. Ни укрыться, ни костёр развести. Вдоль трассы через каждые пару десятков километров расположены передвижные лагеря, где по ночам в траншеях-бараках содержатся рабы-землекопы. В бараке – два яруса нар, устланных грубой степной травой, две нефтяные печки, коптилки для освещения. Сыро, душно, сыплется земля, зимой очень холодно.

Во всём остальном – это типичные лагеря ГУЛАГа с заборами, колючей проволокой, вышками, вахтой и неизменным карцером, в который сажали на гибельные хлеб и воду строптивых или тех, кто, по мнению охранников, работал недостаточно усердно. Для этого конвойных наделили одновременно функциями учётчиков и погонщиков «трудмобилизованных». В их руки вложили «бич», основное орудие принуждения к труду и безропотному подчинению – котловку. «Умри, но норму дай!» – это правило в руках тупых служаков, спасавшихся от фронта в рядах НКВД, имело далеко не символический смысл.

Нормы питания, по мнению Давида Геринга, устанавливались таким образом, чтобы жизненных ресурсов самых выносливых мужчин и женщин могло хватить до осени 1943 года. К этому времени предстояло выполнить определённую часть государственной программы, а с другой стороны – должно было проясниться положение на фронте. В случае неблагоприятного развития событий немецкая рабсила и всё сделанное ею могли быть быстро уничтожены.

Именно к этому, рассказывает Давид, всё и шло в их лагерях. Однако жизнь внесла свои преждевременные коррективы. Дело в том, что на стройке использовалась только привозная вода. Её брали из застоявшихся озёр и случайных степных речушек. Она была практически непригодной для питья. К тому же воду нередко доставляли в плохо вымытых автоцистернах из-под горячего. Кишечные заболевания, по-

нос, дизентерия буквально косили лагерников. Способствовала этому и пища, которую готовили, как правило, из продуктов, испорченных длительной доставкой и неправильным хранением. В летнюю жару кишела червями даже солёная рыба, не говоря уже о требухе, которую иногда привозили «трудмобилизованным фашистам».

Выживших в летнем солнечном аду смерть поджидала зимой. Вынуть предписанный объём мёрзлого грунта было лагерникам совершенно не под силу. У многих не хватало мочи даже на то, чтобы поднять лом для удара. А кирка падала на землю плашмя, не отбив ни кусочка окаменевшей земли.

И узников охватывало отчаяние. Не помогали ни окрики, ни удары охранников прикладами. Люди топали ногами, отвернувшись от ветра, втянув головы в плечи, стояли согнувшись, пока не падали в полусонном голодном обмороке.

В результате пришлось вырыть вдоль трассы нефтепровода длинную цепочку могильников для тысяч оставшихся безвестными немцев, погубленных сталинско-бериевской кликой. По мере продвижения траншеи число её строителей таяло всё быстрее.

Как впоследствии рассказал Давиду лагерный сапожник Эвальд Ванке, к весне 1943 года некогда 14-тысячные женские и мужские «немецкие» лагеря почти полностью опустели. Большинство умерло, некоторые сбежали – хотя куда денешься в бескрайней и безлюдной степи? Остальные доживали свой короткий век «доходягами». Из общих знакомых, дотянувших до 1946 года, Эвальд смог назвать только троих. Работать стало некому, и траншею начали рыть бульдозерами. Вместо немцев привезли «вольных» узбеков и туркмен, но толку от них было мало.

К этому времени Давид Геринг уже находился далеко отсюда: в декабре 42-го он «посмел поднять руку» на капитана войск НКВД Ветухова. Как-то после многокилометровой дороги Давид отдыхал в кабине своей автомашины. Ветухов по лагерной привычке не терпел, если заключённые не суеются в его присутствии. Неважно какие, но «эти немцы» – в особенности. Он приказал Герингу выйти из кабины и подключиться к разгрузке. Давид отказался. Тогда капитан рукояткой револьвера ударил его в грудь, да ещё и обозвал «фашистской сволочью». В ответ он получил удар в лицо пластиной от домкрата.

В результате – следствие «с пристрастием» и попыткой подвести Д. Геринга под расстрельную 58-ю статью. Затем тюрьмы, голодовка, суд и отсидка вплоть до амнистии 1946 года.

Тогда и встретился ему Эвальд Ванке. Из его рассказа он понял:

тюрьма спасла его от неминуемой смерти в лагере для «трудмобилизованных». За тюремными стенами он как-никак находился под защитой «советского закона». За его жизнь и смерть несла ответственность тюремная администрация. Он мог в любое время подать жалобу прокурору, если считал, что нарушены его права заключённого. А российский немец или немка, находясь в ещё худших материально-бытовых и морально-психологических условиях, были начисто лишены этих прав. Положение «несудимого заключённого» оставляло им единственное право — умереть в полной неизвестности.

К таким выводам пришёл на собственном опыте Давид Геринг. В конце своего повествования он заявил: «Я дважды доволен, что раскрыл физиономию тому капитану. Во-первых, отомстил хоть одному энкаведешнику, во-вторых, вышел живым из нашего траншейного ада.»

Как это бывало и раньше, я почти одновременно получил два письма об одних и тех же событиях — в данном случае о гибельном пребывании немецких женщин и мужчин в закаспийской пустыне. Одно из них мы только что процитировали. Второе пришло от Эриха Полински, проживающего в настоящее время в Германии. Вот что он пишет:



Эрих Полински

«15 февраля 1942 г. наш эшелон с 'трудмобилизованными' немцами прибыл на станцию Макат Гурьевской области. Через двое суток нас на автомашинах доставили в лагерь 'Участок № 36 Беке-Беке' строительства № 14 Центроспецстроя (Наркомнефти СССР — Г.В.). Почтового адреса не было. Проволока, вышки, вахта. Вокруг 'зоны' — ров, предназначенный для задержания песка, переносимого ветром, и одновременно для предотвращения побегов. По слухам, в лагере находилось 1500 мужчин и женщин.

Баракы — из камышовых матов. Зимой они не спасали от пустынного ледяного ветра и холода. Постели отсутствовали. Мы располагались на глиняном полу, где нередко ползали фаланги, скорпионы и каракурты. Спали в том же, в чём ходили. Света, отопления не было. В центре 'зоны' находился карцер-колодец для нака-

зания тех, кто систематически не выполнял нормы выработки. Таких было много, карцер не пустовал никогда. Сверху палило солнце, голод и жажда доводили узников до умопомешательства. Начальник лагеря Скобец — человек хуже собаки — постоянно кричал, оскорблял, угрожал за каждого убитого немцами еврея сгноить тысячу 'тудармейцев'.

Мы отсыпали полотно для железной дороги. Норма — загрузить и перенести носилками на расстояние 50 метров 5 кубов песка в день. Выполнивший норму получал вечером 150 граммов селёдки дополнительно к баланде и затем до утра мучился от жажды. Помимо 600 граммов хлеба и так называемого супа нам полагался также литр воды в сутки, но практически мы получали только половину. За 8 месяцев пребывания в лагере я, как и все его обитатели, ни разу не смог как следует умыться даже лицо. Как обходились без воды женщины, представить не могу.

Более 1000 человек выполняли совершенно бесполезную работу. Насыпь тут же разгоняло ветром или заносило песком. Железной дороги в том месте нет до сих пор. Ели всё, что имеется в пустыне, а также машинное масло и солидол. У больных дизентерией не хватало сил добраться даже до туалета, и они умирали в ужасном состоянии. Медпункта и лекарств не было. От вшей и блох, которые буквально изводили людей, спасались тем, что намазывали всё тело автолом, и в результате становились чёрными как негры. Умерших — а за 8 месяцев нас осталась только половина — достаточно было убрать за пределы 'зоны'. Далее ветер совершал своё единственное полезное дело: заносил трупы песком.

Мне повезло — осенью 1942 года меня и ещё с десятков парней отобрал начальник, который прибыл с другого такого же участка. Но там было намного лучше с водой и не так свирепо собачилась верхушка. А через год весь состав нашего лагеря перевели в Орск, на строительство нефтеперегонного завода.»

В завершение женской тудармейской эпопеи поведаем ещё об одной истории, которую рассказала мне Елизавета Каспар. Начало её повествования было изложено выше и прервалось на том, что их «украинский» эшелон доставили в Новосибирск, на военный завод. Шестилетняя дочь, которую она потеряла, находясь «в окопах», оказалась у дальних родственников на юге той же области.

Вот краткое изложение последующего рассказа Е. Каспар.

Их, 1800 «тудармеек», поселили в лагере, где до этого обитали заключённые. Женщины были глубоко возмущены и принялись со све-

жими силами и решимостью рвать колючую проволоку, хотя это могло стоить им жизни. Охранники прикладами отталкивали их от забора, но не стреляли. «Зону» так и не восстановили до самого конца, а вахтёры охраняли «мобилизованных» непосредственно у барakov.

Нары были трёхэтажными. Спали на соломе, не раздеваясь. Снеповку и одежду им не выдавали, нижнее бельё тоже. Бараки не отапливались. Женщины пытались приносить с завода уголь, пряча его за пазухой. Их грубо обыскивали и вдобавок избивали. Пробовали перебрасывать уголь через забор, но и эти уловки заканчивались тем, что их отгоняли и били прикладами охранники. В город выходить не разрешалось. На работу и с работы их водили строем, в сопровождении конвоя с собаками. Правда, не стреляли. Собак крепко держали на поводках, хотя и позволяли им лаять. Елизавета с подружкой частенько выбивались из строя, не хотели выглядеть как арестованные. Их снова загоняли в колонну. Из барака убежать было можно, но далеко ли уйдёшь без документов? К тому же их строго предупредили, что за побег с военного завода полагается расстрел как за дезертирство с фронта.

Главным их занятием являлась обточка корпусов для снарядов. Каждая из женщин работала на двух-трёх токарных станках. Здания цехов были плохо остеклены и почти не отапливались. Вода, отлетавшая от обрабатываемой детали, попадала на грудь, стекала вниз, и одежда постоянно покрывалась слоем льда. Сушить её было негде. Простуда вызывала дополнительные болезни. Но на работу всё равно приходилось ходить, чтобы не умереть с голоду. Ведь в лагере никакого питания не выдавалось.

Завтрак и обед женщины получали на заводе. Каждый день одно и то же: жиденький рыбный суп и 600 граммов хлеба. Они были доведены до такой степени истощения, что на их теле уже не оставалось мышц — одни кожа да кости. «Об этом неудобно говорить, — замечает Елизавета, — но у каждой из нас на заднице торчал костлявый хвостик, как у обезьяны. Теперь это смешно, но такова печальная правда.»

Люди так изголодались, продолжает она, что ели даже солидол, который шёл на смазку. Результат — понос и смерть. Лучше всех приходилось тем, кто имел право выходить из цеха и мог попасть на помойку при заводской столовой. Там удавалось находить картофельные очистки и кости. Большинство же было обречено на гибель.

За 4 года, пока Елизавета находилась в заводском лагере, не менее половины женщин умерло здесь от голода и болезней. Часть

сбежала — на свой страх и риск. Некоторых вернули назад, и большинство из них попало в заключение. Нередко женщины гибли под колёсами поезда. Одни потому, что у них не было сил достаточно быстро перейти через рельсы. Другие — умышленно, чтобы таким способом избавиться от физических и моральных мук.

Где хоронили умерших, она не знает. Мертвецов оставляли на нарах и уходили на работу, а днём трупы куда-то убирали.

Тяжелее всего было женщинам, которые оставили «дома» по несколько детей. У таких редко просыхали глаза. Раздавались крики отчаяния, когда детей настигало несчастье или смерть. Подобное случилось и у Е. Каспар. В апреле 1945 г. она получила письмо от знакомых, которые сообщали, что её девочка повредила глаз и, если не принять срочных мер, может ослепнуть.

Елизавета показала письмо директору завода и попросила освобождения от работы на какое-то время, чтобы позаботиться о дочери. Он посочувствовал, но заявил, что отпустить её не имеет права. Тогда она решила бежать. Здоровье и благополучие дочери были ей дороже собственной жизни.

Ночью она прокралась мимо уснувшего вахтёра и к утру добралась до пристани. Ей предстоял путь в 180 километров.

О том, что было дальше, расскажет сама Елизавета: «Утром вверх по Оби отправлялся пароход. Но как на него попасть, если у меня нет ни билета, ни денег, ни документов? Вижу женщину с ребёнком лет пяти и какими-то вещами. Я рассказала ей о своей беде и попросила, чтобы при посадке она позволила мне взять на руки ребёнка. Сначала та не соглашалась, но потом уступила. Мы удачно прошли на пароход, я посадила девочку на колени. Так благодаря доброй женщине, с трепетом в душе добралась я до цели.

Было два часа ночи. До деревни, где у дальних родственников находилась дочь, было километров 8, и рано утром я уже оказалась у них. Моя 10-летняя девочка нуждалась в серьёзном лечении. На завод я решила не возвращаться, но и в деревне больше суток оставаться было нельзя. Милиция обыскивала дома, и я просидела этот день в подполье. Следующей ночью отправилась в путь, пообещав дочери забрать её, как только устроюсь. Но куда идти? Всё равно — пошла, куда Бог поведёт. Слышу — по лесной дороге едет телега. Увидела: в неё впряжена корова, на телеге старик сидит. Спросил, откуда я, ведь всех людей в округе он знал. Предложил сесть в телегу, выслушал рассказ о моей жизни, посочувствовал. Потом сказал, что он человек верующий (так оно и было) и хочет помочь мне в надежде, что Бог

спасёт его сына на фронте. Мы погрузили дрова и с рассветом подъехали к дому, где старик жил с невесткой и внуками. Мне он сказал, чем я должна заниматься по дому. На улице велел не показываться, чтобы никто не знал, что они скрывают беглянку.

Прошло два месяца. Через знакомого председателя сельсовета Иван Трофимович (так звали моего благодетеля) выправил документ, по которому меня должны были принять на работу в 'Химлесхоз', где директорствовал его друг Едаков. Старик дал мне картопки в дорогу, с утра пораньше отвёз до Оби, перекрестил и усадил в лодку.

'Химлесхоз' занимался сбором соснового сока-живицы, из которого производили сырьё, необходимое для военных целей. Меня упрятали на 179-й лесной участок, за 150 километров от жилья. Там мы с дочкой жили до 1947 года и дожидались нашего Каспара. Он находился в актюбинских лагерях. Все эти годы мы искали и, наконец, нашли друг друга.»

Рассказ Елизаветы Каспар — одна из редких «трудармейских» историй, завершившихся благополучно. Но даже в её свидетельстве столько несчастия, слёз и горя, которые были неизменными спутниками неженского затворно-принудительного существования. Генрих Лютц прислал мне из Ялты ещё в 1992 г. стихотворение, посвященное «трудармейкам». Вот небольшой отрывок из него:

/ Через широкие скрипучие ворота / На недалёкую
холодную реку / Баб по утрам водили на работу / Пло-
ты птабелевать на берегу. / В воде по пояс, а когда — по
груди, / Они возились в сапогах и юбках, / А те, что на
сухом, собачьи муди, / Покуривали в тёплых полушуб-
ках. /

«В воде по пояс, а когда — по груди», лесоповал, земляные работы, укладка железнодорожных путей, добыча угля и руды, полуголодная скитальческая жизнь, нередко под конвоем, — это была лишь часть «трудармейского» женского горя. Верх надо всем брали не проходящие ни трудным днём, ни бессонной ночью гнетущие мысли о покинутых на лишения и смерть детях.

Беря в руки кусочек хлеба, матери думали: а поели ли сегодня их милые крошки? Укладываясь спать, гадали: дал ли Бог детям место для спокойного ночлега? Так бывало не раз — сядет вконец обессиленная женщина на спиленный пенёк и скажет: «Всё! Умру, но не сдвинусь больше с места...» Подойдёт десятник, станет уговаривать,

и только слова о детях, ради которых надо жить, могли заставить её снова взяться за пилу и топор.

По письмам знакомых, родственников, корявым строчкам малолетних сыновей и дочерей матери узнавали — если позволяла цензура — о том, у кого и как в данный момент живут, где добывают себе пропитание, учатся ли в школе их дети. Этими весточками жили, им радовались, из-за них огорчались. Поздравляли малолеток с первым заработком, урожаем картофеля с собственного огорода, купленной вещью, даже со свадьбой. Но чаще плакали горючими слезами, потому что горше полыни была жизнь осиротевших детей.

Елена Рудер, письмо которой мы цитировали выше, написала в нём и о своей тёте Доре, которую, как и их, переселили в Красноярский край. У неё было трое детей, и едва меньшему исполнилось 3 года, как тётю вслед за мужем в 1942 г. забрали в «трудармию». Дети остались на руках у её старой бабушки. Бедствовали, голодали ужасно. Закончилась война, а родителей к детям всё не отпускали. И неизвестно было, когда пустят. Старуха заболела, и некому стало добывать даже нищенскую еду. А тут ещё наступил голодный 47-й год.

Тогда тётя Дора рискнула на несколько дней приехать домой, чтобы увидеться с детьми и бабушкой, попытаться им хоть чем-нибудь помочь. Но исчезновение из барака было обнаружено, и вскоре прямо на глазах у детей и больной старухи её арестовали и увезли.

Год спустя выпустили. Но через несколько месяцев после возвращения она умерла от туберкулёза, который нажила за 5 лет работы на лесоповале.

Трагические сцены при расставании и бесконечные слёзы матерей в далёкой «трудармии» более чем объяснимы, если принять во внимание, в каком ужасном положении оказывались дети и престарелые родители после того, как у них отнимали отцов и матерей, сыновей и дочерей. Об этой эпопее, уготованной российским немцам, написано очень мало. А могла бы быть рассказана история не менее драматичная, чем та, что отображает «трудармию» как таковую. Беспомощные дети и старики оказались в таких условиях, что могли выжить только благодаря чуду или помощи других людей.

Пусть об этой трагедии расскажут сами жертвы, осиротевшие по воле московских нелюдей, бывшие немецкие беспризорники. Вот строчки из письма Петера Дика, которое пришло в 1992 г. из Павлодарской области. Он сообщил: «Мне было 6 лет, когда вслед за отцом забрали в 'трудармию' и маму. Только став взрослым, я по-настоящему понял великое горе наших матерей, усаженных на бычьи сани

для отправки на станцию, будто на казнь. Мы долго бежали вслед и громко плакали, а они криком кричали от душивших их слёз.

Матерей увезли, и дети остались совсем безнадзорными. 15 мальчишек от пяти до 12-ти лет загнали в землянку, где мы и прожили несколько лет. Не было ни топлива, ни еды. На неделю выдавали из колхоза по 200 граммов зерноотходов, чтобы 'фрицы' скорее передохли...

Вскоре вся одежда изорвалась, и мы остались совершенно голыми. Чтобы срам прикрыть, повязывались тряпкой (по-казахски 'сапун'). Зимой по очереди надевали то, что у кого-то осталось, и по деревням ходили, милостыню выпрашивали, а потом между собой делили. Многие умерли, другие замёрзли, иных волки в степи разодрали. Как жили все эти годы – даже сейчас не рассказать.

Моя мама вернулась только через 7 лет, в 1949 г., когда я уже помощником тракториста был. А про отца мы до сих пор ничего не знаем...»

Случай далеко не единичный. Когда немецких детей совсем некуда было девать, местные власти устраивали для них некое подобие конюшни или загона для скота. Однако, в отличие от «движимой колхозной собственности», детей лишали самых элементарных условий для жизни, и они постепенно гибли. Об учёбе в школе не могло идти речи, т.к. в большинстве своём они не знали русского языка, были голодны, раздеты и разуты.

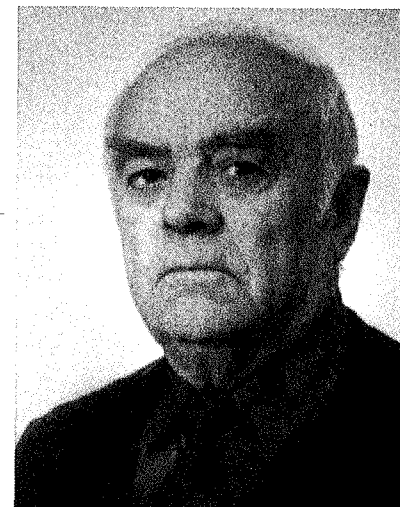
Вот выдержки из писем, одно из которых пришло из Таджикистана в 1992 г., а второе – из немецкого города Ниенбурга (Земля Нижняя Саксония) в 1994-м. Оба принадлежат перу известного в Таджикистане, живущего теперь в Германии художника Эрвина Гоффмана. Он сообщал:

«Самое страшное для нашей семьи началось зимой 1942 года, когда отца забрали в 'трудармию' на Урал. Мы оказались без средств к существованию – мать, престарелая бабушка, братишка. Да ещё малыш, родившийся в Казахстане. Одного брата отец закопал по пути с Северного Кавказа на каком-то полустанке. Жизнь в казахстанской деревушке была ужасной. Перебивались тем, что собирали в поле колоски. За это нас жестоко избивали, отбирали мешки и наволочки, снимали одежду. В степи мы выкапывали какие-то коренья, дикий лук, варили траву, ловили сусликов и кое-как сводили концы с концами. В 1944 г. начался повальный тиф, от которого люди гибли как мухи. Умерла бабушка, за ней малыш. Этого момента 'органы' будто ждали и сразу же отправили в 'трудармию'

мать. Мы с 6-летним братом остались совсем одни (мне было 10 лет). Сельсовет и колхоз отдали нас в так называемый детдом – загон для лошадей на месте бывшего конезавода.

Иначе, как концлагерем для детей 'врагов народа', это гиблое место не назовёшь. Кормили нас хуже сторожевых собак, которые его 'охраняли'. Били, по-всякому издевались, обзывали последними словами. Словом, всё делалось для того, чтобы немецкие дети поскорее вымерли. Но мы выжили, несмотря ни на что.»

Другой художник, искусный оформитель книг из Москвы Роберт Вайлерт, также проживающий сегодня в Германии, рассказывал, что в алтайской деревне Новая Еловка, рядом с которой они жили после депортации из Поволжья, всех детей, оставшихся после «мобилизации» женщин, отдали «на попечение» полусумасшедшей немецкой старухе. Она не могла присматривать за ними, и они были полностью предоставлены сами себе. Хуже того, однажды соседи обнаружили её полуразложившийся труп, а рядом – еле живых детей. Их разобрали русские женщины, т.к. немцев в селе не осталось ни одной.



Роберт Вайлерт

О судьбе своего отца Ивана Шица сообщила мне молодая учительница Люксембургской школы в Киргизии Мария Эдельман. Ему было 11 лет, когда в 42-м забрали в «трудармию» его отца. Вслед за ним – 15-летнего брата. Через некоторое время, в том же году, от тифа умерла мать. Остался Иван за старшего в семье, а в ней ещё четверо младших братишек и сестёр – один другого меньше. И голод тоже остался. Забрал он вскоре самого маленького, угадал едва начавшаяся жизнь. Осталось трое. Надо было думать, как спасти их и себя.

Стал Ваня работать в колхозе. Дали ему лошадей, чтобы перевозить всевозможные грузы. Управлялся в меру своих детских сил. А младшие дома сидели – выйти на улицу не то что зимой, даже летом не в чем было. В буквальном смысле слова! С нетерпением ждали они вечера, когда Иван с работы придёт и что-нибудь принесёт из еды. Иногда ему удавалось выпросить у бригадира пшеницы, ко-

тору можно было поджарить на плите и съесть. Когда зерна бывало побольше, его мололи у соседей на ручной мельнице, а потом пекли лепёшки или варили затируху.

Осенью и весной Иван добывал картошку и свёклу, оставшуюся в поле после уборки. Выслеживал волчьи лёжки и сдавал в сельмаг выводок, если удавалось отогнать волчицу. За это можно было получить кое-что из одежды для себя и малышей. Осенью, когда заканчивалась уборка, дети собирали в поле «масак» – остатки пшеницы или гороха. Не раз плётка объездчика прохаживалась по их детским спинам. Нельзя было трогать колхозную, социалистическую собственность! Пусть лучше сгниёт, но не достанется голодным людям!

Не обходилось, конечно, без помощи и подсказки взрослых соседей. Навстречу детям нередко шли и в колхозе. Сообща удалось сохранить 4 детских жизни. А потом сам Иван подрос настолько, что в 17 лет женился, привёл в сиротский дом такую же юную хозяйку, как и он сам. Было это уже в 1948 г.

– Я считаю, что пережитое и совершенное моим отцом в детстве – это жизненный подвиг, – заметила Мария. – Всю жизнь он посвятил работе в кузнице и воспитанию своих детей. Имея только 2 класса образования, добился, чтобы дети выросли образованными людьми. Старшая дочь Алиса закончила медучилище, сын Иван – Томский политехнический институт, а я – Киргизский госуниверситет.

...Как вы понимаете, семейные предания, сколь бы драматичны они ни были, имеют, как правило, благополучный конец – об ином исходе рассказывать попросту некому. Или почти некому. В одном из стихотворений о выросших детях той поры говорится:

Die Zeit verging, ich wuchs heran
Und ging dann meine Lebensbahn.
Doch viele traf das Hungerschwert
Und ruhen jetzt in fremder Erd'.

(Прошло время, я подрос / и пошёл своим жизненным путём. / Но многих настиг голодный меч, / и они покоятся теперь в чужой земле.)

Моя невестка Фрида Вольтер вспоминала о своём родственнике Андрее Валле, который вместе с семьёй был выслан в глухое казашское селение Долской Актюбинской области, расположенное в 120-ти километрах от ближайшего города и железной дороги. Там-то и разыгралась страшная и такая обыденная в те времена трагедия.

Андрея отправили в «трудармию», где он голодал и бедствовал на уральских лесозаготовках. В Долском осталась его жена с пятью маленькими детьми. Это спасло её от «мобилизации», но не от голодной смерти. Поскольку всё, что годилось из вещей для обмена на продукты, было реализовано, а в нищем колхозе за работу не выдавали абсолютно ничего, у неё, как и в семьях других немецких выселенцев, начался голод.

Первыми умерли трое младших детей. Пытаясь спасти оставшихся, мать обрекла на гибель себя. Её опухшие от голода руки, ноги и лицо вызвали переполох у малограмотных сельских жителей. Решив, что это какая-то заразная болезнь, они силой заставили соседей отвезти её за селение, на «Пикет» – в заброшенный дом без окон и дверей. А чтобы не занести «заразу» в аул, запретили даже относить ей воду. Все попытки объяснить им, что дело вовсе не в болезни, а в последствиях голода, были тщетны.

В это время из лагеря приехал «сактированный» Андрей, весь опухший от голода, с потрескавшейся кожей на ногах, откуда постоянно сочилась жидкость. Его попытка пройти к умирающей жене была встречена кольями. Он попросил местного учителя объяснить своим односельчанам суть дела. Но аксакалы были непреклонны. Более того, они пригрозили изгнать из аула и Андрея.

Он отправился в Актюбинск, чтобы пожаловаться на вопиющее варварство и произвол. Но когда с обещанием разобраться в происхождении вернулся в аул, её с каждым днём слабеющий голос, звавший на помощь, уже затих. Решив, что она умерла, местные жители сняли охрану вокруг «Пикета». Они не ошиблись – женщина была мертва. Но теперь никто не давал Андрею лопату, чтобы её похоронить. Не дали и немцы, боясь расправы. И всё-таки ночью один из соседских подростков тайком принёс две лопаты. Вдвоём они отвезли на тележке труп подальше от «Пикета» и зарыли в степи.

Через несколько месяцев Андрея снова забрали в «трудармию», и двое его детей остались совсем одни. Соседка из депортированных не могла взять их к себе, потому что её семья тоже была на грани смерти. Предоставленные самим себе, дети перебивались, как могли: летом ели степных черепах, весной питались сусликами, которых можно было изгнать из нор водой, осенью собирали колосья на стерне. Частенько колоски у них отнимали и отдавали убогой колхозной птицеферме на корм. Зимой, одетые в лохмотья, дети просили подаяния по редким в этих местах аулам. Одни их оскорбляли, выгоняли, другие жалели. Мальчишки били, обзывали «фри-

цами», но голод был сильнее страха и унижений. Он заставил их быстро заговорить по-русски, чтобы никто не знал, что они немцы. А просить поесть по-казахски они уже научились.

Таким «счастливым детством» наградила Советская власть немецких детей в ту военную пору. Конечно, тогда было несладко всем детям. В особенности в сельской глубинке, где практически отсутствовало централизованное продовольственное снабжение. Матери надрывались на колхозной работе, живя лишь тем, что удавалось унести тайком с фермы или зерносклада да вырастить на своём огороде.

Но многие дети депортированных немцев Поволжья, Украины, Кавказа, а также немецких жителей Оренбуржья и Сибири были лишены и этого. У них отняли само главное – заботливые руки матери, её доброе участливое сердце. Лишили ласки, которая согревает детскую душу, отобрали сказку и песню, возбуждающие мысль и чувства. Забрали маму, которая поругает и пожалеет, похвалит и защитит.

Украли детство, без которого выросли нынешние 60-летние мужчины и женщины, которым было тогда по 3 года или чуть больше. Они и сегодня ещё с дрожью в голосе, а то и со слезами вспоминают о тех бесконечно долгих чёрных днях нужды и горя.

Вот письмо Марии Корн, которая вместе с родителями, старенькой бабушкой, младшим братом и сестрой была выселена из Украины в Новочеркасский район Актмолинской области. В начале и конце 1942 г. родителей забрали в «трудармию». В семье не осталось никого, кто бы мог работать в колхозе. Бабушка была немощной, а автору письма не исполнилось ещё и девяти лет. Поэтому они не получали ровным счётом ничего.

Оставшуюся одежду выменивали на еду. Пока было что одеть, ходили по людям, просили подаяния. Но зимой начался беспросветный голод. Вначале один за другим умерли младшенькие, потом очередь дошла до бабушки.

А Марии не в чем было выйти, чтобы сказать об этом хотя бы соседям. Три ночи ей пришлось спать рядом с мёртвой, пока она не догадалась смастерить себе нечто вроде сарафана. Надо было только вырезать в мешке отверстия для головы и рук.

Как похоронили покойницу, стыдно и сказать: голую, без гроба – не по-людски.

Эта ужасная и далеко не редкая история из жизни обречённых на гибель немецких детей и стариков напомнила мне стихотво-

рение Иоганнеса Германа, которое я услышал от знакомого читателям Рейнгольда Дайнеса.

Вот несколько четверостиший из него:

Dann nahm man uns den Vater fort,
Ich weiß nicht mal, an welchen Ort,
Jetzt in der Fremde kam die Not,
Wir waren nackt, kein Stückchen Brot.
Jetzt fängt der kalte Winter an,
Ist niemand, der uns helfen kann.
Die Mutter schuftet Tag für Tag,
Bis totkrank sie im Bette lag...
Doch plötzlich bin ich dann erwacht, -
Ich fror so sehr in dieser Nacht;
Ich schmiegte mich an Mutter sehr, -
Doch sie war kalt, sie lebt nicht mehr.
In Mutters Hand ein Brieflein war,
Das mir die Kunde offenbart,
Daß auch mein Vater im Ural,
Ja, dort schon längst gestorben war.

Oft stand ich vor ein' fremden Tor
Und steckte meine Hände vor.
Die Sprache hier war fremd für mich,
Daß «chleb» ist Brot, – das wusste ich.

(Затем у нас забрали отца, / даже не знаю, в какое место. / Теперь на чужбине наступила нужда, / мы были голыми, без кусочка хлеба. / И вот началась холодная зима, / и не было никого, кто бы мог нам помочь. / Мать день за днём надрывалась на работе, / пока смертельно больной она не слегла... / Но внезапно я проснулся, – / я так сильно мёрз в эту ночь; / я тесно прижался к матери, – / однако она была уже холодной, её больше не было в живых. / В руке матери было письмецо, / которое открыло мне весть, / что и мой отец на Урале / там давно уже умер... / Часто я стоял перед чужими воротами / и протягивал свои ручонки. / Здепний язык был чужим для меня, / но что означает «хлеб», я знал.)

Это стихотворение относится к числу немногих поэтических произведений, в которых на родном языке запечатлены типичные, много раз встречавшиеся в той жизни картины. Но в этой схожести и

повсеместной повторяемости детских трагедий видится и нечто иное. По нашему убеждению, они – как и то, что чинилось над матерями и отцами в «трудармии», – были проявлением единого, разработанного «стратегиями» из НКВД чудовищного плана по «раздельному» уничтожению российских немцев.

И только помощь сердобольных местных жителей, которые делились последними крохами с нищенствующими сиротами, а то и брали их в свои семьи, спасла многие тысячи немецких детей от неминуемой гибели. Иногда в роли спасителей выступали даже председатели колхозов. Именно такие люди, в конечном счёте, не дали осуществиться каннибалистским планам советских властей.

В подтверждение сказанного можно привести немало примеров, содержащихся в письмах-воспоминаниях моих корреспондентов. Обратимся вновь к записанному на плёнку рассказу Эрны Валлерт.

В военные годы её сестра, депортированная с четырьмя детьми и мужем в Новосибирскую область, попала в тюрьму. Чтобы не умереть с голоду, она во время работы на зерноскладе насыпала в карманы фуфайки полтора килограмма зерна. Её осудили на два года лишения свободы, и дети остались совсем одни. Это означало, что суд фактически приговорил их к смерти.

Так оно в общем-то и получилось. Двое самых младших вскоре умерли от голода, а девочка и мальчик – соответственно восьми и пяти лет – жили где попало и ели то, что удавалось найти. Спасла их от гибели местная учительница. Как-то она увидела детей лежащими прямо на улице, расспросила их, что к чему. Сначала к себе взяла, а потом оформила в детдом. Благодаря ей они и выжили до возвращения матери в 1946 г.

Их отец Карл вернулся из «трудармии» в 1948 г. с тяжёлой формой туберкулёза, которым он заболел на заготовках и сплаве леса в уральской тайге. Три года прожил на спецпоселенческой «свободе» и умер в 37 лет.

Запрограммированный результат, предопределённый намеренно созданными условиями...

О неординарном случае, который свидетельствует и о человеческой доброте, и о превратности немецких судеб, поставленных в зависимость от привходящих обстоятельств, рассказал в германском журнале «Ост-Вест-Диалог» Адам Вотчель.

Семья Андрея и Мильды Фолькнер, выселенная из Ростовской области, попала в колхоз им. Крупской Джамбулской области Казахстана. Едва разместились на новом месте, как Андрея забрали в

«трудармию». Его жена с четырьмя детьми мал-мала-меньше осталась одна. Работа в колхозе ничего, кроме «палочек» в учётной тетради, не давала. Вдобавок Мильда захворала и слегла.

И тут же новое горе – знакомые, работавшие вместе с Андреем в Челябинске, сообщили, что он умер от голода. Теперь такая же участь ожидала и его семью. Сначала не стало старшего сына, потом дочурки. Очередь была за Сашей, Петей и матерью. В это время в их дом случайно зашёл колхозный чабан Тайке Назаров. Увидев ужасную картину, он договорился со своим другом Байболом Тортбаевым, тоже чабаном, что они возьмут в свои семьи Петю и Сашу, а их мать постараются поставить на ноги.

Дети росли трудолюбивыми помощниками своих новых родителей. Вместе выполняли чабанскую и домашнюю работу. Пошли в казахскую школу. Будучи людьми европейского происхождения, в 12 лет стали мусульманами. Мильда при каждом удобном случае навещала своих детей, но судьба распорядилась так, что она вскоре вышла замуж и с новой семьёй переехала в посёлок Чулактау (будущий город Каратау) той же Джамбулской области. Окончив 8 классов, братья стали колхозными шофёрами. Позже Пётр Фолькнер-Тайкеев переквалифицировался в свекловода-механизатора, выращивал рекордные урожаи. Когда он женился на красавице Кумыскуль и пошли дети, построил по-немецки добротный дом со всеми удобствами, в котором выросло 11 детей.

Жаль, умер брат Саша, но оставшиеся у его жены шестеро детей не забыты. Дом Петра – это и их дом. Так требует мусульманский обычай. Ведь и его с Сашей вскормили и поставили на ноги добрые люди.

Другую трогательную историю я услышал от Михаила Петерса, активиста Общества «Видергебурт» из Волгоградской области. Отец рассказчика Корнелий в начале войны находился на фронте, его тяжело ранило, он долго лежал в госпитале и был снят с воинского учёта. В отличие от многих других немцев-фронтовиков, ему повезло вернуться домой, в село Кусак бывшего Немецкого района Алтайского края, где проживала его семья.

Неожиданно заболел тифом. Сначала он, а потом и супруга. Пока они лежали в тифозном бараке и приходили в себя после тяжёлого недуга, наступило лето 1942 года. Картофель посадить не успели, в колхозе Корнелий по инвалидности находился на лёгком труде. Вдобавок забеременела жена. В зиму вошли без необходимых запасов, на колхоз особой надежды не было. Зимой начали голодать.

И вот как-то поздним вечером раздался осторожный стук в окно.

Это был председатель колхоза Николаев.

– Одни дома? – спросил он.

– Одни.

– Не зажигайте лампу. Я сейчас приду.

Он принёс почти полмешка пшеницы. Сказал вполголоса:

– Спрячьте подальше, никому ни слова.

И тут же ушёл.

Через какое-то время Николаев снова принёс зерно, и опять втайне. Благодаря этой неожиданной помощи семье удалось пережить голодную зиму и поддержать родившегося сына Михаила, моего собеседника.

В 60-е годы председателя провожали на пенсию. По его желанию – без почётного президиума и трибуны со стаканом воды для докладчика, а за длинными столами в клубе, где собрались колхозные ветераны и другие жители села. Раздавались традиционные тосты, вспоминали заслуги Николаева.

Но вот произнёс тост один из немцев и от всего сердца поблагодарил председателя за то, что в голодную военную пору, когда они с женой находились в «трудармии», тот тайком приносил семье зерно и тем самым спас детей и стариков от голодной смерти. И тут со всех сторон раздались голоса: «И нам», «И нам тоже». Ответом на это «открытие» стали долгие дружные рукоплескания. Присутствующие стоя благодарили скромного человека, который рисковал не только своей должностью, поддерживая особенно бедствовавшие немецкие семьи. По щекам Николаева текли непрошеные слёзы – люди не забыли некогда содеянное им добро...

В заключение «детской» темы хочу обратиться к письму, с которым Александр Майснер, председатель белорусского общества «Видергебурт», обратился в республиканский коммунистический ЦК в 1992 г. С разрешения автора привожу сокращённую выдержку из этого послания:

«По приезде в Сибирь осенью 1941 года нас, детей, – меня, двух сестёр и двух братьев, старшему из которых было 15 лет, – поселили в сельской избе, а мать (отец к тому времени уже умер) вскоре забрали в 'трудармию', на лесозаготовки. Не знаю, как в отношении осознанности, но по сути содеянное сводилось к следующему: мать пусть повкалывает на чужбине, а выводок сам передохнет...

Но мать бежала из 'трудармии'. Ночью. По тайге. Бежала с риском поплатиться за это жизнью. Выбора не было. 'Дома' оставалось пятеро обречённых. Поэтому – домой! На день, на час, на мгнове-

ние. Ведь у родителя, в отличие от энкаведешника, есть сердце.

Как ни странно, всё обошлось. Побег не стоил матери жизни. Более того, её даже не призвали при новых 'мобилизациях'. Не знаю почему, скорее всего из-за чьей-то расхлябанности. А может быть, по доброте? Так или иначе, но с возвращением матери у нас появился шанс выжить. И мы выжили – если, конечно, всё то, что с нами происходило, можно назвать жизнью.

Помню о вечном холоде и голоде. Помню моменты, когда удавалось наскрести из ручной мельницы 10-15 граммов припудренного муки сора и испечь из него маленькую лепёшку. И это несмотря на то, что, за исключением меня, вся семья работала. Да как! Мать и старшая сестра в поле, практически круглыми сутками, в драной обуви, по щиколотку в грязи и воде. Младшая сестра – на животноводческой ферме с 4-х утра до полуночи. Старший брат – в качестве кузнеца. Один на всю военную и послевоенную деревню, где фактически весь инвентарь и сельхозтехника проходили через кузницу. Домой брат возвращался поздно, падал и засыпал голодным. Не только от усталости, но ещё и потому, что нечего было есть.

И – никакого заработка! Разве можно назвать этим словом полмешка зерна и мешок отрубей, которые получал брат за год тяжелейшего труда? За год! Причём из этих 'доходов' нужно было ещё уплатить налоги: за живность, которую ты не имел, за землю, которой не пользовался. 'Правовой порядок' страны вполне допускал такое.

Для нас (и не только нас одних) этот беспредел не остался без последствий. Старшая сестра умерла в 28 лет, мать в 49, старший брат в 51. Иначе не могло и быть, поскольку все государственные реалии были запрограммированы на антинемецкий геноцид. Хотя память обычно нацелена на доброе, я не могу вспомнить из своего детства ни одного светлого дня. Ни одного – даже странно! Запомнились только голод и слёзы. И смерть, которая стала обыденностью.»

Всеми миру известны слова великого русского писателя Фёдора Достоевского о том, что ничего не стоит будущее, если во имя его замучен хотя бы один ребёнок. Это глубокое изречение может служить важным критерием оценки любого общества или социальной системы, как бы они себя не именovali.

Но как в таком случае отнестись к советскому строю, при котором на жертвенник «коммунизма» были отправлены миллионы людей, включая детей, погибших от спровоцированного голода 1921-22, 1933 и 1947 годов? Какими мерками измерить политику большевистской партии, по злой воле которой на алтаре «победы

над врагом», а в действительности в целях «этнической чистки» были загублены тысячи и десятки тысяч детских жизней, в том числе немецких?

По моим приблизительным подсчётам, в результате изоляции в лагерях НКВД мужчин и женщин немецкой национальности осталось без родительского присмотра около полумиллиона детей от 3-х до 14-ти лет. Из них за 6 лет погибло от болезней, голода и холода не менее 100 тысяч. Вместе с тремястами тысячами мужчин и женщин, погубленных в концлагерях ГУЛАГа, и умершими голодной смертью стариками – это и есть те полмиллиона человек, на которые сократилась численность российских немцев за годы войны.

Как известно, одним из нерукотворных памятников сотням тысяч ленинградцев, погибших в блокадную пору, является знаменитый дневник Тани Савичевой. Листок, на котором записаны даты смерти членов семьи и сделана приписка: «Все умерли, осталась одна Таня», находится в музее Пискаревского кладбища, где захоронена большая часть жертв голодной блокады.

Но никто не знает, что почти аналогичную запись оставила немецкая девочка Гертруда Дамм в казахстанской гибельной ссылке.

На титульном листе старинного (1816 года издания) сборника немецких духовных песен детской рукой начертаны слова, которые я привожу в орфографии оригинала:

1942-г. 12-декабря взяли моего папа в
Трут. Арми приехал дамой
1943-г. 24-май Пошел 4-месяца потом
умер 26-Август. 1943.
1943-г. 9-декабря собрали мой
мама в трутари приехал
20-май 1944-г. 21-май потом
саболела умерла 1945-го
7-января. Дамм Гертруда

1942-г. 12-декабря взяли моего папа в
Трут. Арми приехал дамой
1943-г. в 24-май Пошел 4-месяца потом
умер 26-Август.

1942-г. 9-декабря собрали мой
мама в трутари приехал
домой 1944-г. 21-май потом
саболела умерла 1945-года
7-января. Дамм Гертруда

Фотокопию этой волнующей записи, а потом и сборник песен, где она была сделана, передал мне перед моим выездом в Германию проповедник евангелической общины из Ташкента Корней Вибе. Он по достоинству оценил значение этой находки и не хотел, чтобы песенник затерялся. Как музейная ценность, запись, по его мнению, должна была оказаться в стране, которая тоже причастна к тем давним событиям.

Мы немало знаем о Тане Савичевой (она пережила блокаду, но вскоре после неё умерла) и ничего не слышали о Гертруде Дамм. Её рукой написана не менее примечательная страница, имеющая все основания стать нашей национальной реликвией. Единственный имеющийся у нас источник – это 9 строк её текста. Пользуясь ими, попытаемся ответить на вопрос: кто же была Гертруда Дамм?

По неустоявшемуся детскому почерку можно установить, что ей было около 12-ти лет. Русским языком владела слабо: учиться, по всей видимости, начинала в немецкой школе. Поскольку национальные школы были повсеместно (кроме соответствующих автономий) закрыты ещё в 1938-39 годах, т.е. до поступления Гертруды в школу, то можно предположить, что семья Дамм жила в Республике немцев Поволжья. Видимо, она, как и многие немецкие дети, не училась во время войны в местах выселения – в противном случае её почерк и грамотность были бы иными.

Появилась запись, думаю, не ранее 1945 года, причём сразу целиком. Об этом свидетельствуют как исправления в датах, так и отсутствие хронологии. Кроме того, в тексте использован термин «тудармия», который вошёл в обиход лишь в конце войны. Время отправки отца указано скорее всего неверно: массовая «мобилизация» немецких мужчин в «тудармию» производилась задолго до декабря 1942 года.

Судя по всему, на долю малолетней Гертруды выпали все горести, связанные с тяжкими проводами и долгим ожиданием возвра-

щения родителей из «тудармии». Но вдобавок к этому ей пришлось пережить и трагедию их смерти после возвращения. Думается, гибель матери в начале 1945 года и послужила поводом к появлению исторической записи.

Почему же об этих, не менее знаменательных строчках, чем написанные Таней Савичевой, до сих пор не известно даже российским немцам, не говоря уже о широкой общественности? Ведь в обеих записях зафиксированы очень схожие по сути (и даже по масштабам) проявления сталинско-гитлеровского изуверства.

На наш взгляд, ответ трагически прост: усилиями советской пропаганды жертвы блокады Ленинграда были выданы за героев, принёсших себя на алтарь Победы, тогда как в отношении судеб российских немцев была занята позиция тотального умолчания. Не упоминалось даже о наличии их в СССР, не говоря уже об антинемецком геноциде в этой стране. «Перестройка» и декларированная в странах СНГ «демократия», в сущности, не изменили этой давней «традиции». Замалчивание истории российских немцев – один из испытанных способов медленного убийства нашего народа.

В одинаковой мере со взрослыми «тудармейками» бедствовали и «малолетки», выступая в отведённой им роли каторжных заложников. Но они, по крайней мере, не мучились каждодневными думами об оставленных на произвол судьбы детях. Сами ещё не вышли из того возраста, когда учатся в школе, ведут сентиментальные дневники, вписывают в заветный альбом стихи о дружбе и любви, ловят желанные взгляды парней-старшеклассников, мечтают о единственном и неповторимом рыцаре.

«Тудармия» изменила привычное течение времени, грубо вторглась в их молодую жизнь, подчинила её лагерно-рабочему режиму и абсурдным требованиям надзирателей. Школьную ручку заменили лом, кирка, лопата. Или топор и пила лесоруба. А то и кельма каменщика или шахтёрский обушок. Нежные руки, ещё недавно наряжавшие кукол и собиравшие луговые цветы, огрубели. Мужская униформа, снятая с раненых и убитых солдат, уродовала и без того отошавшие девичьи фигуры. Житейские неудобства и серые «тудармейские» будни отодвигали на задний план естественное желание быть красивыми и привлекательными. Это была не жизнь, а жалкое существование.

В подсобном хозяйстве № 1 Челябинского металлургического завода, куда судьба забросила и Веру Геннинг, женщинам жилось лучше, чем на шахтах, рудниках, лесоразработках или строительстве железных дорог

и нефтепроводов. Работа в поле, на животноводческой ферме, даже в конном парке, где «малолетки» выполняли функции возчиков на лошадях и быках, напоминали оставшуюся в памяти жизнь где-нибудь в Поволжье, Украине или Крыму.

Немаловажной (и крайне необычной для нравов ГУЛАГа) особенностью жизни бакалстроевских «тудармеек» было отсутствие ограждения и лагерного режима. Ограничение их свободы состояло в том, что они обязаны были безотказно выполнять порученную работу, не имели права без разрешения покидать барак и заводить «личные связи» с мужчинами, особенно с лагерниками. ГУЛА-гу нужны были безропотные и ничем не обременённые рабыни, а не детские сады для матерей-одиночек.

Ещё одной особенностью пребывания женщин в ЧМС НКВД СССР являлось то, что они соседствовали с соплеменниками-мужчинами, также находившимися в лагерном заточении. На дворе был уже 1944-й год, и режим содержания «трудмобилизованных» заметно смягчился. Начиная с лета 1943 года, улучшилось и питание в лагерях. В оставшихся в живых мужчинах-«тудармейцах» постепенно пробуждались задавленные голодом жизненные силы. Этому в немалой мере способствовали и женщины, в т.ч. немецкие.

В подсобном хозяйстве женские бараки находились в непосредственной близости к мужской «зоне». Их обитатели вместе работали и даже питались из одной кухни. «Опасная близость» немецких мужчин и женщин причиняла дополнительные хлопоты как добродушному по натуре начальнику 1-й отдельной колонны Сиухину, так и ретивому служаке, старшему надзирателю Лихопоя. Им не под силу стало сдерживать плотину, ослабевшую от напора пробудившихся вешних вод.

Как и следовало ожидать, молодые, не обременённые семьями люди не замедлили разобратся по парам. Встречались тайком, опасаясь не только начальства, но и «своих», в тщетной надежде, что запретные отношения не станут «секретом Полишинеля» (т.е. всем известной тайной) и не дойдут до бдительных ушей Лихопоя.

Единственным местом открытых встреч и знакомств был лагерьный «красный уголок», где неугомонный Майер и комсорг собирали молодёжь на традиционные субботние танцы. По сельской немецкой традиции непрерывно сменяли друг друга огненные польки и успокоительные вальсы, которые «наяривал» на своей выдавшей виды гармонике Шульц. По струнам цимбал мелькали в руках Гейдемана ударные палочки. Всё было устремлено к тому, чтобы

выжать максимум удовольствия из отведённых на танцы двух коротких часов – в 10 вечера предстояла обязательная поверка.

Как гласит пословица, шила в мешке не утаишь. Лихопой были известны не только конкретные «трудмобилизованные» пары, но и места их нелегальных встреч. Правила лагерного режима позволяли ему (и даже обязывали!) принимать меры к «злостным нарушителям». Во время недавней встречи в Мангейме (Земля Баден-Вюртемберг) Лидия Геринг, её муж Андрей Меркер и я немало смеялись над тем, как однажды поздним вечером Лихопой «накрыл» их во время свидания на птичнике, арестовав будущего супруга на 5 суток (с выводом на работу) за непозволительное, с точки зрения НКВД, прегрешение.

В особенно сложном положении оказались комсорг и бригадир женской молодёжной бригады, которые «по долгу службы» должны были воспитывать юношей и девушек в духе соблюдения режима и даже следить за ними. До сих пор не забыт случай, когда по велению так называемого политрука колонны Матвеева на лагерном комсомольском собрании обсуждалось «персональное дело» Роберта Леймана за «запретную связь» с вольнонаёмной работницей птичника, ставшей впоследствии его женой. Собрание (состоявшее, кстати, из таких же «грешников») единогласно – в духе времени – осудило нарушителя и т.д. и т.п.

«Моральное падение» воспитателей молодёжи («мамы» и «папы») было бы опасным прежде всего для них самих. Поэтому встречались с соблюдением всех правил конспирации в шорной мастерской конного парка, где пахло лошадьми и дёгтем от смазанной сбруи. Вздрагивали от каждого пороха и неожиданного голоса за запертой снаружи дверью. В эти короткие встречи комсорг учился целоваться, а 16-летняя бригадирша – острослов и хохотунья на людях – теряла дар речи и испуганно жалась в угол на гнездообразном сиденье шорника.

Так и не выросло в той мастерской райское дерево, с которого можно было бы сорвать греховное яблоко любви. И не только потому, что их могли изгнать из рая. Слишком юной и несерьёзной казалась непорочная Ева, чересчур велико было нетерпение Адама, который спешил, не особо вдумываясь в суть, ознаменовать приближающуюся Победу и окончание опостылевшей лагерной жизни созданием семейного очага.

День Победы встретили врозь. Успела ли Вера полюбить комсорга, она и сама толком не знала. Но обиделась за необъяснённые

причины расставания до слёз. Только через полтора десятка лет, испив горечь неудавшейся семейной жизни, она поняла, что комсорг был её первой и единственной любовью.

Об этом прозрении он узнал лишь полвека спустя. А тогда, в конце 1946 г., отец увёз её вглубь северо-уральской тайги, на лагпункт Чёрная Речка, где сам «оттрубил» почти 5 «трудармейских» лет. За той же колючей проволокой теперь находились уголовники, а единственными «вольными» людьми в этом медвежьем углу были энкаведешники, охранявшие зеков, и немцы, которых всё ещё не отпускала местная администрация вкупе со спецкомендатурой.

Подумал ли отец о будущем своих дочерей, собирая в царстве Ивдельлага разбросанную по Сибири и Уралу семью? Встретившись с Верой в 1993 г., мы не смогли найти ответа на этот вопрос. Оставь отец её, 20-летнюю, поближе к немецким юношам, глядишь, иначе, а не так, как у многих «малолеток»-трудармеек, сложилась бы её личная жизнь. Увы, она не черновик – заново не перепишешь...

«Трудармейки» готовились отсчитывать время со Дня Победы, с которой они связывали надежды на завершение гулаговской принудилки, установленной Постановлением ГКО от 7 октября 1942 г. «на всё время войны». Надо ли говорить о том, с каким нетерпением ждали этого события матери, из последних сил терпевшие долгую разлуку с детьми!

Но именно в тот долгожданный день им, юным и пожилым немецким «трудармейкам», дали понять, что строить планы на будущее ещё рано. В качестве примера сообщу, как «осчастливили» женщин в лагере новосибирского военного завода, вновь обратившись к магнитофонной записи рассказа Эрны Валлерт:

«9 мая был первый за все годы выходной. Город праздновал День Победы, но нас за ворота не выпустили, будто не мы точили снаряды и бомбы, которые помогли одолеть врага. От скуки собрались на крыльчике нашего барака, стали петь разные песни, в т.ч. немецкие. Начальник лагеря услышал, прибежал пьяный, как свинья, закричал:

– Прекратить!!!

Все замолчали. А я бойкая была, за словом в карман не лезла, говорю ему:

– А что? Мы правильные песни поём, те, что в школе учили.

– Ты ещё разговаривать будешь?! Молчать, фашистская сволочь! – рассвирепел он и стал стрелять из нагана в воздух.

Мы испугались, разбежались кто куда. Он – за нами, стреляет вслед. Девчата заскочили в барак и выбежали в другую дверь. А я

под нары спряталась, дрожу от страха. Он меня нашёл, кричит:

– В карцер её! Немедленно в карцер!

Лагерная охрана услышала стрельбу, подняла тревогу. Прибежали солдаты, отобрали у него наган. И вовремя, а то бы он спяну мог кого-нибудь пристрелить.

– Кого тут в карцер? – спрашивает один из охранников.

– Эрна, выходи, – говорят девочки.

Привели меня в карцер. Небольшая комнатка, сыро, грязно. Ни сесть, ни лечь не на что. Так и простояла до ночи. Уже потом вахтёр, пожилой дяденька, зашёл и сказал:

– Выходи, деточка!

Чаем напоил, в барак отправил.

А утром, как ни в чём не бывало, построение, развод и – марш на работу!

Таким был для нас День Победы. Ничего, кроме разочарования, он женщинам не принёс. 'Зону' только через год разгородили, а 'домой' уезжать ещё три года не позволялось. Даже матерям, дети которых уже седьмой год в сиротстве страдали!

Как же назвать эту бесчеловечную власть, которая так измывалась над женщинами и детьми только за то, что они были немцами?»

Права была Эрна Валлерт: завершение войны ещё не означало окончания немецкой «трудоармейской» неволи. Уже были демобилизованы фронтовики, а немцы всё ещё оставались безликими формулярными номерами, которыми можно было распоряжаться как безмолвным скотом или предметами обихода. Для московских заправил не существовало понятий личной или семейной жизни применительно к сотням тысяч оторванных друг от друга немецких женщин, мужчин и детей. Их настоящее и будущее по-прежнему определялось «высшими интересами государства», рабами которого они продолжали оставаться.

Даже после официальной (хотя и «совсекретной») «демобилизации» немцев, которая, как стало известно потом, была объявлена осенью 1946 года, МВД продолжало массовую принудительную переброску немецкой рабсилы на новые сверхзакрытые объекты, которые, как и раньше, находились во власти всемогущих «органов». Никто из немцев и представить не мог, что им уготована участь опытных кроликов, которых загонят в Среднюю Азию и Восточную Сибирь добывать урановую руду.

При формировании эшелонов для отправки личные отношения мужчин и женщин не принимались во внимание. Считалось, что

таких проблем не существует вовсе, ведь официально подобные связи разрешены не были. Каждый действовал на свой страх и риск. Семейные отношения между «трудоармейцами» вплоть до 1948 года считались криминалом. Из-за отсутствия документов их браки не регистрировались, в свидетельствах о рождении детей вместо имени отца ставился прочерк. Так было угодно «органам», и они резали буквально по живому.

О том, какими бесцеремонно-бандитскими способами вторгались энкаведешники в бывший Краслаг в святая святых – отношения между влюблёнными, – написал в своих воспоминаниях уже знакомый нам Бруно Шульмейстер.

«В мае 1946 г. нашу 'зону' в Сосновке разгородили, и мы могли ходить в женские бараки в гости, – рассказывает он. – Образовавшиеся молодые семьи отгораживали одеялами часть нар и стремились создать для себя некое подобие уюта. Во время одного из посещений я познакомился там с Марией – девушкой выше среднего роста, стройной, красивой. Но тяжёлый труд на лесоповале, холод и недоедание привели к тому, что она выглядела старше своих 18-ти лет.

Обычно мы прогуливались по железнодорожным путям, будто по дорожкам парка. Наши отношения были 'краденными', они запрещались лагерным начальством. Да и мы, несмотря на возраст, не отличались смелостью. Боялись при людях обнять друг друга, а тем более поцеловать. Вечера и ночи проходили в шёпоте о нашем будущем. Мы мечтали о возвращении на Волгу, о встрече с родителями, братьями и сёстрами.

Клятвенные обещания в ту пору были бы напрасным делом, но мысленно мы оба представляли себя будущими супругами и во всём, где только можно, помогали друг другу.

И вот наступил роковой день октября 1946 года, когда нам объявили об этапе на новое место работы, которым, как оказалось позднее, был Таджикистан. Несмотря на мольбы, меня в списки не включили. Более того, пригрозили судом, если поеду самовольно, поскольку я работал мотористом на водокачке, которая питала паровозы водой. Но Марию не оставили на месте, т.к. перебазированию подлежала вся женская колонна. Единственное, что я мог сделать, – это с разрешения начальства проводить её до станции Решоты. Там мы расстались со слезами на глазах и с проклятиями в адрес ненавистных 'органов', по вине которых была разрушена наша надежда на счастье.

Меня не отпускали с лесной железной дороги вплоть до 1956 года. За это время я не получил от Марии ни одного письма, хотя не могу поверить, чтобы она не писала. И тогда, и впоследствии я часто вспоминал о ней и моём воскрешении к жизни. И теперь нередко думаю о том, как могла сложиться её судьба. Наверняка она вышла замуж, у неё есть дети. Разыскать бы её, встретиться, но как на это посмотрит муж?! Не хочется доставлять ей неприятности.

Я очень хотел бы, чтобы эти строки вошли во второе издание книги 'Зона полного покоя': может, узнает себя в них Мария и откликнется. Очень надеюсь!»

Читая проникновенные строки, которыми завершаются воспоминания Бруно Шульмейстера, невольно задаёшься вопросом: сколько же человеческих жизней – женских, мужских, детских – перемолол ненасытный большевистский Молох? Сколько оставил несостоявшихся судеб? Сколько изуродовал, направив по вынужденному руслу?

Для российских немцев эти вопросы были далеко не праздными, т.к. касались послевоенного демографического, а вместе с тем и национального возрождения. Ведь уже первые послевоенные годы показали немцам, а 1948-й окончательно убедил их в том, что путь на довоенную родину им заказан, семейные и родственные связи во многих случаях бесповоротно разорваны, а национальная среда, необходимая для нормального воспроизводства населения, разрушена.

Несмотря на частичное воссоединение семей немцев-спецпереселенцев с разрешения «органов», основные составляющие народа – мужчины, женщины и дети – продолжали пребывать в разрозненном состоянии. Часть довоенных семей разрушилась, значительная доля женщин осталась вдовами загубленных «трудармейцев», не меньше молодых немки 1920-27 годов рождения лишились «своей» брачной пары.

Некоторое представление о соотношении мужчин и женщин немецкой национальности можно составить по данным отдела спецпоселений МВД СССР. Согласно им, к октябрю 1946 года на спецпоселении находилось 774.178 немцев, в т.ч. 122.336 мужчин, 296.014 женщин и 355.828 детей. Кроме того, 121.459 немцев (71.207 мужчин и 50.252 женщины) числились «мобилизованными», т.е. ещё пребывали в пресловутой «трудармии».

Следствием вопиющей диспропорции в численности немецких мужчин и женщин, чрезвычайной разбросанности людей по многочисленным «ссылным» регионам, а также запретов на выезд с

мест поселения и других дискриминационных мер явилась первая послевоенная волна межнациональных браков. Молодые и одинокие мужчины и женщины вынуждены были вступать в брачные отношения, не особо задумываясь о личных симпатиях и уж тем более о национальной принадлежности суженых.

«C'est la vie!» («Такова жизнь!») – выразился бы по этому поводу француз. Мы же, избегая далеко идущих выводов, скажем так: этих людей можно понять. Вероятно, каждый из них поступал по-своему правильно. Но для народа это было началом страшного процесса денационализации.

...В посёлке Мостовая, куда Вера Геннинг перебралась, чтобы учиться, а потом работать дежурной по станции, проживало два десятка молодых немецких мужчин. Ещё с лагерной поры они трудились машинистами, кондукторами, стрелочниками на узкоколейной железной дороге Верхотурье – Чёрная Речка. В своё время бесконвойная жизнь спасла их от голодной смерти. Но теперь их не отпускали с работы – очень непросто было заменить таких людей зековским «контингентом», как поступили, к примеру, с «трудмобилизованными» лесорубами.

Когда стало ясно, что от комендантских оков избавиться не удастся, они один за другим начали обзаводиться семьями. Семеро женились на немках, но остальные выбрали себе в жёны местных русских девушек. Одних увлёк голый расчёт: те имели готовое жильё, налаженное хозяйство, большие огороды (не в пример немкам, у которых не было ни кола, ни двора). Других свела случайность (мало ли какие случаи бывают на свете!). Третьи женились на русских из более серьёзных побуждений, о которых следует сказать особо.

Помню тогдашние рассуждения на эту тему моих сверстников. И самому не раз приходили в голову всякие мысли о семейной жизни. Сводились они главным образом к тому, надо ли производить на свет таких же гонимых, отверженных и несчастных, какими являемся мы сами? Чтобы их сотнями «выгребали» из немецких сёл, как в 37-м? Депортировали в неизвестность, как нас в 41-м? Гноили за колючей проволокой? Лишали отцов и матерей, как в 42-м? Обрекали на вечное поселение, как в 48-м? Да и последнее ли это «наказание» за то, что ты родился немцем на чужой земле?

Наш заключительный вопрос, полный неизвестности и тревоги, как раз и становился решающим, если молодому немцу предстояло сделать выбор. Пример тому – большинство железнодорожников со станции Мостовая.

Что оставалось делать немецким девушкам, если спецкомендатура и предприятия «двойной тягой» удерживали их в местах, где либо вовсе не было молодых немцев, либо они имелись, однако выбирали себе в жёны девушек других национальностей? «Женить на себе» любимого? Но такой шаг выходил далеко за пределы их традиционного немецкого воспитания.

...Вере Геннинг было 25 лет, когда после настойчивых домогательств она, пересилив себя, ответила согласием на брак с надзирателем местной исправительно-трудовой колонии, чувашом по национальности. И потянулись будни нескончаемо долгой и в то же время быстротечной жизни.

Передо мной фотоснимки, запечатлевшие мгновения этого потока. Вот Вера, дежурная по станции, вручает машинисту паровоза путевой лист. А это она в год замужества, не ведающая, что ждёт её впереди. На следующей фотографии Вера с сыновьями, ей 38 лет. Со снимка 1980 года смотрит красивая, застывшая в глубокой задумчивости дама. И, наконец, цветные фотографии начала 90-х годов: всё такое же красивое, но теперь уже улыбчивое лицо незнакомой женщины. С момента нашей последней встречи на Урале прошло почти полвека.

Светлые тона, преобладавшие в начале её супружеской жизни, всё больше темнели. Явью становились затаённые качества надзирателя, которые до поры до времени скрывались за искренними (хочется верить) чувствами, в полную силу дала знать о себе та нравственная суть, которая вовлекла его в тюремно-лагерную систему. Чем далее, тем заметней. В частые моменты пьяной «дури» аргументами в семейных ссорах стали не только отборные матерки, но и личное оружие.

Словом, в доме угнездился энкаведешник, не блещущий умом сотрудник той карательной службы, которая долгие годы измывалась над немцами. В 1956 г. большинству из нас удалось освободиться от постоянных контактов с этой нечистью, а Вере пришлось нести свой крест ещё 20 лет. С вооружённым самодуром Вера справлялась без особого труда. Высокая, сильная и смелая, она отнимала у пьяного супруга пистолет, а самого запирала в кладовку. Наутро, протрезвев, офицер МВД на коленях умолял её отдать оружие, без которого он не мог появиться на службе.

Сильные люди, как известно, отличаются добротой, которая многое ставит на место. Но ничто не могло перебороть тупоумие, хроническую нравственную «недостаточность» и пристрастие к спирт-

ному, неизменно сопровождающие ремесло тюремщика.

Об их семье, как и о многих других супружеских парах, можно сказать известной фразой: «Вот так они и жили, спали врозь, а дети были...» Трёх сыновей вырастила Вера, своей добротой, тактом и выдержкой защитив их души от вируса полицейщины. По паспорту они, конечно, числились русскими. Верино семейное несчастье не могло продолжаться бесконечно. Её 25-летнее долготерпение иссякло, и она проводила супруга к очередной любовнице. А сама вернулась из Южного Казахстана на свою Родину, в Крым, с которым она со слезами на глазах и с болью в сердце рассталась в 1941 г. Вот почему улыбается и дышит спокойствием её лицо на последних фотографиях.

История Веры Геннинг — это только одна трудная женская судьба, и её в конце концов удалось выправить. А сколько их было — безнадежно искореженных девичьих жизней! Им, немецким девушкам, вышедшим из «трудармейских» лагерей, досталось, пожалуй, больше всех.

Надо было начинать женскую жизнь, добыть и научиться носить «цивильные» платья и обувь, выйти замуж, родить ребёнка. «Трудармия» украла у них молодость, отняла мужей. Оставалось только ждать, что же подарит им случай. Такой была их женская доля.

Подарок этот чаще всего оказывался горьким.

Вот несколько страничек из большого, на целую ученическую тетрадь письма, которое пришло в 1991 г. из Усть-Абакана (Красноярский край) от Альмы Кирш. В нём рассказывается, как складывалась судьба у «малолеток», которые оказались в «трудармии» на предприятиях нефтяной промышленности.

«Мобилизовали» её осенью 1942 года в Павлодарской области. Пока довезли до Архангельской области, ей исполнилось 16 лет. Копали мёрзлую землю под траншеи для цехов и резервуаров, рубили срубы для жилья, прокладывали дороги по болотам. Такая вот «женская» работа.

Жили в «зоне» через стенку с уголовниками. Лагерный режим женщин отличался от зековского только тем, что у охранников вместо винтовок были наганы.

В 1944 г. небольшое число более грамотных «малолеток» передали в нефтеразведку для работы младшими лаборантами. Девочки были счастливы: их избавили от конвоя и полуголодной каторжной жизни. С геологическими партиями Альма побывала в Ярославской, Ивановской, Горьковской и других областях. С Ростовской

областью связано начало её новых долгих мытарств.

В 1948 г. бывшим «трудмобилизованным», а теперь спецпоселенкам разрешили заводить семьи. Но поскольку, как пишет она, «отсутствовал мужской пол немецкой национальности», то вступали в брак с русскими. Альма вышла замуж за фронтовика, в отцовский дом которого её поставили на квартиру. За женитьбу на немке его исключили из партии, но потом восстановили.

Через год у них родился сын, и после месячного декретного отпуска Альме надо было выходить на работу. Буровая установка к этому времени ещё дальше откочевала от хутора, где они жили, и муж её не отпустил. Он сказал, что воевал за то, чтобы его жена могла находиться с ребёнком дома. Тогда Альма напомнила ему угрозу начальника партии, что в таком случае её арестуют. «Пусть попробуют!» – заявил на это муж.

«Попробовали, да ещё как! – пишет Альма. – В воскресенье приехали на грузовике двое военных, забрали меня с трёхмесячным ребёнком и вещами, увезли в ростовскую тюрьму.»

Начались скитания по пересыльным тюрьмам. В камерах вместе с отпетыми уголовниками подолгу ждала она с ребёнком на руках очередного этапа, которые медленно продвигали её на восток. За полгода они побывали в четырёх тюрьмах, причём в Омской даже дважды, т.к. в Павлодаре их не встретил конвой.

Ребёнку исполнилось 9 месяцев, когда очередной тюремный вагон, наконец, доставил Альму в предписанный ей Павлодар. «На этот раз, – сообщает она, – нас принял пеший конвой с собаками, автоматами и револьверами наголо. Раздаётся привычная команда: «Шаг в сторону – стреляем без предупреждения!» Собаки бешено лают, рвутся с поводков, бросаются на арестантов и зевая на городских улицах, по которым нас ведут в местную тюрьму.»

«Зимний день подходил к концу, когда меня выпроводили на так называемую свободу, – продолжает Альма. – С ребёнком, без крышки над головой и без копейки в кармане. Что делать, куда идти? Тюрьма – не санаторий, но хоть какой-то приют. И я вернулась к воротам, постучала, спросила, куда мне идти. 'Иди в милицию', – сказали там, и я подумала: 'Как же мне самой это в голову не пришло? Ведь мы без МВД – ни на шаг!'

Нашла. Захожу, а дежурный мне:

- Куда прёшь?! Не хватало нам ещё грудных детей!..
- Я только что из тюрьмы. Не знаю, куда идти...
- Какая статья?

– Нет статьи. За невыход на работу после декрета.

– Ладно, проходи, переночуешь в прихожей. Крыша надёжная...

Определили меня в дальнейшее отделение степного совхоза. Хочешь – работай, не хочешь – с голоду помирай. До 1951 года я там и была, пока спецкомендатура по вызову матери не отпустила меня к ней. Правда, конвоира до Орска за свой счёт нанимать пришлось. Там вскоре и замуж заново вышла.

За что меня тогда арестовали, я до сих пор понять не могу. И ещё обидно: замуж выходить позволили, а условий – никаких. Лучше бы совсем не разрешали, мы бы работали и не усложняли себе жизнь...

Эти простые, идущие из глубины души слова невозможно читать без комка в горле. По словам Альмы, только в их геологической партии милиция забрала шестерых молодых немок за материнский «грех» и естественное желание находиться со своими малютками при законных мужьях.

Так к чему были все эти издевательства с арестами, камерами и прочим набором вуделовских изуверств, смысла которых ещё и сегодня не понимает Альма? Оказывается, в МВД существовал такой «узаконенный» способ переброски немцев-спецпереселенцев из областей, закрытых для их проживания, в регионы выселения.

Воспользовавшись в качестве удобного предлога докладными об уклонении спецпереселенков от «общественно-полезного труда», «органы» решили переправить их из Ростовской области за Урал. Для этого и был избран «накатанный» на осуждённых метод транспортировки через пересыльные тюрьмы, по этапу. (Посылать с каждым спецпереселенцем отдельного конвоира было бы слишком накладно.)

Конечно же, эти безжалостные унижения, свирепые гонения, горе, причинённое юным немецким женщинам, означали вопиющее нарушение действовавших в ту пору в СССР конституционных и правовых норм. По отношению к обычным гражданам «органы» редко позволяли себе такое поприще «социалистической законности». Другое дело – немцы. В обращении с ними, «ограниченными в правах», подобные действия считались вполне допустимыми.

Описанные в письме события свидетельствуют и о том, с какой бесцеремонностью, грубостью вторгались власти в интимные человеческие отношения, как варварски разрушались молодые семьи и обрекались на безотцовщину только что появившиеся на свет ма-

лютки. И всё потому, что их матери были немками. Но вместе с тем попирались также права, честь и достоинство людей других национальностей, рискнувших связать свою судьбу со спецпоселенками.

В письме Альмы Кирш приводится случай, описанный Милитой Вольф, её подругой по архангельскому концлагерю, а затем по работе на буровых. Милита упоминает об общей знакомой Марте Безрух, которая тоже вышла замуж за ростовского «степняка». Первый их ребёнок умер, а после рождения второго она находилась в декретном отпуске. В это время, осенним вечером за ней приехали на автомашине люди в униформе.

Свёкор упал в ноги этим палачам, плакал навзрыд, просил не забирать их Марочку с внучонком. Один из прибывших толкнул деда сапогом в грудь, тот упал. Поднялся крик, плач, сбежался весь хутор. Марту с дитём насильно оторвали от родичей, бросили в машину и под конвоем отправили в Семипалатинскую область. Её муж подал в суд на энкаведешников, но тщетно — судья даже не принял иск к рассмотрению. «Не гражданское это дело», — сказал он.

Та же Милита Вольф, по мужу Кунц, проживавшая в 1990 г. в Ставропольском крае, писала, что их, бывших «малолеток», отпустили из геологоразведки только после снятия со спецучёта в 1956 г. А до этого некоторые женщины-немки вынуждены были жить на буровых с маленькими детьми.

Во что это выливалось, свидетельствует одно из её писем к Альме Кирш. Золовка Милиты Милюша Кунц тоже была прикована к геологоразведочной партии. Когда они работали в Ростовской области, у неё родилась дочь. Сапа, отец девочки, что называется, врос корнями в землю и не хотел жить бродячей жизнью буровика. А Милюшу под страхом ареста не увольняли с работы техника буровой установки, при которой она проживала с дочкой.

Шёл 1953-й год. Хотя геологи всё дальше уходили в степь, Сапа не порывал связей с Милюшей и очень любил свою 4-летнюю дочурку. А от женитьбы его удерживало то, что Милюша была немкой. К тому же экспедицию намечалось перебросить в Татарию, а он был не в силах оставить свою родню и донскую землю.

И вот настало время отправки. Два дня шла погрузка оборудования на самоходную баржу. На третий день к вечеру всё было готово. На берегу Дона, у пристани собрались провожающие. Раздается долгий сигнал к отправлению. А на трапе прощаются Милюша и Сапа. Оба ухватились за девочку и каждый тянет её в свою сторону. Кажется: вот-вот разорвут на части. Ребёнок ревет во всю мочь

от испуга и боли. Плачут в три ручья и пререкаются меж собой его родители. Никто не хочет уступать. Они не видят, что могут свалиться в воду.

Тут вмешался капитан баржи, подошли люди, с трудом оттащили Сапу от Милюши и отдали девочку матери. Баржа быстро отчалила. Сапа упал на помост, закричал от обиды и горя. Глядя на него, плакали и свидетели этого расставания любящих друг друга людей.

«Милюши Кунц уже нет в живых, а её дочери Ирине исполнилось 48 лет. Она внешне и характером похожа на отца», — написала в заключение своего рассказа Милита Вольф.

Такова была послевоенная спецпоселенческая судьба немецких женщин. На мизерном правовом и географическом пространстве, оставленном им комендатурой, они стремились строить личную жизнь, главная суть которой, как известно, состоит в продолжении человеческого рода. И не их вина, что во многих случаях им пришлось поступать вопреки своим желаниям и воле. Такую участь предназначали для них «славная» большевистская партия и «родное» советское правительство.

Не дала бесчеловечная Система развиваться этим цветам во всей их естественной красоте. Поблёкли они на студёном ветру, за ключей проволокой безжалостного сатрапа-хозяина. Но в большинстве своём не погибли, выстояли благодаря унаследованным от своего народа жизненным силам.

Как ни образны эти аллегории, ими, конечно, не передать всех тех физических и моральных мук, которые обрушили на сотни тысяч немецких женщин большевистские правители в своём стремлении извести немецкий род на российской земле. Особенно тяжкие страдания выпали на долю тех женщин и детей, которых всё той же высочайшей волей обрекли на гибель в высоких северных широтах.

ЕНИСЕЙ – РЕКА КАТОРЖНАЯ

Написанное в предыдущей главе о судьбе немецкой женщины в годы войны – только часть большой горькой правды. Фактическим продолжением этой темы является предлагаемая глава с суровым названием, которое говорит само за себя. А суть его в том, что значительную часть поволжских немцев, депортированных в 1941 г. в Новосибирскую область и Красноярский край, в следующем, 1942 году сослали вторично. На этот раз – в низовья сибирских рек Оби и Енисея, где они в тяжелейших условиях Крайнего Севера должны были заниматься круглогодичной ловлей рыбы.

Основанием для нового произвола по отношению к десяткам тысяч подневольных людей, в числе которых были и

представители других «опальных» народов, послужили два государственных акта, принятых на высшем правительственном и партийном уровне. Это – Постановление Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) от 6 января 1942 г. № 19 «О развитии рыбных промыслов в бассейнах рек Сибири и на Дальнем Востоке», где предписывалось «трудовое использование» мобилизованных немцев в рыбной промышленности на Севере, а также Распоряжение СНК СССР от 20 июля 1942 г. № 13227, согласно которому руководству Новосибирской области разрешалось депортировать из её центральных районов в северный Нарымский округ 15 тыс. немцев-спецпереселенцев.

Насколько нам известно, эти документы никогда не публиковались, так что об их содержании можно судить лишь по результатам исполнения, которые достаточно подробно освещаются в предлагаемой главе. Ясно одно: поскольку дело касалось спецпереселенцев, то главным исполнителем мог быть только НКВД, давно набивший руку на бесчеловечном обращении с «социально опасными элементами», к которым власти причислили и российских немцев.

О людях, их простейших жизненных потребностях «органы», а также местные партийные и советские деятели голову себе не ломали. Выбрасывали будущих рыбаков на совершенно не обжитые берега сибирских рек, таёжные озёра, приполярные острова. Там не имелось ни жилья, ни людей, но могла быть рыба, что и являлось в данном случае самым важным. О пище, одежде и других атрибутах мало-мальски человеческой жизни не было и речи. Власти так поставили дело, что обо всём необходимом каждый должен был позаботиться сам, коль скоро хотел выжить в этом крошечном аду. Переселение в низовья Оби и Енисея проводилось в разгар поголовной мобилизации немецких мужчин в «трудармию», и объектами новой депортации должны были стать в первую очередь женщины, старики и дети.

Издавая упомянутые документы, в высших московских инстанциях исходили из укоренившегося со времён Октябрьской революции всеохватывающего большевистского принципа верховенства «высших», государственных интересов над судьбами людей, которым отводилась роль ничего не значащих щепок при большой «рубке леса». В руках бериевского НКВД этот постулат обретал поистине зловещий смысл, означавший, что в жертву и на сей раз будут принесены десятки тысяч ни в чём не повинных людей.

О том, как это происходило, мы попытаемся рассказать словами очевидцев – свидетелей очередного государственного преступления. Из многих писем-исповедей на данную тему мы отобрали такие, в кото-

рых рассказывается о различных сторонах и моментах жизни вынужденных рыбаков-каторжников, с тем чтобы максимально охватить тысячекилометровое пространство вдоль Енисея – от Туруханского края и реки Нижняя Тунгуска до Енисейского залива, преддверия Северного Ледовитого океана.

Исключение составляет письмо известной читателю Альмы Дайнес, которая рассказывает о рыбацкой жизни на реке Чулым, притоке Оби.

«Нас ведь дважды выселяли, – сообщает она. – До войны мы в Бальцере жили – кантонном центре в правобережной части АССР НП, теперь это город Красноармейск Саратовской области. После Указа 41-го года нашу семью отправили в Новосибирскую область. В скотских вагонах мы две недели по стране колесили. Даже в Алма-Ату завезли, будто ближе дороги не было... (Жители Бальцерского кантона доставлялись в Новосибирскую область энтеломом № 777, который был отправлен со станции Увек 18 сентября и прибыл на станцию Болотная 30 сентября 1941 г. – Г.В.)

Помню, мама заголосила, узнав о новом переселении. 'Боже праведный, за что ты нас караешь?! Опять отправляться в неизвестность! Ну разве такое можно пережить?' – рыдала она, обхватив голову руками. Куда переселяют – никто не знал, и от этого становилось ещё страшнее.

Опять много слёз было пролито, – вспоминает Альма. – Горьких слёз обиды, которые не успевали высыхать. Снова расплата за немецкую национальность и угроза голодной смерти, как было прошлой зимой. На работу в колхоз мы ходили каждый день, но ничего за 'палочки' не получили. Чуть ли не на коленях у председателя по горсточке зерно выпрашивали. Не сочтёшь, сколько умерло наших детей и стариков за первую сибирскую зиму. А весной последнюю свою одежду променяли на картошку, чтобы посадить огородики. И вот – на тебе! Едва она зацвела, наша надежда, и явился приказ собираться в путь. Да только, кроме женщин, инвалидов и глубоких стариков, из взрослых немцев никого уже не осталось. Всех мужчин в 'трудармию' забрали... Что ожидало нас, женщин с детьми, только Бог знал. Гадали по-всякому, даже поговаривали, что нас куда-нибудь подальше завезут и расстреляют...»

Альма Дайнес была одной из тех, кто, отозвавшись на первое издание «Зоны полного покоя», написал мне о пережитом. Во второй раз их семью выселили на север нынешней Томской области, в Молчановский район, на таёжную реку Чулым. Там они не только прожили военные годы, но и долго ещё оставались после отмены спецпоселения в 1956 г. Были нищими, никуда уехать не могли. В тайге и родителей схоронили...

Альма перенесла 23 жестоких северных зимы, когда 40-45-градус-

ные морозы считаются нормой, а сугробы поднимаются выше землянок-лачуг. Круглогодичная путина на таёжных реках и озёрах, лесоповал, сплав древесины, подневольное бесправное существование свели в могилу не одних её родителей. Суровая земля приняла в себя множество немецких детей и женщин, которым бы жить да жить...

Больше всего места в воспоминаниях Альмы занимает рыбная ловля. Не только потому, что она на долгие годы стала основным занятием и средством к существованию. И даже не из-за того, что поглотила её отрочество и юность, о которых добром и сказать-то нечего. «Рыбалка» врезалась в память прежде всего необычностью самого этого ремесла, совершенно не свойственного немецким женщинам, да ещё со степного Поволжья.

У себя на родине российские немцы, как правило, рыбным промыслом не занимались, считая это занятие малоприбыльным и ненадёжным. От рыбных блюд, конечно, не отказывались, но явно предпочитали им свиную колбасу. Даже в поселениях, расположенных вдоль тогда ещё рыбной Волги, немецкие мужчины не знали других рыболовных снастей, кроме банальной удочки. А в маловодных приволжских краях большинству детей и плавать-то негде было научиться.

И вот теперь этих женщин, зачастую не знавших «водоёмов» более обширных, чем корыто для стирки белья, и как огня боявшихся «большой воды», повелением НКВД и под угрозой голодной смерти приставили к работе, о которой они не только не имели понятия, но которая требовала ещё и немалой физической силы, выносливости, особой сноровки и других сугубо мужских качеств. Более того, самоуправные власти преступно пренебрегли главным правилом техники безопасности этой отрасли, требующим от профессионала-рыбака умения держаться на воде. Случалось несчастье – и новоявленные женщины-рыбачки камнем уходили на дно. Так было и в тот туманный день, о котором рассказала Альма, когда две немки чуть не попали под пароход, вовремя увернулись, но их лодку с грузом солёной рыбы перевернуло волной. Обе женщины сразу же утонули, потому что совершенно не умели плавать.

Описывая тяжёлые рыбацкие будни, Альма Дайнес, сама того не замечая, прибегает к специальным терминам, за многие годы ставшим для неё словесной повседневностью. Временами ловишь себя на мысли, что, наряду с описанием невероятных тягот, она с каким-то удовольствием и даже азартом сообщает о рыболовных снастях, лодках, способах летнего и зимнего лова, всяких ухищрениях, придуманных для того, чтобы «перехитрить» ловкую рыбу. Справедливо полагая,

что заочно, по одному лишь описанию рыболовецкое искусство не постичь, она даже сопровождала своё повествование довольно неплохими рисунками.

Полагаю, читателям будет небезынтересно ознакомиться с тонкостями древнего ремесла, особенно если учесть, что, не познав этих деталей, нельзя до конца вникнуть в суть того поистине каторжного труда, который выпал на долю несчастных немецких женщин и подростков.

Итак, последуем за рассказом Альмы. «Курьевым» неводом длиной до 250 метров, пишет она, ловят рыбу в озёрах, старицах и заводях – там, где нет быстрого течения («стрешня»). В больших реках в ход идёт «стрешевой» невод в полкилометра, а то и более длиной. «Неводить», то есть ловить рыбу неводом, – работа артельная, с участием 12-15 человек. Более мелкими снастями – «фитилями», «атармами», «чердаками» и небезызвестным бреднем – рыбачат по 2-3 человека.

Главное средство летнего рыболовецкого труда – это «неводник», большая 15-метровая лодка. Несмотря на погруженный в него огромный невод и 12 человек команды, неводник должен быть вёртким и лёгким в ходу. С него на максимальной скорости, какую только могут выжать из себя 4 пары гребцов, забрасывается невод. Внизу по всей длине невода закреплены грузила из красного кирпича («кибасные»), а поверху идут «поплавные». В воде сеть распрямляется, образуя стену высотой до 17 метров (рыбаки называют её «дель»). Начало невода закрепляют на берегу с помощью специального бревна («беты»), а сам невод большим полукругом заводят в реку и возвращаются к берегу. Достигнув его, все выскакивают из лодки и начинают вытягивать тяжеленную сеть из воды. Хорошо, если была лошадь, которая могла тянуть невод, но чаще всего эта непосильная работа ложилась на самих рыбачек.

Для рядовых поездок, в т.ч. перевозки грузов, использовался «облосок» (надо полагать, «облесок») – лёгкая, но очень неустойчивая лодка до пяти метров длиной, которую искусно вырубали из ствола толстого дерева («лесины»). Два человека могли перенести эту лодку на плечах с одного озера на другое. Облосок использовался для ловли рыбы «фитилями», «чердаками» и другими небольшими снастями. Надо было обладать поистине цирковой ловкостью, чтобы даже в благоприятную погоду держаться, да ещё и орудовать веслом на такой вёрткой лодке. А что делать в сильный ветер, когда это «полубревно» раскачивало волной, грозя перевернуть вверх дном?

Подробно описывает А. Дайнес и подлёдный лов рыбы, который, вдобавок ко всему, был сопряжён ещё и с суровой зимней стужей. Ту

же самую работу с сетями, что и летом, надо было проделывать в ледяной воде, на студёном ветру, что во сто крат труднее. Спецодежду в первые годы не выдавали, а своё, «домашнее», было латано-перелатано и для сибирской зимы совершенно непригодно.

Эти беды, как и постоянный голод, делали жизнь ссыльного поистине каторжной. Их нельзя не иметь в виду, вникая в тонкости подлёдного лова, как его описывает Альма. Представьте себе часть большого озера, где запускается зимний «курьев» невод, скажем, 300 метров длиной, пишет она. Ширина «майны» (места лова) должна быть немного больше, чем размер невода, а длина – метров 700. На такое расстояние надо протянуть подо льдом невод, который захватит попавшуюся по пути рыбу. Понять, как это делается, поможет не раз виденный и удивлявший нас в детстве «фокус» с протягиванием резинки или тесьмы сквозь закрытый одёжный шов с помощью английской булавки: вместе с прикреплённой тесьмой булавку ощупью передвигают по шву до тех пор, пока она не появится в другом его конце.

Так же «вслепую» протаскивают подо льдом и многометровый невод – с той лишь разницей, что передвигают одновременно оба его крыла. Для этого пробивают по всей 700-метровой длине два ряда лунок, по 40-50 штук в каждом. (Расстояние между рядами должно равняться длине невода: в нашем примере – 300 метров.) Одновременно с лунками в начале «тони» и в противоположном её конце долбят две больших полыньи («майны»). Одна «закладная», куда невод будет запускаться, а другая «разборная». Сюда должен прийти невод с рыбой – если, конечно, запуск будет удачным.

Теперь начинается самое главное. По всей длине тони надо пропустить подо льдом две прогонные верёвки (за них потом прикрепят крылья невода). Для этого в первую лунку каждого ряда, начиная от закладной майны, одновременно спускают под лёд по длинной жерди, которая называется «нарыл». К каждой из жердей, как к булавке тесьма, крепится прогонная верёвка. Жерди подо льдом передвигают от первой лунки ко второй, там их захватывают специальной вилкой и толкают к третьей, от неё – к четвёртой, пятой. И так далее до конца, через все 50 лунок.

Когда обе прогонные верёвки протянуты, к их началу прикрепляют правый и левый крылья невода. После этого невод можно запускать в закладную майну, под лёд. Протаскивают сеть с помощью ворота или вручную, равномерно натягивая прогонные верёвки с таким расчётом, чтобы оба крыла невода подошли к разборной майне одновременно. И тут наступает момент наибольшего напряжения: быстро, не замечая ос-

тервенелого холода, голыми руками рыбаки вытаскивают на лёд и перебирают невод, ожидая с нетерпением, будет ли рыба в «кошеле» («мотне») или весь труд пошёл насмарку.

«По-разному случалось: иногда десять мешков рыбы поймается, а бывало, что и уху сварить не из чего. Счастье рыбака обманчиво...», — заключает свой рассказ Альма Дайнес. За этой технологией рыбацкого труда стояли жизни реальных женщин с их горестями, чувствами и переживаниями. В зимнюю стужу и в летнюю непогоду, каждый день с утра до ночи, из месяца в месяц, годы подряд выкладывались немецкие женщины в северных широтах, условия жизни в которых теперь называют экстремальными. Дождь ли льёт, ветер волну гонит, лодку подбрасывает так, что дух захватывает; снег ли осенью глаза застилает, шуга по реке идёт, и от одной мысли, что надо в воду лезть, душа замирает — ничто не должно было останавливать путину. Потому что стране требовалась рыба. «Всё для фронта, всё для победы над врагом!» — этот вездесущий лозунг служил надсмотрщикам от советской власти и НКВД в качестве своеобразного идеологического кнута для подстёгивания каторжников из числа «социально опасных элементов», которые, естественно, пытались доказать, что таковыми не являются. Конечно, эту полную страданий жизнь рыбацек и юношей-рыбаков разных национальностей можно назвать и героическим подвигом — если бы она была добровольной. Но по принуждению подвигов не совершают...

О двойном переселении и жизни на Крайнем Севере рассказывает в своих воспоминаниях Владимир Крейз. Было ему 10 лет, когда на третий день после обнародования рокового указа их семью, — мать и старшую сестру — а также имущество — чемодан и мешок с вещами — забрали в набитую людьми и жалким скарбом полуторку и отвезли к привокзальному тупику станции Покровск, что находилась в Энгельсе, столице АССР немцев Поволжья. Там уже было море таких же, как они, почерневших от горя людей. Ещё через три дня, 5 сентября 1941 г., эшелон № 826 поглотил почти две с половиной тысячи несчастных и повёз их навстречу бесправию и насилию в Красноярский край.

А в начале 1942 г. их снова погрузили в вагоны — на этот раз, чтобы перебросить на Крайний Север. Наблюдая за взрослыми и прислушиваясь к их тихой речи, Владимир понимал, что происходит нечто похожее на прошлогоднее выселение. Такие же хмурые лица, слёзы женщин и приумолкшие в тревожном ожидании дети. Станция Енисей. На берегу огромной реки — большей, чем Волга, — многоязыким табором ждали они отправки в места с пугающим названием «север». На третьи сутки величественно причалил пароход с символичным именем «Сталин»,

в трюм которого попала и их семья. Такие же двойные нары, как в прошлогодних «телячьих» вагонах, зарешённые круглые оконца — видно не впервой было «Сталину» перевозить каторжный «груз».

В трюме, вспоминает Владимир, какой-то старик фантазировал на своём зельманском диалекте: «Будем ехать на север долго-долго, пока не упрёмся в вечный лёд. А на нём — белые медведи.» До полярных медведей они не доплыли. Через двое суток пароход причалил к какой-то жалкой пристани, и, согласно спискам, начали высаживать пассажиров, главным образом немецкие семьи. На третьи сутки пришёл их черёд. «Вот мы и приехали», — сказала мать, услышав свою фамилию. Это было началом бесконечно долгой, 16-летней ссылки, которая оставила неизгладимый след в его памяти.

«Высадили нас, 11 семей, в станке (так на Севере называют здешние поселения) Зыряново. Стоим на песчаной косе, сгрудились в кучу под северным ветром.

— Фрицев, фрицев привезли! — кричали тамошние мальчишки, прыгая вокруг и дразня прибывших, уже успевших привыкнуть к подобным оскорблениям.

В их шумном сопровождении нас повели по деревянной лестнице на крутой обрыв, подмытый весенним паводком. Первыми обратили на себя внимание не убогие домишки с маленькими окнами, а комары, от которых не было спасения ни людям, ни животным. Отмахиваясь от гнуса, по единственной улочке селения тащились небольшие, поросшие густой шерстью лошадёнки, впряжённые в деревянные волокуши. (Колёса были там не в ходу из-за непролазной грязи.) Но больше всего нас удивили спасавшиеся от оводов в дыму костра стоящие северные олени.

Стали расселять. Мы, три семьи, попали в небольшую баню, топившуюся по-чёрному. Было тесно, душно и грязно. Спать не пришлось, комар не давал. Да и ночи как таковой не было. Это нас сильно забавляло: солнце едва опустилось, достигнув леса, и тут же снова взошло. Потом мы привыкли ко всему...»

Из повествования В. Крейза следует, что в Зыряново уже находились латыши, а в соседних станках жили литовцы и эстонцы, высланные из своих прибалтийских краёв. Тремя поселениями ниже по Енисею, в Верещагино, ещё раньше завезли ссыльных финнов и греков. Теперь многонациональное подневольное население Туруханского края пополнили российские немцы. К подобному «контингенту» надо причислить и русских, подавляющее большинство которых было здесь из «кулаков», сосланных в начале 30-х годов. Теперь, после миллионных

потерь в живой силе, их мужчин стали отправлять на фронт, а наиболее проверенной части бывших раскулаченных было доверено командовать новыми ссыльными и надзирать за ними. Власти не ошиблись, ибо никто не служит господину лучше вчерашнего раба.

...На следующий день всех прибывших взрослых вызвали в контору, где комендант Лукьянов первым делом забрал у них паспорта и объявил, что их, немцев, привезли без права выезда на 10 лет (если бы так!) и что они обязаны работать в колхозе, кого куда пошлют. А работа такая: лесоповал, заготовка пушнины, ловля рыбы, животноводство. Так они стали туруханскими каторжниками, продолжателями судеб многих поколений неугодного люда, ссылавшегося в Сибирь.

Туда, в многочисленные «места не столь отдалённые», издавна отправляли политических преступников, подтачивавших царский режим, староверов, каторжников, уличённых в самом тяжком грехе – душегубстве. В припудренной «Краткой биографии» Сталина, тщательно отредактированной им самим в 1948 г., говорится: «Здесь находились в ссылке Сталин, Свердлов, Спандарян. (...) Царское правительство высылает Сталина в далёкий Туруханский край на четыре года. Сталин вначале живёт в станке Костино, а затем, в начале 1914 года, царские жандармы, опасаясь побега, переводят его ещё севернее – в станок Курейка, к самому Полярному Кругу. (...) Это была самая тяжёлая политическая ссылка, какая только могла быть в глухой сибирской дали.» (Курсив мой – Г.В.)

Прочитав это место из сталинского автопанегирика, невольно приходишь к любопытным сравнениям и выводам.

Советская власть не только не принесла обещанную свободу этим местам, но, напротив, расширила каторжный край до масштабов всей Сибири и всего Севера. Огромные пространства – от Коми-Пермяцкого края на западе до Колымы на востоке, от Кузбасса на юге до Таймыра на севере – превратились стараниями большевистского государства в гигантский, как теперь принято говорить, Архипелаг ГУЛАГ. Вырос этот гриб-поганка на давних традициях российского самовластия, которое держалось силой полицейщины и административного принуждения.

Большевики довели эти принципы до полного совершенства масштабов и форм. Бывших царских жандармов заменили чекисты из ОГПУ-НКВД. Проникнутые идеями «классовой борьбы», лицемерием и ханжеством, они намного превосходили своих предшественников. Их «клиентами» были не отдельные «государственные преступники», а миллионы мнимых «врагов народа», «изменников Родины», «шпионов и диверсантов». Стараниями «идейных» гебистов в этот разросшийся до необъятности «Туруханский край» были сосланы целые клас-

сы, социальные слои и народы, получившие произвольное обобщённое название «социально опасные элементы».

Если бы удалось просуммировать число людей, подвергшихся в эти годы тем или иным политическим репрессиям, то, даже при исключении жертв революционного террора и гражданской войны, получился бы многомиллионный итог.

Следующие друг за другом акты геноцида против собственного народа тщательно скрывались или произвольно втискивались советской пропагандой в прокрустово ложе «классовой борьбы». Эта завуалированность трагических сторон нашей действительности нашла отражение даже в лагерном фольклоре. В качестве примера приведу два куплета из «Песни о Сталине» Юза Алешковского:

За что сижу, воистину не знаю,
Но прокуроры, видимо, правы.
Сижу я нынче в Туруханском крае,
Где при царе сидели в ссылке Вы...

И вот сижу я в Туруханском крае,
Где конвоиры, словно псы, грубы.
Я это всё, конечно, понимаю,
Как обостренье классовой борьбы.

Вождь и Друг всех народов по собственному опыту знал, куда надо ссылать неугодных режиму людей, чтобы причинить им наиболее острые физические и моральные муки. В этом «мастерстве» сталинские сатрапы далеко превосходили царский Департамент полиции, репрессивный аппарат которого выглядел карликом по сравнению с ежово-бериевским гигантом.

Заметим, кстати, что «политические», в т.ч. и Сталин, находясь в ссылке, кормились за счёт царской казны и, в отличие от каторжан, не обязаны были трудиться. Теперь «гением» сталинских опричников прежние формы репрессий – политическую ссылку и каторгу – увязали воедино и в новом качестве применили к миллионам людей. Был найден универсальный способ нагнетания страха в стране и одновременно организации широкомасштабного принудительного труда, без которого, как показала жизнь, немислим «социализм» большевистского образца.

Воплощением этой античеловечной практики было и упомянутое Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 6 января 1942 г. «Узаконив» вторичное насильственное переселение и каторжный труд в непригод-

ных для жизни условиях, высшие инстанции Советского государства и Коммунистической партии явились организаторами новой формы государственного террора против российских немцев.

Об этом дальнейшее наше повествование. А теперь вернёмся к рассказу Владимира Крейза, семью которого высадили в туруханском станке Зыряново.

«Чтобы не умереть с голоду, мне в 13 лет пришлось пойти в тайгу на отстрел зверя, — пишет он в своём письме. — Промысловая охота — это не прогулка с ружьём, а тяжёлый изнурительный труд даже для выносливых сибиряков. Для охотника-мальчишки жизнь и работа в зимней тайге и подавно не в сладость. Палатка, лыжи, мелкокалиберное ружьё «ТОЗ», постоянное выискивание следов белки, ночёвки в палатке при 30-40-градусном морозе и непроходящее чувство голода — таков был наш удел.

‘Мы’ — это Саша Миллер, калмык Митя Дорджиев, латыш Арнольд Жерс и я. Самому старшему, Арнольду, 20 лет, остальным — по 15-16. Матери троих не пережили свалившихся на их семьи тяжких невзгод и умерли в первый же год ссылки. От школьной парты всех, кроме Жерса, оторвала крайняя нужда: надо было спасать от голодной смерти младших братьев и сестёр.

Много разных приключений, главным образом — неприятных, было у нас в ту первую охотничью зиму. Но вот наступила последняя декада марта, начал таять снег. С сосен осыпалась кухта (снежные хлопья). Ночью ещё крепко примораживало, отчего на снегу образовался твёрдый наст. На белку в эту пору уже не охотятся — не видно следов и не заметно, когда зверёк пробегает по веткам деревьев. К тому же в гнёздах появились бельчата и звериные шкурки начали линять, теряя промысловую ценность.

Теперь можно отправляться домой, увидеться с матерью и сестрёнкой, которая живёт в няньках у председателя сельсовета. Побывать в долгожданном тепле, смыть с лица многомесячную копоть, попариться в соседней баньке, снять с себя постоянное напряжение тяжёлой опасности.»

И вот — последнее утро перед выходом из тайги, как его описывает Владимир. Митя Дорджиев, самый бережливый из них, достаёт оставшуюся, замёрзшую в камень половину хлебной булки, долго примеряется топором и точно разрубает её на четыре части. Каждый размачивает свой кусочек в кружке кипятка и старательно съедает. Это весь завтрак. Голод, конечно, никто не утолил, но что-то горячее в желудке почувствовал. Теперь до вечера никакой еды больше не будет. Свер-

нули махорочные самокрутки, закурили, посидели, как водится, минут пять и стали сниматься с места. Снаряжение уложено, надеты лыжи. Каждый тщательно, чтобы не резали ремни, впрягается в свои нарты, и все трогаются в путь. Впереди 30 километров не единожды хоженной дороги. Прокладывает лыжню, как всегда, Арнольд, замыкает цепочку Володя Крейз. Ему нелегко поспевать за остальными, и он вынужден напрягать все силы, которых у него почти не осталось. К полудню всё больше донимает голод, кружится голова, подкашиваются ноги. Наваливается страшная усталость. Хочется упасть и больше не подниматься. Так было уже не раз, надо только перетерпеть тошноту и думать о том, что вечером тебя ждёт домашний ужин.

Совсем другое дело, когда приходится голодать по несколько дней, как это было в памятном январе того года, рассказывает В. Крейз. Не пришли в назначенное время сборщики пушнины, которые были одновременно и снабженцами. А хлеб, как всегда, съеден до срока, и запас убитых белок тоже закончился. Ни у кого не осталось ни крохи съестного. Сбиться с ориентира сборщики не могли. Максимыч, опытный таёжник, точно знал, на каком лесном стане в эти дни находятся охотники. Они ведь «по графику» передвигаются от стана к стану. Но сборщиков всё нет и нет. 5 дней прошло, как в кошмарном сне. И без того истощённые тела отказали окончательно. Сил на охоту уже не было. На добычу даже одной белки, бывало, и дня не хватало, а мяса с неё — кот наплакал. Кроме всего прочего, выпал обильный снег. Идти по нему на лыжах вообще трудно, а обессиленному — совсем невозможно. Лежали пластом, ни видеть, ни слышать уже ничего не хотели. Полное безразличие... По суровому приказу Арнольда поочерёдно выбирались из спальных мешков и кое-как, из последних сил, пилили дрова, чтобы не окоченеть на 40-градусном морозе.

На шестой день, продолжал Владимир, слышат они потухший голос Саши Миллера: «Давайте, ребята, убьём Дамку. Если сейчас это не сделаем, то потом совсем сил не будет. А сборщики, может, ещё неделю не придут...»

Дамка — это Сашина собака, всеобщая любимица, друг и незаменимый помощник на охоте. Белку и боровую дичь брала замечательно. Лучше охотников видела, на каком дереве притаился зверёк меж хвойных лап. Ни разу не ошиблась, впустую по лесу не бегала и зря голос не подавала. На неё всегда можно было положиться и в случае появления нежданного таёжного гостя.

— Жалко Дамку убивать, давайте её домой отошлём. Может, нас совсем на другом стане ищут, — предложил Митя Дорджиев. Ему было

искренне жаль любимой собаки. Над собственной жизнью он в тот миг не задумывался.

– Пока Дамка домой доберётся, то да сё – ещё 5 дней пройдёт. Максимыч со сборщиками и так знают, что мы их на этом стане ждём. Не первый год по тайге ходят. Скорее всего, их в Зыряново задержали, – как всегда, осторожно высказался Арнольд. Участь Дамки была предпрешена.

– Сходи, Митька, застрели, я не смогу посмотреть ей в глаза, – выжал из себя Саша.

Митя Дорджиев нехотя вылез из мешка, бросил в печку пару поленьев, чтобы отогреть пальцы, а главное – оттянуть время. Одно дело – в белку или дичь какую-нибудь стрелять: она далеко от тебя находится, да и азарт охотничий в этот миг разбирает, некогда особенно думать. Главное – не промахнуться. А тут, хотя и не в человека, но в друга стрелять почти в упор придётся.

Однако деваться некуда, Митя взял винтовку, щёлкнул затвором и медленно выбрался из палатки. Дамка лежала у входа, свернувшись калачиком и вздрагивая от холода. Увидела Митю, поднялась и, помахивая хвостом, устремилась на него просящие голодные глаза. Митя помедлил ещё мгновение, отогнал подступившую жалость, вспомнил, зачем вышел из палатки, поднял «тузовку» и выстрелил Дамке в голову, чтобы любимый друг не мучился...

А на завтра поздно вечером пришёл Максимыч со сборщиками, и ребятам стало стыдно и обидно за свой поспешный поступок.

Как следует из дальнейшего рассказа В. Крейза, с долгожданным отдыхом у него ничего не получилось. Не успел он, голодный, смертельно уставший, притащиться домой, как узнал, что его включили в рыболовецкую бригаду и до следующего охотничьего сезона отправляют на дальнее озеро Налимье. Через несколько дней выдали каждому по 47 рублей 50 копеек – всё, что наскребли в дырявой колхозной кассе. Когда возмущённые рыбаки спросили у председателя, как им прожить на эти деньги более полугода, тот ответил, не скрывая раздражения: «Остяки (прежнее название хантов – Г.В.) живут – не подыхают, и вы не сдохнете!»

Отправлялись двумя многоязыкими бригадами: немцы, латыши, калмыки, местные русские жители – в большинстве своём девушки, молодые женщины, а с ними несколько парней, немногим старше Владимира. На всём 150-километровом санно-пешем пути ломали голову над тем, как протянуть 2 месяца, пока не начнётся путина. Решили сложиться, чтобы на выданные в колхозе деньги купить в местной фактории

кукурузной муки и вдобавок выпросить займы немного рыбы. С тем до июня и дожили. Учитывая заработанное у жителей приозёрного станка, на каждого в день приходилось по 3 черпака мучной болтушки да по рыбке-пеляди. И ни кусочка хлеба.

Летом пробовали наменять на рыбу муки, чтобы хоть запах хлеба вспомнить, но не вышло. А из Зырянова через болота пути не было. Пришлось просидеть до глубокой осени без хлеба, на одной «сверхплановой» рыбе.

Домой возвратились, когда 30-градусные морозы окончательно сковали озеро Налимье, поскольку для зимнего лова не было нужных снастей. Брели в октябрьскую стужу в изорванной за лето одежде, почти босиком той же 150-километровой дорогой, погрузив рыболовные орудия и тощие мешки с вещами на единственные конные сани. За неделю все обморозились, но, слава Богу, остались в живых.

К этому времени Володе Крейзу исполнилось 14 лет.

Читая присланные мне обширные письма, тонкие и толстые тетради, объёмистые рукописи со свидетельствами, которые можно без преувеличения назвать историческими, я ловил себя на жадной мысли, что многое приходится отсеивать за нехваткой места или давать в сжатом изложении, в результате чего не только теряются куски текста, но и подчас исчезает индивидуальность автора. Сказанное относится прежде всего к большой рукописи «Из песни слова не выкинешь», которую прислал и любезно разрешил использовать при работе над данной книгой Виктор Зандер. Он – недавний инженер-строитель, неимоверными усилиями получивший высшее образование, ныне пенсионер, живёт в Красноярске.

Ему было 12 лет, когда в июле 1942 г. их семью – отца, мать и старшую сестру – вместе с другими депортированными немцами переселили на Север. Сначала плыли по Енисею до Туруханска, затем семью доктора Корнелия Зандера доставили в посёлок Тура, центр Эвенкийского национального округа, а через год, вместе с полсотней немецких семей, ещё на 300 километров восточнее, вглубь таёжного края.

Согласия на отправку ни у кого из них, разумеется, не спрашивали, хотя новое, уже третье по счёту переселение, непоправимо усугубило положение людей. Они лишились относительно сносного, «цивилизованного» крова в Тура. Теперь всем работоспособным – а это были почти одни женщины – предстояло стать рыбаками, овладеть абсолютно неизвестными профессиями. Вдобавок это означало, что они должны будут перекочёвывать от одного озера к другому в совершенно безлюдных местах, жить в ямах-землянках и шалашах. Детей за считанные

недели до окончания учебного года оставили без школы. Не удалось окончить 6-й класс и Виктору, а его сестру Евгению сорвали даже из 10-го класса.

Описанные В. Зандером факты беззакония были типичными по отношению к спецпереселенцам всех национальностей, сосланным на Крайний Север в годы войны. «Особое задание» по организации рыбных промыслов автоматически давало органам НКВД право на неограниченный произвол и самоуправство. Обращались подобным образом прежде всего с подневольными людьми, поставленными вне закона, который существовал на бумаге, но не в действительности. Советская власть постоянно находила «элементы», пригодные для манипулирования по собственному усмотрению. На сей раз ими оказались российские немцы, которых «законодательно» ограничили в правах, лишили жилья, имущества, средств к существованию, полностью подчинили всецельной спецкомендатуре и местным властям.

В условиях Крайнего Севера моральные и материальные невзгоды многократно усугубляются из-за малоприспособленного для жизни климата. «В этом Богом забытом и людьми проклятом крае не было ничего страшнее морозов, комаров и мошки, — говорится в рукописи В. Зандера. — Холода бывали лютые, безжалостные — 40–50°, с густым туманом и звенящей тишиной. Звуки в такой холод разносятся далеко, слышны чётко. На подобном морозе воздух кажется тяжёлым, густым, неприятным «на вкус». Вдыхать его приходится ртом, по возможности — малыми глотками, ибо нос сразу забивается льдом, вызывающим кашель. Хочется избавиться от чего-то удушливого, но тут же непроизвольно грудь захватывает новую порцию ледяного воздуха...»

«Работать на открытом воздухе нам, переселенцам, было особенно трудно: у нас не было одежды и еды, — пишет он далее. — Однако, несмотря ни на что, с середины октября, когда на смену гнусу и комарью приходят морозы, а реки и озёра окончательно замерзают, начинался поистине каторжный подлёдный лов рыбы. Самое трудное при этом — долбить лёд под лунки. Работают из последних сил. В изодранной и всегда мокрой обуви ноги мёрзнут немилосердно. Календарной весной, в мае, когда зима здесь в действительности ещё в полном разгаре, а лёд самый толстый, стоит в ледяной яме женщина или паренёк. Лёд выше головы, а они клюют пешней ненавистный ледяной панцирь. Пробьют его до воды в одном месте, выкарабкаются с трудом, если их не вытащат за шиворот, и принимаются за очередную ледяную яму. До ста лунок требуется продолбить, чтобы невод под водой протянуть...»

Понятно, что все манипуляции с сетью надо было проделывать ниже

уровня льда, в холоднющей воде, иначе сеть моментально превращалась в ледяной ком, и тогда пиши пропало: замёрзшая нить ломается, как соломинка. И не просто в воде, а среди крошек льда, голыми руками, на пронизывающем, тоже ледяном ветру. Работа для женщин и подростков нестерпимо тяжёлая, нередко сопровождавшаяся слезами обиды и отчаяния...»

Виктор Зандер рассказывает в записках и о судьбе своей матери Ольги Александровны — русской женщины, учительницы, волею судьбы заброшенной в таёжную глухомань. Все ссыльные годы она в школе не работала, была отстранена от любимого дела как жена «социально опасного элемента», опытного врача Корнелия Зандера. Ей вместе с ним пришлось нести тяжкий немецкий крест.

Когда грянул августовский гром 1941 года, мать Виктора, не задумываясь, отправилась с мужем и детьми в неведомый путь. А могла и остаться на родной

Волге, нужен был только развод с мужем. Но не развелась, не осталась. В одном «телячьем» вагоне с десятками немцев уехала в страшную далёкую Сибирь. Когда их ссылали повторно, снова разделила печальную участь мужа, хотя он уговаривал её развестись и, пока не поздно, вернуться с детьми на родину. Но и на этот раз победило её неуёмное стремление держаться вместе всей семьёй.

Попав в далёкую эвенкийскую глухомань, мать осознала, наконец, свою роль ничего не значащей щепки, носимой по злой воле в безбрежном таёжном море. Теперь она даже в шутку не называла себя женой декабриста, понимая, что такое житьё ни одной из последовательниц княгини Волконской узнать не довелось: дальше Нерчинских рудников самодержец не решился сослать даже ниспровергателей царского престола. И когда семью Зандер депортировали в третий раз — из Туры вглубь Красноярской тайги, — тоже не проронила ни слезинки.

Она ожесточилась, ушла в себя, потеряла не только веру в справедливость, но и надежду на то, что когда-нибудь наступят перемены к лучшему. Осталась одна лишь цель — помочь выжить детям. Наступил момент осознания своей обречённости на вечную несправедливость.

С тех пор, отмечает В. Зандер, мать больше не подписывалась двойной фамилией Зандер-Островидова, а носила только фамилию мужа. Она не жаловалась на тяжкий труд на лесоповале, где находилась вместе с мужем, и на рыбзаводе, где приходилось работать в солёной со льдом воде на трескучем морозе, незащищёнными, потрескавшимися, израненными руками. Будучи дочерью священника, уже не обращалась и к Богу...

Такой беспощадной была власть повседневных реалий, в которых приходилось существовать депортированным российским немцам. Самые важные из этих житейских атрибутов – это, конечно же, еда, жильё, быт. Слова «дом», «дома» встречаются почти во всех полученных мною письмах, особенно написанных женщинами. Из воспоминаний их авторов вырисовывается облик типичных укрытий, которые сооружали ссыльные рыболовы по Оби и Енисею. Прежде всего надо было укрыться от непогоды. Ещё трудоспособные старички объединялись и строили полутора-двухметровой высоты полуземлянки. В лучшем случае – с маленьким окошком, которое выделялось в темноте белым пятном. Крышу по жердям закладывали дёрном. Но большинство ссыльных составляли женщины одинокие или с детьми. Они сооружали длинные, метров на 8-10 шалаши, обложенные тем же дёрном – чем толще слой, тем теплее. Без окон, вместо двери – отверстие, завешенное тряпьем. В шалашах, в меру женского умения, устраивались топчаны – пара грубых, кое-как отёсанных жердей. Посреди этого сооружения – не гаснущая почти весь год печь, изготовленная из 200-литровой железной бочки.

Жили в таких землянках и шалашах сообща, как наши доисторические предки. Внутри – копотно, дымно, сыро и холодно. С оклизлых жердей постоянно капает, воздух отдаёт чем-то кисло-прокоптело-затхлым с крепкой примесью «аромата» человеческого пота. В свободные минуты обитатели теснятся около дымящейся печки. В свете горящих дров, если они имеются, что-нибудь штопают-перештопывают, в который раз переделывают. Что-то варится-печётся...

В лачугах ведут тихий, усталый, прерываемый долгими паузами, бесцветный разговор. О том, где достать кусок оленьей шкуры, как найти и половчее донести лесину для топки, да не прозевать бы поднять или переместить сеть, пока она не вмёрзла в лёд. 10 килограммов рыбы в день на сеть обязан сдать каждый, иначе карточек на хлеб лишится. Но про еду не вспоминают, так как рядом, прижавшись друг к другу и вытянув руки к теплу, сидят дети. Руки их черны от копоты и грязи. Не заметно детского шума, возни, игры. Забыт смех. Это – дети-старички. От печки идёт одуряющая жара, а спину леденит холод. По мере удаления к нарам он становится нестерпимым, заставляющим укутаться во всё тёплое, что ещё осталось от прежней жизни.

Передвигаться в таких «жилищах» удаётся только согнувшись, чтобы не задеть головой за «кровлю». «Стены» и «потолок» и без того постоянно шуршат, земля сыплется на голову, попадает за шиворот, и люди гадают: крупинками земли или насекомыми вызван нестерпимый

зуд. Избавиться от того и другого можно лишь основательно помывшись, но об этом приходилось только мечтать...

Единственным приятным воспоминанием, которое осталось от той каторжной поры у Виктора Зандера, было никогда не виданное, очаровавшее даже голодных людей северное сияние: «Внезапно в ночном полярном небе вспыхивают многокрасочные вертикальные столбы, как бы уходящие в бесконечность. Охватив полнеба, бегут, переливаются, снова бегут, отражаясь в снегу, преображая всё вокруг в нечто фантастическое, неземное. Вот часть небосвода озарилась фиолетовым разноцветьем, и кажется, что пошёл цветной дождь. Затем разом всё гаснет, чтобы через минуту снова начать свою пляску-иллюминацию. Сказочное 'кино' сопровождается звуками, похожими на лёгкий порошок, будто через сложенные узкой щелью губы с силой выдувают воздух и выходит что-то вроде: 'Фу-у – Фу-у!' На фоне беспросветного жалкого существования это удивительное явление природы казалось особенно величественным, могучим и таинственно-красочным. И как бы холодно и голодно ни было, мы могли стоять до посинения, до белых носов, наблюдая это чудо. Оно переносило нас в иной, ирреальный мир, где не бывает войны, голода, холода, болезней. Где нет места горькой несправедливости, национальному унижению и связанным с ними бедам. Ведь как красиво там, на небе!

Конечно, я бы охотно променял это чудо на мгновение лежания под жарким солнцем на песке волжского острова напротив родного Энгельса. Но пробирающий до костей мороз и жалкий вид рыбацкого поселения очень скоро возвращали нас к печальному реализму, заставляя укрыться в лачугах, к которым неприменимо привычное и близкое любому человеку понятие 'мой дом'...

Получив представление о жизни ссыльных немцев-рыболовов, лесозаготовителей, промысловиков в Туруханском крае и по Нижней Тунгуске, вернёмся к Енисею – каторжной реке, чтобы вместе с другими изгоями проделать по нему горестный путь в ещё более северные широты, куда направляли немецких женщин, стариков, детей и подростков. Левин Лох, к воспоминаниям которого мы обратимся, тоже попал вместе с матерью и сестрой в жернова двойного переселения.

Ему не исполнилось в ту пору ещё и 14-ти лет. Отца, колхозного кузнеца, арестовали летом 1938 года, и, подобно другим бесчисленным «врагам народа», он как в воду канул. Забегая вперёд, отметим, что два десятилетия спустя, в 1957 г., судьба случайно свела эту семью в далёком приполярном Усть-Енисейском порту. 10 лет по приговору «тройки» отбыл отец без права переписки в лагерях Нижнего Тагила,

после чего был сослан на бессрочное поселение в районы Крайнего Севера. Здесь, на краю земли, и сошлись их ссыльные пути. Увы, поздно: в вечной мерзлоте Дудинки схоронил наш автор своего совсем ещё не старого отца...

Весну 1942 года, когда немцев отправляли в повторную ссылку на Север, Левин запомнил навсегда. За сутки до этого их предупредили, что рано утром всем надлежит с вещами собраться у колхозной конторы, откуда будет производиться отправка.

Будто тени сходились к центру села молчаливые женщины, дети, старики с узлами, самодельными чемоданами и прочей поклажей в руках. Грустные, задумчивые. Гадали: что ждёт их на этот раз? Знавшие друг друга ещё «по дому», они воочию убедились, что обнищали, оборвались, изменились до неузнаваемости. Почти всё из вещей, что удалось захватить с собой при выселении, уже перекочевало к местным жителям за ведро картошки или мисочку муки с отрубями.

Но и последние вещи были отняты самым бесстыдным образом. Командовал отправкой председатель колхоза Тимофеев. Вместе с председателем сельсовета и своими приспешниками он бесцеремонно заставлял людей открывать чемоданы и развязывать узлы. Забирали всё, что понравится: валенки, одежду, различную утварь – вплоть до кухонных ступ. Присваивали ещё сохранившиеся ценности. Говорили: это, мол, там не пригодится, едете только на 3 месяца, вернётесь – всё будет в целости и сохранности.

Конечно, ничто из отобранного им не возвратили ни через месяцы, ни годы спустя. Обещания были бессовестным враньём, прикрытием откровенного грабежа и правового беспредела.

«Удивляет и заставляет задуматься другое: ни в тот раз, ни при выселении из Поволжья и последующих проявлениях вопиющей несправедливости никто никакого возмущения, а тем более протеста не выразил, – пишет Л. Лох. – Ни разу за все эти годы я не слышал, чтобы кто-то из наших немцев хотя бы повысил голос. Их морили голодом, унижали, грабили, сажали в карцер, насиловали, принуждали жить и работать в нечеловеческих условиях, а они безропотно молчали. Что это?! Чувство добровольно принятой на себя чужой вины? Воспитанный советской властью комплекс национальной ущербности? Загнанный вглубь этнического самосознания постоянный страх? Или закреплённое на генетическом уровне, врождённое послушание, из-за которого наше общество понесло столько потерь?»

К поставленным Л. Лохом вопросам, звучащим скорее как справедливый укор самому себе и своему народу, можно добавить ещё с деся-

ток других, не исчерпав при этом проблему особенностей национальной психологии и менталитета российских немцев, как и других народов, особенно под властью тоталитарных диктатур. Нельзя не признать, что тюремщики сталинского СССР и нацистской Германии оказались изощрёнными психологами. Они умели так поставить дело, что находившийся под их властью человек страдал более всего от мелких обид, привыкая в то же время к настоящему горю, которое нёс с собой государственный террор.

Заключённые в лагерях немцы куда сильнее реагировали на клички, незаслуженные оскорбления типа «лодырь», «дармоед» и т.п., чем на подлинную жестокость. Они плакали, как дети, когда их называли фашистами, гитлеровцами, фрицами, толкали прикладами или били по лицу. Но при этом будто вовсе не замечали колючей проволоки, собачьего лая, конвойного сопровождения или того, что их морили голодом и оставляли на съедение гнусу.

Эти вопросы требуют серьёзного осмысления и научного анализа, время для которых безусловно наступит. Пока же вернёмся к семье Лох, история которой была не только частицей, но и слепком с трагической судьбы многих тысяч немецких семей.

«После 'ревизии' чемоданов и узлов нас, тихо плачущих женщин, молчащих дедушек и бабушек, ничего не понимающих, но чувствующих тревогу детей, повезли подводами на пристань 'Енисейск', – вспоминает Левин Лох. – Сюда со всех южных районов Красноярского края свозили немцев, которым предстояло переселиться в низовья Енисея. Ждали 2 дня, пока для транспортировки подневольных немцев, латышей, эстонцев, финнов не были поданы речные суда. Мы оказались в тёмном, без окон, сыром и холодном трюме грузового судна-лихтера, совершенно не пригодного к перевозке людей. Плыли бесконечно долго, голодные, потерявшие счёт времени, угнетённые неизвестностью. Только во время стоянок можно было увидеть небо, размять ноги и сварить нехитрую еду. Если представлялась возможность, забирались подальше в лес, снимали одежду и яростно истребляли ненавистных вшей, не дававших ни минуты покоя. Их развелось столько, что одежду приходилось класть на камень и камнем поменьше бить по завшивленному шву. Одновременно надо было не переставая отбиваться от оводов и гнуса, тучами осаждавших обнажённые тела. Казалось, сам воздух состоит из одной лишь мошкары.

А север всё сильнее давал о себе знать. Становилось холодно, мрачно небо, свинцовые тучи опускались вплотную к реке. Порой сыпалась снежная крупа, застилая всё вокруг белой пеленой. Лес по берегам

хирел, и вскоре от него остались только карликовые берёзки и сосны. Наступило царство лесотундры. Далее пошли и вовсе безмолвные, с пятнами нерастаявшего снега, просторы тундры. А мы плыли всё дальше и дальше на север, и страх сковал даже наши детские сердца...»

Был конец июня 42-го, когда после месяца трюмной жизни остаток каравана прибыл, наконец, в Дудинку, преодолев почти две тысячи километров. Из части судов людей выгрузили в Игарке и других прибрежных посёлках, а их повезли дальше. Казалось, никогда не будет конца этому мучительному пути.

И вот показался Усть-Енисейский порт – последнее крупное по местным меркам поселение на великой реке. Севернее она тремя огромными протоками, общей шириной почти 40 километров, незаметно переходит в Енисейский залив. А за ним – только Северный Ледовитый океан. Встревоженные путники надеялись остаться хотя бы в этом посёлке, но, высадив очередную партию переселенцев, их отправили ещё дальше.

Выгрузили на необитаемый остров Хетские пески, где не было ни жилья, ни, на худой конец, заранее припасённых строительных материалов и инструментов, чтобы люди могли успеть хоть как-нибудь обустроиться к скорой в этих краях зиме. Ровным счётом ничего. Спасли положение два старика, которые ещё с Волги возили с собой плотничный инструмент. К счастью, нашлись и брёвна от разбитых бурей сплавных плотов, вынесенных заботливой рекой на остров. Вместо слёз и причитаний все взялись за работу. Началось круглосуточное строительство землянок, благо полярный день не кончался.

Вскоре появился уполномоченный НКВД, привёз с «материка» двух вольных бригадиров, затребованных из Астрахани. Они должны были научить ссыльных обращению со снастями и руководить рыбной ловлей, в т.ч. подлёдной. Уполномоченный собрал немцев, сказал твёрдо и недвусмысленно:

– Искупать вину перед Родиной будете, рыбой фронту помогать. И знайте: навечно вас сюда привезли, а не на 3 месяца, как кто-то там обещал. Так что устраивайтесь понадежней и ни на кого не надейтесь!

Словам энкаведешника не хотелось верить, настолько несозвучны они были ожиданиям и надеждам людей. Но когда на остров начал поступать строительный лес, печки, лодки разной величины и снасти, всё поняли, что эта жизнь – всерьёз и надолго. А главное – впереди маячила страшная полярная зима. Надо было спасать жизнь свою и детей. Женскими руками стали, не откладывая, строить бараки. И не ошиблись: хоть и впроголодь, при лучинах, но зиму всё же кое-как пережили.

«Рыбу ловили неводом до поздней осени, – пишет Л. Лох. – Самодурство уполномоченного, вызывавшее возмущение даже у астраханцев, не знало предела. Установка у него была 'железная': хоть камни с неба, а рыбачить – до 10 октября! Тот, кто знает Север, поймёт, что это означало: шуга, мелкий лёд по реке и заливу, сокуйники (прибрежный лёд) по берегам, снег вокруг, мороз за 20 градусов. А у рыбаков нет ни бахил, ни резиновых сапог, ни другой подходящей обуви. Выходят женщина или паренёк из воды по пояс мокрые, ступят на заснеженный берег – след ледяной остаётся. Однако они сами старались оставаться в воде подольше, потому что она была всё-таки теплее, чем воздух на морозном ветру.

Так было все 14 лет – с 42-го по 56-й, когда немцы, наконец, смогли покинуть ненавистный остров. И что удивительно – среди женщин не было тяжело больных. За первые 10 лет никто не умер. Сказалось, видимо, огромное нервное напряжение, в котором они постоянно находились. И уполномоченному НКВД надо отдать должное: хоть и жестоким он был человеком, но слово своё держал крепко – рыба, добытая сверх плана, распределялась по семьям. Это и спасло многих от голодной смерти.»

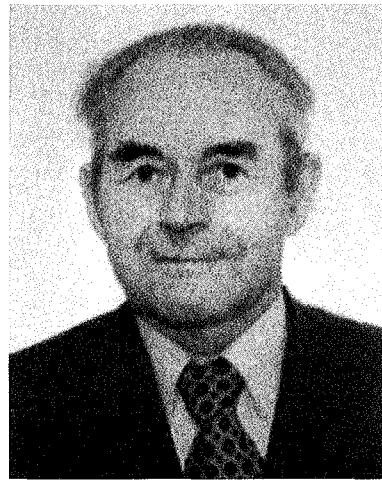
В Усть-Енисейском порту, о котором ссыльные мечтали в пути, вспоминает далее Л. Лох, было намного хуже. Сотни женщин, детей, стариков зимовали здесь в полотняных палатках, в дощатых, насквозь продуваемых ветром сараях, в «ледниках»-землянках, вырытых в вечной мерзлоте. Смерть буквально косила людей. Позже он узнал от бывшего председателя поссовета, что в первую зиму в порту умерли 350 из тысячи переселенцев. В Насоновке, одном из селений по Енисею, где тоже высадили людей из их каравана, погибло несколько меньше, а вот в Усть-Хатанге – каждый второй. И так было почти всюду.

В первую зиму покойников не хоронили, ждали весны. В Усть-Енисейском порту в общую яму попали не только немцы, но и сосланные латыши, литовцы, эстонцы, поляки, украинцы. Гигантскую могилу сразу же сровняли с землёй, чтобы и следа её не осталось. Умирали не только от голода, холода, но и от цинги. Болезнь достигла страшных масштабов. Только к весне 1943 г. привезли из Дудинки хвою (ближе она не росла), чтобы готовить горький противоцинготный отвар.

Немногим удалось вырваться из енисейского каторжного края, закончил свой рассказ Левин Лох. Более половины навечно осталось в северной ледяной земле. Другие живут там и поныне. С детства зацепились они за эти места, не зная ничего лучшего. У третьих хватило средств, настойчивости и энергии только на переезд в южные районы ссыльно-

го Красноярского края, которые считались раем по сравнению с сибирским приполярьем. Наш рассказчик тоже не уехал дальше Красноярска – тем более, что назад на Волгу немцам пути не было.

Упомянутый Л. Лохом уполномоченный НКВД, который фактически спас жизни многих вверенных ему людей на их острове, являлся далеко не типичным сотрудником этого карательного ведомства. Ведь установка НКВД была прямо противоположной – ни одна рыба на не должна использоваться «в личных целях». Тем не менее, несмотря на усиленный контроль, строгий учёт и прочие ухищрения властей, люди, добывавшие рыбу, без неё всё-таки не оставались. Да и брига-



Иоганнес Бартули

диры, которым был поручен постоянный надзор за рыбаками, тоже кормились из общего котла.

Но ежедневную уху приходилось готовить украдкой, тайком, опасаясь внезапного появления начальства, от которого можно было ожидать чего угодно, но только не человеческого обращения и понимания. Лидия Кригер, также находившаяся в рыбацкой ссылке на Енисее, пишет из города Канска Красноярского края:

«Никогда не забуду, как мы 250-метровым полустрежевиком на Медвежьих песках рыбачили. В бри-

гаде были одни немецкие женщины и девчонки, если не считать бригадира Сергея Сычёва – молчаливого, доброго человека, тоже сосланного за какие-то 'грехи'.

Голодали жутко. Полагалось нам по 200 граммов хлеба в день. Мы этот паёк чаще овсяной мукой брали – из неё хоть 'затируху' с крапивой и лебедой сварить можно было. А рыбу нам до 1946 г. вообще не выдавали. Да мы и ловили мало, план выполнить не могли, сами каждую рыбку считали.

Помню, в июле 1943 г. был такой случай. Мы выскочили из лодки, начали крылья невода подбирать. А там, в сети, маленькие рыбки – ельцы и чебачки – застряли. Нам приказано было их обратно в воду бросать. Соня Гроссман из нашей бригады схватила рыбку и за пазуху спрятала, чтобы потом съесть. В этот момент, как на грех, наш начальник Пшеничный с председателем сельсовета верхом на

конях подъехали и этот факт усекли. Соня не хотела признаваться, что рыбёшку взяла, так Пшеничный сам к ней за пазуху полез, рыбку достал и давай её Соне в лицо тыкать да материться и по-всякому её при всех обзывать.

Недалеко от нашего шалаша глубокая вымоина была, от весеннего паводка осталась. Пшеничный потащил туда Соню и, как она ни плакала, толкнул её в эту яму. Она, бедная, барахталась в воде, пока место помельче не нашла. Но выбраться сама не могла. Только после того, как невод вытащили и начальники уехали, мы нашли длинную жердь и гуртом Соню вытянули. Она так замёрзла, что зуб на зуб не попадал, ведь мокрая несколько часов по пояс в холодной воде простояла. И всё из-за маленькой рыбёшки, которой даже кошке наестся не хватило бы! Да и не в рыбке дело было. Пшеничный наших немцев люто ненавидел, за людей их не считал. Его бы на фронт послать, чтобы он на фашистах зло стонял, а не над нами измывался...

Ситуации, сходные с описанной, встречаются и в других письмах, присланных бывшими ссыльными рыболовами. Как правило, подробней рассказывают об этом женщины, более впечатлительные по натуре и склонные к запоминанию деталей. В качестве примера можно привести выдержку из письма Эрны Вагнер, присланного из Павлодарской области Казахстана.

«Конечно, я не могу описать всего, что с нами было, – сетует она, – но два случая навсегда останутся в моей памяти. Нас с тётей Лидой, маленькой, сухонькой женщиной лет пятидесяти, поставили рыбачить бродником. Полураздетые, босиком, по пояс, а где и по шею в воде, мы должны были тащить 50-метровую сеть, переключивать с озера на озеро и жить в шалашах. А выловленную рыбу мы по Енисею возили на засольный пункт в станок Медвежий.

Как-то в конце сентября 1943 г. пришлось мне 5 километров до Медвежьего веслом отмахать. Повезло: тихо в тот раз было, удачно добралась. Приехала, облосок к коряге привязала, чтобы течением не унесло, рыбу на засолпункт доставила, сдала. Решила старшую сестру Наталию повидать, она в Медвежьем жила. Иду по улице, гляжу: навстречу люди, впряжённые в передок от телеги, брёвна тащат. Среди них – моя сестра, два седых старика и несколько старушек с цепями через грудь, нагнувшись, изо всех сил груз волокут. Мне так жалко стало сестру и бедных стариков! Как скотину их запрягли и заставили тяжеленные брёвна тягать. Точь-в-точь бурлаки на Волге... До сих пор эту живую картину вижу, забыть не могу!»

«А в другой раз, – пишет далее Эрна, – в том же Медвежьем это было,

мне просто жутко стало. Как всегда, я на засолку рыбу привезла. Рано управилась, решила по просёлку пройтись, знакомых повидать, если встретятся. Уже октябрь был, кое-где снежком землю припорошило, начались морозы. Солнце к горизонту прижалось, последними лучами всё вокруг освещает. Скоро, значит, нагрянет зима – главный недруг нищего и голодного ссыльного люда... Ни души кругом.

И вдруг такое зрелище передо мной открывается: несколько холмиков, из-за них дымы идут, по земле стелются. Подошла ближе, смотрю: ямы выкопаны метра 2 глубиной, среди них костёр горит, на нём в кастрюльке что-то варится. Вокруг него расположились дети, один другого меньше. Грязные, нечёсанные, худющие – ну прямо скелеты, все рёбрышки торчат. Почти голые, только лохмотья со впалых животов свисают, как у африканских дикарей. А над головами – чистое холодное небо.

– Почему вы одни? Где ваши родители? – спрашиваю.

– Матери на рыбалке, а кто-то на лесоповале. Скоро снег ляжет, тогда вернутся. А отцов уже давно забрали, – отвечают наперебой.

– Что вы едите?

– С леса кормимся. Там много чего было: ягоды, грибы, коренья всякие. И картошка выросла, вот варим. Только соли нет...

– А живёте вы где? – продолжаю расспрашивать.

– Да тут вот и живём. Матери вернутся – будем ямы накрывать, землянки достраивать. Они и хлебные 'рулоны' привезут, – говорят.

Я стояла, как вкопанная, смотрела на детей, которые грелись у костра, поочерёдно подставляя к огню то живот, то спину, и думала: у этих, как и у многих других ссыльных детей, не осталось ничего – ни дома, ни вещей, ни еды, ни школы, ни книг. Их не только лишили радости детства, но и сделали сиротами при живых родителях.

«За что? – в тысячный раз задавала я себе вопрос,» – пишет Эрн Вагнер. И в заключение своего рассказа замечает: «Вот я Вам пишу, а слёзы сами льются... Ответит ли кто-нибудь за искалеченное детство наших детей, за поруганную юность, которая пришлась на те гибельные годы?»

Эрна имеет право на этот вопрос: в 1942 г., по прибытии на Север, ей было 14 лет, а выбралась она из енисейского каторжного ада, перешагнув за 30. Но от кого ей ждать ответа?

Андрей Бах, посланный в низовья Енисея и в 1946 г. назначенный председателем принудительно созданного из спецпереселенцев колхоза, рассказал: «Издательства над немцами, латышами и ссыльными других национальностей никем не пресекались, а, напротив, поощря-

лись. Приезжают, бывало, в колхоз руководители из района или даже края и заставляют меня собственными руками народ губить. Говорят: ты гони всех в шторм и стужу в воду. Чем больше их помрёт, тем, мол, лучше. Какой цинизм! Сидят за моим столом, едят пойманную новоиспечёнными колхозниками рыбу, пьют водку, да ещё и наставляют. То ли у них такта и ума не хватало, то ли им открыто указания давали, как с нашим 'контингентом' поступать. Но я ведь такой же немец, как и прочие их жертвы... Легко представить, какие они вели речи со своими друзьями из других колхозов, где люди умирали как мухи. И концы в воду! Поистине, как в Библии сказано: 'То, чего нет, нельзя сосчитать'...»

С лихвой хлебнул горя и Иоганнес Бартули, житель города Красноармейска Саратовской области – бывшего кантонного центра АССР НП Бальцера, где в 1925 году он и родился. Когда, наконец, обозначился просвет в положении российских немцев, он покинул каторжные енисейские края и вернулся в свой город. Дом пришлось купить, причём за немалые деньги, хотя принадлежавший их семье дом, отнятый в 1941 г., всё ещё стоял на соседней улице. Он принадлежал участнику войны, победителю, который Иоганнеса даже на порог не пустил, не позволил на родные стены взглянуть, детство вспомнить.

Выселили их семью в глубинный Партизанский район Красноярского края, а в сентябре 1942 г. вместе с другими подневольными перебросили на Крайний Север. На этот раз никого в измене Родине, шпионаже и диверсиях не обвиняли – достаточным криминалом являлось само клеймо «немец-спецпереселенец», которое подразумевало все эти грехи, вместе взятые. Участь данной партии ссыльных была ещё горше прежних – ведь переправляли их в низовья Енисея в такую пору, когда даже в южной части огромного края уже наступают холода.

Первую группу разгрузили в Игарке, остальных повезли дальше на север. Самую большую партию – 750 человек – предстояло высадить в станке Носовой, в 45 километрах ниже по течению от Игарки. Но разыгралась буря с дождём и снегом, какие нередко бывают осенью в этих широтах. Подойти к береговой песчаной отмели в такую погоду не удалось, несмотря на настойчивые попытки судовой команды. Пришлось плыть дальше. Через 60 километров, в Плахино, высадили ещё 150 человек.

Решение о том, куда девать остальных ссыльных, напили сопровождавшие их энкаведешники. Чтобы сбыть поскорее с рук, они оставили «контингент» в первом же пункте, где удалось причалить к подветренному берегу. Таким местом оказалось Агапитово, сыгравшее роковую роль в судьбе 750 человек, составлявших последнюю партию пассажиров.

Кроме названия речного пункта, в Агапитово ничего не было, если не считать одинокого домика бакенщика Большакова. Голый, безлесный берег порос чахлым кустарником и осокой, обильно запорошенной свежевыпавшим снегом. Женщин с детьми разместили в трёх огромных палатках, которые «на всякий случай» захватили из Игарки. Нашлось среди корабельного хлама и несколько железных печек. Семьи, в которых были мужчины, – среди последних оказалось 9 взрослых и 17 подростков – выдолбили в косогоре углубления под землянки. Остальные начали сооружать из выброшенного на берег топляка, камыша и осоки длинные, на несколько семей шалаши. Работали как муравьи, из последних сил, знали: суровая зима покарает смертью за каждый миг промедления.

Первые 2 месяца люди кое-как продержались, а с декабря начались повальные болезни: цинга, простуда, голодная дистрофия. Умирали один за другим. Работа тех, кто ещё мог передвигаться, состояла в том, чтобы по наезженной санками тропинке тащить трупы от своего жилья на «зимнее кладбище». К весне 1943 г. в Агапитово осталась всего треть бывшего состава ссыльных.

Несколько часов кряду говорил о превратностях своей второй ссылки и жизни за Полярным кругом Иоганнес Бартули. Он оказался на редкость хорошим рассказчиком, помнил многие подробности, воспроизводил конкретные эпизоды из ссыльной жизни. А ведь не вчера и не позавчера это было – полвека тому назад.

Попал И. Бартули в станок Плахино. О несчастной судьбе агапитовских ссыльных знали по всей округе, вот только помочь, даже родственникам, ничем не могли – сами с большим трудом и людскими потерями пережили ту особенно морозную, тяжёлую зиму 1942/43 годов. Да и только ли агапитовские страдали и умирали в нечеловеческих условиях? Смерть собирала в те годы обильную жатву по берегам всего Среднего и Нижнего Енисея.

В Плахино всё-таки было полегче, сообщил И. Бартули. Там имела старая, заброшенная фактория по приёму пушнины, большой сарай при ней и двухквартирный дом, в котором жил единственный на весь посёлок обитатель – одинокий старик Боровицкий, из бывших «кулаков». Разместились с большим трудом, но и это сочли огромным счастьем: появилась хотя бы крыша над головой.

Однако, говорил Иоганнес, радость продолжалась недолго. Назавтра по прибытии их распределили на работу. Его послали рыбачить стрелевым неводом в 600 метров длиной. Работало в каждой смене по 12 человек. Босиком, в воде по пояс, повыше фуфайка подвязана, чтобы не за-

мочилась. С утра до вечера – то и другое по-северному условно, потому что дня почти не было. А по Енисею уже шуга идёт, пяточки ледяные в ковриги смерзаются. Скоро, значит, река встанет... Но хуже всего в такую погоду невод из воды вынимать, голыми руками на ледяном ветру в баркас укладывать. В воде всё же теплее. Менялись: кому повезёт, тот в воду лезет. Так до 4 октября и неводили, чуть концы не отдали...

«Наши немцы были 'пробными' рыбаками, посланными на погибель. Но мы выжили», – констатировал И. Бартули.

Рассказывает и пишет Иоганнес со своеобразным немецко-русским акцентом, который ещё встречается у некоторых немцев старшего поколения, не получивших из-за войны и спецкомендатуры должного образования. Дабы передать эту особенность, я с позволения рассказчика попытаюсь местами сохранить стиль его речи и произношение, которые, на мой взгляд, придают повествованию особую достоверность и самобытность:

«Потом нас, молотёжь, сопрали, 8 человек: я, Грасмик Мария, Гиль Екатерина, Кем Костя, Гейнц Рихард, ещё пыла Роза (фамилия не помню) – это немцы. Латыши: Зариньш Инта с матерью, а третий латышка сапыл. На лодке мы поплыли в Носовой – 50 километр по Енисею, льдинам навстречу. Оттуда нас 18 километр вели на Остяцкое осеро, где стояла пригада Токарева Гордеима. Все вместе мы толжны пылы пустить 300-метровый потлётный невод – сначала на осере Малом Моргуновом, а потом на Тунгусском.»

«Но невод сначала нато стелать, а это не проста, – рассказывал И. Бартули. – Смекалка нушна, никто из нас рыпак никогда не пыл. А кормили: 700 грамм хлеб, рас в день уха – и то слава Бога!..»

Однако с подлёдным ловом на Тунгусском озере у них ничего не вышло. Невод под лёд запустили, но пришлось обратно вытаскивать. А это во много раз труднее, да вдобавок ещё и обида берёт: столько сил зазря потрачено! Протянули они невод немного, а дальше он ни туда, ни сюда. Зацепился за что-то – ни руками, ни воротом не сдвинуть с места. Не идёт, хоть плачь! Пришлось им ещё с сотню лунок долбить, чтобы причину найти. Как оказалось, невод зацепился за подводный остров, по-местному он опочкой называется.

«Сотни купов льта мы тохта протолбили, – продолжал И. Бартули. – Вся тоня парит, мы ходим по летяной капше, все опмёрсшие, мокрые. Трое суток не спавшие, голотные как волки... Но всё-таки невод спасли! Конечно, рыбы в нём никакой не пыла, вся ушла, даже на уха не осталось. Пока рапотали – ничего не самечали, хотя морос пыл не меньше 40 градус. Кохта просушились, отдохнули малость, с горы на осеро по-

смотрели – диву дались: вся тоня исдолблена», – не без гордости в голо-се завершил Иоганнес. И добавил: «На этом неводный лов на Тунгус-озере кончился...»

Главным ощущением, оставшимся у И. Бартули от той каторжной поры, является непроходящее чувство постоянно бьющего озноба и противное предчувствие неизбежного погружения в воду, температура которой в низовьях Енисея и летом редко поднимается выше десяти градусов. Даже полуголодное существование, нестерпимый гнус и невероятные морозы отступают перед этим до сих пор не забытым им кошмаром.

Вынести эти нечеловеческие испытания могли только молодые женщины и уже подростки парни, которые, собственно, и остались в живых после первого, самого страшного года пребывания в суровом крае. Не только вынести, но и быть продолжателями жизни, носителями немецкой настойчивости и недюжинной силы воли. В редкие и недолгие часы отдыха, успешного улова, позволявшего насытиться вкусной пелядью или кумжей, находилось время для удачной шутки, острого словца и весёлого смеха. Ничто не было чуждо молодым людям, тянувшимся друг к другу в этой неустроенной жизни, на сотни километров оторванным от человеческого жилья. Женился в 20 лет и Иоганнес, разделив судьбу с латышкой Альмой Берзиня, тоже ссыльной рыбацкой.

Вот только об официальной регистрации брака в то время – а шёл 1945-й год – не могло быть и речи, т.к. у спецпереселенцев не было ни «серпастых, молоткастых» советских паспортов, ни иных документов. Поэтому интимная сторона жизни с её неписаными законами – неизбежными смертями, брачными отношениями, рождением детей – тоже была вынесена за скобки их бесправного существования. В итоге и в правовом отношении, и в бытовой сфере всё было облечено в туман неопределённости, какой-то мимолётности и бесконечного ожидания перемен.

К этой ненормальной жизненной ситуации примешивался, вдобавок ко всему, и беспредел местных руководителей по отношению к беззащитным женщинам, которых было большинство среди ссыльных. Здесь исходили из давно утвердившегося среди браконьеров в сибирских краях принципа вседозволенности: «Закон – тайга, прокурор – медведь» (хотя ни тайги, ни медведей во многих из тех окаянных мест и в помине не было). Этот бандитский постулат, соединённый с безнаказанностью, определял все стороны ссыльного бытия, даже самую деликатную.

Не обошёл щекотливую тему в своём рассказе и Иоганнес Бартули, коснувшись одновременно и отрадных исключений из общего правила.

В 1945 г. был у них на два колхоза комендант Василий Хомченко,

человек справедливый, хотя и работник «органов». Тысяч на десять среди них один такой попадался. Дошло до него, что председатель колхоза Поликарп Петров и его подручные принуждают к сожительству ссыльных девушек и женщин. Делалось это очень просто. Был у колхоза на расстоянии в 200 километров участок Хета. Так вот, вызывает Петров в контору женщину и говорит:

– Нам надо на Хете бригаду поменять. Решили тебя направить...

Она молчит, догадывается, куда председатель гнёт. Но знает и то, что за 8-9 дней, пока до Хеты доедешь, проще простого на такое «приключение» нарваться. В условиях тундры, под открытым небом, при 40-50-градусном морозе можно после этого навсегда калекой стать. Ведь они, боровы ненасытные, из боязни набраться вшей бедных женщин донага раздевали и потешались над ними, как хотели.

А Петров козырем ходит:

– Больше некого послать, кроме тебя, – говорит. – Надо ехать!

Женщина знает, что не имеет права отказаться, однако пытается отговориться: мол, болею, то да сё... Но председатель берёт ноту повыше:

– Наши люди на фронте под пулями погибают, а вы ещё отказываться будете!

Та в слёзы, а он уже чуть помягче, вроде участливо:

– Конечно, могу помочь, но и от тебя кое-что потребуется – иногда со мной переспать. Всё одно по дороге в Хету другие с тобой это сделают. И пожаловаться некому, да и сама рыпаться не станешь – совсем угрожат. Короче: согласна – не поедешь, а нет – сама знаешь, что будет...

Нечего делать, соглашается женщина. И одна, и другая, и пятая. Маруся Губер как картинка была: молодая, красивая, стройная. До того затаскали её по начальству, что помешанной сделалась, такой на всю жизнь и осталась. Мария Гросс из Агапитова на председателя пожаловаться решила, в Игарку пошла и по пути замёрзла. Она знала, что 50 километров ей, голодной, не одолеть, но жить, терпя насилие, больше не могла. А у скольких латышек председатель с дружками таким способом добились своего! Ведь почти одна молодёжь – от 16 до 25 лет – там была.

Стали жаловаться коменданту. Он в Игарку докладывал, но там отмахивались: «Нет фактов». А Петров был уверен: в открытую ни одна женщина о таком про себя не скажет. Ну, комендант и решил во всём разобраться, неофициально с людьми переговорить. Приехал на участок, где И. Бартули работал, они на Малом

Моргуновом озере стояли. Мол, проверить хочет, как спецпоселенцы себя ведут и работают.

5 октября озеро по краям затянуло льдом, через день Иоганнес с бра-

том и комендантом погрузили необходимое имущество на нарты и отправились в путь, чтобы до вечера добраться к новому месту рыбалки. Вода на середине озера ещё бурлит вовсю, а они движутся по прибрежной кромке льда. Не доходя метров 300-400 до поворота от озера в лес, видят: впереди много снега надуло. Это очень опасно – лёд молодой и под снегом тонкий. Иоганнес говорит брату:

– Володя, поди-ка проверь, как там ледок под ногами, не провалимся? Тот прошёл, крикнул с берега:

– Нормально, можно идти!

– Всё равно нам рядом идти нельзя, не то все рухнет под лёд, – говорит Иоганнес коменданту.

– Да, – соглашается тот, – это правильно.

Тронулись. Володя сзади, а они вдвоём впереди, нарты тянут. Петли на себя не надели, через плечо перекинули, чтобы, если провалятся, нарты их за собой не потянули. Пока рядились, сани мороз прихватил. Тут они, как по команде, ремни натянули, на полшага сблизились. Но и этого хватило, чтобы лёд под ними прогнулся. Не успели глазом моргнуть – оба в воду угодили.

Иоганнес обернулся, видит: нарты ещё стоят на льду, но уже начинают оседать. Только он успел крикнуть: «Володя, подай назад!», как их «вездеход» со всеми вещами и продуктами ушёл под лёд. Но Володя остался сухим. Иоганнес и комендант уцепились за край льда, держат за ремни нарты – их никак отпустить нельзя. Иоганнес кричит брату:

– Тащи жерди с берега!

Володя побежал оленьей рысью, в момент принёс две штуки. Схватились за жерди, сами выбрались и нарты на лёд вытащили. Вышли на берег. А ветер северный, мороз градусов под 30. Идти назад 8 километров – погибнешь. Вперёд – и того больше. Иоганнес говорит коменданту:

– Надо к лесу идти, там избушка есть.

На них всё колом стоит, скрипит, при ходьбе мешают. Одежда тяжеленная, нарты тоже, а тянуть надо. Снег по пояс, тащат из последних сил. Смотрит Иоганнес на коменданта и думает: тот вот-вот сядет, и тогда – всё... Надо идти! 3 километра до поздней ночи тащились. Пришли, а в избушке дров и в помине нет. Володя устал окончательно, ему всего 15 лет было. Комендант с Иоганнесом мокрые – отправляться за дровами некому. Хорошо ещё, что спички у Володи остались сухими. Всё, что в избёнке было, сожгли. Одни стены остались, да и те пришлось обтесать. Но за остаток ночи высушились.

О том, как продолжали развиваться события, я расскажу, вернув-

шись к своеобразному говору Иоганнеса.

– Тальше всё пыло, как всегда на рыпалка. Три сети – на каждого по отной – ставили, искали свой хлеб подо льтом. А пот вечер 5 ноября коментант говорит:

– Савтра мы етем с топой в Игарка.

– Я не могу, правление мне не расрешит, – отвечаю.

– Эта мы ещё посмотрим, кто кому расрешать толжен, – усмехается тот.

Шестого часов в 5 утра стали на лыши, прошли до Енисей 25 километр та по реке ещё 45. В 9 вечера топались то место, где жила тёща коментант. В томе у неё уже всё пыло готово к празтник 7 нояпря. Та ещё ратость большой – вернулся из госпиталя Николай, сын хосяйки. Бес левой ноги, но веть живой!

Сашли, поснакомились.

– Зоя, там у меня в шкафу костюм, пусть Ванюша натенет, – говорит коментант своей шене (она, конечно, тоже на прасник приехала).

Принесла шена коментанта костюм. Хороший! Нател – и сепя не уснал, никогта костюм не пыло. Через час стали за стол сатиться, а я не могу, снаю, что спецпереселенец. Не секрет, как они на нас, немцев, смотрели. А коментант саметил мой стеснение и то, как его свояк на меня косится, говорит:

– Ты что: Ванюша – мой спаситель! А ну са стол, Ваня, и никаких расговоров!

Сел, жую, а челюсти ватные, нету сил кусочек мяса расжевать. Коментант мне на ухо шепчет:

– Глотай целиком, больше влесет!

Я не пил. Они вотки стакана по три выпили, и фронтовик Николай начал соб натувать:

– Мы воевали, кровь проливали, а немцы тут в тылу отсиживаются, да ещё за отним столом ситят...

Тут коментант, тоже выпивший, встаёт:

– Пошли, Ваня!

Сло тёргает с вешалки свой пальто, мне говорит:

– Отевайся!

Тёща из-за стола вышла, жена к нему в слезах потскачила, в отин голос просят:

– Вася, Васенька, останься! Ты что?! Расве так можно?

А коментант ни в какую:

– Мамаша, с этим уплютком мы с Ванюшей рядом с... не сятем. А Ваня – человек, он мне жизнь спас.

Тут Николай, хоть и пьяный, тоже прикостылял к двери, в ноги к нам патает, прощения просит. Смешно... А комендант, видно, совсем опьянел:

– Вот видите, фронтовик перет немцем на коленях стоит!.. Латно, рас такое тело, растенемся, – говорит.

Сели они са стол и пили почти всю ночь, как ни в чём не бывала...

А через день, 9 ноября, продолжает свой рассказ Иоганнес, пошли они с комендантом в райком партии, в центр, где двухэтажные дома стояли. Поднялись на второй этаж, зашли в очень большую, как после землянок показалось, комнату. Там сидят двое, встречают их, усаживают. Комендант, кивнув в сторону Иоганнеса, говорит:

– Он ещё врать не научился, скажет всю правду.

А сам отошёл к окну. Иоганнесу то один, то другой из хозяев комнаты стали вопросы задавать, кто и как женщин к сожительству принуждает. Он им всё, как было, в аккурат и рассказал. Наверное, с час проговорили. Они Иоганнесу:

– Большое спасибо! Продолжайте так же, как и раньше, настойчиво выполнять доведённые планы рыбной ловли.

Будто, кроме рыбы, ни о чём и речи не было. Но угостили папиросой «Звёздочка». А остаток пачки с собой дали. Иоганн себя человеком почувствовал.

– Ну, что я вам говорил? – спрашивает у них комендант. А они ему:

– Смотри, не оставь парня в беде, поддержи, если надо будет...

Назавтра Иоганнес отправился в обратный путь на озеро. В бригаде уже гадали, посадили его или нет: иначе, чем для отсидки в «холодной», никто с комендантом в райцентр не ходил. Но после того, как он угостил парней папиросами, рыбаки поняли, что на сей раз всё окончилось благополучно.

В конце декабря бригада собрала инвентарь и все пешим строем, с нартами на ремнях двинулись к Енисею, «домой». Мороз стоял больше 50°. Прошли 25 километров, а наутро, в Носовом, лошадь выпросили. Иоганнес на сани устроил жену Альму с 8-месячным ребёнком. Но тот не выдержал стокилометрового пути, замёрз по дороге.

После этого приходит Иоганнес к председателю колхоза:

– Поликарп Политович, дай пару человек в помощь – выкопать могилку.

А тот отвечает, нагло прищуриваясь:

– Сам выкопаешь, не барин!

Мир, конечно, не без добрых людей: товарищи и без команды председателя помогли, хотя тоже только накануне вернулись. На следующую

щий день пришлось Иоганнесу опять идти к председателю: вся бригада получила полные месячные «рулоны» на хлеб, а его семье их дали только два на пять человек.

– Поликарп Политович, не понимаю, может ошибка какая вышла...

Стал Иоганнес объяснять суть дела. Тот грубо перебил его:

– Надо меньше болтать, тогда больше получишь!

Как потом рассказал комендант, пока Иоганнес с бригадой на озере был, Петрова в райком вызывали, что называется – накрутили хвоста, строгача с занесением дали. Тот тут же стал отыгрываться на нём и его семье. Был у председателя помощник, немец из Ленинграда, Федей называли. Ему Петров задание выдал: Иоганнеса потихоньку известить. То работу неделями не даёт, а значит и хлебных рулонов лишает, то унижает – заставляет клозеты в посёлке чистить, то одного с семьёй силосную яму открывать посылает.

Приходит к ним как-то вечером старик Андрей Гиль.

– Как дела? – спрашивает.

– Да завтра вот яму силосную пойдём открывать, – начинает рассказывать Иоганнес.

Собеседник аж глаза вытаращил:

– Мы, 6 человек, у Старого Плахина 4 дня мучились, пока яму открыли. Сами чуть не замёрзли и силос не заморозили. Всё, там они тебя и захомутают, – говорит.

Но не тут-то было. Иоганнес, как всегда, смекалку проявил, без особых проблем и с этим заданием справился.

А через несколько месяцев Петрова вообще с работы сняли и заменили спецпоселенцем Андреем Фоосом, тоже сосланным в те края. Это было началом вынужденных перемен, вызванных острым кадровым кризисом. Шёл 1946-й год. Закончилась война. Вольнонаёмным работникам Крайнего Севера больше не нужна была бронь от мобилизации на фронт, и они устремились на «материк» любыми путями. Разъезжались из ссыльных мест и бывшие «кулаки» – они в связи с войной были сняты со спецучёта и им разрешили вернуться в родные края. Оставались на месте, а Указом 1948 года даже закреплялись навечно ссыльные немцы и другие опальные национальности.

Пришлось некоторые – правда, невысокие – посты в районах ссылки доверить спецпереселенцам, усилив за ними надзор со стороны МВД, а также Министерства государственной безопасности – МГБ. В одну упряжку поставили теперь спецпоселенца – председателя колхоза – и спецкоменданта, у которого тот должен был, как и все, ежемесячно отмечаться. Сложилась, по меньшей мере, странная ситуация: чтобы съез-

доть, например, на дальнее озеро, председателю надо было каждый раз идти за разрешением к коменданту.

Иоганнес Бартули в 1949 г. тоже стал председателем колхоза. В том самом злополучном Агапитово. Вместе с Андреем Фоосом до 1956 года они были подчинены одному коменданту – знакомому читателю Василию Хомченко. После выхода в декабре 1955 г. Указа о снятии ограничений в правовом положении с немцев-спецпоселенцев и членов их семей он вместе с другими ссыльными, освободившимися, наконец, от ненавистного ярма, подался к югу. Дальше Сибири и Казахстана для немцев дороги тогда не было. Южные районы Красноярского края – это тоже Сибирь, но всё-таки не Крайний Север с его круглогодичными, сменяющими друг друга природными «прелестями» и каторжной рыбной ловлей.

На более далёкое переселение в то время у многих не хватало средств, сил и решимости – 15-летний сталинский террор железным обручем сковал их сознание и волю. Только 16 лет спустя, когда окольными путями до Иоганнеса дошёл слух о тщательно скрывавшемся властями (с грифом «не подлежит опубликованию») Указе Президиума Верховного Совета СССР от 3 ноября 1972 года, который формально позволял российским немцам и представителям ряда других репрессированных народов «свободно» избирать место жительства, ему после упорной борьбы с местными «органами» удалось поселиться в родном городе на Волге.

Но уже с другой семьёй. Альма Берзиня с их дочерью и сыном, как только представилась возможность, уехала из Заполярья к себе в Латвию, и их пути разошлись. Слишком непрочным оказалось рыбацкое счастье людей, которых свела и развела построенная на случайностях принудительная ссыльная судьба.

Разбредись-разъехалились в разные стороны от приснопамятного Енисея и другие мои корреспонденты. Двое из них – Виктор Зандер и Левин Лох – осели в Красноярске. Владимир Крейз, как и многие наши соплеменники, сменил в поисках «малой родины» несколько мест на территории необъятного СССР. Остановился, в конце концов, в Гомеле (Белоруссия), хотя и там не обрёл душевного покоя.

В. Зандеру, благодаря его настойчивости в противоборстве с «опекунами» из НКВД-МВД-КГБ, удалось закончить в Туре среднюю школу, а потом, заочно, Красноярский строительный институт. Остальных корреспондентов постигла участь подавляющего большинства российских немцев – дорогу к желанному образованию им накрепко перекрыли те же «компетентные» органы, которые вынудили их с детских лет в

поте лица добывать свой хлеб насущный. «Я бы многое мог рассказать, но не хватает грамоты. Не дала учиться советская власть!» – откровенно признаётся В. Крейз.

Я бесконечно благодарен моим добровольным помощникам, фактическим соавторам этой главы, за их бескорыстный труд, за желание и умение рассказать не только о себе и своих товарищах, но и об общей судьбе, которая постигла десятки тысяч ни в чём не повинных людей. Они помогли приоткрыть ещё одну, не менее трагичную, чем «трудармия», страницу истории нашего народа – повторное выселение и каторжную жизнь части поволжских немцев, обречённых большевистским режимом на верную гибель в высоких широтах Севера.

Не случайно, что все авторы писем оказались обитателями малонаселённых, а то и вовсе безлюдных селений (станков), растянувшихся на тысячи километров вдоль побережья Енисея. Дополнительное подтверждение получил вывод о том, что органы Советской власти и НКВД не исходили при расселении депортированных немцев из создания хотя бы минимально необходимых условий для жизни, а руководствовались формальными или чисто потребительскими соображениями, в данном случае – по части добычи рыбы. Жизнь и здоровье людей преднамеренно не принимались во внимание. Всюду царили запрограммированное беззаконие, бесправие, беспредел. Именно чудовищно изощрённым умом партии («партия – ум, честь и совесть нашей эпохи»!?) берега Енисея превратились в годы Советской власти в гигантскую зону рабского труда, а великое творение природы – в реку каторжную.



ЕСЛИ БЫ НЕ ПЕРЕЛОМ...

Вернёмся к лагерям для немецких мужчин-«трудармейцев» в критический период 1942-43 годов. Всё здесь шло по заведённому сверху «порядку». Голодная смерть была главной приметой жизни. Похожая на свои жертвы, она, костлявая, безжалостно выкашивала дистрофиков, цинготников, пеллагриков – словом, всех тех, кто оказался очередным на конвейере планового человекоубийства.

Важное место в этой программе занимали мытарства душевные. И не только в виде неотвязных изматывающих мыслей о еде. Вдобавок к мукам голода нарастали строгости режима, усиливалось рвение лагерного начальства и вохровцев. Развод, конвой, традиционное «шаг влево, шаг вправо...» с обязательным

щёлканием затвора, чтобы убедить ещё не до конца сломленных в том, что предупреждение может иметь гибельные последствия. Вечерняя поверка. Оглушительный лай собак, перезвон часовых, ночные «шмоны». И пустующие нары в бараках при возрастающем количестве смертников в ОПП. Работы у похоронных бригад всё прибавлялось. Наступил пик смертности и моральных мучений.

И вместе с тем на промплощадке бакальской стройки всё чётче вырисовывались очертания будущего металлургического гиганта. На обширной территории, где ещё год назад шумел березняк, выросли горы выбранной из глубины земли, лес бетонных опор и кранов-деревьев.

В апреле 1943 г. выдал первую плавку самый мощный в то время в Европе электросталеплавильный цех, возвестивший о рождении нового завода. Сталь особого состава пошла на изготовление броневых листов и моторов для мощных танков и самоходных орудий, которые выпускались по соседству, в челябинском Танкограде.

Одновременно из деревянных конструкций сооружался прокатный цех длиной 500 метров. Вступали в строй многочисленные подсобные цеха и заводы. Велись земляные работы и бетонирование фундаментов под две доменные печи, коксовые батареи и мартеновский цех. На площади 25 тыс. квадратных метров вырастал настоящий город металлургов.

Это был один из парадоксов того пронизанного противоречиями тяжёлого времени: смерть на одном полюсе рождала жизнь на другом. Голодные, еле переставляющие отёчные, покрытые трофическими язвами ноги, строители-призраки с трудом взбирались на головокружительную высоту и, несмотря на невероятные морозы той зимы, работали хотя и медленно, но упорно, сантиметр за сантиметром продвигая стройку вперёд.

Труд бакалстроевцев был для страны необходим. Он помогал сжимать ту гигантскую пружину, которая, распрямившись, позволила переломить хребет врагу в 43-м. Тогдашние трудовые свершения можно было бы считать беспримерным патриотическим подвигом, – а по сути так оно и есть – не будь они подневольными, испоганенными унижительным заточением и голодом. Работой без радости, интереса, морального стимула. На остатках сил, здоровья, с единственной целью: не дай Бог опуститься до второго котла!

В раздумьях о собственной судьбе и участии собратьев по несчастью я нередко приходил к выводу, что мы, в сущности, никому не нужны. Ни стройке, ни стране.

Требовалась только наша мускульная сила. Вся, без остатка. Чтобы

поскорее выбросить человека на свалку как «отработанный материал», неизбежные «отходы производства». За всем этим явственно проглядывали две не очень-то и скрывавшиеся цели – построить по возможности больше и оставить людей как можно меньше.

Уверен, никто прямых циркуляров на этот счёт не издавал. Никого из нас в газовые камеры и крематории не загоняли. Сделать это не позволяла официальная доктрина о советской законности, социалистическом демократизме, социальной справедливости, о свободе и равноправии народов СССР. Намеченной цели можно было достичь незаметно и вполне благообразно – одним росчерком пера снизив нормы питания до пределов, превращавших жизнь в муку постепенной, но верной смерти, что и произошло в течение 1942 года. Неоценимое с ханжеской точки зрения достоинство такого метода умерщвления неугодных состояло в том, что его всегда можно было оправдать чрезвычайными обстоятельствами: военные тяготы, катастрофический дефицит продовольствия, кем-то приходится жертвовать, чтобы выжили другие. Раз так, то пусть уж жертвами будут «враги народа». А если по отношению к «своим» немцам это и «не совсем» законно, то всё-таки «объективно» и «справедливо». Во всём-де виновата война, которую, как известно, не мы начинали...

О том, что в «трудармейских» лагерях питание было ещё хуже, чем в ИТЛ для заключённых, я получил дополнительное свидетельство из беседы с Эльзой Комник, жительницей города Валги в Эстонии. Давний знакомый её семьи Пётр Шпехт после окончания строительства железной дороги Свияжск-Ульяновск в числе нескольких тысяч «трудообмобилизованных» был этапирован на лесоповал в Свердловскую область. Попад как-то на прополку турнепса, он и его товарищ захватили с поля по килограмму корешков, за что были приговорены судом к году принудительных работ в исправительно-трудовой колонии. Там они тоже работали на лесоповале, но кормили их настолько лучше, что после истечения срока наказания им не хотелось возвращаться назад. Они тицетно просили руководство колонии оставить их у себя ещё хотя бы на год и очень сожалели, что не взяли тогда 2-3 кило, коль скоро за каждый килограмм давали по году заключения.

Мысли и желания сотен тысяч «трудармейцев» вращались в то время вокруг одного жизненно важного вопроса – еды. Ни в одном месте, наверное, так легко не верят слухам, как в лагерях для невольников. И нигде в большей степени, чем за колючей проволокой, желаемое не выдаётся за действительное. То затухая, то накатываясь с новой силой, слухи волной проносились по баракам, занимали людей на перекурах.

Приближалась весна, и наши пересуды касались в основном двух сокровенных стремлений – быть отправленными на фронт или попасть на работу в сельское хозяйство. В воспалённых умах голодных, униженных людей оба эти желания связывались с избавлением от лагерного режима, конвойных собак, оскорбительных прозвищ и с возможностью досыта поесть. Перед пулей врага страха никто не испытывал: со смертью каждый и без того ходил в обнимку.

Но все мечты и надежды разбивались о жестокую реальность, которая начисто уничтожала в человеке остаток веры в справедливость и благополучное избавление от этого лагерного ада. Год неимоверных физических и психических страданий, голодной скитальческой жизни превратил ещё оставшихся в людей в сплошное серое месиво, в котором трудно было узнать даже хорошего знакомого.

– Ну, человек! Неужели это ты? Куда же делись твои щёки и толстый зад? – спрашивал один.

– Они там же, мой друг, где и твой толстый живот, – отвечал другой. – Сохранить бы кости – мясо нарастёт!

Такой разговор можно было услышать иногда между ещё сохранившими юмор оптимистами, которых, однако, становилось всё меньше и меньше. Счёт в лагере шёл не на годы, а на месяцы, недели и даже дни...

Я и сегодня, будто воочию, вижу картины тех лагерных зимних дней начала 1943 года. Все мы одеты в одинаково износившиеся, прожжённые у костров, «стёганные» на пакле бушлаты, такие же «тёплые» брюки и подобие шапок. На ногах – тяжёлые, как гири, чуни. Брюки и бушлаты, сшитые на «нормальных» людей, намного больше истощённого донельзя тела. Приученные сызмала к аккуратности, немцы стали похожими на уродливые манекены, а ещё больше – на огородные чучела.

У всех одинаково истощённые лица – как говорят, щека щёку съела. Кожа так обтянула кости, что хоть строение черепа, не сходя с места, изучай. И одна и та же медленная, шаркающая походка: не только не поднимаются ноги, но и спадают, не держатся на ногах чуни, подшитые килограммовыми срезами с автомобильных скатов. Но главное, что нас отличало от нормальных людей, – это голодные глаза. В них невозможно было смотреть без сострадания и страха.

– В штрафном 13-м стройотряде я весил 49 килограммов, – говорил мне Вернер Штирц, почти двухметрового роста мужчина. Думаю, что мой вес в то время был ещё меньше.

Это зарисовка с натуры, сделанная в «работоспособной» части

лагеря. В нём «трудмобилизованные» бедолаги хоть и плохо, но всё же держались на ногах. В двух других его частях – в бараках «оздоровительно-профилактического пункта» и в морге – картина была до ужаса однотипной: скелеты, которые, правда, в ОПП ещё чуть шевелились...

– Мастерская 7-го стройотряда, где я работал художником, – рассказывал Яков Раль, – находилась над подвальным помещением, в котором размещался морг. Каждое утро там грузили по 60–100 трупов на тракторную тележку и отвозили «за Химстрой».

– Это же невероятная цифра! – пытался возразить я. – В таком случае за 3 месяца там не осталось бы ни единого человека.

– Так бы оно и получилось, если б стройотряд не пополнялся за счёт новых «мобилизаций», красноармейцев и командиров, снятых с фронта или содержавшихся в стройбатах, а также перевода из других стройотрядов, которые заполнялись военнопленными. А из первых лагерников в 7-м стройотряде действительно почти никого не осталось, все ушли «за Химстрой», – уточнил Яков.

По словам Александра Кесслера, работавшего старшим нарядчиком этого крупного, на 5 тыс. человек, стройотряда, число «трудмобилизованных» удерживалось в Челябинском металлургском на уровне 60–65 тысяч. Массовая «естественная» убыль, иначе говоря – гибель, восполнялась прибытием всё новых «контингентов», в т.ч. состоявших из немцев. В 1943 г. эти резервы были исчерпаны, и, начиная со второй половины года, численность работающих сократилась почти наполовину. Всего же, по его подсчётам, через ЧМС прошло в 1942–46 гг. примерно 100 тыс. «трудмобилизованных» немцев, включая женщин. Не менее 40% из этого общего числа погибли от голода и болезней, а многие оставшиеся были «списаны за негодностью».

Я испытываю неловкость перед читателем. Моё повествование однообразно! Опять смерть, вновь унижение человеческого достоинства, снова неслыханные мучения, которые и скотине не вынести! Тот, кто не прошёл через всё это, с трудом поймёт меня. И даже, возможно, не поверит. Но именно так выглядели в натуре зимой 1942/43 годов режимные концлагеря, в которых заживо были погребены российские немцы.

Читая замечательную книгу Евгении Гинзбург «Крутой маршрут», я убедился: в одном царстве-государстве находились наши лагеря – во владениях Змея Горыныча, подвергнутого мучениям миллионы людей, сеявшего горе, несчастье, смерть. Но и в этой книге нашёл подтверждение того, что «политическим» и уголовникам

жилилось относительно лучше, чем нам в лагерях для «трудмобилизованных» немцев. Если слово «лучше» вообще применимо к тому поистине адскому существованию.

Позволю себе лишь одну цитату из «Крутого маршрута»:

«...И тут маятник словно качнулся в другую сторону. Раздался зычный окрик сверху: 'А план кто будет выполнять?' А после окрика – акции официального гуманизма, отменённые было в связи с войной. Снова открылся барак ОП (оздоровительный пункт). Доходяги помоложе, которых ещё рассчитывали восстановить как рабочую силу, получали путёвки в этот лагерный дом отдыха. Там царила нирвана. И день и ночь все лежали на нарах, переваривая полуторную пайку хлеба.

Но и тем дистрофикам, которые не попали в ОП, стали щедрее давать дни передышки. В обеденный перерыв снова стали выстраиваться перед амбулаторией очереди доходят с протянутыми ложками в руках. В ложки капали эликсир жизни – вонючий неочищенный жир морзверя, эрзац аптечного рыбьего жира...»

Да, всё похоже, будто близнецы-братья были наши лагеря. Такие же пытки режимом, каторжным трудом, непроходящими муками голода.

Всё так. С той лишь разницей, что – вопреки законам физики – маятник в наших лагерях двигался тогда только в одну сторону – к дальнейшему «завинчиванию гайки». Никто полуторную пайку хлеба, на нарах лёжа, не переваривал, никакой передышки дистрофикам не давалось. Да и вообще до лета 1943 года почти ни у кого из нас не было ложек. Их ещё год назад выбросили за полной ненадобностью.

Выходит, лагеря для «трудмобилизованных» российских немцев более успешно работали на истребление «живой силы политического противника», чем даже зловещие колымские!

Никого не волновало, что 30 тыс. первых узников Бакалстроя приступили к труду при полном отсутствии техники. До начала монтажных работ всё здесь делалось только вручную, как сто и тысячу лет назад: лопатой, ломом, киркой и тачкой. (Но и их далеко не всегда хватало.) Ибо ничто не стоило так дешево, как жизнь «трудмобилизованного» немца, запёртого за мощными лагерными воротами.

Именно в этом, а не только в тяготах военного времени, состояла первопричина всех причин. Поэтому не может не напрашиваться вывод, что не только темпы строительства, но и достигнутая «естественная» убыль немецких лагерников являлись теми критериями, по которым оценивалась деятельность Бакалстроя НКВД.

Наша жизнь была дешевле навоза. Она не стоила ровным счётом ничего, исключая разве что клочок бумаги и копеечную фанерную бирку для регистрации «трудмобилизованного» на вахте. Единственный, кто за что-то отвечал, был дежурный по вахте. Но и его волновало только «наличие». Ему полагалось лично убедиться, что из «зоны» вывозится, скажем, 100 трупов, а не 99. И что они действительно трупы. Остальное его не касалось.

И не касалось никого: слишком просто и легко нашу жизнь отнимали.

Вот передо мной письмо Паулины Дитц из Караганды. 23 июня 1941 года, говорится в нём, забрали по мобилизации её мужа Пиуса. Она думала, что на фронт, как и многих в первые дни войны. Но его отправили на Урал, в будущий Краснотурьинск. А оттуда – пешком на лесозаготовки в глухую тайгу, где и в помине не было никакого жилья. Прожил он в этом аду только до 7 июня 1942 г. и умер в неполный 31 год.

Два брата Паулины – Иван и Андрей – находились в «трудармии» на Бакалстрое и работали на кирпичном заводе в Потанино (т.е. в одном со мной лагере). Из-за тяжелейших условий оба заболели туберкулёзом лёгких. Ивана ещё до окончания войны пришлось выпустить из лагеря, и он умер в Семипалатинской области, куда их депортировали из Украины. А Андрей, несмотря на тяжёлую болезнь, находился в лагере до 1946 г. и скончался 10 лет спустя в Челябинской области. Им было соответственно 37 и 45 лет. Паулина упоминает и о других жертвах «трудармии» из числа своих родственников. На лесоповале близ того же Краснотурьинска работали братья Христиан и Фёдор Гофманы, а также Иван Ромлей. Все они умерли от туберкулёза вскоре после возвращения. Воистину убийственный итог!

Вряд ли за гибельные условия пребывания в «трудармейских» лагерях этих и сотен тысяч других людей несли ответственность – юридическую, административную или хотя бы моральную – лагерные начальники. Или, скажем, руководители строительства Челябинского металлургического завода Комаровский и Рапопорт. Они партбилетом отвечали за «темпы», а о людях при этом речь не шла: в «трудармии» мы были всего лишь «контингентом».

Что касается Рапопорта, который заменил ушедшего «наверх» Комаровского, то у него был большой опыт «рационального использования» подневольного люда, а также обращения с разного рода «враждебными элементами». Недаром его относят к числу первооснователей ГУЛАГа. После революции он примкнул к большевикам и поступил на службу в ЧК. Стал председателем Воронежского Губчека, а позд-

нее начальником Беломорстроя ОГПУ СССР. Можно ли было ждать милости от такого прожжённого чекиста?

В своём отзыве на одну из телепередач киргизской студии на немецком языке Траугот Кунце из села Сокулук, бывший узник Бакалстроя, писал: «О какой «трудармии» вы говорите? Зачем обманываете людей? Это был такой же концлагерь, как и у фашистов. Хотя и без крематория, но с ОПП...» И я не могу с ним не согласиться.

В начале 1943 г. наш лагерь представлял собой тягостное зрелище. Он вымер в переносном и вымирал в буквальном смысле слова. Над ним нависла гробовая тишина. Ни у кого не оставалось ни сил, ни желания даже разговаривать друг с другом. Если о чём и говорили, то только о еде. В «зоне» воцарился кладбищенский покой.

Он нарушался лишь ночным перезвоном часовых на вышках: дескать, не сплю, верно служу Родине! Да окриками «Стой, кто идёт!» при смене караула. Здоровые сильные мужчины бдительно охраняли немцев. Не тех, конечно, что штурмовали Сталинград. Охраняли нас, отождествлённых с оккупантами, поставленных вне закона и общества, отверженных российских немцев.

По слухам, которые, несмотря на строгую изоляцию «трудмобилизованных» и цензуру наших писем, всё-таки проникали в стройотряд, в прочих лагпунктах Бакалстроя и других районах Урала людей погибало не меньше, чем у нас. Со страхом в голосе рассказывали, например, что в Рудбакалстрое (и это подтвердил мне в личной беседе бывший там Егор Штумпф) в 42-м и начале 43-го умирало ежедневно по 50-60 человек. В тавдинских и краснотурьинских лагерях, где также находились немецкие мужчины, не осталось к этому времени трудоспособных вообще – одни скончались от голода, других «сактировали» по болезни и отправили к семьям в Сибирь и Казахстан, чтобы через некоторое время вновь вернуть в «трудармию».

Вдобавок к сказанному сошлюсь ещё на несколько примеров поистине танталовых мук, которые испытали на себе несчастные немцы за полтора самых тяжких года физического и морального гнёта в сталинско-бериевских концлагерях.

Иоганнес Лотц, бывший учитель, живёт сегодня в одном со мной гессенском городе Фульде. Он был выселен из села Гнаденфлор, кантонного центра АССР немцев Поволжья, в Алтайский край. Вместе с отцом отбывал «трудармейскую» каторгу на севере Молотовской (ныне Пермской) области, в лагере «Бубыль», получившем название по одоимённой таёжной реке.

За два года пребывания там «трудмобилизованные» не видели ни-

чего, кроме лагеря, тайги и снежных сугробов. Никакой информации извне немцы не получали, и Иоганнес по сей день не знает названия того ведомства ГУЛАГа, к которому относился лагерь. Судя по тому, что ближайшим к нему населённым пунктом являлся посёлок Ныроб, лагерь скорее всего входил в систему Ныроблага или Усольялага, некоторые лагпункты которого были в своё время переподчинены Ныроблагу.

Немцы занимались в «Бубыле» заготовкой спецлеса, который использовался для производства пороха, прикладов к винтовкам и автоматам. Видимо, поэтому здесь сохранялась оставшаяся от стройбата структура – отделения, взводы, батальоны, – что, однако, ничуть не меняло гуглаговско-энкаведешной сути лагеря.

Начальник батальона Эпштейн считал своей особой заслугой создание в «Бубыле» штрафного взвода, который заменял собой лагерный карцер. По его мнению, лагерники задарма ели положенные им 400 граммов хлеба и двухразовый черпак баланды. Штрафников за те же харчи ежедневно выводили под усиленным конвоем на лесоповал, а на ночь запирали в бывший карцер под бдительную охрану надзирателя. Помещение размером в два десятка квадратных метров с большим трудом вмещало состав взвода – 30 человек, которым приходилось спать, сидя на цементном полу. Поскольку начальник был щедр на штрафы и меньше 30-ти суток никому не давал, то из штрафвзвода, как правило, не возвращались. Уходил человек в домик рядом с «зоной» и исчезал навсегда.

Попал туда в 1943 г. и Иоганнес: «Осенним днём я и двое товарищей ходили по лесу и помечали ровноствольные, без сучков берёзы, которые шли на изготовление фанеры. Неожиданно мы набрали на поле и лежавшие на нём валки скошенной пшеницы. Намяли руками сырого зерна и вернулись на работу, понемногу его поедая. К вечеру мой карман был пуст. Но при обязательном обыске на входе в «зону» (искали режущие и колющие предметы, а ещё больше – съестное, вносить которое строго-настрого запрещалось) в уголке моего кармана нашли несколько зёрен. Этого было достаточно, чтобы отвести меня к начальнику.

Как и большинство поволжских немцев, я плохо говорил по-русски. Кое-как со страхом объяснил Эпштейну, что «намолотил» на поле немного пшеницы. Он грубо оборвал меня и сказал:

– Пойдёшь на месяц в штрафной взвод. Там ты не будешь молотить колхозный хлеб. Оттуда выйдешь в другое место! – и выгнал меня из кабинета.

Ночь я не спал. Утром надзиратель открыл люк карцерной двери и стал по списку бросать нам пайки хлеба. Их хватили те, кто был сильней и проворней. А я, маленький ростом и слабый, не мог даже пробиться к заветному окошку. Оставшиеся без хлеба подняли возмущённый крик, но надзиратель как отрезал:

– Я все пайки выдал, а остальное – не моё дело! Разбирайтесь сами!

Так было почти каждое утро, и только по вечерам, проходя с работы мимо надзирателя, можно было получить свои 200 граммов хлеба. Выдавали ли баланду, спрашиваете? Не припоминаю, память тогда как отшибло. Но я хорошо запомнил, что каждое утро мы находили рядом с собой по 3-4 трупа. Вечером люди говорили с ними (конечно, о еде), а утром их уже не было в живых. Им на смену приводили новых штрафников, наказанных за какие-нибудь никчемные «проступки». Эпштейновский конвейер смерти работал исправно. Состав штрафвзвода обновлялся раза два в месяц, а то и чаще. Выживали только самые сильные или наглые, которые поедали пайки, причитавшиеся не только уже умершим, но и своим вконец ослабевшим собратьям, приближая тем самым их кончину. Через 12 дней и я уже был полутрупом: не мог подняться на ноги, не выходил на работу. Близились время исполнения смертного приговора, вынесенного Эпштейном, – выхода «в другое место», на могильник. Но об этом я тогда не думал. Полное безразличие сковало мой мозг.

И тут подходит ко мне надзиратель и говорит:

– Хочешь остаться в живых? Тогда отдай командиру взвода воротник от своего пальто. Он тебя выпустит и переправит в «зону».

Я, конечно, согласился. Зачем мне здесь воротник? Надзиратель отпорол его, сказал:

– Выходи и пролезай под воротами «зоны». А там уж смотри сам...

– Так меня же вахтёр из будки заметит, а «попки» с вышки пристрелят.

– Иди смело! Со всеми всё обговорено...

Ну, думаю, пойду. Всё одно помирать. Будь что будет!

Подлез я под входные ворота. Щель узкая была, но я ещё тоньше оказался. Пришёл к своему командиру взвода, и он определил меня в «полустационар». Там давали в день 600 граммов хлеба и дважды полхлёбку, но не выводили на общие работы. Кто помоложе и покрепче был, тот выживал, а большинство, конечно, умирало. Думаю, что меня спас мой маленький рост.»

Выслушав эту исповедь, я спросил Иоганнеса:

— Что же это был за воротник, если за него удалось жизнь выкупить?

— Да обыкновенный цигейковый воротник коричневого цвета, почти новый. Полупальто мне родители незадолго до войны справили. Воротник 7 рублей стоил.

— И кто стал обладателем воротника?

— Конечно же, командир штрафного взвода. Тоже немец, только не нашим он был человеком. Говорили, будто его к нам в лагерь после отсидки направили. Он каким-то особенным вором считался. Такие бандиты Эпштейну как раз и нужны были.

— Почему?

— Эпштейн был ужасным человеком, настоящим душегубом. На фронте ему кисть правой руки оторвало, так он каждое утро нам протезом в чёрной перчатке расправой грозил. Рассказывали, проходил он как-то перед строем со своим помощником из военных и громко, чтобы лагерникам слышно было, изрёк: «Дали бы мне автомат — всех до единого уложил бы!»

Но он и без оружия столько наших немцев погубил! Было нас в феврале 42-го 1500 человек. За 2 года дважды прибывали пополнения по 500 человек в каждом. Так вот, весной 44-го осталось 700 человек, из которых только 300 могли работать, а 400 находились в «полустационаре». Остальных — стало быть, 1800 человек — закопали в лесу или сбросили в Бубль.

Наибольший «урожай» мертвецов давали стационар (там умер и мой отец) и, конечно же, штрафной взвод. Это были официально санкционированные душегубки для ликвидации «контингента мобилизованных немцев» в нашем лагере смерти.

Трудно комментировать этот рассказ. Кажется, всё уже знаешь — слышал, читал, сам прошёл через «трудармейское» лихолетье. Но с таким целенаправленным смертоубийством, как то, что практиковал капитан Эпштейн, встречаться, пожалуй, не доводилось. Это же уму непостижимо: за два года извести больше двух третей личного состава лагеря! Откуда у этого нелюдя было столько злобы и тем ли одним она вызывалась, что его ранило на фронте? Думаю, далеко не каждый палач, представленный к газовой камере в нацистском концлагере, мог похвастать таким количеством уничтоженных заключённых, как Эпштейн.

К несчастью, подобные изуверы встречались в «органах», опекавших лагеря для «трудмобилизованных» лагеря, намного чаще, чем нормальные люди. Ещё одно подтверждение тому, до какого правового и нравственного беспредела мог дойти начальствующий чин в лагерной

системе «трудармии», я прочитал в русскоязычной газете «Восточный экспресс», издающейся в Германии.

Статья-воспоминание, опубликованная там, принадлежит перу Готлиба Айриха, бывшего жителя киргизского города Таласа. Ужасная «трудармейская» участь выпала на его долю в Краслаге НКВД.

Как-то в обеденный перерыв он и двое его товарищей по шпало-заводу отпросились на полчаса у бригадира в лес, чтобы пожить-ся ягодами. И, как нередко бывает с людьми, выросшими в степи, он заблудился.

Прошли сутки, другие. Готлиб питался ягодами, жевал листья с берёз. Жил с надеждой на завтрашний день. А тайга становилась всё темнее и дремучей. Когда совсем отказали силы, стал ползти на четвереньках и перекачиваться по земле в избранном направлении. Счёт времени потерял окончательно.

И вдруг однажды совсем близко раздался гудок паровоза. Пополз из последних сил к опушке леса, услышал человеческую речь и тут же потерял сознание.

О дальнейших событиях мы расскажем словами самого Г. Айриха:

«Прихожу в себя. Чувствую, лежу на носилках. Кругом никого. Мимо проходит мужчина в железнодорожной форме. Посмотрев на меня, воскликнул:

— Так он ещё живой! Поплите за фельдшером.

Стали подходить люди, среди них какой-то военный. Слышу слово 'беглец'. Подошёл лекарь в белом халате. Сделал укол. Через некоторое время принесли какую-то тёплую жидкость и влили её мне в рот. Перенесли в помещение станции.

Перед отправкой пришёл конвоир. Поглядел на меня так, что жутко стало, говорит:

— И почему ты не сдох там, в тайге? Всё равно ведь околеешь. Не будь тебя, я бы сейчас отдыхал. Сопровождай теперь беглеца...

На проходной лагеря я смог разобрать только слова 'мёртвый беглец'. Врач осмотрел меня прямо в прихожей медпункта. Диагноз: дистрофия, воспаление лёгких, возможно, гангрена. Он покачал головой и послал за начальником колонны.

Слышу с улицы громкие слова капитана Седова:

— Вы понимаете, что он списан как покойник? Уже исчез с лица земли, отправился в никуда! Если он появился здесь ещё живым, то к завтрашнему дню всё одно умрёт. Неужели Вы сами этого не видите? Так что ставить его на ночь на довольствие нет ни малейшей необходимости. Он ведь у нас числится мёртвым.

Врач возражает, что не имеет права оставить человека без медицинской помощи, пока в нём есть признаки жизни. На что Седов отвечает:

– Хорошо, Вы не несёте за этого беглеца никакой ответственности. Наш ассенизатор вывезет его из 'зоны' и закопает. Всё равно он уже не жилец. Санитары, приказ к исполнению!

Виктор Бауэр вывез меня за 'зону' как покойника. Отъехав от главных ворот, остановился:

– Господи, да что же мы делаем! Неужто живых людей начнём закапывать? Нет, такой грех я на душу взять не могу!

Его слова доносились до меня, будто издалека:

– Ничего, паренёк, я тебя спрячу и помогу. Авось с Божьей помощью выживешь...

И я снова потерял сознание.»

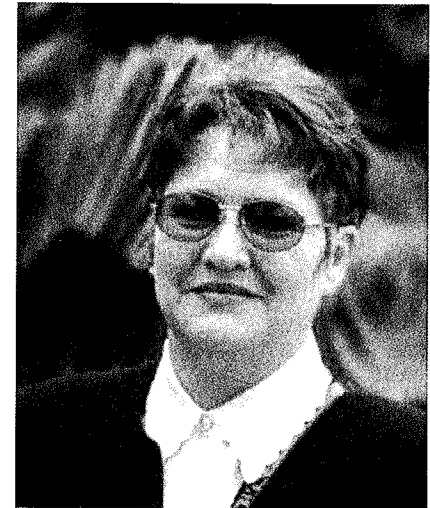
Шло время. Лесные раны, царапины, язвы на лице и теле Готлиба Айриха затягивались. Жидкие ржаные дрожжи, хлебные корочки и «пустой» лагерный суп, доставляемые в потайной сарай Виктором Бауэром, постепенно поставили Готлиба на ноги. Куда труднее было примирить капитана Седова с мыслью, что списанный «беглец» всё ещё жив.

После бури, обрушившейся на «неисполнительного» Бауэра, начальство принялось размышлять над тем, как бы понадежней «спрятать концы в воду». С одной стороны, Г. Айриха полагалось предать суду за «побег». С другой – всплывёт, что было приказано закопать живого человека. Это могло стоить Седову отправки на фронт. После объяснений с оперуполномоченным решили «утопить» Айриха в дебрях лагерных списков. Так, «живым трупом», и просуществовал он до конца своего пребывания в «трудармии» в 1946 г.

Этот уникальный даже в тех условиях случай опускает нас в самую преисподнюю «рабочих колонн» ГУЛАГа, где российских немцев под винтовочным прицелом не просто гноили заживо. В практику неограниченной власти над людьми, царившую в них, вполне вписывались факты, когда зарывали ещё не окоченевшие трупы и даже живых людей. Мы мало что знаем об этом изуверстве, ибо с того света, как известно, воспоминаний не присылают. Осталась бы втуне и данная вопиющая история, не вмешайся в дело спасительная доброта В. Бауэра.

О том, что подобные случаи не были единичными, свидетельствует рассказ вышеупомянутой Людмилы Динер. В нём, как помнит читатель, идёт речь о её бабушке Ольге Эльгерт, которая находилась во время войны в известном своими нечеловеческими условиями Джидастрое НКВД:

«Как и многие из её товарищей по несчастью, Ольга превратилась в 'доходягу'. Увидев своё отражение в бочке с водой, она потеряла сознание и долго не могла прийти в себя. Её поместили в лазарет. Она лежала с закрытыми глазами, отрешённая от мира сего. Сил не было даже думать. Через несколько дней её, голую, погрузили в телегу вместе с трупами и вывезли к берегу реки, где была вырыта огромная яма. Котлован не закапывали. Да и зачем? Завтра снова будут трупы, и их свалят сюда же. Ей повезло: она оказалась сверху. Когда ночью пошёл дождь, пришла в себя. От ужаса, холода и боли, которую Ольга почувствовала, она заплакала. Но выбраться из-под ледяных трупов не хватало сил. Она лежала вниз лицом, больно упираясь в чью-то скрюченную ногу. И вдруг ей почему-то вспомнилось, как в их селе пекли хлеб, осенью резали свиней и по всей округе разносились вкусные запахи. Чувство голода пришло как спасение, заставившее действовать. Собрав последние силы, она повернулась на бок, заняла более удобное положение, поджала колени под самый подбородок, чтобы немного согреться. Теряла сознание и снова приходила в себя. В голове путались мысли: возможно, это вовсе не она, а лишь душа её витает рядом и думает за неё?..



Людмила Динер

Дождь перестал поливать землю, а заодно и тех, кто ходил по ней, бегал по лужам после дождя, собирал полевые цветы, любил, радовался, смеялся, плакал, надеялся, ждал... Отплакали эти женщины своё, отпечатались, отмучились. Может, оно и к лучшему?

Ольга притерпелась, ожидая утра, а вместе с ним – прибытия следующей партии мертвецов. И, конечно, дождалась. Потому что умирали женщины каждый день...»

В качестве эпиграфа к только что процитированным повествованиям можно было бы привести слова из упомянутой статьи Александра Гауса «Мы – из трудармии», напечатанной в «Красноярском рабочем»: «Эта тема очень важна и должна быть со всеми деталями предана гласности. Я был в трудовой армии с самого начала, являюсь оче-

видим того, в каких условиях жили трудармейцы, каким подвергались издевательствам и сколько их было погублено голодной смертью.»

Не всё сказанное здесь поддаётся цифровому выражению. Точное число жертв сталинско-бериевских «рабочих колонн» до сих пор скрыто в тайниках МВД-ФСБ. Данные, приводимые нами, получены в основном эмпирическим путём. Но они подтверждаются сведениями, которые содержатся во многих письмах бывших «трудармейцев».

К примеру, Эмилия Дотц и Екатерина Шнайдер написали о том, что в алтайский колхоз «Труд», куда их депортировали из села Эндерс Красноярского кантона АССР НП, из 87 мужчин, «мобилизованных» в январе 1942 г., вернулись после войны всего 23. Причём пятеро из них вскоре умерли от полученных в «трудармии» тяжёлых заболеваний, главным образом туберкулёза. Франц Руш, ныне проживающий в Нойвиде (Земля Рейнланд-Пфальц), утверждает, что из 10 «трудмобилизованных» мужчин их села к своим семьям возвратились только трое, в т.ч. и он. Остальные погибли (таких было большинство) или обзавелись новыми семьями в лагерных местах.

Убийственную информацию содержит письмо бывшего затворника одного из лагерей страшного Усольлага Рудольфа Поппе. На строительстве порохового завода в Соликамске было два лагеря, где в начале 1942 г. находились 12 тыс. «трудмобилизованных». К весне 1943 г. из них осталась только половина. Остальные погибли от истощения и «голодных» болезней, небольшую часть «сактировали» по инвалидности. «Падёжу» рабсилы способствовала и тяжкая моральная обстановка, созданная в лагерях. По словам Р. Поппе, от «зоны» до работы их водили по коридору из колючей проволоки, как цирковых хищных животных. По верху четырёхметрового забора была натянута сплошная сетка «колючки».

Спрашивается, замечает Рудольф, какими же соображениями руководствовалось энкаведешное начальство, предпринимая драконовские охранные меры против совершенно безобидных людей, доведённых к тому же до крайней степени истощения?

Ответ напрашивается сам собой. За «цирковыми» сооружениями в Соликамске, как и за ничем не оправданными изуверствами караульного режима в прочих «трудармейских» лагерях, стояли санкционированные и направляемые из Москвы изопрённые моральные пытки, которые в сочетании с голодными муками должны были сократить численность немецкого «социально опасного контингента» до размеров, диктуемых складывающейся военно-политической обстановкой.

Сведения о численности этого «контингента», конечно же, по-

ступали к руководству ГУЛАГа и далее — в НКВД-НКГБ, где прорабатывались все аспекты отношения не только к немцам, но и к другим категориям поднадзорного населения — бывшим «кулакам», «врагам народа», членам их семей (ЧСИР) и т.д. И то ли заданные центром темпы ликвидации «трудармейцев» оказались выше расчётных, то ли левая рука карательного монстра не ведала, что делает правая, но в отделе учёта и распределения заключённых ГУЛАГа вдруг забили тревогу по поводу непомерной убыли «рабочего фонда» мобилизованных немцев.

Мне случайно попал в руки любопытнейший документ, который — помимо воли его сочинителей — проливает дополнительный свет на гибельное положение немцев в лагерях ГУЛАГа в 1942 г. и подтверждает соответствующие данные, содержащиеся в письмах бывших «трудармейцев». Эта справка стоит того, чтобы привести её полностью.

«Совершенно секретно»

Справка

31 августа 1942 года

Изучение представляемых лагерям НКВД данных о естественной убыли из рабочих колонн мобилизованных немцев показывает, что в ряде лагерей с этим вопросом обстоит крайне неблагоприятно.

Наибольшее число убывших в текущем году немцев относится за счёт умерших и демобилизованных инвалидов и вовсе непригодных к труду.

По неполным данным, в течение января-июля 1942 года только по 5-ти лагерям с общим списочным составом на 1 августа с.г. в 43856 человек мобилизованных немцев — умерло 5181 человек.

Особо высокая смертность отмечается на Соликамстрое, где за семь месяцев умерло 1687 чел., что составляет 17,6% к списочному составу на 1 августа с.г., Богословстрой — за этот же период 1494 чел. или 12,6%, и Севжелдорлаге, где за три месяца умерло 677 чел. или 13,9% списочного состава на 1-е августа.

Довольно широкое распространение в ряде лагерей получила демобилизация немцев по инвалидности и непригодности к труду. Только по четырём лагерям за январь-июль демобилизовано 6425 чел., при общем списочном составе этих лагерей на 1-е августа 34677 человек.

В том числе Богословстрой демобилизовал за шесть месяцев 4107 человек и Соликамстрой за три месяца 1483 человека.

ГУЛАГ НКВД запиской по прямому проводу от 14 апреля с.г. за № 42/141221 запретил лагерям, где демобилизация приняла широкие

размеры, проводить её в дальнейшем без предварительной санкции ГУЛАГа НКВД.

Несмотря на это, Богословстрой в июне-июле самостоятельно демобилизовал 1000 человек, Соликамстрой в мае-июне 575 человек, Ивдельлаг в июне-августе 175 человек.

Таким образом, общая убыль по демобилизации и смертности в текущем году составила: по Богословстрою 5601 чел., Соликамстрою 3170 чел., Ивдельлагу 1446 чел. и т.д.

Причинами такой высокой убыли является ослабление рабочего фонда, доведение его до состояния инвалидности и непригодности к труду.

Подобная убыль, если она будет идти такими же «темпами», в скором времени приведёт к резкому сокращению рабочего фонда этих контингентов, если своевременно не будут приняты меры предупредительного характера.

Для проверки правильности проведённой демобилизации и установления причин массового доведения рабочего фонда до состояния инвалидности — является целесообразным командирование работников ГУЛАГа, в первую очередь на

*Соликамстрой и Богословстрой НКВД.
Начальник ОУРЗ ГУЛАГа НКВД,
капитан Госбезопасности (Грановский)*

Вряд ли авторы этого совсекретного документа предполагали, что он когда-нибудь станет достоянием гласности. Это одно из редких свидетельств официального признания факта массовой гибели «мобилизованных» немцев в системе ГУЛАГа НКВД. В нём подтверждается, что за шесть месяцев 1942 года (т.е. с начала массового поступления немецкого «контингента») в пяти лагерях смертность составила 9% численного состава, а по Соликамстрою, Богословстрою и Севжелдорлагу — даже 13-17%.

Учитывая, что во второй половине 42-го и первой половине 43-го годов число умерших ещё более возросло, получается, что суммарная «естественная убыль» по пяти лагерям могла составить не менее 27%, а по трём перечисленным — 50%, что примерно совпадает со свидетельскими показаниями самих «трудармейцев».

Справка ОУРЗ ГУЛАГа НКВД примечательна и в ряде других отношений:

— в качестве причины высокой смертности среди «трудармейцев» в ней «дипломатично» называется ослабление и доведение до непригод-

ности к труду «рабочего фонда» (вместо того, чтобы указать на подлинную первопричину — преднамеренно организованный голод);

— с целью снижения темпов «естественной убыли» и недопущения резкого сокращения немецкого «контингента» авторы справки намекают на необходимость принятия неких мер «предупредительного характера» (судя по дальнейшему развитию событий, речь явно не шла об улучшении питания «трудооблизованных»);

— в качестве способа сокращения «убыли рабочего фонда» фактически предлагается запретить демобилизацию «трудармейцев», непригодных к дальнейшему труду (пусть умирают в лагерях?);

— из справки вытекает, что уже в середине апреля 1942 г. потребовалось вмешательство руководства ГУЛАГа, дабы не допустить «широкой демобилизации» инвалидов и больных (видимо, речь идёт о тех немцах, которые были «мобилизованы» на Украине в июле-августе 1941 г., а также о «трудармейцах», прибывших в первой крупной партии в феврале 1942 г., — таковы были темпы доведения до гибели немецкого «контингента»!).

Справедливости ради надо отметить, что появление этой тревожной справки в условиях оголтелой немецкой истерии, царившей в вотчине Берии, потребовало от составителей известного мужества. Отсюда, очевидно, и осторожность формулировок, недосказанность, «дипломатические» намёки.

В целом же из знакомства с документом напрашивается вывод, что он, по-видимому, был связан с попыткой чиновников НКВД повлиять на драматичную ситуацию, связанную с использованием немецкого «контингента» в лагерях ГУЛАГа. Но, как и следовало ожидать, никакого реального действия этот демарш не возымел. Сталинско-бериевское руководство, ослеплённое ненавистью ко всему немецкому, неуклонно следовало по пути геноцида.

Как уже отмечалось, положение немцев в «трудармейских» лагерях с каждым месяцем 42-го и первой половины 43-го годов становилось всё более критическим. Сопоставляя эту трагичную реальность с содержанием приведённой справки, я в который раз задаю себе вопрос: в чём же причины безрассудной политики уничтожения далеко не худшего по качеству «рабочего фонда», занятого на сооружении объектов, крайне необходимых воюющей стране? И это при том, что у НКВД уже практически иссякли источники поступления новой принудительной рабсилы, которая могла бы заменить «доведённых до инвалидности» и гибели российских немцев.

Быть может, я ошибаюсь, но мне кажется, что ответ на этот вопрос

следует искать прежде всего в критической ситуации на советско-германском фронте. Новое успешное наступление гитлеровских войск в направлении Сталинграда с целью выйти на Волгу и в глубокий тыл Красной Армии ввергло многих, включая и правящие круги, в панику и сомнения по поводу благополучного исхода войны. Даже разгром немцев под Сталинградом в феврале 1943 г. ещё не воспринимался тогда как начало перелома в войне.

Не составляли исключения и служители НКВД-НКГБ всех рангов, чьи руки были по локоть замараны в крови миллионов погубленных жертв. Действуя в испытанном сталинском стиле, они радели не столько об оборонных стройках, которые могли достаться врагу, сколько о ликвидации жертв своих преступных деяний – «врагов народа», включая «потенциальных пособников врага», т.е. российских немцев.

Поэтому понятно, почему в руководстве НКВД не была принята во внимание справка обеспокоенного отдела ГУЛАГа. Оно было озабочено не состоянием немецкого «рабочего фонда» – его «естественная убыль», очевидно, соответствовала намеченным темпам, – а тем, что следует предпринять с оставшимися немцами в случае гибельного исхода войны.

Решение напрашивалось само собой: этот «контингент» ни в коем случае не должен остаться в живых. Разве что – в качестве заложников, если сложатся соответствующие обстоятельства.

В этом вопросе у меня наверняка окажется немало оппонентов. «Какой смысл, – скажут они, – рассуждать о том, что не произошло, хотя и могло случиться?» Действительно, рассуждения типа «что было бы, если бы...» (кажется, это называется «контристорией») едва ли приемлемы в науке, которая имеет дело со строгим анализом реальных фактов. Иное дело – публицистическое исследование логики и тенденции развития таких фактов и явлений.

Я говорил на этот счёт со многими «трудармейцами», и не нашлось ни одного, кто не разделял бы моего мнения об ожидавшей нас участи в случае, если бы...

К тому же, рассуждая о вероятности всеобщей трагической развязки в судьбе «трудармейцев», мы принимаем во внимание не только условия, в которых она могла наступить, но и личностные качества тех деятелей, кто по злой воле истории вершил судьбами сотен тысяч и миллионов людей. Я имею в виду прежде всего Сталина и его подручного Берию, в неограниченной власти которого находились «трудообмобилизованные».

Как теперь известно, «добро» на массовые казни «социально опас-

ных элементов» давал лично Сталин по разнарядкам, предложенным НКВД. Так, согласно протоколу упомянутого заседания Политбюро ЦК ВКП(б) 31.01.1938 г., подписанному секретарём ЦК, из 47000 человек, намеченных к аресту, под I категорию (расстрел) попадали 9200. В ходе Большого террора 30-х годов был расстрелян каждый пятый обвиняемый. По имеющимся оценкам, из 18 млн. узников сталинских лагерей было погублено 11 млн. человек.

Я привожу эти страшные цифры, чтобы убедить сомневающихся, что тезис о роковой зависимости жизни «трудармейцев» от развития событий на фронте не является плодом чьей-либо досужей фантазии. За массовым геноцидом стоял большевистский дух, который в случае военной катастрофы вполне мог воспрянуть и принести в жертву «Родине и народу» ещё один-два миллиона надуманных «врагов».

Поэтому наибольшими, быть может, ревнителями побед Красной Армии являлись именно мы, немецкие лагерники. Ибо твёрдо знали: от её успехов зависело, как скоро стрелка барометра, указывающая на смерть, начнёт приближаться к отметке «жизнь». И речь шла не только о существовании российских немцев как народа, но и о физическом бытии каждого соплеменника в отдельности. Для расправы с нами достаточно было пропускной способности ОПП, через которые к тому времени уже прошла треть нашего «контингента». И тогда все лагеря для российских немцев стали бы «зонами» не только полного покоя, но и покойников.

Причина? Исторически единый язык с фашистскими оккупантами, а главное – общее, ставшее ругательным, неприличным имя – «немец».

Вот я и спрашиваю: возможно ли что-нибудь более безрассудное и чудовищное, чем ставить своих собственных граждан на одну доску с врагами? И считать их врагами. И поступать с ними, как с врагами. И уничтожать их, как врагов.

Ещё и сегодня мой знакомый из Сокулука (Киргизия) Егор Вельмс убеждён, что осенью 1942 года вместе с другими «доходягами» копал котлован, рассчитанный на всех лагерников Кизелшхатстроя Молотовской (ныне Пермской) области. Так, по крайней мере, утверждали некоторые начальники, вымещая на «трудообмобилизованных» накопившийся гнев за фронтовые неудачи:

– У, немчура... Ни на что не надейтесь! Всех в могилу загоним, а фашистам не отдадим!

Как горьки были эти угрозы, как далеки от наших чувств и устремлений! Никто из нас в победу Гитлера не верил (ибо не хотел верить), и

потому страшнее смерти была витавшая вокруг несправедливость. Каждый предпочёл бы погибнуть, защищая Родину, чем лагерной пылью исчезнуть в бесконечных списках ОПП. Об этом думали, мечтали, на это надеялись, как на единственное спасение от смерти и колючей проволоки.

А что получали в ответ? Виктор Ридель, упомянутый выше, писал: «Мой дядя Адам Принц находился в 'трудармии' на угольных шахтах Тульской области – ближе всего к фронту. Он рассказал о случае, который произошёл в посёлке Товарковский, где находился лагерь наших немцев, работавших на шахте № 60.

Осенью 1942 года, когда завязались бои в Сталинграде и немецкие войска находились неподалёку от Тулы, 'трудармейцев' заставили рыть большие котлованы. Говорили, что это – противотанковые рвы. Но несколько месяцев спустя врагов погнали на запад, и горный мастер, у которого дядя работал бригадиром, сказал:

– Помнишь, Адам, я говорил тебе: если я шепну 'сегодня будешь ночевать у меня', то обязательно приходи и приведи близкого тебе человека? Так вот, если бы тогда не отогнали немцев, то всех вас расстреляли бы в тех траншеях. Я об этом знал и хотел спасти хоть несколько человек, чтобы немцы меня не убили.»

В подкрепление наших доводов по роковому вопросу «Что было бы с нами, 'трудармейцами', если бы не перелом в ходе войны?» приведу ещё один пример. Тот факт, что он относится к более ранней кризисной ситуации – битве под Москвой осенью 1941 года, – не меняет сути дела. Вспоминает Александр Мунтаниол, «мобилизованный», как помнит читатель, в августе 41-го на Украине и помещённый в Соликамские лагеря:

«По мере приближения фашистских войск к Москве наше положение всё более ухудшалось. Среди 'трудармейцев' начали ходить слухи, что в случае падения столицы нас всех расстреляют. Тревожная обстановка рождала панику, которая подкреплялась поведением начальства.

Топливо мы обязаны были приносить в барак на своём горбу. Однажды после рабочего дня подошли к вахте без дров, и нас не пустили в 'зону'. Вышел один из лагерных начальников по фамилии Пожар. Он нас построил и повёл в ближайший лес. Мы стали рыскать в поисках сучьев. Их на всех не хватало, а топоров у нас не было. Тут-то Пожар и решил отвести душу. Он произнёс 'зажигательную' речь. Чего в ней только не было: мол, мы – дармоеды, лодыри, изменники Родины, нас давно надо было стереть с лица земли, а с нами ещё и валандаются.

Эти тирады, изобиловавшие грубыми оскорблениями, он увенчал открытой угрозой, которая до сего дня сидит в моей душе: 'Запомните эти места – здесь мы будем вас расстреливать!' Не сказал он только, когда приговор будет приведён в исполнение. Но об этом мы догадывались и сами.»

К счастью, не довелось НКВД полностью реализовать дьявольский план Отца всех народов. Спутала карты им Красная Армия, одержав неслыханную победу под Сталинградом. Победу, вселившую в поруганных, обездоленных и обречённых надежду на жизнь.

Трепетным пламенем разгорелся в наших душах её огонёк! Надеждой этой жили мы теперь, с замиранием следя, как идут дела на фронте. Она подкрепляла если не тело, то душу, помогая преодолеть ничуть не облегчившийся абсурдный режим, избежать дамоклова меча голодной смерти. Веру в лучшее вселяло то, что во время вечерних поверок, наряду с привычными приговорами военного трибунала, стали зачитывать победные сводки Информбюро, а на центральной аллее лагеря рядом со стендами о трудовых подвигах «мобилизованных» появились газетные витрины. «Правда» перестала быть недоступной для немцев-«трудармейцев». Теперь, по мнению попечителей наших душ, её содержание не могло больше «подпитывать надежды враждебных элементов», быть источником «нежелательных» слухов.

Но понадобилась ещё одна, решающая победа на Курской дуге, должен был произойти окончательный перелом в ходе войны, чтобы маятник качнулся, наконец, и в наших «трудармейских» лагерях. Трудные усилия, бедствия и лишения многострадального тыла, помноженные на фронтовой героизм и жертвы миллионов солдат, дали, наконец, победные плоды. Враг начал отступать. Только убедившись в этом окончательно, решился кто-то в сердце ГУЛАГа подтолкнуть заржавевший маятник. Видимо, были приняты во внимание и всё более тревожные сводки ОУРЗ ГУЛАГа о том, что численность трудового «контингента» немецких лагерей упала до критической степени. Наступило время хотя и частичных, но жизненно важных перемен, самой главной из которых была приостановка конвейера смерти. Бесконечный тёмный тоннель повернул, и вдали показался еле различимый, слабый, но всё-таки свет!

– Боже мой! Теперь, кажется, нас оставят в покое и даруют нам жизнь! – со сдержанной радостью говорили при встречах «доходяги», надеясь выкарабкаться из лап смерти за счёт заметно улучшившегося питания в ОПП.

Душа теплела – в нас, кажется, начали видеть людей. Мягче стали

конвоиры, на равных заговорили откомандированные за какие-то фронтовые грехи в тыл водители лесовозов. Вместе с добрыми известиями с фронта это поднимало дух, вселяло веру в жизнь. Тем более, что с лета 1943 года вдвое повысились нормы питания, а на тяжёлых лесных работах стали выдавать даже по килограмму хлеба. «Да здравствует сталинский килограмм!» – такой лозунг встречал нас с тех пор в лагере. В супе, кроме молодой крапивы, обнаруживалась настоящая крупа, а вечером в котелок вливали по 250 граммов кашицы. Добавьте к этому ягоды и грибы, которых было немало в лесу и которые конвоиры теперь милостиво разрешали нам собирать, и вы поймёте, как изменилась наша жизнь.

Главной заботой каждого стало добыть ложку. Вдобавок понадобилась и крышка к котелку, чтобы сполна почувствовать реальность второго блюда, в которое добавляли даже чуток какого-то жира. Настоящего жира! Глазам не верилось! Нашлись среди нас искусные резчики по дереву, но главным поставщиком ложек и котелков была станция Чебаркуль, куда мы на автомашинах отправляли для перегрузки в железнодорожные вагоны заготовленный лес. Их мастерили наши грузчики из дюрала разбитых самолётов, которые везли через станцию на восток для переплавки.

На крышке купленного за две пайки хлеба новенького, блестящего листовым алюминием котелка я выцарапал фамилию, имя, отчество и дату моего символического воскрешения к новой жизни.

Это было в июле 1943-го. Но ещё в начале того года Потанинский лагерь заселили румынскими военнопленными (которых, кстати, неплохо кормили!), а часть нашего 4-го стройотряда с соблюдением всех норм этапирования заключённых переправили по железной дороге на лесозаготовки в Ильменский государственный заповедник. Во все стороны необъятного Бакалстроя разбросали бригаду Бюделя, который помог нам в тяжёлую годину выжить. И за это спасибо ему. Огромное.

Сам он остался в Потанино и, как потом говорили, со временем стал главным инженером кирпичного завода.

Из школьной программы я знал о находящемся в восточных предгорьях Южного Урала минералогическом заповеднике (около 200 видов минералов!), который был основан ещё в 1920 г. Теперь, учитывая особую важность и срочность строительства Челябинского металлургического комбината, правительство в порядке исключения разрешило вырубку деловой древесины в заповедной зоне.

Несмотря на пустые желудки и крайнюю степень дистрофии, мы (сужу по себе) не могли всё же пройти мимо открывшейся первоздан-

ной красоты леса, давно не знавшего топора. Невозможно было не любоваться стройными соснами – могучими, в два обхвата, или прямыми, как струна, мачтовиками. Очаровывали изумрудная зелень и снежная белизна берёзовых рощ, мохнатые стройные ели, нежные лиственницы. И вдобавок – чистейшей воды озёра Чебаркуль, Кисегач, Тургой. Такую красоту многие из нас видели впервые, ведь родиной нашей были степи Украины, Крыма, Поволжья. Всё остальное, не считая этой прелести, в 11-м стройотряде (так называлось наше новое место пребывания) мало чем отличалось от Потанинского лагеря. Такая же колючая проволока, вышки с вооружёнными «попками» по углам, проходная у ворот и ночной лай спящих вдоль забора овчарок. Словом, лагерный режим высшей степени строгости. Здесь не было общего оцепления, которое на центральной стройке под Челябинском дублировало лагерное охранение. Сразу за «зоной» начинался лес, а недалеко находились село Непряхино и железная дорога. Есть где укрыться спасающемуся от смерти лагернику, а потому нужна была особо надёжная охрана.

Первая новость, которую услышали вновь прибывшие от «доходяг»-старожил, была удручающей. Оказалось, что нас привезли на смену тем пяти сотням немцев, которые уже полегли за 10 месяцев тяжкого лесоповала, хронического недоедания и холода. Ценой своих жизней – такая плата требовалась от «трудмобилизованных» – построили они лагерь, оцепление, казармы для охраны, подсобные помещения за «зоной» и 20-километровую лежнёвую дорогу до станции Чебаркуль, чтобы в любую погоду можно было вывозить заготовленный лес. Некому стало валить деревья, трелевать, т.е. свозить их к лесным дорогам и грузить на автомашины-лесовозы, чтобы деловой лес как можно быстрее попадал на стройку, где за нехваткой металла даже конструкции перекрытий сооружались из дерева. Наступил наш черёд лечь косями в заповедных лесах близ Ильменских гор.

Среди многочисленных писем в моём архиве – 8-страничное повествование автора, имя которого я, к сожалению, не могу назвать из-за утери конверта, где оно было написано. Он находился среди той тысячи «трудмобилизованных», которые одними из первых прибыли в лесной 11-й стройотряд и которым удалось победить в схватке со смертью.

В 1941 г. он успел закончить среднюю школу в городе Янгиюле (Узбекистан), что позволило ему попасть в нормировщики погрузочно-разгрузочного участка (ПРУ) на станции Чебаркуль. Начальником участка был Григорий Кузьмич Костюченко, которого он считал своим спасителем.

Автор начинал свою «трудармейскую» биографию в 1942 г. трелёвщиком, и вскоре его чуть было не пристрелили «при попытке к бегству». Охрана располагалась по углам делянки, на пересечении лесных просек. Как положено, подконвойных оповестили, что при выходе за пределы делянки будет открыт огонь без предупреждения. Но мерин, на которого автор уселся из-за полного бессилия, чтобы добраться до очередного бревна, вынес его прямо на просеку. Грянул выстрел, пуля просвистела возле головы. Он мгновенно сполз с лошади. Подоспела охрана, и началась экзекуция. Били лежащего ногами до тех пор, пока не отвели злую душу. К счастью, всё обошлось без особых последствий и даже без карцера, откуда не было обратного хода.

А вот ещё несколько эпизодов из того же рассказа. Они относятся к январю-февралю 1943 года, т.е. к тому времени, когда я уже находился в 11-м стройотряде и, следовательно, был свидетелем описываемых событий:

«Зима выдалась снежная. Лежнёвую дорогу из леса до станции Чебаркуль занесли разбушевавшиеся метели. Вывоз древесины приостановился, погрузка – тоже. Чтобы рабсила не простаивала без дела, нас, 400 затворников ПРУ, решили переправить в центральный лагерь за Непряхино, на заготовку древесины. Шли по снежной целине, проваливаясь в сугробы, еле перетаскивая ноги и свои тощие пожитки. Добрались до лагеря чуть живые, а наутро нас отравили 'играть на скрипке', т.е. пилить деревья. Охрана надёжная – два вооружённых уральских 'казака', овчарка.

Прошло 20 дней изнурительного труда, голода, холода и оскорблений человеческого достоинства. Силы всё больше покидали нас. Ежедневно умирало по несколько десятков 'трудармейцев'. Мертвецов складывали штабелями около лазарета, а ночью увозили на сани в лес. И лишь весной специальная бригада закапывала их навалом в вырытых траншеях. Могил не было, как и у расстрелянных по приговору. (В таких случаях говорят: 'Места захоронений неизвестны'.)

Несколько ночей и мне пришлось участвовать в вывозе и 'штабелёвке' трупов. За это я получал дополнительную пайку хлеба – 200 граммов, которая полагалась смертельно больному человеку. Но он умирал, и ему она уже не была нужна. Духу на это кощунство у меня хватило только на 5 дней, хотя я сам находился на грани голодной смерти. На 19-й день каторжного лесоповала я свалился в бреду. Не осталось сил даже пойти за вечерней баландой. Я уснул 'сладким' сном. Мою пайку съели, считая меня полумертвецом, которого утром отправят 'в штабель'. Но я очнулся и с огромным трудом отправился на лесную делянку.

«Избавление пришло на 20-й день, когда меня затребовал на прежнюю работу нормировщика мой благодетель Костюченко. Остальных наших грузчиков тоже вскоре отправили на станцию Чебаркуль, но их число уменьшилось наполовину. За месяц работы на лесоповале погибло почти 200 человек (в это же время, на рубеже 1942/43 годов, в каких-то стройотрядах Бакалстроля и Карагандинских лагерей умерли два моих старших брата).

Это проклятое время иначе, как пребыванием в плену у своих, не назовёшь», – закончил свой рассказ автор.

Дабы дополнить картину советского «плена», приведу эпизод из ильменской лагерной жизни, свидетелем которого я был. Совсем юный костлявый «доходяга» сделал из одеяла шарф, чтобы укутать шею и сберечь драгоценное тепло угасающего тела. Было холодно, ветер швырял в лицо хлопья колючего снега, пробирался сквозь пакляные, почти без воротников, бушлаты.

Его заметил дежурный надзиратель. Он уцепился в шарф со словами: «Ты ещё казённое одеяло рвать будешь?! Отдай сейчас же!» Юнец еле слышным от слабости и испуга голосом возразил, что это его собственное одеяло («казённых» у нас в то время и не было). Надзиратель рывкнул: «У фашистов нет ничего собственного. Здесь всё – лагерное. И ты, собака, – тоже!»

Юноша горько, по-детски заплакал. Не столько о том, что лишился тёплого «шарфа», сколько из-за чудовищной обиды. Её он не забудет до тех пор, пока останется в живых. Мне тоже было не по себе, но чем я мог помочь униженному пареньку? Ведь «у сильного всегда бессильный виноват»...

Как уже отмечалось, «трудообмобилизованных» мужчин и женщин приставили к самым тяжёлым работам, которые в условиях голода и лагерного принуждения были по-настоящему каторжными. К тому же лесозаготовки не без основания считались у нас сродни каторге даже в благополучные времена. Таёжная глухомань, отшельническая жизнь, непроходимые сугробы зимой и нестерпимый гнус летом. Тяжелейший физический труд: лесоповал, обрубка сучьев, раскряжовка, трелёвка, штабелёвка, погрузка или, хуже того, лесосплав – вот далеко не полный перечень лесозаготовительных (точнее говоря: человекоубийственных) работ.

Недаром А. Солженицын отмечал в «Архипелаге ГУЛАГ», что лагерники называли в те годы три недели лесоповала «сухим расстрелом».

Из всех лесозаготовительных тягот самой мучительной были комары. В безветренный жаркий день не было мочи работать в одежде. А

раздетого до пояса человека буквально сжирали комары. Они нападали, как дождь, проникали в любую прореху в одежде, садились на лицо, плечо, плечи и напивались досыта. Когда лесоруб, отбиваясь, проводил по себе руками, они покрывалось кровью. Всё тело горело огнём.

По ночам в бараке нам не давали покоя клопы. Их было не меньше, чем комаров, и кусали они не менее больно. Когда я вспоминаю те проклятые годы, в голову прежде всего приходят комары, клопы и вооружённый конвой. Эти три напасти буквально добивали нас в неравной борьбе с голодной смертью.

По имеющимся данным, в специализированных подразделениях ГУЛАГа – Ивдельлаге, Усольлаге, Ныроблаге, Вятлаге, Краслаге, – на лесозаготовительных участках строек Богословлага, Нижнетагиллага, Челябинского металлургического завода, других стройорганизаций и шахтоуправлений работал почти каждый второй «мобилизованный» немец. При этом не менее половины немецких мужчин остались там навечно.

В стихах о «трудармии» в качестве апогея драматизма закономерно фигурирует лесоповал. Вот, к примеру, отрывок из стихотворения упомянутого Иоганнеса Лотца «Alle Spuren sind verweht» («Все следы развеяны»):

Hoch im Norden, in dem rauen,
wo vor Frost die Kiefer kracht,
Trudarmisten – Männer, Frauen –
sägen, hacken Tag und Nacht.
Schon ermattet sind die Glieder,
dennoch fallen immer mehr
Bäume auf die Erde nieder –
Säge, Axt sind das Gewehr.
Stacheldraht umzäumt die Blöcke,
auf die Arbeit mit Geleit!
Auf den Türmen, an den Ecken,
stehn die Wachen schußbereit.
Kein Gemurre und kein Klagen,
nur die Bäume schreien schrill.
Keine Panik, kein Verzagen,
Trudarmisten sterben still.

(На крайнем Севере, на суровом, / где от мороза трещит со-
сна, / трудармейцы, мужчины и женщины, / пилят, рубят день и
ночь. / Уже изнемогло тело, / но всё же падает всё больше / де-
ревьев на землю, / пила и топор – вот орудия труда. / Колочая

провокола окружает бараки, / на работу – под охраной! / На выш-
ках по углам / стоят охранники, готовые к стрельбе. / Ни ропота,
ни жалобы, / лишь деревья издают пронзительные звуки. / Ни
паники, ни отчаяния, / трудармейцы умирают молча.)

11-й стройотряд, узники которого занимались узаконенной вырубкой Ильменского заповедника, был одним из четырёх лесозаготовительных подразделений Челябинского металлургического завода (Бакалстрой) – наряду с 16-м, 17-м стройотрядами и штрафной колонной в Верхнем Уфалее. «Уже в 1942 году, – хвастливо писал в своей книжке А. Комаровский, – мы(!) получили 112 тыс. кубометров древесины...» О том, кто её заготовил и сколько при этом погибло людей, он, конечно, умолчал, как и о многом, многом другом...

Теперь у читателя имеется некоторое представление об условиях существования немцев за колючей проволокой 11-го стройотряда, куда судьба занесла и меня.

Что могло ожидать несведущего в лесозаготовительных работах, бессильного, изголодавшегося человека в этих бесчеловечных обстоятельствах? Перебирая в памяти то тяжёлое «трудармейское» время и внимая рассказам других лагерников, я часто возвращаюсь к мысли о том, что выжить морально и физически многим из нас удалось лишь благодаря поддержке и помощи людей – своих и вольнонаёмных, которые в тяжелейших условиях, в обстановке недоброжелательства и травли, зачастую с риском для себя помогали погибающим от голода «трудмобилизованным».

В героическом противостоянии наступающей смерти, уготованной нам сверху, происходили события, явно не предусмотренные «мозговым центром» НКВД-НКГБ. Жизнь шла почти по Диккенсу: среди злодеев находился ангел, который спасал людей от гибели, тормозил, как мог, машину смерти. Спросите у «трудармейцев», что помогло им выжить в адских условиях, и каждый назовёт своего неожиданного покровителя. Это был, как правило, бескорыстный человек, потому что единственным сокровищем «трудармейца» являлась жизнь, которую спаситель и помогал сберечь.

Для меня и моих товарищей по бригаде в Потанинском лагере это был Бюдель, и я вспоминаю его с сердечным трепетом признательности. В 11-м стройотряде таким человеком оказался начальник лесовывозки Коваленков – спокойный, уравновешенный, интеллигентный человек лет сорока в полувойенной форме, с неизменной полевой сумкой в руках: он составлял фиктивные наряды на

погрузку леса, чтобы поддержать физические силы грузчиков. А сам я не могу не отдать дань благодарности и доброй памяти дорогому мне человеку – Наталье Ильиной.

Было это зимой, сразу после прибытия в Ильменский заповедник. Впервые за всё «трудармейское» время нас вызвали на медкомиссию, задача которой, как выяснилось, состояла в отборе из нашего «тощего» этапа тех, кто сможет работать на лесоповале и погрузке. Большинство, однако, были «доходягами», которых довёл до дистрофии кирпичный завод. Чтобы в этом убедиться, достаточно было даже неопытного взгляда на плоский, как гладильная доска, зад, откуда некогда росли мускулистые бёдра, а теперь торчал лишь костлявый копчик.

За столом рядом с начальником стройотряда и политруком сидела врач – молодая, лет 25-30 женщина.

– Фамилия? Повернитесь спиной. Так... Где работали? Идите. Следующий! – вот такая была комиссия. Но важно, что произошло после неё.

В тот же вечер, к моему великому удивлению, я был вызван к политруку, интеллигентного вида человеку с добрыми, как мне показалось, глазами.

– Вы работали до мобилизации учителем? – спросил он и сказал: «Мы назначим Вас бригадиром, дадим здоровых мужиков и поплём на самую важную работу – погрузку леса. Кормить будем по третьему котлу, но машины не должны простаивать ни минуты.»

Я что-то возражал, ссылаясь на юный возраст, но в душе был несканно рад свалившейся на меня должности, самой почётной в лагере. Правда, боялся я изрядно – мне предстояло управлять бывшими потанинскими нарядчиками, хлеботорезами, поварами, пекарями и прочими «лагерными крысами», от которых ещё вчера зависела моя судьба. Тем более, что они были намного старше меня. Не менее занимательным был и вопрос: а почему я вдруг попал в бригады? Пришёл к выводу, что меня, наверное, пожалели, отчего и обида брала, и лестно было. Не исключал и такой начальственной логики: пусть-де повкалывают кухонные прихлебатели, от них больше проку будет, чем от этого долговязого «доходяги»...

Бригаду стали чаще обычного занаряжать на вечернюю работу в кухню, где удавалось украдкой съесть сырую брюквину, картошку или даже полакомиться солёной рыбой. Но для этого бригадирю надо было ходить к докторше за направлением, и по тому, как она со мной говорила, я с тайной надеждой думал, не ей ли обязан своим неожиданным возвышением.

Ещё больше утвердился я в этой мысли, когда покровительница стала задерживаться на месте нашей работы, и приходилось мучительно подыскивать слова, чтобы заполнить слишком затягивающиеся паузы. Была весна, вокруг изумительная красота, птичий перезвон наполнял чарующий своей прелестью лес. Рядом – молодая и, хотелось верить, равнодушная ко мне женщина, которая, быть может, ждёт каких-то особенных слов или даже поступков. Но в знании женской психологии и безмолвного языка интимного общения я был полным профаном. К тому же, честно говоря, меня в то время больше интересовало что-нибудь съедобное... «Свидания» наши заканчивались тем, что она отдавала мне бутылочку сиропа шиповника и уезжала на очередном лесовозе, чтобы через некоторое время появиться вновь.

– Что ж ты, бригадир, теряешься?! Небось, никогда с девушкой под руку не ходил? Или помочь надо? – острили изголодавшиеся по женскому полу бывшие лагерные «начальнички».

Беззлобные подначки вызвали непрощеную краску стыда, а остроты, как и положено юнцу, я относил на счёт не по возрасту выпавшего мне бригадирства. Грузчикам такое самоуничтожение приносило несомненную пользу. Я изо всех сил старался подкармливать бригаду (а заодно и себя), чтобы никто не угодил в ОПП, который прежними темпами продолжал выполнять своё предназначение перевалочного пункта на тот свет.

Мне не удалось бы эта цель без благородной поддержки моей душевной покровительницы Натальи Ильиной и нашего начальника Коваленкова. Видимо, в нас, немцах, они видели не врагов, а попавших в неволю людей, которые нуждаются в помощи. Поддержка требовалась ещё и потому, что почти все прежние «начальнички», составлявшие костяк бригады, постепенно исчезли и загадочным образом перекочевали на разные «тёплые местечки» в лагере и на производстве. Вместо них приходили новые, далеко не лучшей упитанности люди, которых надо было сохранить во что бы то ни стало. Особенно запомнилось поступление в бригаду троих уважаемых, прилежных и удивительно приспособленных к лесному быту «трудармейцев»-финнов.

«Перевыполнить» сменную норму погрузки, чтобы получить выший, третий котёл, нам помогали вездесущие приписки, на которые Коваленков безмолвно закрывал глаза.

Эта, выражаясь лагерным языком, «туфта» начиналась с первой же операции – лесоповала, на котором не то что норму, но даже её половину никто из ослабевших вальщиков выполнить не мог. Чтобы их не подвести, «туфта» следовала дальше по всей технологической цепоч-

ке, включая погрузку на автомашины. Поскольку большинство лесовозов были маломощными и работали на берёзовых чурках, то и мы, грузчики, и шофёры были кровно заинтересованы в приписках.

Работал 11-й стройотряд (и не только он) по известной лагерной поговорке: «Без туфты и аммонала не построить Беломорканала». Не вдаваясь в глубинный смысл этого меткого изречения, отметим, что приписки были одним из самых действенных спасительных средств, с помощью которых сердобольные люди могли помочь выжить многочисленным жертвам ГУЛАГа, в т.ч. и российским немцам.

Среди не очень-то весёлого лагерного юмора можно было услышать и ироничную фразу, принадлежавшую, как говорили, бакал-строевскому поэту Леониду Шнайдеру: «Немец – это трудомобиль, работающий на баланде».

Общими усилиями и всеми доступными средствами, впроголодь, из последних сил, но почти полным составом дотянула наша погрузочная бригада до «сталинского килограмма». В первый раз полученная половина булки (даже без довеска) показалась нам такой большой, что хотелось плакать от счастья. Настолько велика была радость осознания того теперь уже непреложного факта, что впереди каждого из нас не маячит больше смерть.

«Трудармейцы» стали постепенно отходить, оживать физически и морально. Веселее пошла работа, к людям возвращалась былая хватка. Перед разводом теперь зачитывались оптимистичные сводки Совинформбюро. Из уст политрука мы впервые с начала войны слышали, что своим добросовестным трудом тоже, оказывается, вносим вклад в победу над врагом. На нас, похоже, начали смотреть, как на нормальных людей. У тех, кто помоложе, особенно у бывших кадровых военных, снова появилась надежда попасть на фронт, где шли жаркие победные сражения.

Но это был лишь осторожный, а вернее преждевременный оптимизм: пока что в нас увидели только людей работающих. Где-то там наверху, наконец, поняли, что перелом в войне вполне определился и надо немецкую «рабсилу», как минимум, кормить, чтобы сберечь её для настоящего и будущего безотказного труда. О возвращении нам статуса полноправных граждан и речи не было, как и о доверии. Лагерный режим со всеми его методами лишения свободы полностью сохранялся.

Однако применялись они теперь без прежнего ожесточения. Собаки больше не сопровождали нас на работу, а сновали по проволоке вдоль лагерной ограды, восполняя поредевшие ряды охранников. Бри-

гаду сопровождал один конвой, которому винтовка явно стала в тягость. Видимо, после почти двухлетней работы с «немецким контингентом» служивые поняли, какую неблагоприятную миссию им приходится выполнять. Добродушные дяденьки-конвойеры спокойно грелись на солнце или сидели зимой у костра в обнимку с винтовкой. Спать в лесу не спали, но и работать выкриками «Больше, чем на 25 метров, не отходить! Быть всем на виду!» нам не мешали.

Правда, на глазах у начальства они подтягивались, демонстрировали своё рвение, кричали на нас громко и даже постреливали согласно Уставу караульно-конвойной службы. Помню, в первые весенние дни на нас набросились крупные и плоские, до ужаса кровожадные клопы. Уснуть при этом форменном пожаре было невозможно, и многие, забрав постель, попытались улечься на дворе. Но с вышек тут же раздалось властное требование вернуться назад, а в подкрепление прогремели выстрелы, которые вообще-то нередко нарушали ночную тишину. Оказалось, что пребывание ночью вне барачных не вписывается в лагерный режим.

Казалось бы, теперь, когда фашистские полчища начали откатываться на запад, освобождая советскую землю, а созданная сталинским воображением «пятая колонна» оказалась чистейшим блефом, можно и нужно было открыть ворота «трудармейских» лагерей, снять с российских немцев позорное пятно незаслуженного обвинения и тяготы политзаключённых. Однако, вопреки здравому смыслу, ни в 43-м, ни в 44-м не было устранено то самое отвратительное, что заставляло кровоточить души и сердца: лагерный режим и отношение к нам остались неизменными.

Двойная по сравнению с прежней пайка спасала от голодной смерти, но не от постоянного желания есть, особенно учитывая наше физическое состояние «полудоходяг». Независимо от того, в каком стройотряде ты находился – в 4-м или 11-м. Одна была «страна», ГУЛАГом именуемая.

Так прошло лето, а с ним закончились и лесозаготовительные работы в Ильменском заповеднике. Отведённые «в порядке исключения» лесные массивы мы успели вырубить, а на выделение новых, видимо, был получен отказ. Перелом в ходе войны вернул на круги своя многое из того, что ещё год назад показалось бы немыслимым.

Вырубленные лесные кварталы были приведены в надлежащий вид – землю очистили от сучьев, убрали лежневые дороги, опшкурили пни, чтобы в них не заводился ненасытный жук-короед.

Прежний, истинный смысл обрели и щиты с сакраментальной над-

писью «Зона полного покоя», которая ещё недавно удивляла нас своей полной несуразностью. В данном случае она означала, что всякий шум, вырубка деревьев, заготовка сена, охота, даже сбор ягод здесь категорически запрещены. И при этом по всей округе раздавались окрики конвоиров, звон пил, стук топоров, грохот падающих столетних деревьев, треск ломаемых сучьев, громкое понукание лошадей, натужный гул автомобильных моторов, которые никак не увязывались с нормальной жизнедеятельностью заповедника.

Всё это слишком напоминало ситуацию в наших «трудармейских» лагерях. Всюду красные флаги, патриотические лозунги, лагерные (!) партийные и комсомольские организации, а подчас и обращение «товарищ». А рядом – вооружённый конвой, колючая проволока, лай собак, штабеля умерщвлённых голодом людей.

И вот воображение рисует сатирически-изобличительную картинку: перед нами – сколько можно охватить взглядом – море пней. А над ними тот самый щит с надписью «Зона полного покоя». И ничего более до самого горизонта! Этот глубокомысленный рисунок мог бы, на мой взгляд, послужить олицетворением и символом сталинского лицемерия, под прикрытием которого вырубались не только заповедные леса, но и миллионы людей, целые сословия и народы.

В таком смысле эта фраза и вынесена на обложку данной книги.

Глубокой осенью 1943 года нас, выполнивших свою миссию в 11-м стройотряде, переправили в новый лесозаготовительный район – отдельную колонну 16-го стройотряда, находившуюся близ Сатки, старинного города уральских металлургов.

Колонну до ворот провожало лагерное начальство. Опять, как и на памятной медкомиссии, рядом с начальником лагеря и политруком находилась «моя» докторша. Я стремился перехватить её взгляд, и это мне, кажется, удалось. Такой и осталась она со мною – лучезарный взгляд карих глаз и непонятный образ моего ангела-хранителя Натальи Ильиной.

Дорога оказалась куда длиннее, чем можно было предположить, и у меня оказалось достаточно времени, чтобы ещё и ещё раз перебрать в памяти наши встречи. Воспоминания согревали, спасая от ледяного холода товарного вагона, отвлекали от голода, на который обрёл нас тогдашний путь. И ещё горячее, чем раньше, я мысленно благодарил её за доброту, смысла которой так до конца и не понял. Но даже если всё связанное с Натальей Ильиной было плодом моего юношеского воображения, я навсегда поставил её рядом с незабвенным именем Бюделя.

280 километров пути от Чебаркуля до Сатки могли занять 8, от силы 10 часов. Сухой паёк – 800 граммов хлеба и пару небольших рыбин – нам, на всякий случай, выдали на двое суток. Мы, как водится, съели всё в один день, а ехали, вернее тащились, целую неделю.

Оборудовать вагоны на столь короткое расстояние, видимо, посчитали излишним, и поэтому ни печек, ни отхожих мест устанавливать для нас не стали. Досками накрепко забили люки, дверь снаружи заперли на замок. Так и сидели мы в непроглядной тьме, лишь по светящимся кое-где щелям определяя наступление нового голодного дня. Холод пронизывал до самых костей. Спасались тем, что лежали, плотно прижавшись друг к другу, по команде поворачиваясь, чтобы спасти от стылого мороза хотя бы внутренности.

От дыхания сотен ртов стены покрылись толстым слоем пушистого инея, и потому казалось, что пребываем мы в каком-то сказочном снежном гроте. Мучила неизвестность – где находимся, долго ли ещё ехать будем? Конвоиры безмолвно выпагивали вдоль вагонов, поскрипывая валенками по хрустящему снегу. Единственная надежда была на осмотрщиков вагонов, которые, несмотря на запрет часовых, всё-таки отвечали на наши вопросы, называя станцию, на которой мы застряли.

Опережая нас, один за другим с грохотом проносились мимо длинные, тяжело гружённые составы. «На фронт!» – гадали мы. Душа наполнялась гордостью за тех, кто гонит фашистов с советской земли, и в то же время завистью оттого, что мы не можем быть вместе с ними.

Только на третьи сутки нас выпустили из вагонов справиться нужду в заснеженную безлюдную степь, оцепив со всех сторон охраной и собаками. Но в последующем надобность в этом отпала. Никому уже ничего не хотелось. Даже есть: самые мучительные дни – второй и третий – остались позади.

Скотина в таких условиях, видимо, орала бы благим матом, взывая к помощи людей. Уголовники наверняка устроили бы шумный бунт с натуральным матом. И можно быть уверенным, что для тех и других кормёжка бы нашлась. Наши же немцы послушно молчали, дабы не обратить на себя внимание и лишний раз не набраться сраму. Стыд и страх – эти два чёрных лагерных призрака надолго засели в нашем сознании. Настолько прочно, что до сих пор ещё живут не только в посевших головах бывших «трудармейцев», но и в психике их детей и даже внуков. Такова сила колючей проволоки, незримые следы которой по сей день отгораживают российских немцев от остального общества.

...В 3-й отдельной колонне, как именовался наш новый лагерь в шести километрах западнее Сатки, древесину на склад у железной дороги вывозили из леса на специальных конных саниях. По укатанной снегом и политой водой лежнёвой дороге лошадь может везти от одного до полутора кубометров леса. Важно только не дать саням остановиться. Моё искусство приёмщика лесобиржи состояло в том, что я умел на ходу быстро подсчитывать перевозимый объём, не вынуждая возчика и лошадь останавливаться, а затем предпринимать мучительные усилия, чтобы сдвинуть с места тяжёлые, нагруженные до тонны сани. Это приводило в восторг начальника лесозаготовительного района Браслова, фанатично любившего лошадей и столь же неистово ненавидевшего немцев – всё едино, каких.

Характеристику этому профессиональному тюремщику из Белоруссии даёт в своём письме В. Функнер, который в 1942-44 гг. находился в 16-м стройотряде на станции Единовер. «Это был человек, во всём подчёркивавший своё сходство с энкаведешным вождем Берией, – пишет он. – Невысокого роста, круглолицый, на носу пенсне, маленькие усики. И такой же изверг, готовый принародно смеяться с грязью любого 'трудмобилизованного', независимо от возраста и должности. Непревзойдённый матерщинник и 'обзывала'. 10 суток отсидки в карцере за малейшую неповинность были самым 'мягким' наказанием из тех, что он запросто раздавал налево-направо. Не останавливался и перед рукоприкладством, если провинность была связана с лошадьми. Внешнее сходство с Берией уродливо сочеталось в нём с кавалерийской формой. Кубанка на голове, синие галифе, белые валяные бурки на непомерно коротких ногах, кургузый бушлат. Настоящее пугало в буквальном и переносном смысле слова – иначе не скажешь!»

Не знаю, бывают ли такие кавалеристы-недомерки или военная форма являлась только увлечением начальника, но его доброта к лошадям оборачивалась диким самодурством по отношению к людям, которые на них работали. Это был своеобразный, опрокинутый какой-то «гуманизм», который я бы назвал «лошадизмом». Браслов знал клички большинства лошадей, а возчиков называл не иначе, как по прозвищу лошади, с неизменным добавлением «фриц». Во всех происшествиях, случавшихся на работе, он брал под защиту лошадь, а виноватым (и, следовательно, наказанным) всегда оказывался человек. Самыми непростительными провинностями считались у него подстёгивание лошадей лозинкой (кнуты были вовсе изгнаны из конного парка), езда на лошадях и «хищение» овса.

Возчика, замеченного в подхлестывании лошади, он мог стегануть той же лозинкой. За езду на саних, даже незагруженных, ставил провинившегося в оглобли, и тот должен был тащить сани, насколько хватит сил. Виновные в «присвоении» положенного лошадям овса карались особенно сурово. Быть дистрофиками и умирать от голода могли только люди: за них не было спроса. Совсем иное дело лошади – они составляли «инвентарную единицу» лагерного имущества. Вечно голодные возчики поджаривали на огне овёс и лузгали его как семечки, что создавало иллюзию еды. Да и в желудок кое-какой мизер попадал.

Поэтому доступ к овсу был и привилегией, и соблазном, и великим грехом для возчиков. Наказание Брасловым 15-ю сутками сидения в карцере на четырёхстах граммах хлеба и черпаке баланды принималось безропотно: виноваты, обокрали лошадку! И только об одном смельчаке сообщала лагерная молва – на вопрос Браслова «Почему отнимаешь овёс у бедных лошадок?!» возчик будто бы ответил:

– Я тумаль, рас мы и лошади во фсём отинаковые, то сначит и офёс мошем фместе купать...

Говорили, что ответ Браслову очень понравился, и он даже не посадил грешника в карцер. Но без обычного оскорбления, конечно, не обошлось:

– «Тумаль, тумаль (матерок)! Фриц ты (матерок)! Когда ты (матерок) научишься на человеческом языке говорить?!»

Не удивительно, что его самодурства боялись как огня. Обходили Браслова десятой дорогой. Кто знал, что ещё может взбрести ему в голову? Был он для нас и Бог, и царь, и судья. Обжалованию ничто не подлежало – к другой, более высокой инстанции мы доступа не имели. Знал Браслов, с кем дело имеет: уголовники давно устроили бы ему «тёмную» – лес большой, попробуй, найди виновного! А немцы – народ дисциплинированный, безропотный, напуганный. Стадо невинных овечек, как известно, и одному волку под силу. Вот и куражился он над нами в уральской тайге, вдали от начальства, как хотел. Впрочем, думается, все начальники, вплоть до самых высоких, были ему под стать.

Поэтому я вовсе не радовался тому, что в связи с «лошадиным гуманизмом» попал в поле зрения Браслова. В особенности после того, как секретарь партбюро колонны Соломон Краус, бывший батальонный комиссар, награждённый в финскую войну орденом Боевого Красного Знамени, предложил мне занять «тёплое местечко» лагерного художника. (Это в формуляре он обнаружил, что до мобилизации я несколько месяцев успел поработать учителем рисо-

вания.) Поскольку отсутствие «опытного» приёмщика леса могло быть замечено Брасловым, Краус посоветовал мне не только хорошо поднатаскать сменщика, но и дня на три укрыться в сушилке от всевидящего глаза начальника.

Так с лёгкой руки С. Крауса, очень «заводного» человека, я попал в художники, а позднее – в лагерные комсорги. Вслед за членами партии комсомольцы нашей отдельной колонны стали первыми расконвоированными «трудмобилизованными», а потом и членами так называемой лагерной самоохранны. Начался первый, очень осторожный этап постепенных послаблений режима в «трудоармейских» лагерях. Теперь бригады сопровождал на работу лишь один конвой, а на центральной стройке в Челябинске оставили, по слухам, только внешнее оцепление. «Мои» комсомольцы должны были заниматься обидным и скучным делом – торчать днём на угловых вышках и следить за тем, чтобы никто не перелезал через лагерный забор. Оружия им, конечно, не выдавали, а на ночь их сменяли настоящие «попки». К нашему удивлению, те о фронте и не заикались, хотя службой своей тяготились изрядно.

– И чего это вас держат как уголовников?! Тоже вредителей нашли! Люди как люди, а их – за проволоку! – говорил кто-нибудь из них то ли искренне, то ли провоцируя наше возмущение.

А возмутиться было чем: содержание за колючей проволокой казалось нам всё абсурдней. Сильнее прежнего угнетала тоска по иной, «свободной» жизни – пусть фронтовой, как у всех остальных. Без содержания под гнетущим караулом и выматывающего конвоя за спиной. Два года замедленного лагерного времени и надоевшие скитания по кругам чуть смягчённого ада камнем давили на сердце. С «колпочкой» мы связывали все продолжающиеся беды и лишения – невозвращённую свободу, попорченную честь, унижительное недоверие.

Эти горести обрели новую значимость, когда трагическая развязка, казавшаяся неизбежной, была отодвинута от нас. Угловатые кости до невозможности исхудавших тел начали понемногу обрастать мясом. Можно ли придумать более выразительный признак того, что нас решили вернуть в мир живых? Ночные бессонные мысли были теперь не о неизбежной смерти, а о том, какой станет для немцев жизнь после войны, как произойдёт их возвращение в родные места – на Волгу, Украину, Кавказ, в Крым.

В постоянные думы и разговоры о еде начали вклиниваться мысли о детях, родителях и жёнах, которые томились в ссылке или в той же «трудоармии». Как всегда, разговор вращался вокруг хлеба.

Однако теперь речь шла не только о возросшей лагерной пайке, но и о хлебе на полях, ожидавших вспашки и посева. А для этого нужны были наши руки, которые непонятно для чего продолжали держать в кандалах. «Brot ist auch ohne Zucker süß» («Хлеб сладок и без сахара») – эта актуальная во все времена немецкая пословица обрела в «трудоармии» особый смысл.

С трудом «отходила» и людская душа, не утратившая способности радоваться и восторгаться. Послышались шутки и довоенные анекдоты, на лицах недавних «доходяг» появились робкие улыбки. Пришло время для забытых на два года гармоник и негромких песен – сначала на русском («для пробы»), а затем и на немецком.

К этому послегибельному «трудоармейскому» времени (так сказать, периоду возрождения) относится, по всей видимости, и рождение немецкой песни с простым и в то же время столь выразительным названием «Zu Hause» («Дома»). Её авторы, насколько я знаю, неизвестны. Для меня несомненно одно: возникнуть эта песня могла только в «трудоармейской» неволе – настолько глубоко она передаёт чувства людей, которых лишили и свободы, и Родины. Вот её текст:

Zu Hause war alles so schön,
Zu Hause, zu Hause.
Die Wolken, die so einsam geh'n –
Zu Hause war alles so schön.
Das Lied, das die Mutter mir sang
Zu Hause, zu Hause,
Das klingt noch wie ein Glockenklang,
Das Lied, das die Mutter mir sang.
Die Felder, die Wiesen im Tal
Zu Hause, zu Hause,
Die seh'ich im Traum tausendmal,
Die Felder, die Wiesen im Tal.
Wie möchte ich heute noch geh'n
Nach Hause, nach Hause,
Die Heimat noch einmal zu seh'n.
Zu Hause war alles so schön.

(Дома всё было так прекрасно, / дома, дома. / Облака, так медленно плывущие, – / дома всё было так прекрасно. / Песня, что пела мне мать / дома, дома, / она ещё звучит колокольным звоном, / песня, что пела мне мать. / Поля, луга в долине / дома,

дома, / я вижу их во сне тысячу раз, / поля, луга в долине. / Как бы я хотел ещё сегодня пойти / домой, домой, / ещё раз увидеть Родину. / Дома всё было так прекрасно.)

На мой взгляд, эта трогательная, полная щемящей тоски песня является плодом умелого профессионального творчества. Чтобы в этом убедиться, достаточно обратить внимание на редко встречающуюся в песенном жанре музыкальную метрику, которой она написана.

Разыскал эту песню, как и многие другие, Якоб Фишер – бывший зам. директора Алма-Атинского немецкого театра, в настоящее время организатор культурно-массовых мероприятий Землячества немцев из России в Германии. Он же был и одним из первых её талантливых исполнителей. Где бы ни звучала эта песня, её воздействие на слушателей столь велико, что они ещё долго не могут прийти в себя от сжимающих горло спазм и непрошенных слёз. Я знаю об этом не только по рассказам, но и по собственным незабываемым впечатлениям.

Песня «Zu Hause», как и запись Гертруды Дамм о безвременной кончине её родителей, могут быть по праву причислены к самым волнующим памятникам «трудармейского» прошлого нашего народа.

Руководители лагерей истроек знали, какой огромной силы заряд заключён в ненависти к заправочному существованию. Были среди них и такие, кто в душе разделял наши чувства. В их среде возникла идея освободить эту энергию, направив её на полезное дело.

В начале 1943 г. выяснилось, что вырастающему на глазах металлургическому комбинату грозит электрический и тепловой голод. Встал вопрос о форсированном строительстве теплоэлектростанции – иначе все те домны, мартены, прокатные станы и остальное, что предполагалось осенью ввести в действие, могли остаться бездыханной грудой кирпича и металла. Тогда руководство стройки поставило перед комсомольско-молодёжным коллективом 7-го стройотряда задачу: дополнительно к программе по запуску очередной домны и прокатного стана построить ТЭЦ, пообещав за это из ряда вон выходящую награду – снять провололочные заграждения вокруг лагеря. Вызов был принят. Энтузиазму и злomu упорству молодёжи не было предела. Работа – почти всё вручную и на голодном лагерном пайке – кипела день и ночь. Об ударном комсомольско-молодёжном объекте шумела вся стройка. Сводки, подобные фронтовым, ежедневно давала многотиражка «За сталинский металл». Люди падали от бессилия и умирали на рабочем месте. А начиная с лета, когда в пайке появился знаменитый килограмм хлеба, на ско-

ростной стройке выросли сотни передовиков, рекордсменов и даже дутых «тысячников». Всюду гремело имя Степана Вернера, зачинателя этого движения. Теперь начальственное «любой ценой» сменилось своим, лагерным, означавшим в устах затворников: любой ценой избавиться от колючей проволоки, от конвоя, от «попок» на выпшках. За борьбой с «колючкой» следили «трудмобилизованные» всего Бакалстроя. «Снимут или не снимут?» – этот вопрос был у всех на устах. А в том, что ТЭЦ будет сдана в обещанный срок, никто не сомневался.

Станция действительно вовремя дала ток. Задание было выполнено в невиданные в строительной практике сроки. Руководству стройки пришлось сдержать своё обещание и совершить беспрецедентную в истории ГУЛАГа операцию – расконвоировать целый стройотряд в 5 тыс. человек.

Об этом незаурядном событии мы беседовали в своё время в Киргизии с вышеупомянутым Яковом Ваккером, непосредственным участником знаменательной акции.

– 28 декабря 1943 года состоялся митинг в честь пуска первого котла ТЭЦ, – рассказывал Яков. – Звучала музыка, множество патристических и благодарственных речей, вполне, надо сказать, заслуженных. За 8 месяцев построить мощную электростанцию – такого ещё не бывало. Да ещё почти голыми руками! Подобного рвения я даже у немцев не видывал. Особенно оно проявилось с лета, когда кило хлеба давать стали. Трудились, как львы. Друг друга подгоняли: «Тафай! Тафай!» Из уст в уста передавалось: «Для нашего стройотряда на ДОКе уже делают штaketники!» И вот в новогоднюю ночь несколько сот выздоравливающих «доходят», и я в том числе, вышли в ночную смену снимать проволоку. Всю ночь рвали её, с ожесточением и радостью валили выпшки, прибывали к старым столбам звенья штaketника. Одежду на себе «колючкой» изодрали, до крови поранили руки, но ни боли, ни усталости никто не чувствовал. Откуда только силы брались?!

А наутро, 1 января, в 7-м стройотряде был праздник. Сразу тройной: исчезла давившая на психику трижды проклятая проволока, день объявили выходным и начался новый, вольный 1944-й год!

– А что, штaketник и вправду был покрашен, как у нас рассказывали? – спросил я.

– Нет, это люди добавили, чтобы новость получше выглядела. Весной его покрасили. А заодно и отремонтировали.

– Так скоро ремонт потребовался?

– Конечно. Отряд-то наш комсомольско-молодёжным был. Кто по-

крепче, тот с первых дней через забор сигать стал. Одни подружек себе искали, другие – что-нибудь поесть. Третьи то и другое находили в одном доме. А страдал штaketник. Пришлось подправлять его после наших окрепших ребят.

– О начальнике вашего стройотряда Бородкине весь Бакалстрой хохмы рассказывал... Насколько всё это соответствовало действительности?

– Не знаю. Лично мне сталкиваться с ним не приходилось. А говорили, что он был незлой по натуре человек, любивший, однако, в «кошки-мышки» поиграть со «своими» немцами.

Рассказывали, например, как в новом заборе калитки сделали, чтобы не ломать его. Как-то вохровцы доставили к Бородкину в кабинет попавшихся «прыгунов». Тот повёл нарушителей к забору и заставил по несколько раз через него перелезть. «Ну как, удобно?» – спросил он. «Не отпнешь, тофариш напальник!» – ответили те. Тогда он послал их в мастерскую за пилой и велел проделать в заборе проёмы. «А теперь как? 'Утопно' или 'неутопно'?» – вновь вопрошал Бородкин, заставив виновников пару раз пройти через проём. «Теперь утопно», – был ответ. «Ну, так здесь и ходите, если 'утопно'!» – повелел начальник.

– А правда, что он был простым и доступным человеком? – спросил я.

– И остроумным вдобавок. Нередко наших «трудмобилизованных» ловили ночью в самых неожиданных местах, а утром звонили ему на работу: «Товарищ Бородкин, опять задержали 19 Ваших!» На это он будто бы отвечал: «Ищите двадцатого. У него разрепение на всех!» Попадались и с более серьёзными провинностями. Слышал я о таком, например, случае. Приводят к нему в кабинет «трудягу», пойманного на огороде за добычей картофеля.

– Ну, как тебя наказывать будем? – спрашивает Бородкин.

– Не снаю, тофариш напальник...

– Иди сюда! Садись на моё место. Садись, тебе говорят!.. Ты – Бородкин, я – Франк. Я копал в чужом огороде картошку. Вот она, в этом мешке. Наказывай меня!

Франк долго молчит, потом говорит:

– Тофариш Франк, нехорошо так телать! Идите и в следующий рас не попайтесь!

– Вот шельмец! Знает, как себя наказывать... Так вот, к осени окрепнешь, поможешь хозяйке картошку выкопать и домой доставить! Понял? Сделаешь – доложишь!

Ещё об одном случае с Бородкиным рассказал Матвей Церр, бывший плотник Доменстроя. Ехал он однажды зимой на саниах, заготовки вёз какие-то. Догнал по пути военного в полушубке.

– Ты из какого стройотряда? – спросил тот.

– Из 7-го...

– И знаешь, кто я?

– Нет, не снаю...

– Я Бородкин! В следующий раз не забудь подвезти.

– Садитесь, тофариш напальник!

– Сегодня я пешком. А в следующий раз подвези Бородкина, не забудь!

Такие это были истории. Возможно, всё происходило не совсем так. Скорее всего – совершенно иначе. Но легенда о 7-м стройотряде и его руководителе жила своей независимой жизнью, выражая сокровенные желания лагерников. В их глазах Бородкин был одним из тех редких начальников, кто видел в «трудмобилизованных» нормальных людей и хорошо понимал всю нелепость игры в политическую бдительность по отношению к российским немцам. Именно ему молва приписала главную заслугу в освобождении 7-го стройотряда от лагерного режима.

Эта взбудоражившая умы неслыханная весть молнией разлетелась по всем лагерям Бакалстроя. Принёс её лагерный телеграф и к нам, в дальний уголок Челябинской области. «Раз в 7-м проволоку сняли, значит уберут и у нас», – таково было резюме всех рассуждений по этому поводу. Новость вселяла надежду. Наряду с впечатляющими победами на фронте, появился ещё один реальный аргумент в пользу недалёкого уже освобождения.

Теперь было на что опереться и нам с Краусом в нашей работе с лагерниками. Казённые слова лозунгов «Всё для фронта, всё для победы над врагом!», «Все силы – на разгром врага!», «Смерть немецким оккупантам!», «Будет и на нашей улице праздник!», которые я писал, приобретали, как мне казалось, ясный и важный смысл. Они предвещали не только освобождение советской земли от захватчиков, но и свободу каждого из нас. А одновременно разгром немецкого фашизма означал разрыв мифических «порочащих связей» с ним, которые, начиная с 1933 года, как дамоклов меч, висели над головами российских немцев.

Конура, в которой я малевал транспаранты, служила всем «художественной мастерской», комнатой партбюро и комитета комсомола, наконец, просто «проходным двором». А кроме того, ещё и

местом моего ночлега. Теперь я попал в число «лагерных крыс», которые, как водится, кормились вокруг кухни. И вскоре изменился настолько, что Краус сказал:

— Браслову на глаза не попадайся! Каждого более или менее справно-го человека он без лишних слов отправляет на лесоповал.

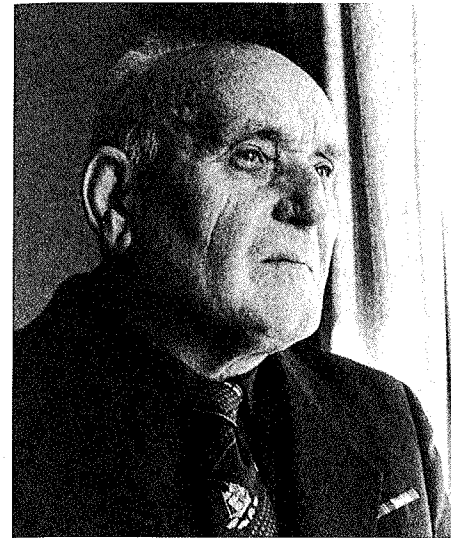
Поэтому я предпочитал сидеть в мастерской, писать лозунги, «молнии» и «боевые листки» о трудовых успехах, оформлять стенгазеты. И стряпать победные реляции в политотдел Бакалстро-го о «героических трудовых делах» комсомольцев и молодёжи 3-й отдельной колонны. «Гнал туфту» по обычаю тех времён. Как и все в колонне, участвовал в авралах по заготовке леса и его погрузке на вагонные вертушки с надписью «собственность Бакалстро-го». Разумеется, без аббревиатуры «НКВД».

Жизнь и работа наши в 1944 г. во многом изменились. Теперь от голода уже никто не умирал, а «доходяжки» постепенно «выходили в люди». Они и внешне преобразились. Нас одели в старую красноармейскую форму, снятую с раненых, постиранную, с заплатами на местах пулевых прорех, часто с остатками кровавых разводов. Со следами от тщательно споротых петлиц на гимнастёрках и бушлатах, от звёздочек на шапках.

Но есть по-прежнему хотелось всем и всегда. Несмотря на кило хлеба, который выдавался тем, кто был занят на лесоповале, и на улучшившийся приварок. А в начале 44-го в нашем рационе даже появилось подобие мяса — «сбои». Первый раз за долгое время с осени 41-го я вкусил какой-то мёрзлой требухи, которую под присмотром комсомольцев перевозили из вагона на продовольственный склад. В более съедобном виде мне удавалось потом прикладываться к ней на кухне, шеф-повар которой, упомянутый Артур Пасс, любил всякие рисуночки и надписи в своём заведении.

Здесь мне кажется уместным привести выдержку из письма Отто Гехта, которое он прислал из Дюссельдорфа (Земля Северный Рейн-Вестфалия). Автор отражает особенности «трудоармейской оттепели» 1944 года, имевшей немало как трагичных, так и комичных моментов.

В конце 1944 г. Отто трудился поваром Бакалстроевского лагпункта, который находился неподалёку от Верхнего Уфалея. Как и в других лагерях ГУЛАГа, здесь из числа затворников ежедневно назначался дежурный по кухне. Смысл этой акции состоял в том, чтобы вовремя «вскрыть диверсию», направленную на срыв производственного плана (в данном случае — заготовки древесины). Именно дежурный, снимающий пробу, должен был стать жертвой в том случае, если «враже-



Отто Гехт

ская рука» попытается вывести из строя лагерный «контингент».

Несмотря на неприглядную роль подопытных кроликов, желающих поест досыта всегда было хоть отбавляй. Однако попадали туда, как правило, только по большому «блату». «Как-то раз, — пишет О. Гехт, — на дежурство явился один молодой человек. Старший повар слышал о нём, как об осведомителе лагерного оперуполномоченного НКВД.

— Я накормлю этого 'секота' досыта, — сказал повар.

В 11 часов, когда котёл с овсяной кашей был готов, он спросил у дежурного:

— Хотите чего-нибудь поесть?

Наполнил большую чашку кашей, налил в неё жира и добавил сырой воды. Молодой человек съел всё до конца. Через час он снял белую спецовку и поспешил в туалет. Потом сбегал туда ещё пару раз, а в четыре часа отправился к себе в барак.

Утром следующего дня его сосед по нарам рассказывал:

— Яшка вчера был дежурным по кухне. Там он наелся досыта, да ещё полный котелок каши с собой принёс и себе в изголовье поставил. А я у него кашу стащил и съел.

Об этом услышал Яшка.

— А мне не палько. Она отин рас уше попывала в моём шелутке, — сказал вчерашний дежурный.»

«Такие вот 'курёзные' случаи бывали во время работы на лаг-ерной кухне», — заключает Отто Гехт.

...По ночам мне постоянно лезли в голову разные мысли. Не такие трагические, как раньше, но по-своему грустные и волнующие. Наступил момент, когда изгнали оккупантов из родного Донбасса. Прозвучал в числе освобождённых и город моей юности Красноармейск. Здесь я учился в средней школе и в 1941 г. закончил 10 классов.

Вспоминался интернат, в котором жили ученики с железнодорож-

ных станций, где не было школ. И Шура Дугельная, одного года со мной, учившаяся на класс раньше украинская дивчина с длинной чёрной косой. Самая красивая. Отличница. Наши безмолвные отношения симпатии и влюблённости – взаимной, как выяснилось потом. И по-юношески острые переживания – от безудержной радости до глубокого отчаяния.

Вслед за Шурой и я собрался в Киев, поступать в университет на филологический. А пока нажимал на учёбу, раз уж не удалось попасть в военное училище. Изредка мы обменивались письмами, в осторожных строчках которых можно было скорее угадать, чем прочитать что-то сокровенное, душевное. Но это едва уловимое, трепетное чувство вспугнула война.

В одночасье спутала она, нарушила все планы людские, сменив их полной неопределённостью и всевозможными неожиданностями. Вспомнилось письмо, которое после долгих ожиданий я, наконец, получил от Шуры. Начиналось оно необычным обращением «дорогой». А дальше шло нечто и вовсе ошеломляющее. Я читал и глазам своим не верил: «Сижу в подвале, готовлюсь к экзаменам. Но их, наверное, не будет... Город без конца бомбят... Знаю, из этого пекла мне уже не выбраться, и я тебя никогда больше не увижу... Как жаль, что мы друг другу так и не сказали о нашей любви... Прощай. Целую. Шура.»

Как я проклинал себя тогда! За всё. За трусость, нерешительность, недогадливость. За украденное у себя и у неё счастье. За потерянные годы, которые могли быть совсем иными! Я не находил себе места, не знал, что предпринять. Все мысли были направлены в одну точку на земле – город Киев. Но как я мог туда попасть?

И так же неожиданно, как первое, пришло от неё новое письмо. Из дома, со станции Удачная. В нём – обычные, как и раньше, строчки. Будто никаких других слов никогда и не бывало!

А месяц спустя я получил ту самую повестку в Красноармейский военкомат. Поехал в Удачную прощаться. Полчаса мы обедали в её доме и столько же говорили – она торопилась в бухгалтерию «Заготзерна», где теперь работала. Вспомнили обо всём на свете, но только не о себе. Да и о чём говорить: перед нами была полнейшая неизвестность. Меня куда-то забирали, их многодетная семья эвакуироваться не могла. А враг уже перешагнул через Днепр. Мы обменялись рукопожатием. На прощанье посмотрели друг другу в глаза. И – всё!

Последнее, что я смог сообщить ей о себе, было выселение на восток. А несколько недель спустя Донбасс попал под оккупацию. Между нами выросла непроходимая стена. Всё было кончено.

Долгими зимними вечерами в затерянном в акмолинских степях Новочеркасске делил я тоску с мандолиной:

Повий витрэ на Вкраину,
Дэ покынув я дивчину.
Дэ покынув я кариі очі,
Повий витрэ за пивночі.

Потом потянулись бесконечно долгие дни и ночи «трудармии»... И вот освобождён Донбасс! Долго кружили по лагерным и военным цензурам письма, пока, уже потеряв всякую надежду, не получил я, наконец, ответ. Начинался он опять со слова «дорогой»: «Станция Удачная принесла удачу... Все живы. Прятались как могли...»

И полетели в оба конца письма, одно другого откровеннее, полные чувств, надежд и планов на будущее, которое ещё далеко, но рано или поздно должно наступить. Важно только не потерять друг друга в этой суматошной, сложной жизни...

А тем временем подошёл к концу 44-й. Год крутого перелома в истории страны и в нашей жизни. Нам позволили жить, чтобы трудиться. И оставшиеся в живых сдали первую очередь объектов Челябинского металлургического завода СССР, как теперь стал называться Бакалстрой. Будто в память о погибших поднялись в высоту и дали металл запланированные к пуску домны и печи. Наш тяжкий труд воплощался в танковую броню, пушки и автоматы, «Катюши» и солдатские каски – во всё то, что помогло в следующем, 1945-м году добиться окончательной победы над врагом.

Ничего бы этого не было – ни домен, ни мартенов, ни самих немцев, которые их воздвигали, не случись перелома в ходе смертельной войны.



8

ИЗГОИ

В Саткинском лесозаготовительном районе, располагавшемся среди отрогов Уральских гор и непроходимых топей, управляться с древесиной можно было лишь с помощью лошадей и только зимой. Поэтому с первыми признаками весны, когда начала подтаивать ледяная дорога, нас снова стали собирать в путь. Работы прекращались до следующей зимы, а «личный состав» отдельной колонны направлялся в Челябинск, на главную стройку, для пополнения заметно поредевших «трудармейских» рядов.

Отправляли, как всегда, под конвоем, в «телячьих» вагонах. На этот раз оборудованных по всем правилам, но опять-таки, как обычно, крепко запертых. С той лишь разницей, что везли нас не шесть, а всего одни сутки.

Отшагав 15 километров от Челябинска и пройдя через главные ворота внешнего оцепления, мы с Соломоном Краусом отправились в политотдел. Конечно, с позволения старшего по внутреннему конвою. Год назад за нами с «пушкой» шагал бы конвой, сопровождая лагерную партийно-комсомольскую «номенклатуру». Теперь обходились без него. Это был явный признак произошедшего потепления лагерного «климата». Правда, в рамках общего Бакалстроевского проволочного оцепления.

Направления на работу для нас были готовы: Краусу – секретарём партбюро в лагпункт подсобного хозяйства № 2, мне – комсоргом 1-й отдельной колонны в подсобное хозяйство № 1. Там мы и «дослужили» до конца лагерной эпопеи.

В ожидании, пока за мной приедут из подсобного хозяйства, находившегося в 29-ти километрах от стройки, я дней 10 находился в 1-м стройотряде. Это был лагерь строителей посёлка, предназначенного для эвакуированных металлургов. Проспектом Металлургов была названа первая улица нынешнего Металлургического района Челябинска. Состояла она тогда из многочисленных односемейных домиков, возведённых нашими немцами из потанинского кирпича, в производстве которого была и доля моего труда. Лагерные бастионы 1-го стройотряда стояли непоколебимо и во всём напоминали 4-й отряд, каким он был двумя годами раньше. 600 граммов хлеба, полагавшиеся «этапному трудмобилизованному», наводили тоску. Оставалось только бродить по лагерю в поисках «отвлекающих факторов», чтобы не так сильно хотелось есть. Для пользы предстоявшего мне дела я решил основательно ознакомиться с добротной сделанной наглядной агитацией. Бросилось в глаза обилие «молний», плакатов и приветствий в честь передовых строителей. Явно не выдуманный трудовой порыв уставших до упаду рабочих, подкреплённый пропагандистским обеспечением. Разные там пышные слова для «молнии» можно, конечно, изобрести. По себе знаю. Но для этого прежде всего нужны конкретные факты, подлинные фамилии людей из реально существующих бригад. А их, как я увидел, было приведено немало. Назывались десятки каменщиков, которые вместе с подсобниками укладывали по 10-12 тыс. кирпичей в смену, бригады плотников, собиравших за один день питовой барак, штукатуров, дававших по 5-6 норм. Броские «молнии» сообщали о «фронтных вахтах» и достижениях ударников. Вдоль главной аллеи шли ряды написанных профессиональной рукой портретов «пятисотников», «тысячников», бригадиров передовых «фронтных» бригад. Значит, подумал я, и здесь «трудмобилизованных» фотографировать

не допускается – как говорили, из «соображений секретности». Знали там, наверху, что творят несправедное дело! Знали и боялись малейших документальных свидетельств.

Не зря говорят: мир тесен. Применительно к узникам Челябинского металлургического завода это верно вдвойне – примерно каждый пятый-шестой оставшийся в живых «трудармеец» прошёл через его смертные лагеря. Вот и мне встретился в Киргизии упомянутый Степан Баст, плотник из того самого 1-го стройотряда. Как и многие другие немцы, в 1944 г. ходил он со своими товарищами в передовиках.

– Мы вчетвером – я, Реферунс, Кюн и Грюнвальд – за день ставили из палаток барак на 35 комнат, – рассказывал Степан. – По соседству на таком же бараке работала целая бригада – 20 человек. И сейчас ещё трудно в это поверить! Трудились действительно от души! Но и питались неплохо. Почитай, каждый месяц получали на брата посылку политотдела. Премия такая была особо отличившимся. В посылке – полкило сливочного масла, кило гречневой крупы, сахар и даже папиросы. Мы жили, как короли! Хотя и вкалывали каждый за пятерых.

Наверное, их фамилии тоже красовались тогда на одной из «молний» в 1-м стройотряде. Они вполне того заслуживали. Что касается посылки политотдела, то это была поистине дорогая награда, соединявшая, как говорится, приятное с полезным. Я тоже пару раз имел счастье получить её, будучи комсоргом колонны.

Там же, в 1-м стройотряде, в многотиражке «За сталинский металл» я впервые увидел портрет зачинателя движения бакалстроевских «тысячников» Степана Вернера.

– Ба! – сказал я себе. – Так это же дядя Степан! Вот это да! А я и подумать не мог, что мой родственник прославится на всю стройку!

Увидеться с ним тогда не пришлось – он находился в 3-м стройотряде. Но год спустя я навестил дядю Степана в его собственной «квартире» – крошечной барачной комнатке, которую он одним из первых «трудмобилизованных» получил вне «зоны». Здоровый, двухметрового роста детина еле помещался на 8-метровом пятачке.

Первым долгом я полубопытствовал тогда, на какой работе и как ему удавалось выполнять по 10 норм. Оказалось, что он на ремонтном заводе готовил для загрузки в вагранки (чугоноплавильные печи) металлический бой. Сложив чугунные чушки одну на другую, он специально изготовленной утяжелённой кувалдой умудрялся одним ударом разбивать впятеро больше чушек, чем это делали другие. Пока отдыхал, подсобники складывали новую «стопку», и ему оставалось только умело, с оттяжкой ухнуть по ней кувалдой. А управ-

ляться с молотом он умел. Этому его научил мой отец, у которого дядя Степан когда-то работал молотобойцем.

В трудовом порыве, который не только на словах, но и на деле охватил лагерников Челябинского металлургического завода, не было ничего необъяснимого. Его причины, что называется, лежали на поверхности. Они состояли прежде всего в изменившихся физических и морально-психологических условиях существования «трудмобилизованных». Начиная с лета 1943 года, были установлены более или менее сносные нормы питания. С января 1944 года конвоиры перестали сопровождать немцев на работу, унижать и оскорблять их. Хотя бы частично исчезли из повседневного обихода издевательские клички «фриц» и «фашист», с помощью которых «вольняшки» пытались скрасить горечь от поражений Красной Армии.

Конечно, есть хотелось всегда. Усиленного питания требовали интенсивный труд и отоппавший от двухлетнего голодомора организм. Но это был уже не тот смертный голод, который, как траву, косил людей. Теперь умирали главным образом от обретенных на лесоповале болезней, прежде всего от туберкулёза лёгких. В результате сильнейшей убыли «рабочего фонда» на стройке осталось не более 30-35 тыс. немцев.

Одновременно на деле подтвердилась истина, которую я внушал себе в 1942 г.: работу 100 тысяч бакалстроевцев, согнанных для сооружения металлургического комбината, можно было с успехом выполнить втрое меньшим числом людей, если соответственно повысить им нормы питания. Но – нет! Не стройки, рассчитанные на годы вперёд, а ликвидация подозрительного немецкого «контингента» была тогда главной заботой ГУЛАГа.

Дополнительное тому подтверждение я совсем недавно получил в письме Леопольда Кинцеля, присланном из Стендаля (Земля Саксония-Ангальт). В известном своим изуверством Ивдельлаг, где он находился, из 840 немцев, поступивших в лагерь в феврале 1942 г., через 5 месяцев осталась половина. Но и среди них только немногим удалось перепагнуть губительный рубеж 1942/43 годов. Все эти люди погибли голодной смертью.

Теперь, за полтора года до Победы, задачи в отношении «мобилизованных» немцев изменились на прямо противоположные. Советскому государству, которому удалось переломить ход войны и сохранить большевистскую диктатуру, требовались не мёртвые, а живые, вечно виновные и обязанные ему рабы. Тем более, что немецких мужчин уцелело лишь немногим более половины, а в целом немцев – менее

двух третей их лагерного состава.

Добропорядочные, не подозревавшие коварного подвоха люди восприняли происходившие перемены не только как благо дарованной им жизни. В них они увидели признаки долгожданной свободы, которую принесёт недалёкая уже теперь Победа. С присущим им прилежанием и пробудившимся честолюбием трудились немцы во имя будущего, надеясь, что понесённые ими жертвы и созданные ценности будут по достоинству оценены.

Чтобы понять причины тогдашнего трудового порыва в условиях лагерного заточения, надо, кроме всего прочего, знать черты противоречивой немецкой натуры, которые тоже постепенно восстанавливались после пережитого. Это прежде всего повышенное чувство собственного достоинства, стремление к первенствованию. Иметь всё лучшее – дом, хозяйство, урожай, мебель, даже забор и цветник перед домом! Эти черты проявлялись у них даже в самые тяжкие дни «трудармии».

– Ты же немецкий человек! – говорили опустившемуся, утратившему желание жить соплеменнику его товарищи. Дескать, держись, не теряй своего лица!

Такую марку держал и Степан Вернер. В глазах других он должен был быть самым сильным и даже самым красивым. И ходил всегда петухом, с гордо поставленной головой. Хотя не было у него ни кола, ни двора. Часто жил у нас, работая вместе с отцом в кузнице. Мне он нравился своим бескорыстием и всегдашней готовностью помочь другому. Не раз выручал он в последние «трудармейские» годы и меня. Так что дядя Степан просто не мог не проявить себя, коли уж дожил до середины 43-го года.

Мне не известны факты, которые бы свидетельствовали о подобном воодушевлении в труде среди заключённых ИТЛ, хотя они имели куда больше оснований надеяться на официальное помилование в честь Победы, чем «трудмобилизованные» немцы. Так оно, в сущности, и получилось. «Победная» амнистия была объявлена для уголовников в середине 1945 г., когда в «немецких» лагерях ещё прочно стояли заборы с колючей проволокой.

Летом 1944 года на собрании лагерного партийно-комсомольского актива, где я присутствовал в качестве комсорга, начальник политотдела строительства полковник А.Г. Воренков, суммируя достигнутое, подчеркнул, что за неполные 2,5 года в тяжелейших условиях и почти вручную не только создана база стройиндустрии, но и построены две доменные печи, мартеновский цех, два прокатных стана, электроста-

леплавильный цех, ТЭЦ, коксохимический завод, рудник и фабрика по переработке бакальской железной руды. Комбинат стал важной опорой фронту. «Мы, – говорил он, – ставим перед ЦК вопрос об отмене лагерного режима и улучшении питания, представляем к наградам подлинных героев трудового фронта. Победа близка! Родина не забудет трудовых подвигов во имя победы над гитлеровскими оккупантами...»

Мы верили, что так оно и будет. Справедливость не может не восторжествовать! Но, забегаая вперёд, скажу: не оправдались наши и его – хотелось верить – идущие от сердца желания. Никто из «трудмобилизованных» Челябинметаллургстроя и других «немецких» лагерей не получил тогда никаких наград. Даже медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-45 гг.», которую выдавали чуть ли не каждому второму. Более того, грамот нам тоже не вручали. Не положено! Секретно! Никаких документальных свидетельств о существовании лагерей для российских немцев на руках быть не должно! И потому, выходит, мы непричастны к построенным объектам. Будто они сами по себе возникли на недавних пустырях.

Не найдёте вы в России и теперь, после бурных перемен последних лет, почти никаких «немецких» памятных знаков – ни в Челябинске, ни в Краснотурьинске, ни в Нижнем Тагиле, ни в других краях и весях, где в войну вкалывали и умирали «трудмобилизованные», помогая ковать Победу. Замалчивание антинемецкого геноцида было и остаётся постулатом государственной политики – в том числе и для нынешних «демократических» властей. Тысячу раз был прав Л. Толстой, утверждая: «Мы любим тех, перед которыми не виноваты, и очень не любим тех, перед которыми виноваты...»

О чувствах, которые обуревали российских немцев в предпобедный период и после него, вспоминает упомянутый Александр Мунтаниол: «Шёл 1946-й год, вышел Указ о награждении тружеников тыла медалью за войну. Никого из наших 'трудармейцев' ею не пожаловали. Получается, мы не трудились, ничего не сделали для Победы? На электростанции, где я работал, была уборщица тётя Маша, русская по национальности. Её наградили, она с гордостью носила эту медаль, а мы на всё это смотрели с недоумением: как же так? Чувствовали, что с нами опять происходит что-то недоброе.»

Почти полвека спустя, в 1991 г., советское государство после долгих раздумий всё-таки решило «наградить» за пятилетний каторжный труд немногих оставшихся узников «рабочих колонн». Наградить скопом, на уровне «тёти Маши». Иначе, как со стыдом, об этом, право, не вспомнишь. Воистину: гора родила мышь!

На фоне нашего массового национального движения «Видергебурт» за восстановление государственности на Волге и упорного противодействия ему со стороны партноменклатуры горбачёвское руководство разрешилось жалкой подачкой, перечеркнув надежды людей на восстановление порушенной справедливости.

Будто в издёвку «трудармейцев» пожаловали медалью с изображением Сталина. Того самого, по злой воле которого российские немцы прошли через три круга ада – депортацию, «трудармейские» концлагеря и спецпоселение, унёсшие жизнь трети немецкого населения СССР. Совершенно прав бывший затворник Краслага Бруно Шульмейстер, назвавший сталинско-горбачёвскую медаль каиновой. Он (как, кстати, и я) из принципиальных соображений отказался от этой «награды».

Но всё это было потом. А в период трепетного ожидания конца войны ритм «трудармейской» жизни начал ускоряться. Вот что пишет об этом, к примеру, упомянутый Рейнгольд Дайнес:

«Шло лето 1944 года. Наша бригада грузчиков работала на доставке угля к бункерам вспомогательной электростанции в Краснотурьинске, где строился Богословский алюминиевый завод. В один из дней на рабочем месте нас поджидал главный энергетик станции Козаченко. Он пожелал нам доброго утра и сказал:

– Товарищи! На главной станции остановлен генератор. Мы получили фронтное задание – использовать на полную мощность нашу станцию, чтобы не допустить остановки строительства. Для этого нужно дать котлам столько угля, сколько они смогут потребить. И ни грамма меньше! За срыв задания мне не избежать 58-й статьи, и вам тоже не сдобровать.

– Будет сделано! – последовал ответ. Мы были патриотами советской Родины, но ещё больше не хотели замены Козаченко, который всеми правдами и неправдами выводил нас высший, третий котёл.

Нас было 12 человек – от 19-ти до 22-х лет. Нам предстояло вручную как можно быстрее загружать вагонетки, которые лошадьми доставлялись к бункерам станции. Работали как бешеные, без перерывов и перекуров. Пот, смешанный с угольной пылью, ручьями стекал по лицу и телу. Котлы пожирали уголь, как изголодавшиеся за зиму волки. Каждый час раздавался удар по куску рельса, и голос из 'служебки' сообщал, сколько угля поступило в бункеры шаровой мельницы.

К концу 12-часовой смены все были обессилены. Дважды пришлось сменить тягловых лошадей, но адова работа продолжалась. Наконец, раздался последний удар гонга. Голос по открытой связи оповестил:

'20 часов. Бункеры заполнены. Погружено 365 тонн угля – по 30 тонн на каждого!' Наше место заняла ночная смена. Нас, чёрных от грязи, собрал Козаченко.

– Друзья, – сказал он, – прежде всего большое вам человеческое спасибо! Вы сделали больше, чем было в ваших силах. Сердечно благодарю вас от имени партийной организации и руководства станции. Это всё, что я могу для вас сделать, но скоро и на нашей улице будет праздник! А сейчас пойдёмте в лагерь, где вы получите усиленный ужин, табак и мыло.

Редкие по тем временам слова благодарности имели для нас, 'трудармейцев', большое значение. С ликованием было встречено и сообщение об ожидавшем нас вознаграждении. В особенности – о 150 граммах водки, которые полагались к премиальному ужину. Ещё бы: это было первое вышитое нами спиртное за 2,5 года!»

Изменения к лучшему произошли даже в знаменитых своей жестокостью Пермских лагерях. Об этом сообщает в статье «Тимшер и другие» упомянутый Фридрих Лореш.

Летом 1943 года, пишет он, питание в лагере улучшилось, и в результате стало больше заготавливаться леса, а немецкую рабсилу приходилось чаще перебрасывать на новые места. Так, автор вслед за «Ильинкой» попал в лагпункт «Мазуня». Тамешний начальник лагеря, бывший заключённый, не забывал о питании «трудмобилизованных». Ему нужны были люди, способные валить лес, а не «доходяги». От голода теперь никто не умирал.

Немцы, продолжает Ф. Лореш, работали с подъёмом, надеясь на возвращение к своим близким и восстановление справедливости. К людям постепенно возвращалось чувство юмора, зазвучали не забытые в неволе песни. В лагпункте «Чельва», куда заготовители леса переместились в 1944 г., среди «трудармейцев» нашлись искусные музыканты. Была организована самодеятельность.

Ф. Лореш упоминает и о таком примечательном факте. За успехи в заготовке леса начальник лагеря Васильев был награждён орденом. В честь этого события он устроил пир на берегу Камы с участием «трудмобилизованных». В своей речи Васильев поблагодарил присутствующих за самоотверженный труд. Накормил их как следует, выкатил бочку вина. Гремела музыка, выступали лагерные «артисты». Немцы были тронуты этим редкостным актом внимания. «Вообще вклад 'трудармейцев' немцев в заготовку леса для страны был велик. Но я не помню ни одного случая, чтобы кто-то из нас был отмечен наградой», – справедливо отмечает автор.

Об изменившемся к концу войны мироощущении узников «трудармии» упоминается во многих воспоминаниях о той необычной лагерной поре. Несмотря на скудную еду, жалкую одежду и изматывающую 12-часовую работу, теперь находилось время для шуток, безобидных розыгрышей, песен, музыки и даже танцев, где пары составляли одни мужчины. Перемена объяснялась не только повышенными нормами питания, но и улучшившейся моральной атмосферой. Это было время радостных ожиданий и надежд, которые лучше всякого спиртного согревали очерствевшие мужские души.

Я долго думал, кого бы расспросить о том, как веселились в ту пору немцы, чтобы «выпустить пар», накопившийся за годы заправолочного существования. Остановился на «юморном» человеке, о котором говорили, что он не унывал даже в тяжелейшие моменты «трудармейской» жизни. Это был Петер Краус, самодеятельный артист, сочинитель небылиц, мастерски рассказывавший анекдоты. Мне хотелось хоть немного скрасить трагичное содержание книги, дабы у читателя не сложилось мнения, что наши немцы — безнадежные пессимисты с вечно грустными, как у коровы, глазами.

Но мою просьбу рассказать что-нибудь веселенькое из «трудармейской» поры, он вспомнил несколько эпизодов, которые я попытаюсь передать.

Отбывал он «трудармию» в Ивдельлаг, на Чёрной Речке. В их колонне было два друга — Гросс и Кляйн. Вопреки своим фамилиям Гросс был маленького роста, а Кляйн — длинный и тощий, как жердь. Поначалу этого никто не замечал, а позднее их часто просили встать рядом и смеялись над необычным парадоксом.

Многие немцы, отмечал Петер, говорили по-русски с сильным акцентом, что также нередко становилось поводом для веселья. Ему вспомнился, к примеру, случай с Сашей Шнайдером, шофёром выдавшего вида старого грузовика. На вопрос, почему он опоздал в гараж, Шнайдер ответил: «Кляпана полтаются... Мотор саклэх... Чёрт потери!...» Эти слова долго не сходили с уст у шофёров, вызывая весёлый смех.

«В последние годы 'трудармии', — рассказал о себе П. Краус, — я работал кондуктором на лесной узкоколейке, по которой на 'большую дорогу', в Верхотурье, вывозилась древесина, заготовленная немцами, а позднее и заключёнными. По сравнению с 'настоящей', наша дорога казалась игрушечной: маленькие паровозы, вагоны, стрелки. Правила движения и сигнализации тоже напоминали игру в большую дорогу. Поэтому и отношение к ней было ироничное.

В то время, когда наших 'трудармейцев' ещё водили на работу под конвоем, мы, железнодорожники, были уже расконвоированы и жили гораздо веселее. А к концу войны, когда впереди засветилась свобода, шуткам и смеху вообще не было предела. Поводом для большинства розыгрышей являлась наша дорога.

Так, при назначении нового кондуктора из числа непосвящённых было принято устраивать ему 'экзамен'. На подъёме, когда паровозик напрягал все силы, чтобы вытащить наверх два десятка гружёных вагонов, новичка подзуживали влезать на тендер и тщательно размешивать палкой воду, 'чтобы пар гуще был'. Потом розыгрыш раскрывался ко всеобщему смеху и удовольствию.

Активное участие в 'хомах' принимали братья Миша и Коля Оппенгеймеры (уже тогда немцы начали называть себя русскими именами). Но и над ними подтрунивали вдоволь: вдобавок к слабому знанию русского языка они сильно заикались.

Скажем, была у нас такая игра с мячом: при возгласе 'Воздух!' поймавшему мяч надо быстро назвать кого-нибудь из летающих пернатых и т.п. Ловить неожиданно летящий к тебе мяч и одновременно вспомнить требуемое название удавалось не каждому, и из уст часто вылетало невпопад сказанное слово, вызывая взрыв смеха. Трижды труднее приходилось Оппенгеймерам. Скажем, на восклицание 'Вода!' Саша отзывается 'К-к-кампуля!', а Коля в ответ на слово 'Земля!' тянет 'П-п-пультах!'

И ещё о Саше. Дежурный по станции Мостовая спрашивает у него, машиниста опоздавшего поезда:

— Чего так долго ехал?

Оппенгеймер не может подыскать нужные русские слова:

— Од-дин в-вагон, од-дин телешка — тра-та-та-а! Пошёл на низ!

Объектом постоянного 'подначивания' являлся и бригадир путейских рабочих, несколько наивный и плохо говоривший по-русски Андрей Фишер. К тому же он был ещё и трезвенником. В последние годы 'трудармии' наши мужчины по праздникам обычно сбрасывались на скромное застолье. Он отнекивался, но его 'прижимали', хотя знали, что пить он не может. Однажды Фишера вырвало, и он выдал очередной афоризм, который затем передавался из уст в уста:

— Мне ничего не шалько! Шалько только котлета, которая я ел!..

Однажды среди ночи дежурный по станции Ступино Николай Лидер предложил, чтобы разогнать сон:

— Давайте разыграем Фишера!

Звонят ему по телефону:

- Боровлянка!
- Та, та! Фишер слушает!
- Какой длины у тебя шнур от аппарата до трубки?
- Метра полтора путет...
- Метр оставь, а остальное всунь себе в ...
- Тьфу! Турак!

Подождав с полчаса, пока Фишер заснёт, звонят снова:

– Слушай, Фишер! Произошла опшибочка: оставь полметра, а метр воткни ...

– Тьфу! Твашды турак!

Вот так и развлекались в редкие часы досуга наши немцы, когда к ним вернулись прежние силы...»

В беседах с бывшими «трудармейцами» я не задавался целью выявить только одну – трагическую или героическую – сторону тогдашней лагерной жизни. Каждый рассказывал то, что считал нужным, что наиболее ярко врезалось ему в память. Но при всём том сквозь грустные и драматичные рассказы в качестве резюме, как правило, проходила мысль, что вот и мы, наши немцы, вместе со всеми разделили тяжёлую и в то же время героическую военную страду. Разделили, оставив немалый вещественный след. Один вышеупомнутый Иван Шипц в лагерях Ивдельлага на протяжении пяти лет выдавал ежедневно по 10 кубометров леса. А Адам Шлайхер (тоже из Киргизии) вместе с другими «трудмобилизованными» построил в городе Гремячинске и округе 70 угольных шахт.

Неуёмную немецкую натуру я нашёл в Каспаре Басте, жителе Фрунзе (Бишкека) – шумном, полном юмора, двухметрового роста человека с большими могучими руками. Уроженец Поволжья, он с сохранившимся до сих пор сильным акцентом рассказывал мне по-русски:

– Я как приехал в Турьинский район на лесоповаль, так сразу скажешь себе: «Если матка увидеть хочешь, то надо рапотать.» Лучковая пила в субы – и в лес! В одна куча валил деревья, пять шенщин сучья рупить не успевали. По 30-40 купометров, два вагона лес за один день валили. Наша пригада фронтовая считалась. «Один дерево – один фашист!» – такой у нас присказка пыль. Только две пригады в лагере пыло – наш и пригада Лейман. 5 лет так рапотали. Нахрады какие, спрашиваешь, получил? Никаких нахрат никому не тавали. Даже освопотили бес документ, отправили к месту шительства как уголовник. В какой организации рапотал, до сих пор не снаю. Все называли ОЛП (отдельный лагерный пункт – Г.В.).

Питание? Для фронтовой бригад таже отдельный стол ввели.

Кило твести хлеб, каша получали. Умирали интеллигенция, старики, больные, «доходяги». По 5-6 человек каштый тень. Остались только молотые.

На вопрос о том, работали ли на лесоповале немецкие женщины, он ответил утвердительно: да, они и жили в такой же «зоне», с одной кухни баланду хлебали.

– Любили ли мы их? Да, только вприглядку. Отна пуханка хлеб пыла лучше, чем отна тefочка!

Вот такой разговор состоялся у нас с этим интересным человеком в клубе Фрунзенского кожзавода, где он, «дядя Коля», проверял в 1990 г. входные билеты.

Что представляли собой «трудармия» и её «личный состав» в предвесеннюю пору 1945 года? Об этом можно судить хотя бы по фотографии, помещённой в московской газете «Нойес Лебен» в 1994 г. Словесное описание не способно заменить зрительного восприятия снимка, но у нас, к сожалению, нет другой возможности наглядно представить себе печально известные лесозаготовки, на которых было занято не менее половины всех «трудмобилизованных» немцев.

Надпись под снимком гласит: «Трудармейцы на погрузке леса». На переднем плане – начатый штабель ровных трёхметровых берёзовых «балансов», которые шли на изготовление ружейных прикладов. Подалеже расположились в ряд семеро грузчиков. Один сидит на возвышении штабеля. Это, без сомнения, бригадир. За рабочими, на заднем плане, видна наполовину загруженная автомашина. На ней, поддерживая руками конец бревна, стоит парнишка. Его дело – принимать и укладывать в кузове тяжеленные брёвна. Рядом с открытой дверью грузовика – шофёр. Все одеты по-зимнему, но шапки у большинства завязаны ушами кверху. За напряжённой работой становится жарко, да и погода стоит весенняя – на снимке видны лишь остатки снега. Одет каждый кто во что горазд: старые, изношенные фуфайки, какие-то (видимо, брезентовые) куртки, мешковатые ватные штаны. У грузчика, стоящего рядом с шофёром, видны крест-накрест завязанные бечёвки на онучах, а ниже – нечто, напоминающее лапти. Мужчинам на вид лет по 30-40. Ни у кого нет и тени улыбки, а у некоторых лица явно сердиты. Во рту цигарки. Ясное дело – стоять без работы, а тем более фотографироваться можно было только во время перекура. Уже по округлым лицам грузчиков видно: на дворе не 42-й и не 43-й год. В то время конвоиры и близко не подпустили бы к запретной зоне фотографа (да и откуда ему взяться в глухой тайге?). К тому же иметь при себе снимки «трудармейских» времён категорически запрещалось пра-

вилами режима. А главное – немцам тогда и в голову не пришло бы сняться в виде жалких лагерных «доходяг». В отличие от той поры, вид у лесорубов солидный, позы – уверенные.

Мне, бывшему бригадиру подобных грузчиков, эта фотография особенно близка. Застывшее на ней мгновение напоминает об Ильменском заповеднике и таких же работающих парнях, как эти. Жаль только, выглядели мы тогда совсем иначе...

И, как всегда при воспоминании об Ильмене, мне приходит в голову благодарная мысль о докторше Наталье Ильиной, встреча с которой наверняка спасла мне жизнь. Оттолкнувшись от этого факта, я хочу ещё раз вернуться к судьбе людей умственного труда, жизнь которых в условиях «трудармейского» беспредела, как правило, зависела от Его Величества Случая.

Более пяти лет продолжалась каторжная «трудармейская» принудилка, и далеко не всем немецким затворникам ГУЛАГа удалось дожить до её не очень-то счастливого конца. По ту сторону роковой черты остались прежде всего немцы интеллектуальных профессий, которых было немало среди столичной и провинциальной интеллигенции. Выловленные гигантской карательной сетью, за колючую проволоку попали и представители советской «народной» интеллигенции, и осколки немецких династий, ещё с петровских времён верой и правдой служивших России. Это были учёные, военачальники, партийные и государственные деятели, в т.ч. из Республики немцев Поволжья. Те немногие немцы-интеллигенты, чьи имена были на слуху, с началом войны отправились в «почётную» ссылку, если не в небытие. Один из первых Героев Советского Союза, генерал-майор Эрнст Шахт к этому времени уже находился в следственном изоляторе города Энгельса, столицы АССР НП. Многих крупных хозяйственников-немцев депортировали на восток для «укрепления руководства» предприятиями. (Среди них был, к примеру, бывший начальник Главмеди Наркомчермета СССР Николай Андреевич Биттель, назначенный начальником Управления каппостроительства Джезказганского медеплавильного завода.)

Положение лагерной интеллигенции отличалось особой трагичностью – её, вдобавок ко всему, зоологически ненавидело энкаведешное начальство и травила вохровская въедливая мелкота, как и следовало ожидать от люмпенов. Эта категория «трудармейцев» была изначально обречена на погибель.

На первых порах, зимой 1942 года, всё без разбора подконвойное немецкое население выгоняли на общие работы, где главными орудиями труда являлись лопата, лом, кирка и знаменитая лагерная тачка. Ими

рыли каналы, строили железные дороги, возводили заводы-гиганты и, как было запланировано, копали могилы. Одними из первых в них попали интеллигенты, не приспособленные к физическому труду и преодолению обрушившихся на них тягот. Примерно полгода спустя, когда армия землекопов поднялась выше нулевого цикла и на стройках начались монтажные работы, понадобились дожившие до этого момента инженеры, техники, бухгалтеры, плановики и другие специалисты. Устраивались, как могли, служители богемы – художники, музыканты, артисты. Для констатации массовых смертей требовались медики.

Хуже всего пришлось тем интеллигентам, которые оказались в тяжёлых лесозаготовительных лагерях, где совсем не нужны были люди умственного труда. (Здесь работали исключительно пилой, топором и вагой – универсальным инструментом, с помощью которого в лесу управляют со спиленными кряжами.) Как ни старались они спасти свои жизни, их неизменно бросали на губительный лесоповал. Там подобный «контингент» оказывался в убийственном порочном круге: не выполнил норму – получишь 600 граммов хлеба, сядешь на этот второй котёл – не дашь норму. Далее следовала логическая развязка – «доходяга», ОПП, голодная смерть.

В этой чрезвычайной ситуации главным распорядителем человеческих судеб становился Случай. Отсюда заголовок интервью, которое дал в 1994 г. московской газете «Сегодня» Б.В. Раушенбах: «Мою жизнь сделал возможной ряд случайностей.»

Академика Бориса Викторовича Раушенбаха «своим» считают многие: космонавты – он действительный член Международной академии астронавтики; искусствоведы – он автор книг по иконописи и древнеегипетской живописи; богословы – за труды по теологии; философы – он член редакционного совета серии книг «Из истории отечественной философской мысли»; физики – за цикл работ по теории и системам автоматического управления, необходимым при освоении космического пространства. Мы же считаем его «своим» потому, что он, будучи немцем, разделил судьбу нашего народа, в т.ч. в проклятой «трудовой армии».

Накануне войны и в её начальный период Б. Раушенбах работал в Московском ракетно-реактивном институте, занимался проблемой самонаводящихся зенитных снарядов. Задание было интересным, но выполнить его он не успел: учёного отправили в Нижне-Тагильский лагерь (Тагилстрой).

На общих работах в лагунке при тамошнем кирпичном заводе ему, к счастью, довелось пробыть не очень долго. Задача по зенитным

снарядам была настолько увлекательной, что он и за «колючкой» продолжал считать. Получив решение, отправил его по прежнему месту работы. Убедившись, что над этой темой можно трудиться даже в лагере, руководство договорилось о дальнейшей деятельности Б. Раушенбаха с начальством ГУЛАГа.

Говоря о роли случайностей, Б. Раушенбах заметил в своём упомянутом интервью:

— Они самым неожиданным образом поправляли мои дела. Когда анализируешь их, думаешь, чушь какая-то, но именно это играло решающую роль. После лагеря, когда я был под надзором в ссылке, мне сказали, что есть указание перевести меня в город такой-то. Но город только что получил новое название, старое — не указывалось, и никто не знал, где он находится. В результате решили, что я поеду в Москву, в МВД мне скажут, куда отправляться дальше. Таким образом всего через два-три года после лагеря оказался в Москве. Тут была другая цепь случайностей, благодаря которой остался в столице, стал заниматься тем, чем и занимался — ракетными двигателями.

На вопрос корреспондента газеты: «Вы достигли мировой известности. Значит ли это, что судьба к Вам благоволила?» Б. Раушенбах ответил:

— Нет. Я считаю, что сделал очень мало по сравнению с тем, что отпущено мне Богом. Дело в условиях жизни: не в тот институт поступил, затем — лагерь, загнали туда, затем сюда, не то делал, что мог бы. В таких условиях трудно реализоваться. Хотя, признаюсь, судьба меня хранила. И в лагере остался в живых, несмотря на то, что половина всех российских немцев погибла в годы войны именно в лагерях.

Подумать только: режим, имя которому большевистская власть, был таков, что ставил человека «подозрительной» национальности (не только немецкой) в условия, когда не собственная воля, согласованная с законами развития общества, а стихия в виде цепи случайностей определяла, как ему жить и жить ли вообще! Стать видным художником, музыкантом, учёным или истлеть в безвестной могиле, как произошло с сотнями тысяч «трудармейцев», отданных в безраздельную власть ГУЛАГа.

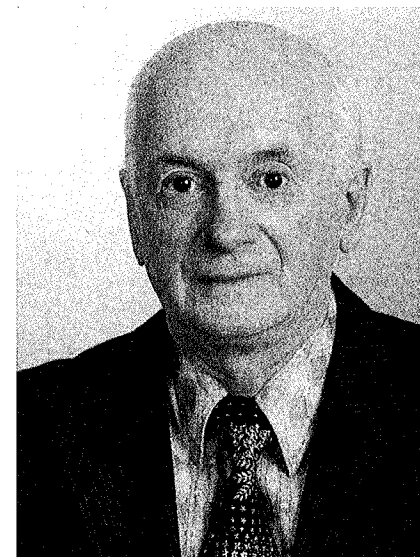
Подтверждение сказанному я нашёл в письме, полученном от супругов Елены и Герхарда Грасмик. Ещё совсем недавно они проживали в Нижнем Тагиле, сделав немало доброго для «трудармейцев» и их потомков. С их участием на Рогожином болоте(!), где зарывали погубленных немцев из стройотряда № 18-74, был сооружён первый на территории СССР памятник «трудармейцам».

В письме рассказывается о продолжателе известной династии немецких врачей-хирургов Теодоре Грасмике. В 1944 г. его перевели со строительства железной дороги Свияжск-Ульяновск в тот же Нижне-Тагильский лагерь и отправили на лесоповал. Несмотря на то, что в «зоне», где он содержался, не было врача, ему не разрешили работать по специальности. Помог случай — серьёзно заболел важный генерал. Днём и ночью ему не давала покоя невыносимая боль, но никто из местных медиков не мог оказать квалифицированной помощи. Тогда вспомнили о лесорубе из «немецкого» лагеря Грасмике. Его под конвоем доставили в больницу, и он прооперировал больного. Генерал выздоровел. Благодаря этому случаю Грасмик получил постоянный пропуск на выход из «зоны» и стал работать в городской больнице. Талантливый хирург приобрёл широкую известность в городе благодаря своим редким в ту пору операциям на лёгких.

По стопам отца пошёл и его сын — доктор медицины Герхард Грасмик, который живёт в настоящее время в Стендале (Земля Саксония-Ангальт). Он и супруга не порывают связей с немцами из Нижнего Тагила, где прошла основная часть их жизни.

Челябметаллургстрой НКВД СССР не входил в число лагерей, где, согласно вышеприведённой справке ОУРЗ ГУЛАГа, «естественная» убыль немецкого «контингента» достигала критических масштабов. Здесь погибали главным образом люди старше 40 лет, а также те, кто «на воле» занимался умственным трудом. Из числа последних выжила, видимо, только половина.

Представление о том, кто из немецких интеллигентов томился в челябинских застенках, можно получить по воспоминаниям Александра Кесслера, старшего нарядчика стройотряда № 7, а впоследствии начальника финансового отдела Челябметаллургстроя. В его памяти сохранились имена многих немцев, которым посчастливилось выжить в душегубке первого «трудармейского» года.



Герхард Грасмик

Поначалу, пипет А. Кесслер, все «трудмобилизованные» работали на земляных и других подготовительных работах. Пережившие этот зимне-весенний ад постепенно, по мере появления потребности в специалистах (которых не удавалось набрать из вольнонаёмных), переводились на работу по специальности. Чтобы не утомлять читателя длинным перечнем имён и фамилий, приведу только часть списка, составленного А. Кесслером. Но и по ней видно, сколько незаурядных немецких интеллигентов, на долгие годы вырванных из творческой жизни, содержалось в «тудармейских» лагерях.

1. Альтерголт Владимир Фёдорович, д-р наук, проф., композитор, исполнитель песен и романсов (3-й стройотряд);
2. Пельтцер Фёдор, актёр, племянник нар. артистки СССР Т.И. Пельтцер (6-й отряд);
3. Геммерлинг Георгий Владимирович, д-р наук, проф. (15-й отряд);
4. Кирай Александр, член Союза художников СССР (15-й отряд);
5. Леонгард Александр Кондратович, бывший нач. Саратовского военного училища, полковник (7-й отряд);
6. Дипольт Николай Александрович, бывший командир полка, полковник (7-й отряд);
7. Руш Александр Александрович, д-р наук, проф., бывший зав. кафедрой хирургии Ташкентского мединститута (6-й отряд);
8. Эрн Александр Оскарович, проф., невропатолог (6-й отряд);
9. Ильч Эдуард Яковлевич, проф., хирург (7-й отряд);
10. Фрик Фёдор Фёдорович, врач, канд. мед. наук (6-й отряд);
11. Майер Виктор Юльевич, инженер-механик, бывший зам. директора НИИ (6-й отряд);
12. Симоне Марк Николаевич, инженер-механик, певец, художник (6-й отряд);
13. Валенцер Иван Александрович, артист, директор Дворца строителей (6-й отряд);
14. Утс Борис, член Союза художников СССР (6-й отряд);
15. Керер Рудольф, проф., знаменитый пианист (7-й отряд);
16. Шнайдер Леонид, спортсмен, писатель (6-й отряд);
17. Экк Клеменс (Климентий) Андреевич, очеркист, прозаик, учитель, корреспондент немецких газет (7-й отряд);
18. Блянк Ричард, учитель, журналист (15-й отряд);
19. Альтмайер Николай Александрович, бывший нач. станции Лихая (7-й отряд).

На долю этих людей тоже выпали спасительные случаи, хотя они на-

ходились бок о бок с теми бесчисленными «тудармейцами», в т.ч. интеллигентами, которые были умерщвлены палачами из НКВД.

Как же недостаёт сегодня нашему надвое разделённому народу своей национальной элиты!

В психологической обстановке 44-го и начала 45-го годов возникли крылатые выражения «трудфронт», «тудармия» и другие «фронтные» термины. Подсознательное стремление приобщиться к великим делам на фронте проявлялось у «трудмобилизованных» немцев не только в самоотверженном труде. Молодые люди, составлявшие после «искусственного отбора» 1942-43 гг. большинство лагерников, пытались уподобиться фронтовикам даже чисто внешне. «Бывшую в употреблении» солдатскую униформу подгоняли по росту, стирали, утюжили под соломенными матрасами. Верхом «шика» считалось добыть и начистить до блеска кирзовые сапоги, «из-под земли» достать солдатский, а тем более командирский ремень. В наивысшей цене были красные звёздочки, которые теперь разрешалось носить на выгоревших пилотках. В сознании закреплялись и созвучные звонкие фразы, роднившие лагерные и фронтовые будни. Их во множестве изображали на плакатах наши доморощенные художники. На страницах многотиражки «За сталинский металл» пестрели образные сравнения. Цепь из важнейшихстроек Бакалстроия именовалась здесь не иначе, как «Курской дугой», вновь сданный объект – «фронтовым прорывом». Красовались жирные «шапки»: «В труде – как в бою!», «Твоё рабочее место – это окоп на передовой!» А «Боевые листки», которые выпускались в стройотрядах, и впрямь воспринимались как оперативные сообщения с фронта.

Фронтным словом «ястребок» называли шофёры свои юркие полуторки, стремительно, насколько позволяла газогенераторная установка, носившиеся по стройке.

– Ястрепок саклох, котелёк – под сиденьем! – такая информация, ставшая нарицательной, нередко передавалась от водителя к сменщику.

С помощью таких терминов воспрямившие духом немцы пытались де-факто повысить свой общественный статус, поставив его рядом с армейским. Где, в каком из сотен «немецких» лагерей родились эти самоназвания, неизвестно. Возможно, их, как и у нас, «подбросили» через лагерные многотиражки изобретательные журналисты. Как бы там ни было, слова «тудармия» и «тудармеец» получили к концу войны широкое распространение в наших лагерях, дошли до ссыльных мест в Сибири и Казахстане.

Сказанное опирается на мой собственный опыт, исходя из которого я бы хотел высказаться и по поводу ряда положений статьи Эрнста Штротмайера «Трудармия», опубликованной в альманахе «Хайматбух» (Германия) за 1995/1996 гг. В ней верно отмечены два важных момента: а) «когда и кем было впервые употреблено понятие 'трудармия', неизвестно»; б) «используемое в этих справках («справки о реабилитации», выдаваемые сегодня областными Управлениями МВД России – Г.В.) слово «трудармия» является понятием, обозначающим время, когда немецкие женщины и мужчины содержались в рабочих колоннах (лагерях)».

Вместе с тем нельзя согласиться с таким положением статьи: «Под понятием 'трудармия' понимают по-военному организованную трудовую службу в Советском Союзе. Эта военизированная трудовая служба была введена сталинским режимом ещё в 30-х годах для управления поступившими в результате массовых арестов трудовыми резервами.»

На самом же деле этот термин восходит к началу 20-х годов, когда в связи с окончанием гражданской войны некоторым частям Красной Армии был придан статус «трудовой армии», чтобы использовать их для восстановления народного хозяйства. Эти части вскоре распустили, и, насколько нам известно, данный термин с тех пор официально не использовался.

Поэтому вызывает возражение и тезис автора о том, что «это введённое в обиход слово было очень скоро воспринято многими сталинскими силовыми структурами и первоначально означало всю систему использования рабочей силы всех 'классово чуждых' элементов».

В действительности данный термин, носивший поначалу неофициальный характер, употреблялся только применительно к «немецким» лагерям ГУЛАГа, которые назывались в документах «рабочими колоннами». И лишь со времени массовой выдачи справок о реабилитации органы МВД начали использовать удобный для прикрытия термин «трудовая армия».

Совершенно прав поэтому бывший затворник ГУЛАГа Гарри Петерс, настаивая на том, что слово «трудармия» следует приводить в кавычках и применять для его уточнения выражение «рабочие колонны принудительного труда».

Появление и вхождение в наш «трудармейский» обиход «армейско-фронтовых» терминов было вызвано всеобщим подъёмом, который царил не только в «немецких» лагерях, но и по всей стране. По мере того, как Красная Армия продвигалась на запад, у нас всё

чаще слышались голоса снятых с фронта российских немцев, которые обороняли в 41-м освобождаемые теперь города. Рассказывали неохотно, будто о чём-то предосудительном: дескать, выгнали, выставляли с позором за дверь.

Люди заговорили свободнее, и стало выясняться, что летом 1941 года в действующей армии находилось немало российских немцев. В одном только немецком селе Люксембург (Киргизия) мне назвали 10 жителей, служивших тогда в её рядах. Это Готлиб Брикман, Иван Метцель, Павел Китлер, Александр Бахман, Матвей Церр, Яков Ваккер, Яков Раль, Александр Гильц, Яков Вальман, Иван Шиц. О трёх из них я хочу рассказать подробнее, чтобы читатель мог проследить за типичными судьбами немцев, бывших воинов Красной Армии.

Уже упоминавшийся Яков Раль служил в аэродромной службе на венгерской границе, когда началась война. Не раз попадал под бомбёжки. Контуженный и раненый, кочевал он вместе с госпиталем на восток. Потом рыл окопы и танковые рвы на дальних подступах к Сталинграду. А в апреле 1942 г. попал на Бакалстрой, в 7-й стройотряд.

– На вахте «с мясом» срывали петлицы с напих шинелей и гимнастёр, звёзды – с шапок, даже пуговицы, потому что на них тоже были звёзды. У всех отняли ордена и медали, будто у изменников Родины. Куда дели – до сих пор неизвестно, – с обидой в голосе рассказывал он. – Даже умереть в бою за Родину немцу не доверяли!

Слушая Якова, я вспомнил ходившие в лагере слухи, как жестоко издевались на проходной над прибывшими из действующей армии солдатами и командирами, включая средний и высший комсостав. Для каждой категории у охранников были припасены свои издевательские приёмы, начиная от грубых пинков ногами до «утончённых» намёков о предательстве. Рассказывали о случае, когда, до последней минуты не веря, что речь идёт о концлагере, какой-то полковник застрелился прямо перед вахтой.

Вот что написал мне о своей армейской службе из города Чолпон-Ата (Киргизия) Яков Вальман: «В августе 1941 г. меня призвали в армию. По дорогам войны прошёл тысячу километров в составе 834-го горнострелкового полка 400-й Закавказской дивизии. Зимой 41-го были сильные морозы, и мы по льду перешли через Керченский пролив, освободили Керчь и Феодосию. А 20 марта: 'Вальман, в штаб! Вот тебе пакет, направляешься в распоряжение коменданта города Керчи.' Там я находился до 12 мая 1942 года, пока мне не сказали: 'Раз отец у тебя немец, значит и ты немец. Распишись!' И я загремел в тыл. На станции Свияжск с эшелона попал прямо за колючую проволоку. Строил с

немцами железную дорогу Ульяновск-Казань. До того тачку дока-
тал, что лапти таскать больше не мог. В ноябре стройка заверши-
лась и нас отправили кого куда – в Воркуту, Тулу, Свердловск. Я
попал в Воркуту, на угольные шахты и пробыл там до 1948 года. За
что, спрашивается, отсидел в лагере 6 лет? За то, что числился нем-
цем. Где в мире ещё могло быть такое, чтобы сажали за такое 'пре-
ступление', как национальность?»

А вот история уже знакомого читателю Ивана Шица. На дейст-
вительную службу его призвали в январе 1940 г. В их пехотном пол-
ку, расквартированном в Воронеже, было 40 немцев, в т.ч. 7 – из
киргизского села Люксембург. Через 3 дня после начала войны они
уже заняли оборону западнее Смоленска. Самыми тяжёлыми и кро-
вопролитными были сражения под Ельней, которая не раз перехо-
дила из рук в руки.

– Особенно запомнились мне бои за высоту 95 у льнозавода, кото-
рую обороняло наше отделение, – с волнением вспоминал Иван. – У
нас было 5 немцев, все из нашего села. Шестой, Рау, погиб за пулемё-
том ещё в первых боях за Ельню. Схватка была неравной: они шли с
танками, а нас небольшая кучка с винтовками и бутылками горючей
смеси. Всех ранило, но стояли насмерть. Ни один не оставил позиции.
Убило Роота. Остались мы вчетвером из немцев – я, Сайбель, Гейн,
Церр. И с нами ещё двое. Отошли только по приказу. Не слышал я,
чтобы среди сорока наших немцев кто-нибудь сплеховал. Никто ни о
чём таком не помышлял. Вперёд – и всё! Из 42-х наших односельчан,
которые были на фронте, вернулось только 7. Остальные погибли. А
сколько не возвратилось из «трудармии»? Обидно, что во всём нашем
Кантском районе только в двух сёлах – немецких – нет обелисков в
память погибших. Считается, что к войне мы не имели никакого от-
ношения. Разве это справедливо?

Шица и его товарищей сняли с фронта в декабре 1942 г. После того,
как в контрнаступлении под Москвой их полк с боями прошёл от Су-
хиничей 200 километров на запад и снова отбил у немцев Ельню, по-
знав всё же радость победы. Сначала их отправили в Магнитогорск
служить в стройбате, а осенью 1943 года 500 человек послали оттуда на
Бакалстрой, говоря, что направляют на фронт. Бессовестно обманули!
Поэтому работать они категорически отказались. Тогда их разбросали
по разным стройотрядам. Иван попал в штрафной 13-й отряд в Верх-
ний Уфалей, на лесоповал. Как и все, стал «доходягой», но выжил: шёл,
к его счастью, не 42-й, а уже 44-й год.

Я привёл здесь 10 фамилий и 3 сжатые истории немецких военно-

служащих РККА, часть которых находилась непосредственно на фрон-
те. Но, как ни странно, только двое из них считались участниками Ве-
ликой Отечественной войны – А. Бахману пришлось установить ин-
валидность по фронтовому ранению, а Я. Вальману удалось доказать,
что он по матери украинец.

Наступившая перестроечная «оттепель» открыла имена многих
немцев, сражавшихся в рядах Красной Армии. В 80-х и начале 90-х
годов о них нередко рассказывалось в газете «Нойес Лебен». Приведу
несколько примеров.

Юрий Гаубрих работал в московском автохозяйстве. Когда нача-
лась война, он, как и многие комсомольцы, попросился добровольцем
на фронт. В начале сентября 41-го его в составе автороты направили к
осаждённому Ленинграду. Но попал он, в конечном итоге, в Заполя-
рье. Гитлеровцы стремились любой ценой перерезать единственную
железную дорогу, по которой на Карельский фронт поступали воен-
ные грузы. Днём и ночью шофёры автороты доставляли под огнём
противника боеприпасы к передовой и вывозили в тыл раненых.

Не раз ему как умелому шофёру поручалось переправлять дивер-
сионно-разведывательные группы в тыл противника. Однажды, когда
они выехали на ледяные просторы Топозера, налетел немецкий само-
лёт. В доли секунды Юрий резко увеличил скорость и круто развернул
«полуторку». Рёв мотора над головой... Сплошная лента ледяных фон-
танчиков прошила то место, где только что находилась машина. И на-
чался неравный поединок. Сидевшие в кузове, следя за разворотами
самолёта, изо всех сил кричали об этом шофёру, и тот беспрерывно
петлял по льду, увёртываясь от пуль крупнокалиберного пулемёта.

Так было не раз и не два. «В рубашке родился», – говорили Юрию
товарищи по автобату.

Всю зиму гонял Юрий Гаубрих свою безотказную «полуторку». Ла-
тал пробоины, ремонтировал. А в апреле 1942 г. его вызвали в штаб и
отправили на Урал, где вместе с соплеменниками он строил Егоршин-
скую ГРЭС в Свердловской области, которая вскоре дала ток другим
стройкам и оборонным заводам.

Но были и редкие случаи, когда российским немцам удавалось ос-
таться на передовой до самого конца войны. Об одном из таких людей,
Вадиме Рихтере, рассказывалось в № 9 «Нойес Лебен» за 1980-й год.

После разгрома гитлеровский войск под Москвой Рихтера вызвали
из Ярославля в столицу, где он был включён в состав отдельной мото-
ризованной бригады особого назначения. 17-летний Вадим начал обу-
чаться работе на радиостанциях. И вскоре получил боевое задание –

пробраться в глубокий тыл врага. Отправиться предстояло вместе с диверсионным подразделением «Гвардия», состоявшим из партизан, у которых уже был опыт действий за линией фронта. Вадим должен был расшифровывать и передавать в Центр радиোগраммы. По сигналу его радиостанции вылетали бомбардировщики и сбрасывали тонны бомб на места дислокации противника, казармы, поезда с оружием и боеприпасами. В партизанской бригаде ему пригодилось знание немецкого языка. Нередко он служил переводчиком при допросе пленных и изучении вражеских документов. Когда территория расположения партизан была освобождена и они влились в регулярные войска, группу разведчиков отозвали в Москву. Командование направило В. Рихтера в качестве радиста в гвардейский полк. День Победы он встретил под Берлином.

В статье «Время звало к действию», опубликованной в «Нойес Лебен» в 1989 г., рассказывается о лётчике-истребителе Петере Гетце. Он родился в селе Герцог (Суслы) Мариентальского кантона АССР НП. Окончил лётное училище в Энгельсе. В 1939-40 гг. воевал в Китае против японских захватчиков. С первых дней войны сражался с асами из воздушной армады Геринга.

В погожий июньский день 1941 года вместе с другими И-16 он летел к Березине, где немцы наводили переправу. Сделав два захода, лётчики обстреляли скопление пехоты и бронетехники. Развернувшись для третьей атаки, Гетц увидел трёх «мессеров», незаметно подкрапившихся к нему и его ведомым. «Мессершмитты-109» обладали более высокой скоростью, чем И-16, зато «ишачки» были манёвренней. Петер заложил вираж ещё круче, на долю секунды поймал врага в прицел и нажал гашетку. Из брюха «мессера» повалил густой чёрный дым...

Ежедневно приходилось совершать до десятка вылетов. Люфтваффе с самого начала захватила господство в воздухе. Сплошь и рядом краснозвёздные «ястребки» в одиночку сражались с целой стаей хищных «мессеров» и не всегда возвращались на свои аэродромы. Под Оршей Гетц вылетел навстречу эскадрилье «Юнкерсов-88», шедших бомбить город и аэродром. Прорвав плотное грозное облако, увидел девять вражеских бомбардировщиков, принимавших боевой порядок. Снова всё решали мгновения. Выпустив по «юнкерсам» несколько очередей, нырнул в облако. Появился из него, вновь открыл огонь. И этот манёвр он повторял до тех пор, пока «юнкерсы» сбросили свой груз где попало и повернули назад.

Президиум Верховного Совета СССР («Известия», 23 июля 1941 г.) наградил капитана Петра Гетца орденом Красной Звезды.

Осенью 41-го он получил приказ отправиться в тыл. Однополчане прощались с ним, не скрывая слёз. Гетц попал на Урал и работал там на лесоповале.

Можно ли придумать большее наказание для фронтовика, чем унижительное недоверие и принудительную транспортировку на восток?! Да ещё за колючую проволоку, откуда, казалось, не было пути назад?

Бывали, однако, и редкие исключения. Об одном из них рассказал Самуил Майер, житель Немецкого национального района на Алтае.

14-летним подростком его «мобилизовали» на строительство печально известного железнодорожного моста через реку Печору. В начале 1942 г. в их смертные лагеря привезли группу снятых с фронта бойцов и командиров. На вахте, прежде чем впустить в лагерь, с них содрали знаки отличия и всё остальное, что могло свидетельствовать о их принадлежности к Красной Армии, вплоть до пуговиц.

Возмущённые варварским отношением к армейским реликвиям, а также арестантскими условиями содержания, они обратились к «все-союзному старосте» Калинину с просьбой направить их на фронт и избавить от ничем не мотивированного пребывания в арестантской «зоне». В ожидании ответа из Москвы категорически отказались выходить на работу. Бывших красноармейцев перевели на штрафные 400 граммов хлеба и двухразовую баланду, а командиров сочли зачинщиками и посадили в карцер. «Опер» запугивал их 58-й статьёй и судом за саботаж. Но они стояли на своём: «Ждём ответа от Калинина, и без этого под конвоем не пойдём!»

И вдруг их начали откармливать в так называемой «водолазной столовой», где по повышенным нормам питались подводники и кессонщики, которые работали на речном дне над сооружением «быков» — опор под железнодорожный мост. Вскоре после этого прошёл слух, что бывших красноармейцев и командиров отправили на фронт. «Молодцы! Добились-таки своего!» — с удовлетворением говорили друг другу лагерные «доходяги».

А вот ещё более необычная история, о которой написала мне в 1992 году Елена Рудер. Об этом с большой неохотой поведал Рудольф Майер, проживавший в Казахстане, близ города Чу Джамбулской области.

В 1937 г. он закончил Саратовский педагогический рабфак, работал учителем в Немреспублике, завёл семью. Несмотря на это, его в 1940 г. призвали в армию. Служил в артиллерийской части рядовым. Война застала его в Кременчуге Полтавской области. В октябре 1941 г. он попал в окружение. В живых от их полка осталось всего несколько человек. Без пищи и воды, но вместе с орудием пробивались они к своим.

Днём прятались в степных буераках, а ночью шли, минуя населённые пункты. На третий день встретили человека в папаше с красной лентой. Вроде бы партизан. Он сказал, что у ближайшего села есть ещё коридор, где можно пробраться, минуя немцев. Когда стемнеет, нужно идти мимо колхозных конюшен. Ночью двинулись вместе с пушкой. На них напали с двух сторон, скрутили и затолкали в сарай, где было полно пленных красноармейцев. Утром пришли, спросили, говорит ли кто-нибудь по-немецки. Никто не отозвался. Сосед указал на Майера в надежде, что тому удастся выручить хотя бы их пушечный расчёт. Допрашивали недолго, только отобрали и бросили в огонь комсомольский билет. Заставили переводить распоряжения, которые немцы отдавали работавшим военнопленным.

Вскоре его послали в спецшколу, где обучали пленных разных национальностей. После её окончания было решено направить всех на Восточный фронт. Рудольф категорически отказался подчиниться приказу. Лучше расстрел, чем воевать против своих, – твёрдо решил он. После долгих угроз и увещаний его отправили в Италию. Но воевать там не пришлось: на полуострове высадились американцы, и он снова попал в плен. Работал на угольных шахтах в Бельгии, где едва не погиб от голода. В конце 1945 года к ним приехали советские представители. Сказали: «Всем, кто вернётся на Родину, обещаем свободу, если за вами нет преступлений.» Приезжали и американцы, предлагали поехать в Южную Африку, США, Канаду и другие страны. Но Майер все эти годы жил надеждой на встречу с женой, детьми и родными. Он ничего не знал об участии, постигшей немцев Поволжья ещё в 1941 г.

В Париже, куда их привезли, чтобы переправить на самолёте в советскую зону оккупации Германии, на них показывали пальцами, говорили: «Вот идут добровольные смертники!» Но для Рудольфа и его единомышленников важнее смертельного риска были чувства преданности семье и Родине. К тому же обращались с ними пока что по-дружески, корректно, с улыбкой. Спектакль кончился, как только они вышли из самолёта в Берлине. На них надели наручники и под охраной отправили в тюрьму.

Начались допросы «с пристрастием». Их абсолютно бездоказательно обвинили в измене Родине и издевательствах над пленными красноармейцами. Заставляли подписывать ложные протоколы допросов. Рудольф отказывался, кричал, что он комсомолец, патриот и не может изменить своим убеждениям. Его били, угрожали расстрелом, но он продолжал упорствовать. Посадили в карцер, куда совершенно не проникали звуки. Шесть месяцев он не слышал человеческого голоса. От

сумасшествия спасали произносимые вслух мысли о родном Поволжье, семье, детях, которые его, конечно же, ждут.

Потом был 15-минутный суд – Особое Совещание, «тройка». Дали 10 лет лагерей. Месяц тащился состав с осуждёнными (главным образом на 25 лет) для отбытия наказания за страшную «вину» – желание вернуться на Родину. Везли зимой в неотапливаемых переполненных вагонах. Людей мучили вши, голод, невыносимая вонь. Их ни разу не выпустили из этих душегубок, чтобы глотнуть свежего воздуха. А когда на таёжном полустанке, наконец, открыли вагонные двери, на снег вывалились, да так и остались лежать серые тени людей.

Рудольф был настолько истощён, что его поместили в барак для умирающих. Им полагалась только баланда, и больше ничего. Дни их были сочтены. Спас его один еврей, приняв, видимо, за соплеменника. Ему нужен был человек для работы по починке одежды. Он выбрал Майера, укрывал, подкармливал его и постепенно поставил на ноги. Немного придя в себя, Рудольф начал разыскивать близких. Тут он только и узнал, что все немцы Поволжья давно выселены, а Немреспублика ликвидирована. На его запросы приходили одинаково неутешительные ответы: местонахождение неизвестно, в списках не числятся. После восьми лет отсидки, в 1954 г., он вместе с лагерным товарищем, тоже поволжским немцем, поехал в Томск, куда была выселена семья товарища. Потеряв всякую надежду найти своих, женился на сестре солагерника, а в 60-е годы переехал в Южный Казахстан. И тогда ему удалось, наконец, разыскать родителей и братьев. Они вернулись из «трудармии» и жили в Северном Казахстане. Узнал он и о том, что его младший сынишка умер по пути в ссылку, жена погибла от голода в «трудармии», а старшего сына выходили дальние родственники.

Полдня излагал Рудольф свою одиссею, пишет Елена Рудер, а на следующий день у него до 39° поднялась температура: слишком были переживания рассказчика. На её вопрос, почему бы Рудольфу самому не описать свои злоключения, он ответил строфой из Генриха Гейне, которая в свободном переводе звучит так: «Я пережил свою боль, она никому не видна. Пусть она умрёт вместе со мной, никого не потревожив»...

Переданное нами – лишь крупица славной истории участия российских немцев в Великой Отечественной войне. Истории, которая ещё ждёт своего исследования. Но и сегодня ясно: сполна хлебнули наши соплеменники горечь поражения, фронтовую неразбериху и бессмысленные потери первых месяцев войны. Не дрогнули, не побежали. Сра-

жались и умирали не менее мужественно, чем сыны других народов. Почему же об этом так мало пишут историки и публицисты?

На протяжении многих лет данная проблема умышленно замалчивалась. Тем значительней поступок Константина Симонова, выведшего в романе «Солдатами не рождаются» образ храброго разведчика, поволжского немца Гофмана. Только теперь выясняется, что многие немцы, защитники своей Родины, были награждены орденами и медалями СССР в отступательных(!) боях. Сегодня известны и имена героев из числа российских немцев – Николая Гефта, Петера Миллера, Владимира Венцеля, Михаила Ассельборна, Роберта Клейна, Николая Охмана, Александра Германа, Сергея Волкенштейна, Эдуарда Эрдмана. И это – не считая генерал-майора Эрнста Шахта, выдающихся разведчиков Рихарда Зорге и Рудольфа Абея, а также известных исследователей Арктики Отто Шмидта и Эрнста Кренкеля. Некоторые из них удостоены звания Героя Советского Союза.

Свидетельств безаветной верности Родине и присяге со стороны воинов немецкой национальности было бы, конечно, ещё больше, если бы на третьем месяце войны не вышел известный приказ, по которому их убрали из действующей армии. Почти одновременно с актами о депортации немцев на восток, об их «трудмобилизации» в концентрационные лагеря...

В последние годы выявилась ещё одна небезынтересная грань трагической истории российских немцев военных лет – «дезертирство наоборот», т.е. побеги из концлагерей на фронт. Голоду, издевательствам, унижению человеческого достоинства и, в конечном счёте, безвестной гибели самые решительные и волевые предпочитали самовольную отправку на передовую. Даже если шанс на удачу был минимальным и угрожал расстрел.

Счастливицам Шахту, Венцелю, Рихтеру, Зайделю, Шмидту пришлось, чтобы добраться до фронта, добавить к своей фамилии русское окончание или просто заменить её на любую, кроме немецкой. Только таким путём они сумели добиться права умереть не за колючей проволокой, а в честном бою. Так появились Шахтов, Венцов, Смирнов, Иваненко, Ахмедов. Это те, кого мы знаем. А сколько ещё попадаете бывших фронтовиков, которых до сих пор выдаёт неистребимый немецкий акцент? Сколько их погибло в бою – неузнанных героев немецкого народа СССР?

К уже известным фамилиям добавлю ещё одну – капитана Тисенко (Тиссена), о котором рассказал мне Вернер Штирц. Я знаю о нём немного. Снятый с фронта сержант, он выбрался за внешнее

оцепление «зоны» Бакалстроля через дренажную трубу, проведённую из каменного карьера в реку Миасс, по берегу которой тянулись проволочные заграждения. В ночную непогоду, лёжа в трубе так, что только поднятое кверху лицо оставалось выше уровня воды, он, отталкиваясь руками и ногами от стенок, постепенно продвигался вперёд, пока, наконец, не достиг выхода к реке. Дождь и ветер помогли ему благополучно выбраться из трубы, переправиться через небольшую речку и оказаться на воле.

После победы, в 1945 г., с ним, капитаном Тисенко, беседовали ребята из 1-го стройотряда. Он рассказал им о своём побеге на фронт. Где находится теперь Тиссен-Тисенко? Откликнись, отважный человек!

Намного больше известно о Зайделе-Иваненко, моём земляке из Киргизии, весёлом, боевом человеке, жителе немецкого села Люксембург.

Весной 1943 года 17-летним парнем сбежал он из голодного лагеря в Александровске Молотовской (Пермской) области. С превеликим трудом и фальшивой справкой в кармане добрался до Барнаула, подальше от ненавистного лагеря. На сборном пункте, где каждый день кто-то терялся или, наоборот, объявлялся и хронически недоставало призывников, назвал себя Иваненко Семёном Петровичем из Киргизии и попросился добровольцем на фронт.

– Документы какие-нибудь есть? – спросил донельзя измотанный военный.

– Не-е... Справка была с сельсовета, да вот вчера украли. И деньги тоже увели. Ничего нету. Не знаю, что делать буду, если на фронт не запишете, – представился деревенским простачком Эммануил. Ему поверили. Видимо, не раз прочёсывали Алтайский край сплошные мобилизации. Но одними облавами, регулярно проводимыми на рынке и в прочих людных местах, разве обеспечишь выполнение растущей разнарядки?

Так оказался Зайдель в недоступной для российских немцев и потому ещё более желанной Красной Армии. Больше года носило его по сибирским «учебкам», пока не попал он в августе 1944 г. в 114-ю воздушно-десантную дивизию. Новый 1945-й год встретил в эшелоне по пути на фронт, в Венгрию, где шли ожесточённые кровопролитные бои.

С ходу его дивизия включилась в сражения, билась с врагом у Балатона, отличилась при взятии венгерского города Папа. Вступила на территорию Австрии, 13 апреля приняла символический ключ от Вены. Ей салютовала Москва.

26 апреля, на подступах к чехословацкой границе, у горной деревни Шуля, засевшие в лесу эсэсовцы скосили Иваненко-Зайделя автоматной очередью. Вынесли его на плащ-палатке четверо товарищей, оставшихся от взвода. Как и другие боевые высоты, Шулю надо было взять любой ценой. Не терпелось командованию фронтом отпартовать наверх о выходе на государственную границу с Чехословакией.

8 месяцев провалялся он тогда в госпитале. С того света вернулся, говорили доктора. С боевыми наградами – орденами Красной Звезды, Славы III степени, медалями «За отвагу», «За взятие Вены», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне», демобилизованный по ранению, явился в свой Кантский райвоенкомат, чтобы встать на воинский учёт.

Сказал всё, как есть: Зайдель я, из Люксембурга, а воевал под фамилией Иваненко. Райвоенком вытаращил глаза, ушам своим не поверил. Но решение принял незамедлительно:

– На учёт поставить не можем. Передадим Ваши документы в НКВД. Посмотрим, что там скажут...

Вызвали в район, допросили. С однополчанами из Киргизии поговорили, очную ставку устроили. Убедились: не самозванец, действительно Зайдель, воевал. Выдали справку, что Иваненко Семён Петрович – это Зайдель Эммануил Эммануилович, по национальности немец. И поставили на спецучёт в комендатуре.

Началась у него жизнь, похожая на ту, лагерную, от которой он бежал когда-то. В армии на гауптвахте не сидел, а тут от коменданта сразу 5 суток карцера получил за самовольную поездку во Фрунзе. 15 километров от села без разрешения отъехал. Награды комендант отобрал.

– Есть указание, – процедил он сквозь зубы.

Только в 1956 г. Зайдель получил их обратно.

Странные всё-таки, если вдуматься, у нас дела творились! Носил гражданин фамилию Иваненко, писался украинцем – был человеком, стал немцем Зайделем – вмиг во врага превратился, не иначе, как «фрицем», «фашистом» стал именоваться. Будто проказой заболел – все от него шарахаться начали. Впрочем, стоит ли этому удивляться, если даже однополчанин Маницкий, с которым рядом в атаку ходили, вместе в госпитале из лап смерти выгребали, узнав в 1950 г. из доверительного письма Зайделя о том, кто он есть на самом деле, написал в ответ: «Не хочу знать с немцем!»

Это лишь одно из проявлений того антинемецкого синдрома, которым была заражена немалая часть населения СССР. Прочно и, казалось, навсегда, будто гвозди в крышку гроба, вколачивала в людей со-

ветская «интернационалистская» пропаганда образ немца-врага. В постсталинский период слегка изменились её шаблоны, но не сама суть. Отзвучали откровенно человеконенавистнические призывы наподобие «Убей немца!», но остались более изощрённые методы в форме «патриотической» литературы, кинофильмов, телепередач и других способов проповеди велико-русского шовинизма.

«Перестройка и гласность» отчасти изменили ситуацию к лучшему. У простых людей заметно усилилась терпимость к «инородцам», которая подспудно имела место всегда.

В этом убедился и Эммануил Зайдель, побывав осенью 1989 года на встрече ветеранов 114-й Гвардейской Венской воздушной десантной дивизии. Ехал он в Ивановскую область, где в конце 1943 г. формировалась их воинская часть, не без привычной опаски. Тем более, что 9 мая, в День Победы, газета «Труд» опубликовала статью «Под чужим именем», где рассказывалось о фронтовой эпопее немца Зайделя. «Как к этому отнесутся фронтовые друзья?» – задавал он себе далеко не праздный вопрос.

Обратимся к письму, которое он прислал мне после встречи.

«За 40 с лишним лет, – пишет Э. Зайдель, – все до неузнаваемости изменились. Поэтому здоровались друг с другом и с генералом В.П. Ивановым за руку, называя свою фамилию и подразделение.

– Иваненко Семён Петрович, он же Зайдель Эммануил Эммануилович, – говорил я. Кое-кто уже знал, в чём тут дело, и отвечал коротко:

– Всё ясно!

Своих ребят из 350-го полка мы пытались узнать по рассказам о фронтовых эпизодах.

Среди 140 человек, приехавших на встречу, нашлось четверо однополчан. Один из них – Степан Кироп из украинского города Черкассы – привёз с собой газету «Труд» и спросил меня в лоб:

– Неужто у нас в полку такое могло быть?!

– Да, могло. Я и есть тот самый Зайдель, о котором пишут в газете.

Но, как говорится, «хохол нэ повирэ, пока не полапа» – пришлось показать ему паспорт. Кироп с удивлением посмотрел на меня, обнял и говорит:

– Ребята! О цэ той хлопец, про которого пишут в газэти!

Все с радостью обнимали меня, вспоминали об армейской жизни.»

«На другой день, – сообщает далее Э. Зайдель, – все уже знали, что я, немец, воевал рядом с ними, выдав себя за русского. И так тепло, безо всяких упрёков и лишних расспросов ко мне отнеслись! Конечно, без слёз волнения всё это не обошлось... Не было конца воспоминани-

ям и при общении с фронтовым другом Сергеем Проскурой, рядом с которым мы шли в атаку у австрийского села Шуля и который вынес меня, раненого, с поля боя.»

В то самое время, когда наш соплеменник Зайдель отрабатывал технику прыжков с парашютом, а потом вместе с другими бойцами десантной дивизии ожидал отправки на фронт, в отдельной колонне Челябинского металлургстроя, куда я был направлен неосвобождённым комсоргом и где числился «культмассовиком», возникли свои проблемы, осложнявшие жизнь начальника колонны Сиухина, вхождений и опер-уполномоченного Мельникова, о котором мой друг и коллега Игорь Оськин писал впоследствии, что «в его глазах было что-то змеиное: того и гляди бросится». Причина состояла в том, что в составе колонны, наряду с мужчинами, было примерно столько же женщин, живших в бараках вне «зоны».

«Опера» больше всего беспокоили запретные отношения между «трудмобилизованными» и «вольняшками», особенно молодыми. У начальства болела голова о главной служебной обязанности – не допустить связей между мужчинами и женщинами, да ещё, не дай Бог, с последствиями! Браки, любовь, разумеется, категорически запрещались.

Единственный был для этого способ – держать мужчин в лагерной строгости, а ещё лучше в голоде. Но часовых на вышках в 1944 г. уже не было, хотя проволока и вахта в воротах оставались неизменными. Числились мы теперь «расконвоированными», однако в указанное в пропуске время каждый должен был находиться в «зоне». И – ни шагу никуда! Даже мне, комсоргу, с трудом удавалось уговорить особо рьяного служаку Лихопоя выпустить нас после восьми вечера за ворота. Всякий раз нужна была бумажка от Сиухина или политрука Матвеева.

Человек по натуре не вредный, старший лейтенант Сиухин разрешал многое из недозволенного, в частности, субботние вечера танцев в лагерьном клубе, на которые гурьбой сбегались девушки. Без последних не обходились, конечно, и репетиции кружков художественной самодеятельности, которыми руководили профессиональные специалисты Штольц и Карьялайнен. Посещаемость была стопроцентной, все с нетерпением ждали того дня, когда снова можно будет встретиться. Жизнь властно вмешивалась в противоестественный лагерный режим.

В длинной кавалерийской шинели и солдатских сапогах я мотался по полям и фермам. Не отказывался от сваренной в радиаторе трактора картошки или рыбы, которую ловили в нашем озере

для бакальского начальства, т.к. есть по-прежнему хотелось постоянно. Вместе с сыном Сиухина лет 12-ти, недурно игравшим на баяне, развлекали мы в поле женщин, которые сразу же начинали плакать и вспоминать об оставшихся где-то в Сибири или Казахстане детях. Оно и понятно: завершался второй год непрерывных переживаний за разбросанные за Уралом семьи.

И женщины, и мужчины жили одними помыслами и стремлениями: всем, чем можно, приблизить желанный час Победы, с которой каждый связывал свою свободу. Все повседневные проблемы сводились поэтому к главному вопросу: как дела на фронте? Слишком медленно, казалось, передвигается ниточка советско-германского фронта по карте, которую мы с художником Игорем Оськиным вывесили на бойком месте у конторы хозяйства и в «зоне».

Она пришла, кровью и слезами омытая Великая Победа. Прогремела, просияла разноцветьем столичных салютов, прошлась слезами радости и горя через души людей! Помню и я тот день: пытаюсь выразить свои чувства, вывесил на лагерных воротах лозунг с собственноручно выведенным одним огромным, самым желанным словом – «Победа!!!»

Начальник колонны Сиухин усадил рядом с собой на тачанку гармониста Шульца, и они поехали в поле, где в разгар уральской весны работали на посадке картофеля и овощей наши бригады, чтобы порадовать женщин и мужчин вестью о долгожданной Победе. Но никто почему-то не кричал от радости, не обнимался и не плясал, как потом показывали в кинохронике. Встретили новость спокойно, будто усталые путники, присевшие на полпути долгой и утомительной дороги.

Победа сверкнула яркими огнями радости и тут же померкла, сменившись горьким отрезвлением. Новую подлость уготовили в тот день «мобилизованным» немцам органы НКВД-НКГБ, чтобы сбить чрезмерные, на их взгляд, надежды. При сопоставлении воспоминаний «трудармейцев» о «праздновании» этого дня в их лагпунктах выявляется подозрительно сходная картина, свидетельствующая о том, что здесь явно руководствовались поступившей сверху единой инструкцией. Во всех лагерях праздник Победы был объявлен нерабочим днём. Все «трудмобилизованные», включая «самоохрану», были собраны в «зонах». Надзирательские службы, усиленные сотрудниками местных «органов», расположились непосредственно на территории лагерей. Запрещалось проведение митингов, собраний и других массовых мероприятий «трудмобилизованных». На общих построениях начальники лагерей поздравили «контингент» с Победой и нацелили его на

дальнейшую добросовестную, ударную работу.

Кое-где было выдано дополнительное блюдо. Но ни оно, ни выходной день не могли смягчить разочарования от услышанных казённых слов. Чужло сердце: нескоро нашим невзгодам наступит конец. Это только радость кончается враз, а горе потому и держится, что продлить его никому ничего не стоит – ни денег, ни особых хлопот.

Своими воспоминаниями о том, как прошёл День Победы в одном из лагунктов Краслага, поделился уже известный нам Бруно Шульмейстер.

«Настало 9 мая 1945 года, – пишет он. – Утром, как обычно, был развод, и бригады разошлись по своим объектам. Я работал на шпалорезке, где пилили строительный брус. Часов в 11 мы увидели скачущего к нам на лошади дневального. Он размахивал руками и что-то кричал. Мы его сначала не поняли, подумали, что опять собирают этап. Но когда услышали слово 'победа', все запрыгали, стали обниматься, а некоторые от радости даже заплакали. В этот день нам выдали добавочное питание – небольшой пирожок – и объявили первый за 'трудоармейские' годы выходной.

Конечно, тотчас пошли разговоры, что теперь нас отпустят домой. Но не тут-то было. Начальник отряда Родичев велел всем построиться, поздравил с Днём Победы и объявил: ввиду того, что страна разрушена немецкими фашистами, а для восстановления требуется много леса, надо прекратить всякие разговоры о демобилизации и с новыми силами взяться за работу.»

Гораздо откровенней выразили своё отношение к немецким «трудмобилизованным» органы НКВД в Чапаевске Куйбышевской (ныне Самарской) области, где на восстановлении разрушенного колоссальным взрывом военного завода работали «трудоармейцы», командированные из Соликамстроя. Об этом написал также знакомый читателям Александр Мунтаниол:

«В ночь с 8-го на 9-е мая мы не спали: все уже знали, что Берлин пал и война кончилась. Слушали выступления по радио Сталина, Трумэна и Черчилля. Руководители стран антигитлеровской коалиции поздравляли народы мира с Победой. Наконец-то пришла она! От радости мы не знали, что делать. Смеялись и плакали. Неужели наш труд и наши жертвы никто не оценит? Ведь этот день мы приближали, как могли. Каково же было наше удивление, когда утром 9 мая, выйдя из бараков, мы увидели прохаживающихся по 'зоне' чекистов с оружием в руках. Этого никогда не бывало, даже в чёрные дни 1942-43 гг. А тут, в такой день, вдруг появились в полном вооружении! Глянули вокруг

и увидели: на выпшках снова сидят 'попки'. Что это и зачем? Позже мы узнали и об устроенной в городе облаве на всех наших 'трудмобилизованных'. Задержали и бросили в 'зону' даже тех, у кого имелось разрешение на выход из неё. У многих ребят были девушки, а один умудрился даже произвести на свет двух сыновей-близнецов. Таких арестовывали прямо в квартирах.

Никакого праздника у нас не получилось. Мы сидели за колючей проволокой и с печальной завистью смотрели на веселящихся людей за нашим забором. Прошло уже полвека, а тогдашнее унижение не выветрилось из памяти до сих пор...»

Эти два схожих свидетельства говорят о том, что нашей судьбой играли по заранее написанным нотам. Война закончилась, но с каждым днём становилось всё яснее: не с Победой наша судьба связана, а с росчерком того золотого пера, во власти которого мы находимся. И ничего хорошего от его Хозяина ждать не приходится, хотя когда-то нас отправляли в «рабочие колонны» только «на всё время войны».

А потому в нашей жизни всё осталось, как было. На вахте по-прежнему восседал вооружённый вохровец, отвечавший за наличие «немецкого поголовья». Сохранялся смягчённый временем, но столь же одиозный лагерный режим. О возвращении отнятой свободы и доброго имени, права на личную жизнь, семью, проявление чувств, на политическое доверие, равенство в обществе, справедливость и речи не велось. Всё это было не про нас. Мы находились будто в невесомости, в каком-то подвешенном состоянии, когда человек изо всех сил гребёт руками и ногами, а сдвинуться с места не может – не на что опереться.

Об абсурдности ситуации, в которой мы оказались накануне и после Победы, свидетельствует «Временная инструкция о внутренней и надзирательной службе стройотрядов – отдельных колонн ЧМС НКВД СССР», утверждённая начальником Челябинметаллургстроя Рапопортом.

Чтобы читатель получил представление об этом многозначительном документе и одновременно о нашем правовом положении в тот период, процитирую несколько наиболее важных положений инструкции.

«Пункт 7.

На личный состав надзирательной службы возлагается:

- б) ежедневный осмотр всех помещений и территорий стройотряда – отд. колонны на предмет выявления и изъятия запрещённых к хранению предметов внутри зоны,
- г) изучение поведения трудмобилизованных в быту и на производстве,

д) производство повсеместных внезапных обысков помещений трудмобилизованных не реже 3-х раз в месяц на предмет изъятия запрещённых предметов. То же до и после свидания, а также при выпуске и возвращении с работы,

з) приведение в исполнение приказов и записок (! – Г.В.) об арестовании и водворении трудмобилизованных на гауптвахту и в штрафную колонну, обеспечение должного внутреннего надзора и соблюдения режима содержания трудмобилизованных на гауптвахте и в штрафной колонне,

и) проведение среди трудмобилизованных профилактической работы по предупреждению дезертирства и изоляции всех намеревающихся совершить дезертирство трудмобилизованных,

к) обеспечение надлежащего состояния ограждения зоны ...»

Самым примечательным моментом в этой совсекретной инструкции является дата её утверждения – 6 марта 1945 г., когда до вождённой Победы оставалось всего два месяца. Стало быть, в то самое время, когда десятки тысяч «трудмобилизованных» в поте лица трудились на пусковых объектах и с радостью ожидали окончания войны, чтобы, наконец, вернуться к своим детям и старикам, за их спиной вынашивались коварные планы ужесточения лагерного режима. Нет сомнения – эти далеко идущие мероприятия проводились по указанию руководства ГУЛАГа после согласования в самых высоких партийных и государственных инстанциях.

По свидетельствам «трудоармейцев», аналогичная ситуация сложилась во всех «немецких» лагерях. Конечно, о том, что стоит за происходящим, никто из нас в то время не знал. Но горький опыт подсказывал: не к добру всё это, не скоро нам, немцам, удастся выбраться из хищных лап НКВД.

Тогда я с тревогой подумал о Шуре, моей чернобривой дивчине в родном и далёком донбасском краю. Уже больше года несла свою службу почта, регулярно доставляя в оба конца пухлые конверты. Во многом она преуспела. Некогда юношеские, робкие отношения выросли в сдержанный, но обнадеживающий почтовый роман. Нашу встречу мы связывали с Победой. И с будущим. Мы рвались друг к другу. Но вот закончилась война, и действительность поставила передо мной множество неразрешимых вопросов.

Как долго ещё будет тянуться эта невольничья лагерная жизнь? Год, два, пять, десять? Смогу ли я попасть когда-нибудь на свою родину – Украину? Окажусь ли равным среди других людей, или мне навсегда суждено остаться «презренным немцем»? Будет ли ждать меня Шура?

Захочет ли связать свою судьбу с моей, нескладной и опасной жизнью? Имею ли я моральное право приковывать свободного человека к своей каторжной колеснице? Срывать Шуру из цветущего вишнёвого края, родного дома, с Украины, звать в голодную и холодную уральскую даль? Наконец, могу ли обречь её и наших будущих детей на горькую судьбу немца – изгоя общества?

Все эти вопросы имели для меня серьёзный практический смысл. В письмах я стремился обрисовать реальное положение вещей, излагая свои невесёлые прогнозы на будущее, помогая ей всесторонне оценить ситуацию: время шло, нам минуло по 22 года, и с фронта начали возвращаться потенциальные женихи.

Текло и наше лагерное время, ничего, однако, не меняя в корне. И тогда я решил: «Нет, не могу я связать с собой, отверженным и гонимым, жизнь вольного человека! Не будет Шура счастлива со мной, я принесу ей только горе. Во имя любви я должен вырвать её из своего сердца, сколь бы больно это ни было!»

Написал ей всё, как было и как, по моему мнению, могло сложиться наше полусвободное-полулагерное будущее в уральском бездомье. А в конце письма всё-таки поставил вопрос: готова ли она бросить Украину и поселиться рядом с лагерем, чтобы таким образом разделить со мной, беспаспортным и бесправным, свою судьбу?

Спускал в почтовый ящик это письмо – руки дрожали. Знал: последнюю весточку отправляю любимой. Собственными руками гублю то самое дорогое, что заполняло душу, вселяло веру в будущее, звало к прекрасному, помогало жить все 5 лет испытаний, а в военные годы – особенно. Я был в отчаянии, но прощался – не мог я сделать несчастным ещё одного человека. Тем более любимого. Самоотречение моё состоялось: ответа не последовало. Победил здравый смысл зрелой, умной и осторожной девушки. Да и последуй согласие, не принял бы я эту жертву. Нет, не принял! Забегая далеко вперёд, скажу: верное тогда я принял решение. В конечном итоге, удачно сложилась её, Шуры, планида. У меня была возможность убедиться в этом, посетив родные края в 1975 г. Но тогда, в 45-м, я осыпал проклятиями войну, а заодно и свою ни в чём не повинную национальность. Они безжалостно исковеркали нашу с Шурой совсем не так задуманную жизнь. Единственное, что осталось мне на память о ней, – это имя, которое носит мой сын Александр. А сколько таких, как я, неудачников, находилось за колючей проволокой! Мало ли их, практически ещё не ставших взрослыми, приняла сырая ссыльная земля? Кому предъявить счёт за несостоявшиеся судьбы и вовсе погублен-

ные молодые жизни? И каким способом его оплатить?

Не ошибся я и в своих прогнозах на положение российских немцев. Мир застыл вокруг нас, будто окунулся в ледниковую эпоху. Победный 45-й прошёл, медленно, по-черепашьи, подполз май 46-го, когда у нас сняли колючую проволоку. Настал конец «зоне», лагерному режиму и слежке надзирателей. Но особой радости по этому поводу, помнится, наблюдать не доводилось. Люди, наученные горьким опытом мая 45-го, знали наверняка, что наверху для немцев заготовлена очередная, быть может, ещё худшая пакость. И оказались правы: на смену лагерному режиму пришёл не менее унижительный, но более долговечный надзор спецкомендатуры, руководимой из всё того же ненавистного ведомства с обновлённой аббревиатурой – МВД-МГБ СССР.

Жили мы теперь по новому «кодексу» обязанностей и прав – такому же ханжескому и жестокому, как и всё, что было уготовлено у нас немецкому «контингенту», начиная с августа 1941 года. Речь идёт о секретном Постановлении Совнаркома СССР от 8 января 1945 г. «О правовом положении спецпереселенцев», которое загодя определяло, как нам, немцам, жить в послевоенные годы.

Вот основные положения этого «новогоднего подарка», о котором мы тогда, конечно, не имели понятия:

- «1. Спецпереселенцы пользуются всеми правами граждан СССР, за исключением ограничений, предусмотренных настоящим Постановлением.
2. Все трудоспособные спецпереселенцы обязаны заниматься общественно-полезным трудом. (...)
3. Спецпереселенцы не имеют права без разрешения коменданта спецкомендатуры НКВД отлучаться за пределы района расселения, обслуживания данной спецкомендатурой.
- Самовольная отлучка (...) рассматривается как побег и влечёт за собой ответственность в уголовном порядке. (...)
5. Спецпереселенцы обязаны строго соблюдать установленный для них режим и общественный порядок в местах поселения и подчиняться всем (! – Г.В.) распоряжениям спецкомендатур НКВД.
- За нарушение режима и общественного порядка в местах поселения спецпереселенцы подвергаются административному взысканию в виде штрафа до 100 рублей или ареста до 5 суток.»

Первая подпись под Постановлением принадлежит В. Молотову, тогдашнему заместителю Сталина по Совнаркому СССР.

Этот правительственный акт повлёк за собой далеко идущие последствия. Он означал, во-первых, что немцы переводились в другой разряд «социально-опасных элементов» – в «спецпереселенцы». Такой метод «наказания» применялся ранее только к особо гонимым категориям населения, прежде всего к разного сорта «врагам народа», чтобы на долгие годы изолировать их от общества.

Во-вторых, немцы утрачивали даже общепризнанные права человека, которые отчасти нашли отражение и в фарисейской «Сталинской Конституции»:

– Право на свободный выбор рода трудовой деятельности, места работы и профессии («право на труд»). Согласно Постановлению, спецпереселенцы трудоустраивались не самостоятельно, а местными Советами «по согласованию с органами НКВД», что фактически означало замену «трудоармейской» принудилки новой формой административного принуждения к труду – главным образом физическому – в местах, определяемых репрессивными структурами.

– Право на свободное передвижение и выбор места жительства.

– Неприкосновенность личности, жилища и невмешательство в личную жизнь. Подобно тому, как при крепостном праве вопросы личной жизни зависимых людей решал помещик, теперь эти функции в значительной мере выполнял комендант.

В связи со сказанным возникает вопрос: какие же из «всех прав граждан СССР» оставались у спецпереселенцев после «исключения ограничений», предусмотренных Постановлением? Свобода слова, печати, уличных шествий, демонстраций – лозунги, от которых в советские времена веяло нескрываемым ханжеством? Разумеется, нет! Эти мифические права подпадали под понятие «общественный порядок», за нарушение которого Постановление предусматривало наказание. Право избирать и быть избранным? Только не для спецпереселенца, который, как правило, не мог быть избран даже в президиум собрания своего трудового коллектива. Или спецпереселенцам оставили право на свободу совести и вероисповедания? Ни в коей мере. Власть калёным железом выжигала любые попытки немцев собраться на богослужение.

Таким на поверку был этот репрессивный акт, ознаменовавший новый переломный момент в истории российских немцев. Выражаясь языком обществоведов, они из периода рабства с его каторжными лагерями для «трудоармейцев» вступили в эпоху крепостничества, личной зависимости от хозяина-самодура в лице спецкоменданта НКВД.

Не вписывались мы в советское общество, ещё не отошедшее от

эйфории победы над гитлеровской Германией. Заигрывая с поверженным врагом на западе, режим продолжал мстить «своим» немцам на востоке. Директивой НКВД СССР № 181 от 1 октября 1945 г. на учёт спецпоселения были взяты «репатриированные» граждане СССР немецкой национальности («фольксдойче» и «немецкие пособники»). Немцев, «мобилизованных» для использования в промышленности, поставили на спецучёт по месту работы согласно распоряжениям НКВД и соответствующих министерств в 1945–46 гг., когда они ещё находились в «трудармейских» лагерях. На положение спецпереселенцев были переведены и «трудмобилизованные» из тех мест, откуда немцы не выселялись. Это означало, что под действие указанного Постановления СНК СССР от 8 января 1945 г. попали немцы-«трудармейцы», проживавшие до войны в Оренбуржье, Сибири, Казахстане и Средней Азии (всего около 120 тыс.). Данное «мероприятие» НКВД было «узаконено» только 6 лет спустя, Постановлением МГБ СССР и Прокуратуры СССР № 00913/277 от 21 декабря 1951 г.

Согласно архивным данным, обнародованным бывшим сотрудником КГБ СССР А. Кичихиным, в 1949 г. немцы-спецпереселенцы были «закреплены» за 57 министерствами СССР, предприятия которых находились в 49 республиках, краях и областях страны. По всем категориям спецпереселенцев к 1 августа 1950 г. на спецучёте находилось 1209430 немцев, 409763 из которых были детьми до 16-ти лет.

К тому же с 1943 г. в местах выселения – Сибири и Казахстане – активно сосредоточивался новый «враждебный материал». С Кавказа, из Крыма, Калмыкии, Прибалтики по проторённой российскими немцами дорожке опять потянулись в ссылку эшелоны из «телячьих» вагонов, увозивших из родных мест отверженных по национальному признаку. Они, как и немцы, не досчитались десятков тысяч своих соплеменников, погибших в пути и в местах выселения.

Карательное государство вернулось к довоенной практике самоуничтожения. Чума очередного «красного террора» настигла около 40 различных групп населения СССР. Число репрессированных советских граждан снова стало исчисляться миллионами человек. В восточные районы Союза, в лагеря и тюрьмы были этапированы новые «учётные контингенты» НКВД: «оуновцы», «указники», «власовцы», «истинно православные христиане» и многие другие «социально ненадёжные и враждебные элементы».

Складывалось тягостное впечатление, что советская система держится исключительно на страхе, который нуждается в постоянной подпитке путём выискивания всё новых и новых врагов среди собствен-

ного населения. Идеологической мотивацией этой политики являлась традиционная большевистская мания революционной бдительности перед лицом внешнего врага. В довоенное время это была пресловутая Антанта, «огненным кольцом» опоясавшая первое в мире «пролетарское государство» на заре его существования. Теперь врагами стали страны недавней антигитлеровской коалиции во главе с США. Начинаясь «холодная война».

Излагая эти факты, я невольно вспомнил известный ответ Сталина на вопрос одного из соратников о самой большой, по его мнению, жизненной радости: «Наметить врага, разработать план, отомстить, а потом пойти спать...»

Осенью 1946 года была, наконец, упразднена так называемая «трудармия». Счастье нашего «освобождения» состояло в том, что сплошные нары в мужских и женских бараках переоборудовали в спальные места вагонного типа, а сами бараки приобрели казённое, но вполне «цивильное» название – «общежитие». Тихо, без лишних слов, а тем более без фанфар и митингов, автоматически, незаметно даже для самих себя вчерашние «трудмобилизованные» стали в одночасье рабочими и служащими подсобного хозяйства № 1 ЧМС МВД СССР. И одновременно – полностью подвластными спецкоменданту райотдела МВД. Теперь не у начальника лагеря Сиухина, а у него мы должны были испрашивать разрешения на каждый свой шаг.

На недавних «трудмобилизованных» в конторе завели трудовые книжки, в комендатуре – формуляры, и всё пошло по накатанной колее. Для того, чтобы «свободные» граждане не разбежались, мы, как и прежде, были лишены каких-либо удостоверений личности. К тому же продолжал действовать свирепый Указ об уголовной ответственности за самовольный уход с работы, по которому можно было получить пять лет лагерей, откуда мы и без того ещё до конца не вышли. Так двумя кандалами нас приковали к месту поселения и работы.

Поскольку с ликвидацией «зоны» должность культмассовика отпала, я переквалифицировался в никудышного – из-за своей хронической беспечности – кассира-инкассатора. От крупной растраты меня спасло только решение Правительства о первоочередной демобилизации из «трудармии» учителей. Я тотчас запросил справку из Акмолинской области, где после депортации мне пару месяцев удалось поработать учителем, и уже летом 1946 года начал учительствовать в местной начальной школе.

Нам великодушно разрешили иметь семьи и даже вызывать – разумеется, через комендатуру – свои семейства из Сибири и Казахстана.

Ничто не сдерживало брачного порыва немцев – людей одинаково обездоленных, не имевших ни жилья, ни документов, ни имущества, ни средств на его приобретение. Условные супруги – не только молодые – продолжали жить в прежних своих бараках, лишь изредка деля случайный ночлег. Не явился исключением и я, принёсший в семью Вальдбауэров всё своё богатство – котелок.

Помог бедолагам Сиухин, отмерив своими коротенькими ногами по 10 соток земли для строительства времянок. Он же дал и шуточное название новому посёлку – «Фрицбург». До сих пор стоит он у въезда в совхоз «Лазурный» – правда, застроенный добротными домами.

Мероприятиями по «оседлению» и закабалению «спецконтингента», проведёнными под идейным и организационным руководством НКВД в 1946 г., фактически завершилась недоброй памяти «трудоармейская» эпопея российских немцев, что одновременно означало и конец второго круга нашего Дантова ада.

Итоги этого этапа мы подведём позднее, а пока затронем коротко ещё один аспект послевоенной истории наших соплеменников. Вновь воспользовавшись языком обществоведов, можно назвать этот период переходным от «трудоармейского» рабства к спецпоселенческому крепостничеству. Мы же остановимся на насильственном перемещении немцев-спецпереселенцев из «трудоармейских» мест в не менее непригодные для нормальной жизни районы.

В результате победного окончания войны в руки НКВД попал многомиллионный «контингент» подневольной дармовой рабсилы, которая с избытком заменила заключённых, амнистированных по случаю Победы, и «трудооблизованных» немцев. Последние подлежали – согласно методике, давно отработанной НКВД для отбывших срок политзаключённых, – направлению на поселение в места, определяемые волей государства.

Часть бывших немецких лагерников «закреплялась» спецкомендатурами в качестве «вольнонаёмных» по месту прежней работы, некоторые были отконвоированы к семьям в Сибирь и Казахстан. А значительную долю в принудительном порядке перебросили в регионы, где по климатическим и иным условиям имелся острый дефицит рабочей силы или открывались новые предприятия.

Об испытаниях, выпавших на долю сотен тысяч российских немцев в 1946-м, полном неопределённости году, а также позднее, упоминается в знакомых читателю воспоминаниях Иоганна Эйснера, Якова Лихтенвальда, Владимира Зандера, Эрвина Гоффмана, Владимира Крейза. Более подробно мы поведали об этом со слов Бруно Шуль-

мейстера. У него и его друзей по Краслагу увезли любимых подруг, было порушено немало семей, только что начавших складываться и ещё не оформленных официально (до 1949 г. немцы не имели на руках документов). С места сорвали семьи, в которых появились дети первого послевоенного поколения.

На моих глазах в 1946 г. несколько тысяч «трудооблизованных» специалистов Челябинметаллургстроя принудительно отправили на новую сверхсекретную стройку Главпромстроя НКВД с кодовым названием «Челябинск-40». Туда было передано также подсобное хозяйство, где я находился в «трудоармии» с 1944 г., а позднее работал учителем. Поэтому мы кое-что знали о таинственной стройке, отгороженной от внешнего мира тремя рядами колючей проволоки и охраняемой пограничниками. Позднее прошёл слух, что в Кыштыме (туда из подсобного хозяйства на автомашинах доставлялись овощи и другая продукция) «делают атомную бомбу».

Секрет таинственного города Челябинск-40 неожиданно приоткрылся жителям области в 1956 г., когда там из-за неправильного хранения радиоактивных отходов произошёл самопроизвольный взрыв, в результате которого была «загрязнена» большая территория к востоку от Кыштыма. Подробности этого взрыва и губительные последствия, которые до сих пор дают знать о себе, стали известны лишь три десятилетия спустя, в период горбачёвской гласности. Оказалось, что химкомбинат «Маяк» (так назывался сверхсекретный объект в Челябинске-40) был первым в стране заводом по переработке урана, который использовался для производства атомного, а затем и термоядерного оружия. А «трудооблизованные» немцы из ЧМС, соорудившие этот комбинат вместе с другими строителями, стали подопытными кроликами на новом, ещё не отработанном производстве и подверглись радиоактивному облучению.

Но это ещё не всё. Для получения обогащённого урана, а затем ядерного топлива требовалось огромное количество руды, залежи которой находились в Средней Азии, Казахстане, Восточной Сибири и других горных районах СССР. На эти смертоносные рудники были отправлены в 1946-49 гг. десятки тысяч бывших «трудооблизованных», а теперь спецпоселенцев, мужчин и женщин, без их согласия и какой-либо информации о том, куда и для каких целей их везут. Так возникли новые места проживания российских немцев, отчасти сохранившиеся до сих пор: в Казахстане (Мирный), Киргизии (Майли-Сай), Таджикистане (Чкаловск), а также в Иркутской и Читинской областях.

Мне запомнился рассказ упомянутого Егора Штумпфа, как их эше-

лон с немцами-спецпереселенцами этапировали из Кыштыма в Киргизию, на урановые рудники:

«Было это весной 1949 года. Нам уже зачитали Указ о вечном поселении, и каждый решил, что пора обустроиваться там, где предназначено Богом и Советской властью. Многие к тому времени уже обзавелись семьями. Избушки и землянки себе построили, столы и стулья из ящиков и досок соорудили. Появились на свет детишки, а в хозяйстве козы, чтобы их молочком поить. Словом, сделали немцы первые самостоятельные шаги за восемь лет ссыльной жизни и запланировали новые.

Но тут, как снег на голову, распоряжение спецкомендатуры: всем приготовиться к отправке на новое место жительства. Куда – никто не говорит, на какое время – тоже. В Кыштыме всё было государственной тайной. Плакатами о бдительности даже туалеты обклеивали, чтобы сквозь стены не так дуло.

Собрали мы с женой свои пожитки: у неё на руках ребёнок, у меня постельные принадлежности – вот и всё наше богатство. Разместились в таком же 'телячьем' вагоне, как в 41-м году, когда нас выселяли из Поволжья в Павлодарскую область. Правда, тогда охранников всего несколько человек было, а тут на каждые три вагона по два солдата – с одной и другой стороны. Строже, чем опасных преступников, охраняли. Ни разу за 10 дней из вагонов не выпустили, никого к ним не подпускали. Даже осматривателям состава не разрешалось с нами заговаривать. Строго предупредили: на стоянках – ни звука! Мы были 'секретным' живым грузом, который везли со сверхзакрытого объекта, бывшего тайной для всего мира. Эта игра в секретность дошла до того, что вдоль нашего эшелона для лучшего контроля были натянуты провода с лампочками. Ночью поезд светился, как новогодняя ёлка. Я так и не понял тогда: то ли охраняли нас, чтобы никто не сбежал, то ли стерегли, дабы к нам кто-нибудь не забрался, секреты не выведал. А мы их и сами-то не знали, вот в чём фокус!»

Не менее любопытные детали «посттрудоармейского» переселения сообщила моя упомянутая свояченица Фрида Вольтер, которая находилась на лесоповале во владениях Ивдельлага. В 1946 г., когда их лагеря начали заполняться осуждёнными на большие сроки за «измену Родине», комендатура стала «продавать» немцев-спецпоселенцев ходатаям с разных предприятий в азиатской части СССР. Для раздумий времени не оставляли. Комендант ставил вопрос ребром: либо ехать, либо вас зашлют в тайгу, где живут только медведи. Куда бедным немцам деваться? Так Фрида с сестрой оказались в восточно-казахстанском тре-

сте «Макаинзолото». Там для немцев не было другой работы, кроме как лезть в шахту и добывать золотоносную руду.

«Торговать» живыми людей, как скотиной, – это ли не крепостное право?! И подобным «неофеодальным» порядкам не было видно конца...

В последние годы стало известно также, что ЦК и НКВД с присущей им настойчивостью планировали в 1946 г. выселить всех «трудоармейцев» на восток, чтобы до конца реализовать цели, намеченные ещё Указом от 28 августа 1941 года. Новая депортация должна была коснуться 90720 человек, обитавших к этому моменту в 23-х республиках и областях европейской части страны. В то время выселение не было осуществлено: местным властям удалось отстоять «своих» немцев. Во второй раз оно было намечено на 1949-й год, но и тогда по какой-то причине не состоялось.

И вот – печальный итог.

Всего 100 тыс. немцев осталось в европейской части СССР, раза в три больше – на Урале, около 80 тыс. человек насильно отправили в Среднюю Азию. Остальных рассеяли горсточками по необозримым просторам Сибири и Казахстана. Посадили в чужую землю выкорчеванные деревья, чтобы они погибли медленной смертью, оставив в память о себе лишь засохшие ветви...

Продолжавшаяся семь лет неопределённость, когда в любой момент могла последовать команда «Выходи строиться с вепцами!» или комендантская директива «Приготовиться к этапу на новое место поселения!», начисто лишала людей уверенности в завтрашнем дне. И в то же время она таила в себе некоторую надежду на будущее. Точка опоры – жёсткая, сталинская – появилась в конце 1948 года. Как-то раз заведующая начальной школой, в которой я уже 2 года работал учителем, сказала:

- Приехал из района человек с плохими для вас вестями.
- Что, опять выселять будут?
- Нет, наоборот...

На следующее утро в набитом до отказа клубе нам зачитали Указ Президиума Верховного Совета СССР от 26 ноября 1948 г. о том, что мы, немцы, как и некоторые другие народы, выселены из своих родных мест навечно, а выезд с места поселения без особого разрешения органов МВД будет караться 20-ю годами каторжных работ. И «попросили» расписаться, что с Указом ознакомлены.

Теперь всё встало на свои места. Нас возвели в ранг вечных спецпоселенцев, «узаконенных» изгоев советского общества. Всех – и старых,

и малых. И тех, кто только родился, и тех, кому ещё предстояло появиться на свет. В том числе и нашу годовалую Светланку. Это был особый вид наследственной «вины»: от спецпоселенцев мог родиться только спецпоселенец.

Все — с несмываемым клеймом. Навечно, на всю жизнь. Даже те женщины других национальностей, которые за немцев замуж вышли, буд-то проказой заразились. Вот как описывает эту ситуацию не раз цитировавшийся нами Бруно Шультмейстер:

«Один раз в месяц нам надо было идти в спецкомендатуру отмечаться — так сказать, представиться надменному коменданту. За пределы посёлка выехать не могли — даже для того, чтобы попасть на базар в райцентр. Особенно строгие порядки установились после выхода Указа 1948 года. Самовольный выезд с места поселения приравнялся теперь к самому тяжкому преступлению! И мы окончательно поняли: не видать нам своей Родины и матушки-Волги...»

В 1947 г. я встретил женщину, с которой договорился 'расписаться'. Но когда мы пришли в сельсовет, председатель сказал нам, что русским женщинам запрещено вступать в брак с иностранцами. А я и не подозревал, что родившись и прожив всю жизнь в России, можно быть иностранцем! Однако об этом знал комендант и потому велел привести жену в комендатуру, чтобы поставить её на спецучёт. Правда, до этого дело не дошло: мы зарегистрировали брак только в 1956 г., уже имея двоих детей.»

Эту же тему затронула в своём письме из города Миасса Челябинской области Ядвига Станиславовна Гайбель. «К нам в посёлок Усть-Онолва Молотовской (Пермской) области, — пишет она, — в 1950 г. пригнали немецких мужчин. Они оказались такими же ссыльными, как жившие у нас поляки, литовцы, белорусы, карелы, крымские татары. Разница состояла только в том, что немцы и крымские татары были сосланы 'навечно'. Вскоре мы подружились с Николаем Гайбелем, а через год стали жить вместе без свадьбы и регистрации, потому что комендант Федосеев пригрозил мне спецучётом. Надо мной, живущей с 'фашистом', насмехались, но я не обращала на это внимания. Знала, что Николай — Человек с большой буквы, и гордилась своим мужем. В 1952 г. нас зарегистрировали, но не на его фамилию. И дети тоже были на моей фамилии. Только в 1956 г., после отмены спецпоселения, мы все стали Гайбелями, а прочерки в детских метриках убрали.»

По прошествии лет совершенно очевидно, что всё это делалось сверху злонамеренно. «Органы» грубо вторгались в личную жизнь российских немцев в первую очередь для изменения демографической си-

туации. Они не только «развели» немецких мужчин и женщин по разным ссыльным местам, но и прямо «воздействовали на процесс» через спецкомендатуры. Женщина любой национальности, вышедшая замуж за немца, наказывалась вечным поселением. А вот немка, вступившая в межнациональный брак, поощрялась освобождением от спецпоселенческого ярма. Что называется, проще не придумаешь!

Логика здесь более чем прозрачна. Дети, родившиеся в семье, главой которой был немец, обычно носили немецкую фамилию и воспитывались в немецком духе. Этого-то и не хотели допустить вездесущие бдительные «органы». Всё было как при крепостном праве — с той лишь разницей, что не помещик, а спецкомендант давал «добро» или отвергал пары перед официальной регистрацией брака.

— Какое счастье, что среди нас нет Шуры, — подумалось мне тогда. — Как бы я стал смотреть ей в глаза? Ведь подтвердились самые скверные мои опасения — включая и то, что мне не суждено вернуться на Украину. Всё будто в кошмарном сне!

Как отголосок того незабытого прошлого мне в руки попало секретное личное дело № 1569 на Кремзер Берту Густавовну, 1923 года рождения, высленную в 1941 г. из Крымской области (до 1944 г. — Крымская АССР). Она была поселенкой спецкомендатуры № 52 Краснокамского района Молотовской области. На учёте состояла с 1942 г.

Держишь в руках этакую «реликвию» и не верится, что на немногих страницах дела уместились полтора десятилетия безвыездной торгужной жизни. Анкета из 20-ти дотошных вопросов. Фотография б на 9, регистрационный лист с ежемесячными подписями. Расписки об ознакомлении с указами и постановлениями, всё сильнее ущемлявшими права немецкого населения. Два отказа на заявления в Краснокамский ГО МГБ с просьбой разрешить ей выехать к сестре Головченко, проживавшей в Полтавской области. Обязательная автобиография, для которой хватило половинки тетрадного листа.

С открытием подобных дел начинался для российских немцев третий по счёту (после депортации и «трудармии») круг Дантова ада — жизнь под гнётом сапога спецкоменданта, чаще всего самодура и ту-пого служаки всесильного карательного ведомства страны Советов.

Спецпоселение — это ещё одна рождённая «классовой борьбой» форма «социальной защиты первого в мире пролетарского государства». С его помощью был ликвидирован последний в нашей стране «эксплуататорский класс» — «кулачество» (этих крестьян сгноили в азиатской глухомани, на Соловках и пр.). На поселение в Сибирь и Казахстан сослали лучших представителей «классово чуждой» российской

интеллигенции. В восточные районы были высланы тысячи «буржуазно-кулацких и социально ненадёжных элементов» из прибалтийских республик, «добровольно» вошедших в состав СССР. К вечному поселению приговаривали – после отбытия двойного и даже тройного срока – «врагов народа», чудом переживших колымские лагеря.

Теперь этот испытанный энкаведистский метод был перенесён на неудобные Сталину народы Кавказа, Крыма, Калмыкии и южных пограничных районов СССР, а также российских немцев.

Новое «великое переселение народов» и учреждение над ними жёсткого надзора НКВД-МВД означали санкционированное государством внесудебное «наказание». За несуществующую вину или преступления одиночек. А то и без оных, в превентивном порядке. Но истинной задачей, думается, было другое – держать в безропотном подчинении многонациональное население СССР, воплощая таким образом фарисейский лозунг о «неурушимой дружбе советских народов». Конечная же цель этой акции состояла в реализации сталинской идеи территориального перемещения и «селекции» народов страны.

В отличие от Гитлера, открыто уничтожавшего в целях «очищения германской расы» евреев и цыган, Сталин, столь же склонный к геноциду, изобрёл другой способ «решения» национальных проблем – ханжескую «социалистическую» денационализацию, фактически означавшую русификацию наций и народностей СССР. В погоне за вождённой однородностью советского общества в жертву приносились неблагонадёжные, с точки зрения Сталина, народы. Они должны были первыми раствориться в ассимиляционном «котле».

Для этого по отношению к ним не допускалось изменение места жительства и формирование компактных национальных групп. Предельно ограничивалась роль гонимых народов в политической, хозяйственной и культурной жизни. Было полностью ликвидировано их национальное образование, приняты далеко идущие меры по уничтожению национальной культуры и использованию родного языка. Поставлен прочный заслон возрождению национальной интеллигенции. Спецкомендатуры использовали все свои обширные полномочия для социальной изоляции спецпоселенцев, оставив за последними только право на неквалифицированный, в первую очередь физический труд. Представители данных народов не допускались к руководящим должностям, особенно связанным с правом подписи документов, не могли награждаться не только орденами и медалями, но и, как правило, грамотами, не должны были избираться в Советы, в партийные и профсоюзные органы, даже в президиумы собраний. Спецпоселенцев не

принимали в партию и комсомол. Их фамилии запрещалось приводить в печати. Названия депортированных народов были изъяты из статистических сборников, справочников, энциклопедий, а тем более из прочих книг и учебников. Из истории вычеркнули 12 «провинившихся» национальностей. Над ними, как над утопленниками, замкнулась гладь немоты, оставив лишь расходящиеся круги страха.

Российские немцы из «зоны» за колючей проволокой были переведены в зону безмолвия, которую стерегли спецкомендатуры и коменданты. В отличие от проволоочной, эту «зону» уготовили им навечно, то бишь на всё время существования их как народа. Им, презренным, давали понять: хотите, чтобы исчезла «зона», – быстрее русифицируйтесь!

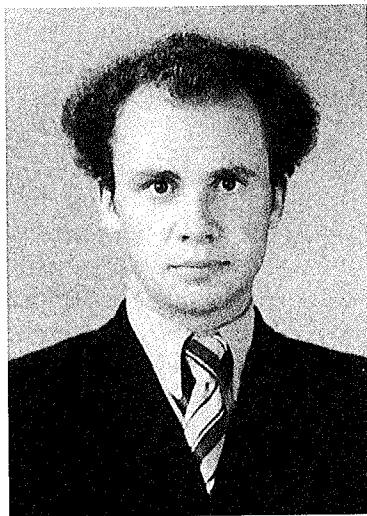
Как всё это выглядело на практике, я хорошо помню. Но интересны воспоминания-свидетельства людей из разных мест. Вот что поведала мне Елизавета Шиц из села Люксембург. Надзор НКВД возник в Киргизии, как и в других местах, задолго до войны, а в 1946 г. всех жителей села объявили спецпоселенцами и поставили над ними коменданта, который был главнее, чем председатели колхоза и сельсовета вместе взятые.

– «Спецпоселенцы!» Никто нас специально сюда не поселял, мы сами в 1928 г. приехали, – до сих пор не может успокоиться она. – Дальше железнодорожного переезда по улице ходить запретили: там начинался Кант, другой посёлок. Кто-нибудь увидит, доложит коменданту – 5 суток ареста! Даже на колхозное поле по разрешению райотдела МВД ездили. А для поездки во Фрунзе – это 15 километров от нас – уже бумагу от республики надо было иметь! Из-за комендатуры все – и русские, и киргизы – на нас волками смотрели. Помню, идём мы с мамой за переезд, она шепчет мне: «Не говори по-немецки. Обругают фашистами и камнями забросают!» Школы-десятилетки у нас не было, в Кант ходили – так наших ребят до 70-х годов по дороге в школу и домой русские мальчишки били. Ну разве такое можно терпеть или забыть?

Дети неспроста считаются зеркалом своего окружения. По тому, что они говорят, как ведут себя на улице и в школе, в какие игры играют, по взаимоотношениям сверстников разных национальностей можно судить не только о семьях, но в значительной мере и об обществе, где они живут и воспитываются. Спросите у нынешних 50-летних немецких мужчин и женщин, какие самые горькие воспоминания остались в их памяти от детских лет. Большинство из них наверняка назовёт не голод и нищету, а обидные клички, пин-

ки и зуботычины, которые постоянно приходилось сносить на улице и в школе. Уже тогда им дали понять, что они являются изгоями «своего» немцененавистнического общества.

О своём детстве и отрочестве вспоминает знакомый читателю Роберт Вайлерт. В Алтайском крае, куда выселили их семью, он должен был пойти в пятый класс. Но учиться не пришлось: не было дня, чтобы его не побили в школе или по дороге домой. Били за то, что он не Иван, а Роберт, немец, фриц, фашист, что не курит, не получает двоек. И просто так, ни за что. Жаловаться было бесполезно. Учителя умышленно не обращали внимания на то, что «бьют немцев», и к тому же жалобы ещё больше подзадоривали забияк. Наконец, отец не выдержал, сказал: «Не ходи больше в школу, пока подождём!» У него был собственный опыт такой жизни. И Роберт стал вместе с отцом работать на складе для хранения и переработки пушнины.



Отто-Зигфрид Дик

Можно привести много примеров отравленного детства, со времени которого в ушах навязли обидные клички, а в душе до сих пор затаился страх. Органичусь одним, о котором написал из Мюнстера (Земля Северный Рейн-Вестфалия) Отто-Зигфрид Дик. Вместе с матерью и другими немцами их летом 1942 года вывезли по Ладожскому озеру из блокадного Ленинграда. Незадолго до этого в их дом угодил снаряд, Зигфрида серьёзно ранило, и он был очень слаб. Поселились в деревне Зятьковка Новосибирской области у родственников матери, депортированных с Волги. (Отец был репрессирован в Ленинграде ещё в 1937 г.)

Зигфриду было в ту пору 11 лет, его кузену 12. Пошли они как-то вдвоём на берег озера. И вдруг вдали появилось двое сверстников.

— Бежим, — сказал брат. — Сейчас нас будут бить.

Зигфрид ответил, что бежать не может, а бить их мальчишки не станут. Те подошли, спрашивают:

— Кто такой?

— Из Ленинграда, блокадник и раненый.

— Покажи раны!

Зигфрид поднял рубаху.

— От чего? — спросили они.

— Снаряд в дом попал. Я под одеялами спасаюсь...

Поглядели, ушли. Они ведь впервые увидели человека с войны.

«Меня всю жизнь, кроме последних лет в Германии, преследовало моё двойное имя в документах, — пишет далее О.-З. Дик. — Особенно в послевоенные годы. Помню, выделили мне в сельсовете, как пострадавшему блокаднику, полушубок и валенки. Но когда мы с мамой пошли их получать, там обнаружили непривычное имя и в помощи отказали. Предлог: я не ходил на пионерские сборы. В действительности же кто-то из сельсоветчиков прознал, что оборонительная линия Германии на границе с Францией носила имя Зигфрида. Этого было более чем достаточно, чтобы я остался голым и босым. Дабы я мог ходить в школу и домой, жалостливые люди дали мне рваные валенки и телогрейку, а потом я всё это отработывал. С апреля по ноябрь ходил только босиком. Меня и дразнили, и били, но я упрямо посещал школу. Потом пастух-немец, чуть постарше нас с кузеном, подарил мне для самозащиты бич...»

О том, с каким трудом пробивались через комендатуры наши немцы, чтобы получить высшее образование, свидетельствует типичный рассказ упомянутого Якова Менгеля, персонального пенсионера, бывшего работника Госплана Киргизии.

В 1946 г. он вернулся с Бакалстрою домой в Кант. До войны успел закончить 10 классов, и теперь задался целью поступить в технический вуз. Первым делом его поставили на спецучёт и «замарали» ему, как он говорит, паспорт, внося туда запись: «Разрешается проживать только в ПГТ Кант Киргизской ССР». Предупредили, что выезд за пределы республики на учёбу разрешён не будет.

Значит, запланированная Москва отпадала. Выбора не было, и пришлось Якову поступить на вечернее отделение филиала Московского финансово-экономического института, находившегося во Фрунзе. Для поездки на занятия ему выдавали разрешение, которое надо было через коменданта ежемесячно оформлять в МВД республики. Нередко оно запаздывало на несколько дней или на неделю. И тогда приходилось пропускать учёбу.

В сентябре 1947 г. Яков заявил коменданту, что его могут отчислить за пропуски и потому он вынужден поехать без разрешения. Через день его повесткой вызвал начальник райотдела МВД, который встретил студента криком:

— Ты почему нарушил режим и уехал в город без разрешения?

– Комендант затынул с оформлением пропуска, хотя я каждый день к нему ходил... – попытался оправдаться Яков. – Имею же я право на образование, так в Конституции записано!

– А, ты ещё смеешь на Конституцию ссылаться?! Не для вас она писана! – побагровел от злости начальник. – Снять ремень! 7 суток ареста! Конвой! Увести арестованного!

Вышел Яков из КПЗ совершенно опустошённый, раздавленный морально, готовый покончить с собой от понесённой обиды. Потом подумал: нет, не опустит он голову ниже плахи. Не может такое беззаконие продолжаться вечно, наступит иное время, всё изменится.

Однако на этом его злоключения не закончились. В 1951 г. надо было ехать в Москву сдавать госэкзамены. Разрешения, конечно, не дали. Спецпоселенцу – в столицу? Ни в коем случае! Только в 1954 г. ему удалось сдать госэкзамены, да и то в Алма-Ате. В Москву даже после смерти Лучшего друга советских студентов он поехать не имел права.

Не меньшей помехой были спецучёт и немецкая национальность при устройстве на работу. В Минфин и Госплан его не брали даже на пустяшную службу.

– Работники Вашего профиля нам не требуются, – неизменно отвечали в отделах кадров, спросив диплом и обнаружив там немецкую фамилию. Хотя точно было известно, что таких специалистов не хватает.

Как знакома эта ситуация тем из наших немцев, кто пытался устроиться на работу, не связанную с физическим трудом! Даже после 1953 года. Вплоть до самого недавнего времени. Железобетонной стеной стояли отделы кадров, оберегая свои учреждения от российских немцев!

Только после снятия со спецучёта Яков смог поступить на работу по специальности. А до этого трудился в колхозе, возил сено, навоз, убирал свёклу и т.п. И оказался отличным специалистом. Начиная с 1971 года, работал в Госплане республики, выйдя на пенсию в должности заведующего отделом. И вот ирония судьбы – теперь его по этой причине не принимают в Германии на постоянное жительство: служил-де тоталитарному режиму!

«Типичная история!» – скажут те наши соплеменники, которые до войны успели закончить среднюю школу, пережили «трудармию» и после неё пытались получить высшее образование. Совершенно верно! Трудности были неимоверные: на дневном отделении немцев не принимали или заваливали на экзаменах, разрешения на поездки не выдавала спецкомендатура. А многие не поступали сами, потому что

надо было зарабатывать на жизнь. Ведь тем, кому в 1941 г. было 18, в 1946-м стукнуло уже по 23. Поэтому из 54-х моих собеседников, бывших «трудармейцев», с которыми я обсуждал эту тему, высшее образование имели только трое. Да и то – послевоенное заочное. На вопрос, знали ли они кого-либо из тех, кто, имея высшее образование, находился в «трудармии», утвердительно ответили двое. И оба назвали фамилии людей, погибших там от голода.

О том, какие препоны пришлось преодолеть молодому немцу, чтобы воплотить свою заветную мечту – стать художником, написал из Таджикистана вышеупомянутый Эрвин Гоффман.

В 1948 г. его отец, отбывавший «трудармию» в Нижнем Тагиле, добился разрешения на воссоединение с семьёй. Жена и оставшиеся в живых двое детей из четверых покинули проклятую павлодарскую ссылку и переехали на Урал. Но там они попали в новую резервацию. Вокруг бывших «трудармейских» бараков, где жили одинокие и семейные спецпоселенцы, ещё сохранялись колючая проволока и вахта. Вместо вохровцев в ней дежурили теперь представители комендатуры. Все обитатели бараков должны были ставить их в известность, куда направляются и когда возвратятся в гетто.

Два года спустя Эрвин на «хорошо» и «отлично» закончил неполную среднюю школу. Учиться дальше его никуда не принимали: спецпоселенец, требуется разрешение коменданта. А у того один ответ: «Иди в ФЗО!» Эрвин самостоятельно и с помощью учителей рисования уже кое-чего сумел достичь в своём любимом деле. Просил у коменданта разрешения поступить в художественное училище в их же городе. Тот не позволил. Тогда юноша решил подать документы на свой страх и риск. Все экзамены, в т.ч. специальные, сдал хорошо. Директор не посмотрел на национальность, и он стал студентом.

Закончил училище в 1956 г., когда комендантскому произволу наступил конец. Но Эрвину постоянно приходилось преодолевать дополнительные препятствия, связанные с немецкой национальностью. В Таджикистане, где он жил до выезда в Германию, все блага, включая награды, распределялись по национальному признаку: сначала таджикам, потом русским, а что останется – всем остальным. И только вопреки всему этому и благодаря своему природному дарованию он приобрёл известность в изобразительном искусстве. Однако постоянное нервное напряжение закончилось инсультом, который начисто лишил его возможности рисовать. Не помогла и немецкая медицина, на которую он так надеялся, уезжая в Германию.

Из полученных мною писем лишь в считанных единицах говори-

лось о получении немцами стационарного высшего образования в условиях спецпоселения. Напротив, большинство авторов приводит факты, свидетельствующие о скоординированных действиях спецкомендатур и вузов, которые препятствовали доступу спецпоселенцев к высшему образованию. Установка центральных партийных и советских органов относительно этого «контингента» была категоричной и недвусмысленной: их уделом должен быть примитивный, желательного сельского физический труд.

В недавно выпшедшей книге «Из истории немцев Казахстана (1921-1975 гг.). Сборник документов» опубликован любопытнейший документ на этот счёт – Постановление ЦК КП(б) Казахстана от 28 мая 1952 г. «О приёме спецпоселенцев в высшие учебные заведения». В нём предписывалось прекратить приём лиц этой категории в ряд казахстанских вузов, а в другие – строго ограничить. В последнем случае речь шла к тому же в первую очередь о «коммунистах и комсомольцах, активно проявивших себя в производственной и общественной работе».

О подобных кознях хорошо знали немецкие выпускники средних школ. Чтобы отправиться в вуз, им требовалось не только разрешение спецкомендатуры. Они должны были в душе смириться с участью изгоев. Быть готовыми к тому, чтобы после вежливых намёков в одном вузе и грубых отказов в других принять как дар то, что оказалось неприемлемым для абитуриентов негонимых национальностей. Это было горькое и обидное «счастье».

О своей институтской одиссее рассказал упомянутый Отто-Зигфрид Дик.

В 1948 г. их семье, наконец, разрешили переехать в Канск Красноярского края, куда в 1941 г. были выселены родители его матери. Там были настроены к немцам не столь агрессивно. Дедушке, имевшему степень кандидата педагогических наук, даже разрешили работать учителем немецкого языка в старших классах. (Правда, по окончании учебного года его всякий раз увольняли с работы, а осенью вновь принимали.) Даже мать, работавшую в Ленинграде начальником отделения связи, приняли на почтамт. (Однако вскоре сократили.)

Как бы там ни было, в 1951 г. Зигфрид закончил среднюю школу и сообщая с родителями помышлял о высшем образовании. Ещё с детства он мечтал стать садоводом. Попытался поступить в плодово-овощной институт, но МВД отказало в разрешении на выезд за пределы области. Пришлось податься на поиски студенческого счастья в Красноярск. В медицинский и педагогический институты спецпоселенцев не принимали. Оставался лесотехнический, да и то только вновь открыв-

шееся отделение «Водный транспорт леса». (Обидно: спецпоселенцев с Прибалтики, Украины принимали и на другие отделения этого института, а немцев – нет, будто вечный лесоповал написан у них на роду!)

На отделении был большой недобор. Русским абитуриентам разрешали сдавать по пять раз, пока им не выставляли требуемую «тройку». Немец же допускался к экзамену лишь однажды и должен был получить не меньше «четвёрки». Не случайно поэтому на единственном в Красноярске вузовском отделении, куда могли поступать немцы, у Зигфрида насчитывалось мизерное число соплемеников. (В их числе – Миральда Закс, дочь известного писателя Андреаса Закса.) Чтобы удержаться в институте, они должны были быть на голову выше других студентов, т.к. преподаватели по научению сверху, как правило, относились к ним предвзято, и схлопотать «неуд» на экзаменах было проще простого.

Принудительно полученная специальность лесосплащика не нравилась Зигфриду, и в 1963 г. он поступил на отделение пластмасс Всесоюзного заочного политехнического института. Одновременно работал на заводе искусственного волокна в Красноярске. Но он и его жена не были бы немцами, удовольствуйся они достигнутым. Им хотелось перебраться туда, где не так холодно и растут хоть какие-нибудь фрукты. Зигфрид попытался переехать в Новосибирск и устроиться там на завод пластмасс или другие химические предприятия. На вопрос, нужны ли специалисты его профиля, в отделах кадров отвечали радостным «да», но, просмотрев анкету, столь же дружно говорили, что на это место, оказывается, уже взяли человека.

Упрямый О.-З. Дик вновь и вновь пытался пробиться сквозь глухую стену недоверия. «Сразу же после защиты диплома в 1967 г., – пишет он, – я обратился в Управление пластмасс Минхимпрома СССР о трудоустройстве в Москве или Подмоскowie. Мне ответили положительно и объяснили, как разыскать директора крупного химкомбината. Тот тут же написал записку и велел мне немедленно ехать на предприятие. Там проведут аттестацию. Выдержишь – будешь у нас работать», – заверил директор. Экзамен я сдал, получил нужные бумаги, передал в Управление. При мне их завизировали и сказали: 'Завтра утром приходите за направлением.' Но назавтра всё оказалось иначе: отказал 1-й отдел...»

Кому из специалистов немецкой национальности не знаком этот испытанный приём кадровиков – «отшивать» людей, неприемлемых для «закрытых», «режимных», «секретных», а то и обычных производств по знаменитой «пятой графе»? Настораживающее сло-

во «немцев», внесённое в эту графу, являлось и подчас ещё остаётся препятствием к получению образования в престижных вузах страны, при приёме на работу, связанную с многочисленными и нередко надуманными «государственными тайнами». Под этим предлогом российские немцы не допускались и не допускаются в отрасли с высокой и передовой технологией (военная промышленность, точное машиностроение и т.п.).

Убедительным примером продолжающегося недоверия к собственным гражданам может служить Директива Генштаба России от 16 декабря 1993 г., согласно которой немцы, как и представители прочих репрессированных народов, не должны призываться в режимные, лётные, воздушно-десантные, радиотехнические части, подразделения связи и приниматься в соответствующие военные училища. Немцев-военнослужащих практически не было в элитной Западной группе войск, дислоцированной на территории ГДР. Зато их охотно направляли во всевозможные «горячие точки» — Афганистан, Приднестровье, Закавказье, Чечню.

«Я знал одну семью, — пишет О.-З. Дик, — в которой дочь взяла фамилию и национальность отца, а сыновья — матери. Сын дочери дослужился до звания полковника, тогда как его кузены, которые учились и работали в тех же местах, стали генералами. Они числились русскими, а мать полковника и его дед — немцами.»

Согласно статистике, продолжает Дик, на 900 военнослужащих российской армии приходится один генерал. Немцев служит в ней намного больше, чем 900, но среди них нет ни одного генерала.

Остатками с барского стола, «сервированного» спецкомендатурами вкупе с образовательными органами, пришлось довольствоваться и упомянутому Альберту Мейснеру, проживающему в германском городе Обинге. В сентябре 1948 г., сообщает он, их «демобилизировали» из «трудоармии», т.е. дали возможность вернуться к своим семьям, чем Альберт не замедлил воспользоваться.

«В Акмолинске, где жили родители, — пишет он далее, — я окончил 10 классов и с разрешения комендатуры поехал поступать в Карагандинский горный институт. Документы у меня приняли, два экзамена сдал на 'хорошо' и 'отлично', всё как будто шло нормально. Но перед третьим экзаменом в коридоре появился список из 52-х фамилий спецпоселенцев. Нам предлагалось явиться с паспортами к ректору. Там сказали: 'Наш институт союзного значения, режимный. Поэтому поступило распоряжение спецпоселенцев не принимать.'»

Обескураженные и возмущённые, мы всей толпой направились

в обком партии, надеясь найти здесь защиту от беззакония. Но нас не пустили дальше постового милиционера.

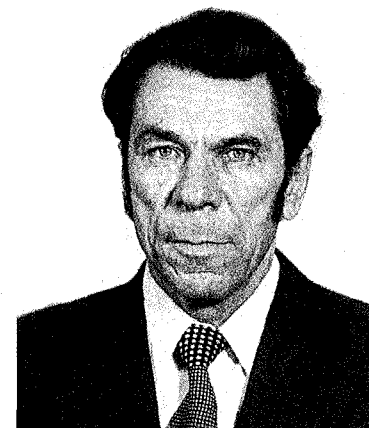
Тогда я отнёс документы в горный техникум. Там их, к счастью, не завернули, приняли меня сразу на третий курс. Но с моей мечтой и желанием родителей о высшем образовании было покончено навсегда.»

Из-за «узаконенных» препятствий к поступлению на дневные отделения вузов спецпоселенцы вынуждены были в большинстве своём довольствоваться усечённым «заушным» обучением. Об этом свидетельствует моя почта от бывших «трудоармейцев», которым с огромным трудом удалось получить высшее образование.

«Через тернии к звёздам» продирался и Андреас Предигер, известный как самодеятельный художник среди российских немцев и в Германии. Родившись в Немреспублике, он прошёл жизненный путь, по которому можно изучать географию бывшего СССР и историю наших соплеменников. В 30-е годы их семья отправилась в поисках спасения от голодной смерти в Белоруссию, а затем на Северный Кавказ. Там похоронили двух его сестрёнок и брата. Переехали в Грузию — лишились 45-летнего отца. Кинулись снова на Волгу, в Сталинград. Здесь их настигли война и депортация в Восточный Казахстан.

В 1942 г., 16-летним парнишкой, Андреас был «мобилизован» на угольные шахты кузбасского города Прокопьевска. В «трудовую колонию» — так записано в его послужном списке. Работал в забое. В течение трёх месяцев был даже горным мастером, но затем его как немца, состоящего на спецучёте, отстранили от руководящей должности. По той же причине не приняли в горный техникум. Никакого иного «общественно полезного труда», кроме физического!

Рисовать любил с детства, но учиться мастерству долго не удавалось. В Кузбассе не было специальных училищ, а в другие области не пускала комендатура. После многократных обращений в Москву ему разрешили поехать в Ташкент, но через неделю выдворили: нельзя, как оказалось, немцам проживать в республиканских столицах. Пришлось вернуться в Прокопьевск и снова спуститься в забой.



Альберт Мейснер



Андреас Предигер

Но тяга к искусству не давала Андреасу покоя. Чтобы быть поближе к своему любимому делу, он через несколько лет устроился учителем рисования и черчения. Перебивался с семьёй на скудном школьном заработке, да ещё и выкраивал деньги на краски. Каждую свободную минуту проводил у мольберта. Только в 40 — через пять лет после отмены спецкомендатуры закончил заочно художественно-педагогическое отделение Красноярского пединститута. Остальное было достигнуто благодаря упорству и верности своей мечте.

В 1990 г. Предигер добился проведения первой и, как оказалось, последней выставки своих работ в Прокопьевске. С 1993 г. он живёт в Германии, где участвовал уже в 12-ти выставках. Его творчество отличает ярко выраженное стремление отобразить на полотне трагедию своего народа. Ещё в Прокопьевске он написал и выставил одну из наиболее впечатляющих работ — триптих «Апофеоз сталинизма», третья часть которого называется «Не допусти, Бог».

Именно этими словами заканчивалась процитированная нами статья ветерана войны и труда Григория Шамоты. Напомним, что в ней рассказывалось, как во время вспашки целины в Кустанайской области трактор вывернул на поверхность груды человеческих костей — останки немцев, выселенных сюда в 1941 г. Людей привезли в трескучий мороз и бросили на произвол судьбы в голой степи. Голодные, ослабевшие, они остались там навечно. Это вопиющее преступление против человечности и побудило художника к написанию триптиха, который стал переломным моментом в его творческой биографии. Андреас Предигер был одним из первых художников в СССР, дерзнувших поднять страшную и не подлежащую забвению тему репрессий против российских немцев. Продолжает он её и в Германии.

Какую же массу сил, энергии, а главное — драгоценного времени пришлось затратить ему и другим нашим национальным талантам на преодоление сопротивления Системы! А сколько задатков к художественному, литературному, театральному, научному и другим

видам творчества было загублено на корню?! Ведь, к примеру, у Предигера спецкомендатура и её последствия отняли фактически половину творческой жизни...

Приведу ещё один типичный пример того, с каким трудом спецпоселенцы отстаивали своё «место под солнцем». Особенно, если это было связано с получением запретного высшего образования. Речь пойдёт о Леопольде Кинцеле, эпизоды из жизни которого уже приводились в нашем повествовании.

До войны он закончил среднюю школу и год проучился в Ульяновском танковом училище. В 1942 г. его, как и многих других немцев, отправили на лесоповал. Он попал в свирепый Ивдельлаг. Чудом они с младшим братом выжили в бериевской человекобойне. Леопольда спасло то, что он некоторое время занимал спасительную должность лагерного завхоза.

В 1946 г. его снова «мобилизовали» — на сей раз в военизированную охрану МВД. Ту самую, которая совсем недавно стерегла их как опасных преступников. Не спросив согласия, на них надели форму, вручили автоматы и послали в конвой, не забыв, однако, предупредить о том, что они, как и все спецпоселенцы, должны регулярно отмечаться у коменданта.

Я встретился с Л. Кинцелем в Германии, куда тот переселился в 1994 г. Вплоть до выезда он продолжал работать в школе села Киялы Северо-Казахстанской области, которой отдал 42 года жизни. Почти 20 лет, начиная с 1963 г., директорствовал в ней и ещё 12 лет после этого трудился учителем. Эти четыре десятка лет он считает лучшими в своей биографии.

А шёл он к жизненной цели, как и другие российские немцы в послевоенную пору, упрямо, шаг за шагом. С позволения коменданта поступил на заочное отделение физико-математического факультета Петропавловского пединститута. Работа директора приносила удовлетворение, но и требовала от него постоянного расширения кругозора. И 48-летний опытный руководитель поступил на заочное отделение исторического факультета. До выхода на пенсию Леопольд работал учителем истории и обществоведения в своей школе, патриотом которой остаётся и по сей день.

Мысленно следуя по тернистому пути Л. Кинцеля, А. Предигера и других немцев, которые через рогатки спецкомендатур пробивались к высшему образованию, я ловлю себя на том, что по сути дела этой и мой собственный путь. Я тоже случайно попал на учительскую работу. Как Андреас Предигер, был учителем рисования и черчения. По-

добно Леопольду Кинцелю, обучал пятиклассников немецкому языку. Мне не позволялось преподавать историю, которой я учился в институте в начале 50-х годов (конечно же, заочно). И только в годы хрущёвской «оттепели» появилась определённая возможность пойти собственной дорогой, а не путём, предначертанным «органами». Хотя всегда, во всём, повсюду нам и нашим детям давали (и ещё дают!) понять, кто мы и что мы...

Трагические последствия этой многолетней дискриминации в доступе к полноценному образованию и трудовой деятельности привели не только к оскудению интеллектуального фонда нашего народа. Ещё драматичней то, что у послевоенных поколений российских немцев сформировалось устойчивое скептическое отношение к возможности и даже потребности получения высшего образования. К сожалению, наши заниженные социальные запросы зачастую сводятся лишь к сельскохозяйственному труду (предпочтительно – технически оснащённому), которым, как известно, до сих пор занята едва ли не половина немецкого населения стран СНГ.

Но даже в этой сфере деятельности определяющая роль принадлежала не самому человеку, а спецотделам МВД-МГБ. Обязательное участие спецпереселенцев в «общественно полезном труде», предусмотренное упомянутым Постановлением СНК СССР от 8 января 1945 г., регулировалось «органами» исключительно в интересах государства. Невзирая ни на что, в т.ч. и на семейные отношения, спецпереселенцев перебрасывали с места на место в целях «более эффективного их использования» и освобождения лагерных «зон» для новых «контингентов».

По данным МВД СССР, к 1 апреля 1949 г. на спецпоселении находились 296.873 немецких семьи общей численностью 1.035.701 человек, в т.ч. мужчин – 262.833, женщин – 412.830. Среди них насчитывалось 558.557 трудоспособных, однако трудоиспользовалось 590.977(!) чел. Из приведённых данных видно, что число мужчин среди российских немцев даже через 4 года после войны почти вдвое уступало численности женщин и что работало значительно больше немцев, чем было способно к труду. Спецпоселенцев поставили в такие жизненные условия, что ходить на работу приходилось всем, включая многих престарелых, больных и несовершеннолетних.

Именно с таким положением пришлось столкнуться недавним «трудармейцам», которые в 1947-49 гг. вернулись к семьям в Сибирь и Казахстан, откуда были «мобилизованы» в 1942 г. По свидетельствам моих корреспондентов, жизнь в местах ссылки была хуже,

чем в «трудармии» последних лет её существования.

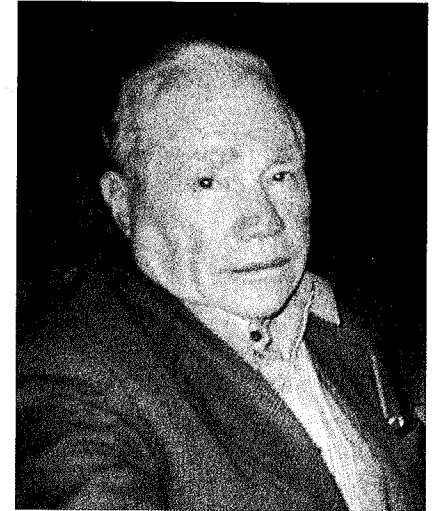
«В 1947 г., – пишет упомянутый Яков Лихтенвальд из Мёнхенгладбаха (Земля Северный Рейн-Вестфалия), – сёстры прислали мне вызов в Краснокамск Молотовской (Пермской) области, где после «трудармии» их задержала спецкомендатура. Преодолев зимний путь в 400 километров из Коми АССР до Соликамска, чтобы на поезде проследовать в Краснокамск, я, немного подкормившись, самовольно отправился в село Ильинку Северо-Казахстанской области, где находились родители. Приехал, а у них крошки хлеба нет. За 6 лет в колхозе не выдали ни грамма зерна. Не выделяли даже землю под строительство жилья или для посадки картофеля. Одно спасение было – молоко. Отец, которого по болезни отпустили из «трудармии», купил корову и на крутом берегу реки построил из дёрна землянку. Там и жили впроголодь...»

Яков мечтал закончить 7 классов, пойти учиться дальше. Не пустили! Буквально силком, под конвоем отправили в МТС на курсы бригадиров тракторных бригад. Так он и остался полуграмотным.

Эту тему продолжает Иоганн Эйсер, знакомый нам по предыдущим главам. В конце лета 1946 года, после многократных обращений в Москву, его отпустили из «трудармии». Вместе с женой, бывшей «трудмобилизованной» стрелочницей, ребёнком и заплечным мешком, где уместилось всё имущество, нажитое за 5 лет «трудармейской» каторги в Вятлаге, он прибыл в Ширинский район Хакасии, куда его выселили в 1941 г.

Нищета была ужасающей. Хлеба не видели годами, хотя работали в колхозе втроём, включая 13-летнего брата Иоганна. Ели картофельные лепёшки с лебедой и запивали их молоком. Жили в землянке, сооружённой из дёрна. Такими же пластами была уложена крыша, поэтому текло сквозь неё даже после того, как переставал лить дождь.

Решил Иоганн податься в райцентр, на станцию Ширы. Хотел вместе с женой вернуться к железнодорожному делу. Не приняли – не та



Яков Лихтенвальд

национальность. Пошёл грузчиком в «Золотопродснаб», поближе к продуктам питания. Через 3 года купил небольшую землянку. Постепенно, одного за другим, перетянул к себе близких. Стали жить и работать вместе. Из колхоза его отпустили только потому, что за спецпоселенцами надзирал калмык, боевой офицер, вернувшийся с фронта к высланным родителям.

О продолжении учёбы в медучилище, один курс которого Иоганн окончил до депортации, не могло быть и речи. Все усилия уходили на то, чтобы пробиться через нужду и голод, которые продолжались до 50-х годов. Особенно после того, как в 1948 г. умерла от «трудармейских» болезней мать и Иоганн остался старшим в семье. Но они выжили и постепенно начали вставать на ноги. Вскоре Иоганн стал работать бухгалтером в своей снабженческой организации. После снятия со спецучёта он с семьёй перебрался в Дагестан. А три десятилетия спустя, в 1992 г., переселился в Германию.

Ещё об одной спецпоселенческой немецкой судьбе рассказывается в воспоминаниях знакомого читателю Якова Коха. В 1947 г. его и других недавних молодых «трудармейцев» заставили служить в военизированной охране. А через два года, тоже в приказном порядке, уволили с этой работы. К тому времени Яков уже обзавёлся семьёй, хотя из-за отсутствия документов они с супругой, как и другие немецкие «женатики», не были официально зарегистрированы. В сопровождении майора из спецкомендатуры Якова с товарищами переправили из Верхнего Уфалея в Челябинск. Отказался подчиниться вольнонаёмный бухгалтер зековского лагеря Эрленбаум, который, видимо, забыл, что является прежде всего спецпереселенцем, а потом уже человеком. Ему скрутили руки, забросили его в кузов автомашины.

В Челябинской спецкомендатуре прибывшим велели оформляться в трест «Челябстрой», где из-за крайне низких заработков трудились главным образом подневольные люди. Куда бы ни ходили жаловаться новоиспечённые строители, ответ был один: немцами ведает только отдел спецпоселений МВД. Обратился Яков с просьбой о разрешении работать в другой организации к начальнику областного управления спецпоселений Луцкеру. Тот отреагировал коротко: «Идите туда, куда вас направили. И не симулируйте, иначе мы найдём для вас другое место!»

Пришлось трудиться на земляных работах за мизерную плату, которой хватало только на вермишель, хлеб и чай. Но вскоре Яков заболел и по предписанию врача его перевели в столярный цех. Работа пришлась по душе, стала его профессией. А жили они двумя

семьями в барачной комнате площадью 12 кв. метров. Всё имущество семьи состояло из солдатской шинели, хлопчатобумажных галяфе и гимнастёрки Якова, а также поношенной фуфайки и подшитых валенок его жены Полины. В приданое от её родителей молодожёны получили байковое одеяло, матрасовку, пару наволочек и две тарелки. С этого они, как и другие немцы, начинали новую жизнь после конфискации всего своего имущества в 1941 г.

Следующей осенью приехала из Казахстана мать, привезла швейную машинку и деньги на покупку козы. Весной Полина пошла работать в Зеленхоз, где можно было получить землю под посадку картофеля. На выручку от полученного урожая купили поросёнка, завели кур. Мать шила людям нехитрую одежду. Теперь они работали втроем, и появилась надежда на будущее. Только бы снова не сдвинули с места: ведь все немцы ходили под одним «Богом» — спецкомендантом.

Так, шаг за шагом, медленно и трудно ступая, работая до седьмого пота, экономя каждую копейку, поднималась в крутую жизненную гору не только семья Якова Коха. Несмотря на комендантские тиски и иные препоны, у немцев появились крыши над головой, картофель в погребе, живность в хлеву и дети в колыбели. Жизнь продолжалась.

Забегая вперёд, отмечу: многим пришлось сызнова начать с нуля, когда с немцев сняли «спецярмо» и сотни тысяч из них подались в тёплые края, подальше от ненавистных ссыльных мест. Считали, что едут навсегда. Поэтому строили добротные дома, по возможности — со всеми удобствами, сараями для скота, фруктовыми садами и виноградниками.

Выходит, как ни прижимали к земле немецкого «ваньку-встаньку», он поднимался вновь и вновь. Да ещё жил крепче прежнего, вызывая одновременно уважение и зависть окружающих.

Но вернёмся в послевоенное спецпоселенческое время.

Вдобавок к голоду, который не без вины правящей верхушки обрушился на народ-победитель, над головами спецпереселенцев висела ещё и самоуправная власть коменданта. В обязанности последнего входил не только надзор за «наличностью», но и моральное подавление подвластных людей. Могу привести сотни примеров, в т.ч. из опыта собственной семьи, которые свидетельствуют, что каждый «чёрный день» обязательных отметок в спецкомендатуре оставлял на душе кровавый рубец унижения и обиды. Благо, если бы только раз в месяц. Комендатура была с нами, что называется, всегда и всюду.

Воспоминаниями о своих «контактах» со спецкомендантом делится упомянутый Роберт Вайлерт. В 1944 г. его, 16-летнего, направили на

строительство ГЭС. Весной 45-го, уже после окончания войны, возвратившись к семье, он нашёл мать и младшую сестрёнку с пожитками на улице. Оказалось, что сосед по квартире, вернувшийся по ранению с фронта, выбросил из комнаты их вещи. Он заявил, что как победитель может поступать с фашистами по собственному усмотрению. Жаловаться было бесполезно, Роберт снял заброшенный полуподвал, и они прожили по соседству с крысами до 1946 года.

Зная о бедственном положении родных, старшая сестра вызвала их в Кемерово, где находилась в «трудармии». Не подозревая, что самовольный переезд спецпоселенца (даже в такое же ссыльное место) карается законом, Роберт попался на глаза надзирателю «зоны». Ему, он считает, ещё повезло – отделался парой зуботычин, полученных от коменданта Лазуткина. Вскоре всех немцев с их завода убрали, и Роберт подался на автобазу, где постепенно выбился в шофёры.

«В этом автохозяйстве, – пишет Р. Вайлерт, – предприятия города нанимали машины для перевозки грузов. Диспетчеры знали, что меня нельзя посылать дальше городской черты, но нередко случались накладки. Однажды меня сняли с машины, и я пошёл к спецкоменданту, чтобы объяснить ситуацию. Только успел сказать: 'У нас на автобазе...', как комендант заорал так, что у меня волосы на голове встали дыбом: 'У вас – в п... квас, а у нас – в бочке! Вон отсюда, мерзавец! Только время отнимаешь у занятых людей!...'»

У Роберта Вайлерта свой счёт с НКВД-НКГБ-МВД. Он не может ни забыть, ни простить расправу, учинённую «органами» над его старшим братом Якобом в 1942 г. Одногодков брата забрали по «мобилизации» ещё в январе, а он не получил повестки ни тогда, ни в апреле, когда наших соплеменников «призывали» во второй раз. Будучи типичным немцем, послушным и дисциплинированным, он явился в военкомат сам. Якоба тут же включили в список, разрешив сбежать за одеждой и продуктами в дорогу. Но к моменту, когда он вернулся, всех уже отправили. Его сочли за дезертира, дважды уклонившегося от «мобилизации» на трудфронт. И Якоб исчез. Дома считали, что он уехал вместе со всеми, но в эшелоне его не оказалось. Как выяснилось позднее, его в тот же день убили энкаведешники...

Когда размышляешь о многочисленных фактах физических и моральных издевательствах, которые чинили над немцами органы НКВД и советской власти, обращает на себя внимание внешне парадоксальное явление. Применительно к «трудармии» о нём написал упомянутый Леопольд Кинцель: «Норму никто не мог выполнить, но наши немцы, как всегда, хотели кому-то что-то доказать и работали до изнеможе-

ния, пока не падали с ног. Технорук на лесозаготовках, бывший политзек Гальцев говорил нам: (Так вы долго не протянете. Заключённые работают иначе – им надо живыми свой срок отсидеть)».

В принципе то же самое можно было наблюдать и в условиях спецпоселения. Нас, немцев, сослали навечно, над нами измывались коменданты, нас унижала недоверием администрация, третировало местное население. А мы выкладывались на работе, не получая в благодарность даже пустяшной грамоты. Что это? Не ниже ли плахи склоняли головы наши гордые немцы? Полагаю, что нет. В том-то и состоит феномен российского немца, что труд, отношение к нему, рабочая совесть у подавляющего большинства из них были и остаются самостоятельными, веками выработанными нравственными ценностями. Ими нельзя было злоупотребить, используя в качестве средства мщения ненавистным властям в лице начальника лагеря или коменданта. Иначе говоря, типичный немец просто не мог работать плохо – в этом и состоит суть ответа на поставленный нами вопрос.

В подтверждение сказанного сошлюсь на письмо Давида Геринга, которого, как помнит читатель, арестовали на строительстве нефтепровода Гурьев-Кандагач-Орск за «покушение» на энкаведешника. Освободившись из ИТЛ в 1946 г., он работал в совхозе токарем. Между делом отремонтировал «для себя» списанный трактор и пересел на него. После снятия со спецучёта в 1954 г. (досрочно – он ведь считался теперь уголовником, «социально близким элементом»!) поступил заочно в техникум механизации сельского хозяйства. С 1957 г. трудился на целине – вначале механиком участка (3 полевых бригады, 42 трактора), затем главным инженером совхоза (300 тракторов, 218 комбайнов, 157 автомашин). Среди механизаторов было больше половины немцев.

Награды? Медаль «За освоение целинных земель» – на большее немец тогда рассчитывать не мог. Почему-то обычно выходило, что вкалывали одни, а ордена получали другие. Чаще всего – по национальному признаку.

О подобных явлениях вспоминает и знакомый читателю Яков Лихтенвальд. «В 1964 г., – пишет он, – приехали к нам в совхоз телевизионщики, чтобы передачу о моей бригаде подготовить. Вывели мы 12 тракторов на одно поле, выстроили 'лесенкой', как на параде, – вспахивают, дескать, осеннюю зябь. Меня заставили рядом с плугом бежать, солому под лемехи швырять, чтобы картина покрасочней была. На моём стане ещё раз всю бригаду засняли. А в конечном счёте вышло, будто не я, а один казах у нас в бригадах ходил.

Он же и награду получил, а мне, кроме насмешек, ничего не досталось. Директор совхоза потом оправдывался, просил, чтобы я и дальше бригадирствовал. Мол, сам знаешь: не принято по телевизору немецкие фамилии называть...»

А Яков не согласился. Он с женой давно планировал переехать в Ставропольский край, куда уже переселились многие немцы-односельчане. Лихтенвальды хотели, чтобы пятеро детей обязательно изучали родной язык. Рассчитывали реализовать эту цель в Ставрополе, но ошиблись. В их здешнем селе дети учили французский, в соседнем — английский. Ездили с этим вопросом в район, там им сказали прямо: «Хотите, чтобы ваши дети учились по-немецки — езжайте в свою фашистскую Германию.»

Было это в 1965 г., через 9 лет после снятия представителей депортированных народов с учёта спецпоселения. Нетрудно представить, каково приходилось немцам во времена комендантского «ограничения» их прав. Как встарь закрепощённых людей, их лишили всего, не считая пресловутого «права на труд». Да ещё — «приобщения к культуре великого народа» за счёт «добровольной социалистической ассимиляции».

Осветив тогдашнее полукрепостное положение российских немцев, я хочу ответить на напрашивающийся вопрос: известны ли случаи бегства подневольных из-под комендантского ярма? Да, такое бывало, несмотря на запредельное наказание — 20 лет каторги!

Я знаю немца, который рискнул тогда уехать на родную Украину. Это хорошо знакомый читателям Александр Мунтаниол. Его повесть «Heimatlos und vogelfrei» («Без родины и вне закона»), в которой рассказывается об этой одиссее, напечатана в альманахе «Хайматбух» за 1995/1996 гг. Я же попытаюсь воспроизвести его историю по воспоминаниям, присланным мне в 1992 г.

Александр не захотел тащить свою семью на Урал — это означало бы превращение жены-украинки и сына в ссыльных каторжан. В октябре 1946 г. он вернулся домой, в Запорожскую область. Паспорта он не имел и вынужден был работать в колхозе. Приехали две девушки-немки, но пожить в своём селе им не довелось: их арестовали и отправили на 20-летнюю каторгу. Александра тоже искали, но с помощью друзей он получил паспорт, где были вписаны другая фамилия и национальность. После этого он уехал в Волинскую область. В городе Ковеле ему удалось устроиться учителем. Со времени побега на Украину прошло уже 7 лет, умер Сталин, и Александр считал, что его «дело» закрыто.

Но в ноябре 1954 г. беглеца «взяли» прямо с урока. Слух об аресте учителя истории облетел весь город. Между тем судить его по Указу 1948 года не было никаких правовых оснований — ведь он уехал с места поселения ещё до появления этого акта.

Прокурор Юрченко хотел провести закрытый судебный процесс, поскольку указанный репрессивный акт, как и многие другие, в печати не публиковался. Однако в воздухе уже повеяло хрущёвской «оттепелью», и суд состоялся открытый. В результате многие люди, оказавшиеся в зале, впервые услышали, что российские немцы томятся в бессрочной ссылке и каждый из них считается преступником. Правда, Александра обвинили не в побеге, а лишь в подделке документов, за что можно было получить до пяти лет. Далее передадим слово самому подсудимому:

«Хотя суд затянулся, публика не расходилась. Закончив чтение обвинительного заключения, судья Чалый спросил меня, признаю ли я себя виновным. Я твёрдо ответил:

— Да! Я действительно виноват, что родился в этой стране немцем. Но ещё больше повинны в этом мои родители.

В зале раздался шум.

— Мы не за нацию Вас судим! — попытался спасти положение судья.

— Позвольте, но разве я, не будучи немцем, оказался бы на этой скамье подсудимых?

Наступила пауза. Я подозвал к себе сына-шестиклассника и на весь зал сказал:

— Извини меня, Юра, но ради твоего благополучия я вынужден здесь, в присутствии Высокого суда, отречься от тебя. Если я этого не сделаю и тебя запишут немцем, то ты всю жизнь будешь скитаться по лагерям и ссылкам, как все мы!

Судья взревел диким голосом:

— Прекратите! Убрать детей из зала суда!

Что-то промямлил адвокат. Прокурор Лазаренко просил для меня наказания, но с учётом обстоятельств считал, что оно не должно быть связано с лишением свободы. Суд удалился на совещание.

В зале зашумели, ко мне подходили люди, пожимали руку, выражали сочувствие, желали свободы и торжества справедливости, громко возмущались по поводу этого судилища.

Наконец, судья зачитал приговор, по которому я был осуждён на год принудительных работ с вычетом 25% заработка.

Я был свободен. На следующий день у моей квартиры собралась вся школа. Ученики поздравляли меня с победой и просили поскорее

вернуться на работу. Сын прокурора Юрченко, который учился у меня в 9-м классе, пришёл один, крепко пожал мне руку, поздравил и пожелал успехов в борьбе за защиту моих прав.»

После суда Александру Мунтаниолу пришлось ещё немало повоевать, чтобы добиться разрешения проживать на Украине и работать учителем.

Не менее драматично сложились судьбы других непокорных немцев, не пожелавших жить под унижительным гнётом спецкомендатуры. Напав на их след, «органы» расправлялись с ними безжалостно.

В Москве, на одном из съездов российских немцев, я разговорился с Фридрихом Штромом, уроженцем Крыма, сосланным в 1941 г. в Северо-Казахстанскую область.

В 1945 г. его, 15-летнего подростка, и больную мать вызвал к себе в Верхнюю Тавду старший брат, который находился там в «трудармии». Год спустя, как и положено совершеннолетнему немцу, Фридрих был поставлен на спецучёт. Тогда же он закончил школу ФЗО и стал работать плотником на судостроительной верфи. Всё было бы сносно, не будь спецкоменданта Баранцева, который постоянно оскорблял своих «подопечных», не чураясь даже рукоприкладства. Гауптвахта, оставшаяся с «трудармейских» времён, пустовала редко. С затаённой мыслью избавиться от этого самодура Фридрих летом 1948 года (т.е. до издания «крепостного» Указа) поехал в отпуск к тёте. Она была замужем за русским и потому смогла остаться в родном Крыму. Ф. Штром устроился на работу и нашёл жильё в бывшем немецком селе Фёдоровка, неподалёку от Симферополя. По своей наивности он решил, что о нём на Урале забыли и все опасности остались позади. Если бы так! На него, будто на опасного преступника, объявили всесоюзный розыск. В феврале 1949 г. Фридрих был арестован по обвинению в нарушении Указа, о котором он даже не слышал. Сам начальник севастопольской тюрьмы, в которую его посадили, дал прочитать ему этот Указ и обратил внимание на незаконность обвинения. Однако, несмотря ни на что, местное ОСО («тройка») приговорило Ф. Штрома к 20-ти годам каторжных работ.

В Новосибирске, при посадке каторжников в эшелон, направлявшийся на восток, Фридрих познакомился со своей ровесницей, армянкой Ксенией Ратаньян, тоже осуждённой по Указу 1948 года. Её депортировали из Крыма вместе с родителями летом 1944 г., когда вслед за немцами и татарами с полуострова были изгнаны болгары, греки, армяне и представители некоторых других народов. В 1947 г. Ксения вернулась в родные края, а ещё через 2 года была арестована при тех же

обстоятельствах, что и Фридрих.

К счастью, они оказались на Колыме в соседних лагерях. Поэтому им иногда удавалось увидеть друг друга в конвойных колоннах, приветственно взмахнуть рукой, а при большой удаче даже незаметно передать письмо. Тем и жили, поддерживая один в другом надежду на будущее. Это был не пресловутый почтовый роман, а глубоко осознанное чувство, рассчитанное на бесконечно долгие годы ожидания. Но умер ненавистный тиран, и вскоре оба каторжника обрели свободу. Они поженились и прожили в добром здравии прошедшие с той поры 40 с лишним лет. Как видно, счастливый конец бывает не только в сказках.

Знакомый читателям Владимир Зандер вспоминает о том, как охотились «органы» на «дезертиров» со спецпоселения в красноярских вузах. Таким образом, «исчез», к примеру, его товарищ из соседнего института Олег Кригер.

В 1954 г. спецпереселенцы, отправленные на каторгу за «побеги», были амнистированы. Упразднялись и сами каторжные работы, введённые по предложению Берии в 1943 г. А 5 июля 1954 г. появился первый государственный акт, несколько смягчавший режим спецпоселения, – Постановление Совмина СССР № 1439-689. Оно предписывало, в частности, «отменить применение штрафа и ареста как административных мер наказания к спецпоселенцам за нарушение режима в местах поселения». Однако из текста не следует, что при этом имелись в виду и пресловутые «самовольные отлучки» (побеги). К тому же Постановление не распространялось на ряд категорий спецпоселенцев, перечень которых приводился в приложении, не опубликованном до сих пор.

Последствий этого Постановления немцы-спецпоселенцы практически не заметили, хотя все должны были поставить подпись, что ознакомились с ним. Как можно было, скажем, воспринять всерьёз содержавшийся в нём пункт, что впредь мы будем отмечаться в комендатурах всего раз в год? Ведь в действительности всё здесь осталось по-старому. Лично я воспринял этот документ как указание на то, что даже смерть Сталина не внесла существенных изменений в наше положение.

Так полагали также служители МВД и органов госбезопасности, которые и впредь руководствовались Указом от 26 ноября 1948 г. Для них этот государственный акт служил гарантией вечной «кормушки» и одновременно установкой на всемерное укрепление системы полицейского надзора за навечно депортированными народами. Иерархия

соответствующей карательной службы копировала структуру МВД-МГБ сверху до самого низового уровня, где восседал комендант спецкомендатуры. Этот службист опирался, в свою очередь, на спецпоселенческую «общественность» – назначенных им старших по «десятидворкам» и негласных осведомителей.

О том, как происходила вербовка на неблагоприятную роль осведомителя, упоминает в своём рассказе знакомая читателю Ольга Леонгард-Рябова. Она находилась в «трудармии» в Куйбышевской области и там же была навечно «приписана» к спецкомендатуре. В 1949 г. её целый год преследовал полковник Щербаков, принуждая «стучать» на спецпереселенцев, которые без разрешения коменданта отлучались из посёлка. «Где Вайлерт, почему её третий день нет дома?» – спрашивал он, к примеру. – «Не знаю. Хоть стреляйте – я ни о ком докладывать не буду!» В конце концов он отправил её на сутки в карцер, а потом, наконец, отстал.

На примере жизни отдельных людей, воспоминания которых специально не отбирались, можно составить пусть не полную, но правдивую картину послевоенной духовной трагедии нашего народа. Немцам, пережившим геноцид «трудармейских» лагерей, сибирской и казахстанской ссылки, высочайше дозволили начать с нуля после ограбления 1941 года, выкатывая из ямы в гору тяжёлый камень материального благополучия. Им разрешили иметь семью, но их дети и внуки должны были с гарантией стать манкуртами, не знающими немецкого языка и обычаев своего рода-племени. Для этого всё немецкое было объявлено презренным в такой степени, что дети сами отрекались от него, а родителям оставалось только сочувствовать им. Народ, рассеянный по азиатской части страны, начисто лишили национального образования. Административными мерами немцам закрыли доступ в высшую школу, преградили дорогу к интеллектуальному труду. Государству нужна была серая безликая масса отпущенных на «волю» рабов, которые бы воспроизводили себя под пристальным надзором «плантаторов» из спецкомендатур МВД.

Весна 1953 года очистила землю от второго кровавого тирана, за которым тянется едва ли не больше погубленных жизней, чем их принесла 4-летняя, невиданная по жестокости Отечественная война. Российские немцы – только одна из сталинских жертв, пропущенных через мясорубку 3-х последовательных этапов геноцида: депортацию, концлагеря и спецпоселение.

Фигура вождя мирового пролетариата, величайшего полководца всех времён и народов, верного друга и учителя советских людей и про-

чая и прочая была настолько одиозной, а чёрные дела, творимые согласно его «научным» теориям в застенках НКВД-МВД, столь бесчеловечными, что его ближайшие соратники сочли наилучшим выходом для себя отречься от вчерашнего полубога, свалив на него заодно и совместные кровавые деяния. Демонстрируя «восстановление социалистической законности», власти выпустили из переполненных лагерей и тюрем многих уголовников и даже некоторых «политических». Почти через 3 года после кончины «усатого» дошёл, наконец, черёд и до репрессированных народов.

13 декабря 1955 г. вышел Указ Президиума ВС СССР «О снятии ограничений в правовом положении с немцев и членов их семей, находящихся на спецпоселении», о чём нам сообщили под роспись в комендатуре. Текст Указа невелик и заслуживает того, чтобы привести его полностью:

«Учитывая, что существующие ограничения в правовом положении спецпоселенцев-немцев и членов их семей, выселенных в разные районы страны, в дальнейшем не вызываются необходимостью, Президиум Верховного Совета СССР постановляет:

1. Снять с учёта спецпоселения и освободить из-под административного надзора органов МВД немцев и членов их семей, выселенных на спецпоселение в период Великой Отечественной войны, а также немцев – граждан СССР, которые после репатриации из Германии были направлены на спецпоселение.
2. Установить, что снятие с немцев ограничений по спецпоселению не влечёт за собой возвращение имущества, конфискованного при выселении, и что они не имеют права возвращаться в места, откуда они были выселены.»

Конечно, узнав об Указе 1955 года, мы вздохнули с облегчением: отпала, наконец, необходимость по каждому поводу унижаться перед комендантом. Но очень скоро все поняли, что в нашей немецкой судьбе по сути дела изменилось очень немного. Указ не отменял главных положений репрессивного акта от 28 августа 1941 г., согласно которому немцы были огульно обвинены в предательстве и депортированы в восточные районы страны. Напротив, содержащееся в новом документе указание на то, что ограничения в правовом положении спецпоселенцев «в дальнейшем не вызываются необходимостью», задним числом оправдывало принятые сталинским режимом карательные меры.

В Указе впервые официально признавалось, что имущество немцев конфисковано и не подлежит возврату, а также то, что они были выселены, а не «переселены», как утверждалось в лживых партийно-государственных актах 1941 года. Главный же смысл Указа состоял в том, чтобы снятие определённых правовых ограничений не повлекло за собой возвращения немцев в места, откуда они были депортированы. Подобную цель преследовали и дальнейшие правители страны, включая «перестроечных» и «демократических», воздвигая всё новые вымышленные преграды на пути к восстановлению автономии на Волге.

Оставив без изменения основные последствия сталинско-бериевских репрессий против «опальных» народов, не сняв с российских немцев обвинения в массовом пособничестве фашистским захватчикам, в очередной раз санкционировав ликвидацию их государственности и тотальное распыление среди русскоязычного населения, хрущёвские власти оставили открытым путь к реализации главной сталинской цели – этническому уничтожению нашего народа.

За неполные 15 лет, прошедшие с 28 августа 1941 года по 13 декабря 1955 года, наш народ понёс неисчислимые людские и моральные потери. Только в эти годы он недосчитался почти полумиллиона человеческих жизней – мужчин, женщин, детей. Каждого третьего от своей общей численности. Особенно много было загублено мужчин – бывших и несостоявшихся мужей и глав семей. Немало их вдов и таких же несостоявшихся жён первыми проторили дорогу к «добровольной», «социалистической» ассимиляции, вступив в смешанные браки и принеся в жертву свою национальную принадлежность.

Невосполнимы утраты нравственные. За колючей проволокой и вышками «трудармейских» лагерей, за цепью конвоиров с овчарками на поводке, за стеной многолетнего недоверия, клеветы и унижений навсегда осталась вера людей в социальную справедливость, в законность и правопорядок, в гуманность того общества, где они родились и прожили всю свою жизнь. На место отличавшего наших немцев патриотизма и интернационализма в их сердца вселили равнодушие, песимизм, а ещё больше – всеильный Великий Страх.

Десятилетия бесправия и издевательств безвозвратно поглотили веками сохранявшиеся ценности материальной и духовной культуры, унаследованные от предшествующих поколений европейские традиции, народные обычаи и обряды. Громаден урон, который нанёс сталинско-бериевский режим немецкому литературному и бытовому языку, главному индикатору культурного состояния и благополучия народа.

В 1939 г. немецкий язык назвали в СССР родным 88,4% немецкого населения, в 1959-м, вскоре после снятия режима спецпоселения, – 75%, а в 1989-м – только 48,8% (снижение почти на 1% ежегодно). Реально же этот процесс развивается ещё быстрее, поскольку передача языка и других культурных ценностей от одного поколения к другому происходит скачкообразно. Можно поэтому утверждать, что немецкий язык, а вместе с ним и народ практически исчезнут с лица российской земли уже в начале будущего столетия – одновременно с уходом старшего поколения, которое одно лишь ещё умеет говорить на немецких диалектах. Что касается литературного языка, то он по существу умер в стране вместе с уничтоженной во время войны немецкой интеллигенцией.

Предпринятый нами небольшой анализ последствий геноцида против российских немцев, физического и морального уничтожения одного из «опальных» народов бывшего СССР показывает, что планомерно осуществлённые государственные акции и их последствия – депортация, лишение прав и имущества, заключение в концлагеря мужчин и женщин, сиротство и беспризорность детей в местах ссылки, режим спецпоселения, ликвидация духовной и нравственной основы народа – интеллигенции, умерщвление языка, вековых народных традиций и национального самосознания – привели к деградации общей культуры народа, к его очевидному и безысходному кризису.

Осознание данного факта, последовавшие куцые, если не издевательские полумеры, равнодушное бездействие постсталинских режимов при решении «немецкого вопроса», а главное – понимание того, что государство и общество не желают и не способны восстановить поправную справедливость, не могли не ввергнуть российских немцев в состояние глубочайшей национальной депрессии.

Подчиняясь естественному инстинкту самосохранения, немецкий народ бывшего СССР начал и продолжает искать выход из грозящей ему окончательной гибели, растворения в чужой культуре, полного исчезновения. Как всегда в подобных ситуациях, нашлись люди, наиболее остро почувствовавшие назревшую необходимость и готовые ценой своего благополучия, а то и свободы сделать первый шаг. В данном случае – к преодолению почти непреступных барьеров, преграждающих путь на историческую родину, в Германию.



ИЗ ДВУХ ЗОЛ ВЫБИРАЮТ МЕНЬШЕЕ

Всё-таки решение о выезде – ох, какое трудное! Снова, в который уже раз, родной дом оставлять приходится, с селом, городской улицей, с соседями, друзьями, с привычной работой прощаться. Всё нажитое оставлять – такие уж законы на территории бывшего СССР. А много ли в нескольких чемоданах и узлах с собой увезёшь, не считая тревожных сомнений в душе? Нет, не приходилось мне видеть весёлых проводов при отъезде в Германию.

Вот обнимаются на прощание братья и сёстры. А это родители со слезами расстаются с дочерью, связавшей свою судьбу не с немцем. Прощаются, теперь уже навсегда, друзья-«трудоармейцы», спасшие друг друга в ту лихую годину. Или

просто коллеги, товарищи по работе. Грустные лица, негромкий тревожный разговор. Последние рукопожатия, горькие поцелуи, от которых – непроходящий комок в горле. Не позволяющая разрыдаться мужская гордость. И – ошеломлённые взгляды расширенных детских глаз. Расставания, больше похожие на проводы в последний путь...

За каждым решением о выезде – глубокие основания. Не снялся бы иначе человек с насиженного места и не подался на чужбину, даже очень хваленую и связанную с ним историческими корнями. И если выезд с территории СССР – это давно уже не отдельные факты, а серьёзное социально-историческое явление, то и причины, его порождающие, тоже должны быть немаловажными. Вчитаемся в строки летописцев нашего исхода. Вот что написал, например, в стихотворении «Аэропорт» Эдуард Альбрандт:

(Печать тоски на лицах отрешённых,/ В глазах надежды робкий огонёк.../ Мы улетаем, с нами наши жёны / Да старики, кто в землю не полёт./ Спасибо Вам за всё, товарищ Сталин:/ Вы подсказали нам, как надо жить./ Мы ждали сорок лет, мы ждать устали / Пока вернут – что нам принадлежит./ Язык теряем, веру и обычай,/ И надо что-то делать поскорей.../ Но Ваш закон на нас колючкой бычит,/ Как проволокой Ваших лагерей./ Мы помним всё./ Не стёрлось! Не забыли,/ Как ни за что загнали нас в тайгу./ Мы – сосны, а болезни нас валяли / И дети умирали на снегу./ Прошли сквозь сито смерти / На две трети,/ Рассеялись горстями на земле,/ Но ждали, ждали, ждали полстолетия./ Что вспомнят вдруг о немцах / Там, в Кремле./ Минуло полстолетия... Как страшно,/ Что смотрят до сих пор, как на врага./ А время островов немецких наших / Непадно размывает берега./ А мы ещё надеемся на что-то,/ В глухую стену бьёмся головой./ Оставить жалко землю, дом, работу.../ И так охота быть самим собой./ По сути дела здесь и там чужие,/ Но немцы мы, и нам не всё равно! Терпенью научила на Россия,/ Но, чёрт возьми, кончается оно!./ Извелись. И снова раз за разом,/ Давя могучим рёвом на виски,/ Летит в закат крылатая «Люфтганза»./ Уносит сердца нашего куски./ И – новый рейс,/ И снова слёзы льются,/ Прощания по залам и углам.../ Уходят те, а эти остаются,/ Душа и сердце рвутся пополам.)

За недостатком места я остановлюсь лишь на фактах той поры,

когда выезд в Германию был делом одиночек, смело путившихся в путь и проложивших дорогу для сотен тысяч соплеменников. А выводы – дело читателя.

Тяжело порывал с тогдашней Киргизией и мой дальний родственник, а скорее хороший знакомый Виктор Фельде, законодатель мод, популярнейший в 70-е годы закройщик республиканского Дома моделей. Шить у Фельде считалось среди фрунзенцев равносильным тому, что французу одеваться у Кардена. Это был истинный маг и чародей портняжного дела, авторитет не только в глазах своих многочисленных клиентов, но и в среде коллег-профессионалов.

И всё же пришлось ему покинуть город и страну, которые он искренне любил и почитал родными. Ещё в 1975 г., в числе первых переселенцев, Виктор выехал в ФРГ. Как ни странно, привело его к этому профессиональное, заложенное в генах стремление к новациям, к творческому исполнению всего, за что брались трудолюбивые, талантливые руки и предприимчивая натура. «Вина» Фельде в том, что построил он для себя и своей семьи дом. Оригинальный, непохожий на те одинаковые в своей безликости строения, что до сих пор заполняют частный сектор большинства городов и сёл бывшего СССР. Этот же был двухуровневый, красивый, как сказочный замок.

А его обладатель неожиданно столкнулся с вопиющим актом узаконенного бесправия. К несчастью, попался необычный для Киргизии по виду, но очень удобный дом на глаза одному из тогдашних руководителей республики. Тем самым судьба жилища, а вместе с ним и его хозяина была предрешена. На устранение «непорядка» власти мобилизовали самых изощрённых юридических крючкотворов, поставив перед ними предельно ясную цель – «конфисковать!» Именем закона, соответственно задаче истолкованного. Дабы другим неповадно было портить общую унифицированную картину.

Дело рассматривалось в нескольких судебных инстанциях: наивный Фельде решил побороться – тем более, что документы у него были в полном порядке, эксперты склонялись на его сторону, а позиция адвокатов выглядела вполне убедительно. Но не мог, а точнее – не хотел понять человек, что сражается с непобедимым, хотя и невидимым противником!

– Неужели у нас совсем нет справедливости? Не может того быть! – говорил он при встречах, рассказывая о затянувшейся тяжбе.

Однако не помогли ни жалобы по инстанциям, ни поездки в Москву, в Прокуратуру СССР, где его выслушивали, выражали сочув-

ствие и даже признавали факт произвола, но ... не более того. Слишком сильна была власть самоуправная. Дом у семьи Фельде отобрали и передали в городской жилищный фонд, а его измученный, вконец издержавшийся хозяин превратился в квартиросъёмщика собственного жилища.

Живой и весёлый по натуре В. Фельде замкнулся, исхудал. Но не сдавался. Исчерпав все возможности во Фрунзе и в Москве, написал в ООН. В результате им занялись «компетентные органы», обвинив в отсутствии советского патриотизма и подрыве авторитета «развитого социалистического общества». Отчаявшись, он понял, что его окончательно загнали в угол, из которого есть только один выход – уехать в ФРГ. Демонстративно покинуть страну, где не нашлось для него защиты от беззакония и произвола местного царька, которому попустительствовали в Москве.

Беречь бы людей, подобных Фельде, а не толкать их на выезд равнодушной поговоркой: «Ну и скатертью дорожка!» Он уехал, и на одного, очень нужного человека меньше стало в городе и республике. Как экспроприированная мечта остался его дом – никому лично не нужный, неухоженный, с казённой вывеской «Мастерская по ремонту электроприборов».

Я рассказал об одной лишь сломанной человеческой судьбе. Но сколько обид причинено людям, поколениям, целым народам – и не только российским немцам! Нерасчищенными завалами накапливались они годами, десятилетиями в душах и сердцах. Стоит ли удивляться, что при первой же возможности люди устремились вон из безудержно превознесённого, а на деле неравноправного «рая» с его придуманной «великой дружбой народов». Вот и домоседы-немцы стали завзятыми эмигрантами. Всё это – закономерная реакция загнанных людей на беззакония и несправедливости реальной действительности стран их проживания.

И я могу понять тех моих соплеменников, которые видят в выезде форму протеста против пережитого произвола, категорического несогласия с тем, как неуклюже изворачиваются госчиновники, упорно уходя от решения главной проблемы нашего народа – восстановления его былой автономии на Волге.

После принятия в 1989 г. Верховным Советом СССР Декларации «О признании незаконными и преступными репрессивных актов против народов, подвергшихся насильственному переселению, и обеспечении их прав», кажется, все, наконец, должны были понять, что Указ 1941 года, обвинявший немцев Поволжья в пособни-

честве врагу, как и другие аналогичные акты, по которым изгонялись из родных мест многие российские народы, представляли собой «тяжелейшее преступление, противоречащее основам международного права».

Казалось бы, коль скоро признаны незаконными (и даже преступными!) репрессии, необходимо исправить столь же противозаконные их последствия – вернуть всем депортированным народам их национальные образования; снять, наконец, гласные и негласные запреты на свободный выбор ими места жительства; полностью уравнивать эти народы в правах с другими национальностями.

Разве это порядок, когда гражданину СССР, немцу по национальности, было легче выехать на постоянное жительство в ФРГ, чем, например, в европейскую часть своего Отечества, в частности, в Прибалтику, где даже в 80-х годах официальные лица прямо заявляли: «Для немцев работы, прописки, права на покупку домов и обмен квартир нет и не будет»?

Моя упомянутая невестка Фрида Вольтер, жительница Эстонии, рассказывала мне, как продавали они в Нарве свой дом. Сторговались с покупателями, ударили по рукам, взяли, как водится, задаток. Уже отправился с Алтая по нарвскому адресу контейнер с вещами будущих хозяев. Всё шло как будто хорошо, пока не обнаружилось: покупатель-то, оказывается, немец! Куда ни обратятся они с оформлением документов, везде им вежливо отвечают: «Приходите завтра.» Оно и понятно: законом ведь такая сделка не запрещена! Наконец, вызывают хозяйку в горсовет и говорят:

– Вы что, другого покупателя найти не могли? Если не откажете ему, то дом вообще не продадите! Ясно?

– Так разве у него на лпу написано, что он немец? – ответила она с утрированным немецким акцентом.

Неизвестно, понял ли «ответственный товарищ» щекотливость созданной им ситуации или же знал о ней заранее и ему было наплевать на всякие там «национальные чувства», а заодно и на авторитет Основного Закона страны. Что касается покупателя, убежденного интернационалиста, то ему несколько раз вручали предписание с требованием в 24 часа покинуть Нарву. Правда, он смог уехать лишь через месяц, дождавшись контейнера с Алтая и переадресовав его в обратную дорогу.

Бедный человек! Он был уничтожен морально и – не в меньшей степени – материально: потерял не только веру в справедливость, но и работу, квартиру, своё хозяйство. Словом, наказан был при-

мерно! Зато на Алтае многие из первых уст узнали, что немцам на жительство в Эстонию въезд категорически запрещён. Распоряжение об этом – наверняка с грифом «строгое секретно» – оглашению, конечно, не подлежало. Его как будто и не было вовсе. Но оно исправно действовало по всей Прибалтике.

Незадачливый покупатель вскоре со всей семьёй выехал в ФРГ, завершила свой невесёлый рассказ Ф. Вольтер. Уехал с глубокой обидой в сердце и жалкими остатками скарба в багаже.

О хождениях по мукам ещё одной семьи российских немцев рассказал мне знакомый читателю Вернер Штирц. История эта – о четырёх братьях Ветштейн, его дядях, до войны проживавших в донецком городе Часов Яр.

Старший – Яков, в первую мировую воевал на турецком фронте, заслужил Георгия, а в гражданскую войну гонялся за беляками по украинским степям в составе Первой конной. Стал коммунистом, был механиком шахты, её парторгом. Как и многие другие соплеменники, сгинул в застенках НКВД.

Второй – Рафаэль, закончил в Харькове мединститут, работал врачом в системе НКВД. В 1937 г. был осуждён на 10 лет. Умер в 1943 г. на шахтах Караганды в возрасте сорока лет.

Третий – Отто, 1907 года рождения, был кузнецом в Часовом Яре. Не успев даже обзавестись семейством, бесследно исчез в том же чёрном 37-м.

Четвёртого – Роберта, электросварщика по профессии, осудили на 5 лет лагерей за «участие в фашистской организации», якобы созданной молодыми немцами Часова Яра. Было ему тогда 27 лет. Отбывал срок в обширных владениях Воркутлага. Когда пропли 5 лет и ещё 3 месяца, вздумалось ему постучаться к начальству и осторожно напомнить о себе. «Иди, – сказали ему, – вызовем.» И вызвали. Не один, а по нескольку раз в сутки – между сменами в забое. Допрашивали с пристрастием, принуждали подписаться под «новыми фактами» из его «преступного» прошлого. Били нещадно, но умеючи, чтобы мог давать уголёк фронту.

Но теперь за его плечами был лагерный опыт, подкреплённый советами бывалых зеков: «Не подписывай 'липу', не сдавайся!» До конца стоял он на своём, не ставил подписи под бездарными сочинениями следователей. Тем не менее, вызвали его в очередной раз и объявили: ещё 10 лет лишения свободы. За «грехи», которых не было и в помине. К немалому удивлению даже выдавших виды уголовников.

Прошли и они, эти долгие 10 лет. Оттремела война, отзвенела Победа. Наступил 1952-й год. Задумалось лагерное начальство: что делать с Ветшттейном? И выпускать нельзя – «враг народа», да к тому же немец. И осудить ещё раз затруднительно – не подпишет ведь показаний. Нашли выход – поселили под усиленным надзором рядом с лагерем на очередные 3 года. Пока в 1956 г. не прозвучал сигнал из Москвы – «собирать камни». Тогда его, наконец, отпустили, выдали справку, что 20 лет просидел в лагерях безвинно, выплатили 2 месячных оклада бывшего электросварщика и отправили во искупление вины в крымский санаторий, предварительно взяв подписание о неразглашении всего, что с ним проделали.

Можно было ехать на все четыре стороны, но Роберт вернулся в Воркуту. Осуждённый без права переписки, он за долгие годы потерял всех своих родственников. В живых до войны оставалась только мать. Не знал Роберт Ветшттейн, что совершенно одинокая, больная и беспомощная, протянула она в казахстанской ссылке только до 1944 года, умерев медленной голодной смертью.

Ещё через 4 года он перебрался в Сталинабад (Душанбе), где в свои 49 лет, наконец, смог обзавестись семьёй. И при первой же возможности вместе с четырьмя детьми и внуками решил уехать в ФРГ. Отправлялся с глубокой обидой в сердце за нанесённое его роду непоправимое зло. За преднамеренное, методичное истребление братьев. За чудовищные обвинения, шедшие вразрез с его убеждениями. За долгие годы нечеловеческих страданий. За голодную смерть матери.

– Извинились, будто на ногу нечаянно наступили, – сказал он племяннику в предотъездную, теперь уже, возможно, последнюю, встречу с ним. – Мне 79 лет, не хочу я истлевать в земле рухнувших надежд и несправедливости. Перестройка, говоришь? Это уже не для меня. Я предъявляю счёт за прошлое...

Оно, это прошлое, было нелёгким, драматичным, трагичным для людей всех национальностей. Но особенно обильную жатву репрессивные органы Донбасса (и, конечно, не только его) собирали в немецких, греческих, татарских сёлах, о чём я был не только наслышан. Среди прочих причин важную утилитарную роль играло, видимо, то простое обстоятельство, что у следователей по отношению к этим категориям населения всегда была возможность придумать что-нибудь «шпионско-диверсионное», тянущееся к германской, турецкой или, скажем, английской разведке.

И выглядело это более правдоподобно, и признание у арестован-

ного можно было выбить быстрее. Да и само по себе «дело» какое громкое! А что можно приписать обыкновенному украинскому колхознику, у которого родственники живут под боком и который дальше районного базара отродясь не выезжал? И на сердце у следователя легче: не своего соплеменника подводишь под расстрел. Заарестую, а там нехай в области разбираются! Опять же – не посадишь, так тебя посадят. Куда денешься? Приходится... Вот и выполняли районный план-разнарядку «нацменами». Целыми деревнями мужчин забирали, сотнями человек. Беспшумно, умело действовали.

Упомянутая Фрида Вольтер рассказала, как это делалось в их донецком селе Эбенфельд (Ровнополье):

– Вы думаете, плач и крик стояли? Ничего подобного. Все сидели тихо, как мыши, боялись голос подать. Свет зажигать нельзя было, мужья собирались в темноте. Детей не будили, чтобы шума избежать. Энкаведешники за порог никого не выпускали, плакать не давали. С двух сторон начинали облаву, всех с постелей поднимали. Лёгким осторожным стуком, которого было достаточно, чтобы хозяева проснулись: каждую ночь ведь ждали, что за ними придут. И вот пришли, забрали – крадучись, по-воровски. Если, бывало, случайно и заметит что-то сосед, вышедший в подштатниках по нужде, то тут же, обо всём забыв, ныряет в свою хату и ждёт, затаив дыхание: не к ним ли повернут от соседей?

Вот такими они были, те жуткие 30-е годы. Всем тогда досталось. Но так уж у нас повелось, что больше остальных страдают «малые» народы, будто меньшие в уличной детской драке. А российские немцы – в особенности. Им обязательно довесок давали потяжелей. Именно они почему-то оказывались каждый раз виноватыми за всё, что происходило где-то там, в центре Европы.

Забыть всё это можно. Простить нельзя. Ибо прощение – это возможность и угроза нового зла.

Человек какой-нибудь «коренной» национальности, не столь потревоженной в минувшие 80 лет, подумает, читая эти строки: «Ну чего им не хватает – немцам, крымским татарам, месхетинским туркам, грекам, корейцам и прочим? Разве не было и нет у нас равноправия наций и народов? Чего им не живётся, как всем? Вот вы, немцы, например, лучше всех обеспечены. Так куда же вас тянет, почему к буржуям на брюхе ползёте? Ещё лучшей жизни захотели, не иначе! Не обижайтесь, но не чувствую я вашу боль. Не чую – и всё тут!»

И вправду сказано: прочувствовать чужую боль не всякому дано.

Для этого надо побывать в той самой шкуре, испытать те же муки, наяву столкнуться с тысячью больших и малых проблем, незримых для тех, у кого их нет, но болезненно-значимых для народов, униженных неравноправием. Представителям русского народа до сих пор это чувство было неведомо, чего не скажешь об иных «коренных» нациях, которые ревностно сопоставляли себя со «старшим братом», забывая, однако, о «малых» народах своих собственных республик. Словом, сытый голодному не брат.

Каково же приходится, скажем, немцу в новых государствах на территории бывшего СССР, если его неравноправие бесцеремонно и грубо подчёркивается? Если в твоём лице оскорбляют народ, задевая его национальные чувства? Если тебя, твоих детей и соплеменников обзывают непотребными словами?

Приведу один рассказанный мне случай ещё из времён «перестройки». Уехала из Киргизии в Краснодарский край семья, в которой отец немец, а мать русская. Поехали не в город, а в какой-то посёлок, чтобы снова, как водится, осесть на земле, где и прописаться легче. Приторговали подходящий дом, пошли в поссовет покупку оформлять, подвоха не ожидая. Но председатель сказал, как отрезал: «Этого не будет. Хватит, в войну на вас насмотрелись!»

Никто и не пикнул. Как же, власть-то советская! Перечить будешь – ни на что не надейся, не то, что не пропишет, – со света сживёт. Вышли, стали думать, как эту власть обойти, чтобы дом купить. Ведь переехали уже, в Киргизию возврата нет, да и дети малые на руках. Решили в суд на развод подать, всякие страсти-мордасти друг на друга наговорить, чтобы всё, как в натуре, было. Главное – «бывшей» жене девичью фамилию вернуть, дабы главу поссовета немецкой «кличкой» не сердить. Получилось, как задумали. Дом купили на имя жены, а дальше, как говорится, дело техники – «бывшие» супруги в том же поссовете снова регистрируются, и жена на законных основаниях прописывает мужа. Вот и всё. «Венец – всему делу конец.» С той лишь разницей, что «горько!» на этот раз было не на жарких губах, а в израненной душе.

Вот я и спрашиваю: хотелось бы кому-нибудь из «коренных» народов оказаться на месте подобного немца, неизвестно за что страдающего? Как правило, с самого детства.

Конечно, мне скажут: «Этот случай не типичен. Не стоит обращать внимания!» Из доброжелательных уст можно услышать оценку и порезче: «Дураков не сеют и не жнут, они сами рождаются. Плюнь, не принимай близко к сердцу!» И будут по-своему правы. В Запад-

ной Сибири, Оренбуржье, на Урале, где десятилетиями живут и трудятся российские немцы, оскорбительные клички в их адрес менее распространены даже на самом «остром», детском уровне. Сказывается не только привычка к совместной жизни, но и стремление многих тамошних немцев не быть «белой вороной», во всём слиться с местным населением. Это импонирует: «Какой он немец? У него от немца уже ничего не осталось!»

Намного сложнее обстоит дело в европейской части бывшего СССР, куда правдами и неправдами пробиваются немецкие семьи, покидающие Среднюю Азию и Казахстан. Там фактически нужно всё начинать «с нуля», как когда-то в местах выселения: прилежанием, покладистостью и долготерпением доказывать, что «русские» немцы – это обыкновенные люди, к немецким оккупантам никакого отношения не имеющие и бывшими военнопленными не являющиеся. Что они тоже День Победы «приближали, как могли», горя и человеческих потерь перенесли не меньше, чем другие народы. Словом, приходится преодолевать национальный эгоцентризм местного населения.

Впрочем, стоит ли удивляться этим людям, которые ни сном, ни духом не ведали и не ведают, кто такие российские немцы, где и как они жили и живут, что стоит за цифрой, обозначающей их общую численность в СССР на 1989-й год, – более 2-х миллионов? В любом демографическом справочнике они долгое время проходили по графе «прочие национальности». Представьте себе, что по переписи 1979 года в Казахстане из 14-ти с лишним миллионов человек в «прочих» числился миллион немцев, т.е. целых 7%!

От кого, как не от западных советологов и собственных народов, прятали в закоулках статистических таблиц эту важную «государственную тайну»? Для чего скрывали? Чтобы таким неуклюжим способом смазать сохраняющиеся национальные противоречия, которые вылезали за рамки пышного лозунга о равенстве всех процветающих советских народов.

Откуда же было знать рядовому жителю СССР хоть что-нибудь вразумительное о российских немцах, если на упоминание самого этого термина и фамилий немецких граждан в печати, в первую очередь центральной, на протяжении десятилетий сохранялось фактическое табу?! Да и сегодня материалы о них с трудом пробивают себе дорогу. Поэтому для европейского, а нередко и азиатского жителя СНГ «немец» – до сих пор слово нарицательное, означающее то же, что и «фашист». Оно и понятно – к этому ненавистному образу уже

более полувека регулярно обращаются литература, искусство, средства массовой информации. И кровоточащая память людей.

Стоит ли поэтому возмущаться, что председатель поссовета, глава местной власти, таким вот странным образом понимал принцип национального равенства и справедливости. Но если бы этот случай был единичным! Как ни горько сознавать, он типичен. С Украины, Северного Кавказа писали выехавшие туда из Киргизии знакомые немцы: живут они там почти тайком, не хотят, чтобы люди знали об их национальности, пальцем показывали: «Фриц!» В Белоруссию по этой причине вообще никто не переезжал... Вот и решали немцы свои проблемы так: если уж уезжать, то в ФРГ. Там, возможно, когда-нибудь перестанешь быть «русской свиньёй», а тут «фашистом» останешься навсегда.

Такую примерно мысль высказал мне несколько лет назад молодой водитель из Фрунзе (Бишкека) Миллер, по понятным причинам стараясь не называть конкретных имён. Его дочь, ученицу 3-го класса, мальчишки побили за «фашистскую» фамилию, услышанную в популярном тогда телефильме «Семнадцать мгновений весны». Когда она пожаловалась на них учительнице, та будто бы сказала: «Надо было добить...» Старшая сестра-семиклассница пошла к директору школы, который заявил, что учительница так сказать не могла. Действительно, в это нелегко поверить. Однако во избежание разгоравшегося скандала учительница всё-таки извинилась перед родителями на собрании.

— Так скажите: кончится ли это когда-нибудь? — со злостью обратился он ко мне и сам себе ответил: — Нет, надо уезжать! 50 лет оскорбления терпим, и конца им не видно!

Кто знает, может быть, этот случай тоже послужил той последней каплей, что переполнила чашу долготерпения, толкнув ещё одну семью на эмиграцию. Полную чашу обид, которую безропотно вынуждены нести российские немцы.

В чистом, так сказать, виде советская идеология и пропаганда, конечно же, всегда были «за». За дружбу и равноправие, за расцвет каждой нации и народности, за справедливость. Правда, старательно умалчивалось о том, как эти высокие принципы воплощаются в реальной жизни — например, тех же немцев или других репрессированных народов. Будто их вовсе и не было в стране.

Зато совершенно недвусмысленную позицию занимали по отношению к российским немцам официальные органы. Тут уж ни прибавить, ни убавить.

Газета «Нойес Лебен» от 7 марта 1989 г. напечатала показательное, хотя и давнее письмо, представлявшее собой ответ на обращение к председателю Президиума Верховного Совета СССР Н. Подгорному по вопросу о восстановлении АССР немцев Поволжья. Ответ был подготовлен в редакции «Правды». Он стоит того, чтобы привести его полностью:

«Уважаемый товарищ Гебель!

Вы ставите вопрос абсолютно неправильно. Все немцы СССР действительно равны, и это даже не требует доказательств. Это сама жизнь!

Но нельзя рассматривать немцев, проживающих в СССР, как обособленную нацию, имеющую к тому же право на свою государственность. У нас живёт немало поляков (западные области); есть и греки, цыгане, но никто из них не требует создания своего автономного государства. Да и смешно было бы этого требовать. Вам, видимо, хорошо известна история создания немецких колоний в Поволжье: российские императоры немецкого происхождения силой отнимали у русского мужика лучшие, плодородные земли и щедро раздаривали их преимущественно немецкому кулачеству. Поэтому претендовать на возвращение этих земель по меньшей мере бесперспективно. Республика немцев Поволжья, наверное, сохранилась бы, как и все наши республики, но за то, что её нет, следует упрекать, прежде всего, маньяка Гитлера, немецко-фашистских захватчиков, напавших на нашу страну, а не советское правительство.

Пора бы это понять.

С уважением, член редколлегии 'Правды'
А. Блатин».

Нельзя без возмущения и обиды читать этот ответ, каждая строчка которого пронизана желчью и инсинуациями по поводу немцев и немецкой автономии. Не с уважением, а с нескрываемой злобой, как к заклятым врагам, обращался к российским немцам А. Блатин от имени и по поручению главы законодательной власти страны, не удостоившего их даже ответом своего аппарата. Таков был обычный тон, такова официальная точка зрения на немецкую проблему и самих российских немцев, царившие в СССР в середине 70-х годов (и, увы, не только тогда). Стоит ли после этого удивляться, что они завалили государственные органы сотнями тысяч заявлений на выезд из страны?

Потому-то и прозвучал в 1989 г. со страниц «Известий» песимистичный, а точнее взывающий к действиям возглас моего соплеменника из Сокулукского района Киргизии: «Я уезжаю из СССР потому, что никогда не стану до конца равноправным в этом обществе.» Этот крик души отражал сложившуюся за многие годы неприглядную реальность. Раньше над ней можно было только горько размышлять, переживая все горечи в самом себе. Потом наступило время, когда копившееся десятилетиями чувство глубокой несправедливости весомой гирей стало ложиться на чашу весов при решении сакраментального вопроса: уезжать или не уезжать?

Если бы меня спросили, что непосредственно послужило причиной массового выезда российских немцев, начиная со второй половины 80-х годов, — экономические неурядицы, бесконечные дефициты, социальная неустроенность? — я бы сказал: отчасти — да. Но лишь отчасти, так как немцы в СССР — это наполовину сельское население, строившее своё личное хозяйство на основе самообеспечения или работавшее в достаточно крепких коллективных хозяйствах, что позволяло им обходить самые «острые» углы усложнявшейся жизни.

Но это — мотивы выезда, лежавшие на поверхности. К тому же не у всех. И не главные. С самого начала большинством российских немцев двигали причины подспудные, давно и непрестанно определяющие их помыслы и действия. Это — оскорблённое чувство попранной справедливости, отнятая и не возвращённая национальная государственность, неосознанная, но реальная ответственность за судьбу своего народа.

С «перестройкой» воочию проявилось десятилетиями подавлявшееся и оттого до предела обострившееся национальное самосознание российских немцев. В их судьбе с особой силой отразилась печальная участь «малых» наций и народностей СССР, подвергшихся широковещательному «сближению народов», а в действительности русификации, почти полностью утративших национальную самобытность, в первую очередь язык.

С болью говорили немцы о своём «я» — о том немецком, что преподаётся в школах, и о родном, ещё недавно бытовавшем в живой плоти народа. Беседовал я тогда в колхозной конторе села Люксембург со знакомым читателю Степаном Бастом, уезжавшим в ФРГ во главе большой семьи. Вместе с 11-ю другими выезжающими пришёл он на заседание правления колхоза, чтобы потор-

говаться за свой дом, который предполагалось продать в рассрочку новым колхозникам.

На вопрос, как бы он коротко выразил причину выезда односельчан из крепкого в то время колхоза, Баст ответил:

— Только не погоня за богатством и бараклом, которого в Германии действительно много. Мы и здесь жили зажиточно.

— Но всё-таки?

— Прислушайтесь, на каком языке общаются меж собой эти люди, — обратился он ко мне. — И это в так называемом немецком колхозе! А как в других, многонациональных сёлах? Спрашивается: кто же мы теперь? Почему нам неловко говорить на родном языке? Почему его не знают наши дети и внуки? Почему мы не поём немецкие песни, как бывало до войны? Почему исчезли наши народные обычаи? Почему бежим от слова «немец», а наши внуки зовутся Аликами, Олегами, Вадимами, Людмилами и прочими ненемецкими именами? Отчего стыдимся своей национальности? Всего этого можно было избежать, если бы сразу после войны или хотя бы одновременно с чеченцами, ингушами, карачаевцами и другими выселёнными народами нам вернули автономию. А так, сами видите..., — заключил свой монолог Степан. — Нет, дальше это продолжаться не может! Для себя мы решили твёрдо — уезжаем в ФРГ. Знаем: будет трудно. Даже очень. Но раз мы тут никому не нужны, придётся терпеть. Пусть хотя бы наши дети со временем заговорят по-немецки.

Не забыть мне и ещё одной неприглядной истории, тоже закончившейся эмиграцией. Жил до конца 80-х годов в Киргизии своеобразный, самобытный художник и продолжатель искусства деревянной скульптуры Яков Ведель. Не посчастливилось мне узнать его произведения. Когда осенью 1987 года меня повели с ним знакомиться, то выяснилось, что он с инфарктом лежит в больнице. Год спустя я выбрался к нему и, как оказалось, опоздал: он уже уехал в ФРГ. Пришлось мне и облик, и сложности творческой жизни художника воссоздавать по рассказам хорошо знавших его людей — Теодора Герцена, Виктора Неймана и других.

Вырисовывался образ человека многогранного, одарённого, весёлого и общительного. Он неплохо играл на фортепиано и аккордеоне, самостоятельно выучил ноты. В отличие от своих сверстников, владел литературным родным языком, в оригинале читал немецких писателей и поэтов. До поступления во Фрунзенское художественное училище был столяром в родной деревне Бергталь (со времён коллективизации — колхоз «Рот Фронт» Кантского района).

Свободно говорил по-киргизски. Основную тему его скульптурных работ по дереву определили образы из киргизского народного фольклора. 14 изображений одного лишь Куйчурука, народного любимца, комика-пародиста, обличителя чванства, тупости и других пороков, по мнению знатоков, – наиболее искусные из двухсот произведений, которые создал Яков за 20 лет творческой деятельности.

Потом о Веделе говорили в Бишкеке уже в прошедшем времени и – с сожалением. Вот мнение о нём заслуженного деятеля искусств Киргизии, видного художника-графика Теодора Герцена: «Яша Веделъ – очень способный художник, скульптор. Трудолюбивый, общительный, уважаемый. Но не навязчивый, не пробивной, а потому – «невозучий». Затуркали человека, всё сделали, чтобы не принять его в Союз художников, закрыли ему дорогу к плодотворной работе. Он болезненно переживал эту несправедливость. Ведь в основном его произведения были посвящены жизни киргизского народа, и творил он для него...»

Были, творил... Позвонил я по телефону сыну Якова Веделя Анатолию, скрипачу из оркестра Русского драматического театра. Попросил о встрече.

– Совершенно нет времени, – отвечал он. – 20 апреля уезжаем по вызову отца. О том, как ему сейчас живётся, могу сказать: через полгода после приезда он получил там то, чего здесь так и не смог добиться за 18 лет.

– Что именно?

– Мастерскую, выставки не только по месту жительства, но и в других городах ФРГ. К его работам публика проявляет большой интерес. Как, кстати, и к Киргизии, о которой они знают из книг Чингиза Айтматова.

Прочитал написанное и подумал: мрачная картина выходит из-под моего пера. А в жизни – то всё переплетено – и тёмное, и светлое. Как много примеров бескорыстной человеческой помощи попавшим в беду российским немцам сохранилось в их благодарной памяти! Сколько фактов верного товарищества, покровительства, доброты, нередко сопряжённых с риском, со стороны русских, казахов, киргизов или своих же немцев, что нашло отражение и на страницах нашей книги. Были они, конечно, и в жизни Якова Веделя, да и каждого из нас, всё чаще обнаруживаясь по мере того, как, хотя и с трудом, но пробивалась на страницы газет и журналов сакраментальная «немецкая тема».

Что означают сотни тысяч выезжающих немцев, десятки тысяч

потерянных настоящих и будущих рабочих рук для России, Казахстана, других стран СНГ? На данный вопрос я пытаюсь ответить сам себе. Ибо официально его, к сожалению, никто не ставит, а потому на него никто и не отвечает. Наглядней всего эта проблема высвечивается, пожалуй, на примере Кыргызстана, где из 100 тыс. немцев не осталось и пятой части.

Говорил я в 1990 г. с известным читателю председателем колхоза «Труд» Кантского района, ныне покойным Яковом Ваккером. За несколько предыдущих лет колхоз недосчитался более половины людей: выехали трактористы, механизаторы, доярки, другие специалисты.

– Чёрт знает что творится! Семьями уезжают. Я пытаюсь с ними беседовать, уговаривать, но меня даже слушать не хотят. Дожили! И выезжают – то лучшие работники... А кого вместо них набираем?!

Умным руководителем был Я. Ваккер, а вот «мелочей», за которыми сокрыты непосредственные мотивы расставания людей с родным селом и колхозом, увы, не разглядел. Таких «деталей», как наглядное, действенное уважение национального достоинства – будь то надписи на учреждениях или том же магазине, лозунги, плакаты, оформление в клубе, которое делалось на русском и киргизском (и это – в немецком селе!), – руководство во внимание не принимало. О том, что село на 4/5 состоит из немцев, можно было догадаться разве что по надписям на школьных стенах «Браун дурак», «Вебер + Фанаори = любовь», выведенным по-русски. Другие признаки отсутствовали. Не потому ли немцы чувствовали себя здесь не дома, а «как дома»? Да и хор в Доме культуры, состоявший почти полностью из немцев, не пел немецких песен. Их не знали. Отвыкли. И было стыдно по понятным причинам.

Набрал тогда же номер телефона председателя колхоза «1 Мая» в селе Интернациональном Кантского района Олега Шматенко.

– Меня интересует проблема выезда немцев. Скажите, как обстоят дела в Вашем колхозе?

– Плохо, очень плохо. Из 700 работающих половину составляли немцы. Ежегодно выезжает примерно 50-70 семей или 100-150 работников. Оставшиеся «сидят на чемоданах», продают дома, хозяйство, причём очень дёшево. Почти задарма отдают. Колхоз липается наиболее квалифицированных специалистов. Обидно, да и работа, в общем-то, не идёт...

– Ну и как Вы себе представляете будущее колхоза?

– Колхоз, конечно, жить будет. Новые люди покупают дома, уст-

раиваются на работу. Хозяйство ведь хорошее, налаженное. Не в этом проблема, а в том, какими работниками новички окажутся.

– Каковы, на Ваш взгляд, основные причины выезда ваших колхозников?

– Их две – непрошедшая обида за прошлое и неверие в возможность перемен. Других причин я не вижу.

– А материальные?

– Нет их. У каждого хороший дом, хозяйство, машина, сбережения.

– Насколько мне известно, осенью 1987 года на сельском сходе население, в том числе немецкое, обратилось к руководству Киргизии с просьбой вернуть селу его прежнее название – Фриденфельд.

– Да, сход вынес такое решение. Но оно застряло где-то на уровне Верховного Совета республики. А теперь это уже никого и не волнует. Почти все немцы уехали...

Колхозы «1 Мая» и «Труд» давали более половины всей сельхозпродукции Кантского района. Исключительно об этом и болела голова у районных руководителей. А «мелочи» вроде песен, лозунгов на немецком языке или названия села – это им было, что называется, «до лампочки». Да и как наверху посмотрят – ещё вопрос. Могут не так понять: вопрос-то «немецкий», туманный. В Москве и то разобраться не могут.

А волна выезда российских немцев тем временем становилась всё круче. Явление это давно переросло рамки «эмиграционных настроений» – термин, на котором так и завязла советская пропаганда. Это было уже не «настроение», а набравшее всё большую силу стихийное движение, которое грозило вылиться в выездной девятый вал. Ибо развивалось оно по принципу цепной реакции: чем больше немцев отбывает за рубеж, тем больше остаётся родственников, которые, в свою очередь, собирают чемоданы.

Что надо сделать, чтобы не обезлюдели немецкие сёла, не остановилась в них хозяйственная жизнь, продолжали строиться добротные дома, в клубах пели немецкие песни, на улицах раздавалась немецкая речь, а в школах обучали детей на родном языке? Если задать этот вопрос государственному чиновнику, то он мог ответить (если бы, конечно, пожелал): «Надо на деле гарантировать национальное равенство российских немцев с другими народами, устранить последствия сталинистского отношения к немцам, гласные или негласные формы дискрими-

нации, открыть перспективу для их национального будущего...»

Но он так не говорил и не говорит, даже если лично придерживается подобной точки зрения. Потому что, будучи чиновником, обязан проводить в жизнь официальную политическую линию. А она с царских времён сводится к заезженному афоризму: «Что немцу хорошо, то русскому смерть.»

Вот и приходится немцу, называемому российским, выбирать из двух зол то, которое он считает меньшим.



10

ГЛУХОЙ ТУПИК

Движение российских немцев за восстановление своей автономии в той или иной форме существовало почти весь послевоенный период. Надежда на то, что это рано или поздно должно свершиться, не покидало их с самого момента депортации. Потому что воссозданная Немреспублика – центральный пункт всех устремлений нашего народа – явилась бы не только очередной административно-территориальной единицей на карте Российской Федерации, но и символом исправленной несправедливости, свидетельством возвращённых народу чести и достоинства. 5 делегаций направили российские немцы в Москву, чтобы довести свои чаяния и просьбы до руководства страны. Никогда не прибегали к методам

нажима, шантажа и эксцессов, а, напротив, надеялись на логику разума, на торжество «идеалов социализма», которые в изобилии провозглашались послесталинскими советскими режимами.

Первая делегация появилась в столице в январе 65-го, по следам известного Указа 1964 года, якобы реабилитировавшего российских немцев. После изрядных хлопот она была допущена до председателя Президиума Верховного Совета СССР А. Микояна, который признал вопрос о восстановлении Немреспублики естественным, но сложным и заявил, что «создать автономию практически невозможно» за отсутствием у немцев территории(?!).

В июле 1965 года, принимая после месячного ожидания вторую делегацию, члены которой с цифрами и фактами в руках показали полную несостоятельность отговорок, выдвинутых им в январе, А. Микоян констатировал: восстановление республики «связано с большими трудностями», поскольку предполагает переселение полумиллиона человек, и к тому же «сейчас в Целинном крае без немцев вести сельское хозяйство невозможно».

В духе того времени власти организовали кампанию травли и преследования поборников автономии на Волге. Органы КГБ делали всё для того, чтобы не допустить формирования новых делегаций. Сторонникам восстановления немецкой государственности навешивали крамольный ярлык «автономистов», наиболее ретивых подводили под печально знаменитую статью «антисоветская пропаганда или агитация». В Абакане бывшего руководителя делегаций пенсионера Шеслера посадили под домашний арест, части их членов «помогли» выехать за рубеж, кое-кого из оставшихся пытались поместить в «психушки».

В силу всего этого следующие 3 делегации были организованы лишь в 1988 г., когда в стране вовсю бушевало словесное перестроечное половодье. Но не считая широковещательных обещаний, и они ничего не добились. «Вопросы, поставленные советскими немцами, рассматриваются», – неизменно заверяли их аппаратчики из ЦК КПСС и Верховного Совета СССР, выше которых делегации так и не пустили. Однако «перестройка» позволила громко заявить о насущных нуждах немецкого народа СССР, создать общественно-политическое и культурно-просветительское общество российских немцев «Возрождение», которое поставило своей целью восстановление республики на Волге.

Справедливые требования народа, пострадавшего от сталинского произвола, нашли сочувственный отклик у общественности стра-

ны. Наконец-то было прорвано многолетнее «табу» на освещение ещё недавно «закрытой» темы в средствах массовой информации. О необходимости реализовать законное право российских немцев на воссоздание своей автономии высказались видные представители общественности, учёные, писатели, религиозные деятели.

На I съезде народных депутатов СССР в 1989 г. киргизский писатель Чингиз Айтматов сказал: «Культурная и административная автономия советских немцев могла бы послужить не только им самим, но и всем нам. Не сомневаюсь, что немецкая автономия будет образцовой...» Вдохновенные слова в поддержку требований репрессированных народов прозвучали из уст народного поэта Калмыкии Давида Кугультинова: «На душе у меня не будет покоя, пока останутся обездоленными турки-месхетинцы, пока крымским татарам и советским немцам не вернём их государственность. Надо принять законы о воссоздании Крымской автономии, республики немцев Поволжья. Пусть сформулирует их наша совесть!»

И вот 14 ноября была принята, наконец, Декларация Верховного Совета СССР «О признании незаконными и преступными репрессивных актов против народов, подвергшихся насильственному переселению, и обеспечении их прав». Этот документ мог бы стать историческим...

Подкрепить Декларацию, конкретизировать её содержание было призвано особое Постановление Верховного Совета СССР «О выводах и предложениях комиссий по проблемам советских немцев и крымско-татарского народа», принятое без обсуждения на закрытом заседании ВС СССР 28 ноября 1989 года. Вчитаемся внимательно в его текст:

«Верховный Совет постановляет:

1. Согласиться с выводами и предложениями комиссий по проблемам советских немцев и крымско-татарского народа.
2. Поручить Совету Министров СССР образовать государственные комиссии для решения практических вопросов, связанных с восстановлением прав советских немцев и крымско-татарского народа.
3. Комиссии Совета Национальностей по национальной политике и межнациональным отношениям держать эту работу под постоянным контролем.»

Станный документ, не правда ли? Вместо того, чтобы вынести в заголовок и включить в содержание сами выводы и предложения

комиссии, где недвусмысленно говорится о необходимости восстановления автономии на Волге, о её статусе, о защите интересов проживающего там населения и т.д., взято совершенно неопределённое название «О выводах и предложениях...»

Вызывает удивление и то, что это постановление — едва ли не единственное среди всех принятых союзным парламентом, которое не было опубликовано в общедоступных изданиях, хотя обещание такое давалось. Почему? Чтобы не взбудоражить общественность? Но для чего в таком случае оно было обнародовано в местной печати Поволжья?

Вопросов, связанных с этим «полусекретным» постановлением, возникает много, но горше всего его подозрительное сходство с ранее издававшимися по поводу российских немцев государственными актами. С грифом «секретно» хранились они в сейфах спецчастей партийных и советских органов вместо того, чтобы довести их до сведения широкой общественности. Опять аморфность, недомолвки, таинственность, позволяющие манипулировать содержанием. Словесная эквилибристика какая-то, будто не для реального дела принят документ, а чтобы навести тень на плетень. Ларчик, между тем, открывался просто. Уже за полгода до принятия постановления в районах бывшего немецкого Поволжья слышался глухой ропот, который можно было унять, а можно при желании и раздуть до масштабов взрыва. Партийные и государственные органы попили по второму пути. Раздувать антинемецкое кадило принялся сам первый секретарь Волгоградского обкома партии В. Калашников. Вот что говорил он на апрельском (1989 года) Пленуме ЦК КПСС по «немецкому» вопросу: «Да и нужно ли два миллиона немцев, проживающих в стране, собирать? (...) А кто будет работать на целине, в Северном Казахстане, кто будет работать в Сибири?» Сказано это было при молчаливом одобрении президиума и участников пленума.

Потом, правда, Калашникова осаждали в ЦК. Но открытый огонь уже появился: в соседней Саратовской области его понесло концентрическими кругами из Марковского райкома партии, и к осени всё запылало. Местные партийные и советские функционеры «тупили» пожар ... бензином, то бишь давно отработанными приёмами «командно-административной» системы. Сначала состоялся пленум Саратовского обкома КПСС, на котором прозвучал призыв «дать решительный отпор силам, которые нагнетают национальную истерию», проще говоря выдвигают «вопрос о восстановлении

на территории Саратовской области (...) автономной республики немцев Поволжья». Затем первые секретари горкомов и райкомов провели работу на местах, а руководители предприятий получили рекомендации по сочинению протоколов собраний трудовых коллективов с категорическим отказом от воссоздания автономии. Так, секретарь Марковского райкома партии В. Роголёв поучал секретаря парткома завода «Радон» В. Проскурякова: «Чтобы от завода выступающих в защиту автономии не было. Такова позиция обкома и облисполкома.»

Антинемецкая кампания велась здесь под «испытанными» лозунгами верности принципам интернационализма и заботы о местных жителях, которым будто бы угрожал «новый Карабах на Волге». Не упоминалось только, кто в кого и из-за чего начнёт стрелять...

Догадаться об этом можно по некоторым высказываниям жителей Саратовской области, которые были приведены в открытом письме руководству страны сотрудника Управления КГБ СССР по защите конституционного строя А. Кичихина. Вот они. «Секретарь парткома совхоза 'Знамя победы' Марковского района Е.В. Седых на общем собрании коллектива заявил: 'Мы не хотим автономии, мы этим немцам, которые её требуют, — языки вырвем.' Директор совхоза Игнатов (Красноармейский район) на собрании сказал, что 'если будет автономия — я первый уйду в лес и буду создавать партизанский отряд'. (...) Студент совхоза-техникума 'Марковский' Жданов заявил, что 'всё равно им (немцам) тут не жить, мы их будем жечь', а Ерохин и Косимцев высказали намерение 'убивать немцев'. (...) Водитель АТП-3 (Марковский район) Н.М. Аношкин призывал 'гнать немцев с Волги', называл их фашистами, употреблял фразу: 'Резать их надо.'» («Нойес Лебен», № 24, 6 июня 1990 г.).

Какие же доводы против воссоздания Немреспублики выдвигались на организованных сверху собраниях? Может быть, эти контраргументы и впрямь настолько серьёзны, что их надо отстаивать вплоть до смертоубийства? Вот они, почерпнутые мной из «причёрсанного» редактором газеты «Заветы Ильича» (Энгельсский район) отчёта с массового митинга представителей пяти районов Саратовской и двух районов Волгоградской области. (О «стихийном» характере митинга свидетельствует уже присутствие на нём партийных, советских, хозяйственных руководителей и даже народных депутатов СССР, для которых, собственно, и было организовано это «волеизъявление масс».)

О «весомости» выдвинутых аргументов можете судить сами:

— Мы протестуем против воссоздания автономии. На то не спросили мнения народа. Если народ говорит «нет», то не слышать этого нельзя. Народ — хозяин страны!

— Мы не против немцев, но против автономии. Почему на русской земле мы должны жить как люди второго сорта? Автономия нам не нужна ни сегодня, ни завтра, ни здесь, ни в других местах. Не дадим кроить нашу Родину — Россию!

— За свою землю, за Волгу, за нашу свободу погибло 20 млн. человек, а теперь нам угрожает немецкая автономия. Ситуация может возникнуть непредсказуемая!

— Немецкая автономия просуществовала всего 22 года, а мы живём на этой земле более 40 лет, воспитали детей и внуков. Поэтому моральное право на эту землю остаётся за нами. У немцев родина в Сибири — там, где родились те, кого хотят вселить на нашу землю.*

Выводы, прозвучавшие на этом митинге (да и на других тоже) сводились к тезису: «Для воссоздания автономии у нас нет демографических, экономических и политических условий», а в качестве его обоснования над головами митингующих маячили плакаты: «На саратовский караван — рот не разевай!», «Нам не нужны немецкие марки!», «Нас подачками ФРГ не купишь!», «Не разевай рот на саратовский огород!» На большее, чем подобные подстрекательские лозунги, у райкомовских аппаратчиков фантазии не хватило. Не более весомыми оказались и «объективные» причины, которые должны были убедить Москву в невозможности восстановления в Поволжье немецкой автономии.

Так откуда же такое неистовое сопротивление? Где та скрытая пружина, которая позволяла партбоссам манипулировать сознанием тысяч людей? На какие нажимали они кнопки, чтобы поднять народ на митинги и сходы, районные, межрайонные, а то и межобластные конференции, которые не всегда удаётся организовать даже по случаю более крупных массово-политических кампаний?

Объяснения тому безусловно есть, но власти предпочитали о них умалчивать. Действовали по принципу: «Один пишем, два в уме.» На словах интернационализм, а на деле раздувание национального эгоизма и нетерпимости. Но подлинные чувства иногда всё же прорывались, в т.ч. и в печати. В газете Марковского района «Знамя

* Немцы расселялись на пустующих землях Поволжья начиная с 1764 г. согласно манифестам Екатерины II. Эта территория исторически принадлежала тюркским народам и была присоединена к России лишь во второй половине XVI века, после завоевания Казанского ханства.

коммунизма» ветеран войны В. Олейников так изложил свои мысли по поводу автономии на Волге: не для того он всю войну с фашистами сражался, чтобы в итоге под немецкой властью оказаться! В антинемецких листовках саратовского комитета «Родина», рассылаемых по стране, говорилось: «За спиной народа решается вопрос о создании третьей Германии на нашей Родине! То, что не удалось сделать кайзеру в 1914 г., Гитлеру в 1941 г., активисты комитета 'Возрождение' с помощью ФРГ и Москвы пытаются сделать сейчас.»

Подобные провокационные выступления с трибун, оскорбительные высказывания в прессе способны вызвать (и вызывали) чувство стыда у любого здравомыслящего человека независимо от национальности. Но не у доведённых до экстаза толп, которые внемяют только тому, что хотят услышать. Они ещё больше подогревали себя запальчивыми фразами: «Не бывать второй раз немцам на Волге!», «Хватит, пострадали мы от них в войну!», «Не видать им русской реки Волги!», «Общество 'Возрождение' – геббельсовская организация!»

О том, насколько прочно вдолбили в головы советских граждан нетерпимое отношение к немцам, можно судить по высказываниям некоторых жителей саратовского Поволжья, приведённым в упомянутом открытом письме А. Кичихина. «А что им, немцам, обижаться? Воевали мы не с кем-нибудь(...), а с немцами. Правильно немцев в Сибирь сослали. (...) Я их на войне бил. (...) И сейчас давить буду», – заявил П. Сметанин, ветеран войны. Член бюро обкома, коренной житель Саратовской области не стеснялся распространять ложь о том, что перед выселением у немцев, якобы, изымали оружие и боеприпасы. «Мы воевали с фашистами не затем, чтобы жить на Волге в немецкой автономии, – говорил учитель из Звонарёвки (бывшее немецкое село Шталь) Марковского района Золотарёв, – и не надо нам тут о жертвах сталинизма. Вы ненавидите Сталина, а мы – Гитлера.»

И что совсем уж поразительно – эти речи ничуть не резали слух организаторов митингов, коммунистов-«интернационалистов» и ответственных работников партийных комитетов, включая областную. Ситуация сложилась настолько вызывающая, что межрайонный прокурор А. Шевченко вынужден был письменно доложить по инстанции: «Начиная с апреля 1989 года в городе Марксе и районе на собраниях отчётливо выявилась шовинистическая позиция значительной части присутствующих, допускались оскорбительные выпады и сравнения в адрес немцев. (...) Деятельность комитета,

возглавляемого работником ГК КПСС Неделеяевым, всё больше приобретает антиобщественную направленность. Для нормализации обстановки необходимо изменение позиции ГК КПСС от неприятия идеи автономии – к диалогу...»

Упомянутый комитет будто в насмешку носил название, прямо противоположное своим целям, – «по проблемам советских немцев». Осознав эту явную несуразность, его переименовали в организацию с куда более претенциозным названием «Родина». Для всех национальностей, стало быть, Поволжье – родина, но только не для немцев. Открыто шовинистическая политика была всё-таки не вполне к лицу компартии и её комитетам, вот и создали они подставную структуру во главе с «неформалами» из того же партаппарата.

Ясно, что антинемецкую кампанию в Поволжье не удалось бы разжечь в такой степени, не будь у её организаторов мощного подспорья в виде живучего, накрепко вбитого в головы людей обобщённого образа немца-врага.

Окончилась война, но советская идеология и пропаганда, именовавшиеся «марксистско-ленинскими», ничего не сделали для того, чтобы хотя бы со своих излюбленных «классовых» позиций объяснить гражданам СССР социально-политические различия между гитлеровскими фашистами и немцами, которые в самой Германии оказались жертвами нацизма, не говоря уже о российских немцах.

Стоит ли удивляться, что население Поволжья послевоенных лет в большинстве своём слыхом не слыхивало о российских немцах, а тем, кто о них помнил, и в голову не могла прийти возможность их возвращения в родные места. Зато о фашистах эти люди знали не понаслышке, поскольку в 1941 г., как отмечалось выше, некоторых из них эвакуировали на Волгу из прифронтовых областей.

И вот теперь – вместо того, чтобы растолковать им, что ни «оккупировать», ни «онемечивать» поволжские земли российские немцы не собираются; что в мыслях у них нет присваивать свои бывшие дома или отодвигать чью-либо очередь на квартиру; наконец, что каждый народ имеет право на малую родину и справедливость, – вместо всего этого люди, называвшие себя коммунистами, всячески эксплуатировали «образ врага», разжигая злобные, бесчеловечные настроения. Да ещё и прикрывались при этом благими намерениями, говоря о демократических принципах служения народу.

Трудно забыть, к примеру, фразу из речи на митинге первого

секретаря Советского райкома партии (Саратовская область) В. Лисьева: «Меня очень беспокоят экстремистские заявления, будто партийные и советские органы будоражат народ. Мы избраны народом, выражаем его волю и будем за это стоять.»

Лукавил ответственный товарищ – и невооружённым глазом было видно, куда ведут следы от хорошо организованных антинемецких мероприятий. Сегодня можно с уверенностью сказать, что Общество «Возрождение» с его немногочисленным активом и мизерными материальными возможностями было единственной стороной тогдашнего конфликта, действительно заинтересованной в восстановлении АССР немцев Поволжья. Ему противостоял предельно отобюрократизированный местный и региональный партийно-советский аппарат, имевший в своём полном распоряжении и необходимые финансовые ресурсы, и послушные средства массовой информации.

Что касается «Возрождения», то оно не было допущено к прессе даже для разъяснения своей позиции по поводу принципов восстановления республики, в т.ч. касающихся защиты прав и интересов местного населения. «Публикации в газетах области по проблеме советских немцев запрещены обкомом КПСС в апреле 1989 года», – заявил заместитель редактора Марксовской районной газеты М. Сохинов. Хотя материалов против автономии в них печаталось множество.

Даже мероприятия Управления КГБ по Саратовской области с целью стабилизации обстановки и проведения разъяснительной работы среди населения были, как явствует из упомянутого открытого письма, наотрез отвергнуты обкомом. А один из его секретарей даже заблокировал информирование КГБ СССР об опасном развитии ситуации в области.

Ну, а как же Центр, Москва? Чтобы ответить на этот вопрос, поставим другой: разве могли бы позволить себе руководители Саратовской и Волгоградской областей столь вызывающие действия без молчаливого одобрения верховной власти страны? Ответ напрашивается сам собой. Подтверждается он и прямыми свидетельствами. Вернувшись на Волгу, члены огромной, в 120 человек, делегации «представителей трудовых коллективов» обеих областей заявили на митинге 27 января 1990 года: во время встречи с Р. Нишановым и А. Лукьяновым их заверили, что вопрос об автономии «будет решаться с народом». Н. Чекмарёв, работник военизированной охраны, объявил под бурные аплодисменты присутствующих: «В Москве

нам сказали однозначно – если станете стеной, то автономии не будет. Вот мы и стоим плотной стеной!»

В связи со сказанным невольно возникает и такой вопрос: неужели Декларация и Постановление, принятые парламентом страны, – это всего лишь очередной блеф, подобный тому, какой был разыгран с созданием Немецкой автономной области в Казахстане в 1979 г.? Дескать, видите: мы сделали всё, что в наших силах, дабы вернуть немцам автономию, но «население против»... Выходит, и депутаты Верховного Совета втянулись в аппаратную игру, создавая комиссии, принимая пустопорожние декларации и витиеватые двусмысленные постановления?

На такие мысли наталкивает анализ дальнейшего развития событий в части принятия – выражаясь словами Декларации – «соответствующих законодательных мер для безусловного восстановления прав» немецкого народа СССР.

Так, созданная согласно упомянутому Постановлению государственная комиссия во главе с В. Гусевым, бывшим первым секретарём Саратовского обкома партии(!), с самого начала оказалась запрограммированной на однозначный вывод: восстановление немецкой автономии на Волге невозможно – де ни в каких формах, ибо население Саратовской и Волгоградской областей категорически против. К сожалению, к такой же позиции фактически склонились и члены комиссии из числа российских немцев – народный депутат СССР Г. Штойк, сопредседатель Общества «Возрождение» Ю. Гаар, член Координационного центра Общества В. Риттер.

К этому времени из ЦК КПСС подоспел «альтернативный» вариант: создание ассоциации советских немцев – некой неконституционной структуры, якобы наделённой «правами правительства», но без территории. Неудивительно поэтому, что основной заботой «гусевской комиссии» стало не восстановление поволжской автономии, а формирование упомянутой внетерриториальной «ассоциации» и созыв с этой целью съезда немцев СССР, чтобы тем самым поставить, наконец, крест на затянувшейся «немецкой проблеме». Подобная форма «представительного органа» для народов-бомжей, не имеющих своих автономий, была заложена в Платформе ЦК КПСС по национальному вопросу ещё осенью 1989 года. Не в этом ли состоял «секрет» потакания со стороны центральных властей разнузданной шовинистической кампании на Волге?

С такой постановкой вопроса, конечно, не могли согласиться сами российские немцы. И тогда в официальных сообщениях появ-

вилась обтекаемая приписка о том, что своей деятельностью в союзных и республиканских органах ассоциация «в конечном счёте будет способствовать решению насущных проблем советских немцев, восстановлению их государственности». Но и эта сладенькая облатка к горькой пилюле исчезла из последующей информации о работе Госкомиссии.

Очередного тумана в этом вопросе напустил Президент СССР во время посещения им Нижнего Тагила в апреле 1990 года. Отвечая на вопрос о том, на каких путях видится возможность решения проблемы советских немцев, М. Горбачёв, в частности, заявил: «Там, где была немецкая автономия в районах Поволжья, все эти районы заселены другими людьми. Не можем же мы, решая одну проблему, создавать другую.» Он одобрил инициативу ульяновцев, пригласивших немцев приезжать в свою область, и добавил, что «методом такого согласия и доброй воли сторон мы будем передвигаться, чтобы решить проблему, не столкнув два народа». Далее в газетном отчёте говорилось, что Президент высоко отозвался о деловых качествах и трудолюбии советских немцев. Знакомые слова, от Микояна до Калашникова не раз слышанные!

И всё осталось по-прежнему. Пять лет разговоров о перестройке национальных отношений в стране и наступающем царстве справедливости закончились для российских немцев впустую. Если, разумеется, не считать предполагаемой «ассоциации» без территории, сильно смахивавшей на опереточную структуру. Лишённое реальной власти и конкретной территории для своей деятельности, это «правительство» было обречено на роль ходатая перед руководством республик и областей в надежде на их милость при удовлетворении национально-культурных запросов российских немцев. Не говоря уже о том, что в условиях утверждавшегося суверенитета республик такое одиозное всесоюзное образование было бы для них просто нетерпимым.

Гора в лице Государственной комиссии по проблемам советских немцев родила мышь!

А напряжение в Саратовской области между тем не спадало. Более того, по всему было видно, что получившие всестороннюю поддержку, заряженные махровым шовинизмом антинемецкие силы задались теперь целью полностью изгнать вернувшихся на Родину немцев. Членам Государственной комиссии, находившимся в Поволжье, было заявлено, что население готовится закупать оружие и создавать партизанские отряды. Та же мысль прозвучала и в обра-

щении, подготовленном в Советском районе этой области. В нём, в частности, говорилось: «Мы не хотим второго Карабаха на российской земле, обстановка в районе является взрывоопасной, страсти накаляются и (...) могут вылиться в непредсказуемые действия со стороны местного населения.»

Эти обращения и угрозы адресовались теперь не столько Москве, — с ней у местных органов власти было достигнуто полное взаимопонимание, а вопрос об автономии на Волге она практически сняла с повестки дня — сколько тем немцам, которые, несмотря на все предупреждения, рискнули вернуться в саратовское Поволжье. Начатая по инициативе партийных комитетов истеричная «антиавтономистская» кампания породила вражду против немцев, равной которой не было в СССР, пожалуй, со времён войны. Злобу, порождённую «дефицитным» существованием, бытовой неустроенностью, бескультурьем, люди были готовы выместить на мнимых врагах, и ими — в который уже раз — стали российские немцы.

В этой связи мне вспоминаются недавно перечитанные материалы районных газет Саратовской области той поры. Вот, к примеру, отчёт о митинге в Красноармейске, бывшем Бальцере, кантонном центре Немреспублики. Читал я его и явственно представлял, как бесновалась толпа, громко одобряя угодных ей ораторов и ещё громче негодуя по поводу выступлений редких оппонентов. А когда к микрофону вышел очередной оратор, русский, и начал интеллигентно, мягко, а затем всё уверенней говорить о том, что если немцам не вернуть их автономию, то они исчезнут как народ, окончательно ассимилируются, — в ответ грянуло тысячеголосое, на одном вздохе:

— Пуска-а-й!

Не тупик ли это, извольте спросить?

По сообщению информационного агентства «Интерфакс» от 2 апреля 1990 года, в квартирах, где проживали немецкие семьи, раздавались телефонные звонки с угрозами и требованиями уехать из Саратовской области. Немецким детям были созданы невыносимые условия в школах, им не давали прохода на улице. Подверглись гонениям и травле те из местных жителей, которых заподозрили в поддержке немцев или симпатиях к ним. Семикласснице Негреско из Маркса дети устроили бойкот за то, что её родители поддержали идею воссоздания автономии. Подвергся чистке и упомянутый В. Проскуряков — один из лидеров общества «Справедливость», вы-

ступившего против антинемецких акций и за восстановление автономии, секретарь парткома завода «Радон» в Марксе. Под предлогом неуплаты членских взносов в размере 9 рублей(!) его исключили из рядов КПСС.

И немцы, конечно, покидали Поволжье. Снова пришлось им, вечно гонимым, думать, куда податься, где найти доброжелательный приём для себя и своих семей. Из республик Средней Азии изгоняли европейцев, угрожая смертью и огнём. В Южном Казахстане немцы также стали нежелательным элементом: казахской молодёжи самой недоставало работы и жилья, она с нетерпением ждала, когда уедут немцы, чтобы за бесценок купить их добротные дома. Иссякло полувековое гостеприимство, теперь здесь хотели подумать и о себе, о развитии национальной культуры и экономики. И немцы это понимали. Но им самим-то что было делать? Податься в западные районы страны? Так там они опять «фашистами» окажутся. Оставался путь, который уже проделали российские немцы в 1941 г., — в Сибирь, в места ненавистой ссылки.

Не выдержав морального гнёта, национального унижения и угроз, некоторые действительно отправились туда. Но куда больше было таких, которые выбрали другой вариант: на Запад. В июне 1990 г. 206 немецких семей из Маркса, где антинемецкие оргии достигли наивысшего накала, обратились в Верховный Совет СССР и посольство ФРГ в Москве с письмом, в котором содержалась просьба дать им возможность, несмотря на отсутствие родственников за границей, выехать в одну из немецкоязычных стран. «В связи с проводимой в Саратовской области антинемецкой кампанией и раздающимися угрозами, — говорилось в письме, — жизнь наша стала здесь невыносимой.»

Итак, решение «немецкого вопроса» зашло в очередной тупик. Руководство СССР отложило в долгий ящик проблему автономии российских немцев, а идею Госкомиссии о создании «правительства без территории» отвергло подавляющее большинство немецкого населения.

«Как в этой кризисной ситуации действовать Обществу 'Возрождение'? — такой вопрос ставил я на собраниях немцев во Фрунзе и в Токмаке в 1990 г. — Снимать или не снимать требование о восстановлении Республики на Волге?» Все присутствующие (а их было в общей сложности около 600 человек) в один голос заявили: «Не снимать!» В противном случае, говорили выступающие, пришлось бы признать, что ликвидация АССР НП в 1941 г. была правомерной.

На вопрос же о том, соглашаться или нет с «промежуточным» вариантом Госкомиссии, послышалось столь же единодушное: «Не соглашаться!» И тут же была выдвинута альтернатива — если союзное правительство не пойдёт на восстановление автономии, то надо поставить вопрос о скорейшем свободном выезде всех желающих российских немцев в немецкоязычные страны: «Другого выхода нет.»

Эти мнения немцев Киргизии полностью совпали с позицией Общества «Возрождение».

Горькое, хотя и единственно возможное в тех условиях резюме. По поводу изложенной дилеммы раздавалось и продолжает звучать немало упреков. Прибегая к откровенной подмене понятий, оппоненты обвиняют многолетнего лидера «Возрождения» Г. Гроута и его сподвижников в «экстремизме», усматривая именно в последнем причину массового выезда немцев из бывшего СССР.

Явно недобросовестное заблуждение! Казалось бы, в государстве, претендующем на звание правового, декларирующем принципы демократии и гуманизма, итог может и должен быть иным. Правда, при условии, что государство желает сохранить в своих пределах ещё оставшихся российских немцев. Тех, кто многолетними лишениями и честным трудом выстрадал право на восстановление исторической справедливости. Если же оно этого делать не хочет или не может, то справедливо вести речь об организованном добровольном выезде немцев в те страны, откуда их предки переселились в Россию несколько веков назад. Или — или, третьего здесь не дано.

Так остро, но вполне справедливо ставил оскорблённый народ свою давно наболевшую национальную проблему. Ибо наступил момент истины, который должен был дать окончательный ответ на вопрос не только об автономии на Волге, но и о самом существовании российских немцев как народа. Едва ли на протяжении всей истории нашего народа был момент судьбоносней этого.

...С того времени утекло немало воды. В корне изменились и сами места проживания российских немцев. Рухнул СССР, бывшие союзные республики отгородились от «старшего брата» государственными границами. В одночасье решился старый спор о том, кто из советских республик кого кормит. Теперь их наследники голодают в одиночку.

В этом чудовищном хаосе российские немцы пытаются найти дорогу, на которой они могли бы сохраниться как народ. В России перед ними два основных пути. Один — проложенный сверху, рас-

считанный на милость государства и преследующий в первую очередь его интересы. Другой – основанный на нелёгком поиске взаимоприемлемых компромиссов между народом и государством, противостоящий первому, более удобному и лёгкому, но по сути дела совершенно бесперспективному. Единства между их сторонниками, естественно, нет. Я позволю себе не согласиться с уважаемым академиком Б. Раушенбахом, который выделил в движении российских немцев (правда, с оговоркой «грубо») две другие «партии» – уезжающих и тех, кто пытается остаться. Этот подход фактически основан на известном обвинении Общества «Видергебурт» в том, что именно оно, якобы, спровоцировало массовый выезд немцев в Германию.

Три общенациональных съезда, проведённых и поддержанных энтузиастами из Общества «Видергебурт», наметили основные направления деятельности своего представительного органа – Межгосударственного Совета российских немцев: восстановление Республики на Волге, помощь немцам, желающим покинуть страну, создание приемлемых условий для тех, кто хотел бы остаться немцем, живя в странах СНГ.

Начало «перестройки» пробудило в российских немцах надежду, что справедливость восторжествует, что они вновь получат свою республику, что будет восстановлена их безупречная репутация, подорванная в сталинские времена. Эта надежда росла, но теперь она угасает, как угасла сама «перестройка». Многие десятилетия российские немцы, подобно Сизифу, маются с глыбой своих проблем. В 1989 г. казалось, что им удастся затащить её в гору. Однако впечатление было обманчивым. Глыба опять покатила вниз и лежит на дне глубокой пропасти. Не «Возрождение» и не народ повинны в принятии решения об исходе, а жестокое равнодушие и патологическая глупость властей. Положение изгоев в собственной стране превратило российских немцев в «бомжей», в «перемещённых лиц», в людей без родины, обречённых на вечное скитание.

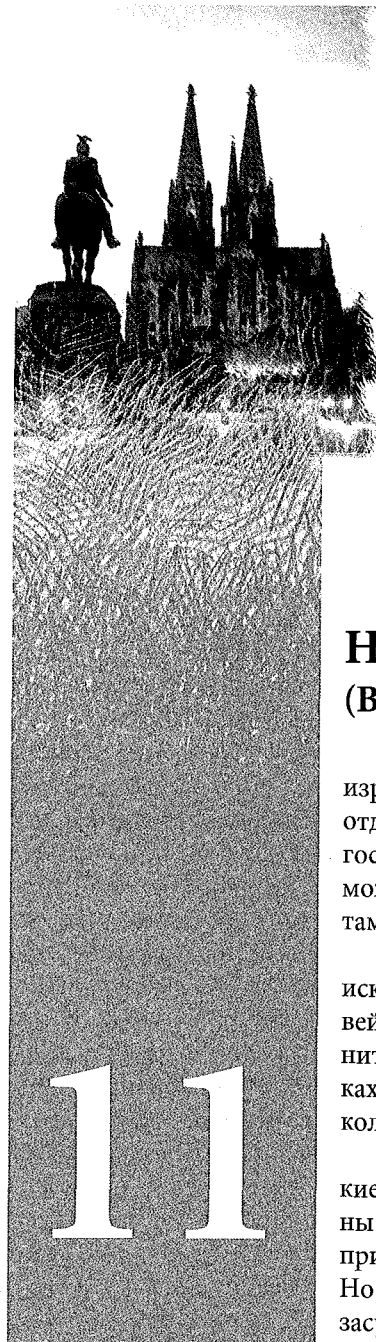
Понадобились три общенациональных съезда и добрая воля германского парламента, чтобы в ответ на равнодушие партийно-советских и постсоветских властных структур послевоенный ручей эмиграции российских немцев в ФРГ превратился в многоводный поток. Свидетельство тому – официальные германские данные о приёме немецких переселенцев из СССР (СНГ) на протяжении последнего десятилетия:

1987	–	14.488,
1988	–	47.572,
1989	–	98.134,
1990	–	147.950,
1991	–	147.320,
1992	–	195.576,
1993	–	207.347,
1994	–	213.214,
1995	–	209.409,
1996	–	172.18...

Однако прошло всего три года со времени согласованного принятия фракциями Бундестага «Закона по упорядочиванию законов о последствиях войны», и в руководящих кругах оппозиционной Социал-демократической партии Германии, а под её нажимом и в правительстве Г. Коля развернулась бурная кампания против въезда немцев из СНГ. В результате число переселенцев из этих стран сократилось в 1996 г. на 17,8% по сравнению с уровнем предыдущего года и продолжает сокращаться и ныне.

В то же время почва под ногами живущих в Казахстане и Средней Азии европейцев, включая немцев, становится всё горячей. Поэтому немцы, помимо Германии, вынуждены уезжать отсюда в Сибирь, на Волгу, на Украину – куда угодно, где только удаётся найти пристанище и где, как им кажется, могут возникнуть условия для возрождения национальной жизни. Эти люди, зачастую имеющие смешанные семьи, по различным причинам не могут или не хотят выехать в Германию, но стремятся остаться немцами.

Несмотря на эмиграцию, на разделённость границами новых государств, российские немцы по-прежнему составляют значительную по численности национальную общность. Их, как и раньше, объединяет сходство исторических судеб, общность интересов и целей, опыт борьбы за защиту национальных прав, потребность во взаимопомощи и попросту чувство локтя. На этой социально-психологической и идейной основе существуют и взаимодействуют различные общественные объединения немцев стран бывшего СССР.



НА КРАЕШКЕ СТУЛА (ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ)

«Пути Господни неисповедимы» – это изречение приложимо не только к жизни отдельных людей, но и к судьбам целых государств и народов. В особой мере его можно соотнести с трагическими поворотами в истории российских немцев.

Отделившись несколько веков назад от исконного германского ствола, одна из ветвей немецкого народа попыталась укорениться в далёкой восточной стране в поисках земли и счастья для себя и будущих поколений. И жестоко за это поплатилась.

Сто первых, самых трудных лет немецкие колонисты жили по законам Екатерины II, на зов которой они откликнулись, прибыв в неведомую заманчивую Россию. Но встав на ноги, потом и кровью окропив засушливые земли Поволжья и юга Украи-

ны, неожиданно для себя оказались ненавистными париями. Вдобавок ко всеобщему бесправию, в котором пребывали все народы России, положение российских немцев отягчалось ещё и завистливой неприязнью, подогреваемой великорусским шовинизмом властей.

Как ни парадоксально, немцы-колонисты стали жертвой тех самых достоинств, ради которых и были приглашены в Россию. По верному замечанию германского историка И. Фляйшхауэр, освоить фактически необжитые территории на рубежах страны могли лишь люди, обладавшие такими качествами, как дисциплинированность и надёжность, трудолюбие и преданность делу, жажда деятельности и предпочтение общего блага индивидуальному.

Однако добродетели, которые превыше всего ценились в немцах-переселенцах на американском и других континентах, обернулись в России против их обладателей. С присущей колонистам энергией и предприимчивостью развивали они ремёсла, создавали новые виды промышленности, закупали освобождавшиеся помещичьи земли, интенсифицировали своё хозяйство. Увы, следствием этого преуспевания явились не подражание и заимствование положительного опыта, на что надеялась Екатерина II, приглашая иностранцев, а открытое неприятие, подстрекаемое политиками, зашоренными на «русской самобытности».

Размышляя о причинах традиционно негативного отношения правящих кругов России к «своим» немцам, известный экономист Геннадий Лисичкин писал: «Немец для нас с петровских времён стал постоянным возмутителем покоя – источником растущего духовного и экономического напряжения... Немец на Руси – крупная помеха сохранения дремотного состояния, и тот русский, который высоко ценит это состояние, ненавидит немца за неуёмность и трудолюбие, поскольку на этом фоне становится слишком очевидной собственная неприглядность.»

Неверно было бы думать, что статья Г. Лисичкина, опубликованная в № 4 газеты «Московские новости» за 1992 г., имеет отношение исключительно к Руси исторической. Напротив, она была написана в связи с пресловутой «антиавтономистской» кампанией на Волге, первопричину которой автор усмотрел в стремлении местных «бояр» и обывателей к сохранению своего «дремотного состояния».

Наши предки-переселенцы, поддаваясь посулам вербовщиков графа Григория Орлова, конечно же, не могли предвидеть такого превращения добра во зло. Тем более не в силах были они за сто лет предугадать грядущее столкновение политических амбиций их старой и новой родины – Германии и России. В результате имперского менталитета этих

ведущих европейских держав, дважды на протяжении столетия приводившего к глобальным военным катаклизмам, российские немцы оказались в гибельной ситуации между наковальней и молотом. С тех самых пор нашим соплеменникам отвели место на краешке стула, как не-прошеному гостю, пришедшему на чужие хлеба.

Начиная с 70-х годов 19-го века, их постепенно, методично, с нарастающей силой ставили в положение презренных изгоев российско-го, а затем и советского общества. Для начала «уравнивали» в правах с остальными гражданами, упразднив дарованный «навечно» царской властью колониальный статус. Затем по высочайшему повелению стали лишать приобретённых земель и прочей недвижимости. В годы Первой мировой войны превратили в козлов отпущения, сотнями тысяч депортировали на восток, организовали антинемецкие погромы в крупных городах.

Вместе со всеми российскими народами немцы пережили чудовищные эксцессы самоуправной «советской» власти. Их обобрали до нитки в ходе «экспроприации экспроприаторов». За счёт них власти выполняли планы по «раскулачиванию», а энкаведешники – по уничтожению «диверсантов и шпионов».

В 40-е годы сталинско-бериевская клика перешла от «классового» и индивидуального государственного террора к массовой «национальной чистке», жертвами которой стали более десятка наций и народностей. Последствия этого удара были роковыми – в результате геноцида военных лет немецкий народ СССР оказался на грани полного этнического исчезновения.

Представление о трагических перипетиях истории российских немцев даёт динамика их численности и степени владения родным языком за последнее столетие.

1897 г. –	1.790.489 чел.		(в границах
1914 г. –	2.416.290 чел.		Российской империи)
1918 г. –	ок. 1.621.000 чел.		(в границах будущего СССР)
1926 г. –	1.238.549 чел.	94,9%	
1939 г. –	1.427.232 чел.	88,4%	
1950 г. –	1.106.277 чел.		
1959 г. –	1.619.655 чел.	75,0%	
1970 г. –	1.846.317 чел.	66,8%	
1979 г. –	1.936.214 чел.	57,0%	
1989 г. –	2.038.603 чел.	48,8%	
1997 г. –	ок. 1.500.000 чел.		(в границах бывшего СССР)

Из таблицы видно, что резкое сокращение численности немецкого населения и степени владения родным языком приходится на годы Советской власти. В этом отношении особенно характерны два периода. В первые годы большевистского режима численность немцев сократилась вдвое за счёт «красного террора», голода, военных потерь, эмиграции, а также отпадения Прибалтики, польских и бессарабских территорий. Второй период – годы Второй мировой войны, когда свирепый террор НКВД унёс жизни почти полумиллиона немцев, умерщвлённых в лагерных «зонах» и умерших за их пределами.

За всё время с 1917 по 1953 гг. карательными мерами в числе десятков миллионов людей было погублено не менее половины российских немцев. А после смерти Сталина, с помощью «морального» геноцида (этнотида), в результате отсутствия своей государственности и национального образования, в условиях дисперсного проживания, идеологического и психологического прессинга, подверглось ассимиляции (русификации) более половины немецкого населения, удельный вес заключаемых межнациональных браков достиг 65-70%.

За 230 лет своей истории российские немцы прошли извилистый путь от нищеты к хозяйственному и культурному процветанию, а затем – к национальному упадку, чреватому полным исчезновением этноса. Не они повинны в произошедшей национальной драме.

Проследивая пути российской ветви немецкого народа, опрометчиво связавшей свою судьбу с полуазиатской страной, я вспомнил слова историка немцев Сибири Виктора Бруля: «Если этническая группа отрывается от своего народа, исторической родины, то она перестаёт быть хозяином своей судьбы и полностью зависит от тех, кому доверяется.»

Применительно к российским немцам это замечание верно вдвойне: в отличие от немцев, переселявшихся на ещё не освоенные континенты, российские колонисты попали в многовековое авторитарное государство, идеология которого традиционно противостояла всему западному.

Данная книга – о ключевом и наиболее драматичном отрезке истории пребывания нашего народа на российской земле. Этот сравнительно короткий, но чрезвычайно важный период пришёлся на время советско-германской войны и послевоенное десятилетие. В свою очередь, он распадается на три этапа, которые характеризуются относительно самостоятельными, но взаимосвязанными акциями, прослеженными нами с помощью их свидетелей и жертв, – депортацией, «трудармией» и спецпоселением.

По содержанию поставленных целей и масштабам содеянных преступлений главное место в этой сталинско-бериевской триаде безусловно принадлежит гуглаговским «рабочим колоннам». Их создание не было неожиданной или изолированной акцией. Уже при выселении имелось в виду отправить депортируемых немецких мужчин в концлагеря, где находились немцы, вывезенные ранее с Украины. И лишь отсутствие достаточного числа подготовленных заправочных мест отодвинуло «мобилизацию» до начала 1942 года.

Ни советские, ни постсоветские власти так и не признали, что пребывание немцев в «рабочих колоннах» было аналогично заключению в «исправительно-трудовых» лагерях ГУЛАГа. Однако, отрицая эту истину, они невольно подтверждают, что по всем основным параметрам «трудмобилизованным» приходилось в 1942-43 годах неизмеримо тяжелее. Их участь сравнима разве что с приговорёнными к высшей мере. Как и смертники, «трудоармейцы» были обречены на неминуемую гибель и исчезновение в безвестных могильниках. «Рабочие колонны», вобравшие в себя около 800 тыс. мужчин и женщин, – это фактически не что иное, как форма смертного наказания тех «тысяч и десятков тысяч диверсантов и шпионов», которых якобы скрывало в своей среде немецкое население.

«Трудоармейские» зоны настолько чудовищны и бесчеловечны, что для их описания почти невозможно подобрать соответствующие эпитеты. Лучше всего это удаётся, как правило, самим узникам «рабочих колонн». Вдобавок ко всему изложенному сошлюсь в этой связи ещё на одно высказывание Бруно Шульмейстера:

«Мы мёрзли и голодали, изъеденные мошкой, комарами, гнусом, клопами и вшами. Мы погибали от голода, нас зарывали в общих ямах без гробов, сложенных в штабеля, как дрова...»

Наряду с депортацией и «трудоармией» через режим спецпоселения прошли практически все немцы СССР. Физический геноцид первых лет войны сменился куда более долговременным и не менее разрушительным по своим последствиям духовным геноцидом. Следствием почти полуторавекового подавления нашего народа, вершиной которого был сталинский геноцид и его последствия, стало редкостное в исторической практике явление – массовое возвращение целой этнической группы на свою исконную родину.

А ведь немцы переселялись в своё время отнюдь не только в Россию. Но что-то не помышляют о возвращении немецкие эмигранты из Канады, США, Южной Америки. Не просятся под крыло германского орла немецкие жители Австралии, Новой Зеландии, ЮАР и других

стран. Исключение составляют лишь немцы, волею судьбы оказавшиеся в странах бывшего коммунистического блока.

Как живётся им в германской «земле обетованной», куда они так настойчиво стремились, имея на то выстраданные поколениями основания? Эту важную и непростую тему я и хочу затронуть в заключительной главе своей книги. Поставленный вопрос напрашивается самой логикой повествования, собирательным героем которого является российско-немецкий народ. Его история не завершается переездом значительной части этого народа в Германию.

Подобно тому, как неестественно заканчивать предложение запятой, нельзя не сказать о тех российских немцах, которые, поддавшись инстинкту этнического самосохранения, отправились на землю прачуров, наперёд зная об ожидающих их там неизбежных трудностях.

На разнородность переселенческого «контингента» обратил моё внимание уже руководитель переходного лагеря на 500 мест в Шоттене (Земля Гессен) г-н Ганс-Отто Гюнтергарт. За 20 лет его работы через этот пункт прошли «аусзидлеры» (переселенцы) из Польши и Румынии, СССР и стран СНГ, главным образом Казахстана. Каждая из этих групп несла на себе печать условий страны своего прежнего проживания. В первую очередь – национального окружения, определяющего степень владения родным языком. Как и следовало ожидать, в наиболее сложной ситуации находились в этом отношении немцы, прибывшие из стран СНГ.

С другой стороны, наши переселенцы, по мнению г-на Гюнтергарта, значительно различаются в зависимости от времени своего прибытия. У первой «волны» (1970-90 гг.), переселившейся в Германию до развала СССР, ведущее место при принятии трудного решения занимали идейные, национальные мотивы. Тогдашние аусзидлеры являлись ревностными ценителями родного языка и немецкой культуры. У них не было многих проблем, которые появились позднее, в т.ч. проблемы общения с местными немцами.

Среди переселенцев третьей «волны» (с 1993 г.) преобладают люди среднего и младшего поколений, на 80-90% со смешанными семьями, почти полным незнанием немецкого языка, сравнительно низким профессиональным уровнем и незначительной долей интеллигенции. Для подавляющего большинства этих аусзидлеров, считает г-н Гюнтергарт, основные мотивы переселения в Германию сводились к ухудшению материального положения и усилению национализма в местах их прежнего проживания.

К сказанному следует добавить, что при характеристике «волн» нужно учитывать и наличие в каждой из них нескольких поколений пере-

селенцев, имеющих свои отличительные черты.

Непростое это дело – рассказывать о российско-немецких переселенцах в Германии. Тем более, если учесть, что изменились не только сами аусзидлеры. Существенные перемены происходят также в социально-экономической и политической жизни Германии.

Когда я работал над этой главой, мне прежде всего хотелось выяснить, насколько верным было моё убеждение (совпадавшее с позицией Общества «Видергебурт»), что массовый исход российских немцев обусловлен объективными причинами, а не «экстремистскими призывами» каких-либо национальных лидеров, как до сих пор назойливо вещают наши оппоненты.

«В последние годы, – пишет по этому поводу знакомый читателю Иоганн Гербер, – пробудилось осознание того, что мы с давних пор подвергались угнетению. Чем чаще я анализировал свою погубленную жизнь, тем больше приходила обида за несправедливость, которую я и мой народ должны были терпеть многие десятилетия. Сюда добавлялись также растущие экономические трудности, и всё это заставляло видеть наше бытие в ином свете, искать выход из положения.»

О мотивах, побудивших его выехать в Германию, рассуждает тоже не раз упомянутый нами Роберт Вайлерт, проживающий сейчас в Берлине: «Описать все причины я не в силах, так много их накопилось за долгую жизнь. Но из частного складывается общее, а количество переходит в качество – и тогда кончается терпение, наступает пора делать выводы.

Во время коллективизации у нашей семьи отобрали всё имущество. В 1933 г. отца, члена правления колхоза, арестовали за то, что они решили выдать умиравшим от голода людям по несколько килограммов пшеницы. Через полгода выпустили, но спустя несколько дней за ним пришли уже из НКВД. Отцу удалось избежать ареста, однако на протяжении семи лет семья была вынуждена сменить пять мест жительства. В 1941 г. нас, как и всех волжан, выселили, а в 42-м отец сгинул в бездонной 'трудармии'.

Прощаясь, он обнял меня за плечи и сказал: 'Ты остаёшься ответственным за семью, и если вы когда-нибудь сможете уехать из этой страны, то обязательно воспользуйтесь такой возможностью.' Шли годы, менялись правительства, но нам постоянно напоминали о том, что мы принадлежим к побеждённой нации и являемся людьми последнего сорта. И я последовал незабытым отцовским словам...»

Об этом же пишет из Мёнхенгладбаха (Северный Рейн-Вестфалия) мой давнишний корреспондент, бывший бригадир трактористов Яков

Лихтенвальд: «Я не очень грамотный человек, пером мало писал. Скажу коротко: я родился и хочу умереть немцем. Эта мысль не выходила у меня из головы с юных лет – её завещали нам родители, которые строго следовали национальным традициям. Из-за этого они всю жизнь страдали, а мы приехали в Германию. Приведу только один пример. Перед отъездом встречаю односельчанина, с которым почти каждый день за руку здоровался. Он меня спрашивает: 'Ну, ты когда в свою фашистскую Германию уедешь?' – 'Какой же ты бессовестный человек, Анатолий Иванович!' – только и нашёлся я ответить. Оказывается, для него я все эти годы был врагом.»

Знакомый нам Вернер Штирц принадлежит к шестому поколению немцев, родившихся в Поволжье. Его предок Симон Штирц был одним из основателей села Штефан (Водяной Буерак), расположенного в Добринском кантоне АССР НП. Потомки Симона не раз пытались вернуться в Германию. В правление Александра II один из них на двух подводах добрался до западных губерний России (нынешняя Беларусь), но из всей его семьи остался в живых только 10-летний Иоганн, будущий дед автора рассказа.

50 лет спустя тот тоже попытался уехать в Германию, но подоспевшая революция обесценила бумажные деньги, и цель оказалась недостижимой. Отцу Вернера было уже не до поездок: голод, раскулачивание, повальные аресты и расстрелы, депортация, «трудармия» – и смерть. Лишь Вернеру Штирцу удалось пройти сквозь все препоны и осуществить вековое стремление членов своего рода. Он живёт в Альтенбурге (Тюрингия).

Многие испытания, включая страшную Енисейскую ссылку, преодолел и вышеупомянутый Иоганнес Бартули. Но чашу терпения переполнил случай, связанный с трагической гибелью сына в 1981 г. Его, возвращавшегося с таёжной охоты, убили и ограбили местный житель. Суд назначил ему пять лет лишения свободы, но уже полтора года спустя он вернулся из лагеря. Возмущённый несправедливостью, Иоганнес обратился в Красноярскую краевую прокуратуру с жалобой. Прокурор Овсянников, не дослушав до конца, в упор спросил его: «Ты, случаем, не забыл, кто ты есть и за что 15 лет находился в ссылке?!» После этих слов у Иоганнеса что-то сломалось внутри. Он не в силах был больше жить в этом бесправном душном мире и при первой же возможности покинул страну.

«Мало ли обид приходится сносить гражданам от своего государства!» – может сказать «беспристрастный» читатель, наткнувшись на подобные строки. А мы спросим его: «Как обычного гражданина или же

как немца третировал Иоганнеса Бартули 'блоститель закона', напомнив ему об его месте бесправного пария?» Да и единичны ли подобные факты? Отнюдь! Их было множество, а потому они по праву воспринимались как оскорбление, унижение, притеснение твоего народа. Об этом говорится практически в каждом из написанных по данному поводу писем.

«Пережив тяжёлые незаслуженные наказания в сталинском ГУЛАГе, – пишет хорошо знакомый читателю Александр Мунтаниол, – я, как и все российские немцы, надеялся рано или поздно дожидаться, когда власть предрежающие признают, что наш народ был несправедливо подвергнут физическому и духовному геноциду. Наконец, нам преподнесли реабилитацию как куцую и половинчатую милостыню. Активизировалась политическая борьба в стране. Наши немцы всё настойчивей требовали восстановления республики на Волге. В ответ партия и власти подняли на ноги местных 'ультрапатриотов'. Финалом явилось выступление Ельцина на земле бывшей Немреспублики в 1992 г. Безграмотное, грубое и злобное – как плевок в душу народа! Оно напомнило мне самые жуткие времена гугаговского деспотизма. А чего стоил его 'щедрый подарок' – полигон Капустин Яр, начинённый снарядами и прочей гадостью? Пока жив – не забуду издевательского тона этого великорусского владыки. Тогда для меня стало ясно: нужно уезжать в ФРГ.»



Эльвира Бухнер

на её благо. Увы! Гонимые местными национал-шовинистами за активное участие в движении «Видергебурт», мы с дочерью Аль-

На этот поворотный момент в судьбе российских немцев сошлись как на непосредственный повод к выезду Андреас Предигер из Бад Рейхенгалла (Бавария), Эльвира Бухнер из Леверкузена (Северный Рейн-Вестфалия), Давид Геринг из Байройта (Бавария), Рейнгольд Дайнес из Альтенгофа (Гессен). В унисон с другими Р. Дайнес, упомянутый в предыдущих главах, считает: «Если бы восстановили республику на Волге и нас полностью реабилитировали, то многие отказались бы от выезда. Я бы тоже отдал все силы

мой вынуждены были уехать с Волги на историческую Родину. Я не хотел, чтобы плевали на мою могилу...»

Горькие, выстраданные слова, за которыми многолетние материальные и моральные невзгоды.

Недавний распад СССР породил новый вал проблем. Националистическая идеология образовавшихся на его руинах государств, требование обязательного знания государственного языка как средство вытеснения «иностранцев» ставят перед немцами тяжёлую дилемму – учить вместо родного языка казахский, украинский, киргизский либо уезжать в Россию.

Но и там для немцев нет национального будущего. «Без автономии не может быть ничего: ни языка, ни культуры, ни обычаев, ни традиций, – пишет Вилли Мунтаниол из Динкладе. – Зато есть великолепная возможность повторить репрессии. И, если не уничтожить физически, то окончательно раздавить всё немецкое, что ещё осталось от наших далёких германских предков.»

О циничной спекуляции на многолетнем негативном отношении властей к российским немцам свидетельствует трагический факт, описанный упомянутым Отто-Зигфридом Диком. 10 января 1992 г., говорится в письме, их квартиру ограбили, убив при этом мать, которая одна оказалась дома. В качестве «оправдания» преступники заявили на следствии и суде, что напали на эту квартиру, поскольку в ней живут немцы, которые «всё равно уедут в Германию»(!).

В свете подобных случаев становится понятным высказывание Людмилы Динер, уже знакомой читателю. «Принять решение о выезде в ФРГ меня заставили страх за будущее моих троих детей, боязнь разгула бандитизма, голода, возможных политических репрессий», – пишет она из Дортмунда (Северный Рейн-Вестфалия).

Среди многочисленных писем, в которых раскрываются причины выезда немцев из СНГ в Германию, мне не встретилось ни одного, где содержался бы хоть намёк на раздающиеся до сих пор в адрес Общества «Видергебурт» инсинуации, что именно оно, якобы, спровоцировало этот процесс. В самом деле, разве не очевидно, что исход немецкого населения из СССР давно и настойчиво готовило своей антинемецкой политикой само советское государство?

Нет, не под влиянием агитации или посулов, не в силу прихоти, а вынужденно возвращаются российские немцы на историческую родину, нередко не ведая, что их там ждёт. Увиденное, как правило, превосходит ожидания – причём, как ни парадоксально, и позитивные, и негативные.

«Недели через две, — пишет в этой связи А. Мунтаниол, — у переселенцев заканчивается 'туристический сезон' и начинаются весьма неприятные будни, связанные в первую очередь с контактами с громоздкой бюрократической машиной.»

О германской бюрократии можно писать и хвалебные оды, и обличительные статьи. С одной стороны, она помогает поддерживать порядок в государстве, с другой — Германия буквально утопает в море формализма.

«Мой случайный знакомый из немцев Поволжья, прибывший по направлению в Берлин, — пишет А. Мунтаниол, — поделился тем, какой приём был оказан ему в социальной службе района Шпандау.

Чиновник сказал с сарказмом: 'Sie sind gekommen, aus unserem Topf zu essen?' ('Вы приехали есть из нашего горшка?')

Ответ последовал незамедлительно: 'Ja, was soll ich machen, ihr habt doch unseren Topf zerschlagen.' ('Да, что делать, вы ведь разбили наш горшок.')

Об аналогичном случае, имевшем место в социальной службе Дортмунда, рассказала Людмила Динер. Вместе с женщиной, не владеющей немецким языком, она пошла на приём к руководителю службы с просьбой о предоставлении пособия в этом городе, куда та вынуждена была переехать по семейным обстоятельствам. «У нас полно своих нищих!» — ответил чиновник. Привыкший к безмолвному согласию, он, видимо, не рассчитывал на ответную реакцию. Но Людмила нашла и сказала: «Как бы Вам самому не оказаться таким же!..»

А вот что пишет о германской действительности Рейнгольд Дайнес: «Я думал, что в Германии царит справедливость и нас, российских немцев, здесь принимают хорошо. Но кое в чём ошибся. Как непрошеным гостям, нам приходится сидеть на краешке стула...»

«Хочу оговориться, что предметом данной главы является не критический анализ германской действительности, а описание её такой, как она открылась свежему взору авторов присланных мне писем и моему собственному. Я далёк от мысли, что пользуясь гостеприимством какой-либо страны, уместно её придирчиво оценивать, а тем более огульно охаивать, как, к сожалению, поступают некоторые наши не в меру эмоциональные аусидлеры. Поступают лишь потому, что их представления и ожидания не совпали с реальностью.»

Сегодняшняя Германия — это продукт развития цивилизации, далеко ушедшей вперёд по сравнению со странами бывшего СССР. Противоречивой и непривычной предстаёт эта страна перед переселенцами из казахстанской и сибирской глубинки. Тем не менее,

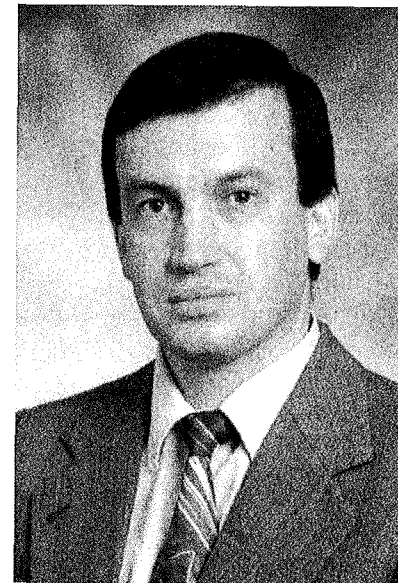
её реалии надо принимать такими, как они есть, коль скоро мы по собственной воле и не без труда вернулись на родину предков. Странно было бы другое — желать, чтобы не мы приспосабливались к современной германской жизни, а, наоборот, Германия — к нашим привычкам, вкусам и взглядам.

Это вовсе не означает, что у аусидлера не может быть личного мнения о тех или иных сторонах германской действительности. Особенно в том случае, если они затрагивают его жизненные интересы и при этом идут вразрез с германскими законами.

В поисках «золотой середины» в рассуждениях моих корреспондентов я остановился на словах Ойгена Лоренца, сына упомянутой «трудоармейки» Эльзы Лоренц: «Здесь, в Германии, нет ни той сказки, за которой приехали одни, ни того 'капиталистического ада', о котором толковала советская пропаганда. А есть нормальная жизнь реалистично мыслящих людей.»

Что же касается главного — отношения к аусидлерам со стороны местных граждан, — то типично, на мой взгляд, сдержанное, внешне корректное проявление чувств. Впрочем, так относятся здесь и ко всем другим группам пришлого населения — африканцам, азиатам, туркам и т.д. Несдержанность, а тем более грубость в обращении между людьми вообще не свойственны германскому обществу. С нетерпимостью здесь можно столкнуться, пожалуй, только в молодёжной среде. В этой связи я приведу оценку ситуации, которая принадлежит А. Мунтаниолу.

По его мнению, «немцы очень деликатный и внешне доброжелательный народ. К нам, переселенцам, большинство относится хорошо. Скоро будет два года, как я нахожусь в Германии, но могу назвать лишь один случай иного отношения лично ко мне. За это время я соприкоснулся с сотнями внимательных, корректных людей, которые были готовы советом и делом прийти на помощь. Что, однако, в действительности таится в это время в немецкой душе, — сие мне неизвестно.»



Ойген Лоренц

О многочисленных фактах заинтересованного участия местных жителей в организации выставок своих работ рассказал художник Андреас Предигер. О доброте и участии, которые проявили гессенские односельчане во время жизненных невзгод, выпавших на долю его семьи, говорится в стихах Рейнгольда Дайнеса. По сообщению Виктора Эрлиха, жителя Фульды и моего бывшего коллеги по работе в московском штабе Общества «Видергебурт», среди местных немцев у него не меньше товарищей и знакомых, чем из рядов переселенцев.

«В Германии я встретил столько музыки, родных песен, мелодий!.. Это – как чистый воздух, как счастливый сон, которые вносятся в душу ничем не заменимую струю радости и вдохновения. Тут я впервые в жизни написал стихотворение на немецком языке – о маленьком, уютном, как в сказке, городке: 'Dinklade, du bist meine Stadt' ('Динкладе, ты – мой город'). Оно сразу появилось в солидной местной газете 'Oldenburgische Volkszeitung'. Тут же к нам прикатил сотрудник этого издания, выдал очерк обо мне со снимком под шапкой: 'Журналист из Казахстана пишет роман о российских немцах.' Меня пригласили на встречу с представителями духовенства, где с интересом выслушали двухчасовой рассказ о содержании будущей книги», – пишет Вилли Мунтаниол.

Эта тема настолько важна для нашего повествования, что я приведу ещё одну цитату – из письма Эльзы Лоренц. «Чем дольше я нахожусь в Германии, тем больше подруг у меня среди местных немцев, – сообщает она и приводит плотное расписание своих общественных дел. – Они доброжелательны, приветливы, всегда готовы помочь. Я чувствую себя свободным человеком в свободной демократической стране. Здесь не надо бояться, если ты ни в чём не виноват.»

Авторов всех этих высказываний объединяет «трудармейский» возраст (не считая В. Мунтаниола и В. Эрлиха), проживание среди коренных жителей Германии, стремление войти в их среду, а главное – знание родного языка. К этой группе я могу отнести и себя, хотя по-немецки говорю со страшным акцентом.

В Фульде я сознательно выбрал дом, где живут только местные немцы, чтобы надо мной постоянно висела необходимость поскорее сжиться с ними. И не ошибся: со всеми пятью соседями у нас установились добрые отношения, основанные на сдержанных местных традициях. За год мы многому научились у них.

Всё это я к тому, что, проявляя такт и имея желание приобщиться к образу жизни, традициям, обычаям и нравам сегодняшней Германии, вполне можно преодолеть стену, которая выросла не без нашего

участия между аусзидлерами и германским обществом. Главное условие при этом – знание родного языка, незаменимого средства общения и взаимопонимания между людьми.

Увы, не один лишь бюрократизм произвёл на моих корреспондентов удручающее впечатление при встрече с Германией. «Я не думал, – пишет О.-З. Дик, – что большинство жителей Германии ничего не знает о трагедии российских немцев, а некоторые только недавно впервые открыли для себя, что в СНГ проживают выходцы из Германии. Здесь все слышали о еврейском холокосте времён Второй мировой войны, но понятия не имеют о геноциде против российских немцев в те же годы. Не верят нашим рассказам, требуют доказательств. А у нас их обычно нет. Средства массовой информации об этих проблемах умалчивают. Зато в газетах, на радио и телевидении нас, аусзидлеров, нередко причисляют к иностранцам.»

Этой злободневной темы коснулся в своём письме и мой давнишний корреспондент Иоганн Эйсер: «Находясь на территории бывшей ГДР, я встречал многих африканцев, вьетнамцев и других 'цветных', но не знал, что в старых землях Германии их ещё больше. Самое обидное, что местные немцы и нас причисляют к таким же иностранцам. Основные средства информации вообще молчат о переселенцах, будто их вовсе нет в Германии. А если и говорят, то вают всех в одну кучу, считая нас нахлебниками.»

Не преминул затронуть данную тему А. Предигер: «Здесь, в Германии, я оказался 'русским', хотя в России мне всегда напоминали, – да я и не отрицал этого – что я немец. Ещё обидней, когда политики вроде О. Лафонтена и ему подобных негативно высказываются о нас, переселенцах, и пытаются решать свои проблемы за наш счёт.»

Письма, в которых содержатся приведённые строки, присланы из разных земель Германии, но констатируют сходные явления и факты. Мне остаётся лишь признать, что в нашей округе и в местах проживания моих родственников можно найти им убедительные подтверждения. Однако я не стал бы придавать подобным явлениям столь большого значения, как это нередко делается. И тем более не проводил бы аналогию с преследовавшим нас в прежней жизни ругательным словом «немец», которое означало «фашист», «враг» и т.п. Важно, какой смысл вкладывается в тот или иной термин и с какой целью он употребляется.

Эту простую истину растолковал мне тот же сосед по дому и мой ровесник Г. Ильгардт. По его словам, в Германии издавна принято делить немцев по месту происхождения – шваб, франконец, гессенец, саксонец и т.п. Кроме того, имеются и разного рода клички. Так, кас-

сельцев традиционно зовут «шлаковозами» (возможно, потому, что на узловой станции Кассель когда-то было много паровозного шлага), жителей Фульды – «рюкзакносами» (из-за того, что они любят путешествовать по близлежащему Рёну), а жителей района Фульда-Ленерц, где проживает и автор этих строк, – «пухлоголовыми», хотя выглядят они вполне нормально.

Для немцев было бы тем более странно не отмечать людей, которые прибыли из-за границы. Поскольку в Германии отсутствует понятие «национальность», то иностранцев различают по стране происхождения, цвету кожи или языку. С точки зрения этих признаков все переселенцы из СНГ являются, без сомнения, «русскими». Ведь они происходят из России, как традиционно называется территория бывшего СССР, а большинство из них говорит в основном по-русски (нередко на всю улицу!).

По рассказам аусзидлеров-старожилов, иностранцы остаются такими навсегда, даже если давно интегрировались в германское общество. Показательный пример привёл Вернер Штирц: «Наш сосед по даче – немец, изгнанный из Силезии, которая отошла к Польше. Он вырос и всю сознательную жизнь провёл в Тюрингии, безукоризненно говорит и на литературном немецком, и на местном диалекте, женат на здешней немке. Тем не менее, для немцев из Альтенбурга он всё ещё 'der Pole'». А вот что сказал по этому поводу на встрече с представителями переселенцев в декабре 1997 г. кандидат от ХДС на выборах в Земельный ландтаг Нижней Саксонии Эрнст Август Хоппенброк: «Аналогичные проблемы имели в Германии многие. Раньше человеку, переселившемуся даже в пределах страны, но не говорившему на местном диалекте, было очень непросто прижиться на новом месте.»

Такова суть вопроса, связанного с прозвищем «русский». Спрашивается: та ли эта проблема, вокруг которой стоит ломать копыта аусзидлерам, тем более называющим себя «руссаками»? Совсем иное дело – социально-экономическая и политическая ситуация, которые сложились в последние два года вокруг переселенцев из СНГ.

«Под давлением 'пустых касс' и разного рода экстремистских деятелей в Германии ширится ползучая дискриминация аусзидлеров» (И. Гербер).

«Здесь прямо не говорят, что платить будут меньше или вообще не возьмут на работу, потому как ты 'русский немец', а делают всё явочным порядком. Знают: переселенец жаловаться не станет. Такое отношение вызывает обиду, сомнения в подлинной демократичности и справедливости германского общества» (В. Сайбель).

«Раньше на вопрос: 'Кому из аусзидлеров лучше всех живётся в Германии?' – неизменно отвечали: 'Пенсионерам, детям и собакам'. Теперь пенсионеров из этого списка надо исключить. Начиная с лета 1996 года, пенсия для переселенцев урезана настолько, что они вынуждены обращаться за социальной помощью. В этой связи широкую огласку приобрели приведённые в 'Шпигеле' (№ 1, 1996 г.) издательские слова министра труда в правительстве Коля Норберта Блюма, заявившего в Бундестаге: оно-де не может платить пенсию каждому переселенцу из Казахстана только потому, что у того была немецкая овчарка» (Фридрих Штром).

По прибытии в Германию сегодняшних аусзидлеров в их души под влиянием слухов и официальной информации всё чаще закрадывается страх: не было ли свидание с родными во время отъезда последним? Не останутся ли дети одних и родители, братья, сёстры других «за границей» навсегда? Эта проблема тревожит и самих переселенцев, и тех российских немцев, которые ещё не выехали в ФРГ. Напла она отражение и в письмах моих корреспондентов. Слово Андреасу Предигеру:

«Германия уже не в состоянии принимать такую массу российских немцев, как раньше, и советуют им оставаться в странах СНГ и обустриваться там с помощью Германии. Сокращение языковых курсов для аусзидлеров до 6-ти месяцев и возможностей получения ими новых рабочих профессий, введение языкового теста для выезжающих и другие подобные меры заставляют опасаться, что пресловутые ворота для российских немцев превратятся в узкую калитку, которая, возможно, вскоре совсем захлопнется. В итоге вместо воссоединения семей, на котором ещё не так давно настаивала ФРГ, получится ещё большее их разъединение. Прекращение приёма переселенцев из СНГ в Германии было бы ещё одной страшной трагедией для российских немцев.»

Этот неожиданный для многих поворот в узаконенной парламентом и гарантированной правительством Г. Коля политике комментирует Иоганн Гербер: «Инициатива исхода из СССР принадлежала не российским немцам, а западногерманским властям, которые целенаправленной 40-летней пропагандой возбудили в них стремление к выезду в качестве пути решения национальных проблем. Мы, немцы в СССР, были слишком подавлены, чтобы самим прийти к этой идее. Ещё в 1989 г. российским немцам в посольстве ФРГ в Москве говорили, что о 'закрытии ворот' не может быть и речи. Напротив, имеется-де в виду вернуть на историческую Родину 6-7 млн. немцев со всего мира. И вот теперь, когда 'железный занавес' наконец-то рухнул, а российские

немцы, приняв призыв с родины своих предков за чистую монету, откликнулись на него, когда многие семьи уже оказались разорванными, германское правительство внезапно даёт задний ход.»

По обыкновению категорично высказался по этому злободневному вопросу Александр Мунтаниол: «На мой взгляд, нынешние политики Германии, вставшие на путь сокращения приёма переселенцев, нарушают права человека. Сказав 'а', они должны сказать и 'б'. Наши семьи теперь ещё более разорваны, чем это было до массового выезда, начавшегося после развала СССР. Если Германия захлопнет 'ворота' и прекратит приём, то это будет величайшей трагедией для нашего народа. В ряде стран СНГ, особенно в Казахстане и Средней Азии, продолжается выдавливание 'некоренного' населения, в т.ч. и немцев. Они срываются с насиженных мест и едут в Россию, которую считают перевалочным пунктом для переселения в Германию. Но в России для немцев будущего тоже нет. В итоге им будет суждено полностью ассимилироваться и исчезнуть как народу.»

Российские немцы, возвращающиеся на родину предков, хотят чувствовать себя немцами в немецком обществе, добросовестно трудиться, чтобы обеспечить достойную жизнь своим семьям, дать возможность детям учиться в немецких школах и других учебных заведениях. Для этого им необходимо как можно быстрее приспособиться к непривычной социальной системе, современным обычаям и нравам германского общества, к ушедшему далеко вперёд по сравнению со странами СНГ уровню производства.

Вместе с тем они стремятся сохранить свою самобытность, традиции, которые пронесли через века, а также переняли у окружающих народов, — готовность прийти на помощь, заботу о родителях и детях, общительность, доступность, простоту, трудолюбие, старательность.

Здесь мы подходим к узловому вопросу заключительной части нашего повествования — в какой мере аусзидлерам из СНГ удаётся сочетать своё, российско-немецкое, с новым, германским, без чего невозможно решить проблему вживания в незнакомую среду.

В естественное течение этого процесса всё больше вторгается слабое владение немецким языком, о чём следует сказать особо. Данная проблема не имеет отношения лишь к тем переселенцам, которые успели освоить его ещё в довоенную пору. К сожалению, для последующих поколений, к которым принадлежит подавляющее большинство современных аусзидлеров, язык является настоящим камнем преткновения. О муках своего племянника, не знающего языка, пишет В. Сайбель. На вопрос дяди: «Как ты себя чувствуешь

в Германии?» — тот ответил упавшим голосом: «Как в чужой стране — боишься рот раскрыть.» А на «шпирхах» (так переселенцы называют языковые курсы) обстановка как в заведении для глухонемых: «Мы не понимаем преподавателя, а он — нас. Так вот и мучаемся...»

Ни для кого не секрет, что практикуемые сейчас в Германии 6-месячные курсы языка почти ничего не добавляют к тем мизерным знаниям, с которыми прибывают переселенцы, даже «тестированные». Языковый и национально-культурный кризис проявляется в среде аусзидлеров особенно остро — ведь среди них, как отмечалось, преобладают достаточно молодые люди.

Как следствие, значительная часть переселенцев становится инертной массой, для которой устройство на квалифицированную работу или установление связей с местными немцами практически нереальны. И только наиболее активные и образованные молодые выходцы из стран СНГ включаются в поиск дополнительных возможностей освоения языка, приобщения к немецкой культуре. Преодолевая комплексы, они окунаются в гущу местной жизни и в конце концов перестают чувствовать себя чужими в германском обществе.

К сожалению, многие аусзидлеры последней «волны» идут по пути наименьшего сопротивления: стараются поселиться в местах скопления переселенцев, где можно общаться на русском языке и в той или иной мере продолжать привычный образ жизни со всеми его позитивными и негативными сторонами. Местные немцы в таких районах и домах селятся неохотно или постепенно покидают их. В результате образуются своеобразные «русские» гетто, в которых аусзидлеры фактически изолируют себя от местного населения и германского общества со всеми вытекающими отсюда пагубными последствиями.

Даже отсутствие работы не всегда становится побудительным мотивом к овладению языком и выходу из искусственной изоляции. Во-первых, в условиях существующей высокой безработицы нелегко найти работу даже при знании языка. Во-вторых, получаемого социального пособия и «детских» денег с грехом пополам хватает на удовлетворение минимальных потребностей переселенческих семей, и многие этим довольствуются.

О сложностях, путях и перспективах интеграции аусзидлеров разных поколений и «волн» рассуждают в своих письмах и мои корреспонденты. Так, А. Мунтаниол пишет: «Процесс интеграции российских немцев нелёгок. Но другого пути, кроме переселения в Германию, у нас нет. Я верю в закономерность исторических процессов. Видимо, нашему народу и поколению суждено проделать не менее трудный путь на

родину предков, чем тот, который те прошли, направляясь в Россию.» По мнению Я. Лихтенвальда, вживание в германское общество во многом зависит от самого человека, а начинается оно с овладения немецким языком и устройства на работу. К этим задачам И. Эйснер добавляет ещё одну – стремление найти контакты и наладить хорошие отношения с местными немцами на работе и по месту проживания. «Как в лес крикнешь, так оттуда и аукнется», – приводит он в этой связи известную немецкую пословицу.

По мнению Р. Вайлerta, адаптация аусзидлеров к германскому обществу – задача трудная, но решаемая. Доказательство тому – опыт переселенцев 70-х и 80-х годов. А о том, что этот процесс непрост, пишет он, свидетельствуют уже взаимоотношения между «осси» и «весси» (восточными и западными немцами) в самой Германии. 40 лет «казарменного социализма» отгородили восточных жителей от остальной части страны не только бетонной, но и психологической стеной. Что уж говорить о российских немцах, которых отделяют от современной Германии 150-200 лет жизни в совершенно иных условиях! «Я и моя семья адаптировались в Берлине. Дети в достаточной мере овладели немецким языком. У нас много знакомых среди местных немцев. Мы принимаем реальность такой, как она есть», – заключает он.

«Hier in Deutschland ist alles anders» («Здесь в Германии всё по-иному»), – назидательно говорят российским немцам местные чиновники и работодатели, стремясь опустить их с «небес» на «землю». На обычном языке это нередко означает: надо довольствоваться любой работой за какую угодно плату, да ещё и радоваться, что от неё отказываются коренные жители. При этом необходимо учесть, что многим переселенцам приходится в Германии менять профессию, а сложной современной техникой они, конечно, в достаточной степени не владеют.

«Не нужно на первых порах отказываться и от непривлекательной работы. Она тоже может помочь в освоении немецкого языка. Главное – терпение, и всё постепенно образуется», – советует Андреас Предигер. Его девизу следуют дети и внуки. Отбросив первоначальные установки, ожидания, планы и надежды, они начали всё с нуля. Старшая дочь, бывший педагог в школе-интернате, устроилась после окончания соответствующих курсов сестрой по уходу за престарелыми. Другая дочь, детский врач, стажирруется без оплаты в больницах и клиниках уже в третий раз, настойчиво добиваясь признания своего вузовского врачебного диплома. Внук кормит солдат в казарме, а внучка работает уборщицей в гостинице и одновременно учится.

Но немало среди наших переселенцев и таких, которые не могут или не хотят переломить себя, «опуститься» до понимания реалий, в которых они очутились. «В СССР, – пишет Иоганн Эйснер, – нас приучили получать минимум необходимых благ 'сверху'. Здесь каждый должен заботиться о себе сам.» Эту же мысль развивают мать и сын Лоренцы. «Возможностей для адаптации у переселенцев много, надо их только разумно использовать», – пишет Эльза. «Предоставляемые в Германии возможности, – продолжает Ойген, – имеют одно непереносимое общее свойство: их нужно искать. Здесь вам не скажут: 'Не будете ли Вы столь любезны...' Человек должен сам проявлять инициативу.»

Проблем, о которых идёт речь, не имелось в нынешнем виде ещё 4-5 лет назад. Безработица тогда была относительно невысокой, каждый переселенец имел возможность выбрать оптимальный вариант из предлагавшегося ему минимума. Имея работу, он становился независимым от социальной службы, а вместе с тем и неуязвимым для упреков местного населения, что приехал-де «хлебать русским лаптем немецкие щи». Правда, заметно иным был и качественный состав аусзидлеров. Проблема языка не стояла столь остро, преобладали идейные мотивы выезда, что сближало переселенцев с местным населением. К тому же их было заметно меньше и селились они рассеянно среди коренных жителей.

Каковы же перспективы интеграции, т.е. «растворения» выходцев из СНГ в германское общество? По этому вопросу мои корреспонденты высказывают различные суждения. По мнению А. Предигера, «грань между российскими и коренными немцами сотрётся только через 1-2 поколения. Это произойдёт тогда, когда вырастут родившиеся здесь дети, прошедшие через немецкие детсады, школы, средние и высшие учебные заведения, говорящие в своих семьях на современном немецком языке. Для них родиной будет Германия, а память о России станет преданием, историей.»

Несколько иного мнения придерживается Вернер Штирц, который считает, что даже нынешнее младшее поколение переселенцев в состоянии интегрироваться в германское общество. Как показывает опыт, отмечает он, уже дети младшего школьного возраста, приехавшие вместе с родителями, очень быстро усваивают язык и манеры поведения местных малышей. Его мысли развивает Виктор Кюн из Нейдорфа. Он пишет, что с трудом достал букварь, чтобы его дети-школьники не учились читать по-русски. Процесс языковой и духовной интеграции идёт, по его мнению, быстрее, чем ожидалось, и родители теперь озабочены тем, чтобы он не был слишком односторонним.

О. Лоренц уточняет само понятие интеграции. «Переезд в передовую страну мира должен приводить к интенсивному изменению менталитета людей. Это и есть интеграция в языковую, профессиональную, культурную и поведенческую среду. Интеграция требует большой душевной работы. Пока аусзидлеры будут лениться её выполнять, у них останутся проблемы», — пишет он, считая, что охарактеризованный им процесс начинается уже с момента прибытия в Германию.



Вилли Мунтаниол

Отличную от приведённых точку зрения высказывает Вилли Мунтаниол: «Я хотя и 'чистый' немец, но никогда не смогу раствориться в массе коренных жителей Германии, даже если 'подчищу' свой язык. Считаю, что в этом нет никакого греха. Таким, как я, тоже предоставлена возможность впитывать всё духовное богатство германского общества, оставляя при этом собственный след, характерный для наших соотечественников.»

Большинство авторов, в т.ч. О.-З. Дик, Э. Бухнер, Р. Дайнес, И. Эйснер, высказали по этому поводу сходные с В. Штирцем соображения. Они склоняются к мысли, что адаптация и интеграция протекают у трёх поколений нынешних переселенцев по-разному. Если у старшего (довоенного) и среднего (послевоенного) поколений эти процессы носят характер приспособления, адаптации, то в дошкольном и раннем школьном возрасте они являются интеграционными. Их мнение подтверждается опытом переселенцев первой «волны», которые иногда дают о себе знать. С теперешними аусзидлерами они, как правило, иметь дела не хотят.

Непростые процессы адаптации и интеграции российских немцев в германское общество ставят целый ряд проблем, требующих серьёзного осмысления. Мы коснёмся ещё одного из подобных вопросов. Он связан с неоднократными высказываниями политиков стран СНГ, а также отдельных деятелей нашего национального движения, которые пытаются поставить в один ряд процессы денационализации (русификации) немцев на территории бывшего СССР и интеграции переселенцев в германскую социальную среду. Дескать

(«к великому сожалению!»), в обоих случаях «исчезает самобытность российских немцев». Рассуждая таким образом, эти люди преднамеренно акцентируют внимание на внешней стороне дела, стараясь обойти его суть. А она состоит в том, что денационализация российских немцев базировалась и базируется на сталинской антинемецкой политике и её последствиях, являясь не чем иным, как этноцидом — насильственным уничтожением этнической общности. В то же время интеграция немецких аусзидлеров в Германии — это добровольное воссоединение части народа со своим целым, осуществляемое на родственной немецкой основе.

Другой вопрос — насколько могут сохраниться при этом традиционные и обретенные за многовековой период проживания в России духовные ценности, в какой мере относится вышесказанное к немеческим супругам и детям из смешанных семей.

Среди писем моих корреспондентов нет ни одного, где не подчеркивалась бы важность сохранения переселенцами лучших российских традиций и русского языка. Язык первым исчезает в ходе школьного обучения детей аусзидлеров, и это является предметом серьёзного беспокойства их родителей. Данному процессу противостоят устойчивое общение на русском языке в семье, а отчасти и вне её, увлечение русскими аудио- и видеозаписями, настроенные на Москву телевизионные антенны. Всё это, однако, служит и серьёзной помехой в овладении немецким языком — важнейшим средством адаптации в германском обществе.

Острота данной проблематики в полной мере открылась мне в случайной беседе в вагонном купе по пути из Франкфурта-на-Майне в Москву. Изголодавшись по общению на русском языке, мужчина лет сорока без умолку рассказывал о своей жизни в Германии. Пять лет назад они с женой-немкой и двумя дочерьми выехали туда на постоянное жительство. Поначалу всё шло как будто неплохо: были закончены языковые курсы, получена и обставлена квартира, выдаваемое пособие позволяло удовлетворить самые необходимые потребности. Но, увы, Александру П. никак не давался немецкий язык, и это повлекло за собой целую череду неудач. Его, опытного токаря, нигде не брали на работу, не увенчалась успехом попытка переквалифицироваться в столяра, трижды он безрезультатно сдавал экзамен на вождение автомобиля.

В то же время его девочки, переходя из класса в класс, всё уверенней лепетали на немецком. Сначала этому радовались, но вскоре он обратил внимание, что русский язык стал исчезать из семейного общения. Дальше — больше. Жена с девочками всё чаще гово-

рила по-немецки, а с мужем молчала «по-русски». Александр оказался в языковой западне. Со временем взрослеющие дочери начали смотреть на него как на инопланетянина.

Терпению приходил конец, нервы были на пределе, категорические требования вернуть в дом русский язык не приносили ничего, кроме скандалов с женой и косых взглядов дочерей. Тогда он принялся уговаривать их вернуться домой, в Москву, благо там оставалась квартира. Тщетно: их домом уже стала Германия. Он уехал один, но тоска по жене и девочкам вернула его назад в Гиссен (Земля Гессен). Не выдержав пренебрежения русским языком, уезжал снова. И опять возвращался.

Теперь он отправлялся в Россию в третий раз. По его словам — навсегда. Когда он рассказывал о жене и девочках, его глаза увлажнились. Дочери уже в шестом классе, дружат с местными девочками. Перенимают у них и хорошие, и дурные манеры. Одеваются и стригутся по здешней моде. Куда-то ушли простота и открытость, нет прежней сердечности даже в отношениях с матерью.

Неужели они вырастут равнодушными к семье и родителям? Для того ли он ехал в Германию, уверенный, что переселится ради будущего своих детей? Ведь в действительности он их потерял...

Говоря о коллизиях в подобных семьях, Александр привёл и другой пример. Всё так же: отец, мать, две дочери-школьницы. Вот только глава семьи — немец. Его жена освоила немецкий язык, учится у дочерей правильному произношению. А Александру и позаниматься было не с кем. Как видно, между смешанными семьями есть разница — в зависимости от национальности мужа и жены. Но это уже другая тема.

...Расставаясь на Белорусском вокзале, Александр спросил меня с надеждой в голосе: «А может быть, мне всё-таки удастся уговорить жену вернуться?» Что я мог сказать этому бедолаге, не считая обычных утешительных фраз? Вспомнились слова моего корреспондента Иоганна Гербера о переселенцах: «Ничего нельзя обобщать. В одних и тех же условиях одному может быть лучше, другому — хуже. Кому-то везёт больше, кому-то — меньше. Таков тот мир, в который попадают аусзидлеры.»

И всё же, всё же... По мнению части моих корреспондентов, в трудностях адаптации, в т.ч. в усложнившихся отношениях с местными немцами и ухудшении общественного мнения, повинны и сами переселенцы. В основном это достаточно порядочные, прилежные люди. Но, как замечает И. Лотц, в семье — не без уroda.

По мнению Эльвиры Бухнер и Леопольда Кинцеля, наших переселенцев отличает более низкий образовательный уровень по сравнению с местными немцами. Так, в городе Стендаль (Саксония-Ангальт), где проживает Л. Кинцель, из 1.700 аусзидлеров только пятеро(!) имеют высшее образование. Большинство семей приехало из села, знания немецкого языка у младших поколений таких людей — почти на нуле. По этой причине, а также из-за высокой безработицы переселенцы заняты, как правило, неквалифицированным и низко оплачиваемым трудом. На те же проблемы указывает и Отто-Зигфрид Дик, сравнивая, например, «контингентных» евреев, прибывших из СНГ (50% окончивших центральные вузы), и немцев, сумевших, в лучшем случае, пробиться в вуз на периферии (5%).

Как отмечает А. Предигер, хотя ложка дёгтя может испортить и бочку мёда, нельзя по отдельным переселенцам судить о российско-немецком народе в целом. В то же время Людмила Динер обращает внимание на бытующий в Германии социально-психологический феномен, когда поведение (образ) одного человека легко переносится на всю социальную или этническую группу, к которой он принадлежит. Поэтому для аусзидлеров так важна проблема имиджа каждого из них.

Не будет преувеличением сказать, что трудности жизни переселенцев, как в фокусе, сконцентрированы в судьбах молодёжи от 14 лет до 21 года. Почти все они из смешанных семей, не знают немецкого языка и потому замыкаются в обществе сверстников из своего круга. Не завершено образование, нет профессии, не найти работу. Из прежней жизни их вырвали родители, считая, что заботятся о будущем детей.

Отсутствие словесных аргументов в защите своих прав и достоинства восполняется физической силой и групповой сплочённостью. Привычные явления в этой среде — громкая поп-музыка, ругань, выпивки. Стремление самоутвердиться приводит к дракам, нередко массовым, с молодыми турками, боснийцами, курдами, даже грузинами и армянами, проживающими в Германии в качестве беженцев и гастарбайтеров.

Конечно, со временем юноши-переселенцы перешагнут через «конфликтный» возраст, получат рабочие профессии, возможно, устроятся на работу. Кое-кто пробьётся в средние и высшие учебные заведения, выйдет в люди. Они растеряют молодой необузданный нрав, выучат-таки немецкий, но ещё надолго останутся «руссаками». Легче будет их детям, которые пройдут в германском обществе естественный путь развития.

...Всё минует. Но навсегда останутся в памяти воспоминания о родном крае, раскрашенном в радостные цвета юности, которой лишила

таких людей стихия переселения. Обо всём этом написал поэтические строки Андрей Вебер. Он живёт в Вильгельмсхафене (Нижняя Саксония), а стих его называется «Ностальгия»:

(Я хочу полететь с облаками / В край далёкий, любимый, родной, / Край, который мы родиной звали, / О котором грущу я с тоской. / Где мы раньше родились и жили, / Где мы детство своё провели, / Где когда-то мы немцами были, / Ну а здесь руссаками звались. / И теперь мы живём и не знаем, / Что нас тянет в родные края. / Чем Германия нам не родная? / Чем Россия роднее была?)

Эти проникнутые грустью стихи напечатала германская русскоязычная газета «Земляки» в ноябре 1997 г. Они отражают чувства целого поколения аусзидлеров, которых оторвали от школьных товарищей, друзей, любимой девушки. Юношеская ностальгия. Недопетая песня, не досказанная до конца сказка...

Было бы, однако, неверно считать, что память о родной земле и мысли о «доме», которые лучше назвать состоянием души, минуют другие поколения переселенцев. Этой сердечной любви тоже «все возрасты покорны». Свидетельство тому – моя почта с противоречивыми и, как всегда, меткими суждениями.

Своими мыслями по этому поводу делится Вильгельм Мартенс из Люнебурга (Нижняя Саксония): «Трудно всем трём поколениям переселенцев. На их долю выпала великая миссия возвращения на родину предков. Только пройдя этот путь, можно понять, с какими чувствами расставались наши предки-колонисты со своей отчизной, с родными и близкими. И уж совсем невозможно представить, что ощущали они в голой заволжской или украинской степи, в страшном удалении от Германии. Нам легче: мы приехали на всё готовое. Жаль только – не к чему приложить трудовые руки. Может, именно поэтому так сильно щемит моё сердце?»

Вальдемар Сайбель пишет, что аусзидлерам сопутствуют два противоречивых чувства – радость и грусть: «Внешне красивая Германия сурова по своей сути. Её действительность, бывает, возносит переселенца до небес, но чаще опускает на землю, усаживает на краешек стула: знай, мол, сверчок, свой шесток. Если даже решена проблема работы, – как, например, у аусзидлеров прежних лет – то к их оптимистичному настрою всё равно подмешивается непонятно откуда берущаяся грусть. Её начало, как родник, идёт из России, из родной стороны...»



Вальдемар Сайбель

Я поставил перед своими корреспондентами вопросы: Чувствуют ли они себя в Германии дома? Что думают о высоком слове «Родина»?

Вот что ответил мне Роберт Вайлерт: «Если сравнить наши ощущения в Германии и России, а тем более в СССР, то можно сказать, что я и моя семья чувствуем себя здесь дома.»

О родине он столь однозначно судить не берётся. Но не согласен с тем, что она непременно там, где человек родился, поскольку «Родина» – понятие более ёмкое. Под ней он понимает государство, страну, где царит справедливость, есть крыша над головой и средства к существованию. Германия для Р. Вайлерта – это прежде всего родина предков. Он с семьёй приехал сюда, чтобы найти родину для себя и своих потомков.

Оптимистичный и предельно краткий ответ на вопрос нашёл Ойген Лоренц. «Да, я чувствую себя в Германии дома», – написал он, но обошёл проблему Родины.

Мысли, высказанные Р. Вайлертом, развил Рейнгольд Дайнес: «Мы, переселенцы, родились в СССР, там прожили основную часть жизни. Но может ли быть родиной с большой буквы страна, в которой нас из-за национальности оклеветали, унизили наше человеческое достоинство, подвергли геноциду? Конечно, человек привыкает к месту жительства, с любовью вспоминает своё детство. В этом смысле моей родиной было Поволжье. Я целовал землю на берегу Волги, когда нам разрешили вернуться в родные края. Но после того, как там развернулась нецензурная кампания, я понял, что единственным местом, которое можно назвать нашей исторической родиной, является Германия.»

Непростой, как оказалось, вопрос поставил я перед своими соавторами. Не могут они дать на него такого однозначного ответа, как, скажем, русский в России или коренной немец в Германии. Не задумываясь, однозначно высказался бы на сей счёт и российский немец до 1941 года. Сложность нынешней ситуации ещё и в том, что нравственно-этическая категория родины долгие годы относилась у нас к Советскому Союзу и носила ярко выраженный идеологический смысл. Поэтому мы предъявляем к данному понятию особенно высокий счёт.

С этой точки зрения, пишет Вернер Штирц, Россия никогда не являлась для немцев настоящей Родиной. Не только матерью, но даже мачехой. А была тюрьмой, как и для других народов, особенно с начала XX века. Но и Германия для нашего поколения переселенцев не станет родиной. Она – родина предков, и мы должны быть благодарны ей за то, что нашли здесь приют. Выходит, мы – люди без родины.

Трудно не прислушаться к словам наблюдательного Якова Лихтенвальда. Он и его знакомые не чувствуют себя в Германии ни дома, ни на родине. Для него она – чужая страна, хотя в материальном отношении его семья живёт неплохо: «Кругом красота, но всё – не твоё. Корову увидишь – сердце сжимается, свой дом вспомнишь – слёзы сами льются... Может быть, наши внуки и будут здесь дома, на родине. Но мы как были, так и остались кочевниками...»

А вот что пишет по этому непростому вопросу наш постоянный автор Иоганн Эйсер: «Прародина меня до последних лет не особо привлекала. Всегда тянуло на истинную родину – на Волгу. Перед отъездом я с 12-летним внуком поехал с ней попрощаться. Лучше бы я этого не делал! В родном селе Ней-Варенбург (ныне село Новопривольное Ровенского района Саратовской области – Г.В.) из трёх улиц осталась одна. С трудом нашёл место, где стоял наш дом. Вместо кладбища, где лежат два моих деда, бабушка, трое маленьких братишек, – ровное пространство. Хоть снова плачь! Набрал я земли в мешочек – это было всё, что осталось от нашей родины.

Так где же моя родина – в Поволжье, которое отобрали и разорили? В Красноярском крае, куда нас сослали в 41-м? В Кировской области, где гноили за колочей проволокой? Или на Северном Кавказе, откуда пришлось уехать в Германию?»

По мнению Андреаса Предигера, у переселенцев теперь две родины. Одна – это бывший Советский Союз, где они родились, прошло их детство и находятся могилы близких. Но СССР оказался злой родиной-мачехой. «Мы приехали на вторую родину с чемоданами общим весом в 30 килограммов, – говорится в письме. – Это всё, что у нас осталось от более чем 230-летнего проживания наших предков в России, СССР, СНГ. Перед нами никто не подумал извиниться за причинённое зло или поблагодарить за созданное богатство, как это сделал Президент США в отношении военнопленных немцев, работавших в Америке, или интернированных там в военные годы японцев. Может быть, за оценку нашего вклада следует принять выступление Ельцина в Саратовской области в 1992 г., во многом спровоцировавшее массовый исход немцев из России?»

По обыкновению обстоятельно подошёл к этой проблеме Александр Мунтаниол: «У нас, российских немцев, не стало родины-матери с тех самых пор, как наши предки покинули Германию. В отроческие годы моей малой родиной было наше село. Такой родной и близкий мир мы мечтали иметь и в лице нашей необъятной родины – СССР. Нам не был чужд патриотизм. Мы были готовы защищать свою страну. Но из патриотов 'отец всех народов' превратил нас в предателей. Он загнал за колючую проволоку потомков тех, кто прибыл в Россию обрабатывать её землю. Чужими они стали родине, равнодушно взирает она, как уходят из неё миллионы не самых худших граждан. В поисках утерянной родины ринулись мы в Германию, страну своих предков. И снова жизнь поставила передо мной тот же вопрос: родина ли Германия для меня? В голове бурлит и клокочет: да! А сердце опять говорит: нет! Она – родина моих предков, но не моя. Выходит – нет у меня родины... Германия приняла меня как круглую сироту. Вот и живу как в сиротском доме. Одно утешает – возможно, Германия станет Родиной для моих внуков и правнуков. Дай-то Бог!»

Прочитал я этот многоголосый ответ на свои вопросы и в который раз вспомнил записанные на плёнку предсмертные слова любимицы Общества «Возрождение», долголетней сотрудницы нашей штаб-квартиры в Москве Альмы Эглит. Зная, что дни её сочтены, она подвела итог своей 46-летней жизни и двух лет пребывания в Германии. Теми же печальными словами, что и ряд моих корреспондентов, завершила Альма свою исповедь: «Не было и нет у меня родины...»

* * *

Не хотелось этим душераздирающим рефреном завершать своё странное повествование, которое вылилось в коллективный труд полутора сотен добросовестных и равнодушных людей. Но что поделать с «упрямыми» фактами, которых не замолчать и не спрятать, если хочешь остаться на почве реальности? Ни свидетели, мои фактические соавторы, ни я не повинны в том, что имели дело с глубоко трагичным по сути историческим материалом.

Наши предки доверились Екатерине Великой. Они не могли предвидеть, что после неё к власти в России придут другие самодержцы и сочинят новые законы, по которым мы, потомки колонистов, будем изгнаны с полных слезами и потом земель и рассеяны по безбрежным азиатским просторам. А сотни тысяч ни в чём не повинных людей – превращены в лагерную пыль.

Немцам, переселившимся в Россию в XVIII-XIX веках, и в голову не

могло прийти, что над народами их новой родины будет проводиться чудовищный эксперимент по созданию некоего вненационального народа, названного Сталиным «социалистической нацией». И что их потомкам, российским немцам, не найдётся места даже в рамках такой «нации», что им будет предписано кануть в Лету как народу.

Об этом рассказали очевидцы и жертвы невиданного злодейства. И получилась грустная книга, за что мы просим извинения у читателя. Перед ним – повествование о судьбе трёх поколений российских немцев, живших в злую пору прошлой войны и послевоенного измыательства, когда наш народ был лишён даже права на имя, не говоря уже об уважении национального достоинства и чести.

Созданная общими усилиями книга – это частица исторической памяти народа, которому выпало на долю нести тяжкий крест за чужую вину. В то же время она и скромный памятник сотням тысяч погубленных немецких мужчин, женщин и детей. Наконец, эта книга – знак благодарности бескорыстным людям, которые сочли своим долгом поделиться свидетельствами злодеяния сталинского режима. И за это им – низкий поклон!

Но у книги нет конца.

Продолжается эпопея народа, попавшего в безжалостный молох истории.

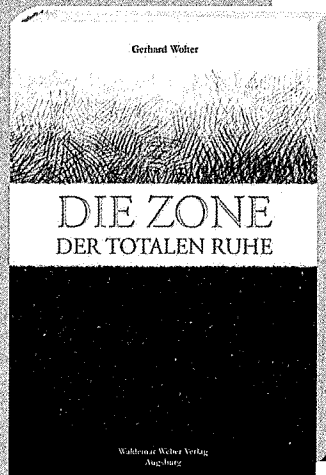
Авторы писем, рассказов, стихов, легших в основу книги

А.В.	– гл. 2	Герцен Абрам	– гл. 1, 3
Айрих Готлиб	– гл. 4,7	Герцен Теодор	– гл. 3,5,9
Байер Карл	– гл. 2	Герцен Эммануил	– гл. 1,4
Бартули Иоганнес	– гл. 6,11	Гехт Отто	– гл. 7
Барч Отто	– гл. 2	Глейм Густав	– гл. 3
Баст Каспар	– гл. 8	Гончарова Вера (Зеель Берта)	– гл. 3
Баст Степан	– гл. 1,4,8,9	Гоффман Эрвин	– гл. 5,8
Бах Андрей	– гл. 6	Грасмик Герхард	– гл. 8
Беккер Р.	– гл. 3	Грасмик Елена	– гл. 8
Бель Андрей	– гл. 4	Губер Мария	– гл. 2
Битнер Иван	– гл. 1	Гюнтергарт Ганс-Отто	– гл. 11
Блянк Ричард	– гл. 3	Дайнес Альма	– гл. 2,6
Браймаер Гильда	– гл. 5	Дайнес Рейнгольд	– гл. 3,4,8,11
Брандт Павел	– гл. 1	Дамм Гертруда	– гл. 5
Браун Георг	– гл. 2	Дизендорф Виктор	– гл. 2,3
Бухнер Эльвира	– гл. 11	Дик Отто-Зигфрид	– гл. 8,11
Иагнер Эрна	– гл. 6	Дик Петер	– гл. 5
Вайлерт Роберт	– гл. 2,5,8,11	Динер Людмила	– гл. 5,7,11
Ваккер Нелли	– эпиграф	Дитц Паулина	– гл. 7
Ваккер Яков	– гл. 1,7,9	Дон Адам	– гл. 2
Валлерт Эрна	– гл. 2,5	Дотц Эмилия	– гл. 7
Вальман Яков	– гл. 8	Дуров (Визенмюллер)	
Вебер Андрей	– гл. 11	Владимир	– гл. 3
Вельмс Егор	– гл. 7	Дэс Нелли	– гл. 2
Вельмс Яков	– гл. 4	Зайдель Эммануил	– гл. 3,8
Веннинг Берта	– гл. 2	Зандер Виктор	– гл. 6,8
Вильмс Валентина	– гл. 2	Зелингер Яков	– гл. 4
Вольтер Константин	– гл. 2	Каспар Елизавета	– гл. 2,5
Вольтер Фрида	– гл. 2,5,8,9	Келлер Яков	– гл. 1
Вольф Милита	– гл. 5	Кесслер Александр	– гл. 3,7,8
Вотчель Адам	– гл. 5	Кинцель Леопольд	– гл. 3,8,11
Гаус Александр	– гл. 3,7	Кириш Альма	– гл. 5
Геннинг Вера	– гл. 5	Киян Роза	– гл. 5
Гербер Иоганн	– гл. 2,3,11	Геринг Давид	– гл. 5,8
Герман Иоганнес	– гл. 5	Кох Яков	– гл. 2,3,4,8

Краус Петер	– гл. 8	Претцер Виктор	– гл. 4
Крейз Владимир	– гл. 6	Пфафф Геда	– гл. 2
Крекер Адам	– гл. 2	Раль Яков	– гл. 4,7,8
Кригер Лидия	– гл. 6	Раушенбах Борис	– гл. 8
Кунце Траугот	– гл. 4	Рейзвиг Андрей	– гл. 4
Кюн Виктор	– гл. 11	Ридель Виктор	– гл. 3,4,7
Леонгард-Рябова Ольга	– гл. 2,5,8	Рудер Елена	– гл. 5,8
Либерт Вильгельм	– гл. 3	Руш Франц	– гл. 7
Лиссель Иоганн	– гл. 3	Сайбель Вальдемар	– гл. 11
Лихтенвальд Яков	– гл. 2,3,8,11	Триппель Андрей	– гл. 5
Лоренц Ойген	– гл. 11	Факанкина Герта	– гл. 4
Лоренц Эльза	– гл. 5,11	Фельде Виктор	– гл. 9
Лореш Фридрих	– гл. 3,4,8	Фигер Павел	– гл. 1,4
Лотц Иоганнес	– гл. 7,9,11	Финько Василий	– гл. 2
Лох Левин	– гл. 6	Фихтнер Альма	– гл. 2
Лютц Генрих	– гл. 5	Фольц Амалия	– гл. 5
Майер Рудольф	– гл. 8	Фриз Петер	– гл. 2
Майер Самуил	– гл. 8	Фрицлер Вальдемар	– гл. 3,4
Майснер Александр	– гл. 5	Функлер Мария	– гл. 5
Майснер Альберт	– гл. 3,8	Функнер В.	– гл. 7
Манн Андрей	– гл. 4	Церр Матвей	– гл. 7
Мартенс Вильгельм	– гл. 11	Шамота Григорий	– гл. 2,8
Менгель Яков	– гл. 3,8	Шефер Артур	– гл. 2
Миллер	– гл. 9	Шиц Елизавета	– гл. 8
Мунтаниол Александр	– гл. 3,4,8,11	Шиц Иван	– гл. 3,8
Мунтаниол Вилли	– гл. 11	Шмаль Яков	– гл. 2,4
Нагедь Иван	– гл. 4	Шнайдер Екатерина	– гл. 7
Нейман Виктор	– гл. 9	Штабель Пауль	– гл. 4
П. Александр	– гл. 11	Штирц Вернер	– гл. 1,2,3,7,8,9,11
Пауль Егор	– гл. 4	Штром Фридрих	– гл. 8,11
Петерс Гарри	– гл. 8	Штумпф Егор	– гл. 4,7,8
Петерс Михаил	– гл. 5	Шульмейстер Бруно	– гл. 3,4,5,8,11
Полински Эрих	– гл. 5	Эглит Альма	– гл. 11
Поппе Рудольф	– гл. 7	Эдельман Мария	– гл. 5
Прегер Эмилия	– гл. 2	Эйзенберг Андрей	– гл. 4
Предигер Андреас	– гл. 8,11	Эйснер Иоганн	– гл. 2,3,4,8,11
		Эрлих Виктор	– гл. 11

СОДЕРЖАНИЕ

Глава 1. ПО МОБИЛИЗАЦИИ – В КОНЦЛАГЕРЬ	8
Глава 2. ПЕРВЫЙ КРУГ АДА – ДЕПОРТАЦИЯ	42
Глава 3. ОТВЕРЖЕННЫЕ	110
Глава 4. МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И СМЕРТЬЮ	172
Глава 5. ЦВЕТЫ ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ	222
Глава 6. ЕНИСЕЙ – РЕКА КАТОРЖНАЯ	290
Глава 7. ЕСЛИ БЫ НЕ ПЕРЕЛОМ... ..	326
Глава 8. ИЗГОИ	372
Глава 9. ИЗ ДВУХ ЗОЛ ВЫБИРАЮТ МЕНЬШЕЕ	444
Глава 10. ГЛУХОЙ ТУПИК	462
Глава 11. НА КРАЕШКЕ СТУЛА (ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ)	478



**Die Rußlanddeutschen in den
Kriegs- und Nachkriegsjahren.
Berichte von Augenzeugen.
Übersetzung aus dem Russischen**

„...das Schicksal der Rußlanddeutschen war lediglich Teil des großen Plans, mit dem Stalin die Sowjetunion zu ‚entnationalisieren‘ und den ‚Sowjetmenschen‘ als neuen Menschentypus zu schaffen versuchte, dessen Realisierung deutliche Kennzeichen eines planmäßigen Genozids erkennen ließen... Es geht hier um das Erinnern an ‚deutsche Opfer‘, die niemals ‚deutsche Täter‘ waren“.

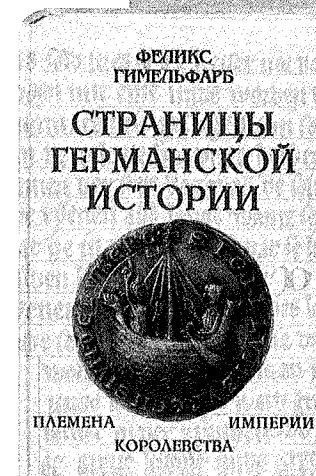
Josef Henke, „FAZ“

„Nur vordergründig ging es um die Mobilisierung der Arbeitskraft der Rußlanddeutschen für die Kriegswirtschaft. Als politisches Ziel wird dahinter ihre Liquidierung sichtbar - entweder physisch, oder durch Auslöschung ihres Bewusstseins... Keine leichte Lektüre.“

Rudolph Chimelli, „Süddeutsche Zeitung“

„Erst mit Gorbatschows Glasnost und dem Ende des Kommunismus kam ans Licht, welche verheerenden Folgen der stalinistische Terror für die deutsche Minderheit hatte... Nach dem Ausbruch des Krieges erklärte die Sowjetregierung die gesamte deutsche Volksgruppe zu ‚Helfershelfern des Feindes‘ und deportierte fast eine Million Menschen nach Kasachstan und Sibirien.... Im Hauptteil des Buches, den man ‚Lagersklaverei und Vernichtung durch Arbeit‘ überschreiben könnte, geht es um die Zwangsrekrutierung der Männer und Frauen von 16 bis 60 Jahren in die Arbeitsarmee... Die eindringlichen Schilderungen der Augenzeugen und Opfer werden niemanden unberührt lassen.“

Irene Charlotte Streul, „Das Parlament“



**Феликс Гимельфарб
«Страницы германской истории»
Waldemar Weber Verlag, Augsburg.**

Увлекательное изложение истории
Германии в одной красочно оформленной
книге: от древних германцев, Великого
переселения народов, крестовых походов
и Первого рейха до начала XX века.

В книге 356 страниц,
более 150 иллюстраций,
цветная твердая обложка (под ткань).

Книгу можно заказать
по телефону:

02 21 - 76 57 21



Герхард Вольтер (1923-1998) – публицист, автор нескольких книг, активный участник движения российских немцев за национальное возрождение.

«Зона полного покоя» – документальная повесть о суровых испытаниях, выпавших на долю российских немцев. Основываясь на многочисленных свидетельствах очевидцев и собственных воспоминаниях, автор создал трагическую эпопею своего народа, своего рода «Архипелаг Гулаг» российских немцев.

...важная задача этого произведения – сохранить от забвения воспоминания свидетелей этих невероятных по масштабу преступлений!»

«Frankfurter Allgemeine Zeitung»

...политики властей в отношении немцев в СССР была их ликвидация как физически, так и с помощью подавления их самосознания... Свидетельства тех, кто прошел сквозь этот ад, потрясают, особенно рассказы женщин... Не легкое чтение.»

«Süddeutsche Zeitung»

...основном разделе книги, которому можно было бы дать название «Лагерное рабство и убийство трудом», речь идет о насильственном призыве в так называемую «ударную» армию мужчин и женщин в возрасте от 16 до 60 лет... Проникновенные свидетельства жертв и очевидцев никого не оставят равнодушным»

ЗОНА ПОЛНОГО ПОКОЯ

Герхард Вольтер

Герхард Вольтер

ЗОНА ПОЛНОГО ПОКОЯ

Waldemar Weber Verlag